Е. ФЕДОРОВА

И ВРЕМЯ ОТВЕТИТ...

/ ТРИЛОГИЯ /

SHOUT
SHARE
IT

- Евгения Фёдорова (Селезнёва)
  - Книга первая
    - От издателя
    -
    - Вступление
    - Глава I
      -
      - Странная история
    - Глава II «Логика абсурда»
      -
      - Артэк
      - Так вы не знаете почему вы арестованы?
      - Княжна Щербатова
      - В СССР — это преступления
      - Славные питерские годы
      - Мой бравый кузен Юрка
    - Глава III
      -
      - Мои сокамерницы
      - Бутыркские корпусные
    - Глава IV
      -
      - Нежданная встреча
    - Глава V Свидетели
      -
      - Моя подруга Лёлька
      - Ганичка
      - Приговор
    - Глава VI
    - Глава VII
      -
      - Явление из прошлого
  - Книга вторая
    - От издателя
    - Глава I
      -
      - Пиндуши
      - «Крепостной театр»
    - Глава II
      - Медвежьегорская пересылка
      - Андрей Быховский
    - Глава II
      -

- Вечная память
- Побег
- Глава III
  - Центральный «изолятор»
  - На ГУЛАГовской «шарашке»
  - «Родная» моя пересылочка
- Глава IV
  - На берегах Кеми
  - Раскройный цех
  - Великая сила искусства
  - Тётя Оля
  - Пани Гелена
  - Друзья уходят…
  - Ах ты сударь наш дударь…
- Глава V
  - Пушсовхоз
  - Этап на восток
  - I
- Глава VI
  - Посвящение в медсёстры
  - Туберкулёзное отделение
  - Хирургический корпус
  - «И на старуху бывает проруха»
  - Привычное чувство голода…
  - Эта странная другая жизнь
  - Дорогая моя Катеринушка
  - К освобождению не пригодны
  - Чтобы не сойти с ума
  - Освобождение невсерьёз

○ Книга третья
- От издателя
- Глава I
  - Благословенное одиночество
  - Тевий Израилевич
  - Тимшер — Соликамск и обратно
  - Моя бедная старенькая мама
  - К новым берегам
- Глава II
  -
  - Китти и Рудик
  - Гизэль Осиповна
  - Новый арест
- Глава III
  -

- Паненка еще пересечет океан…
- Красноярская пересылка
- На север по Енисею

- Глава IV
  - Ярцево
  - Вилла Парадайз
  - Друзья: двуногие и четвероногие
  - И снова к новым берегам
  - Енисейск
- Глава V
  -
  - Грёзы о Египте
  - Хуст
  - Поездка в Дубны
  - Судьба Эхнатонианы
  - Всё-таки в Соликамск
  - Карма
  - Нелегко быть известным
  - Свидание с Египтом
  - Эпилог
  - Послесловие издателя к главе «Мой старый одинокий друг»

Евгения Фёдорова (Селезнёва)
И время ответит…
Трилогия
Воспоминания о сталинских временах

Благодарю мою жену Люсю Лесней за её драгоценную помощь в превращении ветхих и неразборчивых маминых рукописей в эту книгу.

Издатель Стивен Лесней

Книга первая
«Хранить вечно»

От издателя

Эта книга — первая из трилогии воспоминаний моей матери — детской писательницы и журналистки Евгении Фёдоровой (Селезнёвой) «…И ВРЕМЯ ОТВЕТИТ…», рассказывающей о жизни в тюрьмах, лагерях и ссылках в бывшем Советском Союзе, и о встречах автора в этих страшных местах с интересными и благородными людьми в годы правления Сталина, во времена учреждённого им государственного террора, продолжавшегося до самой его смерти.

В первой книге она рассказывает о неожиданном повороте судьбы бросившем её, тогда ещё молодую, далёкую от политики женщину по доносу «друга» в «мясорубку» сталинского террора. Это случилось в самом его начале, в 1935 году, и только поэтому она уцелела. Случись это на год позже, её наверняка не было бы в живых, и эта книга никогда не была бы написана.

Мама прожила до 89 лет из которых более 20 лет провела в советских тюрьмах, лагерях и ссылках.

Последние 22 года она жила в Америке, в Бостоне.

Всё это время она продолжала писать свои воспоминания, рассказы и очерки о пережитом, прошлом и настоящем. Большинство из них печатались в старинейшей русской газете Нью-Йорка «Новое русское слово».

Она много путешествовала до самой глубокой старости и из каждой поездки привозила новые рукописи, так что и сейчас многое ещё не разобрано.

В следующие две книги трилогии вошли её воспоминания о жизни в лагерях и годах ссылки на севере Сибири.

О жизни за рубежом и путешествиях, если время позволит, будет издана отдельная книга.

С. Лесней (Селезнёв)

Посвящаю моей маме и Детям.
Е. Ф.

Портрет автора написанный в 1933 г. её мужем художником М. Селезнёвым

Вступление

Весна в тот год на Кавказе грянула необычайно рано и дружно. В начале мая по летнему жаркое солнце растопило снега, с гор понеслись лавины, ручьи превратились в бурные потоки, ворочающие глыбы камней, водопады обрели гигантскую мощь и

красоту…

В 1935-ом году дороги на прославленную «жемчужину Кавказа» — озеро Рица — еще не было. Тем, кто хотел увидеть его, надо было добираться туда пешком по каньонам Геги и Юпшары. Дорога еще только строилась.

Шоссе начиналось от Адлера у широкого устья Бзыби, сворачивало вдоль бурной и пенистой Геги, и еще раз поворачивало в каньон Юпшары и там заканчивалось.

Удивительная река эта Юпшара — прозрачной, кристальной голубизны, как ни одна из горных рек Кавказа. Только на Алтае есть еще такая — Катунь.

Если станешь на мостике — как раз над слиянием двух рек — Геги и Юпшары — диву даешься! Косматый, бурный глинисто-коричневый поток Геги переплетается с белопенными голубыми каскадами Юпшары, как две ленты, вплетенные в косу, прежде чем смешаются они в одну рыжую гриву.

Почему такое чудо? Быть может, потому, что Юшпара вытекая из Рицы, и чуть войдя в узкий каньон, тут же вдруг вся пропадает под землю и снова рождается только несколько километров спустя?

Окрестности Гагры на Кавказе изобилуют такими провалами, «карстовыми явлениями».

Вырвавшись из подземного плена, (может быть, очищенный какими-то подземными химикалиями?) поток необычайной чистоты и бирюзовой голубизны несется между отвесными скалами каньона, так и не замутив свои воды до самого слияния с Гегой.

Вдоль Геги всё дальше к Юпшарскому каньону, прокладывалось шоссе. Группы полуголых людей, с черными от загара спинами. Струи пота проложили дорожки на запыленных телах. На головах какие-то грязные тряпки — хоть чем-нибудь прикрыться от безжалостного солнца.

Люди вяло долбили камни чем-то вроде огромных кирок и еще более вяло перетаскивали камни с места на место, укладывая вдоль шоссе. Когда мы проходили мимо, они распрямлялись, обращая к нам худые лица с хмурыми глазами и задавали всегда один и тот же вопрос: — Который час?

И тотчас откуда-нибудь с пригорка лениво отзывался человек с ружьем: — Не разговаривать! Давай, двигайся, а то я те поговорю!

Непонятно, к кому это относилось — к работающим, или к нам, беспечным путникам, и мы, смущенные, спешили пройти… Но у следующей кучки, где работали люди нам непременно задавали тот же вопрос — Который час?..

Мы, беспечные прохожие… Что знала я об этих людях с угрюмыми лицами, с одним единственным вопросом, как будто ни до чего другого в мире им дела нет — «Который час?»…

Что знала я о них? — Ничего. А что хотела знать? — Ничего.

Кольнуло ли мне в сердце: — ты стоишь на пороге своей судьбы?. Встревожилась ли?..

Нет, не кольнуло. Не встревожилась. Спешила пройти.

А он, мой спутник? Обаятельный мальчик, почти подросток на вид. Стройный, смуглый, в своей турецкой красной фесочке с кисточкой; так идущей ему. На крутой выпуклый лоб выбились темные кудряшки. Блестящие восторженные глаза чуть прищурены — тогда еще не было моды носить темные очки от солнца… Он, лучший экскурсовод Краснополянской турбазы?

Он — быть может и знал, но думать об этом не хотел. Только не сейчас… Потом, потом… Ведь он не хотел зла…

Нет, никому, никогда.

А кругом была весна — буйная, зелёная, кипящая, пьянящая… И любимый Кавказ… И строки обожаемой Цветаевой, тогда еще мало кому у нас известной:

«…Пляшущим шагом прошла по земле,
Неба дочь…
С полным передником роз…
Ни цветка не наруша».

…Вот и кончилось строящееся шоссе. Дальше — узкие тропы, карнизы, высеченные в скалах Юпшарского каньона то с одной, то с другой стороны и подвесные мостики их соединяющие, всего — двадцать четыре!

Раскачивается, трепещет мостик над вспенившейся неистовой Юпшарой, вздыбленной весенними снежными водами. Перебираемся чуть ни ползком, — дух захватывает — вот-вот сорвет мостик, унесёт в реку…

Каньон, то совсем узкий, отвесные стены и синяя лента неба; Бог знает где, где-то над головой; солнце золотит едва видные вверху на скалах стволы сосен, а внизу, в ущелье, — тень и прохлада, то вдруг стена скал отступит от реки и на берегу возникнет самшитовая роща. Причудливо изогнутые, тяжеловесные стволы; словно водоросли свисают длинные бороды мхов, и отовсюду царит полумрак. Будто глубокое подводное царство…

А под ногами что твориться! Сплошной благоуханный ковер — ландыши! Такие крупные, такие чистые, как восковые капли вниз склоненные… А тропинки и совсем нет — как идти?

Как же ступать по этому из живых ландышей ковру?. Голова кружится…

Мы идем тихонько, бережно ступая. Держась за руки идем… «Ни цветка не наруша…» Ах, если бы остановить время!..

Мой спутник насвистывает мотив из только что показанного в Москве фильма «Под крышами Парижа» — первый иностранный фильм, «прорвавшийся» к нам.

В Москве была сенсация!

«Sous les toils…
de Paris». —

напевает он и тут же придумывает другие, русские слова:

«…По лугам,
где растут.
молодые цветы,
Мы сегодня идём —
я и ты…
Я ловлю твой взор,
твой приветный взгляд,
Мы болтаем вздор
целый день подряд…»

…Движутся, нижутся счастливые часы, струятся среди тишины и полумрака, тают в аромате ландышей… Мы молоды, мы счастливы. Нам хорошо вдвоем. Все наши беды, все наши несчастья — впереди, и мы о них ничего не знаем…

Что может знать человек о том, что ВПЕРЕДИ?.. Он не хочет знать даже того, что ПОЗАДИ, о чем узнать еще можно.

Счастливое неведение. Счастливые прохожие…

Глава I
Зеленые чернила

«…И кто, был другу верно предан, был этим другом верным — предан».

С. Кирсанов.

…На Кавказе, в селении «Красная Поляна», в 1934–35-х годах туристской базой заведовал Владимир Александрович Энгель.

Чудесный старик, мягкий и добрый, любивший туризм и туристов, и так радостно и тепло встречавший их, как своих самых любимых друзей, помогал им выбрать интересные маршруты и соответствующее снаряжение, так подробно и интересно рассказывал им о Кавказе, что молва о турбазе на «Красной Поляне» распространилась по всем туристским уголкам страны.

Был он прекрасным знатоком Кавказа и методистом экскурсионного дела. В помощники себе — экскурсоводами по Кавказу — он старался привлекать людей как и он любящих Кавказ, знающих его, не боящихся длинных горных маршрутов с ночёвками у костра.

Когда он встретил Юрия Ефимова — будущего географа, тогда еще очень молодого, но одаренного и яркого человека, он сразу «влюбился» в него и пригласил экскурсоводом на Краснополянскую турбазу.

Лекции Ефимова привлекали туристов каскадами виртуозного, ослепительного красноречия. Это были увлекательные, блестящие поэмы из истории покорения Кавказа, а также описания кавказской природы, оправленные в поэтическое и вдохновенное слово.

С Юрой Ефимовым судьба свела меня на курсах ОПТЭ — (Общество Пролетарского (!) Туризма и Экскурсий). Вот как это случилось.

Вернувшись в Москву из внезапно прервавшейся журналистской командировки в пионерский лагерь Артэк в начале лета 1934 года, я не знала за что мне взяться и куда себя девать.

Мои отношения с мужем, как мне тогда представлялось, окончательно зашли в тупик, а жить одной, летом, в сутолоке огромного, разгоряченного жарой города, меня совсем не прельщало.

Я была, в ту пору, начинающей журналисткой и обычно старалась на лето уезжать «за материалом» куда-нибудь подальше от больших городов. И тут как раз мне предложили поехать экскурсоводом на только что открывшийся Беломорско-Балтийский канал.

До этой поры мне не приходилось выступать в роли экскурсовода, но с работой ОПТЭ я познакомилась еще в 1933 году, проведя лето на Алтае, собирая материал для очерка об Алтайском крае.

Побывать на ББК мне показалось заманчивым, а освоить экскурсионный материал — не так уж сложно.

Я знала, что канал построен заключёнными, и это тоже

вызывало интерес.

И я поехала, захватив с собой своего старшего сына — пятилетнего Славку.

Оказалось увлекательным и «знакомство» с ББК, и экскурсоводческая работа.

Я возила группы туристов на маленьком экскурсионном пароходике «К. Маркс» от Медвежьей горы до пристани Сороки на Белом море.

Мы поднимались вверх по шлюзам реки Повенчанки, плыли водоразделом по живописнейшему озеру Выг, с сотнями крошечных островков, и спускались к Белому морю. Пока наш «К. Маркс» шлюзовался, мы с туристами ходили на плотины, любовались водопадами водосбросов, собирали камни для коллекций. На Выг-озере невозможно было спать, до того красивы были белые ночи с оранжевыми зорями в полнеба.

Наш туристский сезон прошел великолепно, меня все хвалили, признали одаренным экскурсоводом и премировали за отличную работу. Так я стала сотрудником ОПТЭ.

Зимой при ОПТЭ открылись курсы по подготовке квалифицированных экскурсоводов, и 30 лучших экскурсоводов туристских баз были приглашены на курсы. В том числе и я.

Здесь я и познакомилась с Юрием Ефимовым.

Он работал на Краснополянской базе Кавказского маршрута и о нем ходили слухи, чуть ни легенды, о его богатейшей эрудиции, об удивительном знании Кавказа, о прирожденном ораторском таланте. Было ему всего двадцать один год.

Курсы наши помещались в подмосковном городке Болшево, там же было и общежитие. В свободное от лекций время чудесно было бродить на лыжах или стремительно мчаться с крутого берега Клязьмы на широкий заснеженный луг...

Юра Ефимов сидел за одним столиком со мной С первого же дня мы понравились друг другу и стали проводить много времени вместе.

Это была даже еще не весна — преддверие весны, когда днем исходят слезами сосульки, чтобы утром снова украсить крыши стеклянной бахромой. Ночи еще холодные, луна окаймлена светлым кругом и снег искрится. Черные стволы лип на крутом склоне Клязьмы отбрасывают четкие тени, ветки не шелохнутся. На морозном воздухе дышится легко и привольно.

Днем мы занимались, а вечером ходили гулять на обрыв к реке.

На занятиях мы плохо слушали то, что скучно и монотонно читал методист. Сначала для развлечения играли в «крестики и нолики», потом в отгадывание слов. Затем выяснилось, что мы

оба любим стихи, и на занятиях мы исписывали целые тетради тем, что знали наизусть; главным образом — он, так как я знала гораздо меньше. А по вечерам Юра читал мне вслух стихи — конечно, Ахматову, Гумилева, Цветаеву, которую он просто обожал, и, — свои собственные тоже.

Этот мальчик был поэтом с детства. Его стихи, особенно ранние, были несколько вычурны, но блестящи и легки, как и услышанные мною позже лекции о Кавказе. Стихи всегда были искренни, взволнованны, даже если эта взволнованность и не касалась глубоких тем или раздумий.

Прекрасные стихи были посвящены Девятой симфонии Бетховена, которую он, потрясенный, слушал в концерте.

Была у него еще и поэма «Голубая молодежь».

В поэме описывались четверо друзей, юношей, из тех, кого потом стали называть инакомыслящими. Тогда такого термина еще не существовало.

Друзья собираются, болтают о том о сем, непочтительно выражаются об «Отце Народов — Великом Кормчем» — это в те-то годы! Хотя было только начало тридцатых годов, но уже гений «кормчего» засиял в ореоле божественных лучей. Они Критиканствуют, всерьез принимают Ильфа и Петрова, но между тем ведут жизнь обычных молодых советских людей: учатся, ходят на собрания — хоть и не слушают; голосуют, как положено, словом, свою «фигу» тщательно держат в глубине кармана.

Однако, один из четверки наиболее подвержен «крамольным» мыслям, больше других наделен совестью, его беспокоит и заставляет задумываться такая гениальная идея, как коллективизация, и он склонен сомневаться в будущих ее плодах и методах организации коллективного хозяйства.

Другой герой «голубой четверки» («голубой» не по крови, но по контрасту с бездумными головами «красной», комсомольской молодежи) смекает, что их, пожалуй, могут и «загрести» за такие разговорчики.

Этот башковитый юноша соображает, что зашли они слишком далеко, вели себя в студенческой среде слишком вызывающе и ареста им, пожалуй, не миновать. Тогда он «резонно» решает если гибнуть, то зачем же всем?..

Он умнее других, одаренней, энергичней, жизнеспособней, он так любит жизнь и будущее сулит ему многое. Если все равно гибнуть — зачем же всем?

Не без колебаний, не без надрыва и угрызений совести он решает пожертвовать мягкосердечным и неспособным на «борьбу» Алешей (тем, который больше других страдает совестливостью и копается в крамольных вопросах) и спасти себя и других. Он

доносит на Алешу и тот, под конвоем, отправляется на «Беломорстрой», а доносчик, Виктор Бланк, и другие — спасены!

Тогда, столько лет тому назад, Юра спросил меня, шаловливо улыбнувшись: — Один из них — я!.. Который же?

Ах нет, что за ерунда! Хотя мы и сами болтали о том о сем и тоже были не слишком почтительны в выражениях о «Великом Кормчем», и в прошлом у меня уже была ссора с Артэком, когда ярые, пенившиеся бдительностью комсомольцы обозвали меня «классово-чуждой» и «пролезшей» — нет, мысль о «Беломорстрое» Алеши и предательстве Бланка не обеспокоили моей юной головы — все это принималось как нереальность.

А в жизни Юра был чудесный, чуткий ко всему прекрасному, талантливый мальчик.

На курсах ОПТЭ, кроме скучных и нудных уроков по методике эксурсоводства и, конечно, обязательных «Краткого курса истории ВКП(б)» и исторического материализма, проводились еще так называемые семинары. Это были наиболее интересные и полезные занятия изо всех других. Каждый курсант заранее намечал себе базу, куда он будет послан на летний туристский сезон по окончании курсов.

Когда начались семинары, занятия оживились, все курсанты собирались в полном составе слушать «именинника» — докладчика «своей» турбазы. Одни доклады были интереснее, обширнее, с экскурсами в историю и добротным знанием географии края; другие отличались меньшей эрудицией. Всех затмил доклад Юры Ефимова о Северном Кавказском заповеднике, озере Рица, горах, окружающих Красную Поляну. Весь лекционный материал был прочтен им чуть ли не в «белых стихах», в «андребелическом» стиле (то есть в стиле Андрея Белого!), как выражался сам Юра.

Девчонки млели от восторга, ребята собирались его качать, педагоги и начальство, специально приглашенное на «семинар Ефимова», довольно потирали руки и хлопали Ефимова по плечу. Это был настоящий триумф.

Но это было и нечто вроде начала прощания. Нежная грусть вкралась в наши отношения. Еще неделя — две, и кончатся курсы, отгремит выпускной вечер и разлетимся мы во все концы нашей необъятной родины. Правда, только на лето, до осени, когда, может быть, снова встретимся, но как долго до этого! Все чаще говорили мы о неизбежной и близкой уже разлуке, бродили среди лип по ставшему рыхлым весеннему снегу, находя прогалинки со свежими стрелочками будущих травинок.

И вот он настал, наш выпускной вечер. Кроме нас, будущих экскурсоводов, собрались почти все директора баз, начальство и

многочисленные гости. В основном, это были молодые прокуроры.

Дело в том, что возглавлял ОПТЭ в те годы известный альпинист и… генеральный прокурор Советского Союза Н. В. Крыленко. Поэтому туристское движение вызвало живейший отклик и интерес в судейско-прокурорской среде. Если кто-либо из прокуроров слишком уставал от работы, требовавшей крайнего напряжения и осторожности (ведь все они ходили по лезвию ножа — «сегодня ты, а завтра я»), Крыленко пристраивал такого на «сезончик» отдохнуть на турбазе в качестве директора или методиста.

Официальным председателем ОПТЭ числился некто Тарасевич, но все знали, что «сам» — это почетный председатель Н. В. Крыленко, и от него зависит все: открыть новую турбазу, закрыть старую, этого назначить, того перевести, третьего снять. Правда, в 37-м и ему самому удержаться не удалось, он «загремел» с прочими. Но тогда до этого было еще далеко, в начале 34-го такое и присниться никому не могло!

Официальный председатель ОПТЭ Тарасевич долго и нудно мямлил о значении советского туризма и о гениальном предвидении Вождя и Учителя, который разглядел историческую роль пролетарского туризма и призвал нас всех на беззаветную службу народу.

Мы с Юрой сидели рядом и, конечно, не слушали. Мне было грустно и неуверенное недоумение владело мной: я видела и чувствовала, что Юра Ефимов на этот раз не разделяет моей грусти. Ведь это уже не «нечто, вроде прощания», это уже настоящее и окончательное прощание… Но Юра глядел на меня как-то странно улыбаясь, и глаза его сияли. Мне было обидно.

Но вот нудная речь кончилась и к столу стали вызывать одного за другим курсантов. Им торжественно вручалось свидетельство об окончании курсов и — в запечатанном конверте (знай наших!) — выписка из приказа о зачислении на «такую-то» базу. Крыленко поздравлял вновь назначенного экскурсовода и сердечно тряс ему руку.

Моя бедная фамилия на букву «Ф» стояла почти последней. Давно вернулся на свое место сияющий Юра и, распечатав конверт, показал мне узенькую полоску бумаги, на которой значилось, что он, Ю. К. Ефимов, «зачисляется экскурсоводом Краснополянской базы с 1-го мая сего года».

Наконец, дошла очередь и до меня. Вернувшись на свое место я медлила открыть свой конверт.

— Ну же, ну! — нетерпеливо торопил меня Юра.

Наконец, я открыла и вынула бумажку с машинописным

текстом. Там было напечатано, что, по окончании курсов, Фёдорова Е. Н. «назначается на должность экскурсовода с 1-го мая сего года на… Краснополянскую турбазу»!..

Я видела сияющие, торжествующие глаза Юры, а в висках стучало: «Вместе, вместе, вместе».

Он стал рассказывать мне, как упросил, умолил Тарасевича послать нас вместе; как Тарасевич сначала не соглашался, суля ему в помощницы какую-то начинающую девчонку, а потом — уступил, и как он, Юра, изо всех сил молчал, желая сделать мне такой сюрприз.

— Там я тебе открою мою Поляну! Я причащу тебя к горным высям! Я подарю тебе Рицу, Большую и Малую. Я поведу тебя по своим тропам!

И сейчас, спустя сорок лет и зная все, что было и произошло в том 35-году, я верю, что бурная радость его и сияющие счастьем глаза не были притворством. Он еще надеялся на что-то…

Осенью, в начале сентября, вскоре после моего ареста, очевидно ещё не зная об этом он писал:

Вот и все… Хотелось большего?
Обойден и замкнут круг.
Начиналось. Ездил в Болшево,
Не сознав, что найден друг…

Вслед за сумрачными, зябкими
Днями сплетен и клевет —
Неохватными охапками
Начал схватываться свет...

Писал он, я полагаю, тогда, ещё вполне искренне.

После первой радости меня одолели сомнения: как же я поеду на базу, где меня никто не ждет? Где я и не нужна вовсе! Где рядом с блестящим экскурсоводом я буду невежественной дурочкой, и туристы не захотят пользоваться моими услугами. Ведь я на самом деле ничего не знаю, просто представления не имею ни о Кавказе, где была один раз давным-давно, ни о Красной Поляне, не знаю дорог и горных троп заповедника. И что подумает обо мне высокий стройный старик с серебряной головой и красивым профилем — директор Краснополянской базы Владимир Александрович Энгель?

Все мои страхи оказались напрасными. Конечно, мои «лекции» не шли ни в какое сравнение с Юриными, но все же к началу сезона я успела подчитать кое-что, многое рассказал мне Юра. Раньше, чем прибыли первые туристы, он успел провести

меня ближними и дальними маршрутами, из которых каждый был пленительней другого.

К приезду туристов я уже не была такой круглой невеждой, а с Владимиром Александровичем мы подружились с первых же дней. Я, как и он, считала туристов нашими гостями и друзьями.

Встречи с новыми людьми, с новыми характерами всегда приятно волновали меня, и журналистскую работу я в своё время выбрала именно потому, что она сулила встречи с интересными людьми. Сюда, в Красную Поляну приезжали в основном молодые, влюблённые в природу ребята, не боящиеся провести ночь у костра, любящие и попеть и поговорить Мне всегда хотелось сделать им приятное. А так как всякая экскурсия в горы для меня самой была праздником и удовольствием, мое настроение передавалось и туристам. Вскоре многие стали проситься в поход только со мной, и Юра даже слегка «ревновал» меня к туристам.

Наши встречи с Юрой — то одного, то другого из нас не было на базе — всегда были полны радости, рассказов, новых стихов. Он приносил мне с гор охапки лилий и аромат их кружил голову.

В. А. Энгель был женат на «простой» женщине, не то гречанке, не то грузинке, очень красивой и еще молодой. Она, должно быть, стеснялась своего «простого происхождения», плохо говорила по-русски и среди туристов никогда не появлялась. Я видела ее только когда заходила за чем-нибудь на квартиру Владимира Александровича.

Зато с ее сынишкой, белоголовым Рустемом, приятелем моего Славки, мы подружились. Рустик был года на два моложе моего сына Славки, который уже приближался к «взрослым» школьным годам — осенью ему должно было исполниться шесть. Уходя в горы, я могла быть спокойна за Славку — он будет вовремя накормлен, напоен и уложен спать. Потом мне было горько вспоминать, как мало внимания уделяла я Славке в это последнее мое лето.

Мне трудно расстаться с этим солнечным и последним летом. Все было так ясно, так согласно думалось обо всем, так чутко воспринималось.

Конечно, мои дети и моя семья были проблемой в наших отношениях с Юрой. Хотя к тому времени я уже собиралась расстаться с моим мужем — Маком, с Юрой нас разъединяло нечто более непреодолимое — разница лет, в те годы несравненно большая, чем теперь, спустя сорок.

Он был на много моложе меня. Эти семь лет были так непреложно и навсегда разъединяющи, что и воспринимались безропотно, без напрасных надежд и ожиданий. У него впереди

был университет, учеба, молодые друзья, у меня — семья, стареющая мама, которая вот-вот сдаст мне на собственное попечение обоих моих ребят (кроме Славки еще был малыш), сложные отношения с мужем, моя начинающаяся литературная карьера…

Это чудесное лето не предвещало чудесного продолжения и воспринималось как случайный драгоценный подарок судьбы. О будущем не думалось, не хотелось омрачать настоящего. И никакие предчувствия ни разу не коснулись моей души.

Юра рассказывал мне о трагической судьбе его близких друзей. Молодая девушка Ёлочка Каткова — робкая, застенчивая и нежная, о ней Юра говорил с дрожью в голосе (может быть, первая любовь? — я не спрашивала); двоюродный брат Сашенька — самый близкий и лучший друг («мы с ним были, как отражение в зеркале!») и еще другие — все были арестованы и исчезли неизвестно куда.

— Боже мой, за что? — За разговоры… Такие, как и мы с тобой ведем… Ведь на каждого из нас заведены дела.

Что за странные слова? И для чего сказанные? Хотел ли он предостеречь меня? Или наоборот…

Это потом я думала об этих словах и многих других, когда вспоминала и перебирала в уме каждое слово и каждый жест; времени для этого было более чем достаточно. Все это было потом, тогда я просто не обратила на них внимания.

Не поразил меня и эпизод с приездом Владимира Владимировича.

Однажды, что бывало очень редко, мы с Юрой оба были на базе. В этот день ожидался большой заезд туристов. Мы вдвоем встречали их у террасы центрального здания.

— Боже мой, Юра? Вы?.. Да не может быть!

Один из туристов, уже не первой молодости плотный низенький человек, остановился, как пригвожденный, всем своим видом выражая крайнюю степень ошеломления.

— Как видите, Владимир Владимирович, это действительно я!

— Да нет, не может быть! Это же чудо!

— Очевидно и чудеса иногда бывают!

— Вас выпустили?

— Да я и не был под следствием.

— Как не были? Ведь вся же ваша группа…

— Да, да… Но, извините… Это ваш друг?.. Добро пожаловать! Ну что же мы стоим? Пойдемте, я устрою вас вместе.

Я невольно слышала этот разговор. Ну зачем, зачем ворошить? Ведь это как по живому мясу. Зачем вспоминать?

Подходило к концу наше туристское лето. Юре пора было собираться в Москву. Заодно он взялся увезти и Славку, которого мама хотела устроить в какой-то особый детский сад, готовящий «одаренных» детей к раннему поступлению в школу.

Энгель отпустил меня проводить их до Сочи, оставшись на базе один с проводниками.

Как запомнился мне этот последний сочинский вечер! Было полнолуние. Пока мы потихоньку забирались на Ахун-гору, с которой все Сочи как на ладони, а морская гладь разливается далеко до горизонта, луна взошла и золотая дорожка побежала по темной воде. Потом она превратилась из золотой в серебряную и весь воздух наполнился лунным светом, словно белая фата накрыла земной мир. Кругом настойчиво звенели цикады, а в кустах там и тут вспыхивали и гасли светлячки. Тонкий аромат цветущих олеандров поднимался снизу из города. Мы сидели рядом молча. Я заглянула ему в лицо, освещенное луной. Глаза его были полны слез.

Мне стало безмерно жаль его, матерински жаль. Он мне показался мальчиком, а не юношей, беспомощным перед широким и жестоким миром, куда он уезжал от меня, и в первый раз терял и друга, и женщину…

— Ну что ты? Ведь не навсегда же мы расстаемся. Ведь я тоже буду в Москве. Захочешь — увидимся, побудем опять вместе, — пыталась я его утешить. — Ну что ты, право! Он только горестно качал головой и повторял: — Нет, нет…

Какие слова вертелись у него на языке и не были произнесены?

Это был конец августа и еще почти две недели жизни Были дарованы мне. Я осталась на базе единственным экскурсоводом, да еще и «культработником» впридачу, потому что барышня, исполнявшая эту работу, тоже уехала. Туристов же было много — осень на Кавказе великолепна.

Мы с Владимиром Александровичем сбивались с ног. В эти последние дни мне удалось совершить две недалекие экскурсии.

По возвращении на базу меня ждали письма. Целых три, все с дороги, написанные зелеными чернилами его «вечной ручки».

Письма, полные нежности, полные горести, полные воспоминаний о милых пустяках, фразах, улыбках, выражении глаз. И одно из них, написанное ночью на верхней полке трясучего вагона — едва разборчивое, помятое, с явными следами слез.

И вот наступил мой последний день. Утро оказалось туманным, чуть моросил мелкий дождичек.

В нашей музыкальной комнате, где, помимо рояля, было и

два шкафа с книгами, меня ждали туристы, хотевшие поменять книги. Отперев шкафы, я предоставила туристам самим рыться в книгах.

У меня же было еще одно дело: выдать желающим членские книжечки ОПТЭ. Я вытащила картонку с членскими билетами и трешками, беспорядочно наваленными в ней, другую с туристскими значками, которые тоже все хотели приобрести. В это время сквозь толпу протиснулась молоденькая девушка, служащая нашей конторы:

— Евгения Николаевна, вас в контору зайти просят!

— Хорошо, скажи, что приду немного погодя, — и я снова занялась книжками, значками и ответами на сотни вопросов. Но девушка появилась опять:

— Евгения Николаевна, вас просят срочно немедленно.

Я удивилась. Какое отношение я имею к конторе, кроме получения заплаты и взносов за питание? Если они там в чем-нибудь и запутались — что за срочность? Точно не знают, что на базе с утра самая заваруха!

— Извините, товарищи, я сейчас вернусь, подождите минуточку! — сказала я туристам.

— Поскорей, пожалуйста! — нетерпеливо неслось мне вслед.

Эта «минуточка» обернулась вечностью. Никогда больше я не вернулась в эту комнату.

В конторе меня ждали двое: один военный, другой штатский. Оба встали при моем появлении.

— Евгения Николаевна? — вежливо спросил меня штатский. — Вы на турбазе живете?

— Да, — ответила я в полном недоумении.

— Пройдемте к вам.

— Зачем?

— Пройдемте, мы вам объясним.

Мы вышли из конторы и стали подниматься вверх по тропинке, ведущей к моей квартире. Я почувствовала, как ноги становятся ватными.

— Подождите… — прохрипела я, так сдавило мне горло. — Что-то случилось с сыном?.. Крушение поезда?.. Или вообще, погиб?

— Нет-нет, что вы! — учтиво успокоили меня спутники.

— С вашим сыном ровно ничего не случилось. Он благополучно прибыл в Москву.

У меня на минуту потемнело в глазах, но потом отлегло. «Слава Богу!»

— Так что же? — недоумевала я.

Дома один из моих спутников протянул мне бумажку.

Это был ордер на обыск и арест. Совершенно четко стояла моя фамилия.

Я недоверчиво покачала головой:

— Этого не может быть. Это какое-то недоразумение. Это какая-то другая Фёдорова.

Безукоризненно вежливо, но непреклонно военный объяснил мне, что это их не касается, что «там» разберутся, а пока я именно «та самая» Фёдорова, которая значится в ордере и за которой они пришли.

Производить обыска они у меня не стали. Поворошив фотографии, которых целая гора валялась у меня на столе, подарки туристов и мои собственные, они забрали мой паспорт и «трудовой список» — документ, позже замененный в Советском Союзе «трудовой книжкой», и предложили, чтобы «не беспокоить туристов», перемахнуть через низкую ограду и обойти турбазу по круговой дороге.

— А куда же мы пойдем? — недоуменно спросила я.

— Ну, — чуть замявшись объяснил мне военный, — в учреждение… В милицию.

— Ну в милицию, так в милицию, — согласилась я. — Только поскорей, ведь туристы ждут…

Удивляюсь, как они не расхохотались. Но они даже не улыбнулись. А, может быть, им и немного жалко было такую ДУРУ?

— Вы бы захватили пару белья… Что-нибудь из одежды, — осторожно посоветовал один.

— Зачем?! — отмахнулась я с досадой. — Я же знаю, что меня сейчас же отпустят. Ведь это просто недоразумение!

Он пожал плечами.

Так я ничего и не взяла — совсем ничего, кроме пустого рюкзака, который, скорее по привычке, вскинула на плечо, сунув туда тоненький томик стихов Сельвинского «Тихоокеанские стихи». Да еще болтался в рюкзаке компас, который, как выяснилось позже, теперь мне был совсем ни к чему.

Странная история

Тут начинаются удивительные события, к которым я еще долго относилась как к «приключениям», и притом приключениям исключительным, особенным, только со мною одной каким-то чудом случившимся. И только много-много спустя открылось мне, что приключения эти вовсе не мои индивидуальные, да и не «приключения» вовсе, а вполне реальная и даже обычная жизнь — жизнь той *необычной* эпохи. И что тысячи людей пережили и

перечувствовали то же самое, что и я.

Но тогда, когда я сидела на широком, тенистом и пустынном балконе Краснополянской милиции, я только недоумевала, и сколько ни старалась, не могла ни угадать, ни предположить, что меня ждет.

Я просидела на этом балконе до самого вечера. Сначала я с нетерпением ждала — когда же за мной придут? Потом я стала беспокоиться и строить догадки — почему за мной не идут? Потом я захотела есть, но не очень — беспокойство убивало аппетит.

Ни разу не пришло мне в голову встать, пойти поискать кого-нибудь, спросить, что все это значит? Мне велели «подождать» и я боялась хоть чем-нибудь нарушить этот приказ. Чего боялась? Кого боялась?

Со мной был Сельвинский — «Тихоокеанские стихи».

Я начала читать, но после первой страницы перестала понимать, что читаю. Вокруг меня исходил ароматом разогретый на солнце сад, над нежными кисточками японских мимоз жужжали пчелы, чирикали пташки. Следил ли кто-нибудь за мной исподволь, или я могла уйти, убежать, куда глаза глядят?

А что было бы, если бы я тогда убежала? Но нет, даже тени такой мысли не приходило мне в голову и, думаю, мои стражи это тоже хорошо понимали.

Время шло, и дневная жара сменилась вечерней прохладой. Солнце скрылось за пиками Аибги, и ночные тени стали сгущаться в складках лесистых склонов, когда, наконец, за мной пришел, один, давешний военный. Он деловито посмотрел на часы и сказал:

— Мы поедем в Сочи. Не будем привлекать внимания пассажиров, ни о чем меня не спрашивайте.

— Но зачем же в Сочи? — изумилась я. — Неужели здесь нельзя выяснить?..

— У меня есть приказ, — недовольно прервал он меня. — Пошли!.

Автобусом мы приехали в Адлер, откуда до Сочи нам предстояло добираться поездом. Вокзал, несмотря на позднее время, был довольно оживлен, много народу толпилось у касс.

Мой военный отвел меня в сторону и сказал:

— Подождите меня здесь.

Как он был уверен, что я никуда не денусь! Не меньше, чем мои следователи, которые были уверены: раз арестована — значит виновна. И они были правы. Они никогда не ошибались!..

В ночном Сочи, залитом лунным светом, было странно и пустынно. Было далеко за полночь, автобусы уже не ходили,

пассажиры с поезда как-то незаметно рассеялись.

Ночь была влажная и душная. После прохладного и свежего воздуха Красной поляны дышалось немного трудно, а может быть просто перехватывало дыхание от свалившейся на меня неожиданной беды, хотя я еще не воспринимала случившееся со мной как что-то серьезное.

Мой военный опять попросил меня подождать пока он позвонит, но на этот раз довольно быстро вернулся.

— Нам придется немного подождать — сказал он.

— За нами сюда придет машина. Она давно выслана за нами и должна была бы уже быть здесь. Не понимаю, почему она задерживается.

— А куда мы едем в Сочи? — наивно спросила я.

Он долго не отвечал на мой вопрос, а потом как бы извиняясь сказал:

— Арестованные не должны задавать никаких вопросов сопровождающим их лицам. Но так как вы вскоре всё равно увидите сами, то я отвечу вам что мы едем в Сочинское Управление НКВД.

Хотя это известие отнюдь не успокоило меня, но я была благодарна ему и за такие сведения.

Наконец подошла машина — маленький открытый пикапчик с двумя скамейками по бокам.

— Хозяин еще не ушел? — спросил военный, усаживаясь напротив меня. Шофер мотнул головой не то утвердительно, не то отрицательно, и мы поехали.

Остановились у громадного тяжеловесного черного здания. «НКВД, очевидно», — подумала я и обрадовалась: «Ну вот и хорошо, без задержки. Завтра все выяснится, и я успею еще вернуться обратно.

Бедный Владимир Александрович! Как-то он управляется один с туристами?!»

Мы поднялись вверх по шикарной широкой лестнице, мраморной, как показалось мне, прошли длинным коридором и остановились перед глухой дверью. Мой проводник, раньше чем постучать, выпрямился, приосанился, одернул гимнастерку, даже прищелкнул каблуками и только тогда уж постучал, почтительно и осторожно.

— Войдите!

Это был громадный кабинет, утопавший в потемках; только на другом конце его на письменном столе горела лампа под низким абажуром. Она освещала стол и руки сидевшего за столом.

— Фёдорова Е. Н. — доложил военный.

— Давайте, — усталым голосом сказал человек за столом, и военный, приблизившись, положил на стол какие-то бумаги.

— Можете идти, — тем же тусклым усталым голосом отпустил его начальник.

— Садитесь здесь, — он очистил мне место на краю стола и положил лист бумаги.

— Напишите Владимиру Александровичу, чтобы он собрал ваши вещи и отправил в Москву родным… Вы тоже поедете в Москву, — прибавил он.

— Как в Москву? — ахнула я. — Зачем же? Я ведь и так буду в Москве, когда кончится сезон на турбазе, теперь уже скоро! Ведь я живу в Москве, — пыталась я ему втолковать, — там моя квартира, мать, муж, дети! Я явлюсь туда, куда вы мне скажете, но сейчас я не могу оставить на базе Владимира Александровича одного! Поймите!

— Я ничего не могу изменить, — печально сказал он. — Вы поедете в Москву, и вы не вернетесь в Красную Поляну… Ну, пишите, — он встал. — Я скоро вернусь, тут вам никто не помешает.

Я осталась одна в этом погруженном в темноту и тишину кабинете. И тут впервые мне стало страшно. Бессвязные мысли закружились в голове, и на миг я поняла, что «приключение» оборачивается бедой. Но только на миг, к сожалению…

Он вышел и оставил меня одну с чистым листом бумаги в руках. Но этого мало. Он вышел и не убрал того, *что лежало на столе.* Сколько раз видела я впоследствии, входя в кабинеты следователей, как они привычным, отработанным жестом смахивали в ящик все бумажки, лежавшие на столе. Стол следователя всегда должен быть абсолютно пуст. Кроме бланков для допроса — ничего!

А он оставил. Оставил лежать на столе мой паспорт и «трудовой список», принесенные военным. А под ними, четко белея в свете лампы, лежал широкий лист бумаги, исписанный яркими зелеными чернилами, исписанный хорошо знакомым почерком… *Теми самыми* чернилами, *тем самым* почерком!

Я с ума схожу! Мысли несутся вскачь, теряя всякий смысл. Чернила… Письма… «Дорогая моя»… «Родное мое существо»… Опомнись, опомнись! Мало ли зеленых чернил! И что тебе мерещится в почерке? Опомнись!

Сердце колотится, как сумасшедшее. Я все-таки заставляю себя перегнуться через стол и прочесть строки, лежащие ко мне вверх ногами. «Фёдорова Евгения Николаевна», — читаю я, потом еще какие-то строки, которых в волнении я разобрать не могу, и опять: «Фёдорова Евгения Николаевна».

Я откидываюсь в кресле и сижу в какой-то тупой прострации, не думаю, не чувствую. А время идет… Машинально пишу: «Дорогой Владимир Александрович, соберите, пожалуйста, мои вещи и отошлите домой в Москву, маме».

Я хочу добавить, что я не вернусь, но ручка почему-то перестает писать, и я опять сижу, ничего не понимая и не соображая.

Я не взяла в руки эти листы с зелеными чернилами. Я их не прочла. А ведь они были оставлены для меня, чтобы я хоть немного поняла, хоть немного готова была бы к тому, что меня ждет! Правда, это ничему бы не помогло, ничего бы не изменило, но просто могло спасти от сумасшествия там, на Лубянке, где непонимание, безумная бессмыслица обвинений выматывали до потери сознания, до полного изнеможения. Этот усталый красивый человек хотел, чтобы я прочла «первичный материал», — донос.

Когда он вернулся минут через двадцать, наверное, он сразу понял, что я ничего не читала. Лицо его еще больше осунулось и голосом деревянным, официальным он спросил: — Написали?

Я протянула листок.

— Подпишите же!

Ах, да, я ведь не подписалась! Я судорожно поставила какую-то закорючку.

Он позвонил, и тут же появился страж.

— Уведите, — устало приказал начальник.

Теперь я знаю, чем рисковал этот единственный *человек,* встреченный мною в «органах» за все долгие годы, в которые мне приходилось сталкиваться с ними. Единственный И вряд ли он пережил 37-й год.

Остаток ночи я провела в закутке рядом с комнатой дежурного; а наутро в вестибюле меня ждали двое конвоиров и с ними человек в штатском, в костюме помятом и без галстука. И еще по каким-то малозаметным признакам безошибочно можно было сказать, что это не «начальник», а арестованный, как и я.

Так оно и оказалось. Был он директором одного из сочинских санаториев, арестован был уже несколько дней назад, так же, как я, ничего не взял с собой при аресте, уверенный, что наутро вернется домой. Так же, как меня, его отправляли — куда? Этого ему не сообщили, но он думал, что тоже в Москву. Однако в Ростове мы с ним расстались и больше никогда не встретились.

В Сочи ему разрешили позвонить домой, чтобы жена собрала необходимые вещи. И теперь по перрону к поезду спешила, волнуясь, хорошо одетая и причесанная женщина, едва волоча два громадных чемодана. Она еще издали увидала нашу

группу — конвоиров, меня и мужа.

— Гриша, Гришенька, — залепетала она, и частые слезинки заскакали с накрашенных ресниц. Она хотела обнять мужа, но конвоир вежливо, но решительно отстранил:

— Не положено, гражданка! Передачу разрешено, а свидания — не положено!

Видя, что кругом собираются любопытные, конвоиры подхватили чемоданы и стали теснить нас к дверям вагона: «Заходите, заходите!»

Мы поднялись и Григорий Григорьевич, так, кажется, его звали, с площадки вагона бодро прокричал жене:

— Не беспокойся, Натуся, я скоро вернусь! Это просто недоразумение, не беспокойся!

Мы вчетвером заняли целое купе; Григорий Григорьевич до отхода поезда все стоял у окна и теперь уже знаками объяснял жене, чтобы она успокоилась, что он скоро вернется. А она стояла под окном и все вытирала платочком бегущие по щекам слезы.

Конвоиры были молодыми и то ли плохо еще вымуштрованными, то ли и в самом деле сердечные люди попались, только они быстро нарушили «правила» и вскоре разговорились с нами, особенно когда выяснилось, что один из чемоданов Григория Григорьевича набит всякой снедью, да еще какой!

Тут была и копченая колбаса, и грудиночка, и жареная курочка, и котлеты, да и бутылочку «столичной» заботливая Натуся не забыла уложить. А на десерт — и яблоки, и груши, и виноград!

Конечно, вряд ли конвоирам положено выпивать с арестованными, но соблазн был велик, а в купе мы были одни.

Они, эти молодые парни, от души посочувствовали нам, арестованным по недоразумению, но и успокоили, авторитетно заверив, что уж «там-то» разберутся, что где-где, а уж «там» ошибок не бывает! — Ежели сволочь какая, шпиён там или вредитель — того, конечно, к стенке, а если человек невиновный — выпустят и обратно на работу предоставят — это уж точно, вы не сумлевайтесь! Рассказали и про себя, про свои колхозы, где живется нелегко, заработки на трудодни никудышные, да и работников в семье мало, ребятня — мал-мала меньше, а они, старшие, только начали военку отбывать.

Так незаметно доехали мы до Ростова в самых дружественных отношениях. Даже в машине, которая за нами приехала, конвоиры продолжали еще дружески болтать, хотя и вполголоса, чтобы шофер не услыхал.

Только у подъезда Ростовского НКВД они приняли вид и тон

вполне официальный и в огромном вестибюле один из них лихо скомандовал: «Приставить ногу!»

Григория Григорьевича куда-то увели, а меня опять посадили в закуток, очевидно намереваясь поскорей сбыть с рук и отправить дальше.

День я коротала со своим Сельвинским, многие стихи уже заучила наизусть, всякие несуразные мысли от себя гнала, все более укрепляясь в том, что «там» несомненно разберутся и всё «приключение» кончится благополучно.

К вечеру я немножко вздремнула, а часов в десять загремела задвижка и я была выпущена в вестибюль. Громадный вестибюль Ростовского НКВД сиял огнями. Хрустальная люстра посередине, лампы в углах лепного потолка, светящиеся шары на мраморе лестниц. В первую секунду я даже зажмурилась после полумрака своей кладовочки.

В середине вестибюля, составляя как бы каре, стояли четыре конвоира с винтовками в руках. Винтовки были направлены на единственное существо, стоящее в центре каре.

Это была девушка с копной распущенных вьющихся волос и с огромным плохо увязанным узлом, который она прижимала к себе двумя руками. Девушка рыдала на весь огромный вестибюль.

— Женщина, прекратите! — раздался суровый голос, и я заметила очень маленького роста военного, как выяснилось, начальника нашего конвоя.

Но «женщина» продолжала рыдать. Меня поставили рядом с ней. «Маленький капрал» — так впоследствии мы окрестили нашего начальника конвоя — скомандовал:

— Шаг в сторону — стрелять без предупреждения!.. Шаа-а-гом… арррш!

И мы пошли по главной улице Ростова, еще кишевшей народом, ярко освещенной вечерними огнями и витринами магазинов.

Мы, — конвой и арестантки, по мостовой, «маленький капрал» сбоку, по тротуару. Сейчас же неведомо откуда взялись мальчишки, прочие любопытные тоже начали тесниться вокруг.

— Разойдись, разойдись! — грозно кричали наши «направляющие», потрясая автоматами.

— Шире шаг! — командовал с тротуара «маленький капрал», а мы с плачущей девушкой (ее звали Марусей) и так уже чуть не бежали бегом. В довершение всего ее ненадежный узел развязался, на мостовую вывалились тапочки, теплая кофта, покатились какие-то свертки. Мы бросились их поднимать, задние конвоиры чуть не наскочили на нас.

— Приставить ногу! — заорал взбешенный «капрал». Зрители

покатывались с хохоту.

Так мы и продефилировали по всему Ростову до самого вокзала.

В поезде, на этот раз не в отдельном купе, а в обычном общем вагоне, для нас было очищено от пассажиров одно отделение с «персональной» уборной.

Когда поезд тронулся и Марусины слезы, наконец, иссякли, я услышала ее историю.

Она была студенткой Ростовского пединститута, третьего курса. С их курса была арестована целая группа. Она сидела уже четыре месяца, и мать приносила ей передачи, потому и набралось у нее так много барахла. Но как только доходило до того, за что же ее арестовали и в чем обвиняют, Маруся опять принималась рыдать:

— Я ни в чем, ни в чем не виновата!.. А меня расстреливать везут!

Я старалась, как могла, успокоить ее:

— Ну что вы, Маруся! Какие расстрелы!.. Очень хорошо, что везут. В Москву везут — там все разберут.

— Раз вы не виноваты, чего же бояться? Со мной вот тоже недоразумение… И я рассказывала ей в утешение, как я была арестована, совершенно неизвестно за что и почему.

Притихшая Маруся слушала, но потом с тоской твердила свое:

— Вот погодите… Пойдете на допрос, тогда узнаете.

— Что узнаю?

Маруся не могла ответить, что именно я узнаю, только с глубокими вздохами повторяла: — Ах, тогда узнаете!..

Как она была права, эта девочка! Конечно, она уже имела опыт, знала, что такое «допрос».

Марусю не расстреляли. Она получила всего три года — тогда еще давали «три»! — за болтовню. А меня судил Военный Трибунал как особо опасную преступницу и террористку…

Итак, мы ехали в Москву. Наутро наши конвоиры, устроившись у бокового столика, с аппетитом начали уписывать свой нехитрый солдатский завтрак — толстенные ломти хлеба, приправляя их фасолевыми консервами. У нас с Марусей потекли слюнки.

— А арестованных кормить полагается? — спросила я. Солдаты смешались.

— Сейчас доложу, — буркнул один из них и пошел докладывать.

Вскоре явился «маленький капрал».

— Вы что, на дорогу пайку не получили?

— Нет, — робко ответила Маруся.

Я тогда еще не знала, что такое «пайка», — могущественная «пайка», от которой зависит жизнь и смерть зэ-ка. Все остальное — весь приварок, суп, каша — это все ничто, ерунда. Жизнь зависит от куска хлеба. Только его вес определяет — жить или «доходить».

Все это я узнала много позже, а сейчас просто не понимала, о какой «пайке» идет речь.

Не знаю, чем бы кончился этот инцидент и как был бы разрешен сложный вопрос с нашим питанием, если бы вдруг «маленького капрала» не потянула за рукав старушка-пассажирка из соседнего с нами отделения.

— Товарищ военный, — сказала она почтительным и заискивающим голосом, — разрешите вашим… — она запнулась, не зная, как нас назвать, — …этим девушкам… передачку небольшую… Яички, колбасу, хлебушко.

Все это, собранное среди сочувствующих пассажиров, было аккуратно уложено в порядочных размеров корзинку, «Маленький капрал» поколебался с минуту, но решив, очевидно, что это наиболее простой выход из положения, милостиво разрешил:

— Примите, проверьте, — распорядился он и один из конвоиров «принял передачу».

Чего-чего только там не было! Кроме колбасы и яичек, были еще и котлеты, и бутерброды с сыром и ветчиной, и банки сгущенного молока, и булочки, и баранки, и сахар к чаю — это были еще сытые годы Советской власти, самые сытые после НЭПа. Наверно, нашим солдатикам было завидно — это тебе не фасолевые консервы! Нам с Марусей хватило до самой Лубянки и, расставаясь в приемной, мы поделили остатки.

Это был еще только 1935-й год. В 1937-м ничего подобного быть уже не могло. К 37-у народ был вразумлен — ему «открыли глаза». Все сидели бы тихо, как мышки, затаив дыхание, не смея шевельнуться.

Попробуй, посочувствуй врагу народа! «Передачки? Боком тебе выйдут „передачки“! Знай помалкивай в тряпочку!»

Наконец, мы приехали. На Лубянку нас везли в «черном вороне». «Капрал» распорядился посадить нас в разные «собачники», хотя кроме нас в «вороне» никого не было. Я чуть не задохлась в этом узеньком, тесном и темном шкафчике, где едва можно было поместиться стоя. Но Лубянка от Курского вокзала недалеко и задохнуться я не успела.

Нас высадили у ворот; «маленький капрал» повернул нас лицом к стене, а конвоиров выстроил сзади тесным строем, снова с автоматами наизготовку. Испытывая заслуженное

удовлетворение от хорошо выполненного поручения — благополучно доставил по назначению двух вверенных ему опасных государственных преступниц — и в предвкушении заслуженного отдыха, он вдруг подобрел и снисходительно-горделиво обратился к Марусе:

— Ну как, узнаете, куда прибыли?

Дело в том, что еще в Ростове Маруся спросила, верней, прорыдала:

— Куда?.. Куда меня везут?

— Куда надо, — был грозный ответ. И тут я не удержалась:

— Мне еще в Сочи сказали, что меня повезут в Москву, — спокойно сказала я.

Лицо «капрала» перекосила злобная гримаса.

Он шагнул ко мне и, глядя бешеными ненавидящими глазами, прошипел:

— Того подлеца, который сказал — расстрелять мало!.. Сволочь!

Глава II «Логика абсурда»

Оставь надежду Всяк сюда входящий

Dante

Первое, что поражает на Лубянке — гробовая тишина. Здание — как под воду опущенное, из-за стен не доносится ни звука, ни вздоха, ни кашля, ни шагов. Как будто и нет никого, как будто только ты одна.

Невозможно задать вопрос, невозможно получить ответ. Всякий вопрос пресекается таинственным и каким-то символическим «Тс-с-с-ссс!», которому невольно подчиняешься. Звенящая в ушах тишина нарушается раз или два в сутки странными звуками, доносящимися из глубины дворика-колодца, в который выходят окна камер. Эти странные звуки, которые так напугали меня в первую ночь…

Из приемной, где мы расстались с Марусей, меня повели куда-то длинными пустыми коридорами и не менее пустынными двориками. Оказалось, печатать пальцы и сниматься. В профиль, в фас. Все деловито и молча. Потом — в камеру. Мой рюкзак, мой милый Сельвинский, мои часы, увы, все было отобрано, о чем я расписалась в толстой книге.

Моя первая камера помещалась внизу, на первом этаже, огромная и мрачная, выкрашенная в коричневую краску. Там

можно было поставить по крайней мере восемь коек. Но стояла только одна — моя. И один привинченный к полу столик. И одна табуретка. И один железный бачок, — для мусора, вероятно, решила я.

Два узких, но высоких окна были забраны сплошными глухими щитами, так что только сверху виднелась узкая полосочка неба. На койке был матрас и белье, тоненькая, но все же подушка. Бока у меня болели после деревянных вагонных полок, я с удовольствием растянулась на койке и почти сразу заснула.

Проснулась не то поздно вечером, не то рано утром. Определить было трудно, за окнами было темно.

Проснулась от странных звуков во дворе под моими окнами. Это были шаги. Четкий военный шаг множества ног. Потом — слова команды. Что за слова — не разобрать, но — команда. И — раз, два! Сухой короткий стук!

Сердце у меня остановилось. Расстреливают! Тут, под моими окнами, Боже мой! Никто не кричит, не протестует, не молит.

Опять команда, опять печатают шаг. Так близко. Рядом. Так просто. Господи, как страшно!

Потом я догадалась: конечно же, это была всего лишь смена караула, а вовсе не расстрел!

Но тогда, в ту первую ночь, как все это было страшно!

В моей двери был глазок — кругленькая дырочка, и я видела, как время от времени над ней с той стороны поднималась крышка и к глазку приникал человеческий глаз. Сначала было как-то неловко, неудобно. Но потом — привыкла. Ко всему привыкаешь. И даже приятно было знать, что все-таки ты не одна, что там, за дверью, тоже человеческое существо, хоть и безмолвное.

Утром отворяется дверь и молча ставится половая щетка и совочек. Я догадываюсь, что надо вымести камеру. Но что же тут мести? Никакого мусора нет. Но я все-таки старательно мету, собираю горсточку пыли на совок, ссыпаю в бачок. Дверь снова открывается, совок и щетка забираются протянутой рукой.

— Пожалуйте на оправку! Это значило — в уборную, в которой был такой же «глазок», как и в камере. Но я все равно радуюсь — человеческий голос!

Перед дверью конвойный давал кусочек бумажки. Однажды совсем молоденький конвоир вдруг шепнул мне на ухо: — Барышня, вы бы бачок захватили...

— Что'?. Какой бачок? — не поняла я. — Тссс — испугался конвоир. Я очевидно спросила слишком громко, и покраснев, добавил чуть слышно: — Да мне что… Ведь вам же не хорошо…

Тут только я догадалась каково назначение бачка...

«Оправка» происходила только утром и вечером, но мне и в голову не приходило, что можно воспользоваться этим бачком. Потом, путешествуя этапом по тюрьмам, мне довелось испытать весь ужас жизни в переполненных камерах с одной «парашей» на всех.

Дверь камеры снова открывается и мне на стол кладут одиннадцать папирос.

Молча. Не спрашивая, курю ли я. И почему — одиннадцать?! Тут все загадочно и таинственно. Но раз дали папиросы, почему не закурить? Я же курила раньше. Если курить по одной в час — вот и одиннадцать часов! Стучусь в дверь:

— А спички?

В ответ часовой достает из кармана спички и зажигает одну. И все молча, как немой. Даёт мне прикурить. Спичек, значит, нельзя.

Потом еще раз открывается дверь. Часовой входит, идет к окну и открывает форточку (как будто я сама не могу этого сделать!). Но через час он ее закроет. Проветривает помещение. Так положено. Тут-то, в камере, где никого нет, он уж, наверное, скажет мне, который час.

— Который час? — совсем шепотом спрашиваю я.

— Тсс-с-с-сс!

И все же даже в стены Лубянки прорывается человечность. Открывается дверь:

— Кто здесь на «ф»?

В камере я одна, кто же еще может быть на «ф»?

— Инициалы?

— Фёдорова Евгения Николаевна.

— Соберитесь с вещами!

— С вещами?! Да какие у меня вещи, кроме одного-единственного кожаного пальто! С вещами! Наконец-то! Боже мой, домой! А как же допрос? Ведь еще не вызывали? Ну да потом, из дома вызовут! А почему ночью?

Я спешу, одеваюсь, как попало, не могу попасть в рукав пальто, а он смотрит в глазок, видит эту спешку, волнение, понимает безумную надежду. И вдруг не выдержал — пожалел. Открывается дверь и чуть слышным шепотом он говорит:

— Эта камера велика для вас, барышня. В другую камеру пойдете.

Все плывет перед глазами — стол, койка, дверь. Вот как! Значит, не домой, просто в другую камеру…

Я прихожу в себя. Мы идем коридором, потом поднимаемся по лестнице. Еще поднимаемся, и вдруг выходим на какой-то внутренний балкон, как хоры, по всем четырем стенам большого

квадратного зала. Сверху — стеклянный потолок, вдоль хоров двери с глазками и номерами. На каждой стороне по часовому.

Одну из дверей часовой отворяет для меня. Я получила маленькую, подходящую для меня одной камеру. Все здесь новенькое, все блестит. Нежно-зеленая высокая панель, белые стены, паркетный пол, блестящая решетка, которой забран радиатор. Из радиатора приятно тянет теплом. Ведь уже сентябрь — в Москве осень.

Если бы перенести эту комнатку туда, на нашу Скаковую, пристроить к нашим двум — очень бы неплохо получилось. Нам так не хватает лишней комнаты для детей. Окно маленькое, хотя тоже со щитком, но гораздо светлее, потому что это не на первом этаже, а на каком-то высоком. Вот и голубь прилетел и сел на щиток. Почему-то всегда около тюрьмы — голуби. Недаром и Ярошенко нарисовал их под окном с решеткой, помните?

Вот я и день живу в новой камере, и два живу, и три. А на допрос меня все не вызывают — чего же так спешили с моим арестом? Время тянется невыносимо медленно.

Новые страхи — дикие, нелепые — выползают, как серые тени, из углов. Забыли?! Что, если меня просто забыли? Перепутали бумаги, потеряли, и теперь неизвестно, сколько я буду так сидеть. Может быть, месяц? Вон, Маруся в Ростове четыре сидела! Я холодею от страха. Что же будет с мамой? Столько времени нет от меня писем. А потом придет чемодан из Красной Поляны. Она с ума сойдет! И я сойду, или уже схожу?! Я бросаюсь к двери, стучу, кричу:

— Почему меня не вызывают на допрос? Узнайте, сейчас же узнайте, почему меня не вызывают на допрос? Вы слышите, слышите?

За дверью полное безмолвие, как обычно, и я в отчаянии бросаюсь на койку. Но через несколько времени дверь вдруг открывается и мне протягивают лист бумаги, чернила и ручку:

— Напишите заявление!

Я хватаю бумагу и пишу — не заявление — заклинание, страстную мольбу: вызовите меня, вызовите! Я не могу больше, я с ума схожу!

Но и на другой день меня не вызывают.

В один из дней вскоре после переезда, поздно вечером, когда я уже спала, или во всяком случае лежала, дверь открылась и тихий бесстрастный голос сказал: — Соберитесь на прогулку.

На прогулку! Какое счастье! Правда, жаль, что уже темно, но все-таки может быть кого-нибудь увижу, что-то спрошу.

Вот мы идем по балкону, спускаемся по внутренней лестнице квадратного зала. Лестница покрыта ковром.

По бокам стоят часовые — как неживые, не шелохнутся. Все помещение залито ярким светом. Тишина. Мы выходим из зала на лестничную клетку. Конвоир нажимает кнопку, открывается лифт. Мы едем в лифте, но что за странность, как будто мы едем не вниз, а вверх? Я уже не спрашиваю, привыкла, что спрашивать бесполезно.

Приехали, выходим. Передо мной открывается узенькая дверка, вроде калитки. Меня запускают во дворик. Он совершенно пустой — кроме меня никого нет.

Я — на крыше Лубянки, в маленьком дворике, обнесенном высокими железными стенами. Яркие звезды над головой, доносящиеся снизу звуки. Такие знакомые, привычные уличные звуки.

Вот на площади скрежещет, заворачивая на круг, трамвай (тогда еще были трамваи и клумба посреди Лубянской площади, где стоит Дзержинский). Вот кондуктор трезвонит изо всех сил — это кто-то перебегает дорогу под носом трамвая; вот свистит милиционер. А теперь бьют часы на Спасской башне и я, наконец, узнаю, который час. Раз, два, три — не сбиться бы! — десять, одиннадцать.

Одиннадцать часов вечера, и я гуляю по крыше Лубянки. Топот ног и шум голосов внизу сливаются в неясный гул, как морской прибой.

Господи! Если сейчас на трамвай, на восьмерку — через двадцать минут будешь дома — с мамой, с ребятами. Несколько улиц отделяет их от меня. Это же чудовищно, это же противоестественно! Как смеют меня *силой* удерживать здесь! Запереть на замок, как животное, как собаку! Как они смеют, за что? Что я им сделала?

И снова идут дни за днями, и снова я пишу страстные послания — кому их передают?..

«Это чудовищно, — пишу я. — Вы еще не знаете, виновна ли я, а уже наказываете так, как наказывают убийц или Бог знает каких преступников. Я сижу в одиночном заключении, одна, без книг. Каждый день, как год. Я с ума схожу, а ведь я не совершала никаких преступлений! Моя мать тоже сходит с ума от беспокойства — это же бесчеловечно!»

Нет, мои заявления все-таки куда-то передаются.

Однажды открывается дверь и мне дают чистый лист бумаги, ручку и чернила:

— Выпишите книги.

Книги! Боже мой, какое счастье! Я спасена, я не сойду с ума!

— Сколько?

— Тсс-с-с-сс!

Ну ладно, выпишу побольше, кто знает, что у них там есть! И я начинаю писать помельче, чтобы поместилось побольше. Пишу все, что приходит на память, начиная от «Войны и мира» и «Саги о Форсайтах» до Есенина и Блока. Тороплюсь, (как бы не отобрали бумагу!). Ромен Ролан, Сервантес, Золя, Флобер, Вальтер Скотт, Марк Твен, Джек Лондон. И еще, и еще, скорей, пока лист не записан кругом. Уж что-нибудь из этого, наверное, найдется!

Проходит день, два, а книг все нет. И я опять прихожу в отчаяние, опять ни о чем не могу думать, только жду и жду — когда же?! Выкуриваю, теперь уже с наслаждением, все свои одиннадцать папирос до обеда, хотя каждый день даю себе слово растянуть до вечера. Я чувствую, что больше не могу, просто не могу. Остается лечь и умереть.

Но вот, в один прекрасный день скрежещет мой проклятый замок, дверь открывается и входит человек, нагруженный книгами. Он несет их осторожно, на вытянутых руках, придерживая стопку подбородком. Нет, не стопку — целую башню книг!

Первый раз за все время я заревела. Заплакала от счастья. Я готова была перецеловать каждый корешок, каждую страницу!

Дрожащими руками я перебирала их, узнавала, как старых, добрых, испытанных друзей. Я буду читать, перечитывать свое любимое, и остановившееся время, и звенящая тишина — все уйдет. А в следующий раз я попробую выписать еще и журналы — «Новый мир», «Иностранную литературу».

Кстати, интересно, когда будет этот «следующий раз»? И будет ли вообще?

При том неограниченном времени, которое у меня имелось для чтения — даже такая стопа книг не была слишком велика.

Как оказалось, книги меняли, приблизительно каждые дней десять. Их забирали, и следующие приносили через два дня. И это были тяжелые, несчастные два дня. Тянулись они просто бесконечно!

Какая прекрасная была у них библиотека!

Теперь, когда я знаю, что творилось на Лубянке в 37-м, когда людям было вовсе не до каких книг, когда они могли молить лишь об одном — чтобы их оставили в покое, когда с ужасом ждали момента, когда их вызовут на допрос — теперь мне детски-наивными, пустыми кажутся мои страхи, мое неистовое нетерпение. Но тогда все испытываемое мной казалось едва возможным пределом страданий.

Правда, долго пользоваться Лубянской библиотекой мне не пришлось — вскоре после начала допросов в моем деле

произошел совершенно неожиданный и окончательно фантастический поворот, после чего следствие мое пошло быстрым и бодрым темпом и окончилось меньше чем через два месяца…

Ночью открылась дверь, и меня спросили, кто здесь на «ф»?

— Инициалы?

— Фёдорова Евгения Николаевна.

— Собирайтесь на допрос!

Наконец-то! Сердце шарахается о ребра. Я спешу одеться, мои лыжные штаны сползают — из них выдернули резинку еще когда меня обыскивали «до нитки» перед тем, как отвести в камеру. Когда я спросила обыскивавшую меня женщину: — Как же я буду без резинки? — Она ответила односложно: — «Не положено».

Мы идем по бесконечному пустому коридору. Мой страж позади, я — впереди, руки назад. Заворачиваем, и снова бесконечный коридор. Все двери закрыты, везде тишина и безмолвие.

Но вот конвоир говорит негромко: «Приставить ногу». Я останавливаюсь у двери, он стучит.

— Войдите!

Он пропускает меня вперед. Кивком головы следователь отпускает конвоира. Впрочем, это не следователь, а следовательница.

Женщина примерно моих лет, может быть даже немного моложе. Очень хорошенькая. Короткие волосы уложены в изящную прическу. Правильные черты лица. Нежная ухоженная кожа. Выразительные темные глаза. Губы ярко накрашены, но это ей идет.

Правда, сейчас ее портит выражение какой-то брезгливости, какого-то досадного раздражения. Она чуть морщит свой хорошенький носик и с неприязнью роняет:

— Садитесь, Фёдорова.

Я сажусь на стул против нее. Нас разделяет стол. Она берет бумагу — протокол допроса — и начинает заполнять: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения…

Наконец, все графы заполнены, и она довольно долго с нескрываемой неприязнью и брезгливостью смотрит на меня с таким выражением, словно ей предстоит копаться в грязном белье. Но работа есть работа, и она приступает:

— Вы знаете, за что вы арестованы, Фёдорова?

— Нет, не знаю, я уверена, что это чистое недоразумение, и я прошу, товарищ следователь, разобраться как можно скорее, у меня мать, дети, и на работе никого… — не очень связно, волнуясь и спеша, объясняю я.

— Я вам не товарищ! — резко прерывает меня следовательница. — Это у вас там, в подвале, товарищи! А я вам не товарищ!

Я обалдеваю. В каком подвале? Я же не сижу в «подвале» — моя камера высоко. И какие «товарищи», когда я сижу в одиночке — или она не знает?!

Позже я узнаю, что она — «гражданин следователь». Все, кто не зэ-ка — граждане.

— Так за что же вы арестованы, Фёдорова?

Ах, если бы я знала, за что! Я ждала, что это мне скажет следователь, а она спрашивает у меня! Ведь я сама себе тысячу раз задавала этот вопрос. Сама придумывала всевозможные небылицы, но ничего подходящего так и не придумала.

Разговоры с Юрой Ефимовым? («вот за такие разговоры они и были арестованы»). Нет, не может быть. Наши разговоры были совершенно «домашними», ну, скорей уж «философскими», но никак не «политическими». И кроме того, у нас же не было никакой «группы», никакой компании — все наши разговоры мы вели только вдвоем, между собой. Нет, не может быть.

Вот, разве Артэк?..

— Может быть, это из-за истории с Артэком — неуверенно говорю я и пытаюсь рассказать ей, как все это было. В ожидании вызова на допрос я вспоминала эту историю снова и снова во всех подробностях и теперь готова была рассказать её следовательнице.

Артэк

Артэк в те годы был уже не просто известным детским оздоровительным лагерем на Южном берегу Крыма, а символом «заботы» Советской власти о детях, правда не о всех, а только о «лучших из лучших».

Я уже была начинающей детской писательницей и журналисткой. Несколько книжек для детей имелось в моем «багаже», и редакторы сулили мне «будущее».

Может быть, так оно и случилось бы, не приди мне в голову шальная мысль написать книгу об Артэке.

Начинающей писательнице ничего не стоило получить в ЦК комсомола бумажку в Артэк с просьбой принять меня и «создать условия», — каждая книга об Артэке — лишняя пропаганда достижений Социалистического строя!

Приехала я в Артэк весной 1934 года с моим пятилетним сынишкой Славкой и двоюродным братом Юрой Соколовым, с которым я была очень дружна (тоже будущим героем моего «дела»). Юра тогда нигде не работал и готовился к поступлению в МЭИТ.

В Артэке меня встретили без особого энтузиазма. Мне предложили место в общежитии, от которого я отказалась, попросив взамен палатку.

Палатку мы с Юркой поставили у самого подножия Аю-Дага, на высоком скалистом берегу с кусочком каменистого пляжа у воды.

Старшим пионервожатым — лицом в лагере, много значительней, чем директор, в тот год в Артэке был некто Саша Буланов. — представитель ЦК комсомола. Как потом я узнала, он сам собирался писать книгу об Артэке и навязавшийся «конкурент» был ему, конечно, ни к чему.

Если бы я узнала об этом раньше, возможно, у меня хватило бы ума не оставаться в Артэке. Но к тому времени, когда я узнала, я уже обжилась, уезжать не хотелось, и я решила, что даже если с книжкой и не выйдет — как-никак «соперник» из ЦК комсомола — все равно пожить тут, под крылом Аю-Дага, в собственной палатке, в терпентиновой роще — куда как хорошо!

И вот, однажды — событие. В Артэк приезжает сам Молотов! В его честь на стадионе вспыхнуло разом четыре пионерских костра, и весь Артэк продефилировал перед трибунами, показывая чудеса массовой гимнастики с обручами, цветами и факелами. Затем был дан грандиозный концерт. Молотов остался доволен. Он поднялся со своего места и сразу воцарилась мертвая

тишина.

— Пионеры и пионерки! — начал Молотов, чуть заикаясь и растягивая слова. Далее он поведал детям, какое у них радостное и счастливое детство, и какое безрадостное и несчастное было у него самого при проклятом царизме.

Позже, когда все отряды были выстроены на линейку к вечернему спуску флага, на специально сколоченную трибунку посреди магнолиевой дорожки снова поднялся Молотов. Тут ему на шею был торжественно повязан пионерский галстук под восторженный рев детей, и преподнесен фотоальбом «Жизнь Артэка».

Молотов, в свою очередь, подарил ребятам велосипед (!), — услужливо подкаченный Сашей Булановым к самой трибунке (я по своей критиканской въедливости подумала: «Интересно, кто же удостоится чести первым прокатиться на молотовском велосипеде? Лучший из лучших? Скорее всего это будет просто экспонат музея — ведь один велосипед на 2000 ребят вроде бы маловато»).

Тут произошла заминка. Как-то надо было закончить церемонию. Один из отрядов проскандировал:

— Ска-жи-те-нам-еще-что-ни-будь!

— Пионеры и пионерки, — снова начал Молотов, — укрепляйте ваше здоровье, ваши мускулы. Если каждый из вас прибавит хотя бы одно кило — это уже хорошо. Веселитесь, разучивайте новые песни и пляски. Если каждый из вас привезет в свой отряд хотя бы одну новую песню — это тоже хорошо.

Я запомнила эту «речь» от слова до слова, ибо именно она послужила началом разоблачения моей «антисоветской сущности».

На другой день, когда я шла с судками за обедом, навстречу мне попался Саша Буланов.

— Сегодня после отбоя собрание, ты знаешь? — деловито спросил он.

— Нет. А о чем будет собрание?

— Будем прорабатывать новые установки товарища Молотова.

— Новые установки? — искренне удивилась я. — Когда же Молотов успел дать новые установки? И какие?

Саша смотрел на меня с не менее искренним удивлением:

— Ты что, на вечерней линейке не была, что ли?

— Была.

— Так не слышала, что ли?

— Того что говорил Молотов? Слышала. Чтобы дети нагуливали килограммы и веселились. Ну и что? Артэк десять лет

существует для того, чтобы дети здесь поправлялись, пели, играли и не скучали — разве это «новые установки»?

По Сашиному лицу пробежала целая гамма: удивление, недоумение, недоверие, подозрение и, наконец, просто страх.

— Ну, знаешь! — развел он руками, решительно повернулся и быстро пошел прочь.

На собрание я не пошла. Хотя пойти бы следовало. И уж во всяком случае следовало бы припомнить один стишок, который я знала в раннем детстве:..

Птичка ходит весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя впереди
Никаких последствий…

Следующим событием было прибытие в Артэк двухсот юных «героев». Это были двести колхозных ребятишек, которые изобличили своих родителей в краже колхозного добра, двести маленьких «Павликов Морозовых»! Родителей героев отправили в тюрьму, а детей в награду за бдительность — в Артэк.

Их встречали с музыкой, и они гордо продефилировали по магнолиевой аллее между двух рядов выстроенных отрядов.

Среди героев был мальчик Проня. Не помню его фамилию, но хорошо помню его портрет в «Пионерской правде». Это был паренек лет 13–14, довольно рослый для своего возраста, но нескладный и длинноногий, как все подростки, с лицом полуидиота. Полуоткрытый рот, сопливый нос, часто мигающие сонные глаза. Соломенные волосы торчали в разные стороны.

Мальчик донес на свою мать, которая потихоньку собирала колоски на колхозном поле, чтобы как-то кормить семью.

Колоски после жатвы должны были собирать пионеры и сдавать в колхозную житницу.

Мать посадили, а «героя-сына» премировали поездкой в Артэк. По дороге Проня сочинил стихи. Стихи были о том, как он, Проня, выследил свою мать, а затем донес на нее. Стихи были плохие, безо всякого размера, с плохими рифмами.

На первом же пионерском костре Проня читал свои стихи, а дети хлопали ему и скандировали: «Будем, как Проня!»

На втором костре повторилось то же самое, потом — на третьем. И не было отряда, который не пригласил бы Проню на свой отрядный костер и не устраивал бы оваций молодому поэту.

Пионеры поехали на катере в гости в Суук-Су (дом отдыха ВЦИКа), и там Проня тоже читал свое произведение. Взрослые дяди не кричали: «Будем, как Проня!», но усердно хлопали в

ладоши и кричали «Браво!».

Чтение стихов о предательстве собственной матери и ажиотаж вокруг этого чтения были аморальны и антипедагогичны. Я это понимала, а комсомольцы-пионервожатые, Саша Буланов в том числе, не понимали.

Я все-таки была постарше, имела ли я право промолчать? И кроме того — я была писательницей, да еще к тому же детской писательницей. И свой долг я понимала так, что должна «вмешаться».

Я вспомнила, об одном удмуртском колхозе, куда попала, собирая материал для детской краеведческой книги. Молчаливые люди бросали на меня недобрые взгляды. Они принимали меня за «начальство» и угрюмо гадали, чего еще понадобилось этому начальству. По-русски почти никто из них не говорил и не понимал.

В центре, в партийном комитете мне пожаловались, что работать в Удмуртии крайне трудно: народ тупой, невежественный, противится советскому режиму, особенно в деревне. С колхозами до сих пор неблагополучно.

Мне рассказали, что наряду с правлением колхозов в деревнях зачастую продолжают существовать подпольные сходки стариков — совет старейшин, «кенеш» по-удмуртски. Кенеш всячески вредит государству, заставляя колхоз давать неверные сводки в район, преуменьшая количество надоя молока и количество снесенных колхозными курами яиц.

Зарывают в землю зерно — в общем, занимаются антиколхозной вредительской деятельностью. Ни аресты, ни высылки не помогают.

Тогда я ничего не написала. Я видела озлобленных, голодных, нищих людей и не сочла возможным судить, кто прав, кто виноват.

Но теперь я вспомнила об Удмуртии, и решила, что это как раз прекрасный материал, чтобы дать «урок» Артэку.

Я написала рассказ. Он так и назывался — «Кенеш». Маленький удмуртский мальчонка Гараська стал моим героем. У Гараськи было сложное положение: его отец был председателем колхоза, а дед — старейшим в кенеше.

> По ночам за плотно закрытыми ставнями собирались старики и толковали о том, куда припрятать зерно, каких телят прирезать и показать в сводке как «павших».
>
> Отец слабо пытался протестовать, но в конце-соглашался и писал так, как велели старики.
>
> Гараська слушал, лежа на печи, и ужасался всем

этим делам. Он даже попытался образумить отца. Поздней ночью, крепко прижавшись к широкой отцовской спине, он горячо шептал ему в ухо:

— Бать, а бать, ты зачем так? Зачем их слушаешь? Нехорошо ведь…

Отец, и сам измученный своим безвольем, сам не знавший, «куда податься» и на чьей стороне правда, в раздражении отколотил сына:

— Не лезь не в свое дело! Вздумали яйца курицу учить!

Мальчик долго колебался: он представлял себе, как вся деревня узнает, что его отец — вор, а он, Гараська, — сын вора! В школе его задразнят, никто не захочет играть с ним, сыном вора!

А батька? Ведь он же хороший, добрый. Это всё старики, он их боится, а сам — хороший, и мамку жалеет. И Гараську не со зла прибил, Гараська обиды на него не держит.

А если батьку за кенеш в тюрьму посадят?

Мальчик потерял сон, уроки не шли ему на ум, и огорченная Мария Васильевна ставила двойки прежде такому прилежному и хорошему ученику.

— Почему ты стал так плохо учиться, Гарась? — спрашивала она.

Вконец измученный, мальчик пришел к учительнице и все ей рассказал.

— Ну, успокойся, перестань, — ласково гладила его по голове учительница. — Ты хорошо сделал, что рассказал мне. В колхозе все должно быть по-честному, по-правде. Тогда и жизнь будет хорошая. — Но мальчик рыдал и не мог перестать.

— Успокойся, с твоим отцом ничего не будет, ему разъяснят, он поймет, а кенеш разгонят. Все будет хорошо.

Старая учительница напоила Гараську сладким горячим чаем и оставила у себя ночевать. Наутро, прикрыв разметавшегося во сне мальчика лоскутным одеялом, тихонько вышла из дома и пошла в район. Это был ее долг, так она его понимала.

Когда она возвращалась домой, у реки она увидела толпу народа. Безжизненное тело Гараськи лежало на берегу. Над ним причитала мать. Испуганные ребятишки, школьные товарищи Гараськи, жались по сторонам и перешептывались: «Утоп Гараська… Утоп…»

Рассказ этот я прочла на первом же пионерском костре, куда меня пригласили. Ребята слушали внимательно, девочки вытирали покрасневшие глаза, а мальчики притихли.

— Видите, как трудно совершить подвиг? — сказала я. Дети молчали.

На другой день, проходя лагерным парком, я заметила, что все пионервожатые, завидев меня, быстренько сворачивают в боковые аллейки. Не приходила к нам в гости и влюбленная в Юрку пионервожатая Ниночка. Это было странно.

Так прошел день, другой. На третий Ниночка прибежала взволнованная, красная, со слезами на глазах. Запинаясь, она спросила:

— Вы до сих пор ничего не знаете?

Оказалось, что уже три дня, как издан приказ о моем немедленном изгнании из Артэка, только никто не решался сказать мне о нем. Не сказали и на следующий день.

Наконец, я сама отправилась в контору и напрямик спросила у директора — правда ли, что есть приказ?

Приказ был. Размашистым и твердым почерком в толстой книге приказов было написано, что в связи с антисоветским выступлением на пионерском костре, писательнице Фёдоровой предлагается немедленно покинуть Артэк.

— Но, позвольте, — возмутилась я, — «Кенеш» вовсе не антисоветский рассказ! Я только показала настоящую глубину и сложность детского подвига, совершенного во имя утверждения социальной системы.

Директор молчал, как-то неопределенно поводя плечом. Наконец, он сказал:

— Ведь вам известно, что политическое руководство лагерем возложено на пионервожатых. Их коллектив возглавляет Саша Буланов. Я в это не вмешиваюсь.

Тут внезапно появился и сам Саша Буланов.

Я стала требовать, чтобы раньше, чем я уеду, было назначено собрание пионервожатых, где я прочту свой рассказ и разъясню, как я его понимаю, если они не поймут. Пусть обсудят.

После долгих споров и увещеваний это собрание было назначено.

Вожатые молча садились за стол, не глядя на меня, листали журналы или что-то записывали. Наверное, всем было не по себе и хотелось спать, но, привычные к дисциплине, они не роптали и терпеливо ждали Сашу Буланова.

Наконец, явился и он. Подчеркнуто сухим и деловитым тоном объявил, что на повестке дня стоит всего лишь один вопрос: обсуждение антисоветского выступления писательницы

Фёдоровой.

— Прежде, чем называть мой рассказ «антисоветским выступлением», я хотела бы, чтобы товарищи познакомились с его содержанием, — так я начала защиту «Кенеша».

На выступление мне было дано 15 минут. Все же я решила читать весь рассказ, считая, что невозможно говорить и судить о том, чего никто не читал.

Как можно скорей (чуть не скороговоркой) я прочла рассказ. Но как только начала говорить о его смысле, Саша меня прервал — мое время истекло и наступило время для «прений».

Однако никаких прений не было. Каждый выступавший слово в слово повторял то, что сказал предыдущий:

— Классовый враг, антисоветская пропаганда, вредительская деятельность, под маской писательницы пролезшая…

О рассказе словно забыли, будто и не было его вовсе. Предметом обсуждения был не рассказ, а я — моя антисоветская психология и вредительская деятельность.

Я ушам своим не верила. Слова о моей контрреволюционной деятельности повторялись с большим азартом и ненавистью, и я с ужасом видела, что все они, эта молодежь, сама еще едва вышедшая из детского возраста, действительно искренне верит, что перед ней страшный классовый враг, которого вовремя успели разоблачить.

Достаточно было того, что им на него указало «руководство» — уж оно-то не ошибается!

Они забыли про сон, про усталость, оживились, глаза их заблестели. Хотя никто не мог сказать ничего другого, кроме того, что им сообщил Саша Буланов, они щеголяли друг перед другом гневом и запальчивостью.

Я поняла, что говорить что бы то ни было — бесполезно. Слова, как горох, отскочат от железного занавеса, отгородившего не только другие страны мира, но и сердца и разум этих людей от нормальных человеческих мыслей и представлений.

Я забрала свой «Кенеш» и побрела к Аю-Дагу. Луна уже поднялась высоко над морем, и ливанские кедры в Артэкском парке отбрасывали четкие сине-черные тени.

Мы уехали на другой день.

Я тогда была членом Групкома писателей и туда принесла свой злосчастный рассказ, просила прочитать и дать на него рецензию: Вдруг у меня и вправду «мозги набекрень», и рассказ можно толковать, как «антисоветский»?

Рассказ попал к писателю Малышкину, одному из первых советских писателей-коммунистов. Его повесть «Люди из захолустья» была довольно широко известна в двадцатых годах.

Через некоторое время я получила рецензию. К моей великой радости, она была положительной.

«Классовая борьба — не конфетка, Фёдорова совершенно права, — писал Малышкин, — нечего сюсюкать с детьми и „играть“ в классовую борьбу. Что тяжело — то тяжело, надо уметь смотреть правде в глаза»…

Понятно, что я не могла всего этого рассказать моей следовательнице — никакой бы ночи не хватило!

Но следовательница меня перебила почти с первых же слов:

— Но ведь ваш рассказ напечатан? У нас, как будто, существует советская цензура. Если бы ваш рассказ был действительно антисоветским, в чем, как вы утверждаете, вас пытались обвинить, то уж вряд ли цензура его пропустила бы. При чем тут ваш «Кенеш» и Артэк?

Действительно, при чем? «Кенеш» никак не фигурировал в моем деле, хотя теперь я знаю наверняка, что именно он был *подлинной* причиной моего ареста. Именно тогда я «попала под рефлектор», — как выражался Юра Ефимов, — и на меня «завели дело». — «На нас на всех заведены дела», — неопределенно предостерег он. Напрасное предупреждение, уму-разуму меня не научившее.

Так вы не знаете почему вы арестованы?

— Так как же, Фёдорова? Так-таки и не знаете, за что вас арестовали?

Я пыталась объяснить, что ничего не могу предположить, что я всегда хорошо работала, получала премии и похвальные грамоты. Тут она изрекла сентенцию о том, что «у нас все вредители и враги народа прекрасно работают».

Как ни дико это кажется теперь, я чувствовала себя *виноватой* в том, что не знаю, не понимаю, за что я арестована, в чем моя вина. Как будто не следователь должен *доказать* мою вину, но я сама должна была *доказать свою невиновность.* А как я могла доказывать, не зная, в чем меня обвиняют?

Получался какой-то заколдованный круг, и я в растерянности металась в нем.

Наконец, видя, что сама я ничего путного в обвинение себе придумать не могу, Мария Аркадьевна — так звали мою следовательницу, — решила подбросить мне вопрос:

— Фёдорова, с кем вы были близки из «бывших»? Ну, из бывшей аристократии?

Я — и «бывшая аристократия?» Час от часу не легче! Да на моем веку уже и бывшей-то аристократии не было!

Ведь во время революции мне было всего одиннадцать!

— Да ни с кем, — крайне удивленная, растерянно отвечаю я.

Мария Аркадьевна понимает, что надо уточнить, иначе я и сто лет не вспомню, к какой именно «аристократии» я была близка.

— Не думайте, что я говорю о каких-нибудь божьих старушках, — она снова презрительно сморщился хорошенький носик. — Нет!

— Но разве у вас не было сверстницы из княжеской семьи?

Ах, вот оно что! Да, да, конечно же была!

Это — Бебка Щербатова, еще когда мы жили в Смоленске, в самом начале революции. Конечно!

— Но, позвольте, ведь ей, как и мне, было двенадцать лет! Какое же это может иметь отношение? А ее родных я вообще никогда не знала, они были расстреляны тогда же, в 1919-м, кажется, году… — Я осекаюсь…

Я пытаюсь рассказать что мы с Бебкой учились в одной школе, в одном классе…

Действительно, дружили. Но родители? Я никогда не бывала у них в доме, какая же «близость»? Потом мы с мамой уехали в деревню, а Бебка уехала в Петроград, там оказался кто-то из ее родственников. На этом и кончилась моя детская дружба с Бэби Щербатовой.

— Когда вы получили от нее последнее письмо? — это глядя на меня в упор, уверенно и обвиняюще.

— Я никогда и первого не получала!

— Врете! — как пощечина — веско, резко и неожиданно.

Я каменею. Так со мной не говорил никто и никогда в жизни. Что я могу возразить? Как могу доказать, что это — чистая правда? Что я никогда ни одного письма от Бебки не получала?

— Кто вам передавал привет он нее?

— Никто никогда не передавал, — но я сама слышу, как испуганно дрожит мой неуверенный голос.

— Врёте!

Следовательница звонит. Тотчас входит конвоир.

— Уведите, — кивает она на меня. А мне вслед:

— Подумайте, Фёдорова, крепко подумайте. Пока у вас есть время подумать!

О, его было у меня более чем достаточно! Даже книги, мои добрые друзья, изменили мне.

Я читала страницу, две, десять — и тут только спохватывалась, что ничего не понимаю, не знаю, о чем я читаю.

Мысли мои мечутся, уносят меня за тридевять земель, в далекие дни моего детства.

…В 1917 году, в самый канун революции мы с мамой переехали из Херсона в Смоленск, где жили мамины сестры. В холодный, голодный, промерзший Смоленск. Город, в котором разобраны все заборы и обнажены сады и палисадники с голыми деревьями, обглоданными козами.

С Веселухи — башни Смоленского кремля бухает пушка, посылая снаряды куда-то на другой конец города. С Авраамиевского монастыря непрерывно строчит пулемет. Стекла в нашем доме полопались — дом стоит как раз под самой Веселухой — и нас, детей, загнали в чуланчик без окон — каморку, но нам все интересно и мы стараемся что-то увидеть через приоткрытую в двери щель...

Мы с мамой приехали в Смоленск к её сестре, а моей тете Юле как раз в тот день, когда там начался «переворот», как тогда говорили...

Княжна Щербатова

Когда на второй год революции, Советская власть в Смоленске установилась окончательно и жизнь начала входить в свои новые формы, на смену гимназиям начали открываться первые советские школы первой и второй ступени.

Мне вот-вот должно было исполниться 12 и я попала в первый класс второй ступени.

Рядом со мной села девчонка в таком же рыжем башлычке, как и мой. Ее смешно звали Бебкой. Башлыки мы не развязывали и шуб не снимали, потому что школа была нетоплена, чернила в чернильнице замерзали.

Конечно «Беби» не было ее настоящим именем. Так ее звали потому, что она была младшей в семье, где все было «англизировано», — это была семья князей Щербатовых, известных смоленских помещиков.

Уроков почти не было, и ученики большую часть времени были предоставлены самим себе.

Вскоре мы с Беби очень подружились. Была она немного старше меня, много энергичней и предприимчивей, отчаянная на всякие выдумки, и довольно взбалмошная.

В то время взрослым было не до детей. Дети росли сами по себе.

Более старшие — увлекались революцией, младшие росли настоящими беспризорниками, не признавая никаких авторитетов.

Занятия шли через пень-колоду. Не было дров, не хватало чернил, почти не было учителей — многие из них не хотели

сотрудничать с большевиками.

Старшие учащиеся заседали в «учкомах», младшие — гоняли по улицам.

Мы с Бебкой тоже были предоставлены самим себе. Моя мама с утра до вечера работала в школе, потом еще в каком-то детском клубе, где дети занимались кто чем хотел, играли во что-нибудь, а главное — получали горячую картофельную лепешку — дранку, зажаренную на постном масле — паек члена клуба.

Бебкины родные — мать, бабушка, сестры, брат, немного старше самой Бебки, (отец давно с ними не жил и Беби его не помнила) — вскоре после нашего знакомства были арестованы. Младшей из сестер было 16 лет. Говорили, она была очень красива, но я ее никогда не видела.

Беби приютила семья, давно знакомая со Щербатовыми, и Беби на положении «гостьи» пользовалась неограниченной и бесконтрольной свободой.

Нельзя, похвастать, чтобы нашу свободу мы использовали слишком достойным образом.

Правда, значительная часть дня уходила на добычу пропитания. Утро начиналось с очереди за чайной ложечкой сахарного песка. Ее высыпали на протянутую бумажку, или просто в подставленную ладошку. Если ты хотел получить вторую ложку, можно было снова встать в очередь.

Очередь подвигалась довольно быстро — ведь нигде ничего не отмечалось, не было никаких карточек или талонов Не надо было считать деньги — все выдавалось бесплатно. Но все же, как ни быстро подвигалась очередь, растянувшаяся квартала на два-три, — это занимало порядочно времени.

Затем следовала очередь за хлебом (200 гр), которого иногда приходилось ждать часами, чтобы не прозевать.

Затем — очередь за супом с головками вобл и намеком на пшено. Суп, вызывавший негодование скептиков и остроты веселых оптимистов: В самом деле, почему головы?! Куда же девалась всё остальное? Или нынче вывелся особый сорт головохвостых вобл?!

Надо сказать, что оптимистов было значительно больше, чем скептиков. В основном, люди переносили невзгоды эпохи военного коммунизма легко и весело — это был общий подъем, взлет радостной надежды.

А нам, ребятам, все было занятно и интересно, и свободного времени оставалось сколько угодно — ведь не надо было учить уроки и готовиться к экзаменам.

Это время мы с Бебкой использовали для всевозможных развлечений по нашему собственному усмотрению и вкусу.

Любимым нашим трюком было прицепиться сзади к крестьянскому возу, вскочить на полозья на всем ходу.

— Подвези дяденька!

Иной «дяденька» угощал кнутом, иной, добродушно поругивал: — Ну, куда лезете, непутевые? — Но с полозьев не прогонял. Не брезговали мы и прокатиться на трамвайной «колбасе», когда начали ходить трамваи.

Самое же увлекательное, хотя, и «опасное» — занятие было отвязать пару оседланных лошадей, привязанных у Военного штаба или еще какого-нибудь учреждения, и, благополучно улизнув на них, дернуть за город, промчаться галопом по шоссе, вцепившись в лошадиную гриву, чтобы не слететь.

Стремена, до которых не доставали ноги, хлопали по бокам лошади, душа замирала от страха и наслаждения!

Впереди неслась Бебка, которая не боялась ничего на свете и меньше всего — сломать себе шею, а за нею я, готовая скорей умереть, чем показать, что мне страшно…

Трусость была самым позорным и презираемым чувством.

Если нам удавалось усидеть на лошадях, мы приводили их обратно и попросту оставляли там, где взяли, не привязывая, чтобы не попасться.

Бебка действительно страстно любила лошадей и прекрасно их знала. На уроках она рисовала толстым, синим карандашом (единственным, который у нее был, — но и это тогда у нас считалось огромным богатством) синие лошадиные морды и ноги. И надо сказать, рисовала очень хорошо. Грациозные лошадиные головки с умными глазами и настороженными ушами были как живые. Лошадиные головы, ноги, хвосты украшали все поля её ученических тетрадок и книг, а заодно и моих. Это заставляло меня еще больше «преклоняться» перед Бебкой.

У нее был настоящий талант и страсть к лошадям. Она хвасталась, что может усидеть на любой, самой бешеной, лошади. Я не желала оставаться в дураках и хвасталась, что тоже могу, хотя и не была очень в этом уверена.

Щербатовы, до ареста, всей семьей, кроме отца, жили в Смоленске на Казанской горе, в доме с большим садом, к тому времени почти съеденном козами, своими и чужими.

Бабушка ухаживала за больной княгиней, которую не положено было тревожить, и Бебка видела мать только когда ее впускали на минуту, чтобы на ночь поцеловать ей руку.

Что делали старшие сестры Бебки, я не знаю, а единственный брат Дмитрий, на два года старше Бебки, не делал ровно ничего и изводил Бебку и меня как только мог. Он забрасывал нас репейниками, больно дергал за косы или с диким воем

выскакивал на нас из-за кустов. Мы старались не попадаться ему на глаза и держались от щербатовского сада подальше. Жаловаться на него было бесполезно: он был единственным мальчиком в семье, любимцем и баловнем бабушки, женщины суровой и непреклонной, на которой лежало все воспитание детей.

В те годы — 18-й и 19-й — в Смоленске все, кто только мог, заводили коз. Это были удобные животные, их не надо было кормить, они сами кормились в садах, заборы которых давно были разобраны и спалены в буржуйках. Зимой они объедали декреты советской власти, расклеенные на тумбах. Декреты были на толстой желтой бумаге и пришлись козам по вкусу.

Изредка коз ловили, но большей частью не обращали никакого внимания. Было не до садов и не до декретов. Козы давали молоко и спасали маленьких детей от голодной смерти.

Мы тоже спохватились, что коза нам необходима, тем более, что у тети Юли должен был родиться ребеночек. За шелковый бабушкин кринолин мы выменяли Катюшку.

Это была небольшая безрогая козочка, больше похожая на козленка. Но баба, ее хозяйка, божилась, что Катька «обгулялась» и к осени непременно окотится.

В конце концов она таки окотилась, и это было очень кстати, потому что у тети как раз родилась дочь Олечка и те два стакана козьего молока, что давала Катюшка, ей хватало для жизни.

Новорожденная Олечка весила четыре с половиной фунта, и когда ее принесли домой, она была чуть больше месячного котенка. У тети, конечно, никакого молока не было, и выкормила Олечку наша Катька.

У Бебки было целых две козы — Бебека и Мемека. Обе старые, с большими животами и с огромными, страшнющими рогами. С козами справлялась только Бебка — ее они слушались и только ей давались доиться.

Сначала они набрасывались на мою беззащитную безрогую Катюшку, но потом привыкли, и мы мирно бродили по оврагам все впятером. Мы с Бебкой залезали на плакучие ивы и оттуда бросали козам длинные зеленые ветки.

Вообще, летом коз ничем не кормили. Целыми днями они слонялись по городу, добывая себе пропитание где подвернётся, объедали кусты сирени, обгладывали молоденькие яблоньки, сдирали афиши с будок и пощипывали кое-где пробивавшуюся травку.

На зиму им заготавливали и сушили веники из березовых и осиновых веток, которые им не очень нравились, но позволяли не подохнуть с голоду.

Где-то под Смоленском был завод подсолнечного масла. Часто на улицах города можно было видеть обозы деревенских дровней, нагруженных плитками подсолнечных жмых. Мы с Бебкой выпрашивали кусочки жмых для наших коз, которые с удовольствием поедали их, впрочем, и сами мы с неменьшим удовольствием жевали эти жмыхи!

Иногда нам удавалось выпросить кусочек, а иногда мужичок замахивался кнутом и тогда мы решались на «экспроприацию»: Попросту хватали по плитке жмыха и бросались в разные стороны.

Возница орет: — Стойте, волки вас заешь!.. и бросается за нами. Но сразу за двоими не угнаться — он бежит за одной из нас. Та бросает свою плитку, но зато другая в это время оказывается уже за пределом досягаемости! И таким образом тоже мы добывали нашим козам корм.

Впрочем, иногда нас привлекали не только отчаянные приключения. Сближала нас с Бебкой и настоящая любовь к природе и просто к бродяжничеству.

Иногда безо всякой практической цели мы уходили за город, бродили по заснеженным зимним дорогам и были совершенно счастливы.

Однажды мы чуть-чуть не замёрзли, уйдя под вечер далеко за город и надеясь, что нас пустят переночевать в какой-нибудь деревне. С собой мы взяли горсточку соли — вполне приличную «плату» за ночлег, по тем временам.

Но до ближайшей деревни мы добрались только в темноте и крестьяне побоялись впустить нас. Напрасно мы стучались в двери всех хат. Прошли всю деревню, но никто не отпер, и мы пошли дальше, провожаемые дружным, неистовым лаем деревенских собак.

Наступила ночь — звездная, морозная, снег скрипел под валенками (было больше 20 градусов мороза, как мы узнали потом). Но идти было тепло — даже жарко, только мы очень устали и глаза совершенно слипались. Мы совсем было решили заночевать в поле, закопавшись в снегу. Пожалуй, живыми нас вряд-ли после этого откопали бы! Но тут на наше счастье нас нагнал мужичок на дровнях, подвёз нас до своей деревни и пустил к себе переночевать. Как убитые заснули мы на теплой печи, рядом с хозяйскими ребятишками.

А утром хозяева в обмен на нашу соль дали нам еще по большой ароматной ржаной лепешке необыкновенной вкусноты!

…Никогда не забуду этого великолепного зимнего утра, бледно-голубого прозрачного неба, сверкающего разноцветными искрами снега, белых берез и синих теней от них… И белых

столбиков дыма, поднимающихся из каждой трубы… И аромата наших теплых ржаных лепешек, который мы вдыхали с наслаждением и вожделением — мы их не трогали, чтобы съесть потом, по дороге домой…

Были у нас с Бебкой и другие, более серьезные интересы «философского» характера.

Моя семья не была атеистической, но и религиозной ее тоже назвать было нельзя. Мама считала себя «верующей», как она сама говорила — в память своей матери, и в церковь она ходила только по большим праздникам и то к службам, в которых было красивое пенье...

Даже я помню «архангельский глас» во время чтения 12 Евангелиев в четверг на страстной неделе, после которого мама считала, что можно уходить домой, так как больше «ничего интересного не будет».

Но с Бебкой все обстояло по другому: Её воспитали в строгом почитании церковных обрядов, заставляли говеть и исповедоваться, часами простаивать на длиннейших и скучнейших службах.

Первое, что она оценила оставшись на «свободе» — это то, что теперь можно было ко всем чертям послать все службы и молитвы на ночь, которые бабушка заставляла ее читать, стоя на коленях по полчаса. Так, по крайней мере, ей казалось.

Теперь можно было жить в своё удовольствие и потом не потеть и не каяться на исповеди, так как на исповеди Бебка не считала возможным соврать.

Однако, как ни приятна была такая «духовная свобода», свалившаяся на Бебку после того, как она лишилась опеки своих родных и, главным образом бабушки, которая ее усиленно воспитывала, все же совесть немного мучила и беспокоила ее. Поэтому немудрено, что «философско-религиозные» вопросы занимали ее, и заодно стали занимать и меня.

Конечно, всё для нас сводилось к простейшему примитиву — есть Бог, или нет? Накажет он Бебку за пренебрежение к её религиозным обязанностям, или не накажет?

В конце концов, мы решили, что в этом можно убедиться простым экспериментальным способом.

Христос, по нашим понятиям, был «очень верующим» и потому с ним происходили разные чудеса.

Если, рассуждали мы, подобно Христу, мы вручим себя ВСЕЦЕЛО воле божией, положимся на его милость и доброту — неужели же он, — БОГ, не отнесется к нам милостиво и не выкажет нам этого каким-нибудь самым простым и понятным способом?

Для такого «запроса» к Богу мы придумали маленький простой эксперимент. Пустяковое, даже не Чудо, а малюсенькое «чудечко», которое, конечно же Богу ничего не стоит сотворить для того, чтобы доказать нам свое существование.

В Смоленске был городской парк, называвшийся «Лопатинским садом», по имени богачей Лопатиных, которым он когда-то принадлежал. В Лопатинском саду было небольшое подковообразное озерцо, по которому летом плавали лодочки с влюблёнными парочками, а зимой устраивался каток.

Была поздняя весна. Снег почти весь стаял. Тронулся лёд на Днепре, а озерцо в парке всё еще стояло подо льдом, ставшим серым и грязным, покрытым огромными лужами и трещинами. Каток давным-давно уже закрылся.

Этот сад и озерцо с тающим льдом и были выбраны местом нашего богословского эксперимента. Если Христос, благодаря своей вере мог запросто ходить по волнам, то неужели богу трудно провести нас через тающее озерцо? Конечно, мы не Христосы, но ведь и в озерце не морские волны, и все же кое-какой ледок еще держится!

И вот, мы, крепко-накрепко «вручив себя милости божией», смело двинулись через озеро, как были, еще в зимних шубах и башлычках.

Не дойдя и до середины, мы убедились что «Бога нет». Лед под ногами разъехался и мы с головой погрузились в ледяную воду. До сих пор помню первое ощущение — как будто обдало кипятком!

Тут уж было не до милости божией, мы вынырнули и стали орать благим матом.

Прибежали какие-то солдаты и вытянули нас, отчаянно ругаясь при этом. Хорошо, что еще удалось упросить их не отводить нас в милицию.

Я помчалась домой, надеясь как-нибудь незаметно переодеться и высушиться до прихода мамы.

Все сошло гладко, хотя шуба еще дня два была сыроватой. Мама ничего о «философско-религиозных» вопросах не узнала, а у нас с Бэбкой даже насморка не случилось — нам все было — как с гуся вода!

…Но венцом всех наших похождений явилась история с курами.

Понятия о нравственности вообще были у нас не только смутными, но и своеобразными. Все истины были смещены. Бога, как мы лично «убедились» — не было. У князей Щербатовых было отнято имение, имущество. Даже Бебкины игрушки красовались теперь в «народном музее» (Чем она очень гордилась!).

Отсюда довольно логично вытекало: у кого много — можно отнять, это будет только справедливо.

Всегда хотелось есть. Суп из воблиных головок и дранки из картофельной шелухи не очень насыщали.

А в деревне мы видели целые табуны кур, мирно копавшихся под плетнями огородов. Почему и нам не взять себе одну, хотя бы? Все равно у хозяина останется ещё много…

В конце концов, мы украли курицу… Это была великолепная чёрно-бронзовая курица, с красноватым отливом… Желтое ожерелье опоясывало шею. Крупная и тяжелая. Мы поместили её в наш сарай. Маме я сказала, что выменяла её на мою браслетку из «нового золота» — в то время часто меняли бельё или какие-нибудь вещи на продукты у крестьян. Меня мама тоже иногда посылала за картошкой или молоком в обмен на наволочку или полотенце.

…Когда наша курица снесла первое яйцо — крупное, гладкое, смуглого цвета! — ликованию нашему не было предела!

Со второй курицей получилось хуже. Когда мы охотились за ней, нас заметили. Мы сунули её в мешок и помчались удирать со всех ног. Мы летели стрелой добрый километр, и бедная курица задохлась в мешке болтаясь за спиной у Бебки.

Однако мы здраво рассудили: задохлась ли курица или просто зарезана — какая, в сущности, разница? Жаль конечно курицу, но уж раз так получилось — не пропадать же добру зря! Мы ощипали её и принесли моей маме, снова, как «выменянную».

Ну и пир же это был! Курица оказалась на редкость жирной и просто таяла во рту. Мама удивлялась, как я сумела выменять такую замечательную курицу?!..

Но, как всегда, всему приходит конец и всё «тайное становится явным»! Всё раскрылось. Мама нашла «выменянную» браслетку, которую я просто куда-то засунула. Разразилась гроза и… я во всём призналась.

Много было горьких слов, слёз и обещаний, что такое больше никогда не повторится. Мама потребовала, чтобы оставшаяся в живых курица (которая продолжала нести такие великолепные яйца!) была немедленно возвращена хозяевам, а Бебкиной ноги чтобы больше не было в нашем доме, раз и навсегда!

Мамины решения всегда отличались радикальностью и непреклонностью. Нашей дружбе с Бебкой был нанесен сокрушительный удар.

Конечно, мы продолжали тайно от мамы встречаться от случая к случаю, но нашим «вольным похождениям» пришёл конец. Я подозреваю что мама догадывалась о наших тайных встречах, но делала вид, что ей ничего не известно и никогда не

спрашивала меня о Бебке, очевидно боясь поставить меня перед необходимостью солгать.

Но всё же еще один единственный раз Бебке было суждено побывать в нашем доме при очень печальных для неё обстоятельствах.

Когда пришла весна 1919 года и зазеленели далекие перелески, вся семья Щербатовых — брат Дмитрий, который дразнил наших коз и дергал нас за косы, сестры, княгиня-мать и восьмидесятилетняя бабушка — все были расстреляны без суда и следствия.

За наглухо закрытыми ставнями люди испуганно шептались: «Какой ужас! И за что, почему? Неужели только за то, что были князьями?

Но ведь всё имущество было национализировано! И причем же дети?»

Передавались романтические слухи: Шестнадцатилетняя красавица княжна Ирина сказала перед расстрелом: «Как грустно умирать молодой».

Что сказал четырнадцатилетний Дмитрий и восьмидесятилетняя бабушка — было неизвестно.

Изо всей семьи только бабушку Бебка оплакивала горько, только её ей действительно не хватало.

Бебка осталась совсем одна, квартира была опечатана и всего-то хозяйства у нее осталось только Бебека да Мемека.

Вскоре маме предложили место единственной учительницы начальной школы в деревне Боровой в часе езды от Смоленска по железной дороге. В заработную плату входили кое-какие продукты, собираемые с родителей учеников. Мама согласилась, и мы стали готовиться к отъезду. В связи с этим мама позволила мне позвать Бебку к нам домой, чтобы проститься с ней.

Когда она появилась, она выглядела слегка осунувшейся и немного печальной. О семье она не говорила. Только раз упомянула бабушку, и отвернулась, чтобы не показать набежавших слез.

Она рассказала, что в Петербурге отыскались какие-то её дальние родственники, к которым она собирается уехать как только продаст коз.

Так наши пути с Бебкой разошлись навсегда.

Что я знаю о ней теперь? Где она, чем занимается? И почему бы, ставши взрослой, не решила она отомстить за смерть родных? Ведь Бебка всегда была решительна и смела. Разве не могла она попытаться организовать тайное общество для борьбы с советской властью, или не организовать, а войти в таковое, если оно вообще существует. Может быть, общество провалилось, и все его члены

арестованы, сидят тут же, на Лубянке, рядом со мной, может быть, вот за этой самой стеной? Их допрашивают, заставляют называть всех, кого они знают, кого они знали. Бебка вспоминает и называет меня. И вот, я арестована за связь с тайным политическим обществом, о котором ровно ничего не знаю. Господи, как же я смогу доказать это?

Как потом оказалось, все, что бы я ни говорила, все оборачивалось против меня. Самое лучшее, что я могла бы делать — ничего не говорить и рыдать, как Маруся. Тогда, быть может, я и наплакала бы себе «пять лет» вместо Военного Трибунала… Но, забегая вперед должна признать, что техника запугивания подследственного у них была отточена до совершенства.

Больше ни разу, ни на одном допросе фамилии Щербатовых упомянуто не было. Весь этот фарс понадобился только для того, чтобы оглушить меня перед следующими допросами, а главное — для того, чтобы в приговоре Военного Трибунала написать: *«в прошлом близкая к семье князей Щербатовых расстрелянных по Савинковскому делу».*

Мало того, что князья Щербатовы были расстреляны когда мне было двенадцать лет! Так еще и расстрелянными они оказались по «Савинковскому делу», которое проходило в 1924 году.

Их расстреляли, так сказать для верности, вперед — в 1919-м!

В СССР — это преступления

Когда я переступила порог Лубянки, у меня и в мыслях не было хоть в чем-нибудь обмануть «органы», прославляемые советской прессой, как идеал честности, справедливости и коммунистической «чистоты». Я наивно ожидала, что они сразу же поймут, что я ни в чём не виновата и что всё это сплошное недоразумение.

Увы, оказалось не так-то легко что-то «рассказать» следователю. Я должна была только ОТВЕЧАТЬ, а не рассказывать. Никто моих рассказов выслушивать не собирался. Вопросы же задавались один диковиннее другого, на мой взгляд, а почти все мои ответы вызывали брезгливое и убеждённое — «в р ё т е!»

Я не собиралась ничего от них скрывать, но они ни в чем мне не верили. Я не чувствовала себя в чем-нибудь виноватой, но их поразительная осведомленность обо мне приводила меня в крайнее изумление.

Она была просто сверхъестественной. Они не только знали — и знали совершенно точно — когда и где я бывала, что делала и что говорила, но даже о чем думала и о чем могла подумать! Они помнили это лучше, чем я сама. И, главное, все это было совершенной правдой! Все было именно так.

Не так было только то, с какой точки зрения смотреть на это. Если я что-то критиковала, с чем-то не соглашалась, то для того, чтобы это исправить, насколько возможно. А с «их» точки зрения — для подрыва Советской власти…

Теперь я уже не рвалась на допрос окрыленная надеждой, что вот сейчас меня выслушают, все разъяснится и меня выпустят на свободу. Наоборот, я поняла, что всё что я не скажу на допросе, будет вывернуто наизнанку и использовано против меня.

Перед каждым допросом я теперь мучительно старалась припомнить где, когда и при ком я могла ляпнуть что-нибудь такое, что может быть истолковано как что-то антисоветское. И… не могла.

…На допросах оказалось известным, что я кому-то сказала про государственные займы, проводившиеся в те годы, что это — «добровольно-принудительное мероприятие». Правильнее, конечно, было бы сказать просто «принудительное». Хочешь — не хочешь, ты обязан был подписаться на месячную зарплату — таково было предложение якобы самих трудящихся, против которого никто не решался голосовать.

— Так вы против государственных займов — полуутвердительно спрашивает следовательница?

— Да нет, я не против, раз есть такая необходимость. И никто, наверное, не против. Я просто сказала то, что говорили многие тогда, промямлила я.

— А вы что, не понимаете, что повторять такие высказывания есть враждебный акт по отношению к советскому народу, проголосовавшему за эти займы! — ядовито процедила следовательница.

Ну вот, подумала я, час от часу не легче, я уже, оказывается, и враг народа!

…Оказалось известным, что я сказала что-то нелестное о спасении челюскинцев, вроде того, что «вот челюскинцы сидят на льдине, которая вот-вот под ними расползется. Америка предлагает свою помощь для спасения людей. Мы гордо отказываемся — мы сами спасаем своих героев».

Ну конечно, как же можно поступиться своим престижем! Ну и правда, спасли. Не утонули. А если бы льдина раскололась днем раньше?

Я точно не могу вспомнить, говорила я именно так или нет,

но НКВД знает лучше, что я думаю о героях-челюскинцах и американской помощи!

…В начале 35-го года был показан фильм «Новый Гулливер». Это была первая объемная мультипликация советского производства. В «Вечерке» какой-то дотошный писака подсчитал, во что обошлась съемка, учитывая, сколько кукол надо было сделать для одного-единственного движения персонажа, для каждой гримасы. Количество получалось фантастическое, а в связи с этим и стоимость фильма невероятная. Мне фильм не понравился, показался каким-то уродливым и малохудожественным.

Как раз незадолго до премьеры фильма я была в Киеве в командировке. На Крещатике я видела страшных, почерневших ребятишек с огромными злыми глазами, сидевших у порогов булочных, — голодный кризис уже миновал, начали открывать «коммерческие» булочные. Они тянули тощие цыплячьи ручонки и хором пищали: «Тетенька, дай хлебца!» Лучше в булочную было не заходить.

Когда я увидела «Гулливера», я сказала, уже не помню кому: «Чем тратить сотни тысяч на такую ерунду, лучше бы накормить украинских детей».

— Так кого же вы обвиняете за голод на Украине? Советскую власть?

Теперь я, вероятно, обвинила бы. Но тогда я никого не обвиняла. Я только говорила, что надо сначала подумать о детях, а потом уж снимать дорогие и дурацкие фильмы. Из этого вытекало, что я обвиняю советскую власть. Я хотела возразить, но вовремя сдержалась. Я уже начала понимать, что все, что я ни скажу, все будет записано в протокол так, что окажется против меня.

Слава богу, что про Маврикия Мечиславовича Ключковского, подпольно переводившего Дж. Локка, меня спросили тогда, когда я уже поняла, что все, что ни скажешь — все плохо.

Ключковский, друг моей матери, был глубокий старик, старше моей мамы, пианист, преподаватель музыки. «Ведь нашим детям, — говорил он, — невозможно даже познакомиться с какой-то другой точкой зрения, кроме коммунистической. Я — не политик, но мне это странно. Ведь это же сужает кругозор. Вырастут недоросли».

— Нет, мне ничего неизвестно ни о каких переводах М. М. Ключковского, — ответила я.

Следовательницу взорвало. Она убедилась, что я научилась «врать». Ведь ей доподлинно было известно, что я знаю о переводах. Не сдержавшись, она резким движением разорвала

пополам уже начатый протокол.

— Ну, Фёдорова, — постучала она по столу согнутыми костяшками пальцев, — вы еще об этом пожалеете, ох как пожалеете!

Она ошиблась. Я никогда не пожалела, и Маврикий Мечиславович благополучно умер в Москве и еще долгое время до своей смерти навещал маму, был для нее другом и утешителем (не подозревая, что сам стоял на «лезвии» — каким чудом я не впутала его?!).

С каждой новой «оказией» меня всё больше поражала осведомлённость моей следовательницы, которая, казалось, лучше меня знает и помнит, что и о чём я говорила и даже думала!

Это производило потрясающее впечатление какого-то волшебства, и сколько я не ломала себе голову, я не могла себе представить хоть какой-нибудь реальный, «земной» источник такой всеобъемлющей осведомлённости… Ведь в Сочи я не прочла того листа с зелеными чернилами…

И ещё оказывалось, что всё, что я думала и говорила свидетельствовало о моей «антисоветской психологии». Следовательно я была антисоветским человеком, опасным для окружающих и должна быть изъята из общества. Что я ещё не совершила никакого преступного «действия» — это было неважно!

Эта абсурдная логика действовала неумолимо и безотказно. Презумпция ВИНОВНОСТИ заменяла у них и Право и Закон. Всё было перевёрнуто «вверх ногами». Сначала вам внушают что вы УЖЕ виновны во всём том, что и как вы говорили и даже думали о текущих событиях в стране, а потом отметают любую вашу логическую попытку доказать вашу невиновность и абсурдность обвинений!

Это вызывало чувство безысходности и обречённости. Нервы мои были на пределе, и я устала от постоянного напряжения.

Кроме мучительного беспокойства за маму, за ребят — ведь я даже не знала, благополучно ли доехал Славка, — кроме страха за себя еще меня мучил острый страх за Юру Ефимова. Ведь вот, уже была одна история, уже висел на ниточке, чудом уцелел. А теперь еще — я. Особенно теперь, когда я стала понимать, что это не «ошибка», что я действительно *виновна,* потому что *все,* что я говорила и думала, — в этой стране было преступлением. И теперь назад мне нет пути, а за собой я потяну и его. И я со страхом ждала, что меня вот-вот спросят о Юре. Ведь каждый шаг мой известен, так неужели же неизвестно, что мы вместе работали в Красной Поляне? Да и все, наверное, про нас известно.

Господи, пронеси! Но нет, не пронесло.

— Знаете ли вы Юрия Ефимова? — Вот оно!

— Конечно, — бормочу я. — Мы вместе работали на базе в Красной Поляне.

— И часто вы с ним встречались?

— Нет, не очень. Мы порознь водили экскурсии в горы.

— Но все-таки встречались?

— Да, встречались.

— И о чем же вы беседовали?

— Я не помню… Обо всем… О работе, об экскурсиях, о маршрутах.

— А он не читал вам своих стихов? — Боже! И это!

— …Да, иногда читал.

— О чем же были его стихи?

— Я плохо помню.

— А вы припомните! — с издевочкой и вроде с любопытством. Я молчу. Я знаю, что бы ни сказать — все плохо (хотя ведь и на самом деле никаких «антисоветских» стихов не было).

— А фамилия «Каткова» вам знакома?

— Да, — запинаясь говорю я. — Это знакомая Ефимова. И чтобы не дать поставить какой-нибудь каверзный вопрос, сама поспешно прибавляю: — Она была за что-то арестована, мне говорил Ефимов, только он не знал, за что.

Поразительно! Моя уловка удалась. По-видимому, Мария Аркадьевна удовлетворена моим ответом и переходит к чему-то другому. Так как-то вяло, неопределенно проходит допрос о Юре Ефимове и даже не записывается в протокол. Счастливая звезда хранит его! Я уже не вернусь, но пусть хоть он останется.

Спустя двадцать лет я прочла то, что он писал в эти дни, в осенние дни 1935 года. Это был целый цикл стихов, который он позже окрестил «Крокодиловыми слезами». Вот одно из них:

Огромным циркулем обводит
Свой круг зима. Грядет зима.
Я вновь приговорен к свободе,
Чтоб самому просить ярма.

И оправданье хуже каторг.
Его ношу я, как паршу.
Судьба, ты — кат и провокатор,
Я вновь кассации прошу.

Но это — только полуправда. Защита против самого себя.

Полная правда слишком непереносима. Ее не выговоришь. Он не был «вновь приговорен к свободе», он ее выбрал для себя раньше. Навсегда.

И уйти от этого было уже некуда. Нелегко жить с паршой на теле, а на душе — тем паче. Он испил чашу до дна.

Теперь я уже понимаю, что я — человек конченый — не свой, не советский, мне нет места среди нормально, здраво и правильно рассуждающих советских людей. Я уже в их мир не вернусь.

И все же мне чувствуется, что дело мое как-то топчется на месте, подвигается плохо. Каждый новый допрос — новая тема, а прошлая куда-то отметается. Моему делу явно не хватает основного звена, за которое можно ухватиться и успешно привести дело к концу.

Так проходит ещё около месяца, и вот, наконец, такое звено найдено.

Довольно болтовни о «добровольно-принудительных» займах и прочей ерунде. Все это было подготовкой, рыхлением почвы, так сказать.

Теперь дело принимает грозные очертания, тут уже пахнет настоящей контрреволюцией!

…С выражением отвращения, смешанным с презрением, исказившем её хорошенькое личико, Бак спросила глядя на меня в упор:

— С кем и когда вы вели террористические разговоры?

— Я… Террористические разговоры??! — Боже мой, чем ещё она меня ошеломит?

— Фёдорова, я повторяю, С кем и когда вы вели террористические разговоры?

— Ни с кем и никогда не вела!

— Врете!

Но я уже привыкла, и теперь на меня такая «пощечина» не действует.

— Я не вру. Ни с кем и никогда.

Но это опять, как с княжной Щербатовой. Это я, дура, не понимаю, о чем меня спрашивают, но следовательница-то знает, о чем она спрашивает.

— Да какие террористические разговоры?.. — недоумеваю я.

— Может быть вы и это станете отрицать? — порывшись в какой-то папке она достает исписанную бумажку. Я сразу вижу — почерк мой.

Читает: «Не правда ли дико — метод террора в наши дни?».. — Это из вашего собственного письма к некоему Викторовскому.

Да, действительно это из моего собственного письма к некоему Викторовскому моему ленинградскому приятелю. Письмо, написанное год назад, почему-то оставшееся неотосланным и очевидно, среди других бумаг забранное теперь из дома, но я все равно ничего не понимаю:

— Да, конечно, это моё письмо — слов с моего места не видно, но почерк свой я узнаю и допускаю вполне, что там написано именно то что читает следовательница.

— Ну и что же такого в этой фразе? Что я удивляюсь методу террора? Ведь это же не значит, что я «одобряю» этот метод! Тут же этого не написано?!

— Ещё бы, — не очень-то логично отвечает Бак. — Было бы странно, если бы вы сознались, что *одобряете* его!

— Почему же я должна сознаваться, если я не одобряла и не одобряю его?

Бак не отвечает, но многозначительно задает другой вопрос:

— А вы об убийстве Кирова никогда ни с кем не говорили?

Я молчу в недоумении…

— Ну что же, Фёдорова, после убийства товарища Кирова вы никогда ни с кем об этом не говорили?

— Да, конечно же говорила. Тогда же все об этом говорили и в газетах писали.

…Так вот какие разговоры называются «террористическими»! Я еще не понимаю, к чему она гнет, но уже чувствую, что нехорошо. В протокол между тем записывается: «Я вела террористические разговоры во время убийства т. Кирова».

— Так с кем же вы вели эти разговоры? Я теряюсь:

— Право, не помню… Со всеми, наверное, кто был рядом.

— А кто был с вами рядом?

Я чувствую, что запутываюсь в какие-то ловко расставленные сети. Ведь во время убийства Кирова в декабре 1934-го я как раз была в Ленинграде. (Как это некстати! — молнией проскакивает в мозгу. Не дома, в Москве, а именно в Ленинграде. Хотя я ездила туда часто, мне почему-то неприятно и неудобно, что в это время я как раз была в Ленинграде).

— В эти дни я как раз была в Ленинграде по работе, — объясняю я и соображаю, что все оборачивается плохо.

— Где же вы останавливались?

— В семье мужа. Я всегда там останавливалась.

— Так с кем же из семьи вашего мужа вы говорили об убийстве товарища Кирова?

— Право, не помню. Со всеми, вероятно.

— Ну, а конкретней? Припомните!

— Не помню. Возможно, что с сестрой мужа Олей. Мы с ней

одногодки, очень дружим. Хотя я дружна и со всей семьей.

Все. Довольно. В протоколе записано: «Я вела террористические разговоры во время убийства Кирова с сестрой моего мужа Ольгой Селезнёвой».

— Но разве об этом нельзя было говорить?

— Смотря как говорить!

— Но ведь мы не меньше других были поражены убийством товарища Кирова — и я, и Лёля!

— Это мы выясним. Она звонит. — Идите в камеру и припомните, с кем вы еще вели террористические разговоры!

По ее тону я понимаю, что это уже не «государственные займы», это уже что-то посерьезнее и пострашнее.

Вид у следовательницы довольный. Еще бы! Эта дуреха сама так кстати углубляет дело, так услужливо преподносит материал, которого даже и в «информационных сведениях» нет! С этим делом, можно считать, ей повезло!

Итак, в протоколе было записано: «Во время убийства товарища Кирова, находясь в квартире отца мужа, П. А. Селезнёва, я вела террористические разговоры с сестрой мужа Ольгой Селезнёвой».

Какие именно разговоры, уточнено не было, и я подписала бланк допроса, как обычно подписывала в конце. Весь текст записывала сама следовательница (и вопросы и ответы), и хотя она предлагала мне прочесть, но от волнения у меня строчки прыгали перед глазами и я ничего не могла прочесть.

Да и казалось мне это пустой формальностью — я и так знала, что там все написано, как она хочет, а не как я.

Я подписала, полагая, что потом уточнится и выяснится, что разговоры наши были вполне невинными, лояльными, что других в семье свекора, действительно потрясенного убийством Кирова, и быть не могло. Что мы, как и все, были поражены убийством Кирова, которое и «террором» как-то странно было назвать. Понятие «террор» в нашем представлении отдавало чем-то чуть ли не средневековым и в рамки наших дней как-то не вписывалось. В конце концов, разве это не могло быть и вообще не политическим убийством, а делом рук какого-нибудь психопата или ревнивца, наконец? Что мы знали о частной жизни Кирова? Ничего.

…Помню день, когда похоронная процессия во главе со Сталиным двинулась из таврического дворца на Московский вокзал. Очень холодный зимний день.

Окна дома, на Выборгской стороне, где жила семья моего мужа, выходили на Неву. С высоты пятого этажа можно было видеть на другой стороне Невы переулок, перпендикулярный к

Таврической улице, по которой следовала траурная процессия.

Мы с Лёлькой стояли на подоконнике и открыв форточку всматривались в морозную даль. Мы думали, что когда процессия будет пересекать этот переулок мы что-нибудь увидим из окна.

Мы ничего не увидели, но в этот миг как раз завыли, застонали, заревели сотни сирен и гудков на Неве и заводах. Это была жуткая, трагическая симфония, плач вслух… Плач миллионного города, плач многострадальной страны.

Мы стояли и слушали оцепенев, едва дыша. Тогда мы ещё не знали, что это плач не только о безвременно ни за что погибшем человеке, но это рыдание о тысячах и тысячах ни в чём не повинных людей, которым ещё суждено было погибнуть из за этого события так скоро…

Славные питерские годы

Тут я хочу остановить машину времени на 1924 годе, когда я впервые познакомилась с семьёй моего мужа Мака и немного рассказать о ней, и о моих родственниках по мужу с которыми я прожила несколько счастливых лет и где подружилась с моей сверстницей Ольгой Селезнёвой, которую в семье все называли Лёлей.

Семья была большая, весёлая, шумливая, порой «ругливая», но в общем очень дружная и хорошая.

В семье было восемь детей. Когда я вошла в эту семью, — младшим было лет по 10–12. Старшим был мой муж Макаша. Кроме детей в доме всегда водились какие-то деревенские родственники, по соседству, в том же доме, жил дядя Вася с женой и сыном, которые конечно дневали и ночевали у нас.

Я привезла с собой маму. Старшие девочки обзавелись мужьями, а вскоре и детьми, и по воскресеньям, когда вся семья собиралась в «зале» на традиционный «чай с пирожками», за стол садилось не менее 20 человек.

Не знаю когда мама, та мама — Селезнёва, вставала в ночи под воскресенье? Может быть и вовсе не ложилась, но утром на столе неизменно появлялись подносы с горами пышных, румяных пирожков на все вкусы: с морковкой, с капустой, с рисом-мясом, с рыбой и жаренным луком.

Никто не помогал маме их делать — кухня была её суверенным владением и никому не разрешено было туда соваться. Да у всех и своих дел было по горло. У кого — работа, у кого — учёба, у кого — и то и другое.

Удивительным человеком была эта простая неграмотная крестьянка из нижегородских лесов! Так и умерла неграмотной. У

неё всегда хватало любви и немудрящих, но всегда ласковых и ободряющих слов на всю эту беспокойную ораву. За все те годы, что мы прожили рядом, я не слыхала от неё не только какого-нибудь резкого слова, но даже повышенного, раздраженного тона.

Философия её была простой и ясной: — дети растут в иное время, в иной обстановке, и им виднее, что к чему, и как надо жить. Моё же дело, — чтобы все были сыты, умыты, обшиты, обстираны.

Впрочем уже в мою бытность в этой семье от стирки мы маму освобождали. Стирали на всю ораву мы двое: я и моя сверстница Лёлька.

С утра мы занимали прачечную, помещавшуюся в подвале. Мы же жили на пятом этаже и перетаскивали оттуда вниз узлы с бельём. Во время этих стирок и началась наша с Лёлькой дружба. Мы без конца говорили обо всем на свете, делились впечатлениями об увиденном и услышанном, радовались общим взглядам на многие вещи.

К вечеру отстиранное, выполосканное и отжатое бельё складывалось в огромные корзины с двумя ручками и наши мужчины — папа, Мак, и его брат Саша спускались в прачечную чтобы тащить корзины на чердак. Такая «генеральная» стирка происходила два раза в месяц…

Мама Селезнёва попала в Ленинград, тогда ещё дореволюционный Петербург, из глухой деревеньки Ветлужского уезда, Нижегородской губернии — Селезнёво, где все жители были вероятно в каком-то родстве и носили фамилию — Селезнёвых.

Муж её Павел — отец всех будущих детей, будучи забран в солдаты, благодаря своему гигантскому росту и богатырскому сложению — угодил в Питерский Гренадерский полк.

В деревне осталась беременная молодуха. Вскоре родился мальчик Макарий, которого так назвали в церкви к великому огорчению матери. Она хотела назвать первенца Ванечкой, но делать было нечего. Мальчик родился под Макарьев день. Поп, крестивший его, справился в святцах, а возивший младенца на крестины кум и вовсе позабыл, что мать наказывала назвать новорожденного Иваном.

…Не помню подробностей, почему, но гренадер вернулся из полка всего лет через десять, то ли досрочно, то ли срок службы сократили к тому времени, но, так как Питерская жизнь ему приглянулась, он забрал жену и мальчонка, и окончательно расстался с родной деревней, обосновавшись в Питере. Был он хорошим столяром-краснодерёвщиком и на руки свои вполне мог надеяться.

Пошли год за годом, и каждый год в семье прибавлялось по ребёнку. Некоторые умирали, но большинство выживало. Ко времени революции было их уже восемь — трое мальчиков и пять девочек.

Отец не только столярничал. Он был грамотен.

Читал газеты, жития святых и Библию. Читал и вникал. В конце концов решил, что и в Библии, и в житии святых правды мало, а неправды кругом хоть отбавляй. В 1916 ом он записался в Социал-демократическую партию и стал убежденным революционером.

Дети росли разными. Муж мой — был старше других, и еще до революции кончил реальное училище. Учить детей — было заветной мечтой отца. Но дальше у Мака произошёл с отцом разлад.

«Выучивши» сына в реальном, отец полагал, что теперь ученый сын начнет работать и разделит с отцом заботы о многочисленном семействе, где ребятишки были мал-мала, меньше. А сын вдруг захотел еще учиться. Реального показалось ему мало.

Мастерская столяра и квартира многочисленного семейства находились в Гавани, у самой «Маркизовой лужи», как тогда называли прибрежные воды Финского залива.

Целыми днями летом мальчишки гоняли по пескам и плескались в «Луже». Строили нехитрые корабли из деревянных бадеек. И там, на побережье, впервые увидел маленький Макаша человека, пленившего его сердце. Человек сидел на складном стульчике и рисовал разноцветными красками какую-то картину.

Мальчик тихонько подобрался сзади и затаив дыхание смотрел на живописца. Тот тыкал в холст то одной, то другой кистью, и перед зачарованным мальчиком вырисовывалось нежно-перламутровое море, очертания далекого берега в дымке и Синее небо с розоватыми облаками.

Это решило участь старшего сына Селезнёва.

Художник был — Н. И. Хижинский. Он заметил мальчика, часами наблюдавшего за его работой. Подарил ему карандаш. Познакомились, подружились. У мальчика оказались способности и Хижинский начал его учить.

Ко времени революции, Мак кончил Петербургское Строгановское училище живописи и ваяния. Учился днем, а ночью работал в Адмиралтействе писцом, чтобы приносить домой 25 рублей в месяц. Один отец на всю семью заработать уже был не в силах.

После окончания Строгановекого, Мак поступил в Академию Художеств, в студию профессора Эберлинга. Только революция на

несколько лет прервала учение.

Вновь он поступил в Академию уже в 1924-м, приехав из Москвы, где он работал по оформлению первой сельскохозяйственной выставки, уже со мной…

Из остальных детей кое-кто уже учился, — вышли химики и физики, кое-кто не пошел дальше машинистки на пишущей машинке, кто-то лишь закончил ФЗУ.

За все годы, проведенные в этой семье, ни разу не пришлось мне с кем-нибудь поссориться, не помню ни одной мало-мальски серьезной неприятности, да и несерьезной не припомню.

Дружнее же всех были мы с моей сверстницей Лелей, на год, или полгода моложе меня, той самой, с которой мы заведовали «генеральной стиркой».

В то время, когда меня арестовали, она была на втором, или на третьем курсе Химического института…

И вот зима 1934 года. В то время мы жили уже два года в Москве и мои отношения с Маком переживали кризис и были сильно осложнены. Мы всё ещё продолжали любить друг друга, но нам уже трудно было оставаться вместе и мы оба искали предлоги, чтобы побыть наедине и попытаться хорошо во всём разобраться.

К тому времени у меня за плечами уже был Литературный институт и несколько изданных книжек. Я тогда работала над путеводителем по Беломорско-Балтийскому каналу, где проработала один сезон и собиралась вновь поехать туда экскурсоводом. Так как экскурсии с будущего лета должны были начинаться прямо из Ленинграда, то я и поехала туда, чтобы собрать необходимый материал.

Конечно, как всегда я остановилась у Селенковых, с которыми я поддерживала самые сердечные отношения.

Я прожила в ту поездку в Ленинграде всего около двух недель. Но в эти недели в Смольном прозвучал судьбоносный выстрел, унесший впоследствии так много жизней… Был убит Киров.

Весть об этом была ошеломляющей. Киров пользовался глубоким уважением ленинградцев. Также как и отец Мака, рабочие и мастеровой люд называли его «наш Мироныч» и были совершенно подавленны случившимся.

Такие, как я — люди, далёкие от политики, тоже были ошеломлены. «Террор» казался каким то анахронизмом, отдававшим Французской революцией и несовместимым с современностью.

Террор в наши дни? Это казалось дикой чушью и несообразностью со временем. Разгула «расправы с

террористами» ещё никто не предвидел, и во что выльется это, как в последствии оказалось, хорошо спланированное, убийство, никто не мог и предполагать.

Как обернулись мне эти «террористические» разговоры в семье моего мужа, я узнала только потом, на заседании Военного Трибунала. Пока же следующим козырным вопросом было:

— Скажите, Фёдорова, а с вашим двоюродным братом Юрием Соколовым вы не вели террористических разговоров?

— Я?.. С Юркой?

Слишком неподдельное недоумение, написанное на моей физиономии, заставляет Марию Аркадьевну подробно изложить содержание «террористического» разговора, происшедшего между мной и моим двоюродным братом Юрой Соколовым:

— Вы никогда не говорили о том, что Николаев мог быть «наемным убийцей»? Не обсуждали вопроса, за сколько он мог убить товарища Кирова?

А вы, Фёдорова, и ваш брат, за сколько бы вы взялись совершить террористический акт над товарищем Сталиным? Тут она понижает голос чуть не до шепота: даже на следствии произнести такие слова — кощунство! И так как я ошалело молчу, она продолжает:

— Я вам напомню: вы сказали, что готовы убить товарища Сталина за сто тысяч рублей!

— Я?.. Сталина?.. Убить? Да я даже цыпленка не могу зарезать! Ни за сто ни за триста тысяч!..

— Фёдорова, — истерически взвизгивает следовательница, — я стенографистку вызову! Вы думаете о том, что говорите?

Ах, конечно, я не думаю! Мысли у меня бессмысленно кружатся и несутся как попало. Действительно, она — про Сталина, а я — про цыпленка!

Конечно, не к месту. Но не в этом дело сейчас. Боже мой, сто тысяч! Да, я действительно что-то сказала про сто тысяч! Но как? При чем тут Сталин?

— Боже мой, да ведь это была шутка! Я не помню всего разговора, и к чему были эти сто тысяч. Как-то не так было сказано… И, во всяком случае, это была только шутка!

— Ах, вы опять не помните? Вы шутили такими вещами?! Отлично! Ступайте в камеру и припомните ваши разговоры с Юрием Соколовым. — Она нажимает кнопку, но тут же делает знак рукой — закрыть дверь; рано, она поспешила.

— Впрочем, еще один вопрос: как и когда вы с Соколовым намеревались убить старушку Анну Ильиничну, проживающую на Арбате, в Большом Афанасьевском переулке?

В глазах у меня темнеет. Анну Ильиничну? Последние

обрывки мыслей выскакивают из головы там пусто и темно, как в комнате без окон и дверей.

Я понимаю, что объяснять что-либо бесполезно, да и нет больше сил. Я молчу…

— В камеру! — Я, как во сне повернулась и вышла.

…Когда в книгах пишут: «…она шла шатаясь, ничего не видя перед собой», или: «…она почувствовала себя на краю пропасти»- это воспринимается, как литературный штамп, пустое «украшательство».

На самом же деле, это бывает именно так, только очень редко, при обстоятельствах исключительных, и это, должно быть, самые страшные минуты жизни.

Со мной это было первой раз. Я шла по коридорам Лубянки ничего не видя и не сознавая, но отлично помню теперь, что именно там, в этих коридорах в сознание вползла дикая и ужасная мысль: Все кончено.

Я попала не в руки людей, а в какую-то машину — неодушевленную, лишённую разума и чувств, хорошо отлаженную, запущенную раз и навсегда, похожую на гигантскую мясорубку…

В ее жерло падают люди. Машина неспеша, равномерно и бесчувственно крутится. Люди втягиваются глубже и глубже, потом, завиваются вокруг вала, кости начинают трещать, мясо спрессовывается, выжимается. Сквозь решётку мясорубки выползает кровавое месиво…

Именно, так мне представилось всё, что происходило на Лубянке. И я поняла, что я — всего на всего одна из тех, кто составляют человеческую массу, поглощаемую машиной. Путь только один — вперед, к валам и ножам. В обратную сторону машина на крутится. Для меня все кончено…

Впоследствии, этот образ механической, бездушной мясорубки не раз возвращался ко мне. Но в тот раз, когда он ВПЕРВЫЕ посетил меня, он потряс меня больше и глубже, чем когда бы то ни было, ибо в тот момент я поняла, еще далеко не умом и сознанием, а чувствами только, весь ужас происходящего со мной, со страной…

В камере я немного пришла в себя. Видение равнодушной и безучастной к своим действиям машины пропало. Мысли лихорадочно заработали. Вернулась жажда бороться, доказать, убедить. Как?.. Как убедить, что мы с Юркой, несмотря на всякую чушь, которую болтали, — обычные, нормальные люди? Просто люди. Что мы никому не хотели зла, что мы никому не делали вреда. Что мы — обыкновенные честные люди?

Мысли возвращаются к последнему допросу и мне вдруг

смутно вспоминается разговор, вернее болтовня, действительно имевшая место. Но как же теперь объяснить что это — лишь болтовня, не имеющая никакого отношения ни к террору, ни вообще к политике?!

…Это было не вскоре после убийства Кирова, а когда уже шок и трагизм произошедшего остались позади.

Разговор, который помнился весьма смутно, был примерно таков:

Я: — Всё-таки удивительно, что же за человек был Николаев? Маниак? Личный враг? Говорят, тут была замешана женщина. Или, наконец, может быть действительно была какая-то террористическая организация, и Николаев — наёмный убийца? Но как же он мог пойти на такое дело, зная заранее, что продает свою собственную жизнь. Ведь не мог же он надеяться, что сам останется в живых?

Юра: — Ну а может он вообще собирался покончить с собой? Почему бы и не продать свою жизнь в таком случае? Всё равно ведь — умирать!

Я: — Ну ты всегда вздор мелешь! Как это продать свою жизнь?

Юра: (сохраняя внешнюю серьезность, но уже с лукавинкой подначкой, как обычно) — Очень просто! Я бы свою жизнь продал. Тысяч за десять. Все равно жить надоело! Ну, — и зная твое бедственное положение и стесненные материальные условия, питая к тебе нежные братские чувства, я продаю свою жизнь, скажем, за десять тысяч, предварительно все оформив честь по чести, получив деньги и вручив их по назначению, то есть тебе. Ты в смятении, ахаешь и охаешь, но все же таешь от восторга — десять тысяч, шутка ли! Ну, как?

Я понимала, что всё это говориться ради «хохмы», и отвечала ему в его же духе:

— Ну и дурак! Уж если продавать, я бы меньше, чем в сто тысяч свою жизнь не оценила!

Вот такая, или примерно такая болтовня имела место у нас на Скаковой в присутствии мамы. Сколько всякого вздора было при этом сказано — конечно не запомнилось…

Но прежде чем вернуться к рассказу о следствии я должна рассказать о Юре и о наших совместных приключениях, если это название можно приложить к нашим затеям, выдумкам и шуткам. Только в этом свете станет понятным, как и почему мы могли болтать ту чушь, которая теперь оказалась для нас смертельно опасной.

Мой бравый кузен Юрка

Я вновь возвращаюсь в далёкое прошлое чтобы рассказать об истоках моей дружбы с моим двоюродным братом Юркой Соколовым, начавшейся ещё в детстве и продолжавшейся в течение всей нашей жизни.

Был он человеком талантливым и замечательным во многих отношениях. У него был живой ум, безудержное воображение, энциклопедическая память и легкий общительный характер. Он блестяще играл в шахматы, знал наизусть массу стихов, главным образом Блока, Брюсова, Гумилёва, Сашу Чёрного, Есенина. В компаниях всегда был заводилой, сыпал анекдоты как из рога изобилия и никогда не унывал.

Впервые я увидела своего маленького двоюродного братца когда мы с мамой приехали в Смоленск в 1917 году. Он был на шесть лет младше меня и потому я не очень обращала на него внимание.

Вскоре я подружилась с Беби Щербатовой и Юрка был забыт до самого нашего отъезда в деревню в конце 1919-го, когда в Смоленске стало совсем плохо с продуктами.

Рос он отчаянным мальчишкой, тоже «уличным», как и большинство ребят того времени. Даже удивительно, откуда потом появились у него такие тонкие душевные переживания, такая нежная привязанность к близким, заботливость и внимание, такая необыкновенная любовь к природе, понимание красоты её, такое тонкое восприятие литературы и театра…

Но все это появилось много позже, когда он стал взрослым и медленно, трагически погибал от туберкулеза.

Когда же он бегал босоногим мальчишкой по улицам Смоленска, то дня не проходило без того, чтобы тетю Юлю, — его мать не осаждали жалобы со всех сторон: то Юрка камнем высадил чьё-то окно; то раскровянил нос соседскому мальчишке; то забил деревяшку в водопроводный кран и теперь к нему нельзя было подойти, так как вас при этом окатывал холодный душ; то протянул где-то верёвку, за которую цеплялись и падали прохожие…

Иногда тётю Юлю приглашали полюбоваться, как её драгоценный сын прыгает по зубцам Веселухи — старинной башни Смоленского кремля, на высоте пятиэтажного дома, и тётя Юля хватаясь за сердце одной рукой, беспомощно махала в воздухе другой…

На Юрку сердились, его бранили, наказывали, а иногда, когда в «воспитание» сына вмешивался папа, доставалось ему и ремнём. Заслуженное наказание он сносил безропотно, как вполне законное, добродушно и весело над собой посмеиваясь.

Чувством юмора он был наделён с самого детства. Искренне

обещал своей «мамусе», которую очень любил, что никогда больше не будет, а на следующий день вытворял то же самое, или ещё почище.

Боялся он только, почему-то мою маму, хотя от неё-то как раз ему никогда и не попадало. Очевидно такую власть имел мамин «ледяной» голос, каким она умела говорить с провинившимся. Была она неуклонно и педантично требовательна, как строгая, но справедливая учительница, и перед этой педантичностью пасовал даже Юрка.

Вскоре после того, как мы уехали в Боровую, тётя Юля решила отправить Юрку маме на «исправление». Думаю, что на самом деле она просто хотела, чтобы он немного подкормился в деревне.

Юрка прожил у нас месяца три или четыре, и тут-то у нас и завязалась настоящая дружба.

Он подрос, начал читать и живо интересоваться природой, от которой он был вдалеке живя в Смоленске. Конечно и здесь он продолжал совершать свои «чудеса» храбрости, — переплывал Днепр туда и обратно без передышки, скакал с деревенскими ребятами на неосёдланных лошадях, прыгал с крыши сеновала на землю, рискуя сломать себе ноги.

А однажды в ночь под «Ивана-Купала» отправился один на деревенское кладбище в поисках зацветающего в эту волшебную ночь чудо — папоротника, якобы приносящего владеющему им счастье.

Папоротника он не нашёл, но сердце мое завоевал окончательно, так как цветок папоротника, приносящий счастье на всю жизнь, предназначался мне. В то время мы вполне серьезно обсуждали не пожениться ли нам, когда мы вырастем? О том, что между двоюродными братьями и сестрами бывают браки, мы уже слышали.

В старом библиотечном шкафу деревенской школы, набитом пыльными связками «Нивы» и приложений к «Русскому слову», хранился и Шеллер-Михайлов, которого я начала почитывать.

Мы даже довольно подробно строили планы нашей совместной жизни, рисовали план дома, в котором будем жить, при чем каждый из нас должен был иметь свою половину, чтоб не мешать друг другу.

О более интимных подробностях нашей будущей супружеской жизни мы имели понятия весьма смутные и не помню, чтобы мы останавливались на их обсуждении. Но имена будущим детям мы придумывали заранее и решали, кем они будут.

Примерно в этот период началось наше первое творчество и дружное соавторство. Мы начали Сочинять небольшие пьески, и

тут же и ставили их с деревенскими ребятишками. Мама очень поощряла эту деятельность и подыгрывала нам на рояле музыку к песням и танцам для наших пьесок.

Рояль удалось вывезти из городской школы, когда ее заняли под штаб Военного Округа. Он дожил в Боровой деревенской школе до немецкой оккупации… Немцы сожгли его на дрова.

Помню две из наших пьесок: «Лесную царевну», в которой пелась песенка на мотив арии Жермена из «Травиаты»: …Ты царевна, ты лесная… и т. д. и «Царевну-Лягушку», где я исполняла роль обоих царевен.

Пытались мы инсценировать и «Три Толстяка», которыми очень увлекались, но постановка оказалась нам не под силу…

Когда мне исполнилось восемнадцать, я уехала учиться в Москву, а Юрка остался в Смоленске ещё мальчишкой-школьником.

Это была длительная разлука. Мы встретились снова, когда я была уже замужем, а Юрка кончил школу. Он приехал к нам в Ленинград и прожил у нас целую зиму, собираясь поступать в ВУЗ, но, в конце концов, никуда не поступил и уехал на какую-то стройку. Это была эпоха «518» новостроек, и вся молодежь ехала куда-нибудь строить.

Хотя в Ленинграде мы были уже вроде бы вполне взрослыми людьми, в чем особенно упорно, но довольно безнадежно старалась убедить нас мама, стоило нам собраться вместе, как мы начинали во что-нибудь играть, тут же входя в азарт, шумно спорить, возиться и, по маминому выражению, «сходить с ума».

Мы устраивали матчи в пинг-понг, тогда только еще входивший в моду, гоняя шарики не только по столу, но и по всей комнате, употребляя книги вместо ракеток. Гонялись друг за другом, перепрыгивая через столики с чертежными досками, заполнявшими всю нашу огромную комнату — ведь муж был будущим архитектором, устраивали подушечные бои. Нередко наше буйное веселье кончалось разбитой лампочкой или опрокинутой вазой или чашкой.

Ещё любили мы играть в «шарады» и во всякие литературные игры — разгадывать кроссворды, называть великих людей на на какую-нибудь букву алфавита, вести рассказы, продолжение которых придумывали все по очереди, отгадывать задуманные предметы или события.

У нас была комната в 40 кв. метров — самая большая во всей квартире отца моего мужа. В остальных трёх комнатах обитали отец, мать и восемь детей, разнообразного возраста. Поэтому у нас всегда было достаточно молодежи, «собственной» и «пришлой», — в основном друзей моего мужа по Академии

Художеств, где он учился.

Но сколько бы не собиралось народа — Юрка всегда оставался заводилой и душой общества. Он отличался остроумием и фантастическими выдумками, сыпал анекдотами и разыгрывал нас с невозмутимой серьёзностью. Он легко рифмовал любую блажь и каждого наделял острой эпиграммой, не щадя и самого себя:

…«Сие пишу я в назиданье
Себе, погибшее созданье,
Дабы одумался и стал
Невинности на пьедестал».

— Так, например, заканчивалась ода, посвящённая самому себе.

Любил Юрка и настоящую поэзию. Из современной особенно Есенина, которого читал очень выразительно и проникновенно, но сам «серьезных» стихов не писал.

Был он страшно увлекающимся, влюблялся чуть не еженедельно «на всю жизнь», а приходя в азарт совершенно терял голову. Картами мы никогда не увлекались, не помню даже, чтобы когда-нибудь играли.

Но вот что, однажды, чуть не привело Юрку к настоящей катастрофе.

Это было время, когда НЭП еще цвёл махрово, хотя лепестки его уже начинали блекнуть и слова «режим экономии» впервые прозвучали в советском лексиконе.

Но в Ленинграде было еще много клубов, где официально играли в лото на деньги, а один клуб — «Владимирский» — всё еще держал казино с рулеткой. Правда, ставки были ограничены десятью рублями, но всё же, при упорстве и терпении и с этими ограниченными ставками можно было за один вечер спустить порядочную сумму.

Первый раз Юрка уговорил меня пойти во Владимирский клуб, чтобы «познать жизнь во всех ее проявлениях», увидеть собственными глазами, что такое настоящий «азарт», обогатить себя впечатлениями, которых потом и не встретить, — поговаривали, что рулетку скоро прикроют.

В то время мы все упивались Стефаном Цвейгом и, — как знать? — не увидим ли мы там живого героя «Двадцати четырех часов из жизни женщины»?!..

Одним словом, мы отправились. Мак с нами не пошёл — он был настроен к этому скептически и ему было жаль тратить вечер на сомнительное удовольствие. Он был на десять лет постарше

меня, и не очень склонен сопутствовать нам в этих поисках многообразия «красок» жизни, и поэтому мы отправились вдвоем.

Сначала мы действительно только наблюдали «нравы» казино. И хотя, конечно здесь не проигрывались состояния, как в Монте-Карло, не ставилась на карту честь и жизнь, и при нас никто не пустил себе пулю в лоб, но, по существу, азарт оставался азартом, вне зависимости от количественных ценностей, с которыми он был связан.

И мы действительно увидали возбуждённых людей, с бледными, искажёнными лицами, с каплями пота, катящимися по лбу, с вытаращенными и расширенными от ужаса глазами, с отвратительно трясущимися руками…

Тут же в зале, где помещалась рулетка, а также в соседних комнатах, где шла игра в «Железку» — проигравшиеся жертвы продавали бумажники, авторучки, кепки, шляпы, даже пиджаки. Все это можно было приобрести за бесценок — лишь бы у них стало что бросить на зеленое сукно.

Были тут пожилые и молодые, мужчины и женщины, одетые прилично, и одетые чуть ли не в лохмотья, засаленные и дурно пахнущие. Духота стояла невообразимая, запах спиртного перегара и пота ударял в нос.

В первую минуту, когда мы вошли, меня чуть не вырвало и Юрка едва удержал меня, чтобы я не сбежала. Но это было только в первые минуты. Любопытство взяло верх, а потом уже и духота и спиртной запах просто перестали ощущаться. Мы стояли и смотрели как заворожённые.

Вокруг стола с рулеткой сидели, а за ними плотной стеной стояли люди. Тесно сгрудившаяся толпа молчала. Все затаили дыхание и слушали, как жужжит маленький Шарик, бешено вращаясь внутри «чаши» с лунками, раскрашенной в красное и чёрное и тоже крутящейся в обратном шарику направлении. И только когда чаша почти остановилась и шарик с сухим щелчком упал в какую-то лунку, толпа выдохнула в едином порыве что-то похожее на: «Хаа!.». Потом все сразу начали что-то говорить, спорить обсуждая на что ставить.

Крупье что-то сказал, произошло какое-то движение, кто-то бросил на стол какую-то мелочь, прошелестели бумажные рубли, блеснули жестяные жетоны, и снова всё замерло.

— Ставки сделаны, — негромко и очень учтиво сказал крупье. Снова зажужжал в рулетке шарик…

…Два дня мы с Юркой ходили наблюдать «нравы». Возвращались возбужденные, с упоением рассказывали об увиденных «типах», о разыгравшихся на глазах — пусть мелких, но все же трагедиях в духе Стефана Цвейга.

Напрасно мы уговаривали Мака пойти хоть раз с нами. Он отказался наотрез.

На третий день мы больше присматривались к самой рулетке, вникали в игру и ее правила. Быстро постигли нехитрые премудрости «красного» и «чёрного», «чёта» и «нечёта». Старались подметить закономерности удачи. Казалось, «предсказать» красное, или черное не так-то уж сложно.

Наконец, ради интереса решили поставить. Поставили на «красное», после того, как пять раз подряд выпало «черное», и… выиграли!

Тогда, с нами случилось то же, что и со всеми. Никакие «типы» с хриплым дыханием и с отсутствующими, блуждающими глазами больше нас не интересовали. Они просто исчезли из нашего поля зрения.

Осталась одно — маленький, чёрненький, мечущийся в своей чаше шарик. К нему из самого сердца протянулись стальные нити — нервы и натянулись, как струны. Казалось вся ВОЛЯ собрана в этих стальных нитях. Он твой, этот шарик, ты приказываешь ему: — Стоп!.. Нет, мимо!..

Ну давай же… Ещё немного, ещё одно усилие воли:… — Ну СТОП же!.. Но шарик не слушает…

Как и все, мы скоро изобрели свою «теорию». это была игра на цифру «5».

Когда шарик останавливался на цифре «5», — все ставки забирало казино. «Чёт», «нечёт», «красное», «чёрное», все цифры, — всё, что было на них поставлено, кроме того, что было на цифре «5». Те, кто поставил на пятерку, всё равно получали свой десятикратный выигрыш.

— Рулетку держать выгодно, — рассуждали мы, иначе её никто бы не держал. Откуда же получает прибыль казино? Ведь если каждый раз, при каждом «забеге» шарика, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, то — по теории вероятности, это составляет приблизительный баланс. Казино от этого ни тепло, ни холодно. Зато цифра «5» — это его постоянная и беспроигрышная ставка. Казино не ставит ни на какие другие цифры, ни на «красное» или «чёрное» как бы давно они не выпадали. Всегда только цифра «5»!

Уподобимся же казино, решили мы. Будем играть так, как играет оно. Спокойно и бесстрастно. ВСЕГДА на одну и ту же цифру, ну, скажем на ту же цифру «5»! Правда мы ограничены размером нашего, весьма скромного «оборотного» капитала: Ведь казино ничем не рискует, мы же всё-таки рискуем — если проклятая цифра не выпадет подряд больше десяти-пятнадцати раз. Но ведь такое случается относительно редко, и такой возможности можно в расчет не принимать.

Мы начали играть на цифру «5». Когда в первый вечер мы выиграли значительную для нас сумму — что-то около ста рублей, мы почувствовали себя алхимиками, в чьих тиглях получалось чистейшее золото!.. Мы открыли «систему»!..

Как бесноватые ворвались мы домой, перепугали всех своих. Смотрели на них, как на сумасшедших, когда они начали смеяться над нами и хохотать. А они, эти сумасшедшие, слепые люди еще пророчили что мы спустим в казино «последние штаны»!

Мама перестала с нами разговаривать, но на этот раз и это нам было нипочём — мы закусили удила и на всех порах неслись к вершинам «несметного богатства», о котором, кстати говоря, реально вовсе и не помышляли всерьез, но готовые «вконец» разорить Владимирский клуб!

На наше счастье, рулетку, действительно, недели через две закрыли. Иначе в ход пошли бы, пожалуй, не только «последние штаны», но и что-нибудь иное.

Во всяком случае, в доме не осталось ни одного человека, которому Юрка не задолжал бы разных сумм, в пределах от нескольких копеек и до рубля — наиболее мягкотелым и легковерным!. Все учебники, по которым он готовился в ВУЗ, были «загнаны», а штаны только потому еще держались на нем, что действительно были последние и единственные.

Несмотря ни на что, Юрка оставался твердо убеждён в непогрешимости нашей «теории». Всё дело было в нервах. Они не были достаточно «стальными». Мы не успели их натренировать. Мы срывались. Следили за другими комбинациями, не могли удержаться, чтобы не принять в них участия.

Когда двадцать девять раз подряд выпадало «чёрное», мы не могли удержаться, чтобы не поставить на «красное». Мы ставили и… проигрывали!

И так, за полчаса, мы спускали всё, что нам приносила «непогрешимая теория»!..

…Следующая встреча с Юркой, лет через шесть после описанного выше, ознаменовалась новой «одой» на десятилетие моей супружеской жизни:

«…Все испытавши понемногу —
Любовь, надежду и нужду,
Они уж доживают, слава Богу,
Свою десятую весну!..»

Мы жили уже в Москве, в маленьком домике на Скаковой, где под бабушкиным крылом подрастали двое наших мальчишек.

Я, разочаровавшись в газетной работе, (хотя впоследствии и убедилась, что если бы из меня и вышел какой-нибудь толк, то именно, как из очеркистки) занялась детской литературой. А Юрка «построив» стекольной завод в Вологодской области и автогигант в Горьком, заработал трудовой стаж и приехал продолжать своё неоконченное образование. Он, наконец, поступил в ВУЗ и учился на первом курсе МИИТ(а).

Жил он у своей тетушки по отцовской линии, старой бессемейной актрисы. Тётушка испокон века жила в Большом Афанасьевском на Арбате. Жила со своей подругой, тоже бывшей актрисой, тоже одинокой, но еще более старой и дряхлой. Эта подруга — Анна Ильинична, последние годы уже не вставала с кровати и за ней преданно и трогательно ухаживала Юрина тетушка. У обеих старушек был ясный ум, острые язычки и прекрасная память. Их рассказы, приправленные перцем юмора, о более чем полувековой театральной жизни были неподражаемы.

Жили они в малюсенькой двухкомнатной квартирке в мезонинчике под крышей, и в маленькой каморочке жил у них Юрка. Жили они в большом согласии и дружбе. Юрка нежно любил обеих старушек, старался им помочь, чем мог — притащить дров, сбегать в магазин, вынести мусор. Жили они не только дружно, но и весело, много хохотали, потому что тетушка в остроумии не уступала Юрке, да и прикованная к кровати Анна Ильинична тоже умела побалагурить.

И вот про эту самую Анну Ильиничну, которая «заедает век» Марии Петровны (так звали Юрину тетушку), а ему, Юрке, не освобождает вожделенную жилплощадь, он в шутку и выразился: «Ну что стоит старушенцию придушить?»

Но ведь надо же знать Юру, чтобы хоть на один миг серьезно заподозрить его в намерении «убить старушку»!

На его сентенции можно было рассмеяться — для чего они и произносились или сказать, как моя мама: — «Уж будет чепуху-то молоть, вот язык без костей!»

К счастью, о том, как мы собирались «придушить» Анну Ильиничну, в протокол допроса занесено не было, и к этому вопросу больше не возвращались.

Но ведь подумать только! И это — знали! И уж, наверное, это было учтено как наша характеристика, как прямое указание на то, что мы — «потенциальные преступники».

Юре приходилось много заниматься, чтобы не остаться за бортом, и поэтому слишком часто бывать ему у нас не приходилось, так как учёба отнимала у него почти всё свободное время. Однако, малейшую возможность забежать хоть на часок — он не упускал.

Врывался он к нам с шумом и гамом, подбрасывал до потолка обожавших его ребят, мимоходом заглядывал под крышки кастрюль на кухне, отправляя в рот всё, что можно было туда отправить, одновременно выпуская «1000 слов в минуту», как утверждала моя мама, за полчаса успевал рассказать все институтские новости, живописать невообразимые страдания по поводу последней «вечной» любви, и выложить запас свежих анекдотов, которые держались в его памяти как у самой исправной кибернетической машины.

И в самом деле, в стремительности и изумительной памяти он мог потягаться с такой машиной. Он был страстным любителем шахмат — игроком первой категории, и когда нам однажды в Крыму случилось попасть в затруднительное финансовое положение, он, не долго думая дал в нескольких санаториях сеансы одновременной игры на двадцати восьми, а затем и тридцати досках.

Из них он сделал «ничьи» на 5–6 досках и не сдал ни одной партии.

Ещё больший фурор он произвёл играя с восемью партнёрами — вслепую, сидя спиной к партнёрам и держа все восемь партий «в уме»!.

И здесь он тоже не получил ни одного мата.

Мы с ним долго и всесторонне обсуждали вопрос: Можно ли быть профессионалом — шахматистом и только? Шахматы были его любимым занятием, «призванием», как он утверждал. Но все же ему казалось, что посвятить жизнь игре (Ну что такое шахматы? Игра?.. Спорт?..), или даже спорту — ниже человеческого достоинства, особенно Мужского. В то время ещё многое виделось в идеалистическом свете нового времени и… молодости.

Вот почему, отложив в сторону шахматы, он, скрепя сердце, принимался зубрить «сопромат» и «диамат», хотя душа его неизменно лежала к шахматам, и только к шахматам…

Как я уже упоминала, несмотря на учёбу, он все же бывал довольно частым гостем на нашей Скаковой. Иногда мы проводили целые вчера втроем — я, Макаша и Юрка. Мы залезали с ногами на наш старый семейный диван и пускались в путешествие по стране «Макжеюров». Название это состояло из начальных слогов наших имён — Мак, Же(ня), Юр(а).

Это была выдуманная нами страна и мы, — Макжеюры — были вольны распоряжаться ею, как угодно. Каждый населял ее, кем хотел — ведь всё было во власти нашей фантазии! И каждый благоустраивал, её сообразно с собственным вкусом.

Мак занимался архитектурным оформлением страны и ведал

изящными искусствами, Я — литературой и журналистикой, Юрка брал на себя увеселения и спорт, включая и шахматы, конечно.

Географическое местоположение Макжеюрии было нашей тайной и никто в мире кроме нас не знал о её существовании — наша «Шангри-Ла». Зато Макжеюры могли инкогнито путешествовать по всему миру! Для них не существовало границ, так как они обладали способностью гипноза, позволявшему им становиться невидимыми.

Насчет социального устройства Макжеюрии мы мало задумывались. Достаточно было того, что всем там жилось хорошо и весело.

Мы сочинили национальный макжеюрский гимн и придумали очень вкусный национальный макжеюрский напиток Он состоял из смеси виноградного сока и вишнёвой наливки, а в пробку бутылки втыкался маленький флажок с золочёным древком. Нежнейший шелк двух цветов — белого и голубого — олицетворял национальный Макжеюрский флаг.

Не знаю, откуда взялся у нас этот изящный флажок?.. Но помню его как сейчас!

На табуретке против дивана водружался «макжеюрский» напиток под национальным флагом и тарелка с печеньем.

Мы потягивали наш напиток и рассказывали истории из жизни макжеюрского народа…

Это были веселые дружные вечера.

Вероятно, если бы о нашей Макжеюрии узнало НКВД то и это было бы поставлено нам в вину, как антисоветские «настроения» или ещё что-нибудь в таком же роде. К счастью, НКВД об этом так и не узнало.

Я так подробно рассказываю о своем двоюродном брате, потому что, в моём «деле», на папке которого написано «ХРАНИТЬ ВЕЧНО», — он, Юрка, сыграл ключевую роль, а сам, в конечном итоге, расплатился за это жизнью.

Конечно мы не были «положительными героями». Мы были самыми обыкновенными людьми, наделёнными некоторыми способностями, но в ещё большей мере, слабостями — ленностью и беззаботностью. Мы не давали себе труда интересоваться политикой и глубже вникнуть в то, что происходит в стране.

Правда, ко времени ареста и я и Юра уже много поездили и многое повидали. Глаза и уши у нас не были закрыты. Я довольно близко видела «коллективизацию» и первые её «плоды».

Я ушла из газеты, потому, что мне претила газетная скрижаль: — «Надо писать не о том, что происходит в действительности, а о том, что требуется советской пропаганде.

Газета должна вести за собой и агитировать!» — то есть попросту врать.

Я поссорилась с Артэком, пытаясь протестовать против насаждения ущербной советской морали в детские, неискушённые души.

Юрка вообще протестовал и возмущался только в своём кругу и то, только как бы шутя, невсерьёз. Но зато он легкомысленно сыпал сомнительными анекдотами «из-под полы», за которые в 37-м люди получали и по десять лет.

И все же ни я, ни Юрка не считали себя антисоветскими людьми, хотя НКВД доказало нам, что это — так, как дважды два — четыре.

Когда Юрка пересказывал анекдоты, ходившие в студенческой среде, ни ему, ни мне не приходило в голову, что мы совершаем преступление против советской власти.

Пришло это в голову моей маме, когда она, как оказалось дальновидно, ворчала на нас: — Вот вы доболтаетесь, в конце концов!.. Доболтаетесь!..

И мы «доболтались»…

Сколько раз потом в бессонные ночи и нескончаемые дни я старалась припомнить обстоятельства этого разговора, мельчайшие детали, оттенки, фразы, по всей вероятности никогда и не произнесенные, что в конце концов сложилась какая-то версия, казавшаяся наиболее правдоподобной, хотя на самом деле все мы — участники драмы, так как болтовня эта обернулась для нас драмой, — реально, в подробностях припомнить этот разговор никак не могли, настолько незначителен и пустячен он был.

Но он действительно был. И роковые слова «сто тысяч» действительно были мною произнесены. И об этом лучше всех помнила моя мама. Разговор, а сказать точнее, болтовня эта, произошла между мной и Юркой.

И слышал эту болтовню один-единственный человек, при этом присутствовавший — моя мама. Больше не было никого, в этом я была уверена. Что же это значит? Где мама? Что с ней?

Меня снова вызывают на допрос.

— Ну так как, Фёдорова? Вы подпишете протокол?

— Нет, в такой редакции я подписать не могу.

В протоколе допроса стояло: «Я сказала, что за сто тысяч рублей согласна совершить террористический акт над товарищем Сталиным». Я понимала: Если я подпишу, то подпишу себе смертный приговор.

— Я могу подписать только, что в шутку оценила свою жизнь в сто тысяч рублей.

— Ах, в шутку! — Звонок. — В камеру!

Через неделю:

— Ну как, подпишете?

— Я уже сказала — это была шутка по поводу оценки своей жизни, а не террористический разговор.

— В камеру!

Теперь меня вызывают на допрос по два раза в день — утром и вечером.

— Фёдорова, вы считаете себя вполне советским человеком? Я затрудняюсь, и отвечаю уклончиво:

— Во всяком случае, я не делала никакого вреда советской власти. Я не была противником советского государства.

— Ах, вот как, не были? А вот что говорит о вас ваш двоюродный брат Юрий Соколов — ваш лучший друг.

Следовательница берет исписанный бланк протокола и читает: «Фёдорова Евгения Николаевна… морально разложившийся и глубоко антисоветский человек».

— Я не верю своим ушам. Должно быть, желая добить меня, следовательница, прикрыв ладонью текст, тычет мне под нос Юрину подпись:

— Это его подпись?

— Да, конечно его.

Господи, значит и Юрка уже допрашивается! Мне и в голову не приходит, что он уже давно арестован, что ему также показывают мои протоколы с моими подписями, где я сознаюсь в «террористических» разговорах.

На следующий день снова:

— Соберитесь на допрос.

Теперь я уже не радуюсь. Я только боюсь. Но в этот раз мы идем необычно далеко. Поднимаемся по лестнице, потом какими-то бесконечными коридорами, опять спускаемся. Куда меня ведут?

Наконец, приходим. Сначала я попадаю в огромную темноватую комнату с мягким ковром под ногами, с одним-единственным столом у двери, обитой темной кожей с золотыми бляшками. Комната отделана прекрасными резными деревянными панелями. Я соображаю: значит, ведут к начальству. Ну и хорошо, вот тут-то я и расскажу, как бессовестно искажает смысл того, что я говорю, моя следовательница. Как она заставляет меня расписываться в том, чего я вовсе не говорила.

Из-за стола поднимается женщина и скрывается за кожаной дверью. Она тут же появляется снова и велит мне войти. Я вхожу, и дверь за мной бесшумно закрывается.

Я попадаю в ярко освещенный огромный кабинет. Где-то

вдали стоит большой письменный стол, а к нему «глаголем» другой, тоже огромный (тут все огромное), покрытый красным сукном. Вдоль его длинных сторон аккуратными рядами стоят черные деревянные стулья с высокими резными спинками. На стульях никто не сидит, зато за ними вдоль стен стоят неподвижной линией люди в черных пиджаках, при галстуках под белоснежными воротничками. Впрочем, есть и военные.

Но все они, штатские и военные, стоят, как на параде, навытяжку, руки по швам.

В глазах у меня рябит, но все же я замечаю среди них и мою Марию Аркадьевну, тоже навытяжку, с прямой спиной, тоже замершую в почтении, с глазами, устремленными, как и у всех, на того — за столом, на главного.

Он один сидит, едва возвышаясь над столом, а за ним высоко вверх возносится деревянная резная спинка черного кресла. Его лысая голова кругла, как шар.

Раньше, чем я успеваю открыть рот, он хватает кулаком по столу, так что я невольно вздрагиваю (наверное, все они, весь синклит следователей и подчиненных тоже вздрагивают) и начинает кричать, брызжа слюной:

— Раньше, чем вас арестовать, мы знали, что вы виновны! — орет он. — Что вы тут чушь порете! Шутки! За шутки мы не сажаем, черт вас побери! Шутки! Да вы понимаете, где вы находитесь?! Мы покажем вам шутки! Мы в бараний рог вас свернем! Мы покончим с этой гидрой! Речь идет о том, оставить ли вам жизнь — вам и вашим сообщникам, дерьму собачьему! А вы — шуточки!

Осиное гнездо! Вздернуть всех на одной веревке! Нахохочетесь!

Он кричит, наверное, уже минут десять. Останавливается только, чтобы перевести дух и отхлебнуть глоток воды из стакана. И все продолжают стоять, как в столбняке.

Не знаю, сколько бы времени это еще продолжалось, если бы на столе не зазвонил телефон. Он берет трубку, и вдруг его облик преображается. Он как будто подрастает, почтительнейше изгибается в сторону телефонной трубки, лицо разглаживается, даже начинает вроде как бы светиться.

— Есть! Так точно! Когда прикажете? Есть, иду!

Опустив трубку, он с несошедшим с лица благоговением обводит подчиненных отсутствующим взглядом и с глубоким сознанием собственного достоинства (скорей, собственной ценности) объявляет: «Хозяин зовет!»

(Значит, и над ним есть «хозяин»)!..

Потом капает из пузырька в маленький стаканчик капли

(сердечные, вероятно) и тщательно их отсчитывает, шевеля губами. Все застыли в молчании. Обо мне он, наверное, и вовсе забыл.

Нет, вспомнил:

— В камеру! — опять орет он прежним фальцетом. — В камеру! В подвал!

Он поднимается, и всё приходит в движение. Часть присутствующих как при спектакле окружает его, как окружают примадонну, когда занавес опустился, другие выходят, и с ними выхожу я. На этот раз даже без специального конвоя, а может быть, я его просто не вижу — я плохо вижу и еще меньше соображаю.

Я иду между моей следовательницей и пожилым, довольно полным следователем, который часто сидит в комнате Марии Аркадьевны и подбрасывает реплики при моих допросах.

— Вы видите, Фёдорова, что Мария Аркадьевна, — он кивает на нашу спутницу, — не может занести в протокол ваши показания о «шутке» — это просто невозможно. Это оскорбляет органы. Вы же неглупый человек, вы должны понять это! В конце концов, вы только затягиваете дело, мучите себя и нас. И ваших родных.

— Евгения Николаевна, — говорит мне следовательница, опускаясь на какой-то стул и называя меня в первый и последний раз по имени-отчеству, — Евгения Николаевна, вы же видите, что вашу версию я не могу внести в протокол.

Голос ее тоже совершенно другой — ее как подменили. Перед лицом «самого» мы как будто стали, обе, провинившимися сообщниками. Я — потому что затягиваю следствие, она — потому что не может самостоятельно добиться его окончания. Вероятно, по графику дело давно должно быть уже закончено.

Голос ее вкрадчив, дружелюбен и почти просителен:

— Вы же понимаете?

Да, я понимаю. Я понимаю, что сопротивление бесполезно. И уж лучше гибнуть мне, чем тянуть за собой маму и Юрку — моих «сообщников». Видя, что я все еще колеблюсь, Мария Аркадьевна подбрасывает мне последнюю подачку:

— По-вашему, вы сказали в шутку. Но мы не можем это так расценить и записать, как «шутку». Мы запишем в той редакции, в какой мы понимаем ваше высказывание. На суде вы объясните, как считаете вы — это ваше право. Да нет, вот даже сейчас — я дам вам бумаги сколько хотите, и вы, не торопясь, напишете, изложите все, как вы находите нужным. Мы присоединим к делу. А пока, пожалуйста, подпишите протокол, из-за которого мы с вами потеряли столько времени.

Она суёт мне в руки авторучку и услужливо протягивает папку с протоколом.

— Вот здесь. Подпишите. Отлично! Теперь садитесь за тот стол, там свободно. Вот бумага, — она кладет передо мной стопку чистой бумаги, — пишите. Не торопитесь, — еще раз любезно напоминает она мне, звонит и велит подать чаю.

В камере я прихожу в себя и ужасаюсь своей глупости и наивности. Как будто это мое писание могло иметь какой-нибудь смысл, какую-нибудь цену!

Да и будет ли оно приложено к делу? Было ли? Этого я не знаю и посейчас. Думаю, если оно и было приложено, то только для того, чтобы лишний раз хохотнуть над наивной девчонкой, попавшейся, как муха в паутину.

Вскоре, вызвав меня и небрежно полистав страницы ставшей довольно пухлой папки, Мария Аркадьевна объявила, что следствие по моему делу закончено. Я не знала, и предположить даже не могла, что я имею право ознакомиться с содержанием дела, взять в собственные руки эту папку и рыться в ней сколько угодно, хоть до самого утра; о таком праве следовательница мне не сообщила, а я — откуда же я могла знать?

Даже о том, что на этой папке стоят «вещие» слова — «хранить вечно» — я узнала только через 20 лет после суда, когда была реабилитирована и снова видела эту папку, но и тогда — в чужих руках. Она прилежно хранилась в архивах Военного Трибунала, вероятно, хранится и до сих пор — ведь вечность еще не кончилась.

Ничего этого я не знала и послушно подписала, что с делом «ознакомилась». Единственный вопрос, который я задала с трепетом и надеждой — вызовут ли меня на суд? (Еще от Маруси я слышала, что бывает «заочный» суд, просто «постановление»). Мне казалось, что на «очном» суде все же есть какой-то шанс оправдаться, заставить себя выслушать: не может быть, чтобы все не поверили, когда говоришь правду! Не может этого быть!

— Вызовут, вызовут! — со злорадным ехидством пообещала мне Мария Аркадьевна. Она-то хорошо знала, что «Тройка» или «Особое совещание» могут дать — по тогдашним временам — только три, самое большее — пять лет.

Мое же так складно и удачно оформившееся «террористическое дело» подлежит ни много, ни мало суду Военного Трибунала, что сулит мне десятку, если не «вышку».

Вскоре после этого меня перевели в Бутырки, где я и провела еще два месяца в ожидании суда.

Глава III

‘У вас была хорошая светлая камера’

В Бутырках арестованные прежде всего попадали на «вокзал». Это было огромное помещение, действительно напоминавшее железнодорожный вокзал. По величине, гулкому резонансу, сводчатым потолкам с какими-то перекрытиями — настоящий вокзал! И отсюда, как с настоящего вокзала, отправлялись этапы заключённых во все концы нашей необъятной родины.

Сюда же прибывали небольшие партии, которые постепенно собирались в новые этапы и отправлялись по назначению.

Этапы долго стояли, пока зэков выстраивали по четыре, проверяли по формулярам, последний раз перетрясали нехитрые пожитки.

Но когда в Бутырки привозили одиночек, они на «вокзале» не задерживались. Их моментально запирали в «собачниках», двери которых тянулись одна за другой вдоль длинных стен «вокзала». В такой «собачник» посадили и меня.

Дело, конечно, было ночью. Только на этот раз, когда за мной пришли — еще там, на Лубянке, — я не обрадовалась приказу «собраться с вещами». Я уже понимала, что это — только в другую камеру, или еще куда-нибудь «по делам». Но на этот раз меня вывели во двор, где уже ожидал «воронок» готовый к отправлению.

В «воронке» никого кроме меня не было, и я ехала в «салоне», с комфортом. Через зарешёченное окошечко в кабину шофёра я видела проплывающие словно в кино ночные почти безлюдные, и до боли знакомые улицы Москвы.

Бутырки с их красноватыми кирпичными башнями и стенами, тускло освещенными уличными фонарями, я узнала сразу и особенно не удивилась, понимая, что на Лубянке я уже «сошла со сцены».

В маленьком «собачнике», куда меня заперли сразу по приезде можно было только присесть на скамье-приступке, было душно, жарко, слишком яркая лампа резала глаза, а время тянулось нескончаемо. Казалось, и ночь давно уже кончилась, а за мной так никто и не идет.

Но, как я могла убедиться за свою долгую жизнь, все имеет конец. «В конце концов!»

В одной из пересыльных тюрем (в Ленинграде) на стене камеры неизвестным поэтом были нацарапаны стихи, сохранившиеся несмотря на тщательную забелку:

В этом мире всё кончается,
Не сидеть же целый век!

Этой мыслью утешается
Заключенный человек.

Потом шло несколько неразборчивых строф, последняя выступала достаточно явственно. Она была, увы, менее оптимистична:

Все бывает в этом мире,
Может, будешь ты опять
На Гороховой четыре,
На Шпалерке двадцать пять!

Там, на Шпалерке, к тому времени уже разместилось грандиозное здание Ленинградского НКВД.

Но тогда, когда я в первый раз сидела в бутырском «собачнике», я еще не прочла этих стихов и не была достаточно умудрена опытом. И мне казалось, что я уже на пределе, больше не могу, не вынесу; вот-вот мне станет дурно, или я просто тут и умру, в этом «собачнике». Я несколько раз пробовала постучать, но никто не отзывался.

Конечно, я не умерла, и даже дурно мне не сделалось. Потом, с годами, я узнала, что человек «все может». По крайней мере гораздо больше того, что ему кажется.

В конце концов за мной все-таки пришли. Раздели догола, одели в «бутырское» — рубаху и панталоны, а сверху оставался мой лыжный костюм (который давно бы следовало простирнуть). Отвели в камеру по каким-то нескончаемым железным ажурным лестницам, которые гулко гремели под ногами. Потом я узнала, что моя камера была в «лучшем», четвертом этаже. Она была, действительно, хорошей светлой камерой. Хотя окошко было высоко, чуть не под потолком, оно было щелеобразным, не по вертикали, а по горизонтали, почти во всю ширину стены, как в коровьем стойле, и света давало достаточно. Щитка на окне не было, и так как оно выходило на юг, и камера была на верхнем этаже, солнышко — если оно не куталось в облака — с раннего утра заглядывало в камеру.

Нравы в Бутырках были попроще: никто окна не открывал и не закрывал, можно было самой, дотянувшись на цыпочках рукой до рамы, закрывать и открывать, сколько хочешь. Камера была довольно просторная — как со временем оказалось, в нее можно было втиснуть целых четыре койки. Но пока я была одна.

За окном уже брезжил рассвет, когда меня привели. Бутырские порядки были ближе к лагерным, возможно, потому,

что там были и «жилые корпуса», в которых отсиживали уголовники с небольшими сроками. Их использовали как рабочих для обслуживания кухни, бани, прачечной.

Поверки бывали два раза в день — утром и вечером. Отворялась дверь, входил корпусной (как в дальнейшем оказалось, их было четыре и они сменяли друг друга по суткам). Считали просто «по головам», так как никаких «инициалов» не спрашивали.

И вот что произошло в первый день моей жизни в Бутырках. Едва я, измученная «собачником», повалилась на койку, как дверь с грохотом (в Бутырке двери камер были толстые, деревянные и все почему-то страшно грохотали) отворилась, и часовой скомандовал: «На поверку встать!»

Вошел корпусной, и я сразу вспомнила о книгах:

— Гражданин начальник, пришлите мне, пожалуйста, книги.

— Хм, книги?.. — глубокомысленно задумался корпусной. — Це трэба выяснить.

— Как выяснить? — ахнула я. — Я же на Лубянке имела книги, мне разрешено!

Корпусный покачал головой:

— Трэба выяснить! — И дверь с грохотом захлопнулась. Кажется, не смешно, не дико ли? Человек потерял все — свободу, родных, детей, ему грозит расстрел, что в такой ситуации значат книги? С книгами ждать расстрела или без книг?! Однако, когда дверь за корпусным захлопнулась, и я поняла, что никаких книг не будет, я пришла в отчаяние. В такое отчаяние, в какое не приходила ни разу за все время на Лубянке.

Там я лихорадочно думала, мучилась, сходила с ума, но все это было как-то активно, или таким по крайней мере мне казалось.

Сейчас все было кончено. Впереди оставалось только несколько недель или месяцев ожидания, и больше уже думать, перебирать вновь и вновь все детали прошлого мне было не под силу. Да и незачем. После того, как я «подписала», я уже жила какой-то нездешней, нереальной жизнью и хотела вернуться к своим книгам, как возвращаются к друзьям после перенесенных горестей и потерь.

Так вот, им было мало того, что я сама подписала себе смертный приговор! Мало того, что у меня все отняли! Так еще последние дни надо мне отравить, отнять последнее мое утешение. И в первый раз за все время я заревела, как когда-то ревела Маруся. Я лежала, зарывшись с головой в одеяло, повернувшись к стене и рыдала чем дольше, тем горче, тем сильнее.

В Бутырках кроме глазка в двери было еще и окошечко. Оно открывалось, когда приносили еду, в него просовывали пайку хлеба, миску с супом или кашей, чайник с кипятком. Теперь это окошечко отворилось, и мужской голос осторожно позвал:

— Девушка, а девушка!

И так как я не отвечала, то еще раз:

— Девушка, ну чего вы расстраиваетесь, хватит уж! Но остановиться я уже не могла.

— Позвать вам, что ли, опять корпусного?

Ответа он не получил, так как из-за рыданий я не могла выговорить ни слова.

Окошечко закрылось, но через несколько минут открылась дверь, и снова вошел корпусной. Он постоял надо мной (а я все ревела) и сказал:

— Ну щось вы убиваетэсь? Я ж казав, шо спройшу. Постоял, постоял, да и вышел. Через некоторое время дверь снова открылась, и в камеру вошел часовой.

— Девушка, — сказал он, — не плачьте! Вот, корпусной вам книгу прислал! — Он положил книгу на столик около моей койки. Не знаю, было ли это нарушением устава, и откуда корпусной взял книгу, может быть, от другого заключенного?

Это был… томик Брюсова! Везло мне на утешителей — поэтов! И какие подходящие стихи нашла я в этом томике! И сколько заучила их наизусть, пока мне все-таки дали книги.

Мои сокамерницы

Через две недели — событие первой величины: У меня появилась сокамерница. Первые дни, радости не было предела. Она была моего возраста, может быть, немного постарше. Преподавательница-ботаник. Как и я, обожала путешествия, много ходила пешком, любила Крым, Кавказ. У нас было много общего, и мы могли бы подружиться, даже и не сидя в одной камере, где для разговоров и рассказов времени было более чем достаточно.

Конечно, и о наших «делах» мы тоже поведали друг другу. Она была «троцкисткой» не в большей степени, чем я — «террористкой». У нее был друг, с которым по ряду обстоятельств она не могла соединиться окончательно — отсутствие жилплощади, старая мать и еще что-то. Друга арестовали — как оказалось, он был троцкистом, с кем-то был связан, занимался какой-то деятельностью. Галя — так ее звали — даже и не подозревала об этом, но он показал, что она все знала и разделяла его троцкистские взгляды. Ее тоже забрали.

— А я даже и понятия не имею, какие они, эти «троцкистские взгляды»! В чем их суть? А вы знаете?

Нет, я тоже не знала. Галя не верила, что ее друг мог так наговорить на нее, но ей показали протокол допроса с его подписью:

— Представляете, какой ужас?

Итак, первое время мы очень радовались, что сидим вместе, и после загробного молчания Лубянки разговоры лились рекой. Но мало-помалу разговоры начали как-то приедаться, и мы незаметно стали раздражать друг друга. И чем дальше, тем больше.

Когда Галя засыпала, она не храпела, но издавала носом какие-то странные звуки, похожие не то на стон, не то на мычание. Сначала я не обращала на это никакого внимания. А через несколько дней уже не могла заснуть, не спала целые ночи напролет. Я закрывалась с головой одеялом, клала на ухо подушку ничто не помогало. Я слышала постанывания Галины и не могла спать.

За обедом она чавкала, и я не могла есть. Ужасно было в уборной, куда нас водили вместе…

Я ее раздражала, должно быть, не меньше. Не тем, так другим. Вскоре я поняла, что есть наказание худшее, чем одиночество. Это — лишение одиночества! Этим я была наказана на долгие годы, и считаю, что из всего, что пришлось пережить,

это — одно из самых тяжелых. Всегда на людях: в бараке, на работе, в бане, в уборной.

Ни минуты не побыть одной. Ну, а быть непрестанно вдвоем — пожалуй, еще хуже.

Не знаю, чем бы кончилось наше взаимное раздражение, если бы у нас не появились еще две соседки. Теперь наша камера приняла совершенно «жилой» вид: койки по стенам, посередине — стол, у двери — параша, которой мы с общего согласия старались не пользоваться.

Как только нас стало четверо, раздражение как рукой сняло, и время до суда, если можно так выразиться, было самым «счастливым» изо всей моей тюремной жизни. Возможно, потому, что судьба послала в нашу четверку чудесного, интеллигентного и с интереснейшей судьбой человека — Раису Осиповну Губергриц. К тому же она была чудесной рассказчицей, не чета нам, а рассказать ей было о чем.

Она казалась нам тогда древней старушкой, хотя ей не было даже шестидесяти.

Раиса Осиповна была профессиональной революционеркой. Получила прекрасное образование, отлично знала два языка, немецкий и французский. Восемнадцати лет, после окончания гимназии с золотой медалью, она «ушла в революцию», навсегда оставив дом отца, состоятельного и видного адвоката.

Довольно быстро определились ее политические симпатии, и она примкнула к меньшевикам. В те времена обе партии, вернее, два крыла одной и той же партии — «большевики» и «меньшевики» — работали бок о бок, имели общие подпольные типографии и собрания, на которых с остервенением спорили.

Спорили до того, что, как уверяла склонная к юмору Раиса Осиповна, когда однажды в помещение провалившейся организации нагрянули жандармы, и партийцы бросились прятаться, в одном шкафу оказались большевик и меньшевик, но и там они жарким шепотом продолжали спор. И даже будучи выволоченными из шкафа, они все еще продолжали спорить, пока им надевали наручники.

После первого ареста Раиса Осиповна была отправлена в сибирскую ссылку, откуда сразу же бежала в свой родной Харьков. Во второй раз она получила три года каторги. Каторгу отбывала в Орловском Централе.

Эти три года были ее подлинным «университетом». Так как молодые каторжанки имели деньги (им помогали богатые, как правило, родители), они могли выписывать какие угодно книги, и скоро у них образовалась целая библиотечка исторических, философских и социальных трудов, не говоря уже о том, что они

пользовались довольно-таки богатой тюремной библиотекой.

Вообще рассказы Раисы Осиповны о каторжной жизни в Централе сейчас, в свете знания о том, что такое советские лагеря и тюрьмы, кажутся плодом самой пылкой фантазии. Молодые каторжанки одевались в собственную одежду. К завтраку посылали кого-нибудь из тюремной охраны в кондитерскую за свежими булочками. Днем камеры не запирались.

Каторжанки могли пойти поработать в мастерскую, в переплетную, например, куда они и ходили, встречаясь там с другими арестантами. Но могли и не ходить.

Дважды в день арестантов выпускали на двухчасовую прогулку, мужчин и женщин вместе. И хотя они должны были шагать по кругу в унылом тюремном дворе, на прогулках продолжались политические споры или завязывались романы, происходили сцены ревности, ссоры и примирения.

После отбытия своих трех лет Раиса Осиповна была отправлена в Сибирь, откуда она снова бежала, теперь уже с мужем, разумеется тоже меньшевиком, притом довольно видным в партийной среде. На этот раз они бежали заграницу, и побег был удачным.

Так, к началу Первой Мировой войны они оказались за границей.

Заграничная жизнь Раисы Осиповны, в основном, во Франции, была полна бурными спорами, собраниями, выступлениями, выработкой каких-то программ и платформ.

Раисе Осиповне поручалось перевозить через границу прокламации, литературу и даже оружие.

Шестизарядные револьверы мирно покоились под батистовыми блузками на дне ее изящного женского чемоданчика.

Всё сходило благополучно — хорошенькая и острая на язычок «курсисточка» умела обворожить и отвлечь внимание таможенных чиновников.

Не обходилось и без курьезов. Однажды на условленной станции Раису Осиповну не встретили. Она слонялась по маленькому городку, не решаясь появиться в единственной гостинице. Чемодан с револьверами оттягивал руку. В конце концов она решила выбросить револьверы где-нибудь подальше в городском саду и с облегченным чемоданчиком уже без риска возвращаться назад. Но тут она обнаружила, что потеряла ключ от чемоданчика!

Пришлось расстаться со всем чемоданчиком, как ни жаль ей было своих блузок — жилось им с мужем не слишком богато. Везти же чемоданчик со всем его конспиративным грузом еще раз

через границу она не рискнула.

Все это Раиса Осиповна рассказывала живо и легко, с мягким юмором. Конечно, жилось им нелегко: и голодали, и холодали, но… какое это было прекрасное время! Как легко дышалось, как верилось в будущее! Какие замечательные люди были кругом!

Еще трудней стало, когда родился Дэ-дэ. Но что это был за ребенок! В два года он уже свободно лепетал по-французски. Это он сам прозвал себя Дэ-дэ — его звали Андреем, — но с тех пор он так и остался Дэ-дэ. Когда Раиса Осиповна говорила о своем Дэ-дэ, лицо ее светилось, морщины разглаживались, и она молодела на глазах.

Когда грянула русская революция, они с мужем были в Брюсселе. Их нетерпению не было границ: скорее на родину, где наконец-то народная революция, которой отдана вся жизнь, все помыслы!

…Как только пришла весть о победе революции, и был заключён мир с Германией, Раиса Осипова с первым отходящим из Брюсселя в Петроград пароходом собралась в Россию.

Пароход был грузовой и никаких пассажиров не брал. Когда капитан узнал, что речь идет о женщине, да ещё с ребёнком, он наотрез отказался их взять.

— Первый рейс в ещё начиненном минами море, в ещё наэлектризованной войной обстановке — о пассажирах, да ещё о женщине с ребёнком, не может быть и речи!

Но надо знать Раису Осипову, чтобы понять, что она от затеянного не отступила. Пустив в ход все свои женские чары ей удалось уломать капитана чтобы он взял её одну без Де-Де. Когда пароход оказался далеко в море из вещевой корзинки был извлечён мирно спавший малыш. Возмущению капитана не было границ. Но не возвращаться же из-за этого назад!?

Так Раиса Осиповна и Де-Де вернулись в теперь уже Советскую Россию.

Дальше все пошло уже не так весело. Не успели оглянуться, мужа Раисы Осиповны высылают заграницу (еще только «высылают» — учтите гуманность!), но одного, без семьи. Начинается хождение по мукам, обивание порогов — ей заграничной визы не дают.

Вскоре Муж Раисы Осиповны серьёзно заболел и через месяц умер. Уезжать ей стало не к кому, пришлось остаться в России. Остальная ее жизнь с Дэ-дэ приходится на ссылки. В общей сложности девять лет. Каждый раз по три года, с небольшими перерывами между арестами.

Первую ссылку она отбывала где-то недалеко от Москвы, а вторую и третью в Свердловске. Там Дэ-дэ и школу кончил.

На свою ссыльную жизнь Раиса Осиповна не жаловалась. Город большой, культурный. Хотя и «ссыльная», она работала в библиотеке и давала уроки языков.

По окончании последних свердловских трех лет Раиса Осиповна собрала пожитки и приехала к сыну в Москву, куда он уехал, закончив школу в Свердловске.

Совсем недавно ей сделали операцию по удалению катаракты. Читать она еще может, правда, с трудом и понемножку. А тут — опять арест! Ее ждала очередная, четвертая ссылка, ну, да ей не привыкать, и Раиса Осиповна бодрилась, стараясь и в нас поддерживать бодрость духа и надежду на лучшее.

После суда я встретилась с Раисой Осиповной еще раз на Бутырской пересылке — в одной из общих камер, куда набивали по пятьдесят и больше осужденных перед отправкой партиями на разные этапы. Оттуда я и проводила ее на Енисейский этап.

Когда через десять с лишним лет я сама оказалась в Енисейске, то тщетно искала следов ее пребывания. Туда она, очевидно, не доехала. Енисейский этап с переполненными донельзя пересылками 1936 года был ей, наверное, уже не по силам. Напрасно Дэ-дэ хлопотал о том, чтобы мать отправили «спец-конвоем», то-есть пассажирским поездом с конвоирами, и сама Пешкова, которая знала Раису Осиповну твердо обещала ему что спец-конвой будет.

Третья наша сожительница, Ирина, была тихой и молчаливой молодой женщиной. В чем ее обвиняли, она и сама хорошенько не знала. Называли ей каких-то свидетелей ее антисоветских высказываний. Эти свидетели носили удивительные фамилии: Капустин, Кочанкин, Кочерыжкин.

Никого из них она, конечно, не знала и понимала, что все это — издевка, но протоколы покорно, без споров, подписывала, надеясь только на то, что ее отправят в ссылку, а не в лагерь, и отдадут ей единственного малыша, которого она только что отняла от груди.

После её ареста ребенок остался у чужих людей. Мужа у нее не было, а родители жили где-то далеко.

Где теперь ее мальчик? Что с ним?

Теперь нам были разрешены передачи, и мы все, кроме бедной Ирины, получили их в один день.

К моей передаче не было приложено письма или записки, но был список передаваемых вещей, написанный маминым почерком. Значит она жива, значит на свободе!

Мы стали получать передачи каждую неделю Были тут и вещи, было и съестное — яблоки, апельсины, чеснок. Чеснок я

никогда не ела, но, видно, мама уже узнала из разговоров в бутырских очередях, что чеснок необходим — иначе цинга! Кроме чеснока я получала конфеты в коробках, печенье в упаковках и даже консервы.

Надо сказать, что в Бутырках кормили обильнее, чем на Лубянке. Мы вполне могли обойтись без продовольственных передач, но как дать знать об этом нашим родным? И нас мучило, что они тратятся понапрасну.

Вероятно, мы жили гораздо беззаботнее, чем несчастные наши родные, выстаивающие длинные очереди в приемных Бутырок — сперва, чтобы сдать передачу у одного окошка, затем у другого, чтобы узнать «новости» и услышать обычный ответ: «Решения по делу еще не имеется». Можно представить себе их тревогу, их страхи за нас, их отчаяние…

Бутыркские корпусные

Четыре наших корпусных дежурили по суткам, через каждые три дня. Один — украинец, приславший мне томик Брюсова. Второй — абсолютно безликий, незаметный человек, которого мы так и прозвали «Безликим»: он молча входил в камеру, окидывал нас равнодушным, ничего не выражающим взглядом и тут же выходил, захлопывая за собою дверь.

Третий был красавцем. Стройный и статный, с профилем Аполлона Бельведерского, с льняными кудрями, лихо выбивающимися из-под форменной фуражки.

Ему была присуща какая-то лихость в движениях. Он стремительно входил в камеру, и так как дверь открывалась вовнутрь, прикрывая собою парашу, он неизменно заглядывал за дверь, словно желал убедиться, что параша цела и стоит на своем месте. Затем он поворачивался, прищелкивал каблуками и военным шагом стремительно выходил вон.

Методичность его движений и жестов и весь его «аполлоновский» облик применительно к его должности, невольно заставляли предполагать скудость мыслей в этой красивой голове, и нас так и подмывало над ним поиздеваться.

В один прекрасный день мы переместили нашу парашу с ее обычного места под стол да еще прикрыли сверху одеялом. Нам хотелось посмотреть, какова будет реакция красавца.

Мы не ошиблись, — он был потрясен. Заглянув, как обычно, за дверь, он вздрогнул. Уже открыл рот и даже произнес: «А…» Испуганно посмотрел на нас и сообразил, что это розыгрыш. Нам он ничего не сказал, но выйдя за дверь, принялся распекать часового.

Бедный часовой, получивший ни за что ни про что взбучку, открыл окошечко и сердито сказал:

— Женщины! Сейчас же поставьте парашу на место!

На что Раиса Осиповна самым добродушным и почтительным тоном ответила: — Разве у нее есть определенное место, гражданин часовой? У нас все углы заняты.

Часовой не нашелся, что ответить, и с грохотом захлопнул окно.

Самой колоритной фигурой изо всех корпусных был тот, кого мы прозвали «Вельзевулом». Маленький, болезненный на вид, всегда с каким-то зверским, искаженным лицом, он стремительно влетал в камеру, пронзал нас ненавидящим взглядом, потом внимательно осматривал каждую стену, и, подойдя к одной из них, тыкал пальцем в едва заметную царапину и спрашивал, шипя от ярости:

— Это вы сделали?

Раиса Осиповна выступала с ответом:

— Ну что вы, гражданин начальник, разве мы похожи на людей, способных портить стены?

Вельзевул выскакивал вон, не находя достойного ответа.

Однажды ему повезло. Это случилось в его дежурство, в то время, когда мы уже вполне обжились в Бутырках.

Уже несколько дней к нам в стену кто-то упорно и настойчиво постукивал. Конечно, Раиса Осиповна знала тюремную азбуку, но без навыка и тренировки уловить стуки было нелегко, и самим отстучать тоже. Хотя никаких «связей» у нас ни с кем не было, но просто ради любопытства было интересно узнать, кто нам стучит, и что у нас за соседи. Для этого нам необходимо было изучить «ключ» тюремной азбуки, так как на слух ничего не получалось. Надо было каким-то образом написать эту азбуку на кусочке бумаги.

Но чем? Карандашей или ручек нам иметь не полагалось…

Нам давали по одиннадцати папирос в день (почему именно по одиннадцати?), не спрашивая, курящие мы или нет. Я начала курить ещё на Лубянке в надежде унять щемящую тоску неизвестности.

Для того, чтобы закурить, надо было постучать и попросить часового зажечь спичку. Иногда спичка оставалась в его руках, иногда переходила в мою собственность. Как оказалось, и обгорелая спичка может на что-то пригодиться.

Мы нацарапали этот нехитрый «ключ» обгорелой спичкой на кусочке бумаги, и я взялась за дело.

Положив на страницу открытой книги азбуку, чтобы не было видно в глазок, я ручкой ложки стала постукивать. Мне тут же

ответили, только я не могла понять — что. Сидя на своих койках, все затаили дыхание, стараясь уловить ответ…

Вдруг наша дверь с грохотом распахнулась, и в камеру влетел Вельзевул.

Он схватил мой несчастный «ключ» и ложку — вещественные доказательства моего преступления.

— Вы будете наказаны! — прошипел он и выскочил вон.

Доигрались! Мы все думали, что посадят в карцер только меня, что было бы логично, так как стучала я. Но через некоторое время окошечко открылось, и часовой возвестил:

— Соберитесь с вещами!

— Все?

— Все! Собирайтесь!

Неужели нас всех посадят в карцер? Собираться с вещами теперь стало не так просто. Вещей развелась тьма, нам несли и несли теплые вещи.

Наконец мы кое-как увязали огромные узлы и стали ждать своей участи. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь громыхнула, Вельзевул и еще трое конвойных явились за нами.

Я не знаю, как устроены другие корпуса Бутырок, но в нашем двери камер выходили на длиннейшие балконы, которые тянулись вдоль стен корпуса, поперек которого были кое-где переброшены мостики, и с них спускались ажурные, довольно крутые лестницы.

В Бутырках не было принято цыкать, как на Лубянке, но тут тоже заключенным не полагалось встречаться друг с другом, и поэтому конвоиры, чтобы предупредить, что они ведут кого-то, постукивали ключами по медным пряжкам своих поясов. Встречный конвоир ставил своего подопечного лицом к стене, и таким образом происходила разминка.

Под мелодичный звон ключей наша процессия тронулась. Впереди Вельзевул, за ним один из конвоиров, затем гуськом мы со своими узлами, за нами еще конвоир и, наконец, последний замыкающий с нашей парашей в руках, которую он торжественно нес перед собой: очевидно, параши в то время в Бутырках были дефицитом.

Подбирая по дороге выпадающие из узлов пожитки, мы спускались всё ниже, пока не кончились все лестницы и мы не пошли вдоль стен, едва освещенных тусклым светом лампочек. Это был тебе не наш солнечный четвертый этаж!

Наконец, Вельзевул с видом победителя распахнул перед нами дверь камеры.

Боже, что это была за камера! Крошечная каморка, где кровати стояли вплотную друг к другу, не оставляя места ни для

стола, ни для прохода. В камере было темно, как поздним вечером, а тусклая лампочка едва светила под самым потолком!.

Однако самый главный сюрприз ждал нас поздно вечером!. Только мы с грехом пополам улеглись спать, как вся наша каморка стала содрогаться от пронзительного лязга и скрежета. «Вау-у-у!» — завыло за стеной. И опять, и опять. Оказалось мы обитали теперь рядом с допотопным лифтом, который дико скрежетал и дребезжал всеми своими железками. Днем он, проклятый, молчал. Но только лишь наступала ночь…

Кабинеты следователей были на четвертом этаже, а работали они здесь, как и на Лубянке, по ночам.

На другой день дежурил корпусной — украинец. Мы стали просить его вызволить нас. Он сочувственно поцокал языком и помотал головой:

— Це я не можу. Це вам до його надо обращаться!

Мы прождали еще два дня и обратились «до його». Парламентером, конечно, была Раиса Осиповна.

— Гражданин начальник, — сказала она самым умильным голосом, — простите нас! Мы так сожалеем о своем легкомыслии, но, поверьте, тут не было злого умысла, просто от скуки!

Так как на его хищном лице не отразилось и тени чего-либо, похожего на снисхождение, вмешалась я:

— Гражданин начальник, накажите меня одну, ведь это я стучала! У бабушки (это у Раисы Осиповны) больные глаза, она только что после операции, ей никак нельзя при этом свете!

И Вельзевул заговорил. Он даже не шипел, говорил спокойно, с сознанием выполненного долга:

— У вас была прекрасная светлая камера. Вы вели себя дурно, и вас перевели в худшую. Будете опять вести себя плохо, вас переведут в еще худшую.

Через три дня, дождавшись его очередного дежурства, мы снова просили прощения, и снова услышали в ответ: «У вас была прекрасная светлая камера…»

Через несколько дней от нас взяли Ирину, а я, Галя и Раиса Осиповна так и остались сидеть в этой каморке. И каждый раз, когда мы обращались с просьбой о помиловании, в ответ раздавалось одно и то же: «У вас была прекрасная светлая камера…»

Да, у нас у всех была прекрасная светлая камера!

Глава IV
Игра в правосудие

Но все на свете кончается. И однажды входит корпусной —

украинец и передает мне узенькую ленту папиросной бумаги.

— Что это такое? — недоумеваю я.

— То це ж выписка з протоколу, з обвинительного акту. Мы все склоняемся над бумажкой. Там стоят две строчки точек, а затем: «На основании вышеизложенного Фёдорова Е. Н. обвиняется по ст. Уголовного кодекса 58–10 и 58–8»… И все.

Значит, на основании вот этих точек.

— А что это значит, — спрашиваю я украинца, — 58–10 и 58–8?

— Ну… 58–10 — полегше, а 58–8 — покрэпше! Завтра з утра на суд поедете.

На суд!.. Наконец!.. Сердце бешено колотится, руки перестают слушаться. Суд!.. Мой последний шанс, последняя надежда! Если это такая же комедия, как допросы — значит всё кончено, расстрел. Я уже понимала, что «террор» — это очень серьёзно. Если же меня выслушают, — НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, что бы не поверили, не увидели бы, что перед ними не политический не вообще никакой не преступник! — обыкновенный нормальный человек. Только бы выслушали, только бы дали говорить!..

Действительно, назавтра мне принесли утреннюю кашу раньше, чем другим, и принесли… отобранные еще на Лубянке шпильки! Какая аккуратность и оперативность! Хранятся не только «вечные» дела, но и дамские шпильки, могущие быть воскрешенными в любой момент, когда понадобятся!

Долго выбирали подходящий наряд из нескольких присланных мне мамой платьев. Чтобы было «прилично и скромно» (хотя все платья были более чем скромны).

Ну вот, готово! Я одета, причесана, сведена на оправку. Последние лихорадочные напутствия — что кому сказать, последний раз я повторяю затверженные адреса Дэ-дэ и Галиной матери, не перепутать бы! Ведь если меня оправдают, я же не вернусь в камеру!

Раиса Осиповна и Галя хлопотали вокруг меня помогая одеться, выбирая из одежды, присланной в передачах что-нибудь «поприличнее».

— Если я не вернусь, значит меня оправдали и отпустили. Все, что вам может понадобиться из моих вещей, вы оставьте себе. И помните, если в первой передаче будет по плитке шоколада «Золотой ярлык», значит, все хорошо, я виделась с вашими и все им передала.

Наконец, грохочут двери и какой-то новый конвоир с бумагой в руках сурово спрашивает:

— Кто здесь на «ф»? Последние объятья, поцелуи.

— Ни пера, ни пуха! — К чёрту, к чёрту!

— Подсудимая, выходите!

Боже мой! Я уже не «женщина», я уже «подсудимая»! Я хватаю свое кожаное пальто, и дверь за мной захлопывается.

Конечно, меня ведут на «вокзал» и сажают в «собачник». Я сижу в «собачнике» по крайней мере час или больше, лихорадочно вспоминаю все, что должна сказать на суде, всю когда-то заготовленную мною блестящую речь, которая своей правдивостью, логикой и убедительностью должна доказать несостоятельность и чудовищность возводимого на меня обвинения.

Когда-то я знала эту речь назубок, вытвердила ее на Лубянке, но это было так давно, век тому назад! Теперь мои мысли скачут как попало, и я с ужасом чувствую, что скажу не так, как надо, что-то забуду, что-то упущу. Это приводит меня в отчаяние… Главное, про Юрку. Не забыть Анну Ильиничну. Анекдоты. «Артэк». Все в голове кружится и путается.

Наконец приходит женщина, чтобы обыскать меня раздев догола. Вид у нее невозмутимо деловой, она делает свою привычную работу молча, и я ее ни о чем не спрашиваю. Я снова одета и жду.

Меня выводят из «собачника» на совершенно пустой «вокзал» (интересно, за другими дверями «собачников» тоже кто-то сидит? За каждой дверью?). Во дворе ждет «черный ворон». Меня сажают в тесный шкафчик, я больно стукаюсь лбом об стенку — поехали!

Мы едем подозрительно недолго. Куда же? «Ворон» круто заворачивает раз, потом другой и останавливается. Мой шкафчик открывают, и я из темноты попадаю в солнечный зимний день.

Нежданная встреча

Сначала я ничего не вижу, зажмуриваюсь, но глаза скоро привыкают к свету. Глухой асфальтовый дворик. Куда мы приехали?

И вдруг — радостный, изумленный и такой знакомый голос:

— Женечка! Ты?

Господи! Или это мне снится? Из другого шкафчика моего «воронка» выскакивает Юрка и, прежде чем конвой успевает опомниться, бросается ко мне, тискает меня в объятиях, целует.

— Юрка!

— Женька!

Но тут конвой бросается между нами:

— Разойтись! Разговаривать запрещается!

Теперь нас ведут в строгом порядке: конвоир, затем Юрка, еще конвоир, затем я, а сзади — еще один конвоир. Мы входим в

дверь и попадаем на какую-то черную лестницу. По ней спускаемся вниз и входим в небольшой пустой подвальчик с окошечком под потолком. За мной и Юркой запирают дверь.

Где же ваша логика, граждане из НКВД? Строго храня тайну «собачников», боясь случайных встреч в коридоре, вы везете нас на суд в разных шкафчиках «черного ворона», чтобы потом посадить вместе в подвальчик и дать наговориться всласть.

В подвальчике был глазок и мы боялись, что как только начнем говорить, нас разъединят. Поэтому вначале мы говорили шепотом, сев на скамью далеко друг от друга. Но так как никто нас не одергивал, то в конце концов мы очутились на скамье рядом и, спеша, боясь, что не успеем — ведь нас в любую минуту могли вызвать, — перебивая, нескладно рассказываем обо всём что с нами случилось и как появились наши «дела».

Юрку вызвали в НКВД в Смоленске — он был там у матери. Его спросили о наших с ним «террористических разговорах». Он вполне искренне удивился и сказал, что никаких таких разговоров никогда не было.

Были анекдоты, но кто же их не болтает? Его отпустили, а ночью — взяли. И сразу же с ночным поездом увезли в Москву, на Лубянку. Он сидел на Лубянке в том же зале с «хорами», через несколько камер от меня. Он не просил книг, уверенный, что не сегодня-завтра его выпустят, и вообще он не понимал, почему его забрали.

А потом ему показали подписанный мною протокол, где я подтверждала, что была готова УБИТЬ СТАЛИНА за сто тысяч рублей. И это я говорила ему, Юре, и он знал о готовящемся покушении!

— Покушении?

— Да, именно так она говорила, эта смазливая бестия.

Я, хоть убей, не помню, чтобы ты такое говорила. О Николаеве, действительно, что-то болтали, но что и как?

Ему говорили, что он ещё может спастись, что он ещё мальчик, что вся жизнь у него впереди, что чистосердечное признание пойдёт ему на пользу, а запирательство его МНЕ всё равно ничем не поможет, так как Я всё равно во всём созналась.

Ему показывали подписанные мною протоколы допросов, где я сознавалась, что неоднократно проявляла готовность совершить террористический акт над Сталиным. И это было гораздо раньше, чем я в действительности подписала протокол с формулировкой следовательницы о моём «террористическом высказывании».

Юрку ловили в сеть демагогических афоризмов:

Вопрос: — Фёдорова всегда была довольна своей жизнью?

Ответ: — Да нет, не всегда… Последнее время у неё были

нелады с мужем.

Вопрос: — Значит не всегда. Но где же живёт Фёдорова? В Советском Союзе?

Ответ: Да, конечно в Советском Союзе.

Следователь: Значит, она не была довольна жизнью в Советском Союзе.

Так и записывалось в протокол.

Юрка чувствовал, что запутывается, губит меня, пытался отказываться от того, что подписал накануне и запутывался всё больше и больше.

Ему сказали, что если он, человек советский, воспитанный советской школой, строитель Горьковского автозавода, то он обязан был донести на меня, и только по свойственному ему легкомыслию и молодости лет не сделал этого.

Но теперь, когда Фёдорова сама созналась в своих преступлениях, приходится и его обвинить в сообщничестве. Стоит ли ставить на карту все его будущее, а может быть, и жизнь? Свою двоюродную сестру он все равно не спасет, ее участь решена.

Теперь же вопрос стоит об ее матери: привлечь ли и ее, как соучастницу террористической организации, или оставить в стороне, если он, Юра Соколов, правдиво расскажет обо всем, касающемся Е. Н. Фёдоровой и ее террористических намерений.

Тут Юрка совершенно потерял голову, рассуждая, примерно, как и я — лучше нам погибнуть вдвоем, мне и ему, чем потянуть за собой других. Так появился на свет подписанный Юркой протокол о том, что Фёдорова — антисоветский, морально-разложившийся человек, что она неоднократно высказывала готовность за деньги убить Сталина…

Я не могла обвинять Юру в том что он подписал такие показания, так как слишком хорошо понимала, как все это получилось.

Понимала я и второе: по существу для меня это тоже уже «всё равно». Материал моего следствия обрекал меня, скорее всего, на расстрел.

Единственным шансом оставался СУД. — Суд ВОПРЕКИ следственному материалу.

…И вот он настал. Часам к двенадцати дверь отворяется:

— Подсудимые, выходите!

В сопровождении охраны мы поднимаемся по лестнице.

Сначала мы идём какими-то закоулками, опять впереди один страж, за ним я, за мной второй страж, за ним Юрка и за ним ещё страж.

Через какую-то дверку попадаем в роскошный вестибюль.

Высокие зеркала в старинных рамах, лепные потолки, широкая мраморная лестница. Но прежде, чем вступить на нее, мы видим вдали, за зеркалами, две знакомые фигурки; мы узнаем их сразу.

Они вскочили с кресел, машут нам изо всех сил, посылают воздушные поцелуи. Это тетя Юля — Юркина мама и его тётушка Мария Петровна. Тетя Юля издали смотрит на нас, глазами, полными страха и надежды, умоляющими, взволнованными… Кого умоляла она?.. О чём?..

Они узнали о дне суда. Моя мама прийти не решилась, — видно, она побоялась — не выдержит сердце, что же будет со внуками? Ведь у неё на руках дети — шести и четырёх лет.

Конечно дальше вестибюля тётю Юлю не пустили, но и эта короткая минутка, когда наши глаза послали друг другу: — Живы!.. Надеемся!.. Крепитесь!.. — была для нас драгоценна.

— Подсудимые, не задерживайтесь!

На площадке первого марша огромное, во всю стену, зеркало. Впервые за полгода я вижу себя в зеркале во весь рост. В чёрном платье, с причёской, — такая давно не виденная, незнакомая… Еще не старая, и фигура ничего. По женской привычке я мимоходом поправляю волосы.

И, наконец, большой, длинный и узкий зал. В зале — ряды светло-желтых кресел, но в них никто не сидит. Зал абсолютно пуст. Нас ведут к полукруглому помосту, отгороженному от зала деревянным барьером; там стоит простая грубая скамья — «скамья подсудимых».

— Садитесь!

В зале никто не появляется, очевидно, наших допустили только до вестибюля.

Вдоль передней узкой стены на возвышении стоит длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом — три стула со старинными, высокими спинками, а за ними — портрет «Великого» в золотой раме. К одной из узких сторон стола приставлен маленький столик и обыкновенный стул — вероятно для секретаря.

Сбоку из-за кулис выходит человек в форме и возглашает:

— Встать! Суд идет!

— Встаньте, встаньте! — испуганно шепчут конвоиры за нашими спинами. Мы встаем.

Выходят трое, все, конечно, военные. В глаза мне бросается ОДИН — старый сухощавый человек с густыми седыми волосами. Его щека время от времени дергается в нервном тике. За маленьким столиком помещается секретарь. Никаких прокуроров или адвокатов нет, но меня это не удивляет, так как я не знаю, что им положено быть.

Ни разу в жизни я еще не бывала на суде. А кроме того зачем мне адвокаты? Кто же лучше меня самой может рассказать о моем деле? Ведь я-то лучше знаю.

Секретарь объявляет заседание Военного Трибунала Московской области открытым. Мы узнаем имена и фамилии судей, и секретарь, обращаясь к нам, подчеркнуто вежливо спрашивает, нет ли отводов с нашей стороны.

Смешно! Что нам говорят эти незнакомые имена и фамилии? Этих людей мы видим впервые. Что мы о них знаем? Правда, мне не нравится этот сухопарый с тиком, но не могу же я сказать, что не хочу его в судьи?! Только потому, что у него дергается щека.

Но вот формальности закончены, и средний, должно быть, главный судья начинает спрашивать мои имя, отчество, год рождения. Я больше всего боюсь, что мне не дадут говорить, не станут меня слушать, и хотя теперь в моей голове ничего не осталось от блестяще заготовленной речи, я, не дожидаясь дальнейших вопросов, начинаю говорить и говорю без передышки, боясь, чтобы меня не перебили, не остановили.

Я говорю, что дико, нелепо, смешно, противоестественно обвинять меня в том, в чем меня обвиняют. Что прежде, чем обвинять во всей этой дичи и нелепице, надо же хоть немного узнать обо мне — что я за человек. Чем жила, чем дышала. Ведь я же не в пустыне жила, масса людей меня знает — и по работе, и просто так, друзья, знакомые. Это и редакторы газет, и сотрудники ОПТЭ, где я работала последние два года.

Среди них есть разные люди, и молодые, и старые; есть коммунисты, старые члены партии, вот хотя бы тот же Ганичка, — Ганин, поправилась я, Анатолий Андреевич. (о нем речь впереди). Пусть их спросят, могла я быть виновна в чем-нибудь подобном тому, в чем меня обвиняют. Им, членам партии, вы должны поверить, если не верите мне!

Меня не прерывают, и я сама, наконец, останавливаюсь, не зная, что еще сказать.

И вдруг происходит чудо. Я вижу, как головы склоняются друг к другу, как они о чем-то шепчутся, как секретарь, встав со своего места, подходит к ним и тоже что-то шепчет. Затем секретарь выходит на авансцену и объявляет в пустой зал:

— Дело слушанием откладывается до вызова названных подсудимой свидетелей!

Судьи встают и удаляются за кулисы, а мы с Юркой сидим обалдевшие, ничего не понимая. Какие свидетели? Чего? Первым приходит в себя Юрка:

— Женька, Ты — гений! Мы оправданы!

Ну конечно же оправданы! Ведь все меня знавшие скажут о

моем деле, что это — чушь и чепуха, пустая болтовня, а не политическое дело! Оправданы! Я так и знала! От счастья слезы подступают к глазам, и Юркино сияющее лицо двоится прыгает.

Из-за кулис снова появляется секретарь, он подходит ко мне и протягивает мне лист бумаги и карандаш:

— Вы поняли, — говорит секретарь, — что суд откладывается до вызова свидетелей, которых вы назвали?

Напишите здесь, кого вы хотите вызвать в свидетели.

Как откладывается? На сколько откладывается? Я не могу больше ждать! Я не знаю, что с моей матерью, с моими детям Я не могу больше сидеть в тюрьме! Я кричу, я вот-вот зареву.

— Успокойтесь, — дружелюбно и даже ласково говорит секретарь. — Ваши дети живы и здоровы, и мать тоже.

У нас есть ее письма, сейчас я их вам принесу. Второе заседание мы назначим скоро, недели через две-три. Успокойтесь!

Юрка мне шепчет на ухо:

— Женька, дуреха, ну что значит еще две недели, да хоть и два месяца!

Секретарь уходит, и я пишу на листочке 10–12 фамилий наиболее солидных людей из своих знакомых.

Самым первым я ставлю Ганичку, т. е. майора Ганина — моего близкого друга, потом идут несколько человек из ОПТЭ; прокурор Гладкий, бывший начальником маршрута на Беломорканале, где в прошлом году началась моя экскурсоводческая деятельность; потом Аделунг, видный работник ОПТЭ, зав. каким-то отделом, неверное, член партии. Вспоминаю Владимира Александровича Энгеля, который уговаривал меня вступить в партию и обещал дать характеристику.

Поколебавшись — стоит ли беспокоить старика — я все же ставлю и его фамилию. Потом — мои газетные и журнальные связи. Джек Алтаузен. Когда-то мы с ним вместе учились, правда, давно уже не встречались. В «Пионерке» — Лёва Поспелов, Женька Долматовский, они все хорошо меня знают…

Вернувшийся секретарь ахает, увидев мой список:

— Что вы, что вы! Достаточно двух-трех. Вот вам письма вашей матери.

Несколько записочек, которые, как мама надеялась, я должна была получить в тюрьме вместе с передачами. В каждой: «Не беспокойся, ребята здоровы, веселы. Все будет хорошо. Не беспокойся!»

Мы шествуем обратно тем же путем. В вестибюле опять тетя Юля и Мария Петровна. Им уже, наверное, сообщили, что суд

отложен, и они надеются, сияют, что-то нам кричат. Что они кричат, мы не разбираем, улавливаем только: «С Новым годом! С Новым годом!»

— С Новым годом! — кричим мы в ответ. — До скорого свидания!

Господи, мы совсем и забыли, что сегодня — 31-е! Канун Нового года! Кончается год, кончаются все наши невзгоды и несчастья! Новый, 1936 год, принесет нам свободу, торжество справедливости.

Мы снова сидим в том же подвальчике. Только бы подольше за нами не приезжали! Теперь мы болтаем вовсю, мы уже ничего не боимся, мы ведь почти уверенны, что будем оправданы! Нам приносят передачу — это наши милые тетушки расстарались! Огромный шоколадный торт, а в кульке — груши, виноград и апельсины.

— Ну зачем столько? Ведь сколько все это стоит!

Мы уплетаем торт и, перебивая друг друга, со всеми подробностями рассказываем о своих «приключениях».

— …Погоди, Женечка, дай мне сказать как это было.

— Занятия еще не, начались, сентябрь и октябрь мы копаем картошку в колхозах, и по этому случаю я еще в Смоленске. Вдруг — повестка! Что такое? Отправляюсь на улицу Кожуха. Помнишь, там новый дом отгрохали, черный, несуразный… Какие-то террористические разговоры?! Бред собачий! Ну, я отлаялся и успокоился (и картофельный день прогулял, очень даже приятно!). А ночью меня забирают и с шиком привозят прямиком на Лубянку ночным курьерским поездом.

— Неужели мы никогда так и не узнаем, как все это произошло? Всей этой фантастики?

— Ей Богу, я бы полжизни отдал, чтобы узнать! «Полжизни бы отдал». Но ведь он и отдал, на самом деле отдал. В лагерях Юра заболел туберкулезом и умер в сорок лет, даже не дождавшись реабилитации: он получил ее посмертно. Юра, который был подхвачен вихрем моего дела, отдал полжизни. А я доживаю, его недожитые сорок лет, мне скоро 80…

Я и сейчас считаю себя косвенно виноватой в его преждевременной смерти.

Часы бегут незаметно, а за нами все не едут.

Мы доедаем свой новогодний торт, а за нашим решетчатым окошечком синие сумерки сменяются настоящей темнотой. Когда нас, наконец, выводят, на дворе уже совсем ночь, и в небе светятся звезды.

«Ворон» стоит во дворе, его дверцы гостеприимно распахнуты. На этот раз конвой решает, что нет смысла

запихивать нас в разные шкафы, тем более, что «ворон» совершенно пуст.

Мы едем, и через сквозную решетку задних дверей нам видны ярко освещенные, полные народа праздничные улицы Москвы. Магазины еще открыты, в витринах — новогодние елки…

Глава V Свидетели

Нечего и говорить, что в нашей камере никто не спал до утра. Рассказам и волнениям не было конца. Меня заставляли повторять двадцать раз одно и то же.

Что нас ждет полное оправдание — не сомневался никто. Ни я, ни Галя, ни Раиса Осиповна. Раз подходят «по существу», а не формально, вызывают свидетелей, значит, все будет в порядке.

Секретарь не обманул. Второй раз суд собрался через три недели. Это был конец января 1936 года. Повторилась та же церемония сборов, я опять твердила адреса. Но наш новогодний восторг немного поулегся, и Раиса Осиповна уже слегка покачивала головой:

— Что они еще скажут, ваши свидетели? А если на них поднажмут. Ведь вот, ваша Лёля Селезнёва…

— Да нет, что вы. Там было совсем другое: у нее допытывались о каком-то конкретном разговоре и говорили, конечно, что я сама «созналась». А я и не вызывала её. Зачем этим людям меня чернить? Ведь они все люди порядочные, знают меня. Ведь их можно было и не вызывать, это я попросила.

Во второй раз наших родных в Трибунале уже не было, очевидно, им не сказали.

Ввели нас в ту же самую пустую залу. Секретарь объявил: «Суд идет». И тут ждал первый сюрприз, который больно кольнул в сердце дурным предчувствием.

Судьи вошли, но не те, которые были в прошлый раз. Из тех был только один — седой, с тиком. Двое были новыми — значит, они не слышали того, что я говорила. А тот, который слышал — злой и неприятный, он не станет меня защищать. Сердце у меня упало… И я не ошиблась.

Секретарь стал читать протокол прошлого заседания суда. Я ушам своим не верила! Он читал то, чего я вовсе не говорила: что я утверждала, что мое дело «состряпано» на основании, якобы, болтовни, а болтовня эта была просто шуткой с моей стороны.

— Я же совсем не так говорила! — воскликнула я.

— Подсудимая, — председатель постучал карандашом по столу, — вам слова не давали. Будете говорить, когда дадут.

Сердце у меня сжалось еще сильнее. И вот — второй сюрприз.

После чтения протокола председатель велел вызвать первую свидетельницу… Ольгу Селезнёву.

Моя подруга Лёлька

— Лёльку? Да разве я называла ее?

…И вот она стоит, смущенная и хорошенькая, в своей беленькой заячьей шубке, пушистые золотые волосы выбились из-под белой шапочки. Она старательно водит пальчиком в белой перчатке по спинке стула и говорит с бесконечными паузами:

— Я точно слов не помню… но смысл был такой… Женя пришла домой сердитая и замерзшая… А когда гроб с телом товарища Кирова выносили из Таврического и процессия двигалась по Кирочной улице… Людей загоняли во дворы… То есть, прохожих, чтобы не мешали… А за гробом шел товарищ Сталин…

Женя тоже была на улице и ее тоже загнали во двор… Пока проходила процессия… И она озябла… А когда пришла домой, то сказала, что все это из-за Сталина… И лучше бы его убили, чем Кирова…

«Боже мой, Боже мой, что за бред! Лёлька, неужели ты не помнишь, как мы стояли вдвоем на подоконнике в зале и в открытую форточку смотрели через Неву на кусочек Кирочной улицы, который виден в пролете какого-то переулка недалеко от Литейного. И было видно, как по Кирочной медленно движется процессия, а по всему Ленинграду гудят гудки всех заводов — жалобная, надрывающая сердце траурная симфония гудков. Неужели ты не помнишь, как мы стояли на окне, обнявшись, чтобы не свалиться с подоконника, стояли и слушали?»

— Подсудимая, вы подтверждаете показания свидетельницы?

— Нет, ничего подобного не было.

— Значит, это — ложные показания?

Я теряюсь: ведь за ложные показания судят?

— Не знаю… Может быть, ей кажется, что было так. Но она ошибается. Я была дома… Лёлька, ты вспомни!

— Подсудимая, вы должны только отвечать на вопросы. Свидетельница, вы свободны.

Лёлька выходит, не взглянув на меня. Это потом я узнаю, как Лёльку допрашивали на Гороховой, читали мои показания о «террористических разговорах» с ней во время убийства Кирова.

А когда она таких разговоров вспомнить не могла, её заперли в комнате и пригрозили, что она не выйдет оттуда прежде, чем не «вспомнит». Она просидела там до позднего вечера и в конце концов «вспомнила».

Ну, а если бы «не вспомнила»? Изменило бы это мою судьбу? Вряд ли. А ее? Она была уже на последнем курсе химического института, комсомолка. Могу ли я ее осуждать? Тем более, что сама, по собственной глупости запутала ее в свое дело.

Через многие годы, после реабилитации, мы с ней снова сблизились, конечно, не так, как в дни нашей юной дружбы, но моего дела и суда никогда не касались. И про жизнь мою в лагерях она тоже ничего не хотела слышать.

Следующим свидетелем оказался Гладкий, мой бывший начальник на маршруте Беломорканала.

Там на маршруте он превозносил до небес мои экскурсоводческие и литературные таланты, дружески болтал со мной при каждой встрече, чуть не умолял меня на будущий год ехать только на его маршрут.

В конце сезона он рекомендовал меня на курсы усовершенствования экскурсоводов.

Здесь Гладкого как будто подменили. Он держал себя уверенно и развязно, не стесняясь смотрел на меня в упор. Ведь он и сам был прокурор!

— Фёдорова была отличным экскурсоводом, — заявил он.

— Поверьте, товарищи судьи, что если бы она в своих лекциях (а я их контролировал) допустила хотя бы один антисоветский выпад, то оказалась бы здесь год тому назад.

У меня кольнуло в сердце от дурного предчувствия…

Гладкий продолжал:

— Но вот просматривал я гранки туристского справочника, который было поручено составить Фёдоровой, и взяли меня сомнения… Такое ли уж простое недопонимание, — вот тут есть место… Разрешите зачитать?

Ему разрешают, и он зачитывает что-то насчет сооружения канала, о какой-то пострадавшей деревне, целиком затопленной, жителей которой пришлось переселить в другие места.

— Тут явно чувствуется нездоровый душок: сочувствие мелкообывательскому крохоборству. Я в рукописи отметил. И еще есть несколько таких скользких местечек и мыслей. Справочник должен подлежать солидной, очень солидной переработке и скорее всего вообще не выйдет.

Очень довольный своей бдительностью и дальновидностью, он также поведал суду о том, что Фёдорова за «врастание кулака в социализм», что она пыталась «протащить» эти идеи… в справочник для туристов, но он, Гладкий во время это заметил.

Я была поражена, увидев вместо привычного, добродушного и доброжелательного Льва Самуиловича, — совершенно другого человека…

Таков был мой второй «свидетель», на которого я ссылалась, как на человека, могущего заверить что я не способна быть преступницей!

Гладкого отпускают не спрашивая меня согласна ли я с мнением свидетеля.

Вызывают третьего и последнего — Ганина.

«Вызвали! Слава Богу!» У меня снова вспыхивает надежда.

Но для того, чтобы понять, почему она вспыхивает, сначала надо рассказать о том, кто такой был Ганин и опять совершить экскурс в далёкое прошлое…

Ганичка

Я встретилась с ним в тот самый год, когда в Артэке впервые открылся пионерский лагерь, и когда мы с мужем, юные, влюбленные и счастливые, свободные от житейских забот, бродили по южному берегу Крыма.

Мы случайно попали в Артэк, влюбились в него, и найдя в парке, поблизости от него, великолепную беседку, похожую на боярский домик с башенкой, и балконом, парящим над острыми верхушками кипарисов, никого не спрашивая поселились в ней.

Рассказывали что её бывший владелец — Винер вывез её с Парижской выставки. Теперь она стояла совершенно заброшенная, на уступе скалы, на поляне, окружённой кипарисами и ливанскими кедрами.

Только что открывшийся детский лагерь был результатом забот и хлопот добрейшего пожилого доктора Фёдора Фёдоровича Шишмарёва.

Это был поистине благословенный уголок страны, с тенью терпентиновых рощ и ароматом магнолий, с морской синевой под жарким южным небом.

Три палатки Артэка стояли далеко внизу, а за ними расстилалась морская гладь. Вдалеке в море четко вырисовывались две живописные скалы — Адолары.

На каменном крылечке, обращённом к морю, даже в жару было прохладно. В первом этаже было пусто, на втором обитали мы. Мебели у нас никакой не было, кроме единственной табуретки, да самодельного мольберта. Постель была из мягкого душистого сена, занимавшего целый «альков» в крестообразной светелке. По стенам мы развесили кедровые ветки с экзотическими когтистыми шишками.

В тот год в Артэк приезжал Зиновий Петрович Соловьев — заместитель Наркома Здравоохранения, который вместе с доктором Шишмарёвым и высмотрел это райское местечко для

детской здравницы.

Макаша написал маслом поясной портрет Соловьёва, заработал двадцать рублей, и кроме того, пока он работал, мы оба получали бесплатное питание в лагере.

С работой никто не торопил, Соловьев уехал, и Мак дописывал детали уже без него, по фотографии.

Жили мы припеваючи на всём готовом, бродили по горам, купались в море, а вечерами сидели у лагерного костра и слушали рассказы доктора, много повидавшего в жизни и умевшего увлекательно рассказывать о прошлом.

В лагере был очень интересный и симпатичный повар, ещё молодой, лет тридцати человек. Он раньше был морским коком, объездил чуть не весь свет, однажды выиграл в Монте-Карло сто тысяч за одну ночь, а за другую спустил все до копейки.

Может быть, это были просто «морские байки», кто его знает! Во всяком случае, рассказывал он их мастерски.

Он был худ и поджар, с типичным поваром никакого сходства!. Он прыгал с отвесных скал Аю-Дага вниз головой с такой высоты, что сердце замирало, не у него, конечно, а у зрителей. Поваром он был тоже отличным.

Помню, как однажды, зайдя к нему на кухню, (он был тогда единственным поваром Артэка, а простота нравов в лагере — ещё девственной) я попробовала варёное мясо, которое он пропускал через мясорубку.

— Ой, Антоний Янович, оно же у вас сырое!

Он взял щепотку мяса и растер между пальцами.

— Ничуть, — ответил он. — Оно просто недосоленное, после чего он посолил мясо, перемешал и дал мне снова попробовать.

На на этот раз мясо действительно оказалось вполне готовым и на редкость вкусным.

С тех пор у нас появилось в обиходе новое выражение: — Попробуй пальцами на вкус.

Мы подружились с поваром Антонием Яновичем, и Мак дважды писал его портреты. Лицо у него было крайне выразительное, удлиненное с чуть искривленным носом, похожим на турецкий ятаган.

Один портрет Мак подарил ему, а другой долго красовался в нашей Ленинградской комнате и к сожалению пропал при переезде в Уфу.

Понятно, что в питании в Артэке мы не испытывали недостатка. Суп к обеду мы приносили в какой-то глиняной посудине, похожей на греческую амфору, которая оказалась в кухонном арсенале Антония Яновича, а второе в алюминиевой миске из нашего походного снаряжения.

…Портрет З. П. Соловьёва, написанный Маком долгие годы висел в Артэковском «музее». Только когда в 37 или в 38-м году «оказалось», что инициатором и основателем Артэка был ни кто иной, как сам Сталин, а не Соловьев с Шишмарёвым, портрет убрали, и куда он девался никому неизвестно!

Хотя мы жили на полном пансионе Артэка, и нам по существу ничего не было нужно, всё же когда у нас завелись какие-то деньги, полученные Маком за Соловьёвский портрет (пришли мы в Артэк из Симферополя пешком и без копейки в кармане), мы начали совершать походы на Гурзуфский базар, то за фруктами — абрикосами, персиками, виноградом; то за чем-нибудь из «канцелярских принадлежностей», то за кистями или красками.

Мак не любил отрываться от живописи, которой он посвящал львиную долю своего времени и вообще был немного тяжёл на подъем, поэтому, в закупочные экспедиции обычно отправлялась я.

Нагрузив мой рюкзак фруктами, купленными в Гурзуфе, я тихо плелась по раскаленной дороге, которая вела мимо татарского кладбища к нашему Артэку.

У низкой кладбищенской ограды стоял полуголый, загорелый человек в трусах и в бинокль пристально разглядывал море. Рюкзак оттягивал мне плечи, руки были заняты кульками с виноградом и грушами. Поравнявшись с человеком с биноклем, я его окликнула:

— Будьте так добры, не положите ли вы мои груши в рюкзак.

— Давайте попробую.

Он начал было засовывать груши в рюкзак, но тут же остановился:

— Куда вы идете?

— В Артэк.

— Так нам по пути, я из Суук-Су. Снимайте рюкзак!

Просить я себя не заставила. Так состоялось наше знакомство.

Это был Анатолий Андреевич Ганин. Он проводил меня до самого Артэка, до нашей боярской беседочки и просидел на крылечке, болтая со мной и с мужем до самого вечера, пропустив свои и обед и ужин. Как-то уж очень хорошо и просто нам болталось.

Он восхищался нашей бродячей беззаботной жизнью, а в нас нашел благодарных и любопытных слушателей своей, и в самом деле неординарной, истории — истории борца за революцию, за молодую Советскую республику.

Для нас он был первым живым героем, которого мы видели воочию. Был он лет на 20 постарше меня, но учитывая, что мне не

было и 19-ти, был еще, конечно, не стар. Нам он был очень интересен и приятен, и познакомившись с ним ближе за два проведенные с ним дня мы с Маком между собой, в шутку нарекли его «Ганичкой». Однако позже это имя как-то пристало к нему и он безропотно отвечал на него, когда я его так называла.

За эти дни мы узнали многое о его необычной жизни Молодость его пришлась на время революционных брожений в России. Он был сыном царского генерала и ещё до революции окончил Юридический факультет Томского Университета, где он и начал увлекаться революционными идеями, а потом и деятельностью. За это его дважды пытались исключить из Университета и только благодаря «связям» отца — генерала, ему удалось закончить Университет. В революцию он поверил фанатично, и когда она грянула, он сразу же пошёл ей служить.

Он прошел всю гражданскую войну, сражаясь на фронтах от Урала до Сибири и от Волочаевки до Чёрного моря, и рассказывал о ее всевозможных эпизодах увлекательно, с подъемом, но без ложного пафоса и рисовки.

Когда Гражданская война кончилась, он, член партии и кроме того, настоящий юрист с высшим образованием, которых было очень не много в первые годы существования Советской власти, — естественно стал видной фигурой в юридическом мире.

В то время, когда мы познакомились, он был членом ВЦИК и занимал какой-то ответственный пост в Наркомюсте, и в это время отдыхал в доме отдыха ВЦИКа. О своих «вциковцах» Ганин отзывался достаточно иронически: «Заелись, барахлом обросли! Сами скоро в буржуев переродятся!»

В доме отдыха ему было скучно и до встречи с нами он радовался, что срок его кончается и он уезжает. Но теперь он уже жалел, что должен ехать и досадовал, что наше знакомство произошло так поздно, накануне отъезда.

На другой день он пришел снова и весь этот последний день провел у нас. Он принес с собой бутылку чудесного вина, кажется Крымского Муската. Вино было, наверное, дорогое, мы, безденежные студенты никогда такого и не пробовали. Было опять весело и интересно.

Потом он уехал. Был он в то время, как выяснилось, одним из заместителей Н. В. Крыленко.

Так с Артэка началась наша многолетняя дружба, хотя виделись мы за это время очень редко.

В следующий раз мы встретились с ним только через пять лет, когда муж окончил архитектурный факультет Академии Художеств и мы по распределению уезжали В Башкирию. Но все эти годы между нами не прекращалась переписка.

Письма не были частыми, но были огромными, по 1015 страниц, и интересными по содержанию. Они были наполнены не столько описанием событий, сколько раздумьями по поводу виденного, читанного, пережитого.

Переписывалась с ним в основном я. Может быть потому, что я всегда была склонна к эпистолярным излияниям, и он тоже, очевидно, имел такую же склонность. Кроме того, я чувствовала простое человеческое расположение к нему и мне было интересно переписываться с ним.

За те пять лет, что мы не виделись, у Ганина произошло много серьезных событий, в корне изменивших его жизнь.

Так, вскоре после нашего знакомства от него ушла жена — его боевой товарищ, прошедшая с ним фронты гражданской войны. По-видимому он очень любил её и тяжело переживал разрыв. Но это больше читалось между строк. Ныть и жаловаться он не любил.

Потом он сошёлся с какой-то молоденькой девушкой — комсомолкой. Его всегда тянуло к молодёжи, к ребятам, пионерам, которым он отдавал очень много времени, — был «шефом» каких-то лагерей и ребята в нём души не чаяли.

Из этой комсомолки он мечтал сделать человека содержательного, духовно развитого, дать ей образование, воспитать в своем духе…

Но, не получилось.

Может быть, слишком велика была разница лет, может быть, он слишком подавлял её своим авторитетом, принципиальностью, безапелляционностью.

В общем, она родила ему дочь и ушла от него.

Трёхнедельную девочку Ганичка забрал к себе. Молодая мать очевидно решила, что ребёнок её будет только стеснять в дальнейшей жизни и охотно отдала дочку отцу.

Ганичка влюбился в маленькую дочку, и вся его жизнь обрела единый смысл и единую цель — вырастить из этого крошечного тёплого существа, и воспитать умного, мыслящего, содержательного человека — свой образ и подобие.

У Ганички были, несмотря на его высокое положение и достаток — свои «железные» принципы. Он был против всяких прислуг и домработниц. Он растил девочку самостоятельно, признавая только общественные формы заботы о детях, в данном случае ясли.

Дома же он сам кормил её, сам купал и сам стирал пелёнки.

Как раз вскоре после рождения Мальки — так он звал её от слова «маленькая», хотя настоящее имя девочки было Мая, он был назначен Наркомом юстиции Казахстана и увёз с собой в жару и

песчаные ветры, в края, где всё ещё орудовали басмачи, новорожденную дочку, которую надо было выкармливать из бутылочек.

Всё это я знала из его писем.

Письма из Казахстана были повестью о трудностях и ужасах насильственного становления советской власти в диком краю, о страшной и беспощадной борьбе с басмачами и о маленькой дочке, в которой постепенно пробуждалось человеческое сознание.

А потом я получила письмо, где он писал, что устал от юриспруденции, о том, что она стала ему претить, о том, что ему кажется, что этап, когда надо было «бороться за революцию» и уничтожать её врагов — миновал.

Уничтожать, уничтожать… и уничтожать… — писал он. Он устал уничтожать. Ему хочется заняться чем-нибудь другим. Что-нибудь «созидать». Стать рабочим у станка и вытачивать какие-нибудь детали, необходимые для советской индустрии…

Словом, он решил сменить профессию. Прежде всего, он ушел из Наркомюста СССР. Ушел с грандиозным скандалом, чуть было не был исключен из партии, но в конце концов, на своем настоял. Дело дошло до самого Сталина, и Сталин вызвал его «пред свои очи». Но «нашла коса на камень». Ганин подтвердил свое окончательное решение — оставить юриспруденцию.

— Можете делать со мной что хотите, но к юридической работе я не вернусь!

Очевидно даже Сталин понял, что его не переломаешь, махнул рукой и, как ни странно, велел отпустить.

Ганичку отпустили на все четыре стороны.

Из наркомов, он стал простым заводским разнорабочим, так как никакой технической специальности он не имел. Норм он не выполнял — не было ни навыка, ни опыта.

Через некоторое время перестало хватать денег… После фешенебельного кабинета и персональной машины с шофёром, у него не стало хватать пяти копеек на трамвай. А на руках была маленькая дочь.

Он все делал сам: увозил дочь в ясли, привозил, кормил, купал, стирал. Это был цельный характер, он ничему не мог отдаваться наполовину — ни революции, ни ребенку. В конце концов, он поступил учиться в Военную Академию механизации и моторизации армии. Он был самым старым курсантом в Академии, но учился отлично, несмотря на все свалившиеся на него заботы о ребёнке. Он, так же, был единственным курсантом в звании майора (носил два ромба), которое ему присвоили после ухода из Наркомюста. Там у него было звание гораздо более

высокое.

Вот как раз в это время произошла моя вторая встреча с Ганичкой.

Мак только что закончил Академию Художеств по архитектуре и по распределению должен был ехать в Башкирию — в Уфу. Естественно, мы уезжали всем семейством — с мамой, с моим новорожденным сыном Славкой, с собачкой Томочкой — умницей пуделем, с целой кучей багажа — со всякими картинами, картонками, книгами и баулами (Дама сдавала в багаж…).

В Ленинграде нас провожала вся шумная семья Селезнёвых.

Мы решили остановиться на пару дней в Москве, где у нас было много друзей и знакомых. Мы остановились у моего брата Ники, который в то время жил в Москве и имел небольшую квартирку около Белорусского вокзала. Туда Ганичка и приехал, после занятий в Академии, вместе со своей Малькой, которой, к тому времени, было чуть больше годика.

Был уже вечер, и конечно мы не успели наговориться, и так как Мак ещё раньше уехал к каким-то своим друзьям, с которыми он обязательно хотел встретиться, я поехала проводить Ганичку, чтобы поговорить хотя бы в трамвае. По дороге Малька заснула, и так, спящую он бережно раздел и уложил в кроватку. Мы решили поговорить еще немного, ведь кто знает, когда придется ещё увидеться!

Мы виделись всего лишь второй раз в жизни, но казалось что знаем друг друга — сто лет. Мы говорили, спорили и опять говорили без конца, и всё было живо и интересно, и давно уже отзвенели последние трамваи, и уже незачем было добираться домой…

Так всю ночь и проговорили, только под самое утро, когда глаза уже начали слипаться, а Ганичке пора было уже собираться в Академию, (а ещё надо было завезти Мальку в ясли), я задремала на несколько минут.

Макаша тоже задержался у друзей и приехал только утром. Мама, с поджатыми губами, молча бросала на нас осуждающие взгляды.

…Потом опять пошли годы писем.

Мы жили в Уфе и Белорецке. После Москвы и Ленинграда было скучновато — не хватало театров, музеев, библиотек, друзей, поэтому, как только кончился обязательный срок работы по «распределению», мы сразу вернулись в Ленинград. Я как раз в то время ждала второго ребенка. Потом Мак получил работу в Москве и мы переехали туда — во «времянку» на строительной площадке будущего дома.

В ней мама, дети и Мак прожили до самой войны.

После встречи проездом в Башкирию, переписка с Ганичкой несколько изменила свой характер. В письмах его вдруг прорвались романтические ноты. Он почувствовал себя неуютно, одиноко, ему безумно захотелось иных отношений, иной ситуации…

У него не было товарищей, все осудили его «дикий» поступок — бросить юриспруденцию, где он был так «нужен и незаменим». Он был совершенно одинок. Не было любимой женщины, и ребенок, которому он был беспредельно предан, все же не мог ее заменить.

Впечатлительный Ганичка влюбился в меня. С тем же пылом и отдачей всей души, как и всегда во всем.

Но это было время, когда еще мои отношения с Маком были ничем не омрачены и даже мысль о том, что мы можем расстаться казалась нелепой и дикой.

Мне было жаль Ганичку, но я ничем помочь ему не могла. Я только призывала его в письмах к благоразумию и старалась уверить его, что рано или поздно он найдет другую женщину и полюбит её…

Но он ничего не хотел слушать. Его письма — теперь чуть не ежедневные — и пылкие, и горестные, и нежные, и по прежнему интересные, потому что он сам был человеком интересным, — меня волновали, и сама я ему писала тоже чуть не ежедневно, но мысли уйти от своей семьи у меня не возникало, и Ганичка ни на что не надеялся.

И все же мы встретились с ним еще раз, в последний раз, и эта встреча была самой продолжительной.

Я работала в газетах, много разъезжала, много видела, и «не вполне советские мысли» уже бродили в моей голове. Тут уже было и изгнание из Артэка, и другие литературные неприятности.

Дома, в отношениях с Маком у нас появились серьезные трещины, и у меня даже возникли мысли расстаться с ним и жить одной.

К тому времени мы уже довольно давно жили в Москве, и я иногда виделась с Ганичкой, и настало время, когда я чуть-чуть не переехала к нему…

Он испокон веку жил в комнате с крошечной кухонькой, безо всяких удобств, кроме водопровода и единственной на целый этаж уборной, в старом многоквартирном доме на Вознесенской, недалеко от Арбатского рынка.

Когда я появлялась у него, он все хотел делать сам — варил пельмени, чистил картошку, кипятил чай, топил печку, не давая мне шевельнуть пальцем, чем, не понимая этого, угнетал и

раздражал. Угнетал он и безапелляционностью своих суждений и взглядов. И так как, конечно, он был эрудированнее и образованнее меня, то и спорить с ним мне было очень трудно.

Но я все же спорила, как могла.

Я видела ужасные плоды коллективизации, я видела Артэк с его пустой муштрой и забиванием детских голов попугайскими догмами. Я знала, как делаются газеты — ведь я сама для них писала.

И мы спорили, сидя на полу перед открытой дверцей печки-голландки, балуясь чайком, а иногда и рюмочкой дешевого вина, припрятанного с получки специально для меня.

Но мысль остаться с ним навсегда всё же была для меня большой проблемой.

На это я так и не решилась.

Причин тому было много. Многолетняя дружба и любовь к Маку, дети, мама. А самая главная — была в самом Ганичке. Его несомненное превосходство во всём, как тогда мне казалось; убеждённость в правоте своих взглядов и действий, железная логика, — всё это казалось теоретически правильным, но всё же чувствовалось, что в его железной логике не хватает чего-то самого главного — простого человеческого, а не «политического» отношения к людям, понимания их тягот жизни и слабостей, которых он не признавал и не умел прощать…

Меня это угнетало и создавало постоянное ощущение, что с ним что-то не так…

Я восхищалась им искренне и восторженно, как кристально честным, целеустремлённым человеком, но я понимала и то, что одного этого для семейной жизни недостаточно, и побоялась связать свою жизнь с ним.

Так у нас ничего и не получилось. Мы расстались…

После моего «террористического» процесса его вскоре исключили из партии. Он так и не сделал никакой технической карьеры, стал страдать какими-то невероятными головными болями и ушел на инвалидность с мизерной пенсией.

Я знала, что это человек, который не то что в слове, но и в мыслях не может допустить ни малейшего компромисса с неправдой. И он знал все мои мысли и всю мою жизнь. И то, что я не стала его женой, не имело никакого значения. Я была уверена, что он скажет обо мне только правду.

Таков был мой третий и последний свидетель.

— Майор Ганин, как давно вы знаете подсудимую?

— Я знаю Евгению Николаевну Фёдорову давно, с 1925 года.

— Как близко вы ее знаете?

— Я знаю ее очень близко. Это единственная моя

беспартийная знакомая. Больше, чем знакомая, это мой близкий друг.

Дальше Ганичка рассказывает о том, что ему отлично известна моя, как он выразился, «интеллигентская мягкотелость», колебания, недопонимание: «Из-за деревьев, бывает, и леса не видит, но, в целом, — свой, советский, абсолютно честный человек». И если я находилась под чьим-нибудь влиянием, то именно под его, Ганина, влиянием.

Он достает солидную пачку писем (Значит, перечитывал, готовился, я же знала!).

— Вот, она пишет — у меня хранятся ее письма за много лет, — она пишет в одном из них: «Хотя я и не член партии, но мне кажется, что каждый честный человек в душе считает себя коммунистом».

Наконец я перевела дыхание. Не поверить ему было невозможно. Не могло быть на свете человека, думала я, у которого бы закралось сомнение в искренности и правдивости его слов, хотя говорил он безо всякого пафоса, чётко и прямо.

Ганичку прерывают. И прерывает тот, с тиком:

— Майор Ганин, медленно произносит он, глядя куда-то в пространство, вы можете ПОРУЧИТЬСЯ, что подсудимая не совершила преступления против Советской власти?

Наступает молчание и такая тишина, что, мне кажется, на весь зал слышно, как бухает мое сердце.

Наконец, Ганичка говорит. Он стоит подтянуто, по-военному, стройный и красивый в своей форме, которая ему так идет. Говорит четко и ясно, в меру громко, не торопясь.

— Товарищи судьи, вы сами понимаете, что в наше время никто ни за кого ручаться не должен.

— Ганичка, что ты говоришь? — вскрикиваю я.

— Подсудимая недопонимает… — Ганичка делает какой-то жест в мою сторону и что-то, по-видимому, объясняет, но я уже ничего не слышу и ничего не понимаю. «Как? Даже ты, честнейший, благороднейший, принципиальный — ты не можешь ручаться за меня?! Или ты в самом деле можешь поверить, что я совершила преступление?»

Потом, спустя годы, я поняла, что ответь Ганичка иначе, он все равно ничем бы мне не помог, только себе бы сильно навредил.

Да, он знал это, он был юрист и коммунист, и он знал какого ответа требовала от него его партийная этика. И в тот момент не страхом за себя он руководствовался, а этой самой партийной этикой, предписывавшей «ни за кого не ручаться», особенно в период «острой классовой борьбы». Но это я поняла потом, а

сейчас мне все вдруг стало все равно. Я поняла, что всё кончено, мы будем осуждены!

Но разве это важно теперь?.. Мысли у меня скакали и я уже связно не могла думать ни о его ответе, ни о суде. Ничего ясно не воспринималось, и вся остальная часть суда видится мне как в тумане.

Ганичка был отпущен. Он вышел твердым военным шагом и на меня не взглянул.

Дальше все пошло совершенно так же, как шло на следствии. Инициативу взял в свои руки судья с тиком — недаром я предчувствовала, что именно он несет нам беду. Снова началось толчение воды в ступе вокруг моих «террористических» фраз.

— Вы говорите, что не думали совершать преступления, — глубокомысленно изрек человек с тиком, — но кто-нибудь мог услышать ваши слова, вы могли натолкнуть на мысль, подать идею! Об этом вы не подумали?

Нет, об этом я не подумала.

Я знала, что всё кончено и отвечала тускло и односложно. Не всё ли теперь равно?

Юрка сначала пытался что-то доказывать. Но все это было ни к чему, и мы это чувствовали. Нам дали последнее слово, но ни я ни Юрка уже не знали, что говорить. Я что-то сказала о том что мы не считаем себя виновными в политическом преступлении, но виновны в легкомысленной болтовне, которая, как оказалось, может быть истолкована как политическое преступление. Это уже от нас не зависело, и с этим мы ничего поделать не могли.

Суд удалился на совещание, и мы с Юркой остались вдвоем, не считая наших конвоиров. У Юрки на щеках горели яркие красные пятна величиной с медный пятак.

…Мы сидели подавленные и ни о чём не хотелось ни думать, ни говорить. Но время шло, а судьи всё не возвращались. Тревога росла, мы начали ожидать самого худшего…

Я, как могла, старалась приободрить Юрку: — В конце концов, не могут же расстрелять обоих!? Тебя-то ведь ни в чём особенном и не обвиняли… Ведь ясно, что главная героиня — я. Ты вскоре вернёшься домой, я уверена! Ну а я… Если меня… То и с Маком тоже может что-то случиться. Ты тогда, когда вернёшься позаботься о маме и ребятах… Они же совсем маленькие… — Говорила я не совсем связно.

Мы просидели на своей скамье часа два. Мы устали, как-то отупели и даже о возможном расстреле стали говорить спокойно. Мы понимали, что ни от кого больше ничего не зависит. «Мясорубка» завершает свой цикл.

Наконец, на авансцену вышел секретарь и объявил:

— Приговор будет объявлен завтра!

На этот раз мы не смеялись в своем подвальчике. Мы сидели тихие, уставшие, опустошенные. Значит, это будет «плохой» приговор, если его надо с кем-то или с чем-то согласовывать. Мы уже почти не сомневались, что это будет расстрел… Ну, да ладно, что будет то будет.

И в моей камере тоже уже никто не радовался и не ждал ничего хорошего.

На другой день со мной прощались уже навсегда, понимая, что в эту камеру меня уже больше не приведут.

Приговор

Я и до сих пор не могу понять, зачем им надо было откладывать на сутки вынесение приговора? Что нужно было выяснять в деле, в котором и без того всё было ясно «как стёклышко»?

Не могли же, на самом деле, не видеть эти убелённые сединами люди, что перед ними не политические преступники, а попавшиеся на «крючок» наивные люди, что всё следствие — фарс, что обвинение — чепуха. Если же они ЗАРАНЕЕ знали что они должны нас осудить, то неужели не была уже известна и согласована мера наказания?.. Зачем была нужна отсрочка?.. Чтобы испытывать наши нервы?.. Что мы им?.. И какое им дело до наших нервов?..

Я не могу поверить, что у них могли возникнуть какие-нибудь разногласия… Вряд ли кто-нибудь из них осмелился бы противоречить другим, если бы вдруг он возымел «крамольное» желание защищать меня…

Вот эта отсрочка, пожалуй, и осталась единственной загадкой из всего моего процесса. «Тайное», которое никогда не стало «явным».

Итак, на другой день утром, нас в третий раз привезли на Арбат. Опять, в том же подвальчике, в томительном ожидании мы просидели чуть не до самого вечера. Когда уже подкрались ранние зимние сумерки, и воздух за окном посинел, нас, наконец, повели в зал. На этот раз судьи не уселись за стол, а каждый встал за своим стулом. Главный судья ровным голосом, безо всякого выражения, прочел приговор:

«— Фёдорова Евгения Николаевна, 1906 года рождения, ранее не судимая, происходящая из дворян, в прошлом близкая семье князей Щербатовых, расстрелянных по Савинковскому делу…» Я старалась слушать внимательно, но мысли разбегались, и я не могла сосредоточиться.

«— …Следствием установлено террористическое высказывание, направленное против вождей партии и правительства, имевшее место в Ленинграде, позже повторенное в Москве…» («Как повторенное? Что я повторяла?»).

«— …На основании изложенного и учитывая социальную опасность подсудимой, суд квалифицирует ее преступление по ст. уголовного кодекса 58–8 через 19, как намерение совершить преступление и приговаривает к восьми годам исправительно-трудовых лагерей без конфискации имущества ввиду отсутствия такового у подсудимой».

«— …Подсудимый Соколов Юрий Александрович, 1912 года рождения, ранее не судимый, приговаривается по ст. 58–14 за недонос, к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Обвинение по ст. 58–10 за недоказанностью снимается. Кассационная жалоба может быть подана в течение 24-х часов».

Ну, что же вы, идиоты? Радуйтесь, танцуйте! Не расстрел же! И даже не десять лет, а только восемь! И имущества, слава Богу, нет, конфисковывать нечего!

Тут бы и улыбнуться!.. Но ВОСЕМЬ лет лагерей!.. А как же дети?.. А у Юрки и вообще смехота — всего три года! Радуйтесь, дураки!

Так нет же, не так устроен человек. Только что ждали расстрела, а теперь восемь лет вдруг хлещут нестерпимой обидой. Да даже и не восемь лет, это еще не реально, не материально, это еще вообразить невозможно — восемь лет! Нет, другое возмутительно обидно и непереносимо: что это такое — «„намерение“ совершить преступление»?

— Какое «намерение»? — кричу я на весь зал. — Меня никто не обвинял в «намерениях»! Меня обвиняли в «высказываниях», а не в «намерениях»! Это ложь!

Судьи что-то говорят секретарю, и вся тройка удаляется за кулисы, не взглянув на нас, словно не слыша моих истерических выкриков.

Юрку бьёт нервная дрожь. Он получил «всего» три года за «недонос на меня», но его это не утешает. Три года лагерей!.. Вот тебе и МЭИТ!.. Вот тебе и шахматы!.. Москва, театры, девушки… Три года, а потом что?..

К нам подходит секретарь:

— Успокойтесь. Если вы не согласны с приговором…

— Конечно, не согласна!

— Если вы не согласны с приговором, вы можете подать кассационную жалобу. Это ваше право. Хотите сейчас написать?

— Да, конечно, сейчас же!

Мне дают бумагу и я пишу — криво, косо, без точек и

запятых, одним духом. Я требую, требую (!) пересмотра дела. Как могут приговорить за то, в чем меня даже и не обвиняли?

И пока я пишу мне кажется, что так ясно из всего написанного, что приговор мой — чудовищное недоразумение — и я опять начинаю верить, вопреки всему, в то, что эта таинственная и могучая «кассация» отменит приговор и мы окажемся на свободе, и всё станет только кошмарным воспоминанием, как дурной сон…

Маму на допрос не вызывали. О моем аресте ей сообщил Юра Ефимов, привезший в Москву из Красной Поляны моего старшего сына Славку. Мама в панике и отчаянии ломала голову: «Как, что могло случиться? За что могли арестовать Женечку?»

Мама строила самые невероятные догадки: «Женя провожала людей в горы, давала им карты, кроки. А что, если среди них оказались шпионы?.. Нет, она не могла быть замешана в какое-то дело, в какую-то организацию, она была далека от политики, работала всегда честно и добросовестно… Вот только вздор всякий болтали, особенно с Юркой. Как сойдутся, так и начинается!

Анекдоты без конца! И такую чушь несут, что уши вянут, ведь у Юрки язык без костей! „За сколько Николаева наняли Кирова убить? За сто тысяч они бы нанялись“. Ведь надо же такую чушь городить!»

— Неужели так и говорили? — Ужаснулся Юра Ефимов.

— Ну, может быть, и не так, я уж не помню, только что-то про Кирова и сто тысяч болтали. Да ведь это же — с Юркой! Говорила я им — доболтаетесь!

— Неужели она еще с кем-то болтала? Вы говорите, нет?

— Ах этот Юрка! Без хохмы минуты прожить не может, ну вот, и она за ним следом.

Но что же все-таки случилось, что?

— Стараюсь узнать, но пока безуспешно…

В другой раз, когда он снова появился у мамы и спросил о письмах:

— Вы спрашиваете, есть ли у меня ее письма? Да, все письма из Красной Поляны, к счастью, у меня остались. «Они» приехали и спросили, где Женины вещи. А какие у Жени вещи? Только рукописи в письменном столе. Ну, их и забрали, обыска никакого не делали и о письмах у меня не спрашивали.

На другой день после разговора с Юрой Ефимовым «они» приехали опять и очень деликатно спросили, нет ли у мамы еще каких-нибудь рукописей, или, может быть, писем от дочери? Пораженная мама отдала письма. А Юра Ефимов, который до того приходил ежедневно, исчез, как в воду канул… Странное

совпадение!

Маме стало не по себе: «Господи, уж не арестован ли тоже? Или… Да нет, что я! Так ведь и помешаться можно!»

Наконец, Юра Ефимов появился. У него был вид сумасшедшего. Осунулся. Взгляд дикий, волосы растрепаны, говорит бессвязно, хватает маму за руки:

— Вы понимаете, что ей грозит расстрел! Я узнал… Послушайте, я знаю, она мне рассказывала, Ганин — близкий ее друг. Съездите к нему, умоляю, съездите! Он что-то может сделать, у него связи. Пусть вмешается Крыленко, он может его попросить. Умоляю!

Юра убегает, не прощаясь, а мама медленно стынет в ужасе…

Глава VI
Бутырская пересылка

Пересыльные камеры Бутырской тюрьмы помещались в бывшей церкви. Каждая камера представляла собой сектор круга, а «центр» — общий «холл», куда выходили двери камер. Таким образом каждая камера представляла собой длинную комнату, расширявшуюся от двери к окнам.

У двери стояла громадная, величиной с двадцативедерную бочку, деревянная параша. На «оправку» выводили только два раза в сутки — утром и вечером, и при населении камеры в двести, примерно, человек, она — параша — увы никогда не бывала пустой…

По стенам с каждой стороны шли широкие, сплошные нары, на которых вплотную друг к другу лежали и сидели люди. Посредине стоял длинный некрашеный стол и вдоль него такие же скамейки. В конце стола к нему было приставлено несколько столов поперек, на которых тоже лежали люди — нар на всех не хватало…

Очевидно камера предназначалась человек на 40–50, но уже в то время она была «перенаселена» до отказа.

Люди «жили» на нарах, под нарами, на столах и просто на полу в проходах. Два узких, но высоких, из маленьких стекол, окна были забраны густой решёткой. Стекла от времени так потемнели, и покрылись таким плотным налётом пыли, что свет едва проходил в камеру.

Электрические лампы горели в камере днём и ночью.

В окнах открывались фрамуги и это было главным «камнем преткновения», причиной грандиозных ссор и истерик, которые вспыхивали то тут, то там, по несколько раз в день.

Несмотря на высокий потолок, кислороду не хватало для

двухсот легких. Люди в дальнем краю, возле параши, задыхались от вони и духоты, и требовали открыть фрамугу. Лежащим под окном было холодно, и они фрамугу закрывали. Ведь никаких матрасов и одеял не было — одни только собственные вещи, которые передавали родные — то, что разрешали взять с собою в камеру.

…Когда я переступила порог «пересылки», меня охватил ужас. Мне почудилось, что меня втолкнули в камеру для умалишённых Стоял невообразимый гвалт, казалось все двести человек вопят разом…

В одном месте на нарах, в бледно-голубой шелковой рубашке, с газовым шарфом в руках, танцевала стройная девушка, поднимавшаяся на пальчиках, как настоящая балерина. Потом я узнала, что она действительно настоящая балерина, приехавшая из Харбина и схваченная по «делу К. В. Ж. Д», — Лёля Дэле.

В другом углу группа женщин, сидевших по-турецки на нарах, покачиваясь тянула заунывную песню. Кто-то вычёсывал частым гребнем длинные волосы, расстелив полотенце на коленях...

У окна происходила свалка. Кто-то карабкался на решётки, с намерением открыть фрамугу, но другие стаскивали карабкающуюся фигуру за ноги с отчаянной бранью.

Как потом я узнала, в нашей камере не было «урок» — это все были «политические», только из очень разных социальных прослоек. Сочный женский мат, услышанный впервые, неприятно оглушил меня.

Кто-то за кем-то гонялся вокруг столов и злобно выкрикивал: — Погоди, сука! Я тебя достану!..

Конвой не вмешивался ни во что, и даже глазок в двери почти никогда не приоткрывался.

…Еще в «собачник», куда меня запихали по приезде с суда, принесли мои вещи из моей старой камеры.

Меня втолкнули в камеру, и дверь за мной со скрежетом захлопнулась.

Теперь я стояла у двери, обхватив свой узел двумя руками, не зная куда приткнуться.

Большинство не проявляло интереса к «новенькой», но несколько человек всё же окружило меня:

— По «особому»?

— Три?.. Пятёрка?..

— По какой статье? — посыпались вопросы. Когда же я ответила, что меня судил Военный трибунал, интерес ко мне сразу возрос.

— Тише вы, девчонки! — крикнула какая-то женщина

пробиваясь ко мне, — дайте с человеком поговорить!

Но «девчонки» не унимались и камера шумела как потревоженный улей.

— Террористка?.. Ого!

— Эй вы, в углу! Ещё одна террористка! — Идите сюда!

— Только восемь?.. Тут что-то не так! А лишения? Лишения есть? — Надрывалась женщина с нар, стараясь перекричать других.

Я чувствовала, что еще немного и я упаду… Все плыло и кружилось перед глазами. Сказывался день, проведенный в непрерывном напряжении в ожидании приговора, оглушал непривычный шум; запах параши перехватывал горло.

Но тут чья-то рука мягко и дружески легла мне на плечо и мелодичный голос произнес:

— Женщины, вы же видите, девочка едва держится на ногах, потом поговорите. Дайте человеку прийти в себя — и ко мне: — пойдемте, у нас под нарами найдется местечко и для вас, там уютно…

Ада Святославовна — так звали мою избавительницу, — взяла у меня из рук мой узел и кивком головы пригласила следовать за собой.

Мы пересекли камеру, стараясь не наступать на лежащих на полу людей, и недалеко от окна нырнули под нары, приподняв какую то юбку, или платье, свешивавшееся до полу, и изображавшее «дверь» в «нору».

Под нарами было темно, так как все старались чем-нибудь завеситься, но зато сравнительно тихо и действительно «уютно», или вроде этого… Каким то чудом прикреплённые к «потолку», — то есть к нижней поверхности нар — платки или юбки, иногда даже одеяла, создавали под нарами, что-то вроде отдельных «кабинок» для компаний в несколько человек.

Компании подбирались по характерам, склонностям, одинаковому уровню развития. Кроме Ады Святославовны в нашей компании было еще несколько человек, которых я почти не помню, и совсем еще девочка восемнадцатилетняя Танечка Коккинаки.

Она была студенткой МЭИТ(а) и училась на одном курсе с сыном Сталина. Она имела неосторожность назвать его дураком и получила три года за «дискредитацию семьи вождя»!?

Это был милый и шаловливый ребенок. Позже я слышала, будто её отпустили по кассации — за нее хлопотал знаменитый летчик В. Коккинаки, ее дядя.

Если это верно, — то это — ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, которой я знаю, когда кто-то был оправдан по кассации.

Но это было только начало 1936-го.

…Ада Святославовна — тихая, грустная и нежная, совершенно «не здешняя», вся какая-то прозрачная, пленила меня как когда-то пленяли кумиры детства. Я совершенно по настоящему влюбилась в нее, ее голос звучал мне музыкой, а шёпот заставлял сладко сжиматься сердце. Мы шептались с ней целыми ночами, едва слышно, чтобы не мешать соседям.

Через несколько дней я знала не только ее «дело», но и всю ее жизнь, — незадавшуюся, с большой трагической и неудачной любовью, в конечном счете приведшей ее сюда.

Когда был арестован человек, которого она любила самозабвенно, хотя и безответно, она начала обивать все пороги, доказывала, умоляла, уверяла, что он не может быть преступником, ручалась, за него, клялась.

В конце концов ее посадили тоже.

Следователь сказал ей с издевкой, что не стоит ручаться за любовников и всякую сволочь: —..Мы присоединим вас к делу — увидите своих «невинных агнцев»!.

И она увидела. Это был суд над «террористической» группой. На скамье подсудимых сидели люди, никогда не видевшие до этого друг друга, никогда друг друга не знавшие. Люди с изумлением выслушивавшие оглашение показаний одних на других, или обвинявших самих себя в чудовищных и невероятных преступлениях: намерении взорвать поезд со Сталиным, или бросить бомбу в театре в ложу Сталина, причем подкупленными и втянутыми в «заговор» оказывались чуть не все сотрудники театра, начиная от рабочих в раздевалках до капельдинеров и главного администратора и т. д. и т. п.

Все это значилось в протоколах допросов и под этим стояли их собственные подписи.

Ада Святославовна не узнала своего любимого — до того он был худ и бледен, с остановившимися, совершенно лишенными сознательной мысли глазами.

Он тоже «во всём признался».

Он и еще несколько человек — «главари заговора» — получили высшую меру наказания, расстрел.

Остальные — по десять лет. «За компанию» десять лет получила и Ада Святославовна.

Этот первый рассказ я слушала, холодея от ужаса, и зуб на зуб не попадал от нервной дрожи.

Значит, не я одна?.. Значит, произошедшее со мной — не вопиющее и уникальное?.. Как же так?.. Что это?.. Опять голова шла кругом!.. Что происходит в этой стране?..

Потом, за восемь лет, обернувшимися десятью, путешествуя

этапами от пересылки до пересылки, где все время было «свободным» (от изнуряющей работы в лагерях), я поняла по рассказам других осуждённых весь ужас того что происходило в стране!.

…Боже мой! Сколько таких рассказов было выслушано, сколько было нашёптано в длинные бессонные ночи, сколько историй совершенно фантастических, жутких и неправдоподобных, как карикатуры… Но так, как та — первая, — больше уже не потрясла ни одна.

Некоторые истории выглядели бы даже комично, если бы за ними не стояли живые люди, — матери, у которых отняли детей, жены, у которых расстреляли мужей…

В 37-м году почти каждое «политическое» дело заканчивалось расстрелом. Невольно возникала мысль: «Зачем?.. Кому всё это нужно?.. И почему люди безропотно и с готовностью делают эту ужасную работу?.».

…Я провела с Адой Святославовной две недели, наполненные таким глубоким проникновением в жизнь друг друга, таким тесным сплочением душ, таким взаимопониманием и доверием, что до сих пор, спустя тридцать с лишним лет, мне эти две недели, под нарами пересыльной камеры Бутырской тюрьмы представляются счастьем, какого после этого мне испытать, пожалуй, и не привелось…

Вот тогда-то я постигла смысл:

> «Сострадну вам я всей душой»…

Мы не замечали Бедлама вокруг — истерического хохота или рыданий, ссор и виртуозного мата, вони и духоты, отгороженные от всего мира старой юбкой и сообществом двух душ.

Эта внезапно вспыхнувшая дружба, эта любовь, была мне как бы наградой за все предыдущее. Вспыхнула она ярким факелом, но длилась недолго.

Через две недели Ада Святославовна получила ответ на кассацию с обычной формулировкой:

> «Вина доказана, преступление квалифицировано правильно».

На другой день, ее взяли на этап. Больше мы с ней не встретились никогда в жизни.

…В пересылке сидели подолгу, потому что все ждали ответов на кассации. Все подавали «кассации» и каждый надеялся, что он — уйдёт по «кассации». Почти каждый в глубине души все-

таки был уверен, что у всех остальных — что-нибудь да есть, какой-то пусть случайный, но всё же «повод» для ареста, для осуждения, и только ЕГО дело — плод невероятной нелепости, вопиющей несправедливости…

Одна за другой приходили кассации с отрицательным ответом и людей забирали на этап…

И хотя не было ни одной кассации за все два месяца, что я провела в пересылке, которая отменила бы приговор суда, или «Особого Совещания», я, как и все, была твердо убеждена — тайно, про себя! — что у меня-то ОБЯЗАТЕЛЬНО приговор будет отменен.

После ухода Ады Святославовны стало томительно и скучно. Книг не давали, разговоры, новые истории ложились на душу как камни, тяжелим грузом. Одни люди уходили на этап, на смену им приходили «новенькие».

Приходили прямо с суда, или получив постановление «Особого совещания», ошарашенные, обалдевшие, ещё не верящие в реальность всего содеянного с ними…

Помню одну журналистку, Она пришла поздно вечером. Кто-то потеснился и дал ей место на столе посредине камеры. Она лежала ничком на согнутых руках, тихо, как будто спала. Но время от времени она вдруг поднимала голову, обводила всю камеру диким мутным взглядом в громко говорила, ни к кому не обращаясь:

— Какой кошмар!.. Я пропала!..

И опять опускала голову на руки. И так — всю ночь.

…Однажды, дверь в камеру открылась и впустила маленькую, изящную как статуэтка, фигурку. Девушка трепетала от рыданий. Таких горьких рыданий я еще, пожалуй, не слышала никогда. Казалось хрупкая статуэтка вот-вот разлетится на тысячу осколков. На все вопросы девушка рыдала:

— Я умру… Я умру… Все равно… Я умру…

Это была Раечка Тэн, кореянка. Позже мы с ней встретились в лагере и подружились.

Нежный цвет лица, коралловые, как нарисованные губки, великолепные перламутровые зубы, высокая японская причёска прямых, словно лакированных волос — всё было восхитительно в этой юной кореяночке, ещё почти девочке.

Много позже я узнала ее историю. Она казалась подростком, но на самом деле, в то время, уже заканчивала Рыбный институт.

По окончании она собиралась вернуться в свою родную Корею, собиралась работать, защищать диссертацию. В Корее у нее был друг, которого она любила.

И вот — как снег на голову — арест!.. Она получила всего-

навсего три года по «Особому Совещанию», но тогда ей казалось, что это — чудовищно, что рушится вся ее жизнь, что, в конце концов, так и было!. И она твердо решила умереть.

Она объявила голодовку.

Её увели из камеры, — это было время, когда ещё на голодовку тюремное, или лагерное начальство реагировало. Через несколько дней она вернулась, осунувшаяся и увядшая. Что с ней делали она рассказывать не хотела, только всхлипывала отвернувшись…

Теперь она уже не плакала, а сидела и смотрела на нас пустыми, совсем пустыми глазами…

Потом привыкла и она.

Попадали в камеру и люди другого склада: энергичные, «активистки», пытавшиеся даже здесь в камере что-то организовать, разумно заполнить «досуг»; выясняли, люди каких профессий населяют камеру, о чём кто, может рассказать, пытались организовать чтение лекций, и даже «художественную самодеятельность».

Помню, как одна женщина-врач, стоя во весь рост на нарах читала нам лекцию о гипертонической болезни. К сожалению, хоровое пение в тюрьме запрещалось, но тем не менее наш самодеятельный хор изредка вечерами нарушал тюремные запреты. Иногда посреди «концерта» распахивалась дверь и раздавался окрик:

— А ну, прекратить, бабы!

Тут охранники не звали нас «барышнями», а «гражданками» мы не были. Обычное обращение было: «Женщины» или «бабы».

Но все же «активистки» умудрялись устраивать целые «вечера», — кто читал стихи, кто пел, а Лёля Деле в своей шёлковой комбинации, кружилась на пальчиках не хуже чем в Большом театре.

Один такой концерт «художественной самодеятельности» устроили в день 8-го марта по поводу Женского дня.

Окончился он трагично. Пожилая врачиха, та самая, которая читала лекцию о гипертонии, вдруг вскочила и неистово закричала:

— Довольно!.. Довольно!.. Замолчите! Это же чудовищно!!.. — и захохотала диким истерическим смехом. Потом рухнула на нары и забилась в истерике, какой никогда в жизни мне видеть ни до этого, ни после не приходилось.

Это было как сигнал: Тут же по всей камере — здесь и там — вспыхнули рыдания, крики, кто-то начал рвать на себе волосы, кто-то надрывно кричал: — Воды! Воды!

Окрик охранника: — А ну перестать — на этот раз не

произвёл никакого эффекта. Казалось прорвалась какая-то гигантская плотина, через которую хлынули неистовой силы потоки, волны отчаяния.

Через несколько времени в камеру влетел корпусной.

— Молчать!! — заорал он бешено, — из брандспойта окачу! И это как будто отрезвило всех, все утихли…

Бедная врачиха так и не пришла в себя. Её увезли в лазарет, и больше я никогда её не видела.

Однако, строго говоря, все же лучше было заниматься «самодеятельностью», хотя бы и в тюрьме, чем мелкими ссорами и перебранками возникавшими из-за томительного безделья.

Молодежь развлекалась по-своему. Рядом с нами была мужская камера. Сначала мы занялись перестукиванием.

Здесь, среди общего гвалта, охранники не обращали на это никакого внимания, стучи хоть двумя кулаками! Некоторые хотели выяснить, не сидят ли рядом их однодельцы — они были у многих, другие — просто завести знакомство или узнать что-либо новое с «воли».

Я скоро узнала, что мой брат Юрка там, за стеной, рядом со мной!

Мы стучали кулаками, ложками и ботинками изо всей силы, но так как стучало сразу несколько человек, то разобрать в конце концов ничего не удавалось, хотя теперь мы уже хорошо знали азбуку.

Потом кто-то из предприимчивых мужчин, а может быть и женщин, умудрился в самом низу стены, под нарами, проделать маленькую дырочку. Через эту дырочку довольно хорошо слышался голос, и можно было разговаривать.

К дырочке образовывалась длинная очередь. Если бы у нас была бумага и карандаши — мы несомненно стали бы записываться в очередь! Регламент разговоров пришлось ограничить, хотя и не было часов, чтобы точно отмерить время. Раз или два мне удалось услышать Юркин голос.

Но… Аппетит приходит во время еды! — Дырку стали расширять. Вскоре через нее проходили папиросы, а потом даже целые апельсины! Мы продолжали получать передачи, так что было чем угостить соседей.

Но тут кто-то «стукнул». В одни прекрасный день нам с утра скомандовали: — Соберитесь с вещами!

Когда мы собрались, нас перевели в другую камеру, этажом пониже.

Камера видно долго стояла пустой. Она буквально вся заросла паутиной и грязью. Окна были совершенно черные и не пропускали никакого света Пришлось попросить воды и тряпок и

взяться за уборку. Конвоиры добродушно посмеивались: — Так, так, бабоньки, старайтесь!.

Только к вечеру мы отмыли и оттерли стены, пол, и нары. С ссорами и бранью были захвачены «лучшие места»… И, когда все, наконец, разместились, снова загремел замок:

— А ну, собраться с вещами!..

— Как с вещами?!

— Так, с вещами! А ну, поживей! — торопили охранники. — Пошевеливайся!

Так вот оно что!.. Нас вернули в нашу прежнюю камеру. Выводили только для того, чтобы заделать дыру под нарами, проделанную с таким усердием, с такими стараниями! А мы-то, дуры, отскребали и намывали новую камеру!

Впрочем, всякая работа расценивалась тут как вознаграждение, как радость. Когда утром открывалась дверь и конвоир спрашивал: — А ну, кто полы мыть? — половина камеры, все, кроме больных и старых, бросалась к дверям, поднимался невообразимый гвалт, все кричали и доказывали что «очередь» именно его! А ведь нужно было всего человек 10–12.

Но и это казалось счастьем, — попасть в это число! Провести время до обеда, по крайней мере, вне камеры, бегать с ведрами за водой в баню, мыть полы в бесконечных коридорах, а иногда и на «вокзале» — огромном помещении, откуда уходили этапы.

…Тут, в пересыльной тюрьме, уже не было такой строгой изоляции, — можно было повстречать мужчин, идущих на кухню за завтраком или обедом. Мужчин тоже брали из камер на разные работы. Можно было встретить даже знакомых; я, например, могла случайно встретиться с Юркой, хотя не встретилась ни разу!

После окончания уборки водили в баню — можно было лишний раз помыться, да еще как! — Не в тесноте, когда приходилось зорко стеречь свою шайку, чтобы ее не увели у тебя из под носа, а на свободе — вылить на себя хоть десять шаек тёплой воды!

…А главное — время, которое в камере тащилось едва-едва, — вдруг стремительно пролетало и не успеешь оглянуться — уже и обед!

…К сожалению, попасть на работу было очень трудно — всегда находились более настырные и бойкие, настоящие трудовые женщины, которые оттирали нас — «интеллигенцию», награждая образными и красочными эпитетами, и пролезали безо всякой очереди. Надо отдать справедливость — и с работай они конечно управлялись гораздо лучше нас.

Но раза два-три и мне всё же «удалось» помыть полы в

Бутырской тюрьме.

…Несмотря на то, что в камере постоянно устраивали обыски — «шмоны», как их называли на жаргоне просочившимся в тюремный быт из лагерей, все равно каким-то чудом бытовали у нас в камере занесённые кем-нибудь в подкладках пальто, или в волосах, или еще где-нибудь, огрызки карандашей, иголки, и даже осколочки зеркала. При очередном «шмоне» их отбирали, но потом они заводились снова. То же было и у мужчин.

Уборная была почтовым отделением. Ежедневно все стены ее покрывались надписями, — карандашными или нацарапанными на штукатурке: здесь ли тот-то и тот-то?.. Передайте тому-то, что такой-то здесь… Приветы, прощания, даже стихи! — все принимали каменные сии скрижали.

Время от времени тюремная обслуга их отскабливала и замазывала, но надписи появлялись снова. За трубу, под унитаз засовывались крохотные записочки — бумага ведь тоже была дефицитна! И они всегда находили своих адресатов.

Впрочем, письмо можно было еще получить во время обеда — в каше. Ведь мужчин брали из камер, чтобы разносить пищу, и они вносили в камеру огромные баки с супом и кашей. Дежурные разливали их по мискам и частенько вместе с кашей в миски попадали аккуратно свернутые записочки.

— Сидорова, Верка! Опять тебе «твой» пишет! Держи!

Хотя и отправители и адресаты были «политическими», все эти записочки и сношения были настолько далеки от какой бы то ни было политики, что охранники смотрели на них сквозь пальцы, ничуть не беспокоясь…

И во всех пересылках, где бы не довелось мне побывать потом, а в скольких — и не перечесть, везде на стенах в камерах, и, главным образом, в уборных, красовались надписи, которые не успевала соскабливать тюремная обслуга.

Я страшно устала от вечного шума, духоты и безделья, а кассация все не приходила. Я, как и другие, писала заявления, просила отправить меня в лагерь, на какую угодно работу — ведь «кассацию» могут прислать и туда! Но, до получения ответа на «кассацию» — никого на этап не брали.

В один прекрасный день дверь камеры отворилась, и на пороге нашей Пересылки появилась… Раиса Осиповна!

— Раиса Осиповна!.. Дорогая!.. Родная моя! — Я чуть не задушила ее в объятиях.

Она стала как будто еще меньше ростом, еще похудела, побледнела — совсем крошечная белая старушечка. Она держалась за сердце и жаловалась, что ___

Мне удалось устроить её на столе, недалеко от фрамуги. И все же, в первый же вечер с ней случился глубокий обморок. Вызвали медсестру. Она сделала укол камфары, дала Раисе Осиповне валериановых капель, когда та пришла в себя.

— Надо же женщину в лазарет взять, она совсем слабая, — говорила я и еще несколько человек. Сестра молча посмотрела на нас и вышла. На другой день Раису Осиповну водили к врачу, но в лазарет так и не положили.

Несколько раз, пока она сидела с нами в пересылке с ней случались обмороки. Но в остальное время была она по-прежнему бодра и жизнерадостна. Когда чувствовала себя лучше, по прежнему много и интересно рассказывала о своей юности, об эмиграции, о Швейцарии и Франции, о жизни в Париже. У нас от её рассказов кружились головы. Хотелось улететь, увидеть весь этот сказочный мир…

Вокруг нее образовался кружок, и мы заботились о ней, как могли. Ночью, когда все засыпали, я потихоньку залезала по решёткам окна и открывала фрамугу, чтобы дать ей хоть немного свежего воздуха.

На этот раз она получила три года ссылки — «очередной», как она грустно шутила. Но к сожалению это была ссылка в Енисейск, и Раиса Осиповна боялась этапа — такой путь, столько пересыльных тюрем, а сил так мало. Ей разрешили написать сыну, чтобы он хлопотал о «спецконвое» и перевозке за собственный счёт.

И вот однажды Раису Осиповну вызвали на свидание.

Она вернулась в камеру вся посветлевшая, разрумянившаяся, словно помолодела на десять лет.

— Дэ-дэ!.. Мой маленький Дэ-дэ!.. Он всё сделал!

Андрей (Дэ-дэ) был у Пешковой сам, лично.

— Успокойте свою мать, — сказала она ему, — она поедет со спецконвоем за счёт красного креста.

Андрей только что передал это Раисе Осиповне.

— Ах, если бы вы только могли его видеть! Какой мальчик! Какой мальчик!

…В эту же ночь Раису Осиповну взяли на этап вместе с другими… Решили, должно быть, что «спецконвой» — слишком большая роскошь для старой революционерки, и неуместный либерализм.

…Когда я спустя пятнадцать лет попала в Енисейск, то как не искала, никаких следов ссыльной Губергриц я не нашла…

…Два раза за время сидения в Бутырках у меня тоже были свидания. Странные были эти свидания…

Почему то их устраивали «массовыми»… Для удобства

конвоиров, что ли? Чтобы скорей отделаться от толпы с нетерпением ожидающих этого, может быть последнего свидания? Или просто для того, чтобы мы просто ничего не смогли сказать родным?

Огромная зала была разделена не решёткой даже, а скорей сеткой, такой, как на вольерах в зоопарках.

Сетка была протянута вдоль всей залы в два ряда.

Между рядами, было расстояние метра в два — два с половиной. За сетками стояли люди, С одной стороны — заключённые, с другой — родственники. Между, по «свободной зоне» прогуливались охранники.

Зала была очень большая, но и людей была масса. Всё равно, все не помещались у сеток, и первое, что оглушало — это была брань… Каждый старался оттолкнуть другого, пробраться к самой сетке, каждый искал своих родных и перебегал с места на место. Все спешили — ведь на свидание отпускалось всего лишь несколько минут, Шум, гвалт, вопли стояли невообразимые.

Наконец я вижу ее, вижу эту маленькую сгорбленную фигурку в темном пальто и чёрной шапочке, натянутой до самых бровей… Испуганное растерянное лицо.

— Мама, мама, — кричу я изо всех сил, стараясь перекричать моих соседей справа и слева — да, мама же!.. Я здесь!.. Мама!

Наконец, она меня тоже замечает. Протискивается к сетке и… начинает плакать. Она что-то говорит, но я ее не слышу, ни одного слова...

— Мамочка, не плачь, — кричу я. Всё еще разберется, всё будет хорошо!.. Как ребята?

Опять мама что-то говорит, и опять я не слышу ни одного слова. И тут раздаются свистки: свидание окончено.

— Камера. 78-я, — кричит конвоир, — по четыре разберись!

И тогда, в каком-то секундном затишье, до меня доносится отчаянный голос мамы:

— Ведь это же всё Юра!.. Ефимов Юра!.. Это он!..

— Господи! Мама с ума сошла!.. Только этого еще не доставало!..

Я хочу броситься к решётке, крикнуть ей, что это не так, что она ошибается, что этого не может быть, что… Но конвоир сердито кричит:

— Не задерживаться! Марш вперёд! И глядя на меня в упор: — А ну, подтянись к своей четвёрке!..

И грозится, что в следующий раз вся наша камера останется без свиданий. Соседи меня подталкивают и тащат…

Но и в «следующий раз» свидание состоялось — это было уже последнее свидание, перед отправкой на этап уже после

получения долгожданного ответа на кассацию.

Ответ был предельно короток и ясен. В нём было сказано что Военная Коллегия Верховного суда рассмотрела мою кассационную жалобу и определила, что решение Военного Трибунала Московской области правильно, что преступление мое квалифицировано правильно, и срок наказания установлен в соответствии с тяжестью преступления.

Мое дело было закончено и пересмотру не подлежало.

На это последнее свидание пришли все, — мама, муж и ребята. К счастью, народу было меньше и такого адского шума не было. К счастью ли?.

Старший сын, шестилетний Славик, как-то жалобно улыбаясь одним уголком губ, спросил:

— Мамочка, за что они тебя взяли?

— Это недоразумение, милый мой! Я скоро вернусь… Когда ты подрастешь, я все тебе расскажу…

Младший, сидя на руках у отца, чтобы хоть что-то видеть за головами стоящих впереди, с веселым любопытством смотрел широко открытыми темными глазами.

— Посмотри, Женя как он читает, — сказала мама и сунула ему какую-то книжку.

— «Илья Ейенбуйг Не переводя дыхания», — одним духом быстро прочёл малыш. Он совершенно не выговаривал буквы «р»…

Я писала маме, чтобы она не приводила ребят в тюрьму, но видно, она не могла удержаться. Ведь может быть, они больше НИКОГДА меня не увидят… И хотя я писала, чтобы мама их не брала, но в душе надеялась, что она всё равно не послушается. Поэтому, когда я уходила из камеры, я захватила две шоколадки — на всякий случай. И теперь я попросила одного из стражей передать их моим детям.

— Не положено, — сухо ответил он, но мама торопливо закивала мне: — Передадим, передадим!..

Потом, много лет подряд, ребята получали подарки «от мамы»…

…Но вот, наконец, настал и мой черёд прощаться с Бутырками. Меня, вместе с несколькими другими из нашей камеры, взяли на этап.

Нас выстроили по четыре в ряд «с вещами» под сводами просторного Бутырского «вокзала», и двери, величиной в целую стену, раздвинулись перед нами бесшумно, как по волшебству, прямо как в сказке: «Сезам, откройся!.».

— Вперёд… Шагом… аррш! — скомандовал начальник конвоя и мы нестройно, спотыкаясь от волнения, волоча свои

рюкзаки и сумки, непомерно разросшиеся от передач, вышли за «волшебную» стену.

«Сезам» бесшумно закрылся за нашими спинами…

Мое дело было закончено. С ним кончилась и моя молодость. И повесть о годах моей молодости тоже подходит к концу.

Начались мои бесконечные скитания по лагерям, пересыльным тюрьмам и местам «не столь (и весьма) отдаленным», растянувшиеся более чем на двадцать лет…

Об этом я расскажу в другой книге, если Бог отпустит мне на это ещё немного времени.

Сейчас же осталось досказать немногое, — то, что всё ещё продолжает тревожить мой ум и память, и теперь, много лет спустя.

Глава VII
Хранить вечно

I

…Я часто прохожу по Арбату мимо этого неприметного грязно-желтого двухэтажного дома со старинными узкими, высокими окнами. Сам дом не производит впечатления старинного, а просто старого, давно не подновлявшегося.

И странно у двери на высоком крыльце прочесть тоже неприметную чёрную вывесочку: Военный Трибунал Московского Военного Округа. Такое страшное учреждение в таком ничем не примечательном доме, среди других — больших и новых, его даже домишкой можно назвать…

И еще страннее представить себе что внизу, в комнате с зарешеченными окнами, со стенами сплошь заставленными шкафами-ячейками, в какой-то одной ячейке лежит толстая папка с моим «делом». С делом Фёдоровой Е. Н., и в правом углу этой ничем не примечательной папки жирным шрифтом напечатано: **«ХРАНИТЬ ВЕЧНО».**

Я иду себе по Арбату, а эта папка, листы которой пестрят моей фамилией, именем и отчеством, — лежит тут, рядом, за железными замками, за дубовыми Дверями…

А может быть уже и не лежит. Теперь, после того, как Трибунал взорвался (в буквальном, а не переносном смысле) может уже лежит где-нибудь в ином месте, хотя, окна архива всё также смотрят на Арбат своими зарешёченными проёмами. Повреждения после взрыва видны только со двора и там сделали

срочный ремонт.

Взорвался Трибунал ночью — где-то в подвале вспыхнул газ. Грохот и столб пламени был, говорят, грандиозный. Все окрестные арбатовские жители проснулись обливаясь холодным потом — началось! Первая бомба!..

Случись это в каких-нибудь тридцатых годах — можно себе представить, какое бы вспыхнуло и раздулось дело сколько людей сложило бы головы.

Так вот, лежит ли, хранится ли, мое дело там сейчас — не знаю, но где-нибудь обязательно хранится, — ведь вечность ещё не кончилась! Но ещё в 1956-м знаю, точно, что лежало, знаю, потому что в один момент его тут же разыскали, когда мне понадобилась справка из моего дела и я пришла за ней. Тогда-то я и увидала этот жирный оттиск: **«ХРАНИТЬ ВЕЧНО».**

Я иду по Арбату, а рядом, за грязно-жёлтой стеной, лежит повесть о моей жизни. Наверное важная повесть, раз её необходимо хранить вечно!.

Я тоже храню ее безо всяких замков и запоров в моей памяти. Храню вечно, ибо для меня — моя жизнь — это вечность. Это всё, что отпущено мне Богом, моя жизнь.

Явление из прошлого

Через двадцать два года, вскоре после моей реабилитации, мы снова встретились с Юрием Ефремовым. Он сам нашёл меня, и начал «искренне» мне сочувствовать. Я напомнила ему о «голубой молодежи», и сказала, что теперь я знаю, кто он из этой «голубой» четверки. С замешательством, но все же вызывающе он ответил:

— Ну, что-ж… Бей меня по морде…

Ждал ли он, что я ударю? Я не ударила и была вознаграждена потоком трагических признаний, или, вернее, полупризнаний, ибо есть слова, которые ни написать, ни произнести невозможно. То, что я услышала тогда, не было для меня неожиданностью. К тому времени я уже и так знала все.

Он клялся, что любил меня. Он говорил, что был уверен, что мне не навредил. Клялся, что мой арест был для него неожиданностью. А «страшную фразу» моей мамы о «ста тысячах» он слышал впервые там, от них, в дни, когда сам был раздавлен, деморализован, далек от человеческого облика.

Мне стало противно его слушать, ведь я знала, что это опять ложь. Но было и немного жаль его, так как я понимала, что должно было происходить с его совестью.

— Разговоры со мной в НКВД, — говорил он мне, — велись

все время в тоне ультимативных обещаний «воссоединить» нас в тюрьме, а по набору ругательств в твой адрес я мог судить, что тебя ждет. Меня громили за слепоту, близорукость, за то, что я не разглядел в тебе подлинное исчадие ада.

…А время идет, и идет. И вот прошли еще новых двадцать лет. Теперь он — видный деятель науки. Член Союза писателей. У него географические труды. И издан сборничек стихов. Он ездит в заграничные командировки. Читает лекции и делает доклады. Он — поклонник Рериха, Цветаевой и Пастернака. У него жена, дети и внуки уже. Кооперативная квартира и дача.

Дома его все обожают. Друзья — любят. К своему шестидесятилетию он получил с полсотни поздравительных телеграмм со всех концов страны. Было и чествование, был и банкет.

Мы встретились с ним еще несколько раз. Мне хотелось до конца понять его, и может быть всё-таки попытаться найти какие-то мотивы для оправдания… Я понимала, что о прошлом он говорит только полуправду, но мы уже больше этого прошлого почти не касались — что толку?

Я жалела его и понимала, какой ценой он заплатил за свою «комфортабельную» жизнь.

Он показывал мне стихи, которые продолжал писать. С нетерпением ждал моего отзыва. Стихи (не все!) мне нравились. Были они, в большинстве, лирическими, но были и «гражданственные».

Вот одно из них, написанное в 63-м году во время Хрущёвской «оттепели»:

Суд

Не исповедь позера и фразера —
Сквозной озноб студящего стыда.
Я — поколенье горьких лет позора.
Я подлежу расстрелу без суда.

Виновны все: и тот, кто выждал, выжил,
Недоупрямив в сделке непрямой;
И тот, кто свыкся, выжилив и выжав
Все тяготы, смиряясь с рабской тьмой.

Герои книг? Историков уроки? —
Нет, лишь бы скрыться, в кротости святой

По очереди подставляя щеки
С похлебкинско-Христовой простотой.

С интеллигентской ловлей индульгенций,
С готовностью застраховать свой страх, —
Непротивленцы и приспособленцы,
Не мы, сгорали молча на кострах!

Мы подтверждали, кляли, запрещали,
Всерьез пеклись о чистоте анкет.
Мы столькое себе и им прощали.
Что нам самим давно прощенья нет.

Но суд даст срок доползать блудным людям
Червями в свете брызнувших лучей,
Чтоб не позволить нашим новым судьям
Стать поколеньем новых палачей.

Но вот что произошло незадолго до моего отъезда из Союза.

Случайно я рассказала Ефимову о судьбе дочери моего двоюродного брата Юры Соколова, отсидевшего по моему делу три года и заболевшего в тюрьме туберкулёзом. Её вырастил отчим (Юра умер, когда дочке был всего год), довольно видный партиец.

Он дал ей хорошее образование — она закончила Институт Иностранных языков в Москве, после чего получила работу в одном из советских консульств за рубежом. Там она вышла замуж за работника этого же консульства.

Как раз в то время, когда я рассказала это Ефимову, они с мужем были в отпуске в Москве.

И тотчас же он спросил меня:

— Она тоже Соколова?

Боже мой, зачем ему было знать, кто она?

— Букарева, — ответила я деревянным голосом, выхватив из памяти первую попавшуюся фамилию, ничего уже не соображая, ничего не видя перед собой…

Потом ночи не спала, мучилась от страха за них из за своей беспредельной глупости.

После нашего разговора их отъезд почему-то задержался, хотя срок отпуска кончился. Я твердо решила, что если их не выпустят — Юрину дочку и ее мужа — я покончу счеты с жизнью.

Слава Богу, в конце концов, их выпустили. С чем была связана эта задержка, они так и не узнали.

Но больше я Ефимова видеть не хотела…

* * *

Спросите у моего Времени — кто более всех виновен в рассказанной мною истории:

— …Талантливый юноша, интеллектуал, завербованный органами и предавший свою любимую, потому что его воля была сломлена, а страх самому оказаться за решёткой велик?..

— …Бдительный пионервожатый Артэка, вовремя сигнализировавший о писательнице с «классово-чуждым духом», дабы обезопасить себя от литературной конкурентки?..

— …Следовательница, НКВД сфабриковавшая «дело» и заставлявшая подписывать то, чего не говорилось, или говорилось совсем не так?..

— …Молоденькая студентка, моя родственница и подруга, «вспомнившая» то, чего на самом деле не было?..

— …Безупречно честный друг — коммунист, не посмевший сказать «ручаюсь», дабы не нарушить правила «великой» партии?..

— …Я сама, подписавшая лживый, из пальца высосанный протокол и потянувшая в пропасть двоюродного брата?..

— …Заранее всё предрешившие судьи, всерьез игравшие комедию суда?..

— …Или, наконец, «Великий Кормчий» до смерти запугавший огромную страну и превративший людей в бессловесных рабов режима?..

А может быть, просто само *время,* заставлявшее людей быть Нелюдьми?..

И Время ответит: — «Все!».

Ибо Время было — *«сатанинское».*

Конец книги первой

Книга вторая
«На островах ГУЛАГА»

От издателя

Эта вторая книга из трилогии «И время ответит», в которой моя мать — детская писательница и журналист рассказывает о жизни в лагерях ГУЛАГА., Будучи осуждённой на 8 лет, за глупо произнесённую в шутку фразу она провела в советских тюрьмах, лагерях и ссылках почти 20 лет — с 1935 по 1954 годы в разгар сталинского террора, развязанного им против своего народа, Почти вся молодость и зрелая жизнь её (с 28 до 47 лет) прошла в очень разных по условиям быта и строгости режима лагерях, пересыльных тюрьмах и местам ссыльного поселения.

Самым тяжёлым периодом её лагерной эпопеи была её жизнь на «Водоразделе» — так называлась группа штрафных лагерей усиленного режима, расположенная в районе верхнего участка Беломорско-Балтийского канала на севере Карелии.

Эти лагеря были предназначены для массового уничтожения неугодных властям заключённых «естественным» путём — сочетанием голода и изнурительного труда. С 1937-го по 1941-й годы там погибли тысячи и тысячи ни в чём не повинных людей.

Маме удалось пережить «Водораздел» только благодаря отчаянному побегу в тайгу и последовавшему переводу в центральный изолятор Белбалтлага после её четырех дней блужданий в лесах и последующей поимки.

Основной лейтмотив этой книги — человек сохраняет свою человеческую душу несмотря ни на что, и даже в лагерях старается жить, а не только существовать, поддерживать отношения с другими заключёнными и даже находить радость в каких-то моментах жизни, пока у него остаются для этого хоть какие-то силы.

В книге много личного — о завязывавшейся в лагерях глубокой дружбе и привязанности, казалось бы, таких разных людей; о самоотверженной любви до конца, наперекор всему; о встречах с интересными и просто хорошими людьми.

Много места в воспоминаниях отведено «крепостному» ГУЛАГовскому театру в Медвежьегорске и самодеятельной театральной «труппе» в Кемьском лагере, а также теме великой привлекательности искусства для казалось бы далеких от него людей, живущих в тяжелейших лагерных условиях.

Рассказывается в книге и о жизни заключённых на лесоповале

в зимней тайге, где неприспособленные к таким условиям люди из «освобождённых» стран Восточной Европы замерзали в лесу целыми бригадами.

Заканчивается книга большой главой о жизни заключённого медперсонала в центральной больнице Соликамских лагерей.

С. Лесней

Глава I
Прелюдия

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…»

Ф. Тютчев

Нас выстроили по команде с вещами по четыре в ряд под сводами «вокзала» Бутырской тюрьмы, и двери величиной в целую стену бесшумно раздвинулись перед нами.

— Вперёд… шагом… аррш! — скомандовал начальник конвоя, и мы нестройно, спотыкаясь от волнения, волоча за собой свои рюкзаки и сумки, вышли за тюремную стену…

Пиндуши

Когда я сидела в Бутырской пересылке, мне, как и многим другим, казалось, что в лагере можно будет что-то доказать, кого-то переубедить, заставить понять себя; не только словами, но и всеми своими личными качествами, убедить, что меня ошибочно сочли преступником, что это не так, что это чуждо моей сущности.

А лагерь, в моём представлении, был тем, что я видела, когда работала одно лето экскурсоводом на Беломорско-Балтийском канале (ББК). Я встречалась там с заключёнными, работавшими на инженерных и хозяйственных работах. Они пользовались относительной свободой передвижения в пределах ограниченной территории.

Ведь тогда шёл ещё только 1934 год…

Я получила 8 лет лагерей за «террористические высказывания», по доносу моего близкого и любимого друга…

Сидя в Бутырской тюрьме, в ожидании ответа на кассацию, уже не веря в то, что она поможет, я писала заявление за заявлением, умоляя поскорей отправить меня на работу — пусть самую трудную, самую чёрную, лишь бы на работу, и при этом, я просилась на ББК, который я «знаю», где уже работала экскурсоводом, где, может быть, пригожусь и теперь, хотя и в качестве зэ-ка, как для краткости именовали заключённых.

Тогда этапы шли главным образом в двух направлениях: в Среднюю Азию — в Джэзказган и Караганду, и на Кольский полуостров — на ББК. Думаю, это только дело случая, а не результат моих эпистолярных упражнений, что я таки попала на ББК.

…Моим первым лагпунктом стали Пиндуши — судоверфь недалеко от Медвежьей Горы, обслуживающая ББК и Онежское озеро, куда в 1934 году я возила туристов на экскурсии.

Лагпункт был обнесен с трёх сторон колючей проволокой, с четвёртой синело Онежское озеро.

Колючая проволока была «зоной», за которую выход запрещался, и по краям которой стояли вышки с часовыми.

Но территория лагпункта была довольно обширной. Проволока и вышки были где-то за деревьями, и их не было видно — они не довлели ни над бараками, ни над самой судоверфью. Легко было представить себе, что тут живут просто люди, собранные сюда на работу, может быть временную — здесь всё носило отпечаток какой-то временности, в основном, из-за построек барачного типа.

«Сердцем» лагпункта было конструкторское бюро — КБ, где работали заключённые инженеры-кораблестроители — многие из них, как мне говорили, с «именами». Там же находилось чертёжное бюро и копировальная группа.

Сама верфь со стапелями, с огромными сараями-ангарами, где на полу раскладывались гигантские лекала, находилась на берегу, против небольшого зелёного островка с трогательным названием «Заяц». На островок вёл мост, и хотя заключённым вроде бы и не разрешалось ходить на островок, но стражи на мосту не было, и мы ходили. Купались, собирали цветы — это было всё ещё «вольготное» время, это было лето 1936 года.

В бараках мы жили вместе с урками, но их было меньшинство, и вели они себя, в общем, мирно и прилично. Сначала только «раскурочивали» «новеньких» по общепринятому в лагерях неписаному закону, а затем принимали в «свои» и уже не обижали.

Помню, на верхних нарах — у нас была «вагонная система» — наискосок от меня жила молодая весёлая, толстая и вечно разлохмаченная хохотунья. Она мне сразу заявила, безо всякой злобы, сверкая всеми своими отличными белыми зубами:

— А часики-то всё равно уведу!

Часы, отобранные у меня при аресте, следовали за мной этапом, и в лагере были мне отданы. Это были большие серебряные мужские часы, которые я носила на цепочке. Так случилось, что в таком виде мне их подарили, и так я их и носила, хотя это было не особенно удобно.

Я думала: куда же девать их на ночь, чтобы моя милая соседушка не «увела» их! Со мной была мочалка в виде рукавички. Я положила часы в эту мыльную рукавичку потихонечку, чтобы никто не видел, а рукавичку засунула под подушку.

Наутро рукавичка оказалась без часов, а соседка-уркаганка заливалась хохотом на весь барак:

— Смотрите, люди добрые, никак часики-то увели?!

Мы — 58-я статья — возмущались, урезонивали, просили отдать, грозили пожаловаться. Урки стонали от хохота, валясь на нары и дрыгая ногами в воздухе.

Я и впрямь заявила о воровстве и назвала воровку.

— А вы видели? — спросили меня в «третьей части» — так назывался наш отдел по «политическим» и сыскным делам.

— Не видела, но знаю.

— Не пойман — не вор, — резонно ответил уполномоченный III части.

Так и не вернули, так и не видела я больше своих часов, наверное спущенных за поллитра, что всегда можно было «обстряпать» с нашими конвоирами.

Раз уж начала про урок, расскажу о Пиндушских знакомствах в этой среде.

Было там два барака, почему-то называемые «колоннами» для малолеток. Это были преступники до 17 лет. В Пиндушах были только мальчики. Позже, в Кеми, мне пришлось столкнуться и с девочками: — ничего более распущенного, развращённого и циничного я не видела. Мальчики были немного лучше. К виртуозному и изощренному мату я уже привыкла мало-помалу в нашем собственном бараке, и он мне не так уж резал уши, когда я стала вхожа в колонну малолеток. А я стала туда вхожа.

Не помню, уж кому это пришло в голову — нам, или нашему начальству — попробовать поручить нам — 58-ой статье, воспитание «неподдающихся» малолеток.

Малолетки отлично знали, что раз они отбывают срок, то

больше им уже ничто не грозит. С них взятки гладки, потому что они — малолетки. Взрослых за невыход на работу сажают в КУР (колонна усиленного режима), а малолеток — не сажают. Взрослым за невыполнение нормы урезают хлебную «пайку» до трехсот, и даже до двухсот граммов. Малолетки свои пятьсот получают при любых обстоятельствах. Взрослых за кражу могут судить, а малолеток не судят.

Они не ходили на работу, слонялись в томительном безделье целый день по лагерю и «промышляли» чем попало. То устраивали налёт на ларёк, то выбивали ночью окна в амбулатории и выпивали амбулаторный спирт, то громили погреб или кухню.

В колонну к малолеткам избегало захаживать и лагерное начальство. Убить не убьют, но избить до полусмерти могут запросто. Напрасно надрывались по утрам нарядчики, уговаривая малолеток выйти хоть на какую-нибудь работу.

Вот этих малолеток и решено было начать с нашей помощью перевоспитывать, учить читать и писать, и вообще, чему-нибудь учить.

В то время я работала копировщицей в конструкторском бюро. На «общих работах» я проработала в Пиндушах всего дня три: расчищала снег в строящихся лихтерах, вила верёвки вместе с какими-то женщинами и перебирала гнилую картошку. Потом меня перевели в КБ.

«Общих работ» в Пиндушах, по существу, вообще не было. Не было лесоповала, не было сельского хозяйства. Были только подсобные хозяйственные работы.

В основном же, были работы плотников и более или менее квалифицированных рабочих на деревянном судостроении.

Строили большие самоходные баржи — лихтеры, строили гидрографические исследовательские суда и маленькие речные трамвайчики с корпусами типа японских «кавасаки».

Итак, я работала в копировальной группе, и мне предложили обучать копированию шесть мальчишек из малолеток, изъявивших желание учиться.

Я взялась за них с энтузиазмом — тогда я за всё бралась с энтузиазмом, даже за гнилую картошку. Кстати: гнилая картошка была бичом и сказочным «белым бычком» лагерей. Весь год, начиная с осени, гоняли женщин в овощехранилища перебирать картошку: гнилая отдавалась в кухню, хорошая ссыпалась обратно в закрома овощехранилища. Назавтра — то же самое. На третий день — то же. И так — изо дня в день, пока не наступала весна, и картошка кончалась. Её всегда перебирали, и всегда ели гнилую.

Неужели хорошей хватало только для лагерного начальства?! Ведь хорошей было больше, чем гнилой!..

Ну, а теперь о моих малолетних урках — «чертёжниках».

Работа копировщика требует, прежде всего, аккуратности и терпения. Это — при всех обстоятельствах. При наших же — особенно. Надо было не только аккуратно проводить линии и штрихи нужной толщины, надо было ни на минуту не забывать о мухах.

Дело в том, что у нас не было настоящей туши на спирту. Мы тёрли тушь в палочках и разводили её в сахарной воде. Как только на кальке проводилась линия — на неё устремлялись мухи. Если вы вовремя не отгоняли их, они погружали свои хоботки в тушь, оставляя на месте линии ряд аккуратных светленьких кружочков. Однажды, уходя с работы, я забыла накрыть уже почти готовый чертёж, величиной в два листа ватмана… На утро я нашла бледный призрак своей копии, начисто съеденной мухами!.

Сначала мальчишкам нравилось держать в руках новенькие блестящие рейсфедеры и циркули. Они были польщены обществом 58-ой, хотя продолжали заглаза и в глаза величать нас «придурками» и «заср… интеллигенцией». Впрочем в нашей копировалке — длинной, светлой комнате, сплошь заставленной чертёжными досками, они старались «не выражаться».

Но когда дело дошло до самых несложных, но всё же настоящих копировок — всё пошло вкривь и вкось. То на почти готовый чертёж капала жирная клякса, то рейсшина или треугольник размазывал невысохшую линию, то нахальная муха прямо из-под пальцев пожирала тушь…

Теперь тут и там трёхэтажный мат оглашал комнату, и злосчастная копировка посылалась по всем мыслимым и немыслимым адресам, и в хвост, и в гриву. Малолетки выходили из себя, рвали кальки на мелкие кусочки, едва удавалось спасти самые чертёжи. Однажды один из них в раже раздражения запустил флаконом туши из одного конца чертёжной в другой, и тушь, описывая свою воздушную траекторию, окропила по дороге целую вереницу чертёжных досок с приколотыми на них работами!

Мы были с ними терпеливы, урезонивали и успокаивали, подбадривали и хвалили мало-мальски сносные работы. И всё же — один за другим — наши малолетки исчезали из чертёжного бюро, и к концу моего пребывания в Пиндушах остался только один, который в конце концов стал хорошим копировщиком.

Стараясь хоть чем-то быть полезной нашим подшефным, я надумала пойти к ним в «колонну» и дать им урок русского

языка. Ведь теперь у меня были «свои», мои чертёжники, которые не дадут меня в обиду. И точно, не дали.

Когда во время урока кто-то, подкравшись сзади, опрокинул классную доску (не знаю, где её раздобыли и откуда притащили в барак малолеток), — «мои», как ястреба, кинулись на забавника, выволокли его за дверь, и оттуда послышались звонкие затрещины и прочие красноречивые звуки доброй потасовки.

Но всё равно, из занятий русским языком ничего не получалось. Ученики не сидели на местах. Слонялись по комнате, курили, переругивались вслух и почти не обращали внимания на падежные формы имён существительных, о которых я им с жаром толковала.

Тетради, которые им выдали, они тут же использовали на «козьи ножки» и на самодельные карты. И только, когда я, отчаявшись привлечь их внимание существительными и глаголами, начала читать вслух:

— … У лукоморья дуб зелёный, Златая цепь на дубе том… — ко мне сразу придвинулось несколько человек, в глазах промелькнули удивление и интерес.

— Ну, ну! Давай, давай!.. — подгоняли они меня, когда в горле у меня пересыхало, и я останавливалась чтобы перевести дух. Так мы и отхватили всего «Руслана» за один присест.

Потом я читала им и «Цыган», и «Бахчисарайский фонтан», и «Полтаву», но ничто такого потрясающего успеха, как «Руслан и Людмила», не имело. Много раз мои нетерпеливые ученики требовали снова и снова:

— Даёшь Руслана!

Однажды я забыла в колонне малолеток свою меховую безрукавку. Я сняла её из-за жары и оставила на спинке стула. Потом, уже выйдя из барака, я вспомнила о безрукавке и вернулась за ней. Её уже не было.

— Не беспокойся, сейчас доставим, иди! — пообещал кто-то даже не из чертёжников моих, а просто из поклонников «Руслана». Через полчаса безрукавку «доставили», а вора исколотили так, что его пришлось отправить в лазарет…

Общий уркаганский закон — «своих не трогать» — действовал и у малолеток. Благодаря «Руслану» и я у них стала как бы «своей».

Потом, за годы кочевий по лагерным «командировкам», по этапам вместе с урками, мне не раз случалось быть «раскуроченной» (обобранной) моими соседками или соэтапницами. Но всегда это было сначала, пока я была ещё «чужая». А потом, когда я становилась «своей» — они уже никогда меня не «обижали» и добродушно подтрунивали над

совершённым ранее налётом.

Среди урок встречались люди незаурядные, одарённые, наделённые пылкой фантазией, или необычайной памятью.

Так например, на Водоразделе, летом 1937 года, когда мы были лишены книг, радио, газет, и других мало-мальских крупиц культуры — утешением нашей небольшой, человек в шесть, компании был урка Серёжа, влюблённый в Есенина, и чуть не всего его знавший наизусть. На животе его было вытатуировано крупными буквами: «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН».

Когда он читал «Письмо к женщине», в конце, после слов: «… Знакомый ваш» — он неизменно оголял живот трагическим жестом и демонстрировал татуировку: — «Сергей Есенин!»…

Читал он хорошо, с выражением, со слезами на глазах. Другой урка — одноглазый Стёпа — задушевно и проникновенно пел под гитару старинные русские романсы и арии из оперетт.

Большинство отлично танцевали, а чечётку любили отбивать до самозабвения, и хорошего чечёточника чуть не на руках носили. Недаром каждый вожак и коновод у них был первоклассным чечёточником. Впрочем, вожаки, конечно, были талантливыми организаторами и могли заставить «массу» делать что угодно. Их боялись и слушались беспрекословно всё по тем же неписаным законам уголовного мира.

Но сказать, что вся масса урок отличалась какой-то особой восприимчивостью, одарённостью, большей чем остальные люди, — я не могу.

Ближе я столкнулась с ними в лето жуткого «Водораздела» 37-ого года, а также в Кеми — на Швейпроме, где прожила целых три года. Об этом я расскажу дальше.

Итак, мой первый лагерь, Пиндуши, мало походил на концлагерь, которым он, в сущности, был. Если не считать урок и малолетних преступников, с которыми мне пришлось здесь близко познакомиться, это был лагерь, где колючей проволоки не было видно за густыми деревьями, где с берега открывалась нежная гладь Онежского озера, а на берегу возвышались стапеля судостроительных площадок.

Наше конструкторское бюро было обычным учреждением, только с несколько «продлённым днём». Мы собирались на работу к девяти утра, а кончали её в восемь вечера. Но всё же это было обычное учреждение, с разными отделами, с начальниками этих отделов, со специалистами. Все были заняты производственной работой, имели свои производственные планы, и все старались их выполнить досрочно.

Имелся даже свой БРИЗ — (Бюро рационализаций и изобретений), и за удачные рационализаторские предложения

выдавали небольшие премии.

В общем, всё было как на воле, только зарплата не выдавалась, а в бараке дневальная выдавала «пайку» и талоны на завтрак, обед и ужин. Наша «придурковская» пайка была неизменна — 500 грамм чёрного хлеба, а обед состоял из двух блюд — супа и второго (обычно, трески); на завтрак и ужин бывали каши, всегда размазни — пшённая или овсяная.

Конечно, это был голодноватый рацион, в особенности для мужчин. Но в это время посылки можно было получать неограниченно, и мы все их получали. Получали и деньги, хотя их много на руки не давали, но в ларьке всегда можно было купить и сахар, и конфеты, и мыло.

В общем, никто не голодал, и эта сторона жизни особых неприятностей не доставляла.

Для меня же и для таких, как я, кто только что пришёл из тюрьмы и пересылки, после убийственного безделья Бутырок, когда так бешено хотелось деятельности, всё равно какой, лишь бы деятельности! — жизнь в таком лагере, как Пиндуши, казалась чуть ли не верхом счастья, тем «раем», по которому так истосковались там, в тюремных камерах.

И «дело», которое, казалось, на всю жизнь останется самым «главным», всё затмившим в жизни эмоциональной, навсегда занявшим мозг и душу, — и оно — с удивлением начала я замечать, стало бледнеть, стушёвываться, превращаться в какой-то болезненный туман, оседавший постепенно на дно души…

Вечера у нас были свободны до одиннадцати, до «отбоя», и мы могли бродить по лагерю, найти какой-нибудь укромный уголок и разговаривать, сколько душе угодно. Вечера были тёплые и совсем светлые — наступало Карельское лето.

Сначала я могла говорить только о своём «деле». Моя история продолжала мне казаться необыкновенной и всё ещё вызывала изумление у меня самой.

Впрочем, все лагерные знакомства начинались неизбежно с расспросов и рассказов о «деле». И я не только рассказывала, но и выслушивала. Выслушивала истории не менее фантастические, чем моя.

На работе же было приятно погрузиться в совсем другой, деловой мир, совершенно забыть о том, что ты — «зэк», и что вольнонаёмного начальника нужно называть — «гражданином начальником».

Впрочем, довольно скоро и «свободное время» у меня заполнилось делами и интересами, ничего общего с моим «делом» не имеющими.

У нас на лагпункте был клуб, и в клубе своя лагерная

самодеятельность. Когда я появилась в Пиндушах, человек 5–6 составляли костяк этой артистической самодеятельности.

Бухгалтер нашего КБ недурно пел баритоном. Дневальная нашего барака, бывшая баронесса с какой-то двойной аристократической фамилией, которую я уже не помню, несмотря на свой преклонный возраст и горбинку в плечах, имела гордый орлиный профиль, а в голосе ее проскакивали кокетливые нотки…

Так как дневальство много времени не занимало, а за «пайку» всегда можно было нанять охотника подтереть за неё полы, баронесса объединяла в своем лице заведующую клубом, режиссера, автора частушек на «злободневные» темы, а также артистку на любую роль.

Был в этой «труппе» совсем молоденький мальчик — художник Мишенька Потапов, египтолог, влюблённый до самозабвения в свою, как он считал, «прародину» — Египет.

Историю его жизни, трагическую и необыкновенную, я узнала спустя много лет, но к этому я вернусь позже, если успею…

Ещё в ней были наши чертёжники — неразлучные Коля и Дима, о которых было известно, что они сидели за гомосексуализм, хотя они нехотя и отрицали это.

У Коли было какое-то театральное прошлое, связанное с Мариинским театром, где он когда-то был статистом, Дима же просто от природы был талантлив и быстро входил в любую роль.

Среди «урок» было немало любителей попеть под гитару и отбить неплохую чечётку.

В общем, был хоть и маленький, но полный энтузиазма артистический коллектив, в который, конечно же, включилась и я…

Урки с завидной лихостью исполняли концертные номера, но репетировать в пьесах им быстро надоедало, они начинали и бросали. И все же мы одолели «Без вины виноватые» Н. Островского — спектакль, который потом сыграл такую значительную роль в моей лагерной судьбе.

Но это было уже осенью, в конце моего пребывания в Пиндушах. А пока что однажды меня вызвал начальник лагпункта и объявил, что меня назначают заведовать ИТРовской столовой!

Для инженерно-технических работников — ИТР — была особая столовая, в отличие от другой — общей. Хотя питание и тут и там было примерно одинаковым, но здесь было почище, и не было мата.

Сначала я наотрез отказалась. Никогда я не занималась никаким хозяйством, ничего в этом не понимаю, и не смыслю.

Начальник посмотрел на меня с подозрением и удивлением:

— В лагере профессий себе не выбирают — сказал он.

— Да, поймите же, товарищ начальник…

— Я вам не товарищ. Можете идти.

Я вышла ошеломлённая, как с допроса. Ночью меня вызвали в третью часть.

— Вы что, от работы отказываться? В КУР захотели? (КУР — колонна усиленного режима). Общий режим не нравится? Или на лесоповальчик располагаете?.

Короче говоря, я стала заведовать столовой. В то время я ещё не предполагала, сколько профессий я освою в лагере!

Обычно, такие хозяйственные должности, да ещё «хлебные», как столовая, ларёк, хлеборезка — раздавались «соцблизким» — бытовикам, сидевшим не по 58-ой статье, а за расхищение, растрату и тому подобное, но все же не прямым воришкам из уголовников.

«Социально близкими» были у нас и «воспитатели»: в лагерях имелись культурно-воспитательные части — КВЧ.

Помню, в Пиндушах мой первый воспитатель сидел за убийство жены из ревности. Был он довольно симпатичный инертный мужчина, ни во что особенно не вмешивался и не стремился нас «воспитывать», предоставляя нам полную свободу в клубно-артистической деятельности. Он вполне довольствовался привилегиями своего начальнического местечка, дававшего ему отдельную кабиночку при КВЧ, которая позволяла ему иметь лагерную «жену», и пользоваться прочими преимуществами лагерного начальства.

Вероятно, в Пиндушах не хватало «соцблизких», а может быть, они проворовывались без конца — в общем, почему-то придумали назначить в «завы» столовой меня.

При столовой была крохотная комнатушка, в которой мне полагалось жить, она же была и кладовой получаемых на день продуктов. Считалось, что я живя там, в кладовке, охраняю от расхищения эти продукты.

В первую же ночь напившийся вдребезги повар — армянин, тоже какой-то «соцблизкий» — ломился ко мне в окно, просовывая сквозь ставни свой мясницкий нож:

— Все равно зарэжу… Жива нэ будэшь… — хрипел он за окном, а я дрожала на железной коечке, запихав под неё подальше самое ценное — куль с солёным мясом…

Впрочем, все обошлось благополучно, и армянин — повар протрезвел к утру, меня не зарезал, и вскоре мы нашли с ним нечто вроде «общего языка», и он оставил меня в покое в обмен на моё невмешательство в его махинации с продуктами.

Я не думаю, что при мне он воровал меньше, чем до меня, но

кое-как мы концы с концами сводили и людей кормили. А так как я старательно стирала салфетки и на столы ставила в банках букеты ромашек, собранных на острове, все находили, что я отличная «завша» и вполне справляюсь со своими обязанностями.

Ах, эта комнатка-кладовушка в моей столовой!.. За весь лагерный срок это была моя единственная индивидуальная «кабинка», как называли в лагере такие закутки.

В то время я ещё не была способна оценить это наивысшее в лагере счастье — иметь свой собственный угол. Я ещё не знала и не понимала, что такое лагерь. А после, мне уже никогда не довелось обладать таким углом.

Правда, много лет спустя, когда я жила и работала в больнице Усоль-Лага, мы с моей дорогой подругой Катей Оболенской устроили себе кабинку на чердаке терапевтического корпуса, но нас очень скоро оттуда «вытурили», не дав насладиться и отдохнуть от общего барака…

…Иногда на верфи бывали настоящие праздники, которые и мы искренне воспринимали как «праздник». Это было, когда спускали на воду лихтера или другие суда, построенные на верфи. Правда, мы не разбивали бутылки шампанского вслед соскальзывающему в воду судну, но всё равно, всё происходило очень торжественно.

Всё население лагеря высыпало на берег, приезжало обычно из Медвежки какое-нибудь начальство, и бывала даже музыка — самодеятельный оркестр из нескольких музыкантов.

Распорядитель спуска отдавал команду: — Руби ряжи!

И жёлтая, сверкающая новизной и солнечным блеском, огромная деревянная посудина начинала боком тихонько скользить со стапелей. Потом скорей, скорей по смазанным жиром слегам, и вот лихтер ухает в воду, подняв крыло искрящихся брызг.

— Урра! — гремит на берегу — все радостно взволнованы, все горды — ведь это ***наше*** судно! Наше! (…Я вычерчивала его шпангоуты!.. А я рассчитывал его осадку!.. А я строгал килевую балку!..)

Как будто мы не были кучкой несчастных людей, незнамо — неведомо почему, по каким законам, оторванных от своих близких, от своих других дел, которые мы и знали, и умели, и любили, и делали «там», на воле?!

Нет, об этом не думалось в ту минуту, когда красавец-лихтер — плод нашего «здешнего» труда — плавно покачивался в поднятой им же самим волне…

Но однажды судьба решила напомнить нам, кто мы такие со своей «производственной» гордостью.

Был вот такой торжественный спуск лихтера. Было синее небо и солнце. Было начальство и музыка, и оркестр заиграл туш, когда лихтер, плавно скользящий по косым слегам, — вдруг — стал на полдороге. Стал — и всё тут!

Может быть, смазочное масло оказалось плохим; может быть, что-нибудь недорассчитали. Одним словом, лихтер стал и не двигался.

Нестройно, не в лад замолк смущённый оркестр. Забегало наше лагерное начальство, забегали инженеры КБ.

На главного инженера (судостроителя с «именем») жалко было смотреть. Он краснел и бледнел, руки у него тряслись, как вероятно, тряслись бы на допросе.

Ведь тут были «сами» из Медвежки, из Управления!

…Пронеси, господи, что-то будет?!.

Господь не пронёс. Пробовали двинуть лихтер «плечом», но посудина сидела прочно и не двигалась.

Заново смазали слеги — никакого эффекта. Тогда подвезли толстенные тросы, закрепили начали тянуть — ничего.

Высокое начальство, недовольно пожевав губами, уселось в машины и уехало в Медвежку. Наше начальство почувствовало себя вольготней, и яростно оскорбляя наших родительниц, понукало нас к действию.

Тросы перекинули на островок (лихтер спускали в протоку между берегом и островком), завели за сосну и стали тянуть. Сосна жалобно крякнула и нехотя стала выворачиваться из земли…

Солнце зашло, и яркая северная заря окрасила залив и лихтер в розовые тона.

Даже и без понуканий и окриков начальства никто не думал расходиться. Каждый что-то советовал, ждал, тащил тросы.

Наконец, на островке соорудили первобытный ворот, и на его рогатки налегло сразу человек по пять. Ворот заскрипел, трос натянулся. Казалось, вот-вот дрогнет и тронется судно.

— Ещё-о-о-о!.. Взяли!.. Вместе!..

Люди грудью навалились на рогатки:

— Ещё-о-о-о!.. Взяли!..

З-з-з-з-з-ыг! — свистнуло в воздухе, и лопнувший трос серебряной змеёй прыгнул в небо, а затем захлестнул вокруг ворота…

Двоих убило на месте. Нескольким поломало ноги и руки…

Пострадавших увезли в лазарет. Работы по спуску лихтера продолжались. Завели новые тросы, поставили новых людей. В конце концов, лихтер стащили.

Погибших сактировали, и скоро о происшествии перестали и

вспоминать. Такие случаи в лагерях случались нередко, и это никого особенно не волновало.

…Когда были готовы наши гидрографические суда — их было четыре, совершенно одинаковых — к нам прибыл сдаточный капитан. Он ходил в белоснежном кителе и с белоснежным чехлом на морской фуражке. Длинное лицо его было аристократично, а пальцы рук — тонкие и холёные. Ботинки всегда блестели, как зеркало.

— Вольнонаёмный?.. Заключённый? — всполошились наши девушки.

Капитан оказался заключённым и поселился в ИТР-овском бараке. Он должен был испытывать на ходу и сдавать гидрографические суда.

Это был бывший капитан первого ранга военно-морского флота, внук контрадмирала из потомственной морской семьи.

— Мы, гардемарины, — говорил он слегка грассируя, но в меру, чуть заметно — обожали государыню-императрицу. Это было традицией на флоте…

Вскоре Евгений Андреевич — так звали капитана — начал искать встреч со мной. И когда мы вечерами бродили по берегу Онежского озера, он много и интересно рассказывал о жизни военного флота, — царского и советского.

— Я никогда не занимался политикой, дорогая моя, — говорил он — но ведь мы присягали Государю-Императору… А присяга — обязывает!..

Советских морских специалистов ещё почти не было; он же, будучи командиром высокого класса, любил матросов, был всегда справедлив к ним, и матросы его тоже любили. Вот почему он удержался и остался капитаном и при Советской власти.

Море он любил до страсти. — Эта любовь, — говорил он — впиталась в меня с молоком матери…

Он не понимал, за что его «взяли», что он «им» сделал?

— Политика — это не моя сфера, дорогая!..

В лагере до сих пор он жил неплохо. Из дома получал великолепные посылки, на общих работах никогда не был.

Дома у него остались старики-родители и жена, перед которой он преклонялся и называл ее «моя маленькая маркиза»…

Он курил какие-то особые длинные и тонкие душистые сигареты, тоже из посылок, конечно, изящно доставая их кончиками пальцев с отполированными ногтями из золотого портсигара, на котором были выгравированы все ноты октавы, кроме «ми».

Это, как он говорил, был «шикарный морской ребус, солёный, как само море»… Но далее не объяснял.

После всего, что со мной случилось, после того невероятного разъединения с человеком, который был мне дорог и близок, после странных маминых слов там, в Бутырках, с ещё неясными страхами и смутными, гонимыми из души подозрениями, мне казалось, что сердце моё — как сплошная кровавая рана, до которой как ни дотронься — больно. И я старалась не дотрагиваться… Захлопнула дверь в эту странную, смутную, зыбкую неясность. Не думала и не вспоминала…

И вот, вдруг я заметила, что Евгений Андреевич мне нравится… Что я жду этих тихих вечеров с полуночными зорями… Что сердце бьется быстрее, когда он входит в столовую — элегантный, сверкающий — и издали поднимает руку в знак приветствия мне…

— Сегодня я ухожу в залив, дорогая… Слушайте мой прощальный привет — три длинных и один короткий… Специально для Вас… И когда из-за острова, из лона голубого марева доносились низкие басовитые гудки — три длинных и один короткий — они невольно ласкали мой слух и заставляли вздрагивать сердце…

Оказывается, оно не было такой уж сплошной кровавой раной, моё сердце…

А когда он возвращался, гудки звучали особенно громко и радостно — они приветствовали меня…

И всё же, когда в уединённом уголке острова он взял меня за руки и, глядя затуманенным взглядом, чуть притянул к себе и едва слышно произнёс: — Ну же, не терзай меня до бесконечности, дорогая… Ты же видишь, что ты со мной делаешь… Я оттолкнула его в ужасе.

— Как здесь?.. В лагере?.. Вот так, прямо в кустах?.. Боже мой, что вы выдумываете…

Он на секунду прикрыл глаза и открыл их снова… Тихо, очень грустно, но совсем спокойно, он сказал: — Дорогая, но ведь это же наша жизнь теперь...

Да, тогда я не хотела понимать ещё, что это не «эпизод» — это моя жизнь теперь.

Так и не был перейдён рубикон. Так и остались эти светлые вечера с рассказами о море, о далёких плаваниях, о традициях гардемаринов, и стихи о влюблённой королеве, которая где-то далеко у моря «в башне замка играла Шопена»…

От него в первый раз я услышала Гумилёвских «капитанов» и запомнила их на всю жизнь:

…На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,

Средь базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…

Ах, капитан, капитан!.. Если бы знать, что это лето — последнее, когда вы носите свой белоснежный китель и ослепительную фуражку, когда ваша элегантная рука касается кольца тифона и вы бросаете небрежно-властным тоном: «Самый малый вперёд» — что это последние трапы, по которым взбираются ваши безукоризненно начищенные ботинки. Ах, если бы…

Я встретилась с Евгением Андреевичем ещё раз, вернее, я встретилась с тенью его, даже не узнав в первое мгновение. Встретилась на «водоразделе» ровно через год, в 1937-м, перед самой его смертью.

В этот раз он был без кителя, без капитанской фуражки, в коротких не по росту лагерных опорках, в безобразных бутсах на одну ногу (в лагере их называли «шанхаями») — такие уж ему достались в каптёрке… В тот момент я не могла приблизиться к нему, чтобы спросить что с ним, потому что его вели под конвоем в лазарет, и это был уже 37-й!..

Сердце у меня болезненно сжалось от страха за него и от нахлынувших воспоминаний о недавнем прошлом…

Но надо было стараться жить дальше…

Позже мы опять оказались с ним в общей компании, пока его не отправили в госпиталь в другой лагпункт, где он и умер…

…Коля и Дима были «возлюбленная пара», как «поэтически» выражались наши урки. Они действительно были «парой», и что самое удивительное, этой «парой» они были и на воле, там, в Ленинграде, где их арестовали и осудили за гомосексуализм. Осудили и… отправили в один и тот же лагерь!..

Коля получил 5 лет, как «совратитель», а Дима — только три, как «жертва»… Я попала в Пиндуши в момент для Коли самый трагический, в кульминационный момент трагедии.

Димин срок кончался, и он уезжал, но для Коли это была действительно трагедия — он Диму любил, обожал, боготворил.

Редко даже на долю женщины выпадает такая полная, беззаветная, рабская, готовая на любой подвиг, на любое унижение — любовь… А ведь если и выпадает, то её обычно не ценят, а часто и тяготятся ею…

Для Димы Коля готов был воровать (и воровал, за что не раз бывал избит!), готов был исполнить любое его желание, любую прихоть, часто глупую, издевательского характера, пускался на любые авантюры, лишь бы достать для своего «божества» какую-

нибудь вещь или лакомство. Он готов был целовать его ботинки, и всё время с выражением вины и обожания ловил его взгляд.

Не знаю, продолжались ли их сексуальные отношения в лагере… Дима, во всяком случае, говорил, что их нет, да скорее всего и не было, но не мог устоять, чтобы не похвастаться своей «властью» над Колей. Он третировал его постоянно, зло высмеивая, требуя вещей самых невероятных и несуразных, и принимал раболепное преклонение, как должное…

Когда Дима наконец уехал, Коля несколько дней, небритый и немытый, неподвижно сидел в углу барака, не выходил на работу и чуть не угодил в КУР. Мы, как могли, покрывали его отсутствие в чертёжной.

…Но время лечит. Постепенно он снова втянулся в однообразную лагерную жизнь. Помню, как получив первое и единственное письмо от Димы, он смеялся от радости, сиял, весь исходил лучами счастья…

Во всём остальном, кроме этой «роковой» любви к Диме, он был вполне нормальным человеком — хорошим чертёжником и художником — оформителем интерьеров наших гидрографических судов, любил поэзию, был неплохим чтецом и актёром. Коля в роли Незнамова трогал меня больше, чем Незнамовы, которых мне случалось видеть на сценах профессиональных театров… Был он хорошим и честным товарищем, если только не ущемлялись интересы его обожаемого Димы.

Итак, после долгих репетиций, в конце концов, нам удалось поставить, почти по-настоящему, знаменитую пьесу Островского «Без вины виноватые».

Спектакль наш произвёл сенсацию. Мы повторяли его несколько раз, и каждый раз он проходил с неизменным успехом. Кроме наших стараний, надо ещё учитывать тему, такую трагично — близкую нам в наших условиях — ведь у многих из нас остались где-то «там» малыши, которые протягивали к нам ручонки и лепетали — «Мама!.. Мама!.».

Неизменные рыдания сопровождали знаменитый монолог Кручининой, и сама я, игравшая Кручинину — всегда кончала настоящими, не театральными слезами…

Вероятно, «сценически» это было не очень-то профессионально, но чувство до зрителя доносило.

Коля играл Незнамова. Старая баронесса, хотя и ходила чуточку сгорбясь и скособочившись, как-то плечом вперёд, играла кокетливую Коринкину.

Она всякий раз безумно волновалась, по два часа накладывала грим, и без конца спрашивала:

— Ну как, я не выгляжу старой?.

Более молодой Коринкиной мы просто не смогли найти.

…Зато у нас был великолепный Дудукин — истинный аристократ, снисходительный меценат и тонкий ценитель истинного искусства (к сожалению, не помню имени актёра).

Шмага, да и все остальные, к сожалению, оставались незначительными и бледными. Однако, в целом, спектакль производил впечатление…

О спектакле прослышали в Медвежке, где помещалось Управление группы северных лагерей, и был известный «крепостной» театр, где играли профессиональные актёры, так или иначе попавшие в заключение, и из этого Медвежьегорского театра к нам командировали режиссёра на просмотр.

В результате, на двоих из «труппы» — на меня и на «Дудукина» пришли «наряды» — нас забирали в театр!

Сначала это были неясные слухи — лагерная «параша», затем достоверные заверения нашего нарядчика из учётно-распределительной части, и наконец, — о Боже!! — реальность, живая реальность!

Нам завидовал весь лагпункт. Ещё бы, Медвежка! — Центр! Столица. Между Пиндушами и Медвежкой была разница не меньшая, чем скажем, между какими-нибудь Спас-Клепиками и Москвой.

А самое главное — театр… Театр, о котором в Пиндушах ходили невероятные, фантастические рассказы. Профессиональный театр, который ставил «Платона Кречета» и «Славу», пьесы Арбузова и «Шкварки», на сцене которого шли Островский и Шиллер. Театр, который ставил не только драму, но и оперу: — «Евгений Онегин», «Кармен», «Пиковая дама» — входили в его репертуар.

И я еду работать в этот театр!.. Голова шла кругом, такого счастья я не испытывала, наверное, за всю свою двадцативосьмилетнюю жизнь на воле…

Ну, вот! А ещё лагерями пугали! Может быть, тут, в лагере, суждено мне найти свою судьбу. То, что не удалось в жизни, о чём мечталось, как о самом высоком счастье, то, что было нелепо упущено в жизни из-за выпавших на самое трудное время юношеских лет — театральная карьера, театральная работа, театр — любовь моя! — вот оно, само идёт мне в руки, и где?! В лагере!..

И видно, не такой уж меня страшной контрреволюционеркой и преступницей считают, если забирают в лагерную столицу, где, как рассказывают, жизнь и вовсе вольготная!

А там, конечно, не за горами и пересмотр моего дела, и

нелепые, чудовищные обвинения отпадут, как шелуха, и я буду опять — я. Но театра уже не брошу никогда в жизни…

А Лубянка, Бутырки, Военный Трибунал на Арбате… Всё это останется далеким призрачным кошмаром, случайным эпизодом, о котором когда-нибудь я буду рассказывать своим внукам…

Так размечталась я, собираясь ехать работать в театр. В настоящий, профессиональный театр!.

Я раздарила свои ненужные мне теперь вещи, которыми заботливо снабдила меня в этап мама: лыжный костюм из «чёртовой кожи» — на случай работы на лесоповале, — так ни разу мной и не использованный, я подарила Раечке Тэн — у нее не было ничего тёплого, мало ли куда могла забросить ееё судьба? Кожаное пальто — зачем оно мне в городе? — я оставила чертёжнику Борьке. Старой баронессе я подарила свои тёплые шерстяные чулки и меховые рукавицы…

К чему мне всё это теперь? Я еду в Медвежку для работы в театре — ведь это почти что «на волю»! Я прощаюсь с лагерем навсегда!

Прощайте, мои малолетки, почитатели «Руслана!». Прощай, моя столовая! В последний раз я украшаю тебя букетами из осенних листьев… Прощайте, Евгений Андреевич! А может быть, только до свидания?. Быть может, мы ещё увидимся в Медвежке? Ведь Вы бываете в Управлении по Вашим капитанским делам?.. Ведь Вы зайдете к нам в театр? До свидания!..

«Крепостной театр»

Мои представления о жизни в Медвежке не были такой наивной фантазией, как могло показаться с первого взгляда.

Жизнь заключённых в Медвежьегорском лагере в ***то время*** была, действительно, «почти что как на воле».

Мужчины, работавшие в театре — актёры, певцы, музыканты — жили при самом театре, в мужском общежитии, безо всякой охраны и вахты.

Женщины же этой привилегии были почему-то лишены и жили в общих бараках, в лагпункте, который помещался чуть не в центре города, но был обнесён колючей проволокой, имел вышки и охранную вахту. Однако, у нас, театральных работников, были пропуска на «свободное хождение» от нуля до 24-х часов — то есть круглосуточно.

Мы могли ночевать у себя в бараке, но могли и не ночевать, это никого не интересовало. Время от времени, по воскресеньям обычно, устраивались «шмоны» (обыски) и проверки по документам и спискам. В остальное время — мы были свободны.

Безо всякого конвоя мы могли бродить по городу и вокруг города, по гористым лесным тропкам, открывая тихие и грустные лесные озерца. Впрочем, тихие они были потому, что была уже поздняя осень, и птицы уже разлетелись… Рубиновые гроздья рябины гляделись в воду, и тёмные ели опрокидывались в глубину острыми пирамидами…

Не знаю, сколько всего человек работало в театре. В оркестре было 80 музыкантов. Дирижировал — «Пан». Он был сыном писателя Пшибышевского — породистый, пожилой поляк, грузный, широкоплечий и величественный. Его седовласая голова, с классическим пробором, гордо посаженная на короткую могучую шею, была всегда чуть откинута назад. Он не шёл — он шествовал… Ему не доставало только высоких котурнов и развевающегося плаща. «Пана» все уважали и почтительно побаивались, так как от него в театре зависело многое. Говорили, что дирижирует он талантливо.

А иногда оркестром дирижировал не «Пан», а Раечка Ж. Это была немножко вялая, немножко бледноватая и анемичная девочка, с совершенно детским овалом нежных, в пушке, щёчек. Было странно слышать, как про Раечку говорили, что она — требовательный дирижёр, что с нею «трудно». Ещё странней было видеть её тоненькую фигурку со скрипкой в руках, казалось, в таких слабеньких и беспомощных… И вдруг, из-под этих тонких бледных пальцев льются звуки — полные, уверенные, певучие и страстные… На рояле Раечка тоже играла прекрасно.

…Помню концерт Грига, который она исполняла вместе с оркестром. Я сидела очарованная и силой, и мощью, и вдохновением...

А потом — снова вялое детское личико с капельками пота, выступившими на лбу…

Раечка была воспитанницей ленинградской капеллы, где училась с семи лет. Говорили, что была она исключительно музыкальна, училась одновременно по классу скрипки и рояля, а с 13 лет начала дирижировать.

Ей прочили блестящее будущее, и, может быть, если бы не заграничная поездка, не помню даже куда, ее карьера не оборвалась бы так внезапно, и так трагично. Ей не было ещё даже двадцати, когда она попала в лагерь.

К счастью, она получила только три года, и это было ещё задолго до 37-го, и, к счастью же, она сразу попала в Медвежьегорский театр. «Пан» был с нею ласков, и не только не «затирал» её, но всячески поощрял работать…

Кроме музыки, Раечка обожала Володьку Ц. — разбитного смазливого уркаганчика, где-то выкопанного нашим директором

и художественным руководителем — Алексеем Алексеевичем.

Всё свободное время Раечка проводила с Володькой. Они молча гуляли, обнявшись, по пустынному полутёмному фойе театра, или сидели в уголке, вдвоём на одном широком кресле. При этом не заметно было, чтобы они о чём-нибудь говорили.

Про Володьку говорили, что он глуп, как пробка, и удивлялись: — Что Раечка в нём нашла?!

Алексей Алексеевич — наш директор — был человеком большой культуры, знатоком театра, несомненно одарённым и тонким человеком. Он великолепно вёл театр, был прекрасным художественным руководителем, несмотря на то, что «в прошлой жизни» был всего лишь конферансье, правда, очень известным и талантливым.

Сидел он по 58-й статье, но поговаривали, что так, приличия ради. На самом же деле, был он охотником до молоденьких мальчиков, из которых, впрочем, делал настоящих актёров и хороших певцов. Некоторым из них впоследствии суждено было сделать карьеру и приобрести известность.

Театр наш был, как и всякий театр, со всей его не очень приглядной закулисной жизнью, с завистью и подхалимажем, с интригами и заискиванием перед режиссёрами, с «затиранием» более робких и продвижением не столько талантливых, сколько самоуверенных и нахальных.

И всё же, когда проходила удачно премьера — какое огромное, возвышенное, братское и солидарное чувство объединяло всю эту разношерстную публику, какой восторг охватывал всех, какое счастье, и как все искренне обнимались и целовались, как вдруг таяли все низменные чувствишки, исчезала зависть и досада, недоверие и злость, пусть хотя бы и ненадолго. Это была великая власть Искусства.

Так, вероятно, крепостные актёры, переживая весь ужас своего подневольного положения, и на хребте своём испытывая порою самодурство помещиков — меценатов, парили в высших сферах искусства и жили жизнью театра — во сто крат интереснее и глубже, чем их господа.

Во всяком случае, после ***хорошего*** спектакля мы бывали счастливы и совершенно забывали о том, что мы — заключённые.

Наши театральные «кадры» действительно были весьма «разношерстными». Тут были и люди «с именами», квалифицированные и талантливые режиссёры, актёры, певцы — как шутили, «вольно-пойманные», в отличие от вольнонаёмных, которых было всего несколько человек.

Были люди необыкновенно глубокой музыкальной культуры и эрудиции, вроде баритона Егорушки Тартакова — сына

известного певца Императорского театра. Были и едва грамотные урки, которых природа наделила сценическими способностями, а нередко и талантом; были актёры и певцы из любителей.

…Я так и не успела стать актрисой в Медвежьегорском театре, не успела отрепетировать первую полученную роль, не успела поставить специально мной инсценированную «Сказку о царе Салтане», не успела показать «Бармалея» в теневом театре для детей, который не только выдумала сама, но и технически его оформила вместе с актрисой Лидией Скаловской.

Слишком кратковременным оказалось моё пребывание там, где я надеялась провести весь свой лагерный срок!..

Но и в этом коротком промежутке времени было так много счастливых мгновений, запомнившихся на всю жизнь и не ставших тусклее оттого, что были пережиты они в лагерном театре и в заключении, что время это вспоминается и сейчас как подарок судьбы. Это время было, как последний прощальный луч солнца перед тёмной ночью, перед тем, что было лагерями на ***самом деле.***

Я ещё не получила никакой роли, и всё же сразу не только вошла — с головой окунулась — в ту, особую театральную атмосферу, которой живёт и дышит каждый театр.

…Все текущие театральные новости в нашем театре обычно узнавались по утрам, во время завтрака. Завтракали мы в мужском общежитии при театре. Там была наша «театральная кухня», и туда выписывался наш лагерный паёк. Обеденные столы — длинные доски на козлах — стояли прямо в коридоре, и утренняя актёрская жизнь начиналась у нас на глазах.

…Вот из одной двери выплывает молодой актёр Миша Н., уже потерявший надежду когда-нибудь продвинуться с третьих ролей, но глубоко верящий в силу покровительства преуспевших. Он в шёлковой пижаме, некогда блиставшей нежной голубизной, а ныне грязновато-серой; изящно виляя задом, он несётся в кухню с кастрюлечкой какого-то варева домашне-посылочного происхождения. Он спешит приготовить завтрак для своего «шефа» — артиста Ю., который с оттенком лёгкого пренебрежения, но всё же благосклонно принимает Мишины знаки беспредельной преданности.

С полотенцем на плече, рассматривая себя на ходу в карманное зеркальце и ощупывая подбородок — стоит бриться или нет? — грузно шагает наш первый тенор Л., и звучно выводит: — Миииии — аааааа — маааа — маааа — пуууу — паааа…

Звучит! Сегодня он в голосе. А из-за дальнего поворота коридора, совсем как из-за кулис, доносится:

— Кто идёт?.. Кто идёт?.. — Драгун из Алкала…

Это его соперник и смертельный враг — второй тенор, дублёр дона Хосе в Кармен. «Мальчишка», воспитанник Алексея Алексеевича, от презрения и лютой ненависти к которому чуть не лопается столичный маэстро, но… прекрасный голос, тонкая юношеская фигура и темперамент — всё на стороне молодого дебютанта. Стареющему маэстро с отличной школой только приходится скрежетать зубами да чертыхаться, «обкладывая» вся и всех в тесной компании «заслуженных».

Под руку с сухопарым «Падрэ», наголо выбритым, с римским профилем, словно высеченным из жёлтого мрамора, появляется молодой баритон Т., сын известного, и даже знаменитого в свое время, баритона Ленинградского Мариинского оперного. Он что-то сгоряча доказывает безмолвствующему «Падрэ», а из двери комнаты вылетает пара скомканных брюк, разметнувшись ласточкой над их головами, и чья-то свирепая физиономия, высунувшись в щель, орёт: — Ты, Коварство и любовь, мать твою за ногу! Получай свои серопердриковые! Опять на мою койку бросил, гад! Погоди, я тебя достану!

Миша Г. уже приготовил свое варево, и ловко придерживая свою кастрюлечку тряпкой, летит по коридору в комнату «шефа»: — Пардон… Пардон… — лавирует он между столами, скамьями и людьми.

А навстречу, дирижируя себе двумя пальцами, кругленький и улыбающийся, краснощекий и хорошенький, как вербный херувимчик, совсем ещё мальчик — не успел ещё даже закончить девятый класс в школе — Петя П. — горланит на весь коридор:

«Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм!»

В кухне уже начинается баталия вокруг плиты, где каждый хочет изготовить что-то «своё» и непременно выпихнуть сковороду соседа. Все прочие шумы перекрывает страстный грудной голос Сонечки Т. — нашей прелестной, молодой «Кармен» — она всего лишь с третьего курса Консерватории…

— Боже мой!.. Опять этот рыбий жир!.. Я этого не перенесу!

Действительно, интенсивный аромат рыбьего жира густой волной выползает из кухонного окна, откуда выдают «казённую» кашу, и распространяется по всему помещению…

…В театре шла подготовка к премьере «Пиковой дамы». Мы с Лидией Михайловной Скаловской целыми днями ползали по полу, пришивая черный тюлевый силуэт Медного Всадника на марлевую занавесь. Таков был замысел нашего театрального художника, Вани В. — всю увертюру дать при едва подсвеченном

рампой, призрачном, туманном занавесе с Медным Всадником — олицетворением Санкт-Петербурга, с чуть просвечивающими сквозь туман очертаниями решётки Летнего сада…

Эффект превзошел все ожидания. Едва под первые звуки оркестра пошёл тяжелый основной занавес, как раздались бурные и долгие аплодисменты.

Вообще, молодой «хохол», как он всегда себя именовал, бывший студент Академии художеств, Ваня В. был художником талантливым, смелым, с оригинальными задумками. Так, в четвёртом акте «Кармен», он перед зданием арены установил на площади какие-то необыкновенные колонны из мятой жести. Они были театральны и смотрелись хорошо. Когда же Ваню спросили, почему колонны из мятой жести, он невозмутимо ответил: — Це ж поломатэ жыття Кармен… Хиба ж це нэ яснэнько?..

Кстати, Ваня просидел на Лубянке два года, отказываясь подписать хотя бы один протокол. Так и не подписал ничего, и благополучно прибыл, наконец, в лагерь сроком на десять лет, опровергая своим появлением довольно распространённую здесь теорию: — Не надо было ничего подписывать!..

…Вот, если бы не подписали…

Но, довольно отступлений.

Итак, мы спешно заканчивали занавес, в классах звучали хоры, в которые был подключён весь состав театра, и даже вовсе безголосые, вроде меня, и старичок-хормейстер, добрейший Николай Николаевич, с бесконечным терпением заставлял повторять по сотне раз, в одиночку и хором:

— «Очаровательно, прелестно,
Ещё, мадам, ещё!.».

Хорошенькая армяночка Лида Т., впервые выступавшая на настоящей сцене, на «воле» она была только любительницей, с красными пятнами на щеках от волнения, без конца приставала ко всем с вопросом, как у нее звучит:

— «Девушкам вашего круга
Надо приличия знать!.».

Герман — всё-таки его пел «мастытый» — пускал на весь театр своё: — Ми-а-ма-маа… — а сквозь стены соседнего класса проникали победные куплеты Торреадора:

— «То-рре-адорр, сме-ле-е-е, То-рре-адорр, То-рре-адорр…»

Баритон Т., снедаемый завистью к «признанному» баритону

А., который «отнял» у него его «законную» партию, репетировал Маралеса, и безумно волновался, что не вытянет верхнего «фа» в проклятой фразе:

— «Поверьте, что средь нас найдете, Одних ли-и-ишъ (фа!) доблестных солдат!»

А юная Микаэла, венгерка Ежи И., «шпионка», перешедшая границу в обожаемое коммунистическое государство, за что и поплатилась, то и дело прибегала проконсультироваться, как надо ставить ударение:

— Пи'сьмо, или письмо'?

— Мате'ри, или ма'тери?

И только вольнонаёмные Лиза и Полина хранили на репетициях «гордое спокойствие» — так, по крайней мере, мне казалось.

…В сцене с графиней мы с Лидией Михайловной изображали приживалок, и так как обе не блистали голосами, нас заставили драматически «обыгрывать» эту сцену, пока за кулисами начинал хор:

«— Благодетельница наша, Как изволили гулять»…

Мы наспех прибирали спальню, устраивали кресло у камина, вырывая друг у друга подушки и потихоньку переругиваясь.

Но вот, графиня в кресле, приживалки прогнаны грозным окриком:

— «Что стоите?!.. Прочь ступайте!»

За кулисами, чуть приглушенный голос выводит слова старинного французского романса…

Я стою за кулисами, не смея шевельнуться, не смея вздохнуть, и слёзы подступают к горлу от счастья…

…Во втором акте мы изображали подруг Лизы:

— «Очаровательно, чудесно, ещё мадам, ещё…»

Труды Николая Николаевича не пропали даром!

В третьем акте мы танцевали плавный и величественный менуэт. Помню, как когда-то, в дни моей далёкой юности, читал нараспев стихи студент ВЛХИ, Гроссман:

«Менуэт, менуэт,
Два шага… и поклон!.».

…На всю жизнь «Пиковая дама» осталась моей самой любимой оперой.

…Шли у нас в театре и «Евгений Онегин», и «Кармен». В «Онегине» я танцевала на балу у Лариных в каком-то красном кринолине и с седыми буклями, за неимением других париков. Но оказалось, что седые букли мне очень к лицу, и я краснела от

удовольствия, когда мне говорили:

— У Лариных ты была самая хорошенькая!

Зато на «Греминском» балу — как мы называли тот бал в третьем акте, на который с «корабля» попал Онегин — там первенство всегда было за Лидией Михайловной, с её гордой и величественной осанкой, и умением лучше всех танцевать, если конечно не считать нашей «настоящей» балерины — Аси К., под руководством которой и ставились все танцы.

В сцене дуэли я залезала под самый потолок, и оттуда, стараясь не грохнуться вниз, среди сложной системы задников и полузадников, сыпала «снег» на великолепную меховую доху Ленского, и на милый заветный пень…

«…Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?»…

И сердце, и руки у меня дрожали от волненья, и я боялась, что ненароком выверну всю корзину со снегом разом на голову Ленскому…

В «Кармен» я пела в хоре девушек с табачной фабрики в сцене ссоры и впервые узнала, какую чушь тараторят «фабричные работницы» с аккуратностью счётной машины, чтобы не сбиться с такта:

«Микаэла для начала
Очень весело сказала,
Что охотно бы осла
Для прогулки припасла.

Тут вскочила Карменсита,
Закричала так сердито:
Ты сама осла не стоишь,
На метёлке поезжай!»

А «капитан Цунига», и в жизни отчаянный бабник, не пропустивший ни одной смазливой девчонки, поглядывал на нас масляными глазками, покручивая свои залихватские усики.

В четвёртом акте на площади перед ареной, где шумит разноголосая толпа, продают программы, апельсины и сигареты — «первый сорт», между музыкой и пением актёры вполголоса вставляли свои реплики, изощряясь в остроумии, отчего сцена оживала, раздавались вспышки неподдельного хохота.

Предлагая воды, «Падре» — здесь он изображал разносчика холодной воды — приговаривал:

— Ну, не дуй же всю, оставь другим глотнуть, совесть, совесть имей, все взопрели!..

Кстати, и кличка «Падре» пристала к нему после «Кармен». В первом акте, перед табачной фабрикой, где уже собрались юнцы в ожидании перерыва:

«Кармэн, за тобою толпой мы спешим…» —

молча и торжественно, ни на кого не глядя, с каменными лицами, с прямыми как палки фигурами, с опущенными глазами, осуждая всё и всех, с чётками в руках проходят два монаха-иезуита.

Одним из них неизменно и был наш «Падре». Ему и грима класть не нужно было — настолько аскетична и бесстрастна была физиономия этого добрейшего и талантливейшего человека. Это был тот самый «Дудукин», которого забрали вместе со мной в театр из Пиндушей.

В четвёртом акте есть место, где хор поёт:

«— Место, место синьору алькальду!»

— и толпа расступается перед алькальдом.

Режиссёр решил сделать эту сцену ещё более красочной и выпустить алькальда с алькальдессой!

Вот как я превратилась в знатную испанку с высоким гребнем в волосах, с двумя «испанскими» завитками на висках — «завлекалочками» — как их именовали современные девицы, в красных туфельках на высоченных каблуках, вся в шелку и кружевах.

Я важно шествовала под руку со своим высокопоставленным «супругом», тоже не поющим актёром.

Гордо помахивая огромным чёрным веером, я милостиво кивала раболепной толпе:

«…Место, место синьору алькальду!»

Что и говорить — лестно, но на одевание и гримировку уходило всё время второго и третьего акта.

Особенно мне было жаль пропускать второй, где пел «Дон Кайро», мой большой друг и приятель, Ваня Ч. Мне было безумно

жаль пропускать любимый мною квинтет контрабандистов. Но в первом акте я была занята в «работницах», и поэтому заранее переодеться в алькальдессу было невозможно.

О Ване Ч. мне хочется рассказать несколько подробнее. Не потому, что его «история» была более необыкновенна, чем другие, но потому что судьба его в лагере сложилась необыкновенно, необыкновенно проявилась глубокая и странная любовь.

Ваня Ч. происходил, как и мой знакомый капитан, Евгений Андреевич, из старинной военно-морской династии, но был он значительно моложе Евгения Андреевича и, конечно, много современнее. Был он человеком высококультурным и талантливым. Прекрасно играл на рояле, знал и тонко ценил музыку, любил литературу. И ко всему прочему, обладал чудесным сильным голосом — бас-баритоном, прекрасного, тёплого оттенка.

В ранней юности встал вопрос — кем быть? Моряком, или певцом? Семейные традиции победили, Ваня пошёл в морское училище.

Была в нем этакая чёрточка лихачества и удальства, бесшабашной отваги. В детстве он прыгал со второго этажа, чтобы поразить товарищей. Уже в советское время, будучи капитаном — он рискнул провести корабль где-то в северных морях не по обычной трассе, а обогнуть какой-то остров с другой стороны, чтобы сократить путь и время.

Что-то он не рассчитал, и корабль наскочил на подводные скалы и затонул. Хотя никто из команды не погиб, Ваню Ч. посадили и дали политическую статью — «диверсия».

Когда я попала в Медвежьегорский театр, Ваня Ч. переживал глубокую человеческую драму — любовную драму, и как-то случилось так, что я стала его другом с которым он делился своим горем…

Героиней драмы была заключённая артистка — Маша Т. Была она вывезена с Соловков, где отбывала наказание по какой-то уголовной статье — что-то вроде бандитизма, или кражи. И вот, эта едва грамотная девчонка, ещё в Соловках, где тоже был свой «крепостной» театр, обратила на себя внимание необыкновенными сценическими способностями.

Внешне она была очень хороша собой: — высокий рост, стройная фигура, какая-то прирождённая плавность, даже можно сказать, величавость жестов, красивая, лёгкая походка. Ко всему этому — прекрасное русское лицо, серые, чуть широко расставленные глаза, русые, толстые косы, короной уложенные на голове… И редкая, удивительная способность «брать с голоса».

Режиссёру не нужно было разъяснять существо роли, об

эпохе, о мыслях автора, о качествах, заложенных в образ героини — не нужно, потому что всего этого она просто не понимала, да и не старалась понять. Она и пьесу-то целиком никогда не прочитывала.

Но стоило ей ***показать,*** как надо играть, как говорить, что делать и… — То, что режиссёр видел своим внутренним, режиссёрским оком, оказывалось воплощённым в роль именно так, как он того хотел.

Я видела Машу в «Шестеро любимых» Арбузова — шуструю, энергичную и в то же время наивно-мечтательную Ленку. Видела ее Луизой в «Коварстве и любви» — сколько нежности, смирения, обречённости!..

Я видела ее королевой в «Стакане воды» — глупенькая бедная королева, которой так скучно, так не хочется быть королевой, которая так бездумно-покорна среди интриг, плетущихся вокруг неё…

И все это — Маша Т., которая не знала ни кто такой Шиллер, ни кто такой Скрибб, и не прочла ни одной их пьесы.

И вот в эту Машу влюбился Ваня Ч. Да как влюбился! Не только влюбился, а полюбил — преданно, самозабвенно, всей своей поэтической и тонкой душой.

Вдохновлённый любовью, он решил, что сделает из неё настоящую актрису, что пробудит её спящий ум и приобщит её к тому, что есть искусство. И он с вдохновением принялся за дело.

Но… по темпераменту и своим интересам Маша была современным воплощением Кармен, в постоянных поисках своего «торреадора». Она легко и просто меняла своих возлюбленных, частенько просто из меркантильных соображений. Однако в перерывах между своими «увлечениями» она неизменно возвращалась к Ване и считала его основным своим возлюбленным, хотя надолго её не хватало и вскоре у неё появлялся новый фаворит…

Так было пока она была «зэ-ка». Но Маша Т. как раз в это время освободилась — отсидела свои восемь лет, и… осталась вольнонаёмной в театре, где она была «примой». Это понятно — вряд ли она нашла бы где-нибудь лучшее положение.

Став вольнонаёмной, она тут же стала заводить «романы» с лагерным начальством, у которого, по нашим представлениям были все блага жизни, и которое хорошо знало, чем привлечь Машину благосклонность.

Всё это видел и знал бедный Ваня Ч., как видели и знали все остальные. Да Маша и не считала нужным что-то скрывать и «корчить из себя даму». Наоборот: она была уркой, и несмотря на долгое, со времён театра в Соловках, и достаточно тесное

общение с культурными людьми — «самостоятельными», на языке блатных — во взглядах на жизнь оставалась уркой, и даже гордилась этим.

В те времена, как я уже говорила, заключённые в Медвежке жили сравнительно вольготно. Вольнонаёмная Маша имела свою комнату, как-то обставленную, с пианино, которое водрузил туда кто-то из начальства. И Ваня ходил к ней, когда у неё было «настроение» его видеть.

Несмотря на всё, Ваня продолжал её любить и надеялся понемногу своей любовью разбудить в ней настоящее чувство и развить её интерес к искусству и культуре.

Он играл ей на пианино, он читал ей стихи… Увы! Ни музыка, ни литература её не интересовали. Когда он пытался заинтересовать её рассказами о своей прежней жизни, она предлагала: — давай, лучше заведём патефон, потанцуем? — и ставила пластинку: «У самовара я и моя Маша» — начинавший тогда входить в моду фокстротик, или что-нибудь ещё… А он терял голову от её движений… И так продолжалось месяц за месяцем… Изменить её было невозможно. Но не любить её он тоже не мог, и потому всё продолжалось и продолжалось…

Когда он был у неё не в фаворе, и она не хотела его видеть, у Вани начиналась депрессия, и он начинал пить. Пил он по-страшному — дважды стоял на грани «общих работ».

«Общие работы» были жупелом для театрального люда — конец вольготной жизни, физический труд — лесоповал, в особенности. К нему никто из нас не был приспособлен, и он навсегда мог искалечить голос, руки, или ноги — всё, без чего не может существовать актёр, певец или музыкант, — и главное, лесоповал в итоге, как правило, доводил до истощения и гибели. Достаточно было одного росчерка пера, и человек мог оказаться «зачёркнутым» на всю жизнь...

Однажды, во время очередной «отставки», Ваня Ч., вконец пьяный, но крепко державшийся на ногах, с помутневшими, звериными глазами, вломился перед началом спектакля в уборную Маши Т. и зверски ее избил. Маша визжала на все кулисы, а он хриплым, но громким голосом награждал её эпитетами достаточно правдивыми, но нецензурными, вспоминая прародителей до четвёртого колена.

Наконец, Машу отняли, а Ваню Ч. скрутили.

Маша оказалась «на высоте»: — наскоро замазав синяки «общим тоном», она вовремя вышла на сцену. Впоследствии она очень гордилась своими синяками, как гордится каждая урка наглядным доказательством обожания и успеха у мужчин.

Ваню Алексей Алексеевич велел запереть в своём личном

директорском кабинете.

— Я сам с ним расправлюсь — бешено и коротко сказал он. Как он «расправлялся», нам было неизвестно, но Ваня потом под большим секретом рассказал мне, что он отлично выспался и протрезвел на директорском диване.

«Внушение» все же было.

— Даю слово тебе, сукин сын — грозно прохрипел Алексей Алексеевич — в последний раз! Иначе — не посмотрю на твой уникальный бас-баритон и отправлю к чертям собачьим — на лесоповал!

Ваня обещал, и… всё пошло по-прежнему. Второй раз произошло вообще нечто экстраординарное…

Шла «Кармен». Ваня — «Дон Кайро» — явился вовремя, но разило от него за сто шагов, и на ногах он стоял не вполне твёрдо. Однако он начал гримироваться и к концу первого акта был готов к выходу. Увы, в жаре кулис его развезло окончательно.

…И вот, мой любимый квинтет, который ведёт за собой чудный бархатный баритон Вани Ч.:

…«У вас все уловки быстры и ловки»…

Баритон начал хорошо, хотя при первой ноте Ваня явственно покачнулся на обеих ногах. Но дальше… Господи, что же происходит?.. Почему квинтет всё замедляет и замедляет темп?.. По залу проносится какой-то не то шорох, не то вздох. Кулисы неслышно заполняются актёрами, с удивлённо расширенными глазами. Все стремятся заглянуть на сцену…

Оркестр играет всё медленней и медленней, чтобы не обогнать почему-то вдруг замедлившиеся ноты певцов… Как будто замок Спящей красавицы погружается в сон… Но ведь это же не «спящая красавица», это же «Кармен»!.. Как будто кончается завод в граммофоне, и пластинка крутится всё медленней и медленней, растягивая уже неузнаваемые ноты, вот-вот она остановится и замолчит совсем…

В зрительном зале всё замирает — даже простым, неискушённым музыкальностью людям ясно: что-то случилось… Надвигается «катастрофа», сейчас занавес пойдёт вниз…

За кулисами стоят замершие актёры… В суфлёрской будке застыл с широко открытым ртом и ужасом в глазах наш старенький суфлер А. Н., а великолепный Пан, откинув седую голову, горящими гневом глазами впивается в сцену, словно собирается испепелить, или, по крайней мере, загипнотизировать злосчастный квинтет, и дирижёрская палочка в его руке медленно вычерчивает в воздухе какие-то кабаллистические знаки…

И всё-таки они допели! Занавес, готовый опуститься каждый

момент, нервно подрагивал в руках рабочих сцены, державших его уже наготове…

Последний такт, последняя нота, и квинтет буквально выносит со сцены на руках своего ведущего баритона…

В зале — единый вздох облегчения! Сцена оживает, опера продолжается дальше в обычном темпе…

Алексей Алексеевич врывается за кулисы; изрыгая проклятия, кроет Ваню Ч. пятиэтажным матом, хватает телефонную трубку и хрипит в неё: — Наряд!.. Наряд!..

Ваню уводят в КУР…

В конце акта поёт уже другой, наскоро одетый и загримированный «Дон Кайро».

Но и на этот раз Алексей Алексеевич спасает Ваню от общих работ, долго и грозно ругает, и Ваня опять «даёт слово».

Через две недели он снова поёт в театре.

Не знаю, сколько суждено было бы продержаться этому «слову», если бы внезапно, «как гром среди ясного неба», Ваню Ч. не освободили!..

Его отец, занимавший какую-то важную должность в Морском ведомстве, продолжал хлопотать за сына не покладая рук. И, как ни странно, добился — ведь это был всё ещё 1936-й!

Дело пересмотрели и статью переквалифицировали: Из «диверсанта» Ваня превратился в… «бандита»!.. Есть такая статья — 59-в, кажется — «транспортный бандитизм». Что это такое, в точности никто из нас не знал, не знал и сам Ваня.

Но бандит, слава Богу, по Уголовному Кодексу — не диверсант! Срок скостили, и оказалось, что Ваня даже пересидел…

Отец приехал за сыном, и… не увез его.

Я пишу только воспоминания, а не роман, но сплетения событий иногда превосходят все романтические вымыслы…

Ваня освободился, но тут же вторично арестовывают Машу!.. Толком никто не знает, за что и почему. Ходят слухи о какой-то политической статье: — Догулялась, дескать, с начальством!.. Одним словом, Маша «сидит».

И Ваня вместо того, чтобы ехать с отцом, остаётся в Медвежке, обивает пороги третьей части, добиваясь свидания, которого конечно же не дают; посылает ей добротные передачи, «ручается» в невиновности Маши, над чем только смеются, и в конце концов, предостерегают его вполне серьёзно — прекратить свою опеку, пока сам цел!

И так шло до самого моего непредвиденного и нежеланного расставания с Медвежьегорским театром.

Что было потом, я уже никогда не узнала… Начало же этой

истории относится к 1936-му году — году моего пребывания в Медвежьегорском театре. Большую её часть в театре знали все, а некоторые более глубокие подробности были мне поведаны самим Ваней небольшими порциями в маленькой комнатушке на втором этаже театра, против «балкона», называвшейся «макетной». Там я клеила макеты декораций, по эскизам другого Вани — художника Вани В Там же мы с Лидией Михайловной вырезали картонные персонажи для затеянного мною театра теней.

Комната запиралась на ключ, чтобы не мешали слоняющиеся без дела между репетициями актёры, и Ваня Ч. был одним из немногих, кто допускался в нашу «макетную».

И вот, слушая излияния Вани, я возилась с клеем и картоном, а по ту сторону двери, в коридоре, неизменно дежурил и вздыхал мой верный поклонник Егорушка Тартаков…

…Егорушка принадлежал к типу людей, которые вызывают одновременно и жалость, и жестокое желание подшутить, посмеяться, или разыграть его. И всё это — со стороны людей, которые прекрасно понимали, что он человек более высокого склада, чем они, более культурен, эрудирован, музыкален. Таким людям, как он, обычно достаётся ещё с детства, со школьной скамьи…

Окружающие, постоянно потешавшиеся над Егорушкой, не были злыми людьми, и вовсе не хотели ему зла. Просто им трудно было удержаться от желания поддразнить человека, который, не принимая шуток, каждое, даже самое простое слово к нему обращённое, выворачивал наизнанку, примерял к себе на свой лад, выискивая в нём обиду и издевательство, если даже таковых и в помине не было…

Вот потому-то Егорушка и был в театре «козлом отпущения». Фоном же всему служила «главная» обида: он, сын выдающегося певца, не унаследовал отцовского великолепного голоса, хотя и обладал абсолютным слухом и очень приятным, мягким, но увы, слишком слабеньким для сцены баритоном.

Он окончил Ленинградскую консерваторию, а в оперу не попал. После ряда неудачных попыток устроиться в периферийных театрах, он махнул рукой на оперу и устроился в Ленинградский театр оперетты.

Этому человеку, лишённому чувства юмора, не умевшему смеяться и дурачиться «просто так», просто потому что весело, и признававшему только серьёзную, классическую музыку, оперетта «подходила» как корове — седло, или ещё того меньше…

Понятно, что его всё время мучила неудовлетворённость, тоска по «настоящей» музыке, по опере.

Отца своего, известного оперного певца, он боготворил и при жизни, и после его нелепой и трагической гибели в дорожной катастрофе.

Отец Егорушки — еврей из Бердичева, сделавший блестящую и небывалую карьеру в опере и ставший певцом с мировой известностью, женился на бывшей княжне, женщине очень неуравновешенной, истеричной, фанатично религиозной, в конце жизни всерьёз увлекшейся мормонством.

Склонность к мистицизму и религиозную настроенность — Егорушка, очевидно, унаследовал от матери.

Из всех детей, а их было четверо, только он был болезненно уязвимым, обострённо нервозным, да и до истерики его ничего не стоило довести.

Ко времени ареста, в 1935 году, ни отца ни матери уже в живых не было.

А сидел он за… спиритизм.

В Ленинграде у него образовалась небольшая компания молодёжи, которая увлеклась спиритизмом. Начали с обычного — верчения блюдечка на круглом столе, которое вскоре привело к захватывающим дух беседам.

Потом задвигался стол. Появился медиум…

Не знаю, было ли то экзальтация мистически настроенной молодежи, или что-то другое, но рассказывал Егорушка о чудесах, от которых мороз по коже подирал.

Он не раз говорил: — Может быть, арест мой был моим спасением. Ещё немного, и я потерял бы рассудок.

Они вызывали духов, и духи, по его словам, материализовывались, высвечиваясь в тёмном углу, или на столе вдруг появлялся призрак светящейся руки…

В последний же перед арестом сеанс, в полутёмной комнате, где он происходил, внезапно появились тяжелые, бронзовые канделябры, которые начали носиться по комнате, угрожая съездить по головам испуганных «спиритов».

Когда же кто-то, не выдержав, крикнул: — Свет! — и распалась цепь рук — канделябры с грохотом полетели на пол, и там и остались неподвижными и неодушевленными, как им быть и полагалось.

Позже, на следствии выяснилось, что у хозяев квартиры — некогда барской и обширной, а теперь тесной и коммунальной, где все коридоры были заставлены сундуками и корзинками с разным барахлом — действительно были подобные канделябры.

За ненадобностью валялись они в одном из выше упомянутых коридорных сундуков. Сундук стоял внизу, загруженный ещё несколькими этажами ящиков и корзин, и по словам хозяина,

никто в него не лазил и канделябров не доставал. И как они попали в комнату, где шёл спиритический сеанс, и где они носились под потолком, как бешеные — по сей день осталось неразгаданной тайной…

Всю компанию арестовали и объявили контрреволюционной организацией, но ввиду отсутствия какой-нибудь более наказуемой деятельности, чем верчение столов — обвинили в контрреволюционной пропаганде и «пришили» статью 58–10–11 — «Антисоветскую пропаганду и группировку». По решению «Особого совещания» обвиняемые получили «всего» по пять лет, и разъехались по разным лагерям.

Егорушка, к счастью, сразу попал в Медвежьегорский театр, где и отсидел вполне благополучно свой срок.

В театре Егорушка чувствовал себя несчастнейшим из смертных: Во-первых, ему казалось, что его совершенно несправедливо «затирают», не дают партий, он всегда был лишь «дублёром», и на нём выезжали на репетициях, или он выступал в незначительных ролях…

Гордость его страдала невыносимо. Его не утешало, что его звали послушать новый голос, ибо он слышал детонацию каких-то 16-х, которую не слышит ухо простого, смертного; что к нему за консультацией и советом обращались все, кто нуждался в музыковедческой, или просто исторической справке; что с его мнением считались все, начиная от самого Алексея Алексеевича.

Егорушка был глубоко несчастлив, но выражал это так патетически, хватаясь за голову и не раз обещая покончить с собой, что это невольно вызывало улыбку, неуместность которой часто обостряла обстановку.

Однажды, проснувшись утром в общежитии, он увидал над своей постелью, непосредственно над головой, хорошо укреплённую на потолке петлю, даже предусмотрительно намыленную. Озорные глаза тех, кто придумал эту злую шутку, поблескивали из-за подушек с соседних коек…

Подобным «шуткам» не было конца — ведь известно, что шутить только тогда и интересно, когда объект шутки «зеленеет» от бессильной ярости и досады!

Но больше всего Егорушке стало доставаться, когда на него свалилась новая беда — его угораздило влюбиться в меня. Сразу, как только я появилась в театре — «любовь с первого взгляда»!

К чести моей, я скажу, что я никогда не смеялась над этой любовью — ни тогда, ни сейчас.

Но при этом чувствовала и угрызения совести: мне льстила его любовь, хотя я и не могла на неё ответить.

Любовь же была настоящая, глубокая, и если бы мне было

дано ответить на неё — может быть, я и нашла бы в этой любви своё настоящее счастье.

Но… я ценила Егорушку, как человека интересного, очень глубоко эрудированного, очень музыкального, щепетильно-порядочного, и чувства его ценила, но оставалась к нему равнодушной…

Он же выражал свои чувства действительно смешно.

Вскоре он стал ходить за мной по пятам, как собачонка, так что я не знала, как пробраться незамеченной в туалет. Он дежурил утром у двери, чтобы не пропустить меня, и заранее занимал мне место за столом рядом с собой, что, конечно, кончалась скандалом: народу было много, и многие, выражаясь в их манере, «хотели плевать» на то, что место для кого-то занято.

Он смотрел на меня такими преданно-страстным взглядом, что невольно напоминал Карандышева из только что вышедшей тогда на экран «Бесприданницы».

Он глупел в моём присутствии и бормотал какие-то немыслимые комплименты. Он прозвал меня «императрицей Ириной-Евгенией» — (я как-то сказала, что жалею, что меня не назвали Ириной — моим любимым именем), и так за мной это прозвище и сохранилось на всю бытность мою в Медвежьегорском театре.

Он мешал мне заниматься моими макетами, жарко дыша мне в затылок, и я стала бесцеремонно его выставлять из «макетной», или щёлкать замком входной двери перед самым его носом.

Среди наших музыкантов был славный и толковый мальчик — скрипач Вася В., с которым у меня сложились хорошие, дружеские отношения. Однажды, когда мы вместе с Васей смотрели кино в одной из комнат для занятий, разыгралась бурная сцена: Егорушка кричал и клялся убить нас обоих, в щепки поломал ни в чём неповинный стул, и впал в такую истерику, что его едва успокоили.

С тех пор его окрестили «Коварство и любовь»…

Много лет прошло с той поры, много воды утекло. Но как сейчас вижу его бледное, несчастное лицо, с дрожащими губами, с безнадёжно-отчаянным, страдающим взглядом, и слышу прерывистый его лепет:

— Скажи… скажи только, ты можешь меня полюбить?.. Хоть немножечко?.. Чуть-чуть?..

Нет, Егорушка, не суждено было…

Но я не «прогоняла» Егорушку, как надо было по-честному это сделать, а старалась перевести его ухаживания в дружбу, искренне питая к нему жалость и симпатию, заступалась за него, где и как могла.

В общем, как-то постепенно он стал «своим», и в компании с «Падре» — который его любил и никогда не обижал, мы в свободное время бродили вокруг Медвежки, поднимались на горки, поросшие елями, натыкались неожиданно на маленькие озерца, срывали ветки спелой рябины. Хорошие это были прогулки, тихие и умиротворяющие.

Незаметно подошёл декабрь. И в декабре приехала мама с обоими мальчиками. В те времена со свиданиями было ещё вольготно: мама получила разрешение на свидание и сняла комнатку в Медвежке. А я, пользуясь своим круглосуточным пропуском, попросту жила с мамой в этой комнатке.

Комнатушка была крохотная — вокруг стола впритык стояли три деревянных топчана; с четвёртой стороны была дверь. На этих топчанах мы спали и сидели, а ребята бегали за нашими спинами, кувыркались и дрались. Какое счастье было видеть их всех вот так, настоящими, живыми, не через решётку в ревущем аду Бутырок. Трогать, тискать их тёплые тельца…

Всё прошедшее казалось нереальным сном — кинокартиной, просмотренной, но не пережитой…

Каждую свободную минуту к нам прибегали Егорушка и Петя, возившийся с мальчиками, по-детски, присоединявшийся к их шуму и крику. Мама хлопотала за столом, наливая чай из большого чайника в стаканы и чашечки, что нашлись у хозяйки, торопясь развязывала баночки привезённого варенья.

— Вот малина, твоя любимая! Специально для тебя варила, знаю, как любишь…

Намазывались бутерброды, открывались консервы. Господи!.. Не барак — дом!.. Всё такое домашнее, родное…

Совсем своими, тоже домашними, стали Петя и Егорушка, чуть не переселившиеся к нам, уходившие к себе только много после того, как под наши разговоры, за нашими спинами, засыпали ребята. Было бы место, вовсе не уходили бы…

Декабрь был на редкость тёплый, с оттепелями и ручьями с гор, но Петя всё же без конца катал ребят на санках, с восторгом ржал и прыгал, бил по-лошадиному «копытами».

Чёрными пушистыми шариками в своих меховых шубках катались с горы мальчишки, и младший, всё ещё не выговаривающий буквы «Р», захлебываясь от восторга распевал во весь голос:

«А ну-ка, песню нам пйопой,
Весёлый ветей, весёлый ветей!»

Вечером, если я была занята в спектакле, мама шла с ними в

театр.

Помню, как маленький Вечик после театра допытывался:

— А она умерла по-настоящему?.. А кинжал у него был настоящий? — Это после «Кармен».

Кончилось всё Новым Годом и ёлкой. Самой взаправдашней ёлкой, которая стояла на нашем столике, посреди трёх топчанов — ёлкой, украшенной игрушками и свечами, предусмотрительно захваченными мамой; ёлкой, с подарками под ней для больших и маленьких.

И какое-то лёгкое вино разливали по чашечкам и стаканчикам, и поднимали тост за Новый год — чтобы всем ***освободиться*** в этом году! Чтобы всем вернуться ***домой!*** — И вместе! — добавляли сияющие глаза Егорушки.

Наступал 1937-й, и никто не знал ещё, что это будет за ***год…*** Хорошо, что мы не знаем своего будущего…

Мама уехала успокоенная, с облегчённой душой. Оказалось, «лагерь» не так уж страшно, не так катастрофично. И здесь жизнь, и здесь люди, и здесь работа — да такая, что о ней с восторгом рассказывают…

Слава Богу, слава Богу!..

Где же было ей знать, родной моей, что это — ещё не лагерь, что это — только ***прелюдия…***

Глава II
Год 1937

…Памяти Андрея Быховского, и всех тех, кто не выжил и не дожил, посвящаю.

Е. Фёдорова

Медвежьегорская пересылка

Тридцать седьмой год нагрянул в Медвежку в мае. Смутные толки об этапе, правда, ходили уже давно. Много заключённых специалистов — инженеров, плановиков, бухгалтеров, врачей — работало в Управлении Беломорлага (ББК).

Управление же находилось в «Медвежке», точнее в посёлке, который назывался Медвежьей горой и к тому времени ещё не успел стать городом — Медвежьегорском.

Хотя разговоры с заключёнными строго преследовались, однако кое-что «зэки», работавшие в Управлении, слышали от своих вольнонаёмных коллег, которые, несмотря на «строгий

запрет», относились к ним, большей частью, с симпатией и дружелюбием.

Таким образом кое-какие сведения проникали в зону лагеря и, конечно, в наш «крепостной театр», обслуживавший начальство ББК.

Но всё равно, хотя и смутно ожидаемый, этап грянул неожиданно. С вечера и всю ночь людей вызывали по формулярам «с вещами» и отправляли в Медвежьегорскую «пересылку».

Пересылка оказалась переполненной — тут были люди из самых разных мест Беломорлага — с ближних лагпунктов (тут оказались и мои знакомые из конструкторского бюро Пиндушей), и из дальних — из Надвоиц, Сегежи, Сороки, вплоть до Кеми.

В основном, это была интеллигенция — специалисты и научные работники. Всех объединяло одно: «страшные статьи», верней «пункты» 58-й статьи.

Это были: самая страшная — 58–1-а — «измена родине» — 10 лет, иногда заменяющих расстрел по приговору; 58–6 — шпионаж; моя — 58–8 — террор.

Хотя большей частью перед ними стояла цифра 19, что обозначало «намерение», на эту цифру никто внимания не обращал — всё равно для местного начальства мы все были «шпионы и террористы».

Большинство из этой категории лагерников были люди, приговоренные к расстрелу, с заменой десятью годами. В то время 10 лет было «потолком». 25 стали давать значительно позже, в сороковых годах, после войны.

Всю 58-ю статью в лагерях в — ту пору — и начальство и бытовики дружно величали «контрой».

Из театральных в пересылку угодили только несколько мужчин — актёров; из женщин — я одна.

Несколько дней мы жили в пересылке, и я не скажу, чтобы это были «ужасные» дни. Скорей, наоборот.

Никто ещё не знал, что нас ждёт. Все были взволнованы и возбуждены ожидаемой переменой.

Казалось бы, смешно было ожидать перемены к ***лучшему*** — люди были собраны сюда не с «общих работ», не с лесоповала — они и так жили в лагере в наилучших условиях и работали по своей специальности. Чего же лучшего можно было ждать?!

Но были среди пересыльных наивные и экзальтированные, которые шёпотом настойчиво уверяли, что это — этап на пересмотры дел, и приводили «веские» аргументы: ведь 5810 не забрали. А почему?.. Да потому, что их дела не столь вопиющи. Их обвиняли в болтовне — поди, разберись, болтали или не болтали… Но вредительство, шпионаж, террор — ведь это же

вещественно! Тут же факты нужны, факты! А где же эти факты??.. Нет, нет — это пересмотр — вот увидите!

Правда, таких верующих было мало. Ходило много слухов:

— Это будет дальний этап в какой-то новый северный лагерь — Норильск. Новый лагерь, он только строится, нужны специалисты, потому и идет отбор специалистов.

Ну, а такие, как я? Газетный работник, детская писательница, к тому же ещё начинающая, без «имени»? К чему бы я могла пригодиться в далёком северном лагере, хотя бы и в новом?!

— Ну, какой-то процент случайности всегда может иметь место, — рассудительно отвечали желающие верить в Норильск.

Но были слухи и более зловещие. Их люди просто гнали от себя, до последней минуты не желая в них поверить. Это было страшное слово «Водораздел».

«Водораздел», как я уже упоминала, был жупел, которым пугали в Управлении, в театре, в конструкторском бюро, на любой «блатной» работёнке. Это название объединяло в себе несколько штрафных лагпунктов Беломорбалтлага, на самом верхнем участке ББК, куда заключённых отправляли за провинности. Из нас никто не бывал на «Водоразделе», но мы все знали, что там делалось: там были только лесоповал и «загибаловка» — гибель от истощения.

Загибались на «Водоразделе» все. Лес был — одно мелколесье, и никаких норм выработать даже настоящим работягам было невозможно. В результате хлебная пайка срезалась до 200 грамм, а это означало — голод и истощение.

Сначала люди переходили в разряд «доходяг», потом попадали в лазарет на «Северный» лагпункт, с которого уже никто живым не возвращался… Верить в «Водораздел» никому не хотелось… И всё же это оказался именно он.

Мы ни в чем не провинились. Просто настал 1937-й год, и лагерники ощутили его на своей шкуре точно так же, как и весь народ Союза Советских Социалистических Республик…

Прежде, чем рассказывать о нашем этапе на «Водораздел», хочу ещё немного продолжить о тех немногих днях, проведенных на пересылке, так как они сыграли большую роль в моей дальнейшей лагерной судьбе…

Жили мы там всё ещё довольно вольготно. Пересыльные бараки — и мужские и женские (впрочем такой был всего один, да и то полупустой) — стояли за одной общей загородкой, и в «зоне» можно было ходить, гулять и сидеть на завалинках у бараков — беспрепятственно. Поэтому за эти дни произошло много знакомств, выслушано было множество историй и рассказано своих. Ведь люди были не свободны, книг не было,

радио — тоже, только и оставалось одно: рассказы, воспоминания, предположения…

Андрей Быховский

Здесь, на пересылке, я встретила Андрея Быховского — яркого, энергичного и интересного человека, который стал до конца своих дней моим самым дорогим и близким другом, и благодаря влиянию которого я, в конечном итоге, не погибла на «Водоразделе».

История его была необычна даже среди пёстрого калейдоскопа прочих историй.

Племянник ставшего известным в 20-е — 30-е годы заслуженного артиста Юрьева, он рано остался сиротой и до революции воспитывался в семье дядюшки, где детей, впрочем, никак не воспитывали, и они росли сами по себе, отделённые от мира взрослых, всецело переданные на попечение старой и преданной няньки, фанатично религиозной и суеверной старухи, населившей детскую чертями и домовыми, лешими и ведьмами, невероятными чудесами и ожиданием загробных адовых мук.

Но детей она любила, и дети её любили, особенно за эти таинственные, страшные и непонятные истории, которые она им рассказывала. А маленький Андрейка просто их обожал. К старой юрьевской няньке Андрей сохранил самые тёплые чувства.

Жуткий и таинственный мир детской надолго завладел фантазией мальчика, заронил необоримую тягу ко всему неизведанному, заколдованному и опасному. На всю его жизнь!

…Ко времени революции Андрей Быховский оказался юнкером, и сражаясь за «Россию, Царя и Отечество», отступая вместе с Врангелевским войском, покинул Крым.

Так, волею судьбы оказался он белоэмигрантом заграницей, хотя политика никогда его не привлекала, и он не собирался делать политической карьеры, да и не особенно ещё разбирался, что к чему в этом большом мире…

Бросок за границу очутился, как рывок в неизведанную романтику. Разлука с родиной представлялась делом временным и не слишком тяжелым, тем более, что людей родных и любимых там не оставалось, а отношения с дядюшкой и двоюродными сёстрами были далёкие.

И вот, по существу мальчишка — 19-ти лет, без специальности, без денег, без знакомств и покровителей, оказался он в одиночестве за границей…

Он не пошёл обивать пороги иммигрантских комитетов, и с удовольствием стал жить «сам по себе». Хотелось всё увидеть, всё

испытать. И он увидел и испытал… Прошёл «огонь и воду, и медные трубы».

Чем только не приходилось зарабатывать на жизнь: в Греции держал тараканьи бега. Из Австрии в Венгрию доставлял контрабанду, отсиживая по несколько месяцев в тюрьмах при поимках. В Бразилии он бежал из легиона наёмных войск, едва не пропав от тропической лихорадки и нечеловеческих условий жизни легионеров.

Был мелким разносчиком и «зазывалой» в Каирских лавчонках. Едва не сделался наложником какого-то не слишком крупного эмирчика.

Наконец, устав от скитаний и голода, он охотно завербовался, у набиравшего учеников сербского отца-иезуита, в религиозный колледж.

Иезуитский колледж готовил служителей церкви. Особо способные ученики могли рассчитывать в будущем даже на епископат.

Андрей оказался способным учеником — одним из первых. С ним вскоре начали носиться, готовить его в помощники епископа.

Два года он жил припеваючи, «как сыр в масле» — отоспался, отъелся на иезуитских харчах, про себя посмеиваясь над церковной братией, над фанатиками и схоластами.

Но всё же много было прочитано и серьёзных, научных книг. Многие вопросы философии и истории увлекали.

Однако приближался выпуск, и Андрей решил, что пора сматывать удочки. В епископы он не собирался.

Поблагодарив братьев-иезуитов — мысленно, конечно, — он удрал из колледжа.

Опять настала пора бродяжничества, но годы проведенные в колледже дали много разносторонних знаний, на многое заставили взглянуть серьёзней.

В Обер-Аммергау на ежегодные священные мистерии попал случайно. Набирали статистов для тысячных армий войска Христова. Здесь были и студенты, и школяры, и просто бродячий люд, жаждущий подработать хоть малую толику.

Главных действующих лиц — Христа, Деву Марию, апостолов — изображали местные крестьяне, у которых роли переходили из рода в род, от отца к сыну, от матери к дочери.

Христово войско, крестовые походы, битвы за гроб Господен — изображали пешие и верховые статисты, в костюмах, париках и гриме. Зрелище было грандиозное, и десятки тысяч зрителей собирались полюбоваться им, располагаясь на окрестных пологих склонах холмов.

Режиссёры, со сверкающими на солнце рупорами, носились

туда и сюда на взмыленных конях и командовали армией актёров.

Андрея зрелище поразило, потом захватило, потом он уже не мог оставаться только послушным исполнителем…

Вскоре он стал «внештатным» помощником режиссёра, а на следующий год — уже настоящим режиссёром.

От священных мистерий в Обер-Аммергау Андрей пришел в кино.

Ему повезло. Удалось сработаться с оператором. Успешно сняли мистерии. Потом сняли несколько интересных хроник. Наконец можно было не думать о куске хлеба.

Но «правильная» жизнь уже не удовлетворяла… Даже такая разносторонняя, как жизнь хроникального кинорежиссера, казалась пресной. Тянуло пуститься в какую-нибудь невероятную авантюру…

В Россию тоже потянуло из любопытства. Своими глазами посмотреть: — что там?

Шел 1934-й год, близилось двадцатилетие Октябрьской революции. В то время Андрей Быховский жил и работал в Чехословакии. Там тогда было немало русских эмигрантов. Там же зародилось и разрослось до значительных размеров движение «Смена вех».

Четыреста сменовеховцев решили вернуться в Россию. Через эмигрантский комитет были выхлопотаны визы. Специальный поезд увозил сменовеховцев в Россию.

Встреча была грандиозной. Её можно было сравнить, пожалуй, только со встречей Папанинцев. Оркестры на платформе, кортеж машин с флагами по улицам Москвы, народ толпами вдоль тротуаров, народ в окнах, на балконах, мальчишки на деревьях, и всюду, всюду цветы — море цветов, дождь цветов!!.. Россия встречает заблудших сынов!.. Ура, ура!!..

Всех четыреста обеспечили работой и жильём. Быховский снимал октябрьский парад 1934 года на Красной площади.

А октябрь 1935-го встретил уже в Бутырках.

Арестованы были все четыреста, за малым исключением тех, кто случайно ускользнул из поля зрения — девался неизвестно куда. Их продолжали искать и в 37-ом году!.

Все сменовеховцы взамен букетов из роз получили по целому букету пунктов 58-й статьи, из которых основными были — группировка в целях заговора и связь с иностранным капиталом.

Все получили по десять лет.

…Рассказы его были красочны, и рассказывал он великолепно. Я готова была слушать его без конца, мы чувствовали всё возрастающую симпатию друг к другу и не

разлучались целыми днями — ведь каждое утро сулило разлуку, и скорее всего, навсегда…

Этап уходил за этапом, и никто не знал точно куда. Только потом мы узнали, что все они шли в одно место — на «Водораздел», в разные лагпункты его, разбросанные по берегам верхнего участка Беломорского канала.

Настало и наше утро. Тревожное и… неожиданно радостное. Мужчины уже стояли с вещами по четыре в ряд, и Андрей смотрел на меня умоляющим взглядом, как будто мог «вымолить» — не разлучаться!

С крыльца нашего барака донеслось:

— Женщины, сюда!

Изо всех нас «с вещами» вызвали только меня. Мы с Андреем попадали в один этап!.. А ещё говорят — чудес не бывает!..

Глава II
Водораздел
(Лагпункт «Южный»)

«Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась —
Не нужно нам возмездия иного.
Довольно с нас, довольно с нас…»

Ф. Тютчев.

…Всякая отправка на этап занимает уйму времени. Проверка формуляров, обыск чемоданов и мешков, причём выбрасываются все «личные» алюминиевые миски, ложки, иголки, ножницы — как будто можно в лагере прожить без этого нехитрого имущества! Лагерное начальство же, видно убеждено, что ложкой можно перепилить проволочное заграждение, а иголкой уложить наповал «попку» на вышке!

Должно быть, им виднее — ложки и миски выбрасывались всегда и везде, а потом неизменно заводились новые, выманенные на пайку хлеба, зачастую, у тех же конвоиров.

Потом — бесконечное пересчитывание, потому что то оказывалось, что одного недостаёт, то вдруг появлялось двое лишних!

Этап наш был огромный, человек в пятьсот, и погрузили нас

на баржи только к вечеру, когда многих ноги уже больше не держали К счастью, баржи были открытыми, и когда мы кое-как улеглись на полу трюма вповалку — над нами алело северное ночное небо, и дышать можно было полной грудью. Все устали от напряжения бесконечного стояния, и быстро задремали.

Разбудил утренний холодок, забравшийся за ворот несмотря на то, что и справа, и слева люди боками грели друг друга. Чья-то теплая ладонь пожала мою руку. Рядом лежал Андрей.

Помню, как дивно расцветала пожаром заря над головой, как несмело и сладко замирало сердце; как всё было призрачно в морозном хрустальном воздухе. Было страшно пошевельнуться, или вздохнуть поглубже, чтобы не нарушить, не сломать это колдовство…

Но всё имеет конец. Баржа куда-то пристала, и зычные крики конвоиров: — А ну, встать!.. Шевелись!.. — сломали сказку и вернули нас на землю. Нас стали «выгружать».

…С утра ещё тонкие льдинки затягивали лужи, и жирная чёрная грязь неохотно расползалась под ногами. Но часам к десяти она превратилась в жидкое месиво и шумно чавкала, замешанная сотнями подошв.

Наш лагпункт назывался «Южным», и говорили, что до него недалеко — километров 18–20, не больше. Но огромный этап наш, растянувшийся живой гусеницей на километр в длину, двигался очень медленно.

Идти обочиной, где ещё не было жидкой грязи, конвоиры не позволяли. Вещи мы тащили сами, и многие, выбившись из сил, бросали на дороге чемоданы, наспех соорудив из рубахи мешок и заталкивали в него то, что помещалось.

Я тоже хотела оставить мой маленький деревянный чемоданчик, но Андрей и ещё двое мужчин из нашего ряда взялись помогать мне и тащили его поочередно.

Несколько раз мы присаживались на обочине дороги, что-то жевали. Почти у всех было с собой что-нибудь съестное — ведь даже на пересылке был ларёк, где можно было купить печенье, конфеты, папиросы. Денег на этот раз не отбирали, очевидно считая этап недолгим.

К вечеру мы приползли к колючей ограде. Но прежде чем впустить нас в «зону» снова началась проверка по формулярам, пересчитывание и обыск. Опять бесконечное стояние у вахты, и когда изнеможенные люди присаживались прямо в дорожную грязь, даже конвоиры на них не кричали.

Но вот, наконец, мы в лагере.

Маленькая хатка — хибарка — единственный женский барак.

На сплошных нарах здесь живут 34 женщины — всё женское

население лагпункта. У каждой не менее двух, а то и по три, и по четыре «креста» — так почему-то в лагерях обозначалась степень заразности. Сифилитички все до единой.

На собственном опыте я убедилась, что сифилис далеко не так уж заразен, как это считает медицина.

Женщины — уркаганки не считались с тем, что твоё, что чужое: Ложка, миска, котелок — что подвернулось под руку, то и ладно. Их не волновало твоё это полотенце или чужое; чья это подушка, а то и просто — чья это постель? То ли спьяну бухнулась куда попало, то ли лень встряхнуть свою, но зачастую, придя с работы, заставала я на своей постели спящую бабу, и растолкать её не было никакой возможности.

…В ту самую первую ночь, верней под утро, когда в бараке стало уже совсем светло, я проснувшись, вдруг увидела, как повешенное мною на столб платье вдруг взмыло в воздух и потихоньку начало подниматься к потолку, пока не исчезло в чёрной дыре.

В изумлении я что-то крикнула, и дружный, даже добродушный хохот был мне ответом. Впрочем, тем же утром я выменяла обратно своё платье на пайку хлеба, а так как свою собственную снедь, сбереженную на этапе, сама разделила между моими сожительницами — в бараке их было не так уж много — большинство околачивалось у своих «хахалей» по другим баракам, то тут же стала «своей в доску», и женщины из нашего барака никогда меня больше не обижали.

Скоро выяснилось, что вообще в бараке спать невозможно, даже тогда, когда ноги подкашивались от усталости.

Пропорционально возрастающей жаре, возрастало и полчище клопов, выгоняя нас из барака, и мы устраивались где-нибудь поодаль, на свежем воздухе.

Но всё это пока ещё было впереди.

А теперь, несколько слов о том, как прошла эта первая ночь для мужчин нашего этапа.

Пока нас проверяли и пересчитывали, настала северная карельская ночь. Когда наше «стадо» наконец оказалось по внутреннюю сторону вахты, мужчин со всеми их пожитками погнали в большой и длинный барак, с виду больше похожий на скотный двор или конюшню — с такими же узкими горизонтальными прорезами окон, какие бывают на скотном.

Конечно, света сквозь эти окна, даже и светлой карельской ночью проникало мало, а освещения в бараке вовсе никакого не было.

Ощупью, натыкаясь друг на друга, на вещи и нары, живой поток людей втекал в барак и, наконец, за последним закрылись

двери и загремели засовы и замки. Люди были «размещены» на ночь.

Среди ночи в запертом бараке поднялось нечто невообразимое. Дело в том, что длинный барак был перегорожен посредине сплошной дощатой стеной. В одной половине находились вновь прибывшие этапники — 58-ая статья, а в другой жившие здесь уже давно мужчины-уркаганы.

Урки — народ энергичный и сообразительный, если ещё не успели стать доходягами. Информация у них поставлена отменно, и они всегда знают всё, что делается в лагере.

Они не мешкая разобрали перегородку, и в темноте и давке начался невиданный грабёж.

Тащили и отнимали не только чемоданы и мешки — раздевали догола и избивали сопротивляющихся.

Крики, вопли, призывы начальства и конвоя, грохот, мат сотрясали не только барак, а и весь небольшой клочок земли, который назывался лагпунктом… Но ни один конвоир не приблизился к бараку, ни одного выстрела, хотя бы в небо, для острастки не раздалось с вышек…

Это никого не касалось.

На нашем лагпункте не было ни одного дерева или даже самого сухого и пыльного куста. Только несколько деревянных бараков, а за ними ямы от выкорчеванных когда-то здесь росших деревьев.

По вечерам, в короткое время от ужина (он же — обед) до отбоя, вокруг каждой ямы собиралась своя компания. И даже урки не занимали «чужой» ямы…

Когда мы приплетались с лесоповала (другой работы здесь вообще не было), уже пережив параксизмы голода, с равнодушно сосущей тупой болью под ложечкой, наша компания занимала свою яму, а я с ведром и пятью-шестью талончиками отправлялась за «обедом».

Дело в том, что женщинам все же наливали погуще, а иногда вплескивали в ведро лишний черпак.

Меню не было разнообразным — почти всё лето варили «затируху» на «бульоне» из толчёных сухих костей — этот порошок плавал в супе вроде нерастворимого гравия.

Это было и «первое» и «второе» — да ещё и без соли. Но привыкнуть, очевидно, можно ко всему.

Я приносила ведро и разливала варево по мискам. Ели медленно и молча, потому что, когда начинали есть, притаившийся было голод снова оживал и начинал бушевать в наших желудках. И когда в молчании только кляцали о миски наши железные ложки, откуда-то, как из-под земли, появлялись

крысы…

Они рассаживались полукругом возле ямы и как зачарованные не отрывали от нас своих блестящих и жадных глаз.

Через короткое время, как по команде, вдруг они делали короткий бросок вперед, и снова замирали. Ещё шаг — и опять, как статуи… Ещё бросок…

Но тут кто-нибудь из нас не выдерживал и принимался звенеть ложкой о край миски: — Брысь вы, окаянные!

Крысы неохотно отодвигались задом, потом снова начиналось медленное наступление.

Чтобы прогнать их совсем, надо было встать, затопать ногами, или запустить в них чем-нибудь.

Удивительно, чем питались эти жирные, мерзкие твари там, где люди умирали с голоду?!..

В «урочьих» ямах горели маленькие кострики и на них, в жестяных манерках булькало варево — варились крысы. Говорили, что они были вкусные и нежные, вроде крольчатины.

Когда мы стали «своими» и завели знакомство с некоторыми из урок, мне не раз предлагали отведать белого и аппетитного на вид крысиного мяса — такой кругленький и аккуратный окорочок. Но стоило вспомнить, как эти пёстро-рыжие, тяжелые твари с омерзительными голыми длинными хвостами, одна за другой шныряют в уборной, скатываясь вниз по стенам, нахально снуют по стульчаку, прямо по ногам — и отвратительная спазма перехватывала горло… Не могу! К чертям!

В нашей компании оказался, кроме новых знакомых, и мой Пиндушский сдаточный капитан — тот самый Евгений Андреевич, который приветствовал меня гудками с залива Онежского озера, с которым мы так недавно — всего лишь в прошлое лето — «элегантно» обедали в Пиндушской столовой, как отметил кто-то из инженеров конструкторского бюро Пиндушского лагпункта.

Но Боже мой, как же он выглядел теперь!?..

Когда мы (наш этап) прибыли на Водораздел, и я встретилась с ним — в первые минуты я его просто не узнала. А ведь он прибыл сюда всего лишь месяца за полтора до нас!..

Он исхудал до неузнаваемости. Вместо белоснежного кителя — засаленная телогрейка «двадцатого» срока; вместо капитанской фуражки — какая-то крохотная клоунская шапчонка, и огромные стоптанные «шанхаи» на босых ногах…

Единственное, что осталось — по-прежнему, он даже здесь умудрялся как-то и чем-то бриться. И красивое длинное лицо его, с глубоко сидящими печальными глазами, было по-прежнему аристократично.

И так же почтительно и нежно он целовал мне руку при встрече поутру, и так же галантно говорил мне комплименты…

С Андреем Быховским они быстро подружились, несмотря на значительную разницу лет. Ему, как говорил Евгений Андреевич, имея в виду моё увлечение Андреем — он «грустно завидовал», что ничуть их дружбы не омрачало.

На работу Евгения Андреевича не гоняли — отёкшие ноги едва его держали, и он задерживал всю бригаду. Конвоиры отказывались его брать. И целый жаркий, душный и голодный день он ждал нашего возвращения с работы и встречал нас недалеко от вахты.

Вечерние часы, краткие как мгновения — часы у «нашей ямки» — были единственным лучом света, озарявшим последние дни его жизни. К сожалению — недолго.

Вскоре после нашего прибытия его забрали на «Северный», где было отделение нашего «Водораздела». Там, как говорили, был большой лазарет, но оттуда никто уже не возвращался.

Не вернулся и Евгений Андреевич. Остался только в моей памяти…

Кроме нас троих, в нашей компании были ещё двое из 58-й, которые мне как-то не запомнились, и двое уголовников, которых помню как сейчас.

Один из них — мальчишка — уркаган с нежным девичьим лицом, с большими бархатно-телячьими глазами. Я его знала ещё с Пиндушей. Он был фанатически влюблен в Есенина, которого чуть ли ни всего знал наизусть и читал его проникновенно, со слезами на глазах. Кажется, его звали Николаем. Но в честь Есенина, он окрестил себя «Серёгой», и так все его и звали. Память у Серёги была феноменальная. Кроме Есенина он знал много из Блока, и, всего — с начала до конца — все восемь глав, за исключением некоторых отступлений — Евгения Онегина!

Серёга никогда не ломался, не заставлял себя упрашивать и, когда покончив с нашим обедом, мы растягивались по краям песчаной ямы, ещё сохранившей дневное тепло, а солнце тонуло в оранжевом мареве за дальним лесом, он читал нам одну главу за другой, без устали и с вдохновением, изредка только спрашивая: — Ещё?

Как всякий артист, он ждал поощрения и получал его от нас щедро и заслуженно.

Вторым, тоже из уголовного мира, был Владимир Николаевич Экк — очень интересный и остроумный человек, о котором я расскажу немного позже.

Мы лежали рядом с Андреем, смотрели на лиловеющее небо и слушали «Евгения Онегина». Было хорошо и просторно на душе;

и костры с булькающими в жестянках крысами, и землистые лица урок, сидящих вокруг костров в одних кальсонах так как всё остальное было проиграно и пропито с помощью наших конвоиров, и какие-то вопли и виртуозный мат, изредка долетавшие из-за забора изолятора, и двойная проволочная изгородь с вышкой и «попкой» в углу, как раз над нами — всё это казалось кинолентой, которую мы видим, но сами в ней — не участвуем…

Это были хорошие и блаженные часы, когда можно было не двигать ни одним уставшим членом, не чувствовать болящих ног, ноющей спины, и атмосфера великого, дружелюбия, осеняла наше «кольцо»…

Блаженство кончалось громким высоким пронзительным звоном вдруг оглушавшем весь лагерь — это в рельсину, подвешенную на стойку колотили «отбой».

Каждый вечер мы знали, что это будет, и каждый вечер, всё равно это было неожиданно, и сбрасывало нас «с небес на землю».

Отбой!.. Хочешь не хочешь, всё начинало шевелиться, всё устремлялось на центральную дорожку, которая шла от самой вахты до противоположной ограды, через весь лагпункт.

Никто не мешкал. Через пять минут конвоиры наводнят весь лагерь и заорут на тех, кто не успел стать в строй:

«— Лягай!!!»

Защёлкают затворы ружей и все бухнуться в пыль и грязь, куда попало, и пролежат всю долгую поверку, а потом их погонят в изолятор.

«— Лягай!!» — с этим не шутят. Однажды, во время отбоя из кладовки, находившейся рядом с кухней, вышел повар, нагруженный продуктами. У него были заняты обе руки, и подбородком он придерживал ещё какой-то куль.

— Лягай! — заорал на него конвоир. Повар что-то заговорил, указывая головой и туловищем на соседнее кухонное крыльцо.

— Лягай, мать твою!.. — взревел конвоир, а повар всё стоял с недоуменно поднятыми бровями, как бы спрашивая, как же может он лечь с этими полными руками продуктов, или бросить драгоценные продукты на землю — быть может, дневное пропитание целого лагеря?

Конвоир выстрелил почти в упор, и повар, вдруг, безмолвно дернув руками, как картонный плясунчик, далеко в стороны отбросил продукты, без крика согнулся, как сложился пополам, и упал на землю. Жестяная банка покатилась прямо под ноги конвоиру, расплёскивая в пыль драгоценные янтарные капли растительного масла…

Нет, это не была кинолента. Это я видела наяву, своими

собственными глазами!

Начальником лагерного КВЧ, т. е. Культурно-Воспитательной Части был поджарый, по лагерному даже щеголевато одетый зэк с тщательно расчёсанной чёлкой и в сапогах гармошкой, конечно тоже из «соцблизких».

Чем он занимался обычно, и как воспитывал урок я не знаю, но однажды он блеснул своим «красноречием» так, что оно надолго вошло в лагерный фольклор в качестве политического анекдота.

В лагере ждали приезда какого-то начальства, что случалось не так уж часто. Перед отбоем начальник КВЧ собрал всех женщин в пустой барак, именовавшийся здесь «клубом», потому что там был небольшой помост, который мог изображать сцену. И вот с этого помоста он произнёс перед нами, женщинами — обитательницами лагпункта — тридцатью проститутками-уркаганками и тремя «самостоятельными», как в отличие от первых, в лагерях называли «политических», пылкую, воспитательную речь, конечно же на лагерном «диалекте».

Смысл речи сводился к тому, чтоб во время пребывания в лагере начальства, все вели себя тихо и скромно. Чтоб женщины не появлялись и не смели ночевать в мужских бараках.

— Мы вас что, притесняем, что ли, так и растак вашу мать… Заимела хахаля и трахайся с ним потихоньку, х… тебе в глотку. Но вы бл…ди, мать вашу так, делайте всё так, чтоб никого не подводить! Конституцию изучали? Шесть условий т. Сталина знаете? Чтобы на основе Сталинской конституции всё было чисто, гладко, шито-крыто, и концы в воду! Ясно?!

Не знаю как уркаганкам, а нам, «политическим» всё было абсолютно ясно.

…Начальник лагеря тоже любил «блеснуть». Иногда на поверке после отбоя нас держали чуть не по часу. Давно уже все пересчитаны, ноют одеревеневшие ноги, болит спина. А желанной команды «разойдись!» — всё нет и нет.

Мы стоим двумя длинными шеренгами, протянувшимися через весь лагерь.

И наконец, как на сцене театра, распахиваются ворота, и всадник на белом коне, в бурке и папахе, a-la «Чапаев», вихрем проносится сквозь наш строй; подняв коня на дыбы, разворачивается, снова проносится вдоль наших рядов, наконец окончательно осаживает коня, и гарцуя на месте, привстав на стременах, разражается пламенной речью.

Сначала из речи ничего нельзя понять — виртуозный мат громоздится выше десятого этажа. Но если внимательно следить за речью, то в конце концов выясняется, что это призыв к

выполнению и перевыполнению плана, чего ждёт от нас Родина; а если мы в Бога… в душу… в рот и нос… не выполним плана, то нас заживо сгноят в КУРе, что, впрочем, уже давно пора сделать!

— Даёшь план!? — исходит энтузиазмом всадник на белом коне.

— Даёшь! — вяло гудит в ответ лагерь, причём в основном, и громче всех орут урки, которые никогда не выходят на работу.

«Чапаев» удовлетворён и медленно отгарцовывает в свои театральные ворота. Наконец-то звучит вожделенное «разойдись!».

…Лето 1937-го года было необычайное, невероятное, как и всё в этом невероятном году. Жара, говорили, доходила до 30° — явление в Карелии небывалое. Впрочем, градусника у нас не было, газет и радио тоже. Это были устные известия, которыми всегда полнится лагерь. Известия о том, о сём, иногда совершенно невероятные лагерные «параши». То вдруг по всему лагерю идет:

— Вы слышали? Едет начальство из Медвежки! Теперь нашим начальничкам не поздоровится! Запоют!..

То передаётся от одного к другому:

— Слышали? Этап на 70 человек. 58-я! Точно, в УРЧ уже списки готовы! Это — на пересмотр!..

…Но синие безоблачные дни шли один за другим. Не приезжало никакого начальства, не уходило никаких этапов, за исключением небольших групп доходяг, которые уже не могли двигаться на собственных ногах и которых грузили на подводу и увозили на «Северный».

У нас, на «Южном», был маленький лазарет на три палаты, куда помещали только с легкими заболеваниями, типа гриппа с температурой, или отравлений. На «Северном» был большой лазарет, куда свозили доходяг. Там же был и большой изолятор, куда отправляли уркаганов за внутрилагерные преступления. «Северного» все боялись, так как знали, что оттуда живым в 1937-м году никто уже не приходил.

Хотя мы числились раскреплёнными по каким-то бригадам, но особенного порядка при выводе на работу не соблюдалось: всё равно инструментов почти не было — на бригаду в 40 человек выдавали 2–3 топора и столько же тупых и беззубых пил.

О выполнении нормы, даже в шутку, никто не думал. В мелколесье, куда нас водили, тощие карельские сосенки были в руку толщиной. Вероятно, только советские «руководители», с их бесхозяйственностью и тупым равнодушием к природе, могли заставлять людей губить молодой никому не нужный лес, годный разве что на дрова. Невозможно даже представить, сколько этих

тоненьких сосёнок надо было срубить, чтобы получилось по 5 кубометров древесины на человека!

Важно было одно: выгнать всех за вахту — отправить на работу.

И утром, из беспорядочной толпы у ворот отсчитывали по сорок человек — двадцать пар, одна за другой — с двумя конвоирами и одной собакой, они отправлялись в путь.

Мы с Андреем старались подстроиться к какой-нибудь бригаде, и иногда это удавалось. Если же нас замечал нарядчик, или начальник УРЧ, или КВЧ, то нас обязательно разъединяли, выдергивали одного из нас из колонны, и мы оказывались в разных бригадах. Очевидно, это доставляло им большое удовольствие!..

День предстоял томительно-длинный, невероятно жаркий, голодный.

Свои 200 граммов хлеба — ведь мы не вырабатывали никакой нормы, и больше нам не полагалось — мы делили на две части. Один кусочек мы оставляли для обеда, а другой, тоненький кусочек черного хлеба мы бережно прятали на груди и несли с собой.

Утром завтракали одной кашей — вернее, горячей водой, в которой плавали овсяные хлопья.

Часам к одиннадцати начинало до того хотеться есть, что казалось — ещё минута и упадешь замертво, скатишься в черную бездну. Глаза заливало жаром, а если закроешь их, всё ходило ходуном, как в сильную качку на море…

Только тогда мы завтракали… Доставали заветный, спрятанный на груди кусочек хлеба. Если поблизости бывала вода, ходили за ней под конвоем со своими кружками, потом начинали есть, откусывая крохотные кусочки, долго, тщательно и с наслаждением разжёвывая их.

Но что-то, чего нельзя было преодолеть, заставляло жевать и проглатывать всё быстрее и быстрее — и уже буквально через мгновение тоненький ломтик хлеба исчезал в наших желудках.

И всё же пароксизм голода проходил, и желудки успокаивались часа на два, на три, потом всё опять начиналось сначала. Но уже не было спасительного кусочка хлеба; оставалось разве что пососать янтарную слезинку застывшей смолы, или пожевать какую-нибудь травку, мох, горький, сводящий скулы, и перетерпеть...

А когда мы уже брели по нашей бесконечной пыльной дороге «домой», и солнце светило нам в затылки, кроме сосущей боли под ложечкой и слабой тошноты, уже ничего не чувствовалось. И даже «обед» в лагере, возле ямки с крысами вокруг, не вызывал

такого бурного сокрушающего приступа голода…

Вероятно, не долго было ждать времени, когда мы превратимся в необратимых доходяг… Ведь мы понимали, что нас отправили сюда с одной целью — уничтожить. Ведь, как мы узнали позже, всех, кого в 1937-м арестовывали по таким делам, как наши — всех поголовно расстреливали.

Нас, очевидно, тоже решено было уничтожить, но… «естественным путём» — то есть голодом… Однако — чудеса существуют! За нас вступилась сама Природа, в милости которой не должен был верить советский народ — помните лозунг: — «Нечего ждать милостей от природы! Надо их **взять** от неё!».

Так вот, бедная карельская природа, в лице того самого мелколесья, того самого, что не давало ни малейшей надежды выполнить хоть самую ничтожную долю «нормы» — ***сама*** вступилось за нас!.. И таки проявила свою милость.

Дело в том, что наши конвоиры, сопровождавшие нас на работу, получив своих 40 человек (бригаду) и расписавшись за них, были обязаны доставить нас на место работы.

А дальше — им было абсолютно наплевать, работаем мы или нет. Это было дело бригадира или нарядчика. Дело конвоя — смотреть, как бы мы, ненароком, не удрали в тайгу с места работы; — тогда-то им уж не поздоровится!

Но как уследить?.. Бригадир расставляет людей в мелколесье, да ещё и поросшем кустарником, небольшими группками, по 3–4 человека на довольно большом расстоянии друг от друга — так требует инструкция, иначе, как же выполнять «норму»?.. А конвоиров-то всего двое, а собака и вовсе одна?.. Вот и поди, уследи!

И у конвоиров есть спасительное право — право признать место работы — ***«неподходящим»!*** Но у них нет права увести людей назад в лагерь до положенного времени — то есть, до вечера. И тогда, с полным правом, конвоиры, собрав всю бригаду в одну кучу, укладывали её у своих ног, предварительно выбрав для этого хорошую тенистую полянку среди более высоких сосенок — они ведь тоже люди — им тоже сидеть с нами до вечера!

Боже мой, какое блаженство!.. Лежать в благоухающем янтарём, ещё прохладном поутру, лесочке, вытянувшись и погрузив вечно ноющую спину в ложе из мягкой хвои, не шевелить ни одним членом своего тела… Законное ***«ничегонеделание»!..*** Законный отдых длинною в целый день!.. Да ещё я самого главного не сказала — этот день шел «за счет охраны — ВОХРа», и равнялся этот счёт — ***четырёхсотграммовой*** пайке хлеба!.. Четыреста граммов — наш

обычный паёк за целых два дня!

Это, действительно, было счастьем и поддерживало наши силы на несколько дней. Спасибо вам, кривобокие, жиденькие карельские сосенки!

…Если же нам удавалось попасть в одну бригаду с Андреем, да ещё с нашим общим другом из «уголовного мира» — В. Н. Экком, тогда это было уже не просто счастьем — это было нашим «седьмым небом»! К сожалению, оно редко нам доставалось.

В такие дни мы все лежали на небольшой лесной полянке. И конвоиры, и заключённые лениво дремали. Даже собака, сменив обычное озабоченное и деловое выражение морды на лениво — добродушное, дремала, положив морду на вытянутые лапы, лишь изредка вздрагивая острыми ушами.

Тени от деревьев медленно передвигались с запада на восток. В воздухе тоненько звенели комары, от которых мы лениво отмахивались ветками. Мы лежали рядом все трое, и слушали бесконечные рассказы кого-нибудь из нас…

Слушать Владимира Николаевича Экка было не менее интересно, чем читать Ильфа и Петрова…

Их было четыре брата в обычной интеллигентной семье. Ранняя юность братьев пришлась на начало революции и, как и многие семьи, раскололась семья Экков — их жизнь потекла по совершенно разным руслам.

Один из братьев стал известным кинорежиссёром — поставил первую звуковую картину в советской России, ставшую известной всему миру — «Путёвку в жизнь».

Второй стал врачом, да ещё не просто врачом, а «кремлёвским» врачом! А двое младших избрали… карьеру аферистов!.. Одним из них и был наш приятель Владимир Николаевич, человек с большим чувством юмора и большим обаянием.

Мне, по своей наивности, казалось: — ну что за аферы могут быть в Советском Союзе?! Но, оказывается, бывают и аферы, и дела «почище».

Были у братьев и ограбления банков при помощи всего лишь двух игрушечных пистолетов; был и угон железнодорожных вагонов с грузом каких-то ходовых товаров, были и ещё всякие «занимательные» истории, когда братьям, «работавшим» вдвоём, удавалось, в стиле Остапа Бендера или героев О. Генри, без особого труда охмурять доверчивых простаков.

Конечно, не всегда всё происходило гладко и блестяще, и братья уже имели не по одному аресту, и не раз «куковали» в лагерях, но каждый раз им удавалось бежать, но через какое-то

время они попадались вновь.

Сроки их наказаний давным-давно перевалили за десятку, так что, по существу, они больше ничем не рисковали: Расстрела ни за побег, ни за аферы по уголовному кодексу не предусматривалось, а добавлять сверх десяти лет им не могли, потому что десятка в те времена была «потолком».

Но НКВД знало их хорошо, и они сидели у него «в печёнках», как говорится.

В последний раз их забрали в Ялте, где они тихо и мирно проживали итоги последнего «мероприятия», но однажды, в ресторане их кто-то опознал.

В лагере их разъединили, и на «Водоразделе» в 37-м оказался один Владимир Николаевич.

Был он весел, жизнерадостен, остроумен, умел ладить со всеми — и с интеллигенцией, и с урками. Слушать его рассказы было большим удовольствием.

Любил он поддразнивать конвоиров, и обещал им, что непременно убежит в первый же дождик, когда собака не возьмёт след.

Конвоиры его ненавидели, не хотели водить на работу, но не взять не имели права. И даже когда вся бригада работала, верней, копошилась в лесу, Экк всё равно валялся в тени «за счёт ВОХРа», так как конвоиры не желали рисковать. И он мирно наслаждался своими четырёхстами граммами хлеба, и даже понемножку делился с нами.

И в конце концов, он всё же исполнил своё насмешливое обещание и бежал в первый осенний дождик. Впрочем, это случилось уже без меня, и я об этом узнала позже.

К сожалению, мне не довелось услышать много о приключениях Экков, так как нас недолго гоняли на лесоповал. Очевидно, даже наше, не шибко грамотное лагерное начальство — начальство «спецдоводиловки»! — иначе наш лагерь не назовёшь — обеспокоилось, как бы «чего не вышло» по поводу такой явно никчёмной, никакой пользы не приносящей и не оправдывающей себя работы.

Кстати, всё наше начальство, включая и самого начальника лагеря — все они сами тоже были заключённые, но, конечно, из «соцблизких» — бытовиков и мелких уголовников, так что и они побаивались за свою шкуру.

Словом, в один прекрасный день нас утром повели не на лесоповал, а на лесобиржу.

…У колеи железной дороги стояли штабеля брёвен и покрытых корой «баланов», неизвестно когда и кем сюда доставленных. Иногда на рельсах появлялись товарные вагоны

или платформы — как по волшебству, ночью. Паровоза перед ними не было, и никаких людей при вагонах тоже не было. Но мы грузили в них брёвна и баланы.

Если же вагонов не было, то просто перетаскивали брёвна с места на место, или снимали кору с баланов особыми ножами, похожими на сечки с двумя ручками.

Тут уж сидеть нам не давали, и бригадиры покрикивали, если кто останавливался. А солнце жгло немилосердно, никакой тени не было, деревья были далеко и только дразнили нас своей листвой.

На погрузку и перетаскивание брёвен тоже были какие-то нормы, которые мы всё равно выполнить не могли, хотя и копошились весь день понемножку. Да и где же их выполнить, когда от голода и собственное тело таскали еле-еле!

Вся эта система была устроена для того, чтобы нормальный человек — не уркаган — не смог выжить. Ведь даже сильный и крепкий поначалу не мог выполнить норму, так как норма рассчитывалась на всю бригаду в 40 человек! Поэтому все мы фактически были обречены…

И всё же здесь, на лесобирже, мы что-то делали как могли, и стали получать по 300 граммов, а мужчины иногда выгоняли план и получали по 400. Но разве этого было достаточно, чтобы восстановить хоть какие-то силы?

Мы все почернели и сморщились. Андрей стал похож на араба в чалме из полотенца, чтобы хоть чем-нибудь защититься от солнца, и черные жгучие глаза его горели неестественным блеском, а зубы и белки сверкали, как у негра.

Иногда нам удавалось и на биржу выскользнуть вместе. Помогали нам в этом все наши друзья и знакомые.

Из женщин на работу всё ещё выходили только я, да двое привезённых позже меня, тоже из Медвежки. Больше «самостоятельных» не было. За остальных работали их лагерные «хахали» — конторские «придурки», повара, кладовщики и прочая лагерная «аристократия».

Была у урок даже своя «королева», из-за которой в бараках шла поножовщина, а уркаган, которому она досталась, организовал «из своих» бригаду возчиков, которая где-то как-то работала, как говорили, и за это получил негласное право жить со своей «марухой» в отдельной кабинке, которую собственноручно и соорудил в бараке. Этот уркаган был вторым страшным и всесильным человеком в лагере, после Кости-бандита — начальника изолятора.

…Когда мы, три женщины, своей компанией перетаскивали баланы из одной кладки в другую, Андрей и другие знакомые

всегда старались нам помочь, чтобы мы вытянули на паёк хотя бы в триста грамм. И когда мы все валились на землю от усталости, волей-неволей нам давали маленький перерыв.

Андрей яростно кусал пустой мундштук — табака давным-давно уже не было и в помине — и бормотал сквозь зубы:

— Будь оно всё проклято!.. Если бы я только мог!.. Господи, если бы только мог избавить тебя от этого! Ну, пусть бы я был здесь… Не могу, не могу видеть тебя здесь… Сволочи!.. Сволочи!..

Несмотря на малюсенькое прибавление к весу нашей мизерной пайки, мы явно, ускоренными темпами приближались к состоянию доходяг…

Но и тут милосердная Природа снова сжалилась над нами…

…В то необычайное лето, сухое и знойное — ни одного дождя за всё лето! — то здесь, то там в тайге начали вспыхивать пожары. Серые облака дыма клубились над лесами, а к вечеру красное зарево затягивало весь горизонт. Запах гари чувствовался и в лагпункте.

И тут нас послали… «тушить лесные пожары»!

Наивно было думать, что несколько бригад хотя бы даже и по 40 человек, вооруженные всего несколькими лопатами и двумя-тремя топорами могут затушить лесной пожар!..

Но… начальству, очевидно, виднее. Пришёл приказ, и бригады по 40 человек, с двумя конвоирами и собакой, стали отправлять в разные стороны, туда, откуда несло гарью и откуда поднималось дымное марево.

Нам с Андреем повезло — мы попали в одну бригаду.

Стояли тихие безветренные дни. Огонь не бушевал в чаще, как это обычно описывается в книгах и теперь показывается по телевизору. Огонь горел медленно, лениво перебрасываясь с куста на куст, окружал тонкие сосенки, вспыхивал на минуту факелом, и нехотя полз дальше. Можно было подойти почти к самому пожарищу.

Когда мы нашли одно такое пожарище, тем, у кого были лопаты, приказали рыть канаву, а остальным — нарубить или наломать веток и захлопывать огонь у канавы, не давая ему перекинуться на другую сторону. Таким образом мы притушили огонь метрах на двадцати, и нам велели двигаться дальше.

Началась странная и нелепая игра. Пожарище имело в окружности километров 5–6. Мы шли по краю, притушивали огонь и шли дальше. За нами чуть притушенный огонёк разгорался снова, без труда перекидывался через узкую канавку — в одну лопату! — и как ни в чём не бывало, продолжал себе гореть и распространяться дальше. Но мы особенно не огорчались — хотя от огня и было жарковато, и гарь ела глаза —

всё же это было гораздо лучше, чем таскать проклятые баланы на лесобирже.

Конвоиры, убедившись в никчемности наших усилий, да и сами притомившись, особенно не нажимали, покрикивали так, для порядка, и мы двигались еле-еле, или просто стояли на месте, помахивая своими ветками. Кое-когда нам разрешали и посидеть.

К вечеру выяснилось, что в лагерь нас не поведут, пока мы не потушим пожара! И, действительно, к вечеру сменился конвой, а из лагеря привезли «обед» — суп в больших казанах, и… по ***четыреста*** граммов хлеба каждому! Вот какой великолепный пикник устроила нам матушка-Природа.

…Так мы и ходили вокруг нашего пожарища, вероятно не раз обойдя его кругом за три дня…

Спали тут же, в лесу, в сторонке, вповалку, под бдительным надзором конвоиров, спускавших на ночь со сворки собаку.

Тут уж не только встать на ноги, пошевелиться было страшно — натасканный пёс строго следил за каждым движением, готовый кинуться и впиться в горло клыками.

А что было бы, если бы вдруг поднялся ветер, и задул в нашу сторону?.. Но очевидно, Природа была за нас, и мы ей спокойно вверяли наши грешные и благодарные души.

В лесу не шелохнулась ни одна веточка, и огонь потрескивал вполне мирно, словно мы грелись у большого и надёжного костра. Комары исчезли начисто.

Конечно, в общем мы устали, натёрли ноги, перемазались в саже, как черти, и в горле всё время щекотало, а из глаз текли слёзы — но всё равно было хорошо, и даже просто чудесно — не возвращаться в лагерь, не видеть окаянных бараков и вышек с «попками», не слышать рельсины на поверку, словом — ***жить вне лагеря!!***

И Андрей сразу воспрянул духом, и голос его окреп, и в глазах снова засветилось былое мужество. И ночью так чудесно было слышать его сонное дыхание, или почувствовать прикосновение его руки.

Так мы и не потушили пожара, и в конце концов нас увели в лагерь. Пожары как-то затухали сами по себе, а окончательно потухли, когда пришла осень, и начались дожди.

…К осени стало казаться, что жизнь в лагере как-то мало-помалу налаживается и что мы кое-как дотянем до каких-то перемен.

Во-первых, мы притерпелись. Во-вторых, нам, наконец, разрешили написать по ***одному*** письму. В-третьих — открылся ларёк, и там можно было купить махорку и сахар! Правда, денег у нас почти не было, но после письма можно было надеяться, что нам выдадут, если придёт перевод.

В ларёк — малюсенькую хибарку — набивалось народу, как сельдей в бочку. Несколько покупателей и десятки «зрителей», готовых, как стая коршунов ринуться на добычу. Все знали, что «своё богатство» надо крепко держать в руках. У Андрея, который изо всех сил держал в руке кошелёк, напрочь оторвали обе крышки от него!

Если кто-нибудь неосторожно протягивал бумажную купюру через прилавок — её тут же выхватывали, или отхватывали половину. И всё-таки это был прогресс, и все наши мужчины блаженно затягивались махорочным дымом, который после мха и пакли, вытянутой из щелей стен, казался нектаром.

Я тоже понемножку курила, не столько для удовольствия — от махорки сильно кружилась голова — но чтобы заглушить постоянное чувство голода…

…И, наконец, пришли первые посылки! Их выдавали в какой-то хибаре, возле изолятора. Там их вскрывали и «проверяли», изымая недозволенное, или приглянувшееся начальничкам! А остальное надо было нести, в уже раскрытом ящике мимо нашего «забарачного» поля с ямами от выкорчеванных деревьев.

Первые посылки никому до своего барака донести не удалось. На владельца посылки (со ***съестным!)*** — налетала свора уркаганов, сбивала человека с ног, вышибала ящик из рук, и драгоценное содержимое — яблоки, печенье, лук — всё в миг исчезало в кишащей руками и ногами куче.

«Попка» с вышки равнодушно взирал на это зрелище — хотя, может быть, и с удовольствием — всё-таки, развлечение!..

Потом «58-е» стали умнее и за посылками ходили с собственным эскортом, достаточно многочисленным, чтобы отбиться от урок, и посылки удавалось донести до барака.

Получила и я посылочку с сухарями, любимой моей халвой, с апельсинами и с какими-то жирами. И, хотя это был пир всего на один день, ведь друзей было много, да и с моими барачными соседками надо было хоть чем-нибудь поделиться — но всё равно

это был чудесный и сказочный пир! И вечер, полный надежд на долгожданное «чудо», которое вот-вот должно же, наконец, прийти по чьему-то «велению»…

Но «чудо» не приходило. Наоборот, стали приходить какие-то «дела», зашевелилась раньше как-то незаметная «Третья часть». Понаехали новые уполномоченные, и по ночам стали вызывать то одного, то другого. Начались допросы…

Хотя каждый допрос кончался тем, что брали подписку «о неразглашении», на другой день весь лагерь уже знал, кого вызывали и о чём спрашивали.

Тут были и допросы по старым делам, за которые мы уже получили приговоры и отбывали свои сроки, были и попытки завести новые дела — одних спрашивали о других, знакомых и друзьях по лагерю, а то и о совсем незнакомых, никогда в глаза не виданных.

Из нашей компании тоже вызывали всех по очереди, чаще других Андрея.

Его держали целую ночь напролёт, требуя чтобы он назвал своих «сообщников», тех, кого не удалось арестовать в 35-ом году и, которых, как видно, и до сих пор разыскивают — из числа четырехсот, вернувшихся на родину «сменовеховцев».

Утром его снова гнали на работу, а он едва держался на ногах.

Измученный Андрей называл им разные выдуманные фамилии, но это не было выходом — таких людей не существовало, и его обвинили в издевательстве над «органами».

Что было делать? Мы не знали…

Вызывали и меня. Зная, конечно, о моих с Андреем отношениях, требовали, чтобы я «выведала» у него о его тайных «связях»?!

Кричали, ругали, грозились, что они «повенчают» меня с моим «хахалем» перед «списанием» в расход, как давно уже следовало сделать!

— С кем из западной сволочи готовит он «заговор?»… Если не узнаете, обоим будет плохо!.. Но всё же только грозились, не били — такого приказа, видно, ещё не было.

…Мне и до сих пор непонятно, кому и зачем нужна была эта комедия, когда люди, так или иначе, всё равно были обречены?.. Сколько можно было выдержать такого «Водораздела»?.. А если хотели прикончить быстрей, кто мешал просто перестрелять — не всё ли равно, что было написать в отчётах и «делах» — пиши, что угодно твоей фантазии!

Однако, людей продолжали вызывать, подолгу держали на допросах, давали зуботычины, хотя и не избивали, а утром,

падающих от истощения и недосыпания людей — опять гнали на работу…

Все стали чего-то бояться, и наше начальство тоже вроде чего-то боялось. Даже доходяг на «Северный» стали вывозить ночами, как будто потихоньку, по-воровски… Или забоялись, что людскому терпению всё-таки придет конец, начнётся бунт и разъярённая толпа бросится на конвой?..

Напрасно боялись. «Масса» была терроризирована, и словно загипнотизирована паническим страхом. Люди словно лишились разума, или вообще перестали быть людьми.

Только один человек из тех, кого я знала — ясно отдавал себе отчёт во всём происходящем. Видел, понимал и сознавал, что каждый день — есть следующий шаг к гибели. И не только ***сознавал,*** но и ***не хотел*** подчиниться безропотно этому бессмысленному, ничего не изменяющему уничтожению.

Он не хотел медленно и молча погрузиться в клоаку, но готов был биться и кричать, драться за жизнь, цепляться, пока хоть только голова на поверхности, хоть только рот и глаза…

Этим человеком был Андрей. Конечно, может быть среди сотен гибнущих были и другие, но люди были слишком измучены, слишком выжаты и деморализованы, чтобы довериться друг другу. И все молчали. Боялись.

И Андрей тоже боялся — боялся, что нарвется на мерзавца, попытающегося спасти свою шкуру ценой доноса, или на отчаявшегося, потерявшего волю и разум человека…

Только мне и ещё двум-трём самым близким, самым надёжным, в самое ухо, едва слышным шепотом: — Бежать, бежать, надо… Перебить конвой, захватить оружие, пробиваться сквозь тайгу к границе… Ведь нас много, чего стоит эта свора без оружия?.. Перерезать провода… Пока дойдут вести из этих болот, мы будем уже далеко…

Увы! Не откликался никто. У всех были близкие — жёны, дети или родители. Все боялись за них. Боялись расплаты…

И не было сил — ведь все уже были почти доходягами… И всё ещё надеялись, всё надеялись на чудо и поворот истории…

Только бы дожить!.. Только бы дожить…

Дожил ли кто-нибудь?.. Дотянул ли?.. (до чего?)

Из тех, кого я знала, не выжил никто. С «Северного» ни один не вернулся…

Нет, ни о каком бунте нечего было и думать, но попытаться спастись — как угодно, с каким угодно риском, бежать вдвоём — всё равно, это меньший риск, чем оставаться. В этом был уверен Андрей. Так теперь думала и я.

Андрей припас кое-что из одежды, тщательно починил свои и

мои ботинки, надевал на работу двое брюк и телогрейку. Хотя дни были ещё жаркими, но ночи начались прохладные — стоял конец августа.

На последнее бельё, он выменял маленький мешочек с солью, и носил его, как ладанку на груди.

— Скорей, надо скорей! — Но как «скорей»?..

Выбраться ночью из лагеря? Ночи стали уже тёмными, а электричества у нас не было, но расстояние от вышки до вышки небольшое — едва ли можно было бы подлезть под одну колючую проволоку, миновать пустую, без травинки полосу и пролезть под вторую проволоку — незамеченными.

А главное — собаки, которые бегали на цепях, скользящих по длинным проволокам вокруг зоны.

Нет, из лагеря уйти было почти, а верней, совсем невозможно.

Оставалось — с работы, может быть, просто в удачный момент, когда посчастливится незаметно скрыться.

Может быть, Андрею угостить конвоира настоящей папиросой из посылки, расположить к себе, и отпроситься на минутку вместе со мной — дело житейское, всякому понятное. И использовать эту минуту, бежать в чащу, залезть на дерево… переждать погоню… Но ведь и на бирже, где мы теперь работали, была собака. Разве она не возьмет след, не отыщет?..

Про наших собак рассказывали чудеса, что они и через три дня берут след. Особенно одна, какая-то знаменитая сука, которую самолётом привезли из Воркуты…

Правда, говорили и другое: если натереть подошвы махоркой — собака дуреет и след теряет. Полагаться на то, что говорят урки не очень-то надёжно, но на всякий случай, Андрей натирал подошвы наших ботинок махоркой.

Вернее же всего было ждать дождя. Правда, говорили, что знаменитая сука берет след и в дождь, но Владимир Николаевич Экк, наш друг из «преступного мира», этому не верил.

…Но проклятого дождя всё не было и не было. Жара спала, но дни стояли такие же ясные и синие.

Этапы на «Северный» по ночам уходили теперь ежедневно — человек по 40–50. Доходяг увозили на телегах. За ними выстраивали тех, кто ещё мог идти.

Из нашей компании взяли сразу двоих. И ещё довольно крепких — не в лазарет.

Когда утром мы узнали об этом, сердце у меня упало. В этот день я умоляла Андрея рискнуть и бежать одному. Мне казалось, что какой-то, хоть самый ничтожный шанс всё-таки есть Я могу занять конвоира, покурить с ним, отвлечь его разными «бабьими

штучками» — женщин было слишком мало, и даже злобные ингуши — конвоиры были с нами поласковей, каждый облизывался на любую «бабу». За это время Андрей мог бы скрыться, ну а там — как Бог даст…

Андрей не хотел. Не мог. Каждый день он решал подождать ещё один, последний… Вдруг какая-нибудь случайность… Или, может быть, опять поведут на пожар… Или прольется, наконец, дождь…

Но скоро и этим надеждам пришёл конец.

Почему-то стали строго следить за тем, чтобы мы с Андреем не попадали в одну бригаду. И вот уже несколько дней мы были разъединены днем, и дрожали от страха вечером, не зная, увидимся ли мы ещё завтра утром.

Андрей еле доходил с работы до вахты, хотя это было недалеко. Еле передвигал отёкшие ноги.

Однажды он вернулся с работы в сильном ознобе — наощупь чувствовалось, что у него сильный жар. Я уговорила его пойти в лазарет.

— Присядьте, — сказал ему лекпом.

— Я могу только прилечь, — ответил ему Андрей и упал на пол.

Его положили в лазарет, и с души у меня немного отлегло — не возьмут же его в этап из лазарета! Не знаю, почему я была в этом уверена?.

Когда я вернулась с работы, я упросила нашего лекпома, в сущности симпатичного и доброго старика, только уж очень напуганного и дорожившего своим привилегированным медицинским положением, пустить меня к Андрею.

Он лежал в маленькой палате, где ещё лежало человека четыре.

Так странно было видеть его в чистой белой рубашке, на белой подушке, совсем бледного, пергаментного. А глаза его сияли мне навстречу такой радостью и счастьем, что чудо казалось здесь, рядом, что от одного этого взгляда всё вдруг рассеется, как ночной кошмар, и мы останемся вдвоём где-то в далёкой ночи…

До самого отбоя я сидела возле Андрея. Мы почти не говорили. Я гладила его сухие руки и потихоньку растирала отекшие ноги.

Ночью Андрея взяли…

Он пришёл на «Водораздел» ещё полный сил и энергии, живой, умный, смелый, решительный. Если бы не я, — он не стал бы дожидаться финала.

Он давно понял и предвидел, каким будет конец.

Когда от шоферов с «Северного» поползли слухи о машинах, увозивших людей на расстрел в оврагах, Андрей понял, что это — не лагерная «параша». Понял, и, может быть, спасся бы. А если не спасся, то хотя бы получил пулю вдогонку, и жизнь его оборвалась бы раньше, чем надежда…

Из-за меня он остался, из-за меня ослаб и дошёл. Из-за меня теперь сидит в изоляторе, ожидая, когда посадят на грузовик и повезут на расстрел…

Мне вдруг всё сделалось безразлично — жить или умереть, но только не доходить медленно, зная что страшный, одинокий конец все равно неизбежен…

Побег

На следующий день я бежала с лесобиржи… Да нет, не бежала — просто ушла, потихоньку, не спеша, без единой мысли в голове направилась в недалёкий лесок. Безо всяких предосторожностей пошла и пошла…

Я слышала подсознательно, как вдогонку мне кричала одна из работавших со мной женщин: — Женя, куда вы?!..

Как ни странно, конвоиры не обратили на меня внимания, вероятно решили, что я пошла за нуждой, или вообще не заметили.

Потом я побежала, подхлестнутая внезапным страхом. Бежала, как могла быстро в меховой моей шубейке, которую надевала по просьбе Андрея, унося на шее ладанку с солью и двумя бумажными рублями, маленький кусочек хлеба в кармане, да ещё старенький перочинный ножик, который подарил мне Андрей.

Довольно быстро мне встретился ручеёк, и я, помня, что собаки не берут мокрый след, побежала ручьём и пробежала так, наверно с километр, а затем опять дальше посуху, потому что так было быстрее.

Время от времени я падала и полежав немножко, чтобы отдышаться и послушать — нет ли погони, бежала дальше. Но все было тихо, и никакой погони не было слышно.

Скоро в лесу начало смеркаться — я ведь убежала совсем в конце дня, перед тем, как нас должны были вести в лагерь.

Я решила, и вероятно, правильно, что погони не было, потому, что сначала надо было отвести людей в лагерь — ведь с нами было только двое конвоиров. Теперь же, отведя бригаду в лагерь, возьмут охранников и собак, и вернутся на розыски. Ведь говорят же, что собаки берут след и трёхдневной давности…

Было страшно быть растерзанной собаками…

Я решила залезть на дерево — тогда, либо меня застрелят не дереве, либо сдержат собак, пока я буду слезать.

Так я и сделала, Выбрала сосну потолще, но с сучьями, до которых могла достать, и забралась чуть не на самую верхушку. Там я и сидела притаясь, в ожидании своей участи.

Что меня найдут, я почти не сомневалась — не могут не найти — слишком недалеко я ушла.

Небо, тем временем, постепенно темнело, и робкие звёздочки замерцали там и тут, и ущербный месяц повис где-то на западе розовым лоскутком…

…Я достала из кармана ножичек и вырезала на коре ветки дерева — «Андрей». Грустные мысли одолевали меня, не давая задремать ни на минуту…

И вдруг я услыхала собак. Их была, вероятно, целая свора, и они заливались на все голоса, но где-то вдалеке. Я слушала, напрягшись всеми нервами. Лай то приближался, то снова удалялся. И так было довольно долго…

Но постепенно лай стих и настала тишина, полная и какая-то густая, и ночь стала тёмная и тихая.

…Они не взяли следа — ни целая свора, ни знаменитая сука из Воркуты…

Тогда я поцеловала ветку, на которой было вырезано — «Андрей», — даже сквозь темноту белело его имя — и прижавшись к корявому сосновому стволу, горько заплакала, в пер вый раз за всё время на водоразделе, и за всю мою предыдущую лагерную жизнь…

Когда сделан первый шаг, — второй неизбежен и автоматичен, как биение сердца. Тогда я не раздумывала — зачем, для чего, что дальше?

Когда я была с Андреем, было все ясно: для него, для жизни или смерти вдвоём.

Без Андрея?.. Наверно, тоже для него. Чтобы сделать то, что хотел и не успел он… Чтобы быть с ним в этой ночи, в этом тёмном пространстве, которое не принадлежит никому. И если я хочу остаться и дальше вот так — один на один с собой, не вернуться в эту клоаку, где я ненавидела одинаково и угнетателей и угнетаемых, надо идти, бежать, и как можно дальше, пока ночь темна и собаки далеко. В данный момент мне было неважно куда — мне было важно откуда…

Я ещё раз поцеловала ветку и спустилась вниз.

Я решила, что единственный шанс не быть пойманной завтра же — это уйти за канал. Там вряд ли станут искать так тщательно и с собаками. Может быть, решат, что я утопилась где-нибудь в лесном озере. И я пошла на север, туда, где в ясном небе Большая

медведица опрокинула свой ковш мне навстречу.

Идти было не особенно трудно. Место было сухое, деревья не особенно частые. Глаза быстро привыкли к темноте и кое-как различали очертания стволов. Только иногда я проваливалась в яму, или натыкалась на завалы сухих деревьев. В общем же, я подвигалась довольно быстро, и когда воздух только чуть начал сереть оказалась, к собственному удивлению, на берегу канала.

Я очень смутно и приблизительно представляла себе расположение лагпункта по отношению к каналу, но оказалось, что канал, был действительно недалеко на севере.

Он лежал передо мной тусклой свинцовой лентой, неподвижный и мертвый… Крутые его бока были выложены булыжником, как мостовая.

Это был как раз тот самый водораздел — самый верхний участок канала, от которого с обоих концов вниз шли системы шлюзов.

Вдоль канала шла неширокая дорога. Я остановилась на опушке леса в тени, боясь выйти на открытую дорогу, где было уже довольно светло — человек, во всяком случае, был бы виден далеко.

Я подождала с полчаса. Никто не появлялся. Очевидно дозорных патрулей на берегу не было, или во всяком случае, не было в этом месте. Но может быть они ходят вдоль канала, и пока я буду переплывать, как раз подоспеют со своими собаками. На этом, или на том берегу…

Ну, что же. Будь что будет! Так, или иначе — все равно надо переплыть канал…

Я сползла по крутому откосу канала, чуть не свалившись в воду, но все-таки удержалась в самом низу и стала раздеваться. Попробовала воду: господи, до чего холодная! Прямо лёд!..

Но раздумывать уж было некогда. Я побыстрей разделась, связала всё в узелок, узелок запаковала в шубейку и беззвучно соскользнула в воду, придерживая пожитки одной рукой на голове.

— Бррр! Как будто в кипяток бросилась. Ледяная вода так же обжигает, как горячая. Жжет, колет и режет тело. Впрочем — всё это только в первую минуту. А дальше вроде бы ничего. Продохнула и поплыла.

Плавала я хорошо — одной руки вполне достаточно, и через несколько минут я уже на той стороне, и пожитки мои целёхоньки, и даже шубейка не намокла…

Я вылезаю из воды, и теперь воздух кажется тёплым и ласково охватывает тело. Но надо торопиться, уже совсем светло. Я быстренько оделась, пересекла дорогу, которая идет вдоль

канала и с другой стороны, и попала в какой-то густой и высокий кустарник. Чащоба непролазная, и ведет куда-то круто вниз. Я пробираюсь сквозь кусты, падаю, качусь вниз и вниз, и вдруг до пояса проваливаюсь в воду, в хлюпающую трясину!..

Стоило так беречь одежду, и перевезти её на другой берег сухой!. Теперь, я вымокла вся до горла, и ботинки мои полны воды, и я карабкаюсь по колючим кочкам, то и дело скатываясь снова в воду. Я попала в болото, и где ему конец и край — один бог ведает, и удастся ли мне вообще из него выбраться?.. Я не знала, иду ли я по прямой, или блуждаю по кругу, потеряв всякую ориентацию в предрассветном тумане…

И когда я падаю, окончательно выбившись из сил — я вдруг чувствую под собой сухую и плоскую землю, а не зыбучую кочку! Болото кончилось…

Немного погодя взошло солнце и начало творить свои добрые дела: рассеяло и подняло легким облачком туман над болотом, согрело меня, а от моей одежды, разложенной кругом на земле пошёл пар. Даже фотографии ребят, которые были в кармане шубейки, и намокли, теперь, на солнце, сохли и заворачивались по краям.

Тепло меня разморило, и я задремала…

…И вот, я уже три дня на воле, то есть в бегах… Леса, болота, озера… Пришвинская страна непуганых птиц. Раньше чем увидишь голубой, сверкающий глазок воды — гомон и свист, гогот и уханье, клёкот и кудахтание, шум крыльев возвещают — сейчас откроется лесное озерцо. В эти предотлётные дни здесь собрались тысячи пернатых, готовящихся сняться и лететь в далёкий обетованный южный край.

Счастливцы! У них за спиной по два крыла…

…Иной раз я выходила на поляну, сплошь заросшую брусничником, и тугие, блестящие, тесно посаженные на каждой веточке ягоды, окрашивали поляну в алый цвет...

Ягоды не давали чувствовать голод, но скоро набили оскомину — сводило скулы.

Попадались и грибы. Раза два, разведя крохотный кострик — у меня была с собой коробка спичек — я напекла на палочке грибов, но разводить настоящий костер, даже днём, я боялась — дым и запах могли выдать меня.

Дважды я натыкалась на какие-то селения, и сейчас же старалась уйти подальше, чтобы не встретить людей.

Однажды я вышла на картофельное поле, и, хотя было страшно, но соблазн был слишком велик — я выдернула куст картошки и побежала, что было сил — не знаю, показалось мне, или на самом деле, где-то вдали залаяли собаки.

К сожалению, куст оказался плохим — картошка вся была мелкая, а некоторые просто чуть больше горошины. Но всё же я её тщательно обобрала и испекла в золе крошечного костра. Это был самый замечательный пир во время моих скитаний и, увы, — последний!

Меня спугнул какой-то шум в чаще, треск сучьев. Почудился шум шагов…

Я бросилась бежать и забыла впопыхах свою самую большую драгоценность — мешочек с солью!

Я старалась больше идти ночами, а днём отсыпаться, — так мне казалось безопасней. Особенно, когда мне попалась какая-то старая дорога с верстовыми столбами, даже полосатыми, вероятно ещё дореволюционными.

Дорога шла, преимущественно в северном направлении: — «старый Вологодский тракт» — решила я и, скорее всего, ошиблась.

Ошиблась я и в другом — идти мне надо было не по дороге на север, а на запад к границе, как думал Андрей, но я не очень знала географию этих мест и убедилась в своей ошибке только много позже, когда мне привелось взглянуть на карту.

Я решила идти обочиной, так как просто лесом даже днём идти было трудно, а ночами — они уже стали довольно тёмными — ещё трудней. Ямы, коряги, завалы бурелома, болота. Я постоянно падала, или натыкалась на что-нибудь, в кровь раздирая лицо и руки.

Однажды вечером я вышла к селению, и великий соблазн узнать, где я нахожусь, толкнул меня на рискованный шаг — войти в селение — довольно большую деревню — и пойти улицей.

Были уже сумерки, и вряд ли фигура какой-то бабы в меховушке, похожей на телогрейку, и в платке могла привлечь чьё-нибудь внимание.

Вскоре я догнала шедшего неспеша мужчину, колхозника или работягу с виду, и, не помню, что-то спросила его. Кажется — где кооператив и до которого часа открыт.

Мужчина отвечал односложно и не очень охотно, но почти сразу же спросил: — А вы сами, чьи будете?

— Мы-то?.. — переспросила я ему в тон, чтобы протянуть время и придумать ответ, потому что раньше не подумала о том — что я отвечу на такой вероятный и естественный вопрос, особенно в местности окруженной лагерями, где всё население, наверняка, соответственно обработано.

— Мы — пудожские… — ответила я первое, что подвернулось на язык. Я знала, что где-то, не очень далеко от водораздела есть

город Пудож (впоследствии мне пришлось узнать о нём кое-что и больше).

Очевидно, Пудож был действительно недалеко, так как ответ мой не вызвал видимого недоумения или любопытства у моего угрюмого спутника.

Он что-то промычал, а я остановилась, будто поправляя сапог. К счастью, он пошел дальше, а я с сердцем, стучащим, как барабан, повернула назад и выбралась из селения, ничего не узнав, смертельно напуганная, решив, что я никогда и ни с кем больше не заговорю…

Никогда?.. Ни с кем?.. И что вообще будет дальше?.. И какой смысл во всех этих блужданиях, когда Андрея нет?.. И сколько бы я ни бродила среди озёр, сколько бы ни увязала в болотах — я не встречу его нигде и никогда…

…Бежать за границу — одной, без Андрея?.. Оставить навеки мысль снова увидеть маму и детей — мне казалось равносильным вечному заключению, да я и не очень верила, что одна, без Андрея, смогу перейти границу. Я знала из разговоров с бывалыми людьми, что она хорошо охраняется, особенно с нашей стороны.

На смену прежнему возбуждению пришло безволие и отчаяние…

Я увидела невдалеке чернеющий на фоне розоватого небосклона стог, направилась к нему и вырыла глубокую «пещерку» под стогом, залезла в неё и заснула крепко и глубоко, как ни разу не спала за всё это время…

Утром вернулась ясность мыслей и энергия. Андрея больше нет, но у меня двое маленьких детей, мама, которая живет одним напряжением нервов, одним страстным желанием, могучим, как инстинкт животного — дожить до моего возвращения, сохранить мне детей, вернуть их мне…

И поэтому я ***должна*** вернуться…

Только ради Андрея я могла бы оставить их, с нелепой надеждой на сверхчудесное «как-нибудь», которое когда-нибудь снова соединит меня с ними!..

Теперь же, когда Андрея нет, а я все ещё жива — только ***для них*** должна я продолжать бороться за жизнь!.. О себе уже думать нечего. «Своё» пусть умрёт с Андреем:

«… — Любимый мой, ласковый, возьми мою душу…»

Вот такие, или приблизительно такие, мысли, вместе с обрывками строк Цветаевой и Гумилёва, которых очень любил Андрей и много читал мне наизусть, а от него запомнила и я — бродили у меня в голове, когда я лежала проснувшись в своей тёплой душистой сенной пещерке. И так не хотелось вылезать из

нее и снова приниматься «жить»…

Но снаружи было уже совсем светло, и петушиные крики доносились из селенья…

Но что делать конкретно? Всё-таки идти на север — в надежде чудом перейти границу?.. Но как же дети и мама?..

Повернуть назад и идти потихоньку на юг, и, может быть, если удастся, добраться до Вологды, где я когда-то родилась, и где прожив первые пять месяцев жизни, я никогда больше не была. Там как-нибудь уехать по железной дороге в Москву и жить у мамы потихоньку, притаившись как мышка…

А может быть там пойти к кому-то «наверху»?.. К самому Сталину?.. Умолять его выслушать меня?.. Рассказать, как массы людей гибнут ни за что?.. Знает ли он, Сталин, что творит НКВД?.. (Но кто меня к нему пустит?!..)

Видно даже нелепость страданий не рождает в людях ненависти, когда они не понимают — кого ненавидеть? С кем бороться?..

Я всё ещё витала в облаках наивности и веры в справедливость наверху… Хотя где-то в подсознании я уже понимала весь ужас моего нынешнего положения, и что всё это ни к чему…

Я убежала из лагеря — вот единственное преступление, которое я совершила. Пусть за него я отсижу сколько надо, если таков ваш закон. Но разве против меня не совершено ещё худшее преступление — ведь меня посадили в лагерь без всякой вины с моей стороны! Так преступно ли бежать из лагеря, спасаясь от голодной смерти?..

Вот такие, на теперешний мой взгляд, глупые и наивные мысли проносились в моей голове, пока я вдыхала аромат и ощущала блаженное тепло укрывавшего меня сена…

И… почему-то, наперекор логике я снова пошла на… север…

…Помню, как однажды, откуда ни возьмись, налетела короткая, но сильная гроза, с молнией и ливнем — небывалая для этого времени — первых дней сентября! Как сидела я на каком-то пригорке, под большой сосной, немного укрывавшей меня от ливня, и впереди было какое-то довольно большое пустое пространство, большая котловина, по которой косил дождь. Как раскалывалось надо мной тёмно-лиловое небо, и грохотали басовые перекаты грома…

Но мне не было ни капельки страшно — наоборот, весело и радостно. В такую грозу уж наверное не ходят дозорные патрули, и можно ничего не бояться, а после дождя и собаки не берут след.

Однажды ночью я устроилась недалеко от шоссе и заснула, поджав колени под свою короткую шубейку, которую мама

принесла мне ещё в Бутырки, и в которой я была похожа на Катюшу Маслову из романа Толстого, по мнению Раисы Осиповны Губергриц…

Господи, как давно всё это было — Бутырки… Театр…

Но поджатые ноги затекали, коленки высовывались, холод проникал всюду и будил. Просыпаясь и дрожа от холода, снова натягивала я на себя шубейку.

Уже засерела предрассветная муть, когда я вдруг ясно увидела наши лагерные деревянные, опутанные колючей проволокой ворота вахты, увидела, как медленно и со скрипом они закрываются, и… Андрей, отступая шаг за шагом задом, спиной, уходит и уходит из лагеря туда, за ворота, и смотрит на меня — прямо в лицо, глаза в глаза, и зовет, и приказывает глазами… И всё уходит и уходит, как в кино, становясь всё меньше и меньше…

И слёзы бежали у меня, как горячие ручьи, и всё было мокро от этих слёз… И когда глаза мои, наконец, открылись, лицо мое всё было мокро от слёз на самом деле — слёзы продолжали бежать сами собой.

И вдруг, на фоне светлеющего неба я увидела рогатую голову с отвисшей нижней губой. Голова чуть наклонилась на бок, как бы с любопытством (а может быть с участием?) разглядывая меня…

Несколько мгновений мы смотрели друг на друга — я и высунувший из чащобы голову лось.

Он даже низко нагнул голову и вытянул шею, чтобы лучше меня рассмотреть. Хотя я не шевельнулась, вдруг он чего-то испугался, фыркнул на меня (я тоже испугалась), затем шумно повернулся всей своей громадной тушей, и сиганул в лес. Кругом только стон пошёл — казалось, по лесу мчится паровоз, ломая и круша всё на своем пути!..

Помню ещё такую картинку: Тоже утро, или верней под утро. Я бреду какой-то просёлочной дорогой, которая показалась мне «подходящей» — как и всё, что вело на север. (Почему?).

Если тропка или дорога сворачивали от севера, я их бросала и шла лесом напрямик, пока не натыкалась на «подходящую» дорогу.

Впрочем, «напрямик» — это понятие относительное. Часто я выходила к болоту, и чтобы обойти его приходилось идти вокруг него не один километр.

Итак, я брела в предутренней дымке по дороге, и пыль на ней, вся в ковре росинок, блестела как серебряная.

Дорога вела всё вниз, и внизу смутно зачернели силуэты строений — селение! Я уже хотела свернуть с этой дороги, как

вдруг увидела поперёк неё лежащую мертвую лошадь. Она лежала совсем поперёк и преграждала мне путь.

Этот труп лошади, и серебряная пыль на дороге, и полная, глубокая тишина — ни петухов, ни собак — всё было, как заколдованное…

Может быть, чума посетила деревню, подумала я, и все бежали, бросив неубранную лошадь?.. Или все вымерли и лежат такими же трупами у себя в избах?..

Вероятно, не было ни того, ни другого, но воображение моё разыгралось. А моя дорога стороной обогнула деревню и спустилась к озеру — точно вошла в него — и это было странно и чудесно, как в рассказах Грина.

У берега стояла лодка, ни к чему не привязанная, с двумя веслами, брошенными на дно…

Я села в лодку и оттолкнулась.

Озеро было небольшое, километра два в длину. Я плыла в лодке, и туман клубился вокруг меня и поднимался вверх легкими облачками, и поднявшись, они начинали алеть, потому что где-то за деревьями уже вставало солнце.

И как по команде проснулись птицы, и загомонили, защебетали по всему озеру…

На противоположной стороне я вышла из лодки и стала карабкаться вверх на гору, а мокрый кустарник обдавал меня дождём крупных росяных капель.

С ужасом я увидела, как мои лыжные ботинки, починенные Андреем, начинают лопаться, а подошва на одном, сбоку совсем отстала. Что же будет, когда она вовсе оторвётся?..

Конечно, подумала я, если бы я и пошла на юг, всё равно никогда бы мне не дойти до Вологды, а даже, если бы и дошла, то наверняка меня «забрали» бы на железной дороге… Значит пусть будет — что будет, лучше не думать.

Но и так всё кончилось плохо, и гораздо раньше чем я предполагала. К сожалению, я слишком часто что-нибудь делаю импульсивно, а потом уж обдумываю случившееся.

Дело в том, что у меня никогда не было чёткого плана — что делать и куда идти в случае удачного побега. Я целиком полагалась в этом на Андрея. А теперь, когда я оказалась в «бегах» одна, я не представляла, что мне дальше делать…

Я почувствовала, что снова впадаю в депрессию…

Вероятно постоянное чувство голода и убывающие силы (ведь одной брусникой, да изредка попадающейся смородиной всё-таки долго не продержишься!) были тому причиной. Да ещё к неприятностям добавилась неизвестно почему обильно пошедшая из носа кровь.

В общем, на пятый день моей бродяжьей жизни, я неожиданно вышла на какой-то лагпункт, чуть не на самую вахту — так тесно обступила тайга этот маленький лагерь.

И вместо того, чтоб повернуть тотчас назад и бежать в лес, я замешкалась и сделала ещё несколько шагов по направлению к воротам. Тут я опомнилась, повернулась и бросилась к лесу. Но было уже поздно…

Страж на вышке заметил меня и поднял тревогу. Безумные мысли вихрем промчались в голове, и не успев даже толком их осознать и сообразить, что мне делать, я вбежала в лес…

— Стой! — раздалось сзади, и грохнул выстрел. Но полсекундой ранее я зацепилась за корягу и грохнулась на землю… Пуля просвистела где-то над головой и шмякнулась в ствол сосны. Часовой, вроде лося, шумно ломая ветки и сучья подбежал ко мне: — Кто такая?

Я слегка замешкалась с ответом, потом ответила, первое что пришло в голову:

— Была на свидании в Повенецком лагпункте… Оттуда в Пудож шла, да вот какие-то хулиганы напали, отняли деньги, документы, избили — видите кровь… Подвезите меня до Пудожа!..

— А почему убегала?

— Да испугалась я…

Часовой явно подозрительно посмотрел на меня, и тут же спросил: — А к кому на свиданье ездила?

Я наугад назвала фамилию одного из наших актёров, тоже забранного в пересылку в мае, но тут наконец до меня «дошло», и я поняла всю глупость и непоправимость ситуации!

— Полковников?.. — переспросил часовой — Фёдор?

Сейчас проверим. — Пошли на вахту.

Держа винтовку наперевес, он отконвоировал меня к вахте, закрыл за мной ворота и велел подождать. Он вошел в будку, и я услышала, как он крутит ручку старого допотопного телефона, а потом что-то кричит в трубку…

Я поняла, что для меня всё кончено…

Часовой вышел. Ах ты, стерва, мать твою… Бежать решила!

Так, я снова оказалась в лагере…

Начальник лагпункта, к которому меня привели, ни за что не хотел верить мне, что у меня — 58-я. Орал на меня, чтобы я сознавалась, что я — Катька Шилобокова — уркаганка, смывшаяся с какого-то лагпункта и объявленная в бегах уже неделю назад.

…Я-то думала, что о моём побеге знает уже вся Карелия, и патрули разосланы по всем дорогам, чтобы искать и схватить

меня.

Впрочем, когда он дозвонился до главного управления, тон его изменился, и он уставился на меня, как баран на новые ворота, потому что такого побега — 58-ой, да ещё женщины к тому же, — быть свидетелем ему ещё не приходилось.

Он велел посадить меня в чулан (не в изолятор!), и вскоре мне принесли туда целую миску горохового супа и кусок хлеба — определенно, харчи конвоя!..

Впрочем, когда меня уводили из кабинета, начальник сказал: — Шаг в сторону — стрелять на месте!

Видимо, он счёл меня важной государственной преступницей.

Вскоре из Медвежки, в легковой элегантной машине светло-кофейного цвета, за мной приехал, и при том безо всякого конвоя — не то сам начальник, не то помощник начальника III-й части Белбалтлага.

— Вот вы какая! — сказал он осмотрев меня, как мне показалось несколько саркастически. Видно, очень уж смахивала я в самом деле на урку, и не была похожа на тех, кто по 58-й! Но тут же он насмешливо — галантно распахнул дверцу машины:

— Прошу!.

Я влезла в машину, и мы покатили на юг…

Глава III
Пудожстрой

Центральный «изолятор»

Итак, год 1937-й, осень, Центральный изолятор Белбалтлага, куда меня водворили после моего импульсивного, отчаянного, и жизненно непрактичного побега.

Камера изолятора — деревянного одноэтажного барака — большая светлая комната, с окнами, безо всяких решёток и козырьков, выходившими во двор. В камере вдоль стены сплошные нары, по которым можно было прогуливаться, как по полу.

Сначала в этой обширной камере я была одна, с книжкой, каким-то образом завалявшейся здесь. Правда, книжка была без начала и конца, без обложки, но читать все же можно. Это были рассказы — кажется, Пантелеева, хорошо сейчас не помню… Конечно, для одиночной камеры книжка — настоящий клад. Однако тогда, даже и этой книжки читать не хотелось… Вообще ничего не хотелось… Просто лежала, отдыхала душой и телом от всего бурного лета Водораздела, от драматического конца его…

Уверена была, что расстреляют — ведь побег же!.. Но страха не было — просто усталость, и жить совсем не хотелось. И «Водораздел», и Андрей вспоминались как неясный сон, как просмотренный кинофильм…

На допросы не вызывали, и время снова остановилось, как когда-то на Лубянке. Только на этот раз — это не было томительно — наоборот, умиротворяюще и успокоительно…

Вот, может быть, и смерть, которой мы так боимся, тоже приходит к больному, измученному человеку с успокоением и умиротворением… Даже и думать как-то ни о чем не хотелось, не хотелось больше страдать…

Но, в конце концов, из состояния этого странного покоя меня вывело нечто увиденное из окна изолятора: а увидела я как во дворе гуляют две женщины — обе бывшие со мной на Водоразделе — теософка, пытавшаяся заинтересовать меня своими идеями, и ещё одна, которая кричала мне вслед когда я уходила в бега. Но ведь на «Водоразделе» нас и было всего трое «политических»… Значит, взяли их в изолятор из-за меня? Подозревают в сообщничестве, в пособничестве…

Вот тогда мне стало страшно в первый раз: Ведь их могут тоже расстрелять — ни в чем неповинных людей — только из-за меня, из-за моего самоубийственного настроения, из-за моего «моря по колено»… Но они-то ведь жили, терпели, надеялись…

Ох, как стало нехорошо!.. Я не знала, что же делать? Попросила вызвать меня на допрос, но вряд ли единственный часовой, охранявший изолятор, мог передать мою просьбу, даже если бы и хотел.

Впоследствии я узнала от теософки, с которой снова оказалась вместе в лагере в Кеми, что с ними ничего не случилось, но страху хлебнули и они.

Ведь они были со мной в одной бригаде в тот день, когда я бежала, и их сразу же отправили в изолятор. Сначала на Водоразделе, а затем привезли в центральный.

Однако, очевидно, дело было слишком ясно для наших деятелей Третьего Отдела, как вероятно, и все наши дела для НКВД! Да и не было нужды затевать новое дело для того, чтобы расстрелять нас всех вместе, или поодиночке. Найти предлог для этого для них не составляло труда.

Возможно, уже начал спадать «девятый вал» 37-го года; возможно, что в планы НКВД входили не только расстрелы, но и вербовка новых осведомителей… Трудно сказать. Во всяком случае, «сообщников» мне не пришили, и никаких допросов о них не было. Как я узнала позже, их допрашивали только в первый день на «Водоразделе», а в центральном изоляторе даже на

допрос не вызывали и отправили почти сразу в Кемь, на «Швейпром», куда потом попала и я. Ирония момента, если это можно так назвать, была в том, что, вероятно, благодаря моему побегу им даже повезло, так как если бы они остались на «Водоразделе», то наверняка «дошли» бы там и погибли, как и другие в «северном» лазарете.

Вскоре, безо всяких официальных допросов разные чины Управления Белбалтлага стали меня расспрашивать только о моих четырёх днях «свободы» в Карельских лесах, расспрашивали подробно и с интересом, не скрывая удивления и даже какой-то долей уважения — «ишь ты какая, не побоялась!» и без обиняков предложили: — Если хотите жить и добиться пересмотра дела — работайте с нами и для нас. Тогда, может быть, чего-нибудь и добьётесь.

Сначала я отказалась наотрез. Не только работать с ними, но и возвращаться в лагерь. Пусть — расстреливают, или отправляют в тюрьму, настоящую — на Соловки, или куда хотят… В противном случае я объявлю голодовку, но на «Водораздел» я больше не вернусь!..

Не помню фамилии тогдашнего начальника III Отдела Белбалтлага, — кажется, Аристов. Меня водили и к нему. Культурный, изысканно-вежливый, интеллигентный на вид, тоже смотрел на меня с любопытством и общался с подчеркнутой учтивостью: — Ну что ж, подумайте! У нас производства, промышленность, вот — бумажный комбинат в Сегеже. Огромное строительство. Нам крайне важно знать, нет ли там вредительства, честно ли работают бывшие наши враги?.. Вы понимаете?.. Вы же были журналисткой, работали в газете… В промышленном секторе… Большего, чем объективного освещения дела — мы от вас не потребуем. Подумайте, ведь вы ещё молоды, у вас ещё вся жизнь впереди…

Чтобы мне не скучно было думать, в мою камеру водворили ещё одну женщину…

Казалось бы, мы недолго пробыли вместе, никогда не скрестились снова наши пути, а как отчётливо помню я её милое, усталое, немолодое уже лицо, седеющие волосы, подобранные сзади в маленький пучок.

Сначала мы, конечно, боялись друг друга — каждый видел в другом потенциального «стукача». Но потом подружились.

Стукачи в лагере неизбежно узнаются и становятся «париями». И редко, очень редко, острое лагерное чутье обманывает…

Моя сокамерница оказалась «бывшей» Рябушинской — одной из двух дочерей известного дореволюционного фабриканта и

финансового магната Рябушинского.

Она была старше меня лет на 10–15, но на вид казалась много старше.

Как интересно рассказывала она о раннем своем детстве, об изолированной детской, совсем особом мире, где они росли вдвоём с обожаемой ею сестрой в обществе ***mademoiselles,*** иногда приятных и ласковых, иногда строгих, требовательных и холодных. Рассказывала о поездках за границу, о Венеции и Неаполе в своих детских воспоминаниях; о юности и революционных брожениях, проникавших даже в эту среду — самых крупных капиталистов, в ее культурную, интеллигентскую прослойку…

И вот — её встреча с Алексеем Сергеевичем Алексеевым — родным братом Константина Сергеевича Станиславского — «того самого!». Того, с кем были поставлены первые домашние спектакли, с кем были выношены мечты о новом театре, о Художественном театре для народа, о театре, который стал МХАТом…

Рябушинская (к сожалению, не помню ее имени) — горячая поклонница обоих братьев, вскоре стала женой младшего. Теперь ее фамилия стала Алексеева. Но — увы! — для советских властей она не перестала быть Рябушинской.

В 36-м году обе сестры Рябушинские были арестованы. Как муж Рябушинской, был взят и младший Алексеев.

Рябушинские были отправлены на Соловки отбывать свои десять лет. Алексеев с Лубянки не вышел…

Двоих его детей — мальчика 12 и девочку 14 лет — Станиславский взял на воспитание. Он даже добился свидания с женой брата и привозил детей на Соловки. Но на этом его участие и кончилось…

Эта история потрясла меня…

Станиславский тогда только что получил звание (первое в стране, или одно из первых?) Народного артиста Союза, был награжден какой-то медалью...

И он **принял** её, благодарил партию и правительство и, конечно, лично тов. Сталина! А ведь ***знал,*** как знала и жена Алексея, что тот ни в чём не повинен — ни в действиях, ни в мыслях — ибо оба они были настроены либерально и сочувственно к Советской власти. Знал он и о том, что брат его — ни в чём не повинный человек — замучен на Лубянке — погиб там (расстрелян?) при неизвестных обстоятельствах.

А он — Станиславский, к пиджаку медаль подвесил…

И сколько было его выступлений — и устно, и в печати, и в знаменитой «Жизни в искусстве» — нигде, ни разу не

обмолвился: «мы с братом»… Как будто его и не существовало!

Нигде, никогда и полусловом не обмолвился он и о кончине брата на Лубянке… Ни в те годы, ни позже.

Как не вспомнить пророческие слова Бруно Ясенского из эпиграфа к роману «Человек меняет кожу»: — «..Бойся равнодушных; это только с их попустительства убивают и предают…».

Почему Алексееву вывезли из Соловков и водворили в центральный изолятор Белбалтлага — она не знала. На допрос её не вызывали. (Может у «Народного» совесть зашевелилась, и он стал для нее чего-нибудь добиваться?)

Не узнала этого никогда и я. После трёх недель нашего совместного житья в камере, в начале завязавшейся дружбы нашей, нас разлучили навсегда. Дожила ли она до реабилитации?..

Итак, я опять осталась одна. Я отдохнула от «Водораздела», от голода — тут ведь ежедневно давали пайку — 400 г., и при неподвижном образе жизни этого более-менее хватало.

Понемногу успокоились нервы. Сквозь броню равнодушия, душевной усталости и пустоты начал пробиваться новый родничок, новый источник энергии. Сначала крошечный, робкий, чуть слышный, а затем все более крепнущий, стойкий, набирающий силу.

Нет, почему же — всё кончено? Почему на всём надо поставить крест? Почему не пробовать бороться ещё, постоять за себя — зачем просто и покорно идти на смерть, или в тюремный склеп? Ведь это — всегда не поздно.

Почему не сказать им «да», — и снова бежать при первой возможности, только теперь бежать уже не с отчаяния, когда всё — всё равно, а с серьёзной подготовкой, с расчётом, если не с уверенностью, то хотя бы с надеждой на успех?.. Вот что стучало в моём мозгу долгими днями и по ночам в камере центрального изолятора…

И я сказала «да», в душе показывая им хорошую дулю — дождётесь от меня «информации»!..

Меня обещали послать на «промышленную точку», где я должна буду вникнуть в «важные производственные обстоятельства», а проще, узнать, не занимаются ли бывшие «вредители» из высококвалифицированных специалистов — новым «вредительством» в масштабе лагерного производства.

Тогда, как и сейчас, мне все это казалось дикой галиматьёй — как это я стану «вникать» в суть производства, которого наверняка не знаю и не понимаю, открывать какое-то вредительство, которого, наверняка, нет да никогда и не было —

дичь и чушь!..

Но я твердо решила опять бежать и сказала: «Попробую»…

Таким образом, я попала на «ПУДОЖСТРОЙ»…

На ГУЛАГовской «шарашке»

…Это, действительно, не было похоже на лагерь, как мне и обещали в 3-ем Отделе. И даже отдалённо не напоминало «Водораздел».

Есть где-то у Онежского озера гора Пудож. В этой горе были обнаружены ценные и редкие (тогда, по крайней мере) руды с содержанием титана и ванадия. Беда была только в том, что эти ценные руды были тугоплавкие и в обычных доменных печах того времени не плавились, И вот, неподалёку от Медвежки, под боком и бдительным надзором главного Управления и 3-го Отдела Белбалтлага, заключённые специалисты — металлурги, электрики, химики и другие, создали экспериментальную установку вращающихся электропечей, в которых выплавлялся титан и ванадий под сильным давлением какого-то газа. Тогда это было, по-видимому, технической новинкой.

Опыты по добыче этих минералов и освоению электропечей проводились уже года три, и к тому времени, когда я попала на «Пудожстрой», как именовалось это ГУЛАГовское предприятие, подходили к концу.

Теперь, в основном, решался вопрос, где строить обогатительную фабрику — непосредственно около самой горы Пудож, или возить руду через озеро в Медвежку, и здесь построить обогатительную фабрику. Содержание металлов в руде было небольшое, и обогатительная фабрика была необходима.

Конечно, перевалка удорожала стоимость руды, но с другой стороны там, на Пудож-горе не было электроэнергии, и там надо было строить ТЭЦ.

Вот так, или примерно так, объяснили мне суть дела инженеры Пудожстроя.

Впрочем, опыты по выплавке этих металлов всё ещё продолжались. В производственном корпусе стояли три вращающиеся печи, где плавилась руда. Когда печи пускались в ход — на 36 или 72 часа — всё приходило в волнение, никто не спал, все поминутно бегали в лабораторию, чтобы взглянуть на анализы, которые брались каждые пять минут. А два чертёжника — я, которая была прислана сюда, как чертёжница и ещё один, который был уже до меня, на огромных, прикреплённых к чертёжным доскам листах миллиметровки выводили 8 или 9 разноцветных линий, от клеточки к клеточке,

от минуты к минуте, обозначая этими ломанными линиями и различными цветами выход разных химических элементов, названия которых, конечно, давным-давно улетучились у меня из головы.

…Кроме производственного, в Пудожстрое был ещё и жилой корпус, похожий на прибрежную виллу — несколько модерновую, из серого бетона, с большими зеркальными окнами и с плоской крышей. Всё это находилось в каменистом саду, уступами спускавшемся до самой воды Онежского озера.

С трёх сторон сад был окружён высоким железным забором, но безо всякой колючей проволоки и вышек. Где-то в саду находился маленький флигелёк, вроде бани — «хитрый домик», в просторечии здешнего жаргона. Туда вызывали заключённых, если наезжала «Третья часть».

Единственный страж стоял возле проходной будки у ворот — такой, какая бывает на каждом обычном заводе. Озеро зимой замерзало, и четвёртая сторона Пудожстроя оказывалась не огороженной. Можно было надеть коньки и мчаться хоть до самого Повенца, хоть до самого Петрозаводска.

…Бежать!.. Бежать!!.. Сколько дней, сколько ночей стучала эта мысль в мозгу. Сколько деталей обдумывалось в бессонные ночи: — если так, то потом дальше — так… Или, если это окажется иначе, то как тогда?..

Но даже в самых жарких мечтах, когда я видела себя уже в Москве… я не могла представить себе, что будет дальше…

Что же дальше?.. Ну вот, я добилась приёма у Вышинского… (Каким образом?.. Ведь я — беглая заключённая!) Станет ли он меня слушать?.. Пересмотрят ли моё дело?.. Знает ли он обо всём, что творится в лагерях?..

Разумом я уже и тогда понимала — бесполезно!..

И всё же, всё равно: Бежать!.. Бежать!.. — вот чем я жила дни и ночи, проведённые на Пудожстрое, и то, что я всё-таки так и не попыталась бежать оттуда, и до сих пор камнем лежит у меня на душе и ощущается, как самый горький позор моей жизни…

Да, только видимость охраны была установлена на Пудожстрое. Да и к чему было бы иначе? Слишком хорошо знало наше начальство, с кем оно имеет дело…

На Пудожстрое жило и работало тридцать заключённых — крупных инженеров и учёных, несколько необходимых рабочих, лаборанты, и, как я уже говорила, два чертёжника (включая меня).

Женский персонал состоял из трёх человек: кухарка (кстати отличная), уборщица (она же судомойка и прачка), и одна ужасно симпатичная, к сожалению горбатенькая, лаборантка — Варюша.

Она сидела уже три года, но лагерей не хлебнула — сразу попала сюда, на Пудожсторой. Статья у нее была пустяковая, и сроку-то всего три года, которые уже подходили к концу. Но и сейчас, каждый день она спрашивала меня с тоской и недоумением, широко открыв свои круглые, черносливовые глаза: — ну за что нас тут держат?.. За что мучают?.. И чудесные глаза её наполнялись слезами.

Дома у неё остался трехлетний (теперь уже пятилетний!) сынишка, рожденный с превеликим трудом, такой же большеглазый, как мама, мальчик, с чьей фотографией Варюша никогда не расставалась.

Четвертой женщиной стала я.

Мы жили в одной комнате, напоминающей студенческое общежитие, но никак не барак для заключённых.

Питались мы в общей столовой, т. е. не в смысле заведения — «столовой», а в комнате-столовой, которая могла бы быть таковой у воображаемого владельца нашей «виллы».

Во всю длину, правда, не слишком большой комнаты стоял стол, к каждой еде накрывавшийся безупречно свежей скатертью; против каждого стула стоял столовый прибор с ножами и вилками и со свежей, треугольником сложенной салфеткой!

На столе стояли горки нарезанного хлеба — белого и черного, графины с водой, стаканы.

Каждый входящий желал другим «приятного аппетита», (совсем, как в кают-компании какой-нибудь фешенебельной яхты), а раскрасневшаяся Маша — наша кухарка — металась из кухни в столовую и обратно то с полными, то с пустыми тарелками, жадно ловя слова одобрения.

Она была не только искусным кулинаром, но и великим честолюбцем…

В первый раз, после голодного «Водораздела» и изоляторской пайки с баландой в жестяной миске, съедавшейся в мгновение ока, — как ни хотелось растянуть это удовольствие, всё равно не получалось — зрелище этого сверкавшего белизной сервированного стола, хорошо, если не сказать — элегантно — одетых мужчин, сидящих над своими тарелками, вид ножей, вилок, салфеток — всё это до того поразило меня, что я вообще ничего не могла проглотить...

Потом — я наверстала! Лопала за четверых, не стесняясь просить у Маши вторую и третью порцию. Но вскоре, правда, «отъелась» и стала, как и другие, лениво ковырять вилкой в тарелке…

Хотя на третье всегда было что-нибудь сладкое — компот, кисель, или кусочек торта — великолепные изделия нашей

Маши — после обеда отворялись буфеты, где у каждого имелась собственная полка, и оттуда доставался свой собственный десерт — яблоки, апельсины, виноград, конфеты, а иногда и бутылочка сухого вина. Это были либо присланные родными в посылках лакомства, либо приобретённые в магазинах в Медвежке. Наши стражи всегда охотно и любезно выполняли поручения по части покупок, не отказываясь от кое-какой мзды за это.

Первое мое душевное движение по отношению ко всем этим людям — было враждебное раздражение и презрение…

Все они казались мне подхалимами и лизоблюдами, распластывающимися перед начальством за эти несчастные крохи благополучия, за сытое брюхо, за посылки и свидания, которые им давались вне всякой очереди.

Но потом, когда я познакомилась с ними поближе, я поняла, как несчастны все они, несмотря на то относительное благополучие, которым они пользовались в заключении. Ведь всё в мире относительно!

В большинстве своём это были крайне наивные, простодушные и устремлённые в себя хорошие люди — по крайней мере те из них, с которыми мне пришлось познакомиться поближе.

Существовали они как бы в стороне от жизни, замкнувшись в своей работе, в своей науке, к которой относились со страстью, отдавая ей все помыслы, всю энергию. Это был смысл их жизни.

Ну, а помимо того, большинство из них имело семьи, свой надёжный, обособленный и боготворимый мирок, потерю которого они переживали трагически и не менее остро, чем все другие, у кого на воле остались жёны, дети, родители…

Все они были аполитичны — так, по крайней мере, мне показалось — и даже то, что стряслось с ними, что хлопнуло, как обухом по голове — ничему их не научило, не пробудило интереса к политике. Они всё расценивали как плод чудовищного недоразумения, так же как вначале думала и я, и другие интеллигентные люди, попавшие в эту «мясорубку» государственного террора.

И они все ждали разрешения этого «недоразумения», и с неистовством одержимых работали здесь, где их знания и опыт могли оказать существенную пользу стране, глубоко веря и наивно полагая, что это оценится, зачтется в заслугу, примется во внимание при пересмотре дела, которого они ждали со дня на день — уж какое тут вредительство!..

…Возможно, что я и ошибаюсь, называя их «аполитичными». Скорей всего, большинство из них приветствовали революцию,

как некий символ — идеал русской интеллигенции, и именно это — наивная вера в революцию и в конечное торжество ее великих идеалов — толкнуло их работать на Советскую власть.

Когда я рассказала им о «Водоразделе» и моем бегстве оттуда — они были поражены больше, чем сотрудники 3-го Отдела Белбалтлага. А потом они наперебой старались закормить меня сладостями и фруктами, оказать мне хоть маленькие знаки внимания и уважения…

А от меня ждали доносов на этих, в сущности, добрых и наивных людей! — Ну и пусть ждут, пока не убегу — думала я…

…Самое приятное место здесь было — столовая. Помню, как я сижу рядом с Варюшей за нашим длинным обеденным столом, накрытым свежей скатертью. С другой стороны мой сосед — старый еврей, учёный-химик, по фамилии Эгиз. Он и здесь, в лагере, сохранил благообразно-патриархальный, интеллигентно-еврейский облик — всегда в своей потертой кипе, с бородкой клинышком и длинными пейсами. Малоречивый, всегда печальный, как-то особо одинокий даже среди пудожстроевцев, ко мне он относился особенно внимательно, или верней, предупредительно.

Сидел он очевидно по тем же причинам, что и Рябушинская. Как-то однажды, когда мы разговорились, и я упомянула, что моё детство прошло в Херсоне, он оживился и спросил:

— А вы знаете, как называлась Суворовская улица (это была главная улица Херсона) — до того, как она стала «Суворовской»?

Я не знала. — Эгизовской — сказал он. И повторил печально:

— Вот именно, — Эгизовской…

Я не стала расспрашивать, и так было понятно. Очевидно Эгизы были уважаемыми, и очень известными людьми в старом Херсоне.

…Ученый Эгиз умер у меня на руках в 42-м году, когда я была зэ-ка — медсестрой в Центральной больнице Усольлага.

Пока он лежал в больнице, а лежал он долго — у него была дистрофия, и он постепенно угасал — он получал письма, не помню откуда — кажется откуда-то из эвакуации.

И как же он им радовался! Я любила приносить ему письма в палату (их нам выдавали в конторе больницы на всех больных сразу).

— Письмо?! — Глаза его сияли, он приподнимался на локтях, а лицо его прямо светилось и казалось совсем молодым. Он никогда не рассказывал о содержании писем, и только раз сказал, что это от его самого близкого друга.

Только после его смерти я узнала из письма, пришедшего слишком поздно и потому оставшегося не востребованным, что

другом этим была женщина.

И в этом единственном письме, которое я прочла, было столько тепла, поэзии, нежных воспоминаний, что без слёз его нельзя было и читать: такую любовь пронесла эта женщина к этому маленькому, ставшему к концу совсем сухоньким старичку…

Мы с моей тогдашней подругой, Катей Оболенской, написали этой милой и, по-видимому, очень интеллигентной женщине — рассказали ей о его смерти и о той радости, которую приносили ему её письма…

Вот так воспоминания, цепляясь одно за другое, уводят от основного рассказа.

…В противоположность молчаливому, и всегда державшемуся немного обособленно Эгизу, другой человек из нашей «кают-компании» — инженер-механик М. А. Соловов — был необыкновенно общителен, подвижен и шумен. До революции был он, ни много, ни мало — старшим механиком на «Штандарте» — яхте Его величества, последнего Российского императора Николая II. Рассказывал он, что на яхте он завтракал за одним столом с царём, цесаревичем Алексеем и императрицей Александрой Фёдоровной.

Он не раз видел на яхте Распутина и даже здоровался с ним за руку.

Вся его жизнь была — как феерическая история, полная приключений и удивительных случайностей. А рассказывал он очень живо и интересно.

Последние годы — лет десять — он провел в Китае, где у него был брат, или ещё кто-то. Но вот — ностальгия!..

Хотя ему основательно не советовали, да и сам опасался, но… всё же вернулся на родину. На свою голову вернулся! Хорошо ещё, что сразу не расстреляли…

Впрочем, почти все пудожстроевцы имели высшую меру — расстрел, с заменой десятью годами.

Статьи были тоже стандартные. В большинстве — 58–7 — вредительство, 58-а — измена родине, или шпионаж.

Множество историй выслушала я в Пудожстрое, и были они до ужаса однообразны, похожи одна на другую, и на мою собственную.

Все полагали сначала, что арестованы они по недоразумению, ожидали, что вот-вот «разберутся» и они вернутся домой. Но вот, начинались допросы и все теряли голову и всякое понимание действительности, впадали в панику. Все, как и я, расписались в своей «виновности», в основном, под угрозами репрессий к своим близким. Кое-кто был доведён до состояния полнейшей

безнадёжности и равнодушия, когда всё становится — безразличным…

Были тут и одиночки, были и групповые дела, когда их герои с ужасом и недоумением узнавали, что их лучшие друзья, или коллеги — учёные, инженеры, изобретатели, имевшие прекрасную репутацию на работе — оказались «врагами народа» и «предателями», а они сами — их пособниками и укрывателями…

Обо всём этом я уже рассказывала в главах о Бутырской пересылке, в первой книге, но сейчас возвращаюсь к этому потому, что мои «хозяева» ожидали от меня каких-то «материалов» о деятельности и лояльности этих людей…

Разумеется никаких материалов у меня не было, и рассказывать мне было не о чем, и я понимала что скоро моему благополучию придёт конец…

Вскоре, однако, я поняла, что посылая меня на Пудожстрой, они преследовали, в первую очередь, совершенно другую цель, а именно: — проверить меня, насколько можно доверять мне и полагаться на меня как на «сексота», и как далеко я готова идти в сотрудничестве с ними.

Я поняла, что затеяла смертельно опасную игру.

…Я уже упоминала, что на Пудожстрое ещё до меня был ещё один чертёжник. Буквально через несколько дней по прибытии я услышала от нескольких предупреждения — что он «стукач». В этом были убеждены все пудожстроевцы, а через некоторое время и я сама. Не потому, конечно, что он был частым посетителем «хитрого домика» — туда вызывали всех; велись какие-то «доследования», расспросы; некоторые даже были уверены, что это — для пересмотра дел. Просто он вёл себя слишком глупо и неумело. Мне и раньше уже приходилось сталкиваться со стукачами — их достаточно много в лагерях и на пересылках.

Так вот, этот чертёжник работал «стандартно»: — старался заводить дружбу то с тем, то с другим (хотя и довольно безуспешно), начиная её со «скользких» разговоров, которые трудно было не расценить как провокационные.

Вскоре по прибытии он начал «обрабатывать» и меня. Мы работали в одной комнате и чаще всего только вдвоём, поэтому ему было очень удобно «поверять» мне то, что, очевидно, было велено его (и «моими») хозяевами. Сначала он поделился со мной своими «инакомысленными» воззрениями, а потом стал подробнейшим образом информировать меня о всех пудожстроевцах — кто с кем дружит, кто кого не любит, каковы у кого семейные обстоятельства, и кто о чём думает, делая акцент на общих «антисоветских» взглядах и на «антисоветских»

высказываниях того или другого в частности.

Я неоднократно пыталась остановить поток его красноречия и перевести разговор в другое русло, но безуспешно — он упорно возвращался на скользкие темы.

…Был на Пудожстрое среди инженеров один более молодой с какой-то «иностранной», похожей на немецкую фамилией, сейчас не помню, кажется начинавшейся на «Б». По имени и внешности его можно было счесть за натурализовавшегося немца. Держался он как-то от всех в стороне, ни с кем не дружил, в его тоне, несмотря на молодость, сквозило какое-то высокомерие, и он не располагал к себе, хотя, помнится, внешне был довольно красив, высок, белокур.

Незадолго до меня на Пудожстрой прислали нового вольнонаёмного главного инженера — женщину. Была она ещё сравнительно молода и довольно интересна внешне, по общему мнению наших лагерных мужчин. Крупная, чуть располневшая блондинка, но вполне ещё «в форме».

Странно было думать, что эта молодая женщина могла быть крупным специалистом по выплавке титана и ванадия. Скорее всего, она была прислана для «надзора» за деятельностью заключённых специалистов и, вероятно не без умысла, для этого была выбрана именно женщина.

Как бы то ни было, у неё очень скоро завелся «друг» среди заключённых, и этим другом оказался этот самый инженер Б.

Вольнонаёмная начальница, как её за глаза величали пудожстроевцы, жила тут же, на территории лагеря, в «вольнонаёмном корпусе», мало чем отличавшемся по виду от нашего, разве что поменьше.

Инженер Б. единственный из всех пудожстроевцев был «вхож» в этот дом для вольнонаёмных. Посещал он его достаточно часто, чем вызывал ехидные усмешечки и зубоскальство остальных. Но, поскольку все пудожстроевцы были людьми солидными, в возрасте, многие имели не только жён и детей, но уже и внуков, то особой зависти «романтические» отношения этой пары ни у кого не вызывали. Смотрели на это довольно добродушно, хотя некоторые считали, что всё это происходит не без благословения 3-й части, так как посещал инженер Б. корпус вольнонаёмных совершенно открыто.

Естественно, что он был и первым поверенным нашей начальницы, в делах производственных, вызывая этим некоторую «ревность» и неодобрение наших «маститых» учёных…

Чертёжник, «поставлявший» мне «сведения» о пудожстроевцах, конечно же не обошёл вниманием и его.

Хотя это происходило ещё задолго до начала Отечественной

войны 1941 года, уже тогда он характеризовал инженера Б. как «нациста» и «фашиста», и сообщил мне, что тот хвастался своим «чисто арийским» происхождением…

Я и тогда, и сейчас думаю, что всё это — чепуха, выдуманная моим напарником с провокационной целью — втянуть меня в политическую полемику.

Перед кем инженер Б. мог хвастаться своим «арийским происхождением»? Уж не перед ним ли, незадачливым и всеми признанным «стукачом»? Да и хвастать вслух таким образом даже в те времена было бы глупо, а на глупца инженер Б. был никак не похож…

Но… всё это, вероятно сообщалось моим напарником в 3-й отдел. И я хорошо понимала, что всё, что он мне говорит предположительно должно быть передано мною в 3-ю часть, если я не хочу тут же «загреметь» из Пудожстроя, не успев осмотреться и дождаться благоприятного момента для побега.

Но… могла ли я быть на 100 % уверена, что всё это провокация, и что передав это «хозяевам» я не подведу под монастырь глупого, но ни в чём не повинного человека?..

Эта мысль терзала меня постоянно… Вдруг он не «стукач»… Вдруг он на самом деле слышал эти слова об арийском происхождении… Вдруг он просто по дурости всё это наговорил мне… И если я передам это «хозяевам», его могут «прижать» моим материалом и заставить признать то, что он говорил, а показания двоих — основание для нового дела...

Кроме того, под ударом оказывается и инженер Б., хотя я и не была уверена, являлось ли хвастовство арийским происхождением основанием к заведению нового «дела». Но, к тому времени, я уже была уверена в другом — из любой малости, из «ничего» может быть создано «дело», могущее стоить человеку жизни…

В общем, я не знала что мне делать, и с ужасом и замиранием сердца ждала вызова в «хитрый домик»…

…В «хитром домике» мне задали сразу три вопроса: Не идёт ли главный инженер К. (фамилия блондинки) на «поводу» у заключённых? Каковы её отношения с инженером Б.? Нельзя ли её обвинить в потворстве «вредительской деятельности заключённых»?

По-видимому, в последней они были вполне уверены, так как не спрашивали о ней, и вообще не задали никаких общих вопросов. Как я поняла, очевидно, они не прочь были завести «дело» на вольнонаёмную главного инженера К.

Ни на один из этих вопросов я вразумительно ответить не могла, даже если бы и на самом деле хотела, поскольку ни

начальница — блондинка, ни инженер Б. мне своего внимания не уделяли и своими проблемами не делились. Поэтому я ответила как можно «дипломатичнее»: — Я ещё не успела познакомиться с главным инженером — просто не было случая для этого, но как только он представится, я постараюсь. Что касается инженера Б., то он ни с кем из других заключённых не общается, в том числе и со мной, поэтому об их отношениях я достоверно знать ничего не могу.

Как ни странно, но, очевидно, мой ответ не вызвал у них никакой отрицательной реакции, так как больше о вредительстве они не упомянули.

— Но что он бывает у главного инженера К. в квартире вам известно?

— Все об этом говорят… — ответила я уклончиво.

— А вы оказывается «дипломат» — заметил допрашивающий.

В конце концов меня отпустили, усиленно «порекомендовав» мне «заняться» «начальницей — блондинкой» и инженером Б.

На этот раз кажется пронесло!..

Как я буду выкручиваться дальше я не знала, но и думать об этом не хотелось…

…Настала зима, и когда замёрзло Онежское озеро, кто-то раздобыл коньки.

Я уже говорила, что со стороны озера здесь не было никакой ограды и можно было выходить на лёд ни у кого не спрашивая разрешения, поэтому, пока озеро не занесло снегом, я и ещё двое-трое из более молодых инженеров бегали на коньках по потрескивающему льду, замирая от страха и счастья — так хорошо было мчаться вечером, в сумерках, вдаль, в «никуда»!..

На небе зажигались звёзды, лед темнел, ветер свистел в ушах, далеко-далеко чуть мерцали огоньки Повенца… А если дальше и дальше?.. Или на Лыжах?.. Пешком, наконец… По льду… А там через границу в Финляндию…

Бежать!.. Пора бежать! — постоянно стучало в голове… Но, как и тогда на Водоразделе с Андреем, я всё откладывала и откладывала побег по совершенно непростительным мотивам, пока в конце концов стало поздно…

Почему же все таки я не бежала из Пудожстроя? Хотя бы попытаться-то было можно?..

Очевидно всё-таки главным образом потому, что «бытие определяет сознание». Уж очень не хотелось менять чистую и тёплую постель обжитой клетки на голодную, холодную и неуютную жизнь в зимней тайге, в постоянном страхе поимки и полной неуверенности — удастся ли перейти границу…

Сытость и благополучие Пудожстроя ослабило восприятие

дикостей и ужаса, всего нечеловеческого, что творилось в те годы, и что так выпукло и обнаженно вставало там, на «Водоразделе»… Почему-то забывалось, что Пудожстрой это только временная передышка…

Вероятно, немалую роль сыграли в этом и вновь полученные письма из дома, всколыхнувшие всю душу, и ослабевшие было струны связи с прошлым, с детьми, и мамой вновь натянулись и зазвучали по-прежнему требовательно, и ещё раз оборвать их просто не хватило сил…

Кончился Пудожстрой очень скоро и неожиданно.

В один прекрасный, зимний день наш главный инженер К. уехала в Москву окончательно решать вопрос об обогатительной фабрике, так и не решённый здесь, на месте.

И вдруг к нам понаехала куча начальства из 3-го отдела, и на голову пудожстроевцев обрушилось незнакомое им доселе слово — «этап»!..

Взяты на этап были почти все. Несколько человек оставались, очевидно, для окончательной сдачи дел. Сначала всех отправили в пересылку, в Медвежку, а оттуда — кого куда.

Тут со мной произошел небольшой эпизод, после которого я решила, что моя «проверка» кончилась решительным провалом, и в первый раз я вздохнула свободно. (Как оказалось, нити из Третьего отдела Белбалтлага тянулись за мной долгие годы, доставив мне немало тяжёлых и страшных минут).

Итак, сначала меня отправили в Сегежский бумкомбинат. Сердце у меня упало. Я поняла, что это — всё. Проверка кончена. Я должна — или приступать к «настоящей работе», или наотрез отказаться от нее, и быть готовой к самым худшим последствиям.

Ах, как меня мучило и терзало бесполезное, опоздавшее раскаяние — зачем не бежала по льду — упустила реальную возможность уйти от всего этого… Зачем?.. Зачем?..

И вот меня, в единственном числе со спецконвоем, привозят в Сегежу. Сдают куда-то, (в Третью часть, вероятно), и я сижу в какой-то комнатёнке, вроде проходной. Сижу и час, и два, и день сижу. Ем понемножечку свою пайку, полученную в дорогу.

А вечером меня вдруг — ни с того, ни с сего, безо всяких допросов и расспросов — отправляют обратно в Медвежку, и прямо в пересылку!

Господи!.. Какое счастье!.. Значит, все-таки я с проверкой «провалилась», и в Сегеже меня не приняли!.. Почему это случилось на самом деле — я так никогда и не узнала. Вообще же мне пришлось ещё раз убедиться в том, что пути НКВД так же неисповедимы и не доступны понятию простых смертных, как и пути Господа Бога…

Тут наступает новая полоса, новая страница моей лагерной жизни…

«Родная» моя пересылочка

Пребывание в Медвежьегорской пересылке — зимой 1937–38-го года запомнилось мне по нескольким смешным и, отчасти, трогательным происшествиям.

Стоял конец декабря, и морозы были отчаянные. Пересыльные бараки были почти пусты. Они находились в зоне, отгороженной от общего лагеря, там же, где стояли бараки для зэка 58-й статьи. Для них там было два больших барака — мужской и женский.

Вольготное времечко для заключённых — служащих в управлении лагерей — когда они расхаживали свободно по всей Медвежке и в лагерь являлись только ночевать — давно миновало. Теперь все жили в лагере, да ещё в зоне для 58-й (яичко в яичке!), и на работу выводились под конвоем. Под конвоем же велись обратно, для чего к назначенному времени все должны были собираться в Медвежке на площади, у статуи Ягоды, которая тогда ещё возвышалась там, целая и невредимая! Это было ещё до его ниспровержения. И горе было опоздавшему — он считался в бегах, и мало того, что против него могли возбудить дело «о побеге», но, упорно носились слухи, что нескольких «беглецов» просто пристрелили на улице, «при попытке к бегству». Во всяком случае, было известно, что некоторые люди исчезали куда-то из пересылки.

Театральные мужчины, которые раньше пребывали в своем шумном и веселом общежитии при театре, том самом, где столовались и мы, женщины, до разгрома театра в начале 37-го года — теперь были оттуда изгнаны, а общежитие уничтожено.

Теперь артисты и режиссёры, музыканты и дирижёры — все жили в зоне и тоже выводились и приводились с конвоем с той только разницей, что в театр за ними конвой приходил к 12 ночи.

Итак, поскольку пересыльные бараки находились в той же зоне и не запирались — я вдруг очутилась среди знакомых и друзей. Со всех сторон протягивались руки, тискавшие меня в своих объятиях, улыбались знакомые, милые лица.

Правда, друзья уже оказались не в полном составе. Такие страшные статьи, как моя, или 58-б и 58-а, были, как и я, изгнаны из театра — усланы неизвестно куда. Милая моя Лидия Михайловна Скаловская, с которой мы изображали приживалок в «Пиковой даме», тоже была отправлена куда-то, говорили, на Соловки…

И, конечно же, более всех ликовал по поводу столь неожиданной встречи — Егорушка Тартаков, который остался, и

был даже единственным, в то время, баритоном в театре!

Но так как приводили его с работы поздно, когда уже по зоне ходить воспрещалось, то «свидания» наши происходили по утрам, до 9 часов, то есть до развода на работу. Мы с ним обычно прогуливались вдоль бараков, и я выслушивала новости о театральной жизни вперемежку с пылкими признаниями в неугасимой любви…

Мне опять было жаль его, и я, как могла, старалась образумить его и перевести разговор в какую-нибудь другую область, но как правило, безрезультатно…

Вскоре, однако, хотя мы не совершали ничего предосудительного, в чём можно было бы найти «состав лагерного преступления», каравшегося в административном порядке — наши неусыпные стражи и лагерные «воспитатели» торжественно «объявили» нам, что мы получили по 5 суток изолятора за «связь». Очевидно, наши утренние прогулки доказывали это совершенно непреложно! Недаром наши друзья посмеивались над нами: — Смотрите догуляетесь!..

Меня это огорчило, поскольку в изоляторе был совершенно собачий холод — вода в кружке на верхних нарах замерзала! — а на работу меня не выводили, так как я была «пересыльная».

Егорушка же — ликовал! Его «камера» была рядом с моей. Проще говоря, это был один маленький барак, разделенный ледащей перегородочкой на мужскую и женскую половины. Преступников, кроме нас двоих не имелось, и потому Егорушка, возвратясь с работы, имел возможность хоть всю ночь изливать мне сквозь щели перегородки свои горячие чувства, не давая мне спать в обычное для этого время. Приходилось отсыпаться днём.

Но сквозь щели в перегородке проходили не только «чувства», но и папиросы, (тогда я ещё курила), а после некоторых усилий со стороны Егорушки стали пролезать даже апельсины!.

Так, перед самым Новым годом мы оказались в тесном соседстве — разделенные всего лишь рядом тоненьких досок! Егорушка боялся только одного, как бы меня не взяли ненароком на этап, или не выпустили бы из изолятора ради Нового года!

Но судьба была к нему благосклонна, и мы сполна отсидели все свои пять суток и встретили новый 1938 год по разным сторонам нашей общей перегородки…

…В общем всё было бы ничего, если бы не холод! У меня был мой тёплый меховой «Полуперденчик», как его называли в лагере — нечто вроде меховой куртки, которую я захватила с собой с Водораздела, но к сожалению, она доходила мне только до колен, и как я ни скрючивалась ночью, колени вылезали наружу и отчаянно замерзали.

Кончилось это сильнейшим приступом суставного ревматизма, и вскоре после изолятора я попала в лазарет, где провалялась недели две.

В конце концов, это тоже было неплохо, так как в лазарете было тепло, и, как говорят в лагере — «абы время шло». Оно и шло, конечно, но боли в коленках были такие, что я не могла встать на ноги.

…Но всё проходит! Помаленьку прошло и это. Меня вернули в пересылку и вскоре взяли на этап.

На этот раз, мы ехали «с комфортом» в так называемом «столыпинском» вагоне — пассажирском, но приспособленном для перевозки заключённых. В каждом отделении там было четыре места, забранные решёткой от прохода — как вольеры для зверей.

Нас было всего три женщины — я и две уркаганки, но вполне дружелюбные и приличные.

Как выяснилось позже, мы ехали в Кемь.

Но вот, приехали… По «личным делам» нас вызвали из нашей клетки и вывели на перрон… Холод, метель, бррр! И сейчас в дрожь бросает, как вспомню! Стоим, ждем. Стражам нашим тоже холодно. Стоят, чертыхаются, кроют матом начальство. Оказывается, привезли — а сдавать некому, никто нас не встречает… А поезд не ждет, конечно, ведь это обычный пассажирский поезд — только один специальный вагон для заключённых.

Поезд постоял свои положенные 10–15 минут и отправляется дальше.

Ничего не поделаешь, хочешь-не-хочешь — посадили нас обратно в наш вагон и повезли в Мурманск. Там поезд постоял сутки, потом поехал назад (в Ленинград!).

На пути назад нас в Кеми опять никто не встретил, а в Медвежке какой-то конвой оказался на перроне и забрал нас.

Так, после путешествия в Мурманск, мы снова оказались в «родной» Медвежьегорской пересылке. Появление моё в бараках 58-й сначала произвело сенсацию!

…Но вся история с путешествием в Мурманск и обратно повторялась (с перерывами в 2–3 недели)… три раза! Так что при очередном отъезде я уже прощалась «до скорого свидания» и мои друзья поджидали меня через пару дней назад.

Один из таких приездов моих был отмечен чаем с какими-то вкусными вещами — не помню — то ли пирожными, то ли конфетами — в мужском бараке, где была плитка, на которой можно было вскипятить чайник.

Было это вечером, когда служащих управления привели с

работы, и мы, человек пять мужчин и женщин, сидя на чьих-то нарах весело болтали, распивая чай из жестяных кружек. Время было раннее и до отбоя было ещё далеко, но наши недремлющие «воспитатели» — сами из заключённых — тут же накрыли это «противозаконное» чаепитие.

Женщины были изгнаны из мужского барака, а дня через два был оглашён приказ, карающий нарушителей дисциплины. И снова я получила, на этот раз, правда, всего трое суток изолятора за «связь» с… инженером Красным!

Большей глупости и несуразицы они придумать не могли. Миша Красный, как все его звали, несмотря на то, что по возрасту он несомненно относился к старшему поколению, был на редкость симпатичным и добродушным человеком, всеобщим любимцем, всегда старавшимся помочь товарищам, чем только мог.

Мне, например, он приносил книги, так как работая в управлении, всегда мог достать их у вольнонаёмных друзей или в библиотеке. Иногда угощал чайком, но никаких намёков на романтические отношения между нами никогда не было. Он был женат и никаких «романов» в лагере не заводил. И все в лагере, где всё всегда известно, как в небольшой деревушке, знали об этом.

Вот почему оглашение приговора на утренней поверке во дворе было встречено гомерическим хохотом и рукоплесканиями, тем более, что сам Миша Красный был ужасно смущён и даже расстроен — за всю свою лагерную бытность он впервые подвергался взысканию, да ещё таким курьезнейшим образом!.

Впрочем, отсиживать нам не пришлось — меня снова взяли на этап, оказавшийся на этот раз последним, а Мишу, по-видимому, «простили» — слишком уж глупо все-таки было — солидного инженера, чуть ли не начальника какого-то отдела, сажать в изолятор, да ещё по такому идиотскому поводу!

…Когда через семь с половиной лет я «освободилась» в Соликамске, под Пермью, и вышла на волю, первый раз без конвоя — первым знакомым человеком, которого я встретила и который привел меня в свою служебную столовую и приютил у себя на первую мою «вольную» ночь — был Миша Красный. Он освободился немного раньше, остался работать и жить в Соликамске, где было расположено Управление Соликамскими лагерями.

Мне же, после освобождения из Соликамской пересылки, было предписано ещё тюремными властями, отправиться самостоятельно в Тимшерскую больницу трудармейцев, где началась моя «вольнонаёмная» работа в качестве медсестры,

продолжившаяся в Боровске до 1949 года, когда все бывшие лагерники со «страшными» статьями были арестованы вновь и отправлены в бессрочную ссылку в Сибирь.

Глава IV
Швейпром

На берегах Кеми

Наконец меня все-таки привезли в Кемь. Лагерь, в который я попала, назывался — «Швейпром». Это был женский производственный лагерь — предприятие, расположенный в нескольких километрах от города, на берегу реки Кеми, у самого её устья, при впадении в Белое море.

Берег этот не отличался живописностью. На нём не было никаких признаков растительности. Вдоль берега моря тянулась ржавая колючая проволока, отделяющая лагерь от воды. Отсюда, в ясную погоду, что, правда, бывало очень редко, можно было видеть слабое зарево Соловецких огней. Соловецкие острова были расположены в Белом море как раз напротив нас, всего лишь километрах в восьмидесяти.

В самом лагере, похожем на небольшой посёлок с улицами и большими корпусами швейной фабрики, с 6-ю — 7-ю двухэтажными бараками, обнесёнными высоким забором, тоже не было никакой зелени.

У самой реки была небольшая, но тоже голая, горка, носившая романтическое название «горки любви», ибо это было единственное более или менее укромное местечко, где в свободные часы могли повстречаться и погулять парочки. Со стороны реки вышек не было — только колючая проволока тянулась между берегом и водой.

Впоследствии, когда я прижилась на Швейпроме, я любила, если позволяла погода, бродить по горке, или, присев на камень, любоваться гладью моря и белыми барашками, вдруг вскипавшими на гребне волны, готовой обрушиться на наш пустынный берег…

Улицы верхней части зоны, вдоль которых стояли бараки, были довольно широкими и выложенными камнями, иначе в весенние и осенние распутицы по ним было бы не пройти.

По утрам и вечерам на фабрику и в обратном направлении двигались толпы женщин, похожие на колонны демонстрантов на городских улицах. Быть может, поэтому бараки с их улицами назывались — «колоннами»?.. Первая колонна… Вторая… Третья

и так далее.

Особенно же шествие женщин напоминало праздничную демонстрацию ещё и потому, что у широко распахнутых ворот фабрики, куда вливалась колонна «демонстрантов» — в 6 утра, или в 6 вечера — неукоснительно, и во всякую погоду, гремел лагерный оркестр — торжественно встречая смену — дневную или ночную.

Швейпром работал круглосуточно, в две смены, каждая по 12 часов. Оркестр гремел и в дождь, и в пургу, и, конечно, давно никто не обращал на него никакого внимания, а возможно и просто не слышал даже…

Но для Культурно-воспитательной части (КВЧ) лагеря это значилось важным «мероприятием» и придавало особый престиж лагерю: во-первых, бодрая, весёлая и энергичная музыка взбадривала работниц; во-вторых, воспитывала ленивцев и нерадивых, опоздавших на общий развод и спешащих бегом догнать уходящую колонну; — их оркестр с презрением обливал «Чижом» — «Чижик-чижик, где ты был?!»…

Несомненно — укор и лёгкая сатира — лучший способ «перековки» преступников, для чего и существовали лагеря — так очевидно считали в КВЧ.

Зато если ворота фабрики запирались, и к этому моменту оказывались ещё опоздавшие — тут уж было не до «Чижа»! Их тут же отправляли в КУР — колонну усиленного режима, где они и получали соответствующие взыскания и сроки «отсидки».

Иногда на разводе появлялся «САМ» — наш «хозяин» и полновластный правитель, начальник лагеря — Дудар, происходивший из венгров. Огромный упитанный детина, с довольно добродушной физиономией. Впрочем, он и действительно был достаточно добродушен и терпим: на самую виртуозную матерную брань, на которую не скупились наши уркаганки, он не обращал ни малейшего внимания, и сам крыл не хуже. В общем, был бы «невредный», если бы не приступы бешеной ярости, которые вдруг нападали на него по самым пустяковым причинам. Тогда он лишался не только разума, логики, и членораздельной речи, но и вообще, образа человеческого.

Мне самой случилось оказаться причиной такой вспышки, позже я расскажу об этом трагикомическом происшествии, обернувшемся для меня немаловажными последствиями.

Здесь же, у ворот, он хлопал в ладоши, притоптывал сапогами и ревел во всю глотку, перекрывая гром оркестра: — А ну, давай!.. Веселее!.. Шире шаг, мать твою!..

Ко всему человек привыкает. Привыкла и я. Но впервые

увидев зрелище «развода под оркестр» — только кумачёвых флагов не хватало, — я пришла в ужас, и мне чуть не стало плохо…

Женщины шли молча, с усталыми, невыспавшимися лицами, невидящими, казалось, глазами, шли туда, где их ждали новые двенадцать часов однообразной, утомительной, но требующей неотрывного внимания работы. Две-три пятиминутные передышки и одна двадцатиминутная — на «обед». «Обедали» тут же, за машинкой, принесенным с собой ломтём хлеба, иногда немного смазанным повидлом, или посыпанным сахаром…

Швейпром был женским лагерем. Работа считалась легкой, и работницы фабрики были женщины, получившие «третью категорию» при медицинском осмотре, то есть на лесоповал, или другие тяжёлые работы — негодные. Конечно, за машинкой сидеть — не лес валить, и они справедливо считали себя — «счастливыми»…

Основным контингентом работниц Швейпрома были бытовики: деревенские бабы, раскулаченные и бежавшие с мест поселений; работницы с фабрик — в те годы существовали какие-то «указы», по которым за катушку ниток, обнаруженную в кармане на «проходной» давали десять лет; были и посаженные по 58 статье, но в основном за болтовню, анекдоты и просто по глупости.

Было довольно много украинок. Эти несчастные женщины сидели за «людоедство», получили по десять лет, и почти все были отправлены на Соловки. Теперь их почему-то переправляли к нам на Швейпром.

В начале 30-х годов на Украине был лютый голод, как потом говорили, специально устроенный Сталиным.

Не знаю, были ли случаи прямого людоедства — то есть убийства с целью людоедства. Я о таких случаях не слышала, хотя со многими из украинок познакомилась довольно близко и даже подружилась. Некоторые, действительно, ели трупы. Рассказывали они об этом с содроганием и со слезами. Большинство имело детей и спасалось от голодной смерти ради них… Ужас пережитого остался с ними на всю жизнь.

Я не понимала, и сейчас не понимаю, почему за это несчастье, эту катастрофу, постигшую их, надо было ещё **наказывать** их тюрьмой?..

На фабрике это были лучшие работницы, выдававшие продукцию высшего сорта, без единого «огреха», и делавшие чуть ли не по две нормы за смену.

Были тут и молодые ещё девчонки, сидевшие за мелкие кражи, не успевшие превратиться в настоящих уркаганок. Их

было немного, но всё же они кое-как задерживались на фабрике, и к ним относились весьма снисходительно.

Настоящих же уркаганок усадить за машинку и приохотить к нудной работе — не удавалось, и от них начальство старалось поскорей избавиться. Однако в лагере их было достаточно — в основном это были представительницы «колонны мамок». Такая специальная «колонна» существовала у нас на Швейпроме. Это были не только наши, швейпромовские урки, но и присланные из других лагерей.

Несмотря на преследование «сожительства», оно существовало во всех лагерях и было прежде всего привилегией уголовного мира. Преследование — преследованием, а заделалась мамкой — тут тебе и декретный отпуск, и усиленное питание, и вольготный отдых в «колонне мамок», откуда в течение года на работу никуда не посылали. Детишки особенно не досаждали — содержались они отдельно при лазарете, с надлежащим питанием и уходом. Почти никто из матерей не кормил детей грудью.

После года, если на воле не находилось родственников, желающих взять ребенка, их отправляли в детский дом.

В общем, быть «мамкой» было выгодно и удобно, и я знала уркаганок, которые нарожали в лагере по 6–7 детей…

Как раз в то время в Советском государстве был введен «хозрасчёт». Ну, а лагерь никогда не желал отставать от «воли» — всё то же самое, только территория поменьше, да обнесена колючей проволокой. На Швейпроме, как и в некоторых других лагерях, тоже ввели свой хозрасчёт.

Итак, никаких тебе талонов на обед. Никаких пайков — ни ударных, ни штрафных. Сколько заработал — столько и получи — деньгами. И отправляйся в столовую, бери там приглянувшийся (и по твоему карману!) обед, в ларёчке купи хлеба и конфеток к чаю…

Всё это было бы хорошо, если бы не… нормы. Ах, эти нормы! Хронометражисты со своими хронометрами так и шныряли между конвейерами. Так и зыркали глазами — нельзя ли тут сократить время на операцию, нельзя ли отнять у нормы хоть несколько секунд?.. В результате, нормы были так жёстки, что заработка едва-едва хватало на пропитание.

Служащие — бухгалтера, счетоводы и т. д. — получали маленькую, но твёрдую зарплату, на которую всё-таки «прожить» было можно.

А украинки с Соловков, попав в лагерь, где можно было заработать лишнюю копейку и послать её домой — просто ожили. Были они женщины работящие, толковые, быстро освоили

электрические машинки, поняли идею и выгоды хозрасчёта и быстро одолели нормы.

— У, сволочи — шипели на них остальные — из-за вас и нормы повышают! — и это тоже, к сожалению, было правдой.

Когда я прибыла на Швейпром, меня тоже посадили за мотор — так назывались здесь производственные швейные машины, работавшие на электричестве от сети.

Стоит на такой машине ногой чуть коснуться педали, как проклятый мотор рванет с такой скоростью, едва не отхватив тебе все десять пальцев, что кусок материи, который ты держишь в руках, моментально промчится под лапкой машины с быстротой курьерского поезда, собирая сборку, виляя зигзагами или вовсе выскакивая из-под лапки!

Если бы можно было как-то поучиться, потренироваться, — но лагерное начальство считало, что обучение таким простым операциям, как работа на швейной машинке, просто баловство и ненужная потеря времени. Да и какая женщина не умеет шить на швейной машинке?!

Но ведь вот беда: моторы стоят на конвейере, и у каждого мотора своя операция, а всего десятки операций, в итоге которых получается гимнастёрка, шаровары или бушлат.

Операции, действительно, не сложные: одна операция — стачивается спинка; другая — полы; третья — рукава; четвёртая — вшивается правый рукав; пятая — левый, и так далее. И чтобы это «далее» шло ровным потоком, и чтобы с конвейера сходили без задержки одна за другой готовые гимнастёрки, надо, чтобы каждая операция занимала точно отведенное ей время (недаром вокруг конвейеров шныряют хронометражисты). Гимнастёрка должна была быть сшита хорошо, без брака, «нормально», во всяком случае.

…Меня посадили для начала на «пустяковую» операцию — подрубать подол бушлата. Показали, как просто и ловко это делается. Вот так — загибается, вот так — закладывается, вот так — опускается «лапка» и… трррррр — готово! Подол подрублен аккуратненькой тоненькой линией.

Я старательно загибаю, подкладываю, опускаю «лапку» и, наконец, трогаю ногой педаль — трррррр!!.. Господи! Куда же оно летит, куда мчится?!.. Изо всех сил, обеими руками хватаю, держу — какое там!

И вот, в моих руках моё произведение: какой-то фестонообразный колокол — не хватает только языка, чтобы ударить в его бока! Это подол будущего бушлата!..

Но кругом никто не смеётся, тут не до смеха — бушлат-то бригадный! Брак ляжет на бригаду. А бригада — на хозрасчёте…

На меня глядят недобрые глаза, насуплены брови. Уже слышится знакомое по 37 году: Ууу… интеллигенция заср… Контра проклятая!..

Несколько дней промучилась я за мотором. Конечно, чуть лучше пошло, да и операции нашлись ещё проще — сшивать карманы, например — их кроили из лоскутов, — там не очень-то видно, как они сшиты, и материя уже не вырывалась из рук таким вихрем; оказалось, что и педаль можно заставить как-то слушаться, едва трогая её ногой — но тогда всё шло очень медленно, и за моей спиной накапливался ворох полуфабрикатов, и я снова задерживала бригаду. В общем, я оказалась настолько неспособной швеёй, что с конвейера меня сняли.

Раскройный цех

Помыкавшись за мотором на разных конвейерах, с которых меня немедленно прогоняли, испробовав множество разных «операций», из которых мне не удалось усвоить ни одной, я неожиданно прибилась к делу, которое оказалось не только легким для меня, но даже и интересным. А для Швейпрома — и весьма полезным.

Раскройный цех Швейпрома занимал второй этаж одного из корпусов фабрики. Производство было массовым — Швейпром шил одежду на все северные лагеря ГУЛАГа.

Для каждой вещи — телогрейки, бушлата, шаровар и т. д. — имелись картонные стандартные выкройки, которые назывались лекалами. Они изготовлялись согласно ГОСТу — ни на сантиметр больше, ни на сантиметр меньше. Лекала раскладывались на материи. Для каждого изделия была установлена норма материала при той или другой ширине материи.

Уложить выкройки так, чтобы они заняли хотя бы на один, или даже на полсантиметра меньше отведенной нормы — значило сэкономить сотни метров материи — ведь шились ***десятки тысяч*** штук.

Раскладка выкроек на материи — это нечто вроде игры в головоломки. Надо десятки раз прикинуть и так, и этак, где-то кусочек отрезать, но в таком месте, где ***разрешается*** сделать надставку, и снова переложить ещё и ещё раз.

Нормы были так жёстки, что не то что сэкономить материю, но и чтобы уложиться в норму, иногда опытный раскладчик бился и день, и два. А материя постоянно шла разной ширины, самой непредвиденной, и тут тоже имело значение даже пол-сантиметра разницы — норма на раскладку будет уже не та. А уж если удавалось сэкономить — это было целым событием! Хотя самим

заключённым от этого было ни тепло, ни холодно, так как все премии доставались начальству — даже сам «лекальщик» (так назывались раскладчики) не получал ничего — но неизвестно почему, радовался весь цех, а лекальщик ходил в именинниках!

Удивительный феномен человеческой психологии…

Чтобы сохранить в памяти раскладку на следующий случай, если придёт метраж такой же ширины, делали зарисовку этой раскладки на клеёнке. Сотни таких клеёнок с намелованными на них раскладками висели по стенам раскройного цеха — уже и вешать было некуда! И давно уже стали делать зарисовки на кальке в маленьком масштабе — 1:10, например. Потом из таких зарисовок составлялся целый альбом, что было, конечно, гораздо удобнее. Но для такой работы уже требовался чертёжник.

…Я не помню, как я попала в раскройный цех. Наверное, меня привели туда женщины, которые работали на «размеловке». Каждую выкроенную деталь, от единицы до ста, надо было пометить мелом, так как кроилось сразу 100 кусков материи. А материя — это полотнища, каждое метров 20–30 в длину, и они могли быть одинаковые по ширине, но разные по цвету. Поэтому каждая выкроенная деталь должна была сочетаться со ***своим*** полотнищем — для этого и метились мелом детали раскроя. И если случалась ошибка в размеловке — пропуск, или наоборот дважды повторенный номер — на всех остальных деталях, до ста — приходилось стирать неверные номера и заново писать новые — огромная потеря времени и недобор «нормы» для размеловщицы.

Конечно, и тут никакой нормы я сделать не могла. Но, слава Богу, хоть не задерживала других — это был не конвейер, и я над своей кипой раскроя могла копаться хоть до вечера, и копалась!..

Но тут мне неожиданно крупно повезло! На моё счастье в раскройном цехе в это время как раз не было чертёжника — освободился, или на этап взяли?

Кто-то сказал Володьке, начальнику нашего раскройного цеха, что я — чертёжница, и он предложил мне делать в маленьком масштабе зарисовки раскладок.

Какое это было счастье!.. Тут я оказалась на высоте!

И так как зарисовки эти занимали у меня совсем немного времени, я, чтобы не слоняться зря по цеху, и сама стала понемножечку раскладывать выкройки — «играть» с лекалами в «головоломки». И вдруг оказалось, что это получается у меня даже очень здорово, и через короткое время я сделалась «ведущей» раскладчицей раскройного цеха! И не одну сотню метров материи сэкономила для Швейпрома.

При очередном посещении цеха начальством я была

представлена «самому» Дудару, как «лучшая лекальщица», что не помешало мне в будущем «загреметь» на общие работы с его «лёгкой» руки!..

Пока же работа моя была лёгкой, не утомительной ни физически, ни умственно — самой приятной из тех, которые довелось мне перепробовать за годы лагерей. И обстановка была приятной.

В огромном цехе было тихо и светло, совсем мало народа. Через весь цех протянулись длинные, метров по 20–30 столы, на которых раскладывалась материя. Одно полотнище на другое, потом третье, четвертое — и так до ста.

Сначала на верхнем полотнище размечались куски — норма для данного раскроя, и в них, в этих кусках, раскладывались, глядя на зарисовку, лекала и обрисовывались мелом. Потом включались электрические ножи, и тогда тишина цеха нарушалась басовитым жужжанием — но это не шло ни в какое сравнение со стрёкотом и рокотом сотен моторов в пошивочных цехах.

«Резаки» — это были мужчины — резали все сто слоёв материи сразу. Я долго не могла смотреть без трепета на эту операцию — слишком страшно. Лезвия ножей с бешеной быстротой носились вверх и вниз в особом станке, который резак вел по меловой линии. Нужно было большое искусство, чтобы разрезать материю точно по линиям выкройки, никуда не заехать, ничего не испортить — как можно было этому выучиться?.. Ведь бывали детали и совсем крохотные — какой-нибудь хлястик, карманы, надтачки. Я всегда поражалась искусству резаков. Не могла смотреть, как одна рука ведет тяжелый станок с ножами, а другая, совсем рядом, придерживает материю. Никаких «охранительных» приборов не было. У одного старого резака не хватало половины указательного пальца на левой руке… Но вот — всё равно — работал.

…Заведовал раскройным цехом молодой, и как оказалось, весьма симпатичный парень — Володя, которого большей частью, впрочем, называли «Володькой», на что он ничуть не обижался. Был он дельным, толковым, всё понимающим с полуслова, и обычно, — спокойным. Но в рот пальца ему не клади — умел «отбрить», как надо!

Был он из «соцблизких» — бытовик, сидел не то за растрату, не то за подделку каких-то документов. Был он «в доску свой» и с работягами, и с начальством, однако начальству никогда ни на кого не жаловался, умел расправиться сам. И в цехе его все любили.

Имелась у него лагерная «жена», и на его «семейную жизнь»

лагерное начальство смотрело сквозь пальцы.

Завцехом он был отличным — цех выполнял и перевыполнял нормы, брака не делал, давал экономию, столь приятную и выгодную начальству. Взамен Володе разрешалось (негласно, конечно!) — сожительство.

Это была довольно-таки трогательная пара. Решительный и насмешливый Володя, не лезший за словом в карман, несущий в бога-душу-мать любого ослушника — и его лагерная жена, хорошенькая эстоночка Эмма. Верх аккуратности, всегда подтянутая, хозяйственная, казалось, она в своей гладкой шапочке-чепчике и белоснежном фартуке с большими карманами только что выплыла из сверкающей чистотой и медной посудой собственной кухни где-нибудь в Таллине.

Сдержанная, тихая, немногословная — она верховодила своим Володей, как хотела, но никогда не злоупотребляла этим.

При ней Володя прикусывал язычок, и ни в чём не смел ей перечить. Любая вспышка его угасала, стоило только Эмме взмахнуть своими пушистыми ресницами: — Ты это что?..

В Володином «кабинете» — закутке, отгороженном от цеха, — имелась электроплитка, а в небольшом шкафчике помещалась всякая посуда и продукты. Эмма вела хозяйство — варила ужины и обеды — в столовой они не питались. Володя — свой в доску и с охранниками, доставал мясо и прочую провизию, которой не было в зоне. Да и сам он, как бытовик, мог получить пропуск в город, но Эмма отпускала его неохотно, так что этой привилегией он почти не пользовался. За три года я ни разу не видела, чтобы он принес в зону водку. И Эмма говорила уверенно: — Мой Володя не пьёт!

При «кабинете» была ещё кладовочка, в которой хозяйственная Эмма устроила премиленькую спаленку.

Эмма сидела по 58-й статье, но имела всего лишь десятый пункт и пятилетний срок, из которого просидела уже три. Работницей она была отличной, никуда из-за «мотора» уходить не хотела, вырабатывала чуть не две нормы и зарабатывала больше, чем её Володя, который сидел на «зарплате». Оба ждали освобождения и планировали будущую совместную жизнь на воле.

…Так как моя «чертёжная» помещалась тут же, в Володином «кабинете», я была невольной свидетельницей семейной жизни этой пары. Сначала меня это сильно смущало, и я старалась больше тереться в цехе, оставив парочку наедине.

Если Эмма работала в ночь, то весь день она проводила у Володи. Раскройный же в ночь не работал — тоже его огромное преимущество!

Но очень скоро мы как-то привыкли друг к другу. Володя с Эммой перестали меня стесняться, а я — их. И мы стали жить спокойно и дружно. За всю мою трёхлетнюю жизнь на Швейпроме, которая прошла почти до конца в раскройном цехе, у меня ни разу не было никаких недоразумений и трений с Володей.

А когда у нас появился лагерный театр, и расцвела моя «артистическая деятельность», Володя оказался одним из самых горячих «меценатов» нашего театра — освобождал меня ото всякой работы — когда, и насколько нужно. Снабжал театральную костюмерную любым количеством обрезков, а для пошивки костюмов умудрялся доставать кой-какой метраж. Вполне возможно, что из «сэкономленных» мною раскладок!..

Когда память уходит в минувшее, и год за годом встают времена, проведенные в лагерях — Швейпром представляется мне каким-то тихим, спокойным островком — солнечными деньками, передышкой.

Солнца, как такового, на самом деле здесь почти не бывало — зимой вьюги и метели, весной — холод и туманы, летом — дожди. Редко-редко выдавались солнечные и тёплые деньки, когда вечером можно было посидеть на Горке за фабрикой, полюбоваться на взморье, освещённое вечерним, но всё ещё не заходящим солнцем…

Зимой — нет-нет и очарует вдруг звёздная ночь, когда небо бороздят всполохи северного сияния, похожие на лучи прожекторов. А вдалеке, где-то на горизонте, светлеет над морем ореол Соловков…

Когда наступают туманные белые ночи — призрачно-неправдоподобные, таинственные и холодные — всё становится нереальным и таинственным. Выйдешь из барака в такую ночь — как в белое молоко окунешься, даже жутко становится…

Да, ни природой, ни климатом не мог похвастаться наш Кемский Швейпром… Недаром о происхождении названия «Кемь» в лагере ходил нецензурный, но довольно меткий анекдот: Кто-то из императоров Российских — не то Павел, не то ещё кто-то, рассердившись на неугодного подданного, на жандармском рапорте широко прочеркнул:

«Сослать к еб… матери!»

Перепуганные чины устрашились спросить уточнения — где именно место сие находится?.. И сослали бедолагу в самое поганое место, которое сумели найти, а место ссылки для краткости нарекли — …«К. Е. М».

Но именно в этом невзрачном месте, под скудным северным

солнцем и отогрелась моя душа, и я вошла в колею особой, верней обособленной, жизни с её собственными переживаниями, тревогами, волнениями, неудачами и радостями…

Думаю, невероятным это покажется для людей, которым, к счастью, не привелось пройти через годы лагерей: как может примириться с подневольным положением душа человека измотанного, издёрганного, замученного несправедливостями — человека, у которого изуродована и изломана вся жизнь…

Но всё же это происходит. И не только у меня одной, как я в этом убедилась. И не только у людей из интеллигенции, а говоря скромней — у людей образованных — тех, кому посчастливилось попасть на работу по специальности в Управления лагерей счетоводами, бухгалтерами, плановиками, инженерами и т. д. но даже у самых «простых» людей — малограмотных, или вовсе безграмотных.

Если люди ещё не стали «доходягами», которым уже ни до кого и ни до чего, и которые физически уже ни к какой работе не способны, если они — как наши швейпромовки — могли ещё существовать, втянувшись в свою скучную, однообразную и многочасовую работу — они всё ещё оставались людьми — со своими воспоминаниями, со своими надеждами когда-нибудь вернуться домой. Или, как наши украинки, работая на пределе сил, чтобы хоть один рубль в месяц был отослан домой… И ничто человеческое было им не чуждо, потому что душа в человеке живет — вопреки всему.

…И ещё был этот год — конец 38-го и начало 39-го — годом вспыхнувших надежд, великих чаяний, когда отхлынул грозный девятый вал 37-го и вынес на поверхность уцелевших от кораблекрушения… И кое-кому удалось спастись.

Вдруг начались так долго ожидаемые пересмотры дел, и несколько человек даже из нашей «политической зоны» — были освобождены.

Какое было ликование!!..

Перестали бояться вызовов в «3-ю часть». Наоборот, с трепетом и нетерпением ждали их. Гадали, сопоставляли, предполагали — кто мог быть следующим?.. Но ничего угадать было невозможно: освобождение получали люди, осужденные по самым разнообразным статьям, и принадлежавшие к самым разнообразным социальным кругам. И каждый втайне был уверен, что следующим — будет именно он!

Но… взметнувшаяся было волна быстро опала, вызовы в «3-ю часть» на предмет освобождения постепенно прекратились, и радости и волнения — угасли.

…Конечно, наш Швейпром не был «доходяжным» лагерем.

Нет — тысяча, если не больше, работниц обитавших в лагерных бараках, доходягами не были. Женщины, измученные двенадцатичасовой нудной и однообразной работой, скудной и недостаточно «калорийной» пищей, даже во времена недолгого «хозрасчёта», работали **на** пределе сил, но всё же ещё не **за** их пределами.

О «колонне мамок» я уже говорила — те жили и вовсе не плохо. Неплохо жилось и нашим мужчинам. На всю массу женщин их было всего человек сто пятьдесят — на исключительно специфически «мужских» работах — механики, наладчики, инженеры и т. д. Естественно, они жили значительно лучше, прежде всего потому, что и зарабатывали, конечно, побольше. Кроме того, они пользовались всевозможными «поблажками», многие, например, имели свои «служебные» закутки, где они могли тайком принимать своих лагерных сожительниц.

Служащие Управления, как я уже упоминала, получали зарплату, на которую прожить всё же было можно, а в бытность без хозрасчёта — получали пайку в 500 граммов хлеба, с чем тоже «прожить» было можно, при сидячей работе, не требующей физических сил.

И все эти люди, несмотря на тяжёлый, подневольный труд и почти рабское положение, всё же оставались нормальными людьми с нормальными человеческими интересами и отношениями.

И среди населения нашего Швейпрома, как и среди всякого другого, встречались люди удивительные, выдающиеся своими душевными качествами, складом ума и способностями, с удивительными историями своих жизней.

Здесь, на Швейпроме встретила я замечательного человека, необыкновенно талантливого актёра — Фёдора Васильевича Краснощёкова.

О нём и некоторых других я хочу рассказать особо, как и о созданном им нашем лагерном театре, который вновь заставил меня, как и многих других, почувствовать себя на гребне жизни и забыть на время, что мы — заключённые.

Великая сила искусства

…Фёдор Васильевич Краснощёков был человеком с кристально-чистой трогательно-наивной душой, необычайно чутким и внимательным к окружающим, никому никогда не только зла не причинившим, но даже в мыслях не осудившим **никого** и никогда… Был он человеком большого таланта — если

бы суждено ему было дожить до реабилитации — ходил бы в «заслуженных» или в «народных», глубоко в этом убеждена.

Театр любил он страстно, самозабвенно, с самого детства. Любовь эта спасла ему жизнь, верней — продлила на несколько лет…

Не знаю, играл ли он по системе Станиславского, или по какой-нибудь ещё, или вообще был артист «от Бога» — но лучшего Шмагу («Без вины…»), искреннейшего Бублика («Платон Кречет»), — я не видела никогда, хотя видела эти спектакли в ведущих театрах Москвы и Ленинграда. И даже старый актёр в «Славе», несмотря на ходульность и выспренность Гусевского стиха — жил и чувствовал на сцене, вызывая понимание и сопереживание зрительного зала.

Фёдор Васильевич был артистом профессиональным. 1931-й год застал его в Киеве, где он организовал театр Красной Армии. Сам он был ведущим актёром на характерных ролях и главным режиссёром. Театр рос, и быстро выдвигался в первые ряды советских театров того времени.

Думаю, что мало кто помнит «Киевское дело военных» 1931-го года. Я лично ничего об этом деле не знала, хотя к тому времени и начала уже работать в газете. Очевидно, оно не очень-то освещалось в прессе.

Но ещё более удивительно было то, что и сам, арестованный именно по этому делу, Фёдор Васильевич — ничего не знал об этом деле и о своих «однодельцах»! «Загремел» только потому, что был руководителем «военного» театра.

На допросах его особенно не мучили, ничего от него не добивались, а быстренько припаяли десятку и отправили на Соловки, где он и просидел семь лет, прежде чем появился у нас на Швейпроме.

Фёдор Васильевич, с детства влюбленный в театр, всегда и всецело был поглощён им. Вне театра была только нежно любимая жена и маленький сынишка, — конечно же будущий актёр! И, казалось, что это — навсегда…

Фёдор Васильевич не заметил, как понемногу стала отдаляться от него семья, как постепенно угас у его жены интерес к его работе, к театру. Он всегда был уверен, что жена разделяет его упоение театром — живет его жизнью…

На Соловках он получил от неё единственное письмо, извещавшее… о смерти сынишки: «…Ни тебе, ни мне не дано воспитать Бориса»…

Мальчик умер от скарлатины. В конце письма были странные и непонятные слова о том, что сейчас такое время, когда «… никому ни до кого»… и просьба не писать ей.

Это было давно, когда Фёдора Васильевича только что привезли на Соловки. Дело военной контрреволюционной организации в Киеве прокатилось в 1932 году, когда люди ещё не знали, не ведали, что скрывает за своими стенами Лубянка, что готовят им грядущие годы… Впрочем, не больше знали об этом и киевляне — и даже сами «герои своего дела»…

Фёдор Васильевич не только не знал ни одного своего «сообщника», но и вообще не понимал — в чем его Краснощёкова, обвиняют?

И был он не чета даже мне — в 35-м году не понимавшей — в чём меня обвиняют, но как-никак имевшей «дворянское» происхождение, какие-то «связи» с «бывшей аристократией»; какие-то «мысли», идущие, как оказалось, вразрез с генеральной линией партии, и злостное непреклонение перед «великим кормчим»…

А он-то! — Сын плотника с Охты, с превеликим трудом вытянувший реальное (платить было нечем), а дальше помог дар Божий в виде актёрских способностей. Всегда искренне и дружелюбно настроенный к людям — **всем** людям, и сам всегда себя ощущавший простым, открытым человеком.

Человек душевный, любимый всеми, с кем он когда-либо соприкасался — будь то солдат, дворник, актёр, или даже лагерный уркаган — во всех он умел обнаружить что-то хорошее — так за что же его-то?..

«Дело организации» как обухом стукнуло по голове, ошеломило, ошарашило — но и тут он не брался судить: «Ведь я ничего не знаю… Политикой никогда не занимался… А вдруг?.. Может быть, что-нибудь и было?.. Лес рубят — щепки летят… Может, они больше знают?.».

И не столько за себя, сколько за гибель театра переживал. Что же дальше будет?..

Но письмо о смерти Бориски с загадочной припиской — «… никому ни до кого…» — было последней каплей. Друзья едва успели вытащить его из петли, устроенной из собственного кожаного пояска…

Однако время идет неумолимо. Идет безостановочно. Убивает, или излечивает…

На Соловках была одна работа: — сбор водорослей. Бродили по колена в воде и граблями вылавливали анфельции, прибитые волной к берегу. Потом их сушили и отправляли в Архангельск на дальнейшую заводскую переработку. Это уже ГУЛАГа не касалось.

Хотя соловецким узникам и выдавались высокие сапоги, но ноги всё равно постоянно были мокрыми; солёная вода разъедала руки. От постоянных пронзительных ветров не спасали никакие

бушлаты. Вряд ли долго выдержал бы такую работу Фёдор Васильевич. «Загибались» и куда более крепкие люди! Здоровьем и крепостью сложения он не отличался. Но… спас новый поворот судьбы.

На Соловках, как и в каждом лагере было начальство. И начальству было скучно. Ведь Соловки — не город. Ни тебе ресторана, ни тебе киношки, ни даже пивной. Унылый двор, каменные стены, камеры — бывшие кельи братии, две церкви — одна с высокой колокольней, с которой видны сотни соловецких озёр, да широкая, сложенная из огромных валунов крепостная стена.

Пятьсот лет стоит стена — крепкая, добротная, ни один валун не вылетел. Недаром говорят, что с раствором на яичных желтках кладена — на века! А за стеной несколько домиков для вольнонаёмных — охраны, начальства, да несколько сараев для водорослей.

Впереди — неприветное, шквалистое море, берег с валунами; позади — острова с сотнями озер, с буйной зеленью — ведь рядом проходит Гольфстрим, и растительность на Соловках неожиданно богатая, почти южная — напоминает нашу среднюю полосу — и ели, и пихты, и берёзы, и рябины, и клён. А черники, брусники, грибов по осени — полным-полно!

Но заключённые их собирать не могут, а начальство это мало интересует. Да к тому же ведь это только летом и недолгой осенью, а в бесконечные зимние вечера?..

И вот, начальство решило устроить там свой, «крепостной» театр наподобие Медвежьегорского. В бывшей трапезной — огромном сводчатом зале редкой архитектуры — сводчатый потолок покоится на одной-единственной мощной каменной колонне — открылся «Соловецкий театр», на семь лет ставший жизнью Фёдора Васильевича Краснощёкова.

Театр, прославившийся по лагерям и ставший популярным даже у начальства на Лубянке.

Появился театр, появились друзья, единомышленники в искусстве — одним словом, жизнь. Жизнь за крепостными стенами, а дух — далеко за их пределами… Семь лет был Фёдор Васильевич бессменным режиссером и художественным руководителем Соловецкого театра. Отыскивал в камерах людей любивших театр и мало-мальски способных к сцене; учил их терпеливо и настойчиво, вселяя уверенность в свои способности, ещё больше развивая любовь к театру. Нашлись и два-три профессиональных актёра, Бог знает, по чьей прихоти и по каким путям попавшие на Соловки...

Тут я хочу внести в моё повествование маленькое

отступление, прямого отношения, к Швейпрому и театру не имеющее, но достаточно курьёзно характеризующее абсурдность логики наших Лубянских хозяев…

Итак: в одной из камер Соловецкого лагеря, в маленькой каморке на четырёх человек, где четырём было очень тесно — ведь камерами служили бывшие монашеские кельи — сидел некто Дондуков-Корсаков. Позже он был тоже вывезен на Швейпром, но тут как раз вскоре я была вывезена из Швейпрома, так что не успела близко с ним познакомиться, о чём и до сих пор жалею. Даже имени-отчества его не запомнила.

Конечно, одна фамилия его говорит, что он — из «бывших». История его жизни, которую в общих чертах он всё же успел рассказать, очень интересна, а в деталях, вероятно, и ещё более.

Из России он отступал с Врангелем и обосновался во Франции, где не раз бывал до всякой ещё революции, и которую искренне любил. Теперь, живя во Франции, он снова поступил на военную службу, но уже в армии французской.

Чем-то он отличился и получил орден Почётного Легиона, что давало ему пожизненную пенсию по окончании срока военной службы.

И вот, будучи уже пенсионером, он вздумал навестить своё родное отечество, которого столь долго не видал, но продолжал любить всей душой…

В результате он оказался на Соловках, да ещё «со строгим режимом», даже без вывода на работу! Подъёмные койки в камере убирались в 6 утра, и четверо заключённых проводили день, за исключением часовой прогулки, сидя на четырёх табуретках, безо всяких спинок, в своей келье. Если бы не книги, которые, к счастью, давали, хотя и меняли редко (а библиотека на Соловках оказалась весьма солидной), и не увлечение резьбой по дереву, что разрешалось, так как изящные вещицы, которые он делал, демонстрировались лубянскому начальству, как достижения «перековки», а затем поступали во владение начальством Соловецким, если только не забирались — Лубянским! Если бы не это — можно было бы просто сойти с ума. Кроме того, заключённый Дондуков-Корсаков отличался весьма строптивым характером и не раз за дерзкие ответы начальству попадал в карцер на трое, а то и на пять суток.

Что представляли из себя Соловецкие карцеры, расположенные в толщах крепостной стены — он не рассказывал — «Не для дамских ушек!» — считал он.

Железного здоровья был, видно, человек — вынес несколько лет такой жизни и в возрасте далеко-далеко не юном.

Был он человеком большой культуры, и театр любил очень,

но, конечно, в «актёры» допущен не был, как ни хлопотал за него Фёдор Васильевич.

Такова была не слишком уж «уникальная» история зэ-ка Дондукова — Корсакова. Но в ней была одна интересная «деталь», характеризующая неисповедимость логики НКВД. А заключалась она в следующем: будучи кавалером ордена Почётного Легиона, Дондуков-Корсаков имел от Французского правительства пожизненную пенсию. И теперь, находясь в заключении на Соловках в камере со «строгим режимом»… он **продолжал** получать свою заслуженную пенсию!

Ежемесячно лагерное начальство извещало его о получении денежного перевода из Франции, в чём он, зэ-ка Дондуков-Корсаков, должен был расписаться. Он и расписывался!

Сумма была не малой, даже по советскому валютному курсу, и значилась переведённой в советские рубли…

Можно ли представить себе что-либо более фантастическое: кавалер ордена Почетного Легиона, сидящий в советском лагере, получающий французскую почётную пенсию?!..

Каким образом французское правительство докопалось до адреса своего пенсионера — самому пенсионеру известно не было. К сожалению, из «собственных денег» зэ-ка Дондуков-Корсаков мог получать ежемесячно лишь несколько рублей «на ларёк», так что на его «личном счёте» накопилась, как он предполагал — значительная сумма, о чём он говорил с юмором, и безо всякой надежды когда-нибудь её получить.

— Так что, имейте в виду — я богатый жених! — говорил с обаятельной улыбкой этот приятный человек, уже почти старик, советский заключённый — кавалер Французского ордена Почётного Легиона…

Когда пришёл приказ на отправку Фёдора Васильевича в Кемь — это был удар для множества соловчан — не только заключённых, но и вольнонаёмных. Однако, приказ был «из центра», а «центру» возражать было нельзя.

Провожали его помпезно, с прощальным концертом: «…Не зависимо от сроков, уезжает Краснощёков!»… с объятиями и слезами, как и потом, через три года при отъезде из Швейпрома. Но об этом я и расскажу потом.

«Известность Краснощёкова» достигла Швейпрома задолго до его приезда, и приняло его наше начальство с превеликой радостью. А так как никаким техником он не был, определили его на какую-то пустячную работу при кладовой мелких деталей к моторам, из которой он мог отлучиться в любое время, не говоря уж о свободных вечерах, и заниматься своим «основным» делом — работой в клубе, хотя таковая работа в лагерных «профессиях» не

значится, и никакой оплате не подлежит.

Но наш милейший «начлаг» Дудар, хотя и поучал лагерников, что калитку надо открывать — «…из рукой, а не из ногой!» (это он увидев грязь на белых досках калитки), тем не менее — искусство очень «уважал», а «свой клуб» справедливо считал ценным и престижным украшением «своего лагеря», и получаемую премию за образцовую «клубную работу» с удовольствием клал в свой широкий и поместительный карман. В общем, не дурак был мужик.

Дудар не просчитался, предоставив Ф. В. всякие «бытовые» поблажки, тем более, что Ф. В. был крайне нетребователен, не пил, и ни в чём «таком» не нуждался. Но и Ф. В. тоже справедливо полагал, что ему — повезло.

Погоревав о своем втором потерянном театре (первый был в Киеве — помните?), он с энтузиазмом и вдохновением принялся за третий, хотя это и был всего — лагерный клуб…

За три года, он, действительно, сделал «чудо» из любительской сцены и нескольких актёров-профессионалов, оказавшихся у нас на Швейпроме.

Когда Фёдор Васильевич был вывезен с Соловков, он нашёл на Швейпроме двух-трех артистов из нашего Медвежьегорского театра. Один из них — Андрей Кремлёв — был солидным профессионалом на ролях героев-любовников, хотя, к сожалению, был уже не первой молодости. Второй по фамилии Привалов — сейчас уже не помню его имени — был профессиональным оперным певцом.

Женщин же актрис не было совсем. Вот почему Фёдор Васильевич, прослышав, что я тоже из Медвежьегорского театра — хотя я и пробыла там меньше чем полгода, и ни одной роли сыграть не успела — стал усиленно и настойчиво звать меня в свою «любительскую труппу», которую он начал сколачивать сразу по приезде с Соловков.

Но воспоминания о годе 37-м, о «Водоразделе» и обо всем, что с ним было связано, были слишком живы во мне, слишком больно ранили, и хотелось только одного — отдохнуть душой, не думать, не вспоминать, и не начинать «жить сначала»…

Но Фёдор Васильевич продолжал настаивать, мягко, деликатно, ласково — и такая искренность и задушевность жила в этом, на первый взгляд даже невзрачном человеке — что трудно было не почувствовать к нему симпатии, не поддаться его обаянию, которому поддавались все.

Невзрачным он казался только с первого взгляда, напоминая лицом простоватого Иванушку из русских сказок. Однако лицо это было артистично, подвижно, мгновенно менялось, становясь

то властным, то вдохновенным, то нежным, то лукавым. Низкий баритональный голос, которым он прекрасно владел, окрашивался самыми тонкими оттенками…

В конце концов я оказалась в «труппе», и на всю свою швейпромовскую жизнь снова со всей силой души увлеклась театром. Увлечение это было тем более целительным для меня, что проходило при участии Фёдора Васильевича, и было освещено его мягкой, скромной и нетребовательной дружбой и постоянной заботой — пусть в мелочах — в чём можно ещё проявить её в лагере? Здесь эти «мелочи» тем более трогательны и милы…

Наш швейпромовский клуб — клуб «богатого» лагеря, естественно тоже был богатым: Большой специальный барак на территории фабрики, с большим поместительным залом и большой — вполне театральной сценой, и даже с роялем! Правда староватым и расстроенным, на котором никто не играл, однако, впоследствии и он пригодился!

До прихода Ф. В. Краснощёкова, этот клуб пробавлялся редкими концертами, с типичным злободневным «лагерным материалом». Успеха эти концерты, не имели не только у устававших за мотором «работяг», но даже среди «мамок» и маявшихся от скуки, бездельничающих, «урок». Всем давно надоели бездарные злободневные частушки, и даже любимая уркаганами «чечётка» — постепенно приелась. «Работяги» и вовсе не ходили на эти концерты, и тем более — «58-я», хотя из нашей «политической зоны» — на концерты публика выпускалась. Обширный зал нашего клуба — пустовал, едва были заняты первые ряды скамеек…

И вдруг оказалось, что если к «злободневным частушкам», и даже к стихам такого «придворного поэта», каким был в те годы Демьян Бедный — прикоснётся истинное искусство, то и они способны тронуть человека, если хоть чуть осталось в нём ***человеческого…***

Молва о «новом артисте» быстро обошла весь лагерь и, постепенно, «публика» стала наполнять клубный зал. Вскоре все знали имя и фамилию «нового артиста» — Фёдора Васильевича Краснощёкова.

…Из лоскутов, всегда в изобилии водившихся в раскройном цехе, мы с Володькой сшили обезьянку. Была она порядочная — ростом с небольшую мартышку, и мордашка у неё получилась выразительная. Нарядили её в желтую кофту и красную юбчонку. Назвали обезьянку Тамарой Тимофеевной.

Фёдор Васильевич замечательно обыгрывал её. В его руках она была совершенно, как живая! Всё время вертелась,

порывалась забраться к нему на плечо, или обхватить его за шею. А то доверчиво прильнет к щеке и смотрит в зрительный зал своими внимательными чёрными глазками-бусинками.

Фёдор Васильевич пел с ней частушки и всевозможные куплеты на те же злободневные лагерные темы. Назывался этот номер — «мы с Тамарой Тимофеевной…»

И скоро эти выступления Краснощёкова «с Тамарой Тимофеевной» — стали любимыми номерами, и ни один концерт не обходился без них. И если долго не объявляли номера с Тамарой Тимофеевной, наша публика, непосредственная и требовательная, как дети, начинала топать ногами и вопить:

— …Тамару Тимофеевну давай!..

— Краснощёкова!

— Фёдора Васильевича!..

Больше всех бесновались урки — они веселились и хохотали от души, хотя юмористические куплеты были направлены, как раз именно в их адрес — неисправимых лентяев, разгильдяев, мелких воришек, матерщинников…

…Фёдор Васильевич был человеком необыкновенно доброжелательным ко всем, в том числе и к самым отпетым уркам, у которых наряду с извращенными и закоренелыми зверскими понятиями «морали», уживались и самые сентиментальные чувства и душевные движения. Они были одновременно и «звери», но, в какой-то мере, и «дети»…

В интерпретации Фёдора Васильевича все эти сатирические куплеты не носили характера «бичующей сатиры», но, скорее, веселого и достаточно добродушного юмора. А урки, надо сказать, к юмору очень чутки и отзывчивы.

Не думаю, чтобы кого-нибудь «перевоспитали» эти — по лагерным нравам — просто безобидные насмешки — но какая же это была разрядка, минута настоящего отдыха, веселья, смеха. Как отключали эти минуты от тяжелой беспросветной действительности. И, возможно — именно они были искрами, поддерживавшими, или во всяком случае, облегчавшими жизнь этой массы несчастных, издёрганных судьбой людей…

Не слишком «идейные», и не слишком «забористые», эти куплеты в профессиональном исполнении Фёдора Васильевича от души веселили зал. И я вовсе не говорю об одних только урках, я говорю о всём населении Швейпрома, об основной её массе — швеях, по 12 часов сидящих за мотором.

И они — представьте — мало-помалу тоже потянулись в клуб. После двенадцатичасового рабочего дня!

Не так скоро, но настало время, когда клуб наш, вмещавший человек двести, буквально трещал от напора публики. И хотя

были введены «билеты», которые раздавались бригадам в виде поощрения, помогало это мало. В клуб набивалось столько народа, сколько могли вместить стены.

Куплеты повторялись на «бис» 2–3, а то и 4 раза, до полного изнеможения Фёдора Васильевича.

Его приятный баритон, достаточно сильный для концертных выступлений, а главное, глубокая искренность и выразительность, которой дышала каждая нота — трогали зал.

Постепенно репертуар концертов стал расширяться. Привалов, профессиональный оперный певец — великолепно исполнял «Дубинушку». Стал складываться хор, с успехом исполнявший народные песни, очень тепло встречаемые залом.

А затем дело дошло и до романсов — старых, русских, впервые услышанных основной массой нашей публики. Зазвучали и арии из опер — да с каким ещё успехом! Фёдор Васильевич предварял их коротенькими пояснениями.

«Ты взойди моя заря» из «Сусанина» повторялась на «бис» три раза. Такой же успех имел «Алеко». И — как ни странно — ария Ленского «Куда, куда вы удалились» вызывала слёзы у зрителей… (А мы долго не решались включить её в репертуар — поймут ли?.. Видимо, поняли!). Воспринимались и «Торреадор» и «Песенка Герцога» из «Риголетто». Как-то по-своему, вероятно, но воспринимались…

Искусство… Великое таинство, которое не могут объяснить никакие искусствоведы, несмотря на массу замысловатых терминов, выражающих всевозможные нюансы его, которые «обычный» слушатель не понимает и не воспринимает.

Я уже упоминала о певце Привалове. Он выступал в концертах с ариями из опер и оперетт. Встречали его всегда хорошо, аплодировали, и часто ему приходилось петь на «бис». Но вот, однажды, когда Фёдор Васильевич был нездоров и петь не мог, решили выпустить с «куплетами» Привалова. Едва он спел 2–3 куплета, в зале поднялось что-то невообразимое:

— Краснощёкова!

— Давай Краснощёкова!!

— Фёдора Васильевича!!!

И даже после объяснения, что Ф. В. — болен, и петь не может — не пожелали слушать Привалова, так и не дали ему допеть куплетов…

Популярность Фёдора Васильевича была огромной у всего населения лагеря, в том числе и у урок. Вне всякого сомнения, это был самый популярный и любимый человек в лагере. Где бы он не появлялся, ото всюду неслось: — Здорово, Фёдор Васильевич!.. — Привет, Фёдор Васильевич!..

Когда я подружилась с Ф. В. и мы стали кое-когда прогуливаться по пресловутой «Горке любви» — ни разу, ни одного насмешливого слова не было брошено нам вслед, а уж до чего охочи уркачи до язвительного, иронического словца, притом самого крепкого, оригинального и «виртуозного», и особенно изощряются… женщины! — по всякому пустяковому поводу!

К Фёдору Васильевичу они питали не только любовь, но и глубокое преклонение; — для них он был маг и волшебник, человек «не как все». Это преклонение распространилось и на меня, как только они своим зорким взглядом «зафиксировали» нас на «Горке любви» и тут же наделили меня титулом его «марухи»!..

Много позже, когда мне, после стычки с начлагом, пришлось сидеть в швейпромском изоляторе с самыми отпетыми уркаганками — мои сокамерницы относились ко мне с исключительной доброжелательностью, если не сказать с заботой! Делились со мной приношениями своих «хахалей», и даже старались «не выражаться» в разговоре со мной — увы! — это было выше их усилий, слишком привыкли они пересыпать речь многоэтажным и изощренным матом…

Иной раз нецензурные словечки и фразы из швейпромовского лексикона бывали настолько метки и выразительны, что мне не раз хотелось составить кратенький словарик уркаганской красочной риторики. К сожалению, не составила. Правда, теперь таких словарей уже немало, а обильное оснащение ею настоящей литературы — на мой взгляд — не только не «украшает» её и не делает выразительнее, но делает её циничной и опошляет, за редким исключением, когда такая риторика необходима к месту, для понимания эмоциональности момента…

Фёдор Васильевич был ещё и прекрасным декламатором.

…Затаив дыхание слушает зал «Четырнадцатую дивизию» — Д. Бедного (как она в рай шла), а услышав раз, в каждом концерте, как ураган:

— Фёдор Васильевич — «Дивизию»!.. — «Дивизию» давай!

И это неудивительно — трагизм ситуации и «блатной дух» был так близок значительной части нашей «аудитории»…

Но и Стихи Беранже, в переводе Курочкина, — тоже хватали за душу и вызывали восторг у нашей публики:

«…Ведь я червяк в сравненьи с ним,
В сравненьи с ним…
С Его Сиятельством самим!.».

И слушатели видели перед собой крохотного, в самый пол

вдавленного, униженного до предела человека!.. И у них, очевидно, возникали какие-то солидарные с ним чувства — ведь и они были тоже униженные и придавленные люди!..

Ах, недаром Фёдора Васильевича держали в «магах и волшебниках»!

…Но ещё большее удовольствие, или верней сказать — огромную радость — нашему несчастному швейпромовскому народу принесли спектакли… И зрителям, и актёрам.

…Первой пьесой, которую мы поставили, были те же «Без вины виноватые» с чудесным человечным и сильным духом Шмагой — Фёдором Васильевичем. Поставили сцены из «Леса» — весь спектакль ставить не пришлось — не нашлось никого на роль Гурмыжской. Но сцена Несчастливцева с Аркашкой — (Несчастливцев — Андрей Кремлёв), сцена с Карпом и Улитой — были великолепны. Да и знаменитый монолог Несчастливцева, обращенный к Аксюше:

> «…Королевой ты будешь, королевой и со сцены сойдёшь…» —

Кремлёв читал с пафосом и чувством. Великолепно читал он и монолог Гамлета:

> «…Как сорок тысяч братьев любить не могут!..» —

голос его гремел на весь зал, заполненный урками и малограмотными женщинами, за исключением наших «58-х», которых было не так-то уж много, хотя теперь приходили наши все — и зал грохотал аплодисментами.

Один из первых спектаклей (уже со мной) был — Платон Кречет. Кремлёв был хорошим Платоном, но сначала мне с ним было трудно — ведь он был профессиональным актёром, и в нём чувствовалось немного пренебрежительное отношение к любителям, вроде меня. А если что-нибудь не удавалось, он раздражался и не давал себе труда сдерживать раздражение. К счастью рядом всегда был Фёдор Васильевич, который умел вовремя брошенной шуткой, одной умной фразой, потушить вспышку, вернуть «рабочее настроение».

В основном репетиции проходили интересно, увлекательно, никто не жаловался на усталость, всем хотелось играть, и играть как можно лучше. И, право же, некоторые из «непрофессионалов» очень неплохо справлялись со своими ролями.

Помню чудесную санитарку в «Платоне» — пожилую женщину с фабрики… «Одни больные поправлялись, другие умирали, и жизнь шла своим чередом…» — Вот, совсем, как у

нас — добавляла она тихонько.

…Отлична была «нахальная, напористая» Вера Газгольдер в «Дороге цветов», которую играла бывшая «левая» жена Каменева.

…Кокетливую и беспардонную Коринкину в «Без вины виноватые» — играла малограмотная уркачка, всю роль запоминавшая «по слуху», но запоминавшая быстро и игравшая с таким удовольствием и искренностью, что на сцене была подлинной Коринкиной!

…Ставили мы и «Таню» Арбузова — сентиментальная, в манере «соцреализма», пьеса — а сколько счастливых минут она доставила!

— Таню играла скромная эстоночка Фрида, долго уверявшая, что ничего у неё не выйдет, а затем до самозабвения полюбившая сцену. После двенадцати часов за мотором на конвейере, она была готова репетировать, кажется, и ещё двенадцать часов. Может быть, и неумела была её игра, но столько искренности и непосредственности было в ней, столько изящества и скромности в движениях. Немудрено, что наш эмоциональный зал неизменно разражался слезами…

Помню финал на премьере «Тани», когда весь зал, стоя и что-то восторженно крича, без конца аплодировал, а мы — актёры и постановщики обнимались на сцене, целовались и чуть не плакали от счастья.

Разумеется, были и просто весёлые спектакли: «Чужой ребёнок»; «Дорога цветов», даже кусочки из оперетки «Роз-Мари»! И, конечно же, Чеховские «Предложение» и «Медведь».

Работа в нашем «театре» не всегда доставляла одну радость. Были и огорчения. Трудные поиски «актёров», работа с ними, горькие переживания, когда «не получалось»…

Хуже всего было с мужчинами. Актёров — профессионалов было всего трое, «любителей» найти было трудно. Но всё же понемногу потянулись к театру и мужчины. Появился среди нас старый мой знакомый по Пудожстрою — Михаил Александрович Соловов — бывший механик со «Штандарта» — императорской яхты, на которой любила отдыхать и плавать вся царская семья.

Увы, нельзя сказать, чтобы он отличался актёрскими данными. И это странно — ведь в жизни он был прекрасным рассказчиком, говорил ярко, увлекательно. А сцена — как гипноз — сразу сковывала и реализовывала его. Фёдор Васильевич не жалел времени, чтобы ещё и ещё поработать с ним. К сожалению, результатов не было. Но даже неудачи, которые Михаил Александрович переживал с большим огорчением — особенно когда приходилось его «снимать с роли» — не могли погасить его стремления жить театральной жизнью, делать для

театра хоть что-нибудь, хотя бы быть осветителем, или творцом всевозможных эффектов — «грома», «молнии» и тому подобного — и тут он был «на высоте»!

Он проявлял максимум изобретательности и отлично организовывал и обслуживал технику. В общем, оказался весьма полезным и нужным членом нашего «театра»!

И сколько было у нас таких помощников, которых никогда не видели зрители, которым не доставалось ни аплодисментов, ни оваций!.. Правда, они щедро вознаграждались всеобщей нашей любовью. Только мы — актёры и постановщики знали, сколько времени — бессонных часов после длинного утомительного рабочего дня, было отдано целиком, ото всей души, до дна — театру — единственному дыханию «вольной жизни» — театру, любимому до самозабвения, до фанатизма!..

Вероятно, довольно странно кажется это на взгляд «со стороны», на взгляд трезвого, обычного человека, особенно жителя города, для которого театр — лишь приятное развлечение. Ведь для обычного городского жителя, сколько ещё есть «другого»: и работа, особенно, если она интересна или просто по душе, и семья, и спорт, и путешествия…

А у нас?? — только и жизни было — театр!

…Вот наш бессменный суфлёр — лагерный бухгалтер Лайма Яновна.

Лаймдотта — «Фея света», по эстонски… Даже в дни квартальных или годовых отчетов, когда вся финчасть сидела ночами напролёт над своими бухгалтерскими книгами, Лайма Яновна вырывалась на 2–3 часа к нам на репетицию в клуб. С красными, опухшими от бессонницы глазами, протирая на ходу запотевшие очки, вбегала она на сцену взволнованная, извиняющаяся: — Опоздала, да? Никак не могла вырваться… — и тут же принималась суфлировать, едва ли не наизусть — ведь она была единственным и постоянным суфлером…

Ах, Лайма Яновна, Лайма Яновна!.. Так ясно вижу я ваше милое бледное лицо, с близорукими сощуренными глазами, ваши светлые, тщательно подобранные волосы, уложенные валиком — вся вы такая светлая, тихая — недаром «Фея света»…

Никак не могла понять Лайма Яновна, и до конца жизни, вероятно, недоумевала: каким образом муж её — революционер и старый коммунист, директор совхоза, не положивший себе в карман ни одного совхозного рубля, ни мешка — да что там мешка — ни зерна, хотя совхоз рос и богател год от году — каким образом он вдруг оказался предателем и изменником родины — той самой родины, за которую сражался, которую горячо и преданно любил??..

Но в НКВД, ей, Лайме Яновне, доказали это как «дважды два» — его собственные ужасные признания читать давали, и её обвинили в том, что она, зная о его измене и вредительстве — молчала, укрывала, не донесла…

— «Стрелять надо таких гадов!» — кричали ей в НКВД…

И где он теперь?.. Жив или расстрелян?..

И в каком детдоме живет теперь её маленькая Илга?.. Хорошо ли ей там?.. Расчёсывает ли ей кто-нибудь её длинные мягкие волосы — ведь она сама ещё не умеет… А может быть, и отрезали её белые косички?.. И скоро ли научится она писать, чтобы написать письмо маме?.. Илга, Илга… Маленькая голубоглазая девочка… Только ведь подумать!..

Тётя Оля

Из всех «фанатиков» нашего театра мне больше всех запомнилась наша тётя Оля — самая преданная и постоянная помощница во всём, что требовало прилежного труда и заботы.

Тётя Оля — крестьянка из-под Тамбова, так и не удосужившаяся за всю жизнь научиться подписывать свою фамилию:

— «Да за работой-то неколи было» — добродушно объясняла она. Но сколько доброты, благожелательности к людям, сколько поэзии жило в её душе!

Один раз в жизни довелось ей увидеть необыкновенное, чудесное зрелище — как на утренней зорьке играет солнышко — такое увидать дано далеко не каждому (вроде «зелёного луча» у моряков!).

…Вышла она спозаранок на крылечко — свиньям месить — глянула в небо, да так и обмерла!.. — Солнышко-то, солнышко понад лесом так и ходит, так и катается — и туда, и сюда, ну словно жеребёночек на лугу! И всяким-то светом светится — то вроде красно, то вроде зелено, то золото чистое!..

Всё ещё статная, дородная, хоть и в летах, показывает она руками и всем туловищем поворачиваясь, как ходит и катается по над лесом солнышко — высоко, и туда, и сюда…

А бывало ночью к тёте Оле наведывался и лешак — весь черный, лохматый, а всё равно — пятипал. И подбирается к ней, подбирается, норовит ухватить. И беда, если вовремя не проснёшься, не успеешь креста сотворить — так и хватит, да за бедро, так и оставит пять синяков от его пятипалой проклятой лапы!

— Да что гуторить — уж тут, у нас в бараке и то — прихватил! — и тётя Оля, простодушно задрав подол, показывает всем следы, оставленные у неё на бедре лешаком.

Отсиживает свой срок тётя Оля за… ворота — будь они не ладны!..

Была она солдаткой ещё с первой мировой. Осталась с двумя махонькими девчонками. Но была молода, сила была в руках, никакой работы не боялась. Нового мужика в дом брать не хотела. Девчонок сама подняла, в школе выучила и «взамуж» неплохо отдала, только вот, что не в своей деревне.

Так и осталась одна — бобылихой. Но жила ничего себе, при лошадках. Хату-пятистенку ещё до мировой с мужем поставили. Жила, да и жила. А тут — на тебе — коллективизация.

Записали в колхоз. Лошадку забрали, ну да хрен с ей, в

колхозе на трудодни дают, так и лошадь-то ни к чему. Пятистенку тоже отобрали — под школу. Ребятни-то народилось — в старой не уместиться. Ну, тоже не жаль. Если по правде рассудить — ну на кой ей, бобылихе, пятистенка?.. Пущай в хате робята учатся. Утеплила себе сараюшку, осталась при доме жить, и приставили её при школе сторожихой — печи топить, полы мыть, звонки давать. Очень даже способная работа, а трудодни в колхозе пишут. С ребятишками во дворе весело, не увидишь, как и день пройдет.

…Но вот, в один прекрасный день — праздник был — то ли Октябрьская, то ли ещё какой — только наезжает вдруг председатель, в доску пьян. Да не один, а с дружками. И давай ворота сымать. А ворота добрые были, тесовые!

Тут уж тётя Оля не стерпела. Как выскочила, да как начала председателя крыть — так, и раз-так, и чуть в драку не полезла:

— Мало тебе, сволочная твоя душонка, что дом отдала, так тебе ещё и ворота нужны — растудыть твою мать!..

Ну, досталось, в общем, и председателю, и дружкам его, и советской власти заодно — они-то ведь властью и были!

Только ничего не помогло — куда ж она одна баба против трёх мужиков?! Ворота всё равно взяли и увезли, а назавтра пришел за тётей Олей милиционер…

Ладно ещё, что 58-ю припаяли — «политическую», и теперь здесь она в нашей зоне, в нашем бараке, где все её любят, и она всех любит.

Аккуратно, раза два-три в год мы писали для неё заявления о пересмотре дела, о помиловании, наконец — ну, погорячилась, но ведь баба глупая, неграмотная, чего уж с неё возьмёшь?.. Уж нельзя ли простить, скостить как-нибудь срок — уж сколько отсижено, отработано по совести…

Но никакого толка от этих заявлений не получалось. Приходили официальные бумажки: «…вина доказана, статья определена правильно…» Но о сроке ничего не говорилось, хотя десятка была явно не по «преступлению»… Тётя Оля угодила в самый разгар 37-го!

Эх, тётечка Оля — и сдались тебе эти ворота, хоть и тесовые! Наплевать бы тебе на них!..

И вот, эта простодушная, бесхитростная, неграмотная крестьянка — какие искренние слёзы проливала она над Кручининой, или Аксюшей из «Леса» — ведь доходило же, понимала же, сопереживала же!..

Каждый спектакль, каждый концерт был для неё праздником и днём особенным. Задолго начинала она волноваться, сто раз спрашивала — не забыли ли чего, всё ли готово, не надо ли ещё

чего-нибудь сделать?.. А в день спектакля уже с утра готовилась, доставала свое лучшее платье, разглаживала, раскладывала на постели; тщательно мылась, меняла белье — как в церковь собиралась. Да и был для неё наш бедный лагерный клуб — церковью, храмом искусства.

Всех нас, актёров, она не только любила, но и почитала за людей особенных, высшего какого-то порядка. Всегда старалась чем-нибудь услужить — кому сбегать в ларёк, кому простирнуть что-нибудь, и никогда не брала никаких денег за это — никакие уговоры не действовали, а то — даже просто убрать постель: «Иди, иди, я ужотко сама приберу, ты своим делом займайсь!» «Дело» — это было учить роль или делать ещё что-нибудь для спектакля…

А сколько она делала для наших спектаклей!.. Сколько шила, перешивала, стирала, гладила, крахмалила (и крахмал сама из очисток варила!)… А ведь целый день она сидела за мотором.

Да и не только она. Помню, как к «Платону Кречету» весь наш барак делал цветы — буквально все нары в нашем «политическом» бараке были завалены лоскутками материи, обрезками цветной бумаги, проволокой… Зато за окнами Платона «зацвели» нежные яблони, а комната, в день его рождения, вся увешивалась цветочными гирляндами и принимала чудесный праздничный вид…

Все старались, как могли — помочь оформить спектакль, найти подходящие костюмы или сшить новые.

Наше начальство законно могло гордиться лагерным клубом — первым по Белбалтлагу. Наши спектакли даже «вывозились» в Кемь, где тогда ещё не было стационарного театра, и они и там пользовались большим успехом.

Вполне понятно, что начальство поощряло нашу театральную деятельность, щедро выделяло «метраж» на шитьё костюмов, краски, фанеру и прочее — для декораций. В общем, мы имели богатых «меценатов», а артистам делались всякие поблажки: — разрешалось ходить по зоне после отбоя, (иначе — когда же репетировать?), сквозь пальцы смотрели на сложившиеся среди актёров «парочки»…

Пани Гелена

И вот, среди нас появилась пани Гелена Квятковская — известная польская пианистка, выступавшая ранее с концертами по всему свету… Наша тётя Оля тут же взяла над ней «шефство» и ходила за ней, как за малым ребёнком. Приносила ей обеды и завтраки, чистила ей селёдку (потому что пани Гелена сама не

умела), мыла её в бане, помогала одеваться.

Дело в том, что у пани Гелены в прежней жизни всегда была камеристка, которая всё это для неё делала, а сама она была беспомощна, как ребёнок.

Пани Гелена Квятковская окончила две консерватории — одну в Варшаве, другую в Париже. С концертами объездила чуть не весь свет. Но, в 39-ом часть Польши оккупировали Советские…

…Когда она появилась у нас в бараке, её фигурка казалась опереточным персонажем из какого-нибудь «Цыганского барона». В затасканной телогрейке, Бог знает какого срока, в огромных бутсах-«шанхаях», слетавших с её миниатюрных ножек при каждом шаге, с полотенцем, замотанным вокруг головы вместо шарфа и с нежно-розовой бахромой, висевшей из-под телогрейки до самого пола — всё, что осталось от шикарного концертного платья!..

Пани Квятковскую взяли прямо с концерта, и хотя по дороге в НКВД завезли домой, она ничего не сообразила взять с собой — ни полотенца, ни зубной щётки, ни пары белья, ни даже переодеть концертное платье, теперь превратившееся за долгий этап и этапные пересылки в эти живописные, но уже не сценичные, а «обиходные» лохмотья.

Захватила она только свои «бижутерии» — такой маленький чемоданчик, с браслетами, кольцами и ожерельями. Его потом отобрали, но дали расписку. А теперь, на этапе, и расписку отобрали. И как же теперь быть без расписки?

Она с недоумением и страхом спрашивала всех, кто казался ей начальством — лагерного нарядчика и дневальную барака; начальника Культурно-воспитательно части — КВЧ — которую она упорно называла «НКВЧ», сопрягая её с НКВД! — а впоследствии — и у Фёдора Васильевича: — Куда же девались её бижутерии?.. Что же теперь делать?.. Страх и недоумение, казалось, навсегда застыли на её молодом ещё, тонком и красивом лице.

В нашем бараке её быстро приодели и подкормили, так как после этапа она едва держалась на ногах. Но в первые же дни её отправили на фабрику. Правда, по ходатайству начальника «НКВЧ», которому мы сообщили, что прибыла очень известная, настоящая пианистка, которая очень даже может пригодиться нашему клубу, и для нас это просто — клад, её не посадили за мотор, а направили в «инвалидный цех» (и такой у нас был!). Там её поставили на лёгкую работу — крутить верёвки из отходов метража — кромок от материи.

Кромки закреплялись на большую вертушку на одном конце цеха, а концы их — на другую, в другом конце цеха. Работа была

несложной: большой металлической ручкой надо было равномерно вертеть вертушку всё время в одну сторону. Никакой тебе механизации, ничего соображать не надо, и крутится вертушка, смазанная маслом, довольно легко — во всяком случае, больших усилий не требует — знай себе, стой, да крути!

«Напарница» на другом конце вертела свою вертушку в противоположную сторону — так и получалась крученая верёвка. Поскольку цех был инвалидный, то и «нормы» с женщин особо не спрашивали, а веревки шли по какой-то графе «ширпотреба».

Но в первый же день работы пани Гелена пришла в барак вся в слезах. Работа ей не давалась. То она начинала крутить не в ту сторону, то крутила слишком медленно, то была не в состоянии больше стоять на ногах… К несчастью, в напарницы ей попалась отпетая уркаганка из «мамок», которая целый день развлекалась, ругая и поддразнивая свою необычную партнёршу.

— Я крутила эту верёвку с какой-то ужасной «преступленницей» — с ужасом и слезами рассказывала пани Гелена — она меня ругала всё время, и хотела бить!..

Самое же худшее было то, что к концу рабочего дня на ладонях и нежных пальцах пани Гелены появились волдыри.

К счастью, тётю Олю, у которой резко упало зрение, как раз в это время перевели в инвалидный цех. Там тётя Оля была «своя», простая баба, и умела управляться с уркачками. При ней они не смели обижать пани Гелену. Тётя Оля успевала сделать свою «норму» — всё-таки, какая-то норма, видимо, была — и накрутить ещё хоть сколько-нибудь для пани Гелены.

…Пани Гелена стала понемногу приходить в себя. Когда мы первый раз привели её в клуб, и она увидала наш клубный рояль, она пришла в ужас — до того показался он ей расстроенным и негодным. Играть невозможно!..

И всё же она начала играть. Рояль кое-как подстроили, и теперь, правдами-неправдами освобождённая от фабрики, пани Гелена целые дни проводила в клубе за роялем, штудируя весь свой концертный репертуар… Нот, конечно, не было, но она знала весь его наизусть.

Помню её первый концерт. Как она волновалась — ничуть не меньше, чем перед концертом в консерватории, или в концертном зале — в Милане, Париже или Лондоне… Как долго она всматривалась в зеркало и взволнованно спрашивала:

…Как я «выглядываю»?.. Идет ли «ко мне» это платье?..

Для концерта ей сшили чёрное — сатиновое, вероятно — платье, с длинным шлейфом, а у кого-то нашлась белая бархатная хризантема, которую прикололи ей на грудь. Это было единственное украшение, и хотя пани Гелена горько вздыхала об

отсутствующих «бижутери» — но была она очень хороша и изящна в строгом чёрном платье с белым цветком на груди.

— Нет, Женичка, правда, как я «выглядываю»? — не переставала допытываться она у меня.

Нас больше волновало другое: как примет наша неискушённая публика концерт Сен-Санса, который она выбрала для первого выступления?.. Так много музыки, такой незнакомой, непривычной… Вдруг не станут слушать?.. Своими страхами с пани Геленой мы не делились.

Но они оказались напрасными. Чужую, французскую музыку (как объяснил Фёдор Васильевич), слушали очень внимательно. И когда кто-то в зале громко заговорил — на него зашикали со всех сторон.

Конечно, зал не бесновался и не орал, как после «куплетов» Ф. В., но аплодировали добросовестно и долго. Никакой «критики», которой мы побаивались — не последовало. А по другую сторону занавеса, пани Гелена, счастливая, сияющая, раскрасневшаяся, принимала наши поцелуи и поздравления.

Она была счастлива, хотя это был не Париж, и не Нью-Йорк, а всего-навсего маленький лагерный клуб на окраине Советского государства. А все «бижутери» заменял один-единственный цветок из лоскутков белого бархата.

Не знаю, дожила ли Гелена Квятковская до возвращения на родину. В 44-ом году «старых западников» (посаженных до войны) стали освобождать и отправлять из лагерей (куда?), заполняя их «новыми» — «освобождёнными». Но к тому времени меня уже давно не было на Швейпроме.

Друзья уходят…

…Я так много пишу о людях, которые скрашивали дни нашей лагерной жизни, и со многими из которых мне было суждено по-настоящему подружиться, потому что без них жизнь в лагерях была бы невыносима. Некоторые из них остались в моей памяти, как драгоценные «самородки» среди ординарной, незапоминающейся «массы» заключённых.

«…О самородки незабытых дней…» — писал переживший Колыму поэт Анатолий Жигулин. И он хорошо понимал, что это такое… Кругом беспросветно, безнадёжно… Одуряющее однообразие… Усталость, недосыпание, недоедание… Тоска по дому… По детям…

А если бы их не было — этих «самородков»? Не было бы тех, пусть не дней, но хотя бы часов, даже минут, проведенных с ними вместе?.. Не было бы их бескорыстной помощи и поддержки?..

Что было бы с пани Геленой?.. С Лаймдотой Яновной?.. С тётей Олей?.. Со мной?.. Да и со всеми нами?..

Нет, не надо стесняться скупой радости когда-то пережитых мгновений, помогших пережить безнадёжность.

Нельзя жить одними проклятиями и стенаниями — ни в жизни, ни в литературе… Тогда лучше уж идти сражаться на баррикады, и… не пытаться быть писателем.

…Раннее утро. Открываю глаза, и вижу на чисто выбеленной стене нежные золотые полосочки, дрожащие и змейками убегающие куда-то в угол. Беспрерывно, без конца — бегут, дрожат… Всё шире золотая дорожка на стене. Не сразу и сообразишь — что это?.. Откуда?

А это — от реки, которая совсем недалеко, внизу за окном. Дрожит и искрится рябь на воде, позолоченной ранним солнцем, а от неё — эти золотые дорожки на нашей барачной стене… И так красиво, что сердце замирает…

Помню какой-то праздник, Октябрьской революции, должно быть, так как на дворе холодно, и все сидят в бараках.

Фабрика остановлена. Наша зона заперта, и пока ещё даже нас, актёров, не выпускают в лагерь. Скучно и душно, а форточку открыть нельзя — холодно тем, кто лежит у окна. Почти все валяются на нарах. Кто читает, кто лениво болтает с соседкой.

И вдруг в барак к нам входит Фёдор Васильевич, а с ним парнишка-гармонист, тоже из нашей «труппы». И вмиг всё преображается. Барак наполняется музыкой, весёлыми голосами, топотом, хлопаньем. Отодвинут в угол большой стол, скамейки…

Никогда не увлекалась я танцами, и особенно русскими. Правда, в детстве мечтала стать балериной, и танцевала под музыку брата какие-то свои собственные фантазии. Я не подозревала даже, что умею танцевать «русскую» или «казачка».

И вдруг — как-то ноги сами пошли в пляс, да так ладно, да так легко, и всё быстрей, да быстрей! И платочек в руке помахивает задорно и весело!

И все постепенно остановились и стали смотреть, и только в такт хлопать в ладоши. А я расходилась всё больше и больше, выдумывала какие-то коленца, летала по кругу словно на крыльях, ног под собой не чуя, только чувствуя, что мной любуются, и что Фёдор Васильевич тоже любуется и гордится мною… Только когда уж совсем задохнулась, упала на скамейку, а вокруг все захлопали!

Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так танцевала ещё раз. Разве что на сцене, да и то совсем не так. А тут, вдруг, что-то «нашло»… Даже наш пёсик Мишка вылез из-под нар и радостно затявкал, смотря на наше веселье.

Ах, милый наш Мишка!.. Вот, только что такая весёлая минутка припомнилась, и сразу — грустное. Очень грустное…

Не помню, откуда он у нас появился, но как-то появился.

Белый, лохматый, глаза — две пуговки, за чёлочкой и не видать. Без хвоста. Потому и назвали Мишкой. Очень мы его полюбили. Бил он веселый, ласковый со всеми. В еде не привередлив, и за кусочек хлебца «спасибо» говорил! Подкармливали его понемножку, чем могли.

В лагере собак было довольно много, но в нашей зоне — он один. И никогда из зоны не убегал.

И вдруг, нашему начальству пришло в голову — уничтожить собак. Может быть, ждали приезда начальства из «центра» и решили навести порядок, или просто какая-нибудь собачонка попалась ненароком нашему самодуру — начальнику.

Только в один прекрасный день всех собак перестреляли.

А Мишка наш словно понял, что грозит беда — забился далеко под нары, и носа оттуда не высовывает. Мы уж под нары и еду ему ставили, и выпускали только потихоньку ночью, чтобы никому не попался на глаза.

Так прошло дня два-три. Мы уж думали, что пронесло…

Нет, не пронесло. Пришли какие-то сволочи, из стрелков, должно быть.

— Где собаку прячете?

— Да никакой собаки у нас нет!

Ну, им обыск не впервой делать. Живо нашли. Полезли под нары, выволокли несчастного дрожащего Мишку, ухватили за задние ноги, поволокли в сенцы. Даже патрона пожалели — хватили обо что-то головой — и вся недолга…

И кто то же донес?.. Неужели из наших кто?.. Нет, не может того быть!

И до того нам жалко было Мишку. И до того обидно — и до сих пор обидно — ну чем он помешал им, смирный тихий пёсик!?.. Ведь и из нашей зоны не выходил никогда…

…В январе 41-го кончался срок Фёдора Васильевича. И чем ближе подходило это время, тем грустнее и беспокойней становился Фёдор Васильевич… Что делать дальше?.. Как быть?..

Конечно, он мог остаться в Кеми — его охотно взяли бы в клуб, в Дом культуры… Наши лагерные спектакли по-прежнему вывозились в город — ведь у нас оставались и Кремлёв, и Привалов, да и я чему-то научилась у Фёдора Васильевича…

Встречался бы со «своей» труппой кое-когда… Со своей… Бывшей своей!..

Случалось бы иногда и со мной увидеться… Но как? Мимолетные короткие встречи за кулисами?.. Два-три слова…

Невозможность пройтись вечером берегом реки, говорить обо всём, что придёт в голову…

Наша дружба к этому времени переросла уже в более серьёзное чувство, и мы даже начали строить планы о жизни вместе, когда выйдем на свободу…

Нет, жить рядом и видеться только по воле случая — это было бы слишком тягостно… Уж лучше пусть ляжет между нами расстояние и время… А там, кто знает?..

Моего срока оставалось ещё три года…

Фёдор Васильевич решил ехать в Астрахань, где в областном театре работал его друг по Соловкам, окончивший срок года два назад. И теперь в каждом письме он звал Фёдора Васильевича приехать туда, и писал, что работа в Областном театре ему обеспечена. И что его там уже ждут с нетерпением.

…День отъезда Фёдора Васильевича приближался. Перед самым отъездом был дан «прощальный концерт».

Зал неистовствовал. Требовали всё самое любимое, заставляли всё повторять по 4–5 раз. В конце сыграли «Медведя».

Давно было уже объявлено: — «Концерт окончен!», но никто не думал уходить. Все кричали, требовали Фёдора Васильевича, лезли на сцену, обнимали и целовали его. Многие плакали. Казалось, что зал можно очистить только с помощью стрелков. Кончилось тем, что самого Фёдора Васильевича довели до слёз, и горько махнув рукой, он скрылся за кулисами…

На следующий день мы распростились с ним, как оказалось навсегда…

Так обидно, что не удалось мне сохранить писем Фёдора Васильевича из Астрахани. Мало того, что были они полны трогательной заботы, беспокойства, но ещё они были яркими, интересными страницами театральной жизни того далёкого времени… Да и где же сохранить их было с этими бесконечными этапами и «шмонами»?..

…Немного сыграл Фёдор Васильевич за тот последний год в Астраханском театре. Сначала ему сразу дали роль Шмаги в готовом спектакле «Без вины виноватые»; потом он сыграл Мурзавецкого в «На всякого мудреца». С увлечением работал над ролью Окаёмова в «Машеньке» Афиногенова — роль, которая ему очень нравилась — он подробно описал, как она у него «становилась…» Но сыграть её уже не пришлось.

…22-го июня 41-го началась война с Германией. А в июле всех бывших лагерников в районе Астрахани тотчас похватали, собрали, погрузили на баржу, и переполненную до отказа людьми, её потянули на другой берег Каспия — в Актюбинскую область. Астраханская очевидно показалась слишком близкой к

фронту, и потому — «опасной»! А там погнали пешими этапами, «расселяя» народ по Казахским колхозам, без права не только выезда, но и передвижения внутри района…

«Алла-Верды» — назывался колхоз Амангельдийского района, куда попал Фёдор Васильевич. Никакого клуба в этом захудалом колхозике не водилось, да если бы даже и водился — что толку-то? Даже в контору колхоза, в какие-нибудь учетчики, устроиться было невозможно — всё велось на своём, казахском, языке. Тут для него нашлись только «общие работы», от которых даже в лагерях помиловал Господь актёра Краснощёкова.

…Целыми днями чистил он скотные сараи, грузил на телеги навоз… Глаза резало от сухого песчаного ветра… Мокрая от пота рубашка натирала под мышками. Переодеть даже вечером было нечего — деревянный, ещё лагерный, сундучок упёрли в первые же дни…

На паёк выдавали кукурузные лепешки. Но от жары и от усталости есть не хотелось — только спать…

Недолго выдержал бедный Фёдор Васильевич. Начался фурункулёз… Последнее его письмо — жалкий треугольничек без марки — как с войны — пришло уже из районной больницы… Никогда в жизни ни на что не жаловавшийся человек писал: «… Условия во сто раз хуже лагерных… Сил больше нет никаких…»

Всё это я узнала много позже, чем это происходило, и то, благодаря тому, что по пути в Астрахань Фёдор Васильевич побывал у моей мамы и взял её адрес. Ведь к лету 41-го и меня уже не было на Швейпроме — и куда писать мне, было неизвестно…

Позже, когда у меня с мамой наладилась переписка, и я и мама писали в колхоз, просили сообщить адрес больницы — ответа никакого. Мама послала немного денег, — вернулись с пометкой «адресат выбыл»…

Так ушёл из моей жизни самый хороший, талантливый и трогательный человек, с которым свела меня судьба.

За долгую свою жизнь приобрела я и других близких друзей, и схоронила уже многих, но такого бескорыстного, деликатного, преданного — больше никогда в жизни не встретила…

Ах ты сударь наш дударь…

После отъезда Фёдора Васильевича мы поставили ещё пару спектаклей — «Чужого ребёнка» и «Сердца четырёх».

Кремлёв не бросил сцены и добросовестно работал с нами — но всё как-то потускнело, посерело, не было прежнего вдохновения, прежней увлечённости… И даже спектакли стали

приниматься хуже — уже не было таких оваций, к которым мы привыкли. И скучно было, и тоскливо, и время тянулось нескончаемыми неделями, от бани до бани.

Баня в лагере — не только полезное, но и приятное, деятельное событие. Генеральная уборка барака под руководством дневальной, с вытряской на морозце одеял и матрасов. Вся эта «некаждодневная» работа уже как-то возбуждает, подстёгивает. А сама баня — какое удовольствие!.. Даже когда тебе на «всё-про-всё» полагается две шайки горячей воды и кусочек коричневого, с голубыми прожилками, «хозяйственного» мыла… А кроме всего, она помогает вести отсчет времени! Ведь всего 52 бани — и **год** долой!

Но тут-то и случилось со мной трагикомическое происшествие, которое сначала даже развлекло меня, хотя и обернулось не весьма приятными последствиями.

На Швейпроме ждали какое-то высокое начальство. Во все лагеря оно наезжает время от времени — так же, как на воле в свои вотчины выезжает «обкомовское начальство».

Приходит Володька — начальник нашего раскройного, и говорит: — Ну, придется тебе на пару деньков запрячься в работу! Дудар пожелал, чтобы у него в кабинете висели схемы всех конвейеров, с указанием операций и отведённого на них времени.

— Ого! — восклицаю я.

— Вот именно «ого»! — повторяет Володька. Всё должно быть готово к послезавтра. Сейчас принесу тебе картон, а ты валяй в плановый — бери у них списки операций и время, да поживей — одна нога здесь, другая там!

Легко сказать! На фабрике шесть цехов, не считая закройного и инвалидного. В каждом, примерно по восемь конвейеров, и почти на всех идёт разная продукция. И надо не только вычертить схему прямоугольничками, изображающими моторы в рамках каждого конвейера, но ещё и писанины уйма.

Но — приказ есть приказ, и спорить с ним так же бесполезно, как и на войне!

Взяла я в плановом все данные, засела за работу на весь день и на всю ночь. Обедом и ужином Володя с Эммой кормили! И во вторую ночь только чуточку прикорнула тут же в нашем «кабинете». К указанному сроку — через два дня — дело подвигалось к концу.

Незадолго до конца смены распахивается дверь в наш «кабинет» (он же и моя «чертёжная»), и вваливается наш дородный и мощный начальник лагеря с целой свитой всякого лагерного начальства помельче. Володька с порога лихо командует: — Внимание!

Это означает: — начальство идет, встать!

Я, конечно, встаю. Вокруг меня на столах разложены готовые или ещё подсыхающие схемы. Дудар сопит, рассматривает, видимо доволен.

— Ну, как работа? Кончаете?

— Да, скоро кончаю, гражданин начальник.

— А второй экземпляр?

Я (с удивлением): — Какой второй экземпляр?

Дудар (с раздражением): — Обыкновенный второй экземпляр!! Я велел — в ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ!!!

Володька делает мне с пороге отчаянные глаза, прижимает палец ко рту. Он-то хорошо знает, что лучшая тактика с начальством, если оно гневается — молчать. Увы! — я так и не научилась этой тактике ни в лагере, ни в жизни.

— Второго экземпляра я не делала.

— Как это не делала?! — уже во всю силу легких гремит Дудар.

— Мне мой начальник про второй экземпляр ничего не говорил, да и времени… — я хотела объяснить, что и времени на второй экземпляр всё равно не хватило бы. Но… объяснять ничего уже не пришлось!

В бешенстве, толстый, как бегемот, Дудар топает ногами, брызжет слюной, орёт не то что на весь цех — в других корпусах наверно слышно!

— МОЙ начальник! Га!.. МОЙ НАЧАЛЬНИК! Я вам покажу, кто здесь начальник… Я ваш начальник!.. Я!!

Я пячусь назад, насколько пускает стол, а он лезет прямо на меня: — МОЙ начальник!.. МОЙ начальник!!

Других слов он не находит, да и эти застревают у него в глотке, лицо багровеет, глаза выкатываются… Наконец, он резко поворачивается, сметает Володьку с порога, выскакивает в дверь, грохочет сапогами по железной лестнице, продолжая по дороге орать: — Я вам покажу, КТО здесь начальник!.. На общие работы!!

Перепуганная свита, молча теснясь в дверях, сыплется следом. Последним бежит Володька, прошипев мне на ходу с ненавистью: — Дурррра!

Ах, как он был прав! Конечно, никакого второго экземпляра я сделать и не могла бы — только-только кончила первый, как понаехали «высокие гости». Но промолчи я, или ответь Дудару: — «Делаю!» — и всё бы обошлось отлично. На чёрта ему сдался второй экземпляр?!

Володя надеялся, что и так обойдется, забудется. Ну, а вспомнит — так мы ему потом сделаем хоть второй, хоть третий, хоть десятый экземпляр! Пусть хоть весь свой кабинет

обклеивает!.. Жалко нам, что ли?!

Но не прошло и двух дней, как на доске объявлений появился приказ: «…Чертёжницу Фёдорову снять на общие работы, подыскав замену».

Эти два последние слова снова вселяли надежду: где им найти замену? Всех «58-х» мы знали наперечёт, и среди них не было ни одного чертёжника. Ну, а среди бытовиков и уркачей — и подавно. Однако, через несколько дней Дудар вызывает Володю и интересуется: — Найден ли заместитель Фёдоровой?

Володя старался, как мог: и заместителя нет, и вина-то целиком его, и Фёдорова не только чертёжник, но и лекальщица, а лекальщиков тоже нет… Всё, как об стенку горох!

— Пусть немедленно обучит кого-нибудь из бытовиков — довольно с меня этих полит-заср…! — было последнее слово Дудара.

Интересно, что буквально за неделю до этого происшествия, в приказе же — а он любил по всякому поводу издавать приказы, которые неизменно вывешивались на доске у проходной — за его личной подписью, была объявлена благодарность активистам клуба за постановку «Чужого ребёнка», а Кремлёву и Фёдоровой — особо!.. Но, очевидно, самолюбие начальника оказалось сильнее тщеславия мецената!..

Итак, у меня появилась ученица. Хорошенькая урочка — Лизочка, одевавшаяся по любимой уркаганской моде под «бэби» — в мини-платьице (были такие уже в те далёкие времена), с большим бантом в волосах. Почему она появилась у нас на Швейпроме — непонятно, вероятно, по ошибке. Возможно, «руководящие» работники вышестоящего УРЧ — Учетно-распределительной части — спутали понятия «мамок» с «малолетками», и отправили на Швейпром, потому, что у нас имелась колонна «мамок». Она нигде не работала, а просто шаталась по всему лагерю, «приписанная» к какой-то бригаде.

Оказалась она дурёхой непроходимой, да и не хотела ничему учиться: мечтательно смотрела в окно, когда я пыталась ей хоть что-нибудь объяснить, или на целые часы исчезала из цеха, гоняя по всему Швейпрому.

Зато в клубе она начала играть травести — и совсем неплохо! Помню какую-то пьеску по мотивам рассказа О'Генри «Вождь краснокожих»: грабители похищает у миллионера мальчишку, который за несколько дней доводит их до одури, а отец не желает его не то, что за выкуп, но и даром получить обратно. Наконец, с большим трудом, уплатив крупную сумму отцу отчаянного мальчишки, бандитам удается вернуть его в «родные пенаты»!

Мы быстренько переделали мальчишку в девчонку, и моя

хорошенькая Лизочка отлично сыграла роль, словно для неё написанную!

Память у неё была отменная — моментально запоминала текст, но даже если и несла отсебятину — от чего отучить её было невозможно — то остроумную, и к месту. Хотя всегда было страшно, что из её хорошенького ротика выпорхнет нецензурное словечко!

Итак, на сцене она была весела и внимательна, от природы владела хорошей дикцией, и вполне заслуживала достававшиеся ей аплодисменты.

Однако, успеху на сцене никак не сопутствовал успех в овладении рейсфедером! При первой же кляксе на кальке, она швыряла рейсфедер об пол, проклиная его в «бога-душу-мать», и надолго исчезала из нашей конторки. Володька посмеивался, да и я вскоре раздражаться перестала.

— Чем дольше будешь её учить — тем лучше для тебя же — говорила рассудительная Эмочка.

Так прошло недели три, до очередного обхода Дударом своих владений.

— Почему Фёдорова до сих пор в цехе??.. Завтра же на общие!

Володя благоразумно молчал. Завтра — так завтра.

…На Швейпроме не было ни лесоповала, ни сельского хозяйства, ни, тем более, рудоносных шахт — этих классических лагерных «общих работ». Здесь общие работы — это были какие-нибудь хозяйственные дела — переборка картофеля в овощехранилище, работа в прачечной, разгрузка или погрузка вагонов с каким-нибудь материалом, распиловка дров и тому подобное.

Нарядчик, сочувствовавший мне, как и все прочие, отправил меня в прачечную, полагая, что всё же это работёнка «блатная» и в тепле, учитывая, что на дворе ещё зима — конец февраля — и холода ещё лютые, особенно с ветрами.

Конечно, гладить простыни и наволочки (кое-как, сложил, повозил утюгом, да и ладно, для своих сойдёт!) — дело несложное, и никакого умения не требует. Но утюг был тяжёлый, чугунный, и с непривычки к концу дня я едва стояла на ногах. Снаружи трещал мороз, а в прачечной клубился жаркий пар, и я обливалась потом с головы до ног. После такого денька — с 6 утра до 6 вечера — не очень-то побежишь в клуб на репетицию… Но что поделаешь?

Несколько дней я промучилась в прачечной, а кончилось это опять неожиданно: Обходя свою вотчину, Дудар заглянул в прачечную. Конечно, он тотчас меня узнал.

— На общие! — заорал он, тыча в меня пальцем — на дрова! Видимо, прачечная показалась ему недостаточно «общими»! Свита почтительно молчала, только нарядчик несмело пискнул: — Слушаюсь, гражданин начальник!

На следующий день меня отправили «на дрова».

Километрах в двух-трех от Швейпрома, на берегу Кеми, были накатаны огромные штабеля брёвен, высотой с двухэтажный дом. Эти штабеля нужно было «раскатать» — то есть сбросить бревна вниз, а затем положив на козла, распиливать их на дрова. Дело, конечно, тоже не хитрое. Но… во-первых, как я уже сказала, стояли морозы с обычными здесь пронзительными ледяными ветрами. Во-вторых, пилить, практически, было нечем. Несколько пил на 20–30 человек, неточенные, с поломанными зубьями, едва-едва пилили. И, наконец, самое главное — пилить-то было не с кем! На штабеля выводили из изолятора самых отпетых уркачек, которые вообще нигде и ничего не хотели делать. Свой срок они, в основном, отсиживали в изоляторах, так как никаких норм никогда и нигде не вырабатывали. Однако, они умудрялись иметь хахалей и даже обзаводиться детьми кое-когда.

Не желали они работать и здесь, мудро полагая, что всё равно, кроме своих штрафных 200 граммов ничего не заработают. Единственной их заботой было развести костёр побольше, чтобы не замерзнуть совсем к чертям. Конвоиры не препятствовали — им ведь тоже было холодно!

Дни коротали, перекидываясь в картишки (которые всегда оказывались под рукой), рассказывая анекдоты или затевая между собой ссоры, а то и драки. Причинами всегда были любовные интриги. Были здесь и «лесбийские парочки», которые нежно ворковали, целовались, или ссорились…

Иногда кое-кто из уркачек для развлечения залезал на штабель, и с риском сломать себе шею, начинал раскидывать брёвна. К счастью, дни были ещё короткие, и с наступлением сумерек озябшие стрелки спешили увести нас в зону. Верней, не в зону, а в изолятор, так как мы не давали никаких процентов и числились в штрафниках, в том числе и я.

Не представляю, чем отапливался Швейпром — фабрика, цехи, бараки, кухня?? Только не нашими «дровами»! Должно быть, где-нибудь ещё «на дровах» работали мужчины.

…В изоляторе — небольшом бараке со сплошными нарами — тоже было тепло. Нравы здесь были не слишком строгие, хахали приходили на свидания к уркачкам и приносили передачи. Мои товарищи тоже меня не забывали, и когда им удавалось вырваться из нашей зоны, приносили всевозможную еду. В общем, мы отнюдь не голодали на своих двухстах граммах! А через

несколько дней начальник КВЧ добился, чтобы меня из изолятора выпускали на репетиции. Получалось забавно! Не знаю, дошло ли это до Дудара? Вероятно, дошло — но, наверно он поостыл, одержав надо мной такую «полную» победу!

Во всяком случае, сидя в изоляторе «с выводом в клуб», я ещё сыграла Ленку в «Шестерых любимых». Но сыграла плохо, так и не проникшись победоносным духом соцреализма, пронизавшим всю эту примитивную пьеску, заложившую фундамент будущей славы Арбузова.

И весь спектакль не блистал. Кремлёв был староват для энтузиаста-комсомольца, а знаменитый монолог старушки-уборщицы о чудаке Фаусте, который захотел остановить мгновение и тут же помер — не слишком вдохновил наших зрителей. И, конечно чувствовалось отсутствие Фёдора Васильевича…

Уркачки в моем изоляторе не только меня не обижали, а наоборот, угощали своими гостинцами, любили послушать какую-нибудь сказку, на нарах уступали мне самое «лучшее» место. Если бы не холод на дворе — всё было бы ничего.

На ногах у меня были валенки, были ватные шаровары и тёплый бушлат — в общем, я была одета теплее всех, но всё равно было холодно, и особенно замерзали руки, пока кто-то из моих друзей не догадался сшить мне ватную муфту! Так я и путешествовала «на дрова», укутанная с носом в теплые платки, в шароварах и валенках, с ватной муфтой на груди. Выглядела (или «выглядывала», как говорила наша пани Гелена), вероятно, достаточно забавно.

Муфта, между прочим, была действительно тёплая, уркачки мне завидовали, но никому не приходило в голову отнять её у меня — они меня «уважали» за театр и за Фёдора Васильевича. Я сама время от времени одалживала её кому-нибудь погреть замерзшие руки.

В марте солнце стало немножко пригревать, и «жить стало лучше, жить стало веселей», как своевременно заметил наш «великий кормчий» — Иосиф Виссарионович.

Нас — человек десять из изолятора — вместо «дров» вдруг отрядили на… заготовку льда! Ведь в те времена ещё никаких холодильников не существовало, тем более, в лагерях и льдом приходилось набивать погреба, и его конечно не хватало даже на наше, такое недолгое, северное лето.

Но, как бы то ни было, для нас это была приятная неожиданность! И правда, занятие это оказалось сравнительно интересное и весёлое.

Нас выводили на реку, подальше от берега, и приставленные

к нам десятники, расчертив на льду «план», и пробив полынью чуть ли не в метровом льду, обучали нас, как надо особой пилой вырезать глыбы льда, расширяя и расширяя прорубь. Даже мои уркачки заинтересовались — что из этого получится?..

К сожалению, не получилось ничего.

Глыбы плавали в нашей, теперь уже довольно большой, проруби, но оказалось, что их ещё надо вытащить наверх, на лёд. Нам дали какие-то вилы с крючками на конце, показали, как надо подцепить глыбу, и как тащить её наверх. И вот, когда казалось уж вот-вот вытащим — она непременно соскакивала с вил, плюхалась обратно в воду, обдавая нас всех фонтаном ледяных брызг!! Хорошо ещё, что никто из нас сам не угодил в прорубь вслед за своенравной глыбой!

День-два это веселило и занимало моих уркачек — они с хохотом валились на спины, болтали в воздухе ногами, и весело матерились. Но вскоре всё это надоело. Да и мартовское солнышко было ещё слишком беспомощно, чтобы подсушить намокшие наши телогрейки, а костра тут на реке развести было не из чего.

В конце концов, несмотря на понукания десятников, работа так и не начиналась. А «рабочие», чтобы не замерзать, бегали вокруг полыньи, или затевали легкие потасовки. В конце концов, видя бесполезность траты времени и десятниками, и конвоирами, нас «охранявшими», «на лёд» нас водить перестали.

Изредка «выгоняли» на погрузку какого-то кирпича, привезённого неизвестно зачем и брошенного у железной дороги. Там мы его грузили на платформы…

Никого это не вдохновляло, и все двигались как сонные мухи… Если бы не первое, едва ещё заметное дыхание весны — то и вовсе бы перестали двигаться!.. Но оно всё же ощущалось — солнышко становилось ярче; с карнизов барачных крыш застучала первая капель и, наконец, повисли первые сосульки, сверкающие бриллиантовой радугой…

…Не знаю, чем бы всё это кончилось и как бы я избавилась от «общих работ» в обществе урок, которое в больших дозах переносить всё же было трудно, несмотря на их доброжелательность ко мне, но тут снова вмешались «неисповедимые» пути НКВД, и в один прекрасный день меня вызвали на этап.

Куда отправляется этап — было неизвестно. «Параши» ходили самые противоречивые — от Колымы до Караганды!.. Но так как в числе предполагаемых лагерей называли и Онежское озеро с Медвежкой — сердце у меня ёкало — неужели опять моя «родная пересылочка»?! — и вдруг увижу старых друзей?..

В связи с чем этап — тоже было неизвестно. Отправляли ещё несколько человек из «58-й» — всех с такими же «страшными» пунктами, как у меня, но в основном, этап состоял из бытовичек, а заодно и уркаганок, от которых всегда в лагерях были рады избавиться при малейшей возможности.

Но — почему этап?.. И довольно-таки большой?.. Кто его знает…

Как ни трудно жилось на «Швейпроме», уезжать никто не хотел. Привыкли, обжились; у многих были и крепкие привязанности, и дружба, и любовь. У меня тоже оставались и тётя Оля, и Лайма Яновна, и другие друзья по театру, и трогательная своей инфантильностью Гелена Квятковская с её великолепной игрой… Но больше всего меня огорчало, что отнимут письма Фёдора Васильевича — кто знает, сколько времени пройдет, пока он узнает мой новый адрес, и пока я сама его узнаю!..

Самого же «Швейпрома», в котором уже не было Фёдора Васильевича, мне было не жаль. И, кроме того, это, наконец, избавляло меня от общих работ, от злопамятного Дудара.

Так и окончился для меня «Швейпром» — три года сравнительно благополучной лагерной жизни.

Это было в начале весны 1941-го года.

Глава V
Год сорок первый

Пушсовхоз

…Второй раз в жизни я попала на берег Онежского озера, туда, где у крошечного городка Повенца начинается знаменитая «Повенчанская лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канала — подъём на водораздел.

Здесь когда-то приставал наш туристский пароходик «Карл Маркс», и я водила туристов в Пушсовхоз посмотреть черно-бурых лисят и знаменитых соловецких соболей. Норок тогда ещё там не было. Втайне каждому из туристов ещё больше хотелось взглянуть на ухаживавших за лисами заключённых, тоже живших в Пушсовхозе «почти как на воле». Вернувшись, мы совершали экскурсию в музей строительства Беломорканала.

Смотритель и организатор музея — тоже заключённый, старенький художник, профессор Сидоров интересно рассказывал о строительстве и истории канала, показывал чудесно выполненные им же самим макеты плотин и шлюзов, показывал

куски собранных им интересных пород: диабаз с вкрапленными в него кроваво-красными зёрнами граната, нежно-зелёные волокна асбеста и «золотые» кубики сернистого ангидрида.

Стены музея украшало множество великолепно написанных пейзажей карельской природы, жанровые сцены — у строящихся шлюзов.

Николай Иванович Сидоров был вообще очень интересным человеком — прекрасным живописцем, искусствоведом, и до ареста, профессором Ленинградской Академии Художеств.

Мы быстро подружились с Николаем Ивановичем и он приглашал меня заходить к нему в музей и без туристов, в любое время, когда мне будет удобно.

Когда туристы на пароходе укладывались спать: пароходик ночевал у Повенца, я снова бежала в маленький домик, у первого шлюза, в гости к Николаю Ивановичу. Там, короткими белыми ночами рассказал он мне печальную повесть своего «дела». Это была ***первая*** выслушанная мною непонятная и жуткая повесть. Могла ли я тогда подумать, что в недалеком будущем мне суждено пережить нечто подобное и самой и выслушать десятки и сотни таких похожих и горьких, страшных своей похожестью историй…

Сидел он по обвинению, как он сам сказал — «в каком-то великодержавном шовинизме», и он тут же спросил у меня удивлённо, как будто я могла ответить: — Ну причём тут я — и великодержавный шовинизм?

После всех дикостей допросов, после Гороховой и Шпалерки, где людьми постепенно овладевал ужас и понимание своего полного бессилия — существование в музее казалось ему каким-то прибежищем, каким-то спасением, — якорем, за который он уцепился всем своим существом.

Он страстно любил музей, весь созданный его собственными руками. Он не спал ночами, писал или строгал что-то в своём маленьком мезонинчике наверху, где стояла его железная коечка и где ему разрешено было жить. Он имел пропуск для «вольного хождения» в зоне канала, но почти никогда никуда не ходил, словно боялся хотя бы на минуту оставить своё прибежище, чтобы вдруг… Что же ещё могло случиться «вдруг»?

Мне казалось, что если бы он лишился своего существования в музее, он переживал бы это тяжелее, чем потерю свободы и кафедры в Ленинграде. Ведь это был **последний** осколок его жизни, **последняя** иллюзия…

«Карл Маркс» каждый рейс ночевал в Повенце, и пока туристы спали утомленные экскурсиями и впечатлениями, я забегала к Николаю Ивановичу. Постепенно он ко мне привык,

радовался моему приходу, ждал «Карла Маркса»…

Со мной на пароходе плавал сынишка Славка, пяти лет. Он обожал музей и дедушку Сидорова, всюду совал свой любопытный нос, и когда Николай Иванович гладил его стриженную головенку, я замечала, как начинает дрожать сухонькая старческая рука, а в потухших невыразительных глазах сверкала какая-то влага…

Он выстругал для Славки чудесный кораблик и выкрасил его масляной краской…

Когда мы познакомились с ним поближе, он попросил меня, когда буду в Москве — узнать, будет ли издана его монография об Игоре Грабаре, которую он закончил незадолго до ареста и сдал в издательство. А я-то думала, что все его интересы — здесь, в музее. Ведь он никогда не рассказывал о «той» прежней жизни…

Когда я вернулась в Москву, я узнала. Конечно, монографию «врага народа» печатать не собирались, рукопись из редакции была изъята, и куда девалась — неизвестно.

Дожил ли Николай Иванович до реабилитации? Вряд ли. Тогда ему было уже далеко за семьдесят…

Когда в 1966-м году — 32 года спустя, мне довелось снова плыть по Беломоро-Балтиийскому каналу, я пыталась узнать — что сталось с музеем — уцелел ли он во время войны? Мне сказали, что сначала он был переведён на Водораздел, потом ещё куда-то, но и там не сохранился…

…Ну, хватит отступлений.

Итак, я снова, через годы, оказалась в Пушсовхозе. Правда, не в самом совхозе, а рядом. Черно-бурых лис и норок, которых здесь теперь развели, заключённые не обслуживали. Лагерь — около двух тысяч человек — занимался, в основном, сельским хозяйством, корчёвкой леса, какими-то мелиоративными работами. Это было подсобное хозяйство Белбалтлага.

Когда нас туда привезли, сначала, как водится, всех отправили на общие работы… Была весна, и в огромных парниках уже рассаживали — «пикировали» — капусту. Работа, вроде бы и пустяковая — высаживать из ящика зеленые росточки в парниковую раму. Но после часа сидения на корточках или стояния на коленях — начинало ломить все тело, спину невозможно было разогнуть, а к вечеру казалось, что никогда в жизни уже не встать на ноги. Но утром мы, хотя и с ломотой во всём теле, снова вставали и снова садились на корточки у парниковых рам… И постепенно боли уменьшались — «везде нужна сноровка, закалка, тренировка…»

Так прошло недели две. Пришла настоящая Карельская весна, пролетели на север журавлиные стаи. Теперь по вечерам всё же

хватало сил хотя бы перемолвиться словом с соседкой по нарам.

Такой соседкой Бог послал мне Екатерину Михайловну Оболенскую — вдову расстрелянного академика и кремлёвского работника Оболенского-Осинского. Но подружиться с ней всерьёз мне довелось уже позже — в Центральной больнице Соликамского лагеря. Здесь же она тоже работала в лазарете, уставала зверски, и до этапа на восток мы даже и познакомиться друг с другом как следует не успели.

Здесь же, в Пушсовхозе, я познакомилась с немецкой коммунисткой Гизэлью, перебежавшей в Советский Союз. Она уже кончала свой десятилетний срок, полученный за это, и со дня на день ждала вызова на освобождение. Была она полна радужных надежд, потому что был сын, которого она мальчуганом прихватила с собой, когда переходила границу.

Петрик вырос в детском доме, теперь уже студент, и конечно, они вдвоём не пропадут! И в конце концов, она же добьётся пересмотра своего дела…

Но, забегая вперед на следующие восемь лет, я не могу не рассказать о печальной и страшной судьбе Гизэли.

В 1949 году всех бывших лагерников с десятилетними сроками и страшными статьями — а у нее была 58–1 — «шпионаж» — начали арестовывать вновь…

Гизэль тогда жила в том же Боровске, под Соликамском, где и я. Вместе с сыном ей устроиться не удалось — ведь у нее был такой же «волчий паспорт», как и у всех освобождённых лагерников с 58-й статьёй: 100 км. от Москвы, Ленинграда и других больших городов. Но сын приезжал на каникулы, а Гизэль работала изо всех сил (она была каким-то счётным работником в бухгалтерии Бумкомбината), чтобы послать лишнюю копейку своему Петрику.

Увы, бедная Гизэль не дождалась ни пересмотра, ни реабилитации…

Когда начали забирать бывших лагерников — сегодня прокашивали одну улицу, завтра другую — нервы Гизэли не выдержали: она насыпала в карманы земли и камней, и так, в худеньком своем пальтишке, ушла в Камскую воду…

Дома оставила записку: «Второй раз не могу — нет больше сил… И не хочу портить карьеру сыну. Чем иметь репрессированную мать — уж лучше никакой». В то время её очень можно было понять… И все же… Ведь оставалось перетерпеть всего 5 лет!.. Только никто этого тогда не знал!..

А ведь была она лет сорока с небольшим, не старше. Умница, тонкий человек, и образованный, хотя и родилась в семье бедного сапожника… Нигде не училась, но занималась самообразованием

и массу читала.

Меня привезли в Пушсовхоз как раз накануне освобождения Гизэли. Ее уже вызывали в III-ю часть, и велели срочно подготавливать себе замену — речь шла о ее работе, иначе грозились в срок не отпустить.

Гизэль оглянулась кругом, и взгляд ее остановился на мне.

Уж хуже и ошибочней выбора она сделать не могла! Но в то время, когда у меня спина разламывалась от этой проклятой «пикировки», ее предложение, воспринятое мною так легкомысленно, показалось мне спасением, и я ухватилась за него с радостью, тем более, что в руках Гизэли всё выглядело так просто и легко.

…Бригады лагерников с утра отправлялись на какие-нибудь работы — полевые, в основном. К вечеру они возвращались в лагерь, и бригадиры приносили в «контору» табеля — сведения о том, кто работал в этот день в бригаде, что сделал, и сколько это составляет процентов нормы. Согласно этим табелям бригадиры получали талончики на хлеб, на завтрак, обед и ужин, хотя последние объединялись вечером в одну еду. Талончики выдавала Гизэль.

Вот, ей и надо было найти такого — мало-мальски грамотного человека, который сел бы за её стол и продолжал бы выдавать талончики после ее отъезда. Кажется — чего уж проще!

Наработал человек 100 % — получай за сто, наработал 50 % — получай за пятьдесят. Нормы хлеба на каждые проценты висели тут же на стене, перед глазами, выписанные огромными цифрами.

Во всех лагпунктах существовала такая «сдельная» оплата хлебом, которая зависела от процента выработки. По вечерам, приходя в контору, бригадиры получали талончики, по которым предстояло жить на ***следующий*** день — завтрашний, а на сегодняшний все уже имели талончики с вечера вчерашнего дня. Пришедшие, усталые и голодные люди устремлялись в хлеборезки, в столовые со своими талончиками, а потом, уже на сытый желудок, получали у своих бригадиров талончики на завтра, выясняли всякие недоразумения и несогласия.

Но до чего же беспредельна глупость человеческая!

В Пушсовхозе додумались выдавать вечером талончики, на которые полагалось получать — ***сегодняшнюю*** пайку! — ***сегодняшний*** обед. Бригадиры возвращаясь с работы, мчались не заходя в барак в контору за талончиками. И даже, если их отпускали с работы немного раньше, чем конвой вёл всю бригаду в зону — всё равно в конторе к концу рабочего дня начиналось жуткое столпотворение…

Все кричали, все лезли быть «первыми», все совали в нос свои табели. Счастье ещё, что посреди конторы стояла прочная загородка, за которой сидела Гизэль, а загородка, хотя и трещала, под бригадирским натиском, но всё же не поддавалась!

А многоопытная Гизэль, знавшая наизусть все нормы, с быстротой компьютера проставляла против фамилий с процентами — граммы хлеба и, как трамвайный кондуктор, молниеносно отрывала нужные талончики с катушек, закреплённых в каких-то жестянках. Её движения были похожи на загадочные жесты жонглёра, у которого в воздухе летают «сами по себе» десяток шариков.

За какой-нибудь час контора очищалась от бригадиров, и только неудовлетворенные и обиженные люди заскакивали по одному предъявить свои претензии и покрыть матом Гизэль и своих бригадиров. Но Гизэль никогда, или почти никогда, не ошибалась. Её дело было начислить пайку на проценты — а если проценты не удовлетворяли спорщика — ему оставалось апеллировать только к бригадиру.

В общем, часам к 7–8-ми Гизэль разбиралась со всеми претендентами и переходила к следующему этапу работы: надо было подсчитать количество выданных талонов соответственно их процентам, а затем — общее количество талонов, и это должно было сойтись со списочным составом лагеря — цифра, которую ежедневно давала лагерная охрана (ВОХР).

К 11-ти у Гизэли бывало всё готово… А работа начиналась часов в 6 вечера, когда прибегали первые бригадиры. Целый день она была свободна, могла шить, читать, заниматься чем хочешь в пустой днём лагерной зоне. И она неизменно получала свои четыреста граммов хлеба, как все конторские служащие. Ну, не завидное ли житьё?

…Вот я и соблазнилась. Несколько дней, пока рядом была Гизэль, и работа как-то спорилась шутя — пролетели стрелой, и наконец, я впервые села за стол одна.

То, что творилось в этот вечер, да и не только в этот, а и во все последующие, описать трудно! Разъярённая толпа бригадиров, а потом и просто голодных людей, сколько могло влезть в контору — бушевала, как расходившийся океан за моей загородкой, которая трещала по всем швам и грозила рухнуть. В шуме и криках я ничего не могла разобрать, не могла найти нужных табелей, чтобы исправить в них ошибки. Они ворохом громоздились у меня на столе, и разлетались по всему полу, Я была в отчаянии… Но ведь людей надо же было кормить! На свой страх и риск я верила людям на слово, заменяла одни талоны другими, кому-то выдавала талоны вовсе без табеля, потому что

действительно были люди, пропущенные в табелях, которых бригадиры просто забыли внести в табель.

Бригады были нестабильными, состав их постоянно менялся — кого-то переводили нарядчики из одной бригады в другую, кто-то заболевал, кто-то проштрафился и попадал в изолятор, и разобраться во всей этой каше, да ещё быстро, под ругань и крики, не было никакой возможности…

Это бушующее море едва отхлынуло к поверке и отбою, и после отбоя я принялась за вторую часть работы — за составление сводки о выданных хлебных талонах.

Тут уже ужасу моему не было предела! Сколько я не билась — ничего не получалось. То не хватало людей по списочному составу… То не хватало талонов, опять же согласно этому списочному составу. Я давно уже отдала собственную пайку кому-то из пропущенных, но ведь это была всего лишь одна жалкая пайка, а у меня не хватало — целых 19-ти штук!..

Я считала и пересчитывала. Складывала на счётах и считала на бумажках. Все давно разошлись из конторы, и весь лагерь погрузился в сон, а я все считала и считала…

Наконец, к рассвету, я вообще уже перестала понимать хоть что-нибудь, и упав головой на ворох табелей заснула за столом тяжёлым и кошмарным сном…

Немногим лучше было и в последующие дни. Гизэль уехала, и помочь было некому. Я бегала к начальнику — умоляла снять меня на любые общие работы. Но начальник трезво рассудил, что и у другого будет не лучше, а я всё же «обученная» Гизэлью. — Ерунда, привыкнете! — философски изрёк он.

И я продолжала «привыкать», и каждый вечер выдерживала яростный штурм, и каждую ночь считала до рассвета и до одурения, и поспав два-три часа снова считала до вечера…

В конце концов, я подгоняла цифры к списочному составу и с ужасом ждала ревизии Финчасти. Когда обнаружится, что у меня нехватка — и не чего-нибудь — а хлебных талонов!.. И какая нехватка! Она вполне обеспечивала мне новый десятилетний срок!..

Я похудела — почти каждый день приходилось отдавать свою пайку, хотя я и понимала, что это — капля в море, и спасти меня уже не может; покрасневшие глаза страшно резало и зудило, начинался конъюнктивит, и я чувствовала, как на всех парусах несусь в пропасть.

И чем бы всё это кончилось — не знаю, если бы опять не новый поворот судьбы — и не только моей.

Этап на восток

Это было 22-е июня 1941 года.

Ещё до рассвета в бараке мы услышали какие-то отдалённые взрывы и слабые ещё звуки пушечных выстрелов. Утром, хотя официально нам никто об этом не объявлял, уже весь лагерь знал, что началась война с Германией.

В первые же дни войны орудийная канонада стала явственно приближаться к нам. Серые самолёты с чёрными крестами на крыльях почти каждый день стали появляться неподалёку от зоны. Иногда они сбрасывали бомбы, которые с тонким свистом, нарастающим до визга, шлёпались и взрывались в поле, где-то рядом с зоной. Мы вытаскивали из бараков наши пожитки и спали на земле, чтобы не быть погребёнными под обломками, если бомба угодит в барак. И ночью, сквозь сон, был слышен этот вибрирующий свист падающих бомб…

В лагере всё смешалось. 58-ю статью сняли со всяких работ — в финчасти, в конторе и во всех других местах. На работы за зону, после того, как одна из бригад вернулась с поля, потеряв своего конвоира, выводить тоже перестали. Над бригадой несколько раз пикировал самолет, и в конце концов сбросил бомбу, которая разорвалась где-то неподалёку в лесочке. Конвой и заключённые разбежались кто куда, и бригада прибежала в лагерь раньше, чем туда добрались конвоиры.

Бытовиков и мелких уголовников пачками освобождали, давая им вместо документов какие-то бумажные справки.

Во всем этом хаосе я одна по-прежнему сидела в конторе и выдавала «по старой памяти» бригадирам хлебные талончики. Но теперь всё упростилось до ерунды — все получали по 400 граммов — таков был приказ, и подсчитывать ничего уже было не надо, так как ни о каком «списочном составе» не могло быть и речи — он менялся каждый час!

Господи. Сколько вспыхнуло надежд! Теперь, когда объявились истинные враги, теперь-то уж не трудно будет доказать, что мы — свои, не враги, и в тысячу раз лучше быть убитыми на фронте, чем нелепо, ни за что прозябать в лагере!.

Все наши мужчины бросились писать заявления с просьбами послать на фронт, на самые опасные участки. Но и мы, женщины, просились в медсёстры, в санитарки, на какую угодно самую тяжёлую и грязную работу!..

…На фронт никого не взяли, но через несколько дней нам было велено собираться на этап. Кроме нас, в зоне оставались матёрые уркаганы, с десятилетними сроками, сидевшие не первый раз за бандитизм и убийства. Они назывались: «У. Б. Э» — Уголовно Бандитский элемент. На лагерном жаргоне это звучало, как «убие» — и невольно ассоциировалось с убийцами,

которыми они и были на самом деле.

Всего на этап отправляли около тысячи человек. С собой было велено взять только мешок с минимальным количеством одежды и… ложку!.

И вот, числа 28-го или 29-го июня, наш тысячный отряд наполовину из 58-й статьи, наполовину из «УБЭ», был выведен за зону и построен нескончаемой колонной по четыре человека в ряд. Мешки наши были сложены в две высокие пирамиды.

Так мы начали стоять на дороге, ведущей из лагеря в Повенец. Стояли час, стояли два, стояли три. Солнце, поднявшееся над лесом стало нещадно припекать. Хотелось пить. Перед выходом из зоны мы получили обычный этапный паёк — 400 грамм хлеба, кусок селёдки и пару кусочков сахара. Селёдка была уже давно съедена, да и хлеб мало у кого оставался. Пить было нечего. А жажда разбирала, чем дальше, тем больше. Затекли ноги, и многие садились тут же на пыльную дорогу. Сначала конвой находил, что это — непорядок и раздавалась команда: — Встать! Но потом конвоиры, видимо, сами умаялись вконец и перестали обращать внимание на сидящих в пыли — лишь бы не сходили с дороги.

…Ничегонеделание — это-таки одно из самых тяжких занятий — так, по крайней мере, казалось мне. И когда в конце дня, вконец измученных, нас снова запустили в зону, первой заботой было «захватить» какой-нибудь из брошенных тюфяков, а затем, с наслаждением растянуться на нём.

…На следующий день всё повторилось с пунктуальной точностью: тот же этапный паёк, та же поверка по формулярам и обыск перед выходом за вахту, и то же великое стояние на дороге за воротами на солнцепёке, жажда и усталость до одурения. Только орудийное уханье стало слышаться явственней, да немецкие самолёты всё чаще мелькали над нами, иногда вдруг резко снижались проходя бреющим полётом, чуть не задевая верхушки деревьев.

Третий день внёс некоторое разнообразие: — к полудню жара последних дней разразилась грозой и ливнем, обрушившимся на нас, разметавшим пирамиды наших мешков, а дорогу — превратившим в бурную реку. Сразу стало холодно, и во всю остальную часть дня мы тщетно старались согреться, прыгая в своих лужах. Зато перестала мучить жажда — воды было сколько угодно!

Но и в этот день нам не суждено было уехать. Говорили, что не готов пароход. Но зачем нас заранее выводили из зоны было непонятно. Говорили, что в этот день сбежало несколько уркаганов, но это было не вблизи нашей части колонны, так что

мы не видели. Правда, стрелки с собаками часто пробегали туда и сюда.

Эта последняя ночь в лагере была самой тяжёлой. Брошенные на дворе тюфяки насквозь промокли, пришлось устраиваться в бараке на голых нарах, угреться было нечем, наша мокрая одежда, кое-как развешенная в бараке, конечно, не высохла и до утра, Всё тело ныло, и сон, похожий на забытьё, временами прерывал свист неподалёку падающей бомбы…

Я думаю, что по сути **нет предела** терпенью и возможностям человеческим. И ведь никто не заболел, не простудился даже! Казалось, что плоти уже нет, одни волокна нервов, которые во что бы то ни стало хотели **дожить,** увидеть, узнать, не растеряться с родными…

На следующий день природа над нами сжалилась. С утра ярко сияло солнце, и теперь его палящие лучи были целительными и встречались с радостью.

И тут, наконец, наша колонна двинулась. Как обычно, в таком огромном этапе — то топчась почти на месте, то вдруг под окрики «Шире шаг!», «Подтянись!» — пускалась бегом до нового затора. Из под ног фонтаном летели брызги, но на это никто уже внимания не обращал.

Так, часа за два мы преодолели пятикилометровое расстояние до Повенца и голова нашей колонны уперлась в небольшой причал у первого шлюза, а хвост только-только выполз из леса на повенчанские улицы. Тут мы снова прочно остановились…

Вероятно мы даже успели бы совсем обсохнуть от вчерашнего ливня и сегодняшней дорожной грязи, если бы не внезапно вынырнувший «Мессершмит». Раз за разом, с быстротой молнии промчался он над нами, чуть не задевая нас своим крылом.

— Лягай!.. Лягай!.. — закричали стрелки, и сами бросились на землю, но тут же защёлкали затворами и нацелили на нас винтовки. Рассуждать было некогда — сверху самолёт, снизу винтовки — и мы дружно повалились в дорожные лужи, не просохшие со вчерашнего дня.

Не знаю, что там увидели и подумали на «Мессершмите», только никаких бомб на нашу колонну не сбросили. Может быть, это была и простая случайность. Позже рассказывали, что одну из барж, груженную заключёнными, разбила и потопила немецкая бомба.

…Наконец, шаг за шагом мы стали подтягиваться к причалу, где стояли две открытых баржи, вроде лихтеров, в которых перевозят лес. Люди, подгоняемые конвоем, поднимались по трапу и исчезали в трюме баржи.

Настала и наша очередь — моя и тех, что стояли рядом со мной.

Я сравнительно недолго пробыла в Пушсовхозе, и из-за моей фантасмагорической работы мало с кем успела познакомиться. Гизэль уехала раньше; Екатерина Михайловна со своим лазаретом попала в какой-то другой участок колонны, и, очевидно, в другую баржу. Кругом были люди незнакомые, кроме одной старушки — Елизаветы Ивановны, работавшей в финчасти, которую я немного знала.

Испуганная, неуверено ступала она по трапу, хватаясь за верёвку, которая была протянута взамен поручней. Я шла за ней, и эту первую часть этапа мы держались вместе. Но немного позже с ней произошло несчастье. Жутко вспоминать о нём и ее дальнейшей судьбе… Но об этом позже.

По ту сторону борта в баржу вела крутая наскоро сколоченная деревянная лестница. По ней люди спускались вниз, на дно трюма. Там уже стояла плотная толпа — плечо в плечо, грудь в спину. Но люди продолжали беспрерывно двигаться с лестницы вниз и уплотнять толпу ещё и ещё.

Движение остановилось, когда не только стоять, но и дышать стало трудно — так была сдавлена грудь, со всех сторон напирали тела. Какое счастье ещё было, что над нами не было потолка, и кислорода было вдоволь…

…Стояли мы или плыли понять было трудно — кроме неба над нашими головами, ничего не было видно. Только покачивающийся под ногами пол, да глухое бульканье воды за бортами заставляли думать, что мы всё же плывём.

Небо постепенно бледнело, потом покрылось позолотой и нежным румянцем, наконец посинело, потемнело, и замерцали первые звёздочки…

Не помню, как мы провели эту первую ночь, но потом, как всегда, люди начали приспосабливаться, и даже предельная, казалось, теснота всё же немного утряслась и как-то расширилась.

Я помню ночи, проведенные на корточках, на коленях друг у друга, или в каком-то полувисячем положении, когда голова лежала на чьём-то плече, или на чьей-то спине…

Появилась и какая-то организация (организаторы находятся всегда и везде, во всех случаях жизни и при всех обстоятельствах!). Было решено разобраться на бригады по 25 человек. Естественно, что эти 25 человек были одной из ячеек толпы — как соты в улье! В каждой ячейке нашелся добровольный бригадир. На его обязанности было утром получить паёк — пять буханок хлеба и пять банок соевых консервов, и затем раздать их своей бригаде — по буханке и по банке на каждые пять человек.

Воду тоже приносил бригадир в котелке, или в ведёрке, которым доставал её из-за борта, и мы пили по очереди, прямо из котелка.

За пайком бригадир отправлялся с мешком, сооруженным из рубахи с завязанными рукавами, шагая по коленям сидящих на корточках людей. Таким же образом отправлялись люди в «уборную» — на корму баржи, куда вела отдельная лестница.

В эти короткие минуты посещения уборной с кормы было видно сначала Онежское озеро, а потом какие-то каналы или речки, по которым маленький катерок тащил нашу баржу. Впереди двигалась ещё одна, точно такая же. По берегам речек, с одной и с другой стороны, здесь и там торчали лагерные вышки между рядов колючей проволоки. Казалось — в России нет уже ни сёл, ни деревень — одни только лагеря и лагеря…

Так мы тащились пять дней и пять ночей до самого Рыбинска.

Впрочем, сначала у нашего конвоя было намерение устраивать «днёвки» с отдыхом и горячей кашей, сваренной на кострах. Только по глупости и неосторожности самих заключённых мы лишились всего этого «великолепия».

Было это так: на второй день после суток пути, баржа пристала к берегу, и мы услышали команду:

— Выходи по одному! И мы не заставили ее повторять дважды.

Прежде всего, расталкивая всех кругом, к лестнице ринулись — насколько можно было «ринуться» среди нашей людской каши — урки и первыми взобрались по лестнице. Не прошло и получаса, как все мы очутились на пологом зелёном бережке, а ещё через полчаса уже трещал огромный костёр, на котором в большущем казане варилась пшённая каша.

Женщины уже возились у воды, что-то стирая и растягивая тут же на травке для просушки. Конвоиры пришли в благодушное настроение и, предвкушая сытную еду, подобрели и разрешили купаться, не заходя далеко в воду…

Всё вместе было похоже на весёлый майский пикник, а не на спешную эвакуацию опасных заключённых.

Немного впереди нас пристала другая баржа, и там тоже задымил свой костёр, а на берегу мылись и чистились люди. И вдруг мы увидели издалека какое-то движение у той, другой баржи. Люди бежали к берегу, размахивали руками, что-то крича. Мимо нас пронеслись стрелки с собаками, поднявшими отчаянный лай. Было ясно, что-то произошло…

Через несколько минут, мы уже знали, что двое мужчин, купаясь, каким-то образом, утонули в реке, где и течения-то почти не было, и глубина была невелика. Мы тоже бросились к той барже, но утопленники были окружены плотной толпой,

ничего не было видно. Говорили, что их откачивают. Но… откачать не удалось…

Озлобленные конвоиры тут же отменили и купание, и «пикник», выстроили нас в колонну по четыре в ряд и начали пересчитывать. От волнения и безграмотности у них ничего не получалось — то людей не хватало, то оказывались лишние.

Кончилось тем, что притащили формуляры и начали выкликать по фамилиям. Всё было кончено. Приятный и сулящий сытный обед «пикник» превратился в нудную голодную и нелепую стоянку на солнцепеке. Печально шипели догоравшие костры, в которые сплывала никем уже не присматриваемая каша. Только аромат подгоревшего пшена щекотал ноздри и пустые желудки. Сколько пшена было загублено зря!..

Это была первая и последняя попытка накормить этап горячей пищей, и закончилась она так плачевно.

Больше ни разу до самого Соликамска, куда мы приплыли через месяц с небольшим, нам не пришлось попробовать горячей пищи. Соевые консервы тоже кончились, и вместо них выдавали тощенькую, а главное, дико солёную тюльку, которую мы бережно раскладывали на пять кучек, считая и сравнивая каждую рыбку. Дней через пятнадцать из буханок хлеба, когда их разламывали, за неимением ножа — стал подниматься серебристо-зелёный столб сухой плесени, похожий на персидский порошок, которым когда-то посыпали диваны от клопов… И все же мы, почти все, доплыли до Соликамска…

Первые пять суток были самыми тяжелыми. В Рыбинске нас пересадили в другие баржи — крытые, но где было значительно просторнее, и были даже какие-то нары, вроде барачных «вагонок». Их захватили «УБЭ», которые беспардонно стаскивали успевших устроиться там «фашистов». — теперь уж иначе нас, — 58-ю, и не величали. Но и на полу, под нарами, и в проходах находилось достаточно места, чтобы лежать, и это было счастьем! Блаженно было вытянуться во всю длину, вытянуть уже начавшие опухать и нестерпимо нывшие ноги. Сон заменял пищу, и мы спали чуть ли не все 24 часа в сутки.

Следующая пересадка была уже на Волге, в Горьком.

Хотелось бы не вспоминать о ней… Но всё стоит перед глазами, как сейчас: с баржи нас перегружали на пароход, который причалил почти вплотную к барже, и с ее борта на борт парохода перекинули довольно широкие мостки. И весь народ с баржи устремился к этим мосткам, чтобы первыми занять лучшие места на пароходе. Это были не только «убие», это была и 58-я — всё смешалось в страшную и безликую неуправляемую толпу.

Я хотела увлечь Елизавету Ивановну из этой жуткой толпы, и

вырваться сама — но это было уже невозможно. Только вперёд и вперёд влекло это чудовище, обретшее собственную неумолимую силу и волю. Назад — хода нет. И вот, мы уже шаг за шагом приближаемся к мосткам, поднимаемся со ступеньки на ступеньку по приставленной лестничке, пока не оказываемся на мостках. И тут я с ужасом вижу, что Елизавета Ивановна, замешкавшись, растерянно останавливается на самой середине мостков, подносит руки к вискам, как-то странно шатается из стороны в сторону.

— Давайте руку, — кричу я — руку!.. Но меня уже теснят и теснят дальше; кто-то пытается поддержать Елизавету Ивановну сзади, кто-то дико визжит, а она медленно оседает всё ниже и ниже — как в замедленной съёмке в кино — пока вовсе не исчезает среди голов, туловищ и движущихся ног…

— Остановитесь!.. Остановитесь!.. — Кричат все, но это невозможно, и люди всё идут и идут не в состоянии остановиться, не в силах обойти упавшую женщину…

…Позже говорили, что Елизавету Ивановну сняли с парохода ещё живой, — с поломанными руками и ногами, и отправили в какой-то госпиталь в Горьком. Осталась ли она в живых — не знаю, так как никогда больше ее не встретила.

…Как оказалось, не было никакого смысла устраивать «ходынку» и драться за места на пароходе. Нас погрузили в трюм, где были сплошные нары, и лежать на нарах, или под ними было совершенно всё равно. Места хватало — не хватало воздуха. Круглые иллюминаторы были наглухо задраены, люки накрепко заперты. Дышать было совершенно нечем. Каждые минут 15 кому-нибудь становилось дурно, и кто-нибудь терял сознание. Поднималась паника, все начинали кричать, выть, колотить кулаками и ногами в стены и люки, пока люки не открывались на несколько минут и свежий воздух наполнял трюм. Но хватало его ненадолго. Стоило закрыть люк, и всё повторялось вновь…

Я ошиблась, сказав, что самыми трудными были первые пять суток. Там над нами было небо и достаточно кислорода. Путешествие в трюме, без воздуха, было ещё хуже. И, как много раз в жизни бывало со мной, и вероятно, и со всеми, когда я была уже совершенно на ***пределе*** — снова вмешалась судьба, чтобы спасти меня. Она явилась в лице Екатерины Михайловны Оболенской.

Наш лазарет, с больными из лагеря и заболевшими в дороге, ехал в IV классе парохода. С лазаретом ехала и его обслуга. Ехала и Екатерина Михайловна.

По сравнению с трюмом — это были царские палаты. У каждого имелось свое «плацкартное» место; в открытые

иллюминаторы веяло речным ветерком, а на самой корме была дверка на крошечный «балкончик», за которым бурлила вода, надолго оставляя пенный след на реке. Дверь на балкончик тоже не закрывалась.

Не помню, как удалось ей устроить меня в лазарет, и как вообще она узнала, что я еду в трюме?. Я была ещё на ногах и ничем особенным не болела, если и дошла до предела, то только от духоты, но и другие были не в лучшем состоянии…

Но в лазарет меня устроила именно Екатерина Михайловна.

…Господи! Как дышалось на этом маленьком балкончике! Какие упоительные вечера и ночи с лунной дорожкой на реке провели мы там с ней! Сколько было говорено и рассказано… Там же зародилась огромная симпатия друг к другу, и было заложено основание будущей дружбе, продолжавшейся до конца её жизни… Но вскоре нам снова предстояло расстаться почти на два года.

Но пока что пришли и новые искушения: так соблазнительно было перешагнуть низкий бортик балкона! Вода была почти рядом, чуть не рукой достать. Доплыть до берега ничего не стоило. Вряд ли бы заметили и конвоиры, а если бы и заметили, вряд ли стали бы поднимать шумиху, останавливать пароход. Ведь списать больного из лазарета было проще простого, без хлопот и забот…

Мы уже отрезвели, и начали понимать, что война для **нас** — ничего не изменит, разве только поголодать придётся заодно со всеми, но останемся мы такими же политическими «зе-ка», как и были — «гидрой», которую надо в бараний рог свернуть, как когда-то разъяснили мне на Лубянке…

Убежать, когда кругом паника, эвакуация, кругом бегут люди без вещей, без документов — чего же проще?! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать это. Всего лишь один ничтожно маленький шаг…

Что же удержало? Опять-таки полная неизвестность, что делать дальше… И… дети, мама, боязнь навредить им, растеряться с ними навеки, потерять связь с Фёдором Васильевичем… И ночь уходила за ночью, а «последний шаг» так и не был сделан…

…Где-то уже на Каме (в Перми, может быть?), мы долго стояли, пока нас снова не перегрузили в баржи. Это были опять открытые баржи типа лихтеров — как та, первая, в которой отплывали из Повенца, но их было несколько, и в трюмах было совершенно свободно — хочешь сиди, хочешь — лежи, хочешь — гуляй себе!.. Дни стояли ясные, ночи тёплые, и жилось нам в этих баржах «отлично», не считая пустых желудков, конечно, но и к этому тоже в какой-то мере привыкаешь. Это был последний,

заключительный аккорд нашего Большого этапа, закончившийся в Соликамской пересылке.

Так не хотелось уходить с этой баржи — чувствовалось, что впереди нас не ждёт ничего хорошего…

Когда мы, наконец, очутились в зоне, и нас развели по баракам — отдельно мужчин и женщин, первое, что мы сделали — разделись догола и устроили Великую Вошебойню…

I
Лесоповал

…«Жупелом» лагерей, обычно, принято считать лесоповал. На самом деле это не так. Масса работ есть тяжелее и нуднее лесоповала… Та же корчёвка пней, или земляные работы, да даже и полевые — утомительные своим однообразием.

На самом деле — если бригада дружная, если пилы и топоры острые, если деревья толстые — из каждого — больше кубометра древесины выходит — и если люди не истощены до крайности — лесоповал вовсе не самая страшная и тяжёлая работа.

Лесоповал — работа, на которой вполне можно сделать норму, и даже больше, а главное — это работа разнообразная, и по своему, даже интересная. Во всяком случае, не чисто механическая — в ней участвует и голова.

Надо сообразить, с какой стороны выгодней подрубить сосну, сколько её надо пропиливать, чтобы не соскочила с комля и не перебила бы людей, падая не на ту сторону, на какую надо. Решить, где упереться баграми, чтобы лучше расшатать и повалить подпиленное дерево. Кроме того, надо определить, на какую древесину пойдет ствол — на «баланы» или на деловую древесину — ведь десятник не всегда под рукой. Надо разметить и начать пилить так, чтобы не застряла и не сломалась пила… Надо, также, суметь раскопать вчерашний костер, занесённый снегом, и раздуть тлеющий уголёк. Надо заставить гореть огромные сырые заснеженные ветви…

Всё это я знаю, потому что испытала на собственном опыте. Но пришёл этот «опыт» не сразу и не вдруг, а постепенно, после того, как несколько раз чуть не «загнулась», как загнулись многие другие.

К сожалению, все «если», перечисленные мной, почти никогда не бывали в наличии — всегда чего-нибудь не хватало: то острых пил, то толстых деревьев, то дружной бригады, а главное — крепких мускулов…

…На пересылке в Соликамске нас продержали дня два-три, и разослали по разным лесоповальным «командировкам», как здесь

называли лагпункты. В числе сорока человек, преимущественно мужчин, я попала на командировку, под названием «Сорок вторая».

Это был небольшой лагпункт — человек на 400–500, километрах в сорока от Соликамска. Эти сорок километров мы тащились два дня, как ни подгонял нас конвой. Ноги ещё плохо держались после полутора месяцев неподвижности и голодного этапного пайка; люди шатались и часто падали. Стояла жара, страшно хотелось пить… Во рту не то что пересохло — а и язык стал шершавым, как тёрка, и огромным, как пирог.

Раза два мы проходили через деревни, и колодцы с журавлями стояли у самой дороги, но ни разу конвоиры не разрешили остановиться и напиться. Бабы у колодцев жалостливо смотрели на нас, вздыхали и крестились.

Только к вечеру, когда почти совсем уже стемнело, нам всё же удалось напиться… Мы снова проходили деревней, довольно большой. Избы длинными рядами стояли по обе стороны дороги.

Начальник конвоя объявил: — В конце деревни есть мост и река. Если мы пройдем деревню быстро и тихо — в полном молчании — то нам будет разрешено напиться из реки.

Неужели ему могло прийти в голову, что сорок голодных и обессиленных людей, не имея никакого оружия, могут поднять бунт? Что крестьяне, живущие в области, где лагерей куда больше, чем деревень — могут броситься им на помощь?..

Итак, мы, собрав последние силы, торопливо, молчаливо, как воры шагали по деревне. К счастью, дорога к реке шла под уклон… Наконец, вот она — обещанная награда! Вот она — живая вода, наслаждение и эликсир жизни!

У моста нас свернули с дороги на берег. Было уже совсем темно, и скорей на ощупь, чем на глаз, было понятно, что мы шагаем по следам скота, который сюда гоняют на водопой. Глубокие вмятины от копыт засохли колдобинами, и мы беспрерывно спотыкаемся. Но вот, под ногами становится мягче и мягче, наконец захлюпало жидкое месиво и — о счастье! — Вода!.. Вода!..

Мы не дали себе труда забрести в реку хотя бы по колена. Полными пригоршнями мы черпали воду, взбаламученную нашими ногами, окунали в ладони пылающие лица и пили, пили жадно, не отрываясь, как разгорячённые лошади…

Ночевали мы на какой-то лужайке при дороге. Было тепло, и костра не было нужды разводить. Варить нам тоже было нечего — паёк, выданный на день (неизменная селедка!), был давно съеден. Да от усталости есть и не очень хотелось.

На другой день мы дотащились до лагеря. А на третий — всех

мужчин отправили на лесоповал. Мудрено ли, что они не сделали никакой нормы и получили по 200 граммов хлеба?.. Так завязывался заколдованный «доходяжный круг».

Женских бараков здесь было всего два. В первом жили «работяги» — несколько лесоповальных бригад и «лагерные придурки» — служащие финчасти, бухгалтерии, обслуга кухни, прачечной, лазарета. Во втором бараке жили уркачки, нигде не работавшие, но «обслуживавшие» мужское население лагеря.

Барак наш был небольшой, со сплошными нарами в два этажа. Помещалось человек 60, но плотненько. Если ночью соседка ворочалась, переворачиваться приходилось и тебе, и следующему, и так по всем нарам — цепная реакция!

Посредине барака была большая квадратная печка — под самый потолок. Когда лесоповальщики приходили домой, она превращалась в невиданное чудо-дерево: за натянутые вокруг печи от пола до самого потолка верёвки затыкались носами валенки, которые торчали во все стороны, как толстые, обрубленные сучья. Сушилка не работала, и сушить валенки и бушлаты приходилось в бараке, верней — подсушивать, так как высушить до конца было невозможно. Поэтому в бараке постоянно стояла влажная и вонючая духота.

Маленькое окно зимой не открывалось, а форточки не было вообще. Духота, постоянно вспыхивающие то там, то здесь ссоры, мат, мало чем отличающийся от уркаганского жаргона, были отвратительней всякой работы, и только смертельная усталость валила людей на нары и убивала наповал тяжёлым сном.

Освещался барак светильником, сделанным из картофелины, если для этого не было подходящей банки, куда можно налить какое-то горючее, (мазут, например), и в неё клался фитиль из тряпки. Светильник нещадно коптил, и к духоте и вони от валенок добавлял ещё свою специфическую вонь. В общем, в бараке было не слишком уютно.

Дневалила в бараке внучка известного писателя — географа Семёнова-Тяньшаньского — дородная дама, с седыми волосами и аристократическим профилем. Несмотря на преклонный возраст, её никак нельзя было назвать старухой. Двигалась она быстро, держалась чрезвычайно прямо. Её властный голос перекрывал любую перебранку. При случае, она пускала первоклассным матюгом и умела быстро навести порядок в бараке. Потом она извинялась и поясняла соседям: — Ничего не поделаешь, иначе они не понимают! Это-ж… «Опчество»!

«Опчество» дневальную уважало и побаивалось. Без неё было бы совсем худо.

Состояло общество из раскулаченных, сбежавших с мест

поселения, колхозников и рабочего люда. Интеллигенция, в основном, ходила в «придурках». «Придурки» и «работяги» ненавидели друг друга — отсюда и постоянные ссоры, возникавшие по всякому поводу и без повода, конфликты, которые разрешала Семёнова-Тяньшаньская…

…Смутно помнится осень и начало первой зимы на «42-й командировке». Заниматься приходилось самыми разнообразными работами, начиная от мытья полов и «подковырки» лаптей (работа не трудная и даже занятная), до рытья каких-то канав и корчёвки пней. Никаких сил не хватало вывернуть эти пни из земли, как ни подрубай кругом все корни…

Беда была в том, что ни на одной из этих работ невозможно было выработать норму, и заработать больше чем 300 гр. хлеба (а то и 200 получалось!). Посылок никаких не было, люди худели и слабели… К зиме у большинства началась «куриная слепота».

Удивительная и странная болезнь эта «куриная слепота»: днём видишь нормально, а с наступлением сумерек — снег и небо становятся приятного зеленовато-салатного цвета. Но чем дальше, тем все больше сужается поле зрения, и в конце концов, оно становится размером в пятачок. Словно смотришь через маленькую трубочку. Когда начинаешь читать, то в поле зрения попадает не больше полуслова… Страницу надо водить перед глазами, как стеклышко под микроскопом. Да и то, этот маленький пятачок должен быть ярко освещён.

Полутеней никаких не существует — кругом кромешная тьма. Найти уборную вечером — невозможно. В баню кто-то должен вести тебя за руку и там наливать воды в ушат, подавать мочалку и мыло. Во время еды, ты пытаешься зачерпнуть баланду перевёрнутой ложкой!..

С наступлением вечера, по лагерной зоне, освещённой только мигающими плошками, вдоль колючей проволоки (ведь электричества здесь не было), бродили слепцы с поводырями, или двигались одни, вытянув вперед руки, неуверенно шагая в поисках кухни, уборной, или своего барака. Зрелище достаточно фантастическое, пока я его могла ещё видеть!..

К счастью, куриная слепота излечивается быстро и легко. Стоит съесть небольшой кусок, грамм 100, сырой печёнки.

Мы ждали обещанной нам печёнки месяца два. Наконец, печёнку все же привезли, и её хватило на всех. С куриной слепотой на какое-то время было покончено.

…Вереницы лиц проходят передо мной И хотя ни с кем на этой «командировке» не связали меня узы настоящей дружбы, все же хочется рассказать о некоторых из тех, с кем довелось встретиться здесь.

Из Ленинграда был привезён профессор Б., к сожалению не помню его имени. Блокадной зимой в голодающем Ленинграде сидел он на Шпалерке, получая вместо «пайки» — маленькие кусочки шоколада. Без суда и следствия был привезён сюда к нам, на «край света»!.. Неисповедимы пути НКВДэшные…

Он был совсем ещё не стар. В Ленинграде у него остались жена, сын и дочь 8-ми и 10-ти лет, которых он обожал. Ни в какую эвакуацию он их не отпустил, философски полагая, что если суждено погибнуть — то уж пусть лучше всем вместе. Он научил ребят не бояться бомбёжек, и они с женой и детьми никогда не прятались в бомбоубежище — спокойно спали под вой сирен. Старались двигаться как можно меньше, чтобы не расходовать жизненной энергии, которую надо было беречь до конца… (До какого?..)

Он не был политиком, но был твёрдо уверен в какой-то конечной победе запада, не немцев, а именно — цивилизованного запада. Он верил в прогресс и цивилизацию. Ему не раз случалось бывать в заграничных командировках, и «Запад» он представлял себе конкретно как мир цивилизованный и прогрессивный.

Когда он появился на нашей «командировке», его распухшие ноги — две колоды, едва передвигались и едва держали его грузное, когда-то очевидно полное, а теперь раскисшее и как-то осевшее тело. На работу его не гоняли. Конечно, его надо было бы положить в лазарет, но там никогда не было мест, и он просто болтался в зоне, получая минимальный паёк…

И тут вдруг обнаружились его необыкновенные и замечательные способности, благодаря которым он стал неплохо «подрабатывать» и вскоре пошёл на поправку. Оказалось, что он обладает феноменальной памятью, вроде И. И. Соллертинского, о котором после войны так великолепно рассказывал Ираклий Андронников. Он так же помнил номера страниц, абзацы, названия глав и переносы слов на страницах!

Недавно, в блокадном Ленинграде, он читал своим, не по годам развитым ребятам Жюля Верна, Майн Рида, Александра Дюма.

Теперь он рассказывал это так, как если бы в руках держал книгу! Днём он рассказывал в бараке урок, по вечерам — у нас. Рассказывал, или вернее «читал» невидимую книгу выразительно, с увлечением, и слушать его было огромным удовольствием. Ведь у нас вообще не было книг, на нашей бедной, захудалой «командировке»…

Работяги отламывали ему куски хлеба от своих восьмисотграммовых паек, наливали в котелок баланды.

Столовой, как таковой, у нас не было. Баланду и кашу, почти

такую же жидкую, как и баланда, выдавали на кухне на бригады в больших кастрюлях. Их бригадиры тащили в барак и тут разливали баланду в миски своим бригадникам.

Первое время профессор ел страшно много, как и я на Пудожстрое. Он вновь и вновь подставлял свой котелок — ведь бригад было несколько, и баланды всегда хватало — и было жутко смотреть, как он их опустошает, без передышки, один за другим, но потом он «уелся» и больше 2-3-х котелков не съедал. И как ни мало питательна была баланда, а каша ему доставалась редко, всё же он начал поправляться и к весне был в состоянии выйти за зону с багром в руках и дотащиться до берега нашей речушки, по которой начинался молевой сплав леса.

Как сейчас вижу его большую тяжелую фигуру в каком-то необъятных размеров драповом (или плюшевом?) балахоне, в котором он и приехал из Ленинграда, в лагерных «шанхаях» а на голове маленькая засаленная тюбетеечка, с которой он никогда не расставался. Живые чёрные глаза на круглом лице, и окладистая, тоже чёрная, как смоль, борода, успевшая отрасти за время Ленинградских и пересыльных тюрем.

…Приятная была эта работёнка — лесосплав. В хорошую погоду провести весь день у реки — было одно удовольствие, и хлеба давали — 400 гр! На берегу можно было сидеть, время от времени подталкивая багром уткнувшееся комлём в берег норовистое бревно. Ну а если случались заторы, и бревна лезли и громоздились друг на друга, возводя огромные плотины — тут уж нужны были настоящие работяги — бригады лесосплавщиков. В них к весне переформировывались наши лесоповалыные бригады.

…Тут-то, на берегу реки, профессор и рассказывал мне про своих Наташу с Андрюшей, блокадный Ленинград и про будущую конечную победу Западной цивилизации.

Правда, был у нас и один человек который был уверен в победе Германии. Это был старый лагерный художник.

Ни один лагпункт, даже самый «захудалый», не обходится без художника, который «оформляет» проценты выработки плана, борется с «саботажем» и т. п., рисуя соответственные плакаты и карикатуры, а заодно рисует коврики с лебедями для начальства, а то и портреты, если может.

Художнику на лагпункте живется лучше всех. У него, почти всегда, имеется отдельная кабинка, «придурковский» паёк и масса свободного времени. Жил не плохо и этот, но был стар. Он подбадривал наших доходяг: — Потерпите ещё немного! Последние четверть часа всегда самые трудные!..

Но сам он не недотерпел этой последней «четверти часа» — внезапно захирел, ослаб и умер…

Эти последние «четверть часа» для всех нас затянулись на слишком долгие годы, и для тех, кто дожил до смерти Сталина, обернулись через 15 лет совершенно неожиданной реабилитацией, а не победой Германии, или «цивилизованного Запада».

…На копку картошки с нами ходила Дина Исааковна — не помню ни её фамилию, ни откуда она у нас появилась и что раньше делала здесь, на лагпункте. Помню её только с той поры, когда нас стали гонять на картошку — она была уже совсем доходягой. Ноги у нее опухли, и ходила она с трудом. А пройти надо было километра 4 по грязной, расквашенной осенними дождями дороге. Особенно тяжёл ей был путь обратный. Если её ставили во главе колонны, на неё шипели лагерники — каждый стремился скорей в зону, к своей порции баланды, к своей пайке и спасительным нарам, на которых можно вытянуться и погрузиться в сон. Сон, не освежающий тело, но туманящий мозги…

Она задерживала всю колонну, и ругательства пополам с проклятиями сыпались на неё со всех сторон.

Если её ставили в конце колонны, она безнадежно отставала и тогда стрелки тыкали её в спину прикладами, понукая прибавить шаг. Нет, не били — именно «тыкали», слегка подталкивая и ругая. Вблизи лагеря её уже оставляли на дороге одну, и пока всех пересчитывали, обычно, не один раз, так как с одного раза «не сходилось», она успевала добрести до ворот.

Наконец, она упала не дойдя шагов двухсот до ворот, и тогда только её забрали в лазарет…

Умерла она недели через две…

Так вот какие странные, по тому времени, речи услыхала я от неё там, на борозде картофельного поля, в те короткие минуты, когда нам давали передохнуть и посидеть.

Это был тихий лепет, как шелест листвы в ветвях: — …Это всё ОН! — Сталин… От него всё исходит… У него мания преследования и чудовищная гигантомания… Перед НИМ трепещет всё живое… Для него нет ни семьи, ни друга, ничего — только власть и власть… Он уничтожает всех соперников — настоящих и выдуманных… Головы летят направо и налево… И ещё тише, одними губами: — Это Он убил Кирова… А мы что?.. Мы — щепки… А сколько исполинов, светлых умов полегло… Но всё откроется!.. В истории так не бывает. Истину скрыть невозможно… Теперь уже недолго… Больше четверти века его режим не продержится… Конец скоро… Я не доживу, но мой сын, ему только четырнадцать, — он узнает!.. **обязательно** узнает…

…Тогда её слова мне казались бредом уже стоящего одной

ногой в могиле человека. Я знала, что она была членом партии, возможно вращалась в каких-то «высоких кругах», но всё равно, речи её воспринимались, как странный бред…

ОН — которому адресовано столько заявлений и жалоб в надежде, что хоть какие-нибудь пробьются и откроют ЕМУ глаза… ОН — наша последняя надежда… ОН — от которого все ждали слов справедливости, крутого поворота истории…

Бред, бред…

А было это не бредом, а **истиной** — *пророчеством* на картофельном поле, политым женским потом и слезами… Даже срок предсказала Дина Исааковна почти точно…

В этом глухом таёжном лагпункте не было ни радио, ни газет, ни кино… Все новости шли, в основном, от лагерного начальства, с опозданием, но всё же получавшего газеты, а потом узнавались друг от друга с добавочным сдвигом во времени и с искажениями, вносимыми передающими, в зависимости от их интерпретации, причём зачастую желаемое выдавалось за действительное. Поэтому казалось, что мы живём в каком-то сюрреалистическом, затерянном во времени мире, оторванные от реальной жизни… Мы почти не знали, что происходит сейчас в стране, на фронтах, где сейчас немцы, где наши…

Когда зимой 41-го немцы подступали к Москве, какие только слухи не ходили по лагерю. И что Москва уже сдана, и что Гитлер предъявил Сталину ультиматум — отпустить всех политзаключённых, и что советской власти скоро конец и т. д.

Но когда стало известно, что немцев остановили и отогнали от Москвы, в лагере было всеобщее ликование…

…Лето всегда приносит утешение и радости, даже в таком несчастном лагпункте, каким был наш «42-й».

Весна принесла лесосплав с весёлыми молевыми бревнышками, танцующими в воде. Лето — сенокос, не знаю для какого скота; не помню, чтобы в лагере водились коровы, но лошади в ВОХРе были, наверное, а может быть, у начальства были и коровы, во всяком случае, был сенокос. Умельцы косили, а мы ворошили сено и сгребали в стога — совсем, как в деревне!..

Вскоре стала поспевать малина, а там и черника с голубикой, и нас вместе с доходягами, которые только мешали на лесоповале, стали посылать по ягоды. Что и говорить — лёгкая и весёлая работёнка! Правда, и тут сейчас же ввели «нормы» в виде банок и корзинок. Пусть себе, думали мы — ведь тут уж было не страшно недобрать до нормы — всё равно в лагерь возвращались, плотно набив животы ягодами!

Но везде есть свои «шипы». Этими шипами были комары и гнус, буквально заедавшие нас. Иной раз глаза превращались в

такие щёлки, сквозь которые едва был виден свет божий! Лесоповальщики тоже приходили с опухшими лицами и руками. Ноги и тела спасали шаровары и телогрейки.

Всё же лето с его теплом, солнышком, открытыми дверьми в барак, с ночёвками на свежем воздухе на дворе возле барака — было благословенным временем.

К тому же, понемногу начали налаживаться и связи с родными. Я получила письмо от мамы, эвакуированной с детьми в деревню под Бузулуком.

Я узнала, что все мои живы — пока живы. Муж был на фронте в сапёрных войсках, очевидно потому, что был архитектором…

Мой двоюродный брат, «не донёсший на меня», и к войне давно уже кончивший свой трёхлетний срок за это, в армию взят не был, а попал в какую-то «трудармию» — и это кончилось для него не менее трагично, чем мог бы кончиться фронт.

Вышло всё это совершенно случайно — вот и не верь в судьбу! Охраняя какой-то лес, он жил в сторожке вдвоём с одним стариком. Дед был славный, рад был товарищу, и заботился о Юрке, как о сыне. Беда была в том, что дед болел туберкулёзом. Юра заразился, и промучившись несколько лет, умер, не дожив до сорока лет и до реабилитации, не услыхав, как маленькая, обожаемая им дочурка впервые скажет «папа»…

Но всё это было позже, а пока и он был жив…

Самым горьким было маленькое письмецо-треугольничек от Фёдора Васильевича, пересланное мне моей мамой. Оно было скорбной, безнадёжной и последней искрой пропащей, неизвестно зачем загубленной, человеческой жизни…

…И снова пришла зима, и когда в лагере на «подсобных» работах делать стало нечего, меня сунули в какую-то лесоповальную бригаду.

Женские лесоповальные бригады, не в пример мужским, почти всегда вырабатывали норму. И ни одна из бригад не хотела брать «интеллигенцию» — её навязывали силой нарядчики, если некуда было девать людей. Так было и со мной. Меня нехотя взяли в бригаду…

…Это был мой первый и последний «взлёт» на общих работах, когда я достигла невиданных «вершин» производительности и заработка в 800 граммов чудесного, сытного ржаного хлеба! Конечно, не сразу… В лесоповальную бригаду входило шесть «основных» человек и два «подсобника». Основные — это лесоповальщики, обрубщики ветвей и раскряжёвщики — раздельщики древесины — тоже каждых по двое.

В обязанности подсобников входило собрать обрубленные ветви и сучья и сжечь их. Эта работа считалась «лёгкой», и на неё

посылали людей с 3-ей категорией трудоспособности. «Основные» официально должны были иметь 2-ю категорию — лесоповал считался работой тяжёлой. Не знаю, кто получал 1-ю категорию — давалась ли она по физическому состоянию, или по каким-то другим признакам — не знаю, но мне не довелось встретить в лагерях человека с 1-й категорией…

Стопроцентная выработка оплачивалась шестьюстами граммами хлеба — для этого бригада должна была выработать 30 кубометров древесины — по 5 кубометров на человека. Подсобники не учитывались. Чтобы получить 800 граммов — норму надо было перекрыть на 20 %.

Итак, я попала на «лёгкую» подсобную работу — сбор обрубленных ветвей. И ещё их нужно было сжечь.

У нас на лагпункте давно не водилось спичек. «Неугасимый огонь» поддерживался в кухне, бане, прачечной. В крайнем случае можно было попросить у стрелков, или зажечь от сторожевой плошки. Но это всё в Зоне. На лесоповальную делянку надо было нести с собой угольки в чугунке, чтобы из них раздуть костёр. А ведь делянки были за 5, за 8 и даже больше километров от зоны!

Увы! — сколько раз мне не удавалось спасти тлеющую искорку, сколько раз в котелке оказывались затухшие холодные угли!..

…Вот и отправляйся за новыми углями — бреди по протоптанной в тайге тропе, по бокам которой снег чуть не по плечи тебе… Но это всё ничего, эти хождения по таёжным тропам, особенно утром, пока ещё есть силы в ногах, и если погода тихая.

…На всю жизнь запомнились мне прекрасные картины со спящими под снегом великанами — соснами, со звёздами в начинающем светлеть небе, с первыми нежно-розовыми облачками, которые чуть тронуло восходящее солнце, с ручьями, пробивающимися из под снега и снова исчезающими в сугробах… и вокруг великолепная тишина, разве только дятел раскатит свою трель…

Но ведь лесоповальщики не ждут — им надо сделать свою норму. Пока ты ходишь за огнем, уже повалено несколько огромных корабельных сосен. Очищено от ветвей, раскряжёвано. Падая, сосны пышными своими кронами зарылись глубоко в метровый снег. Искусно обрубленные снизу из-под стволов, ветви теперь едва торчат на месте «побоища». Раскряжёванные стволы откачены в сторону. Попробуй, вытащи такую «веточку», в три твоих руки толщиной, вмятую в глубокий снег, да ещё притоптанный валенками работяг. Но надо вытащить, надо приволочь к костру, надо, чтобы они ещё горели — эти

громадные сырые разлапистые ветви.

Если делянка не убрана, десятник не примет древесины. Обливаясь потом, а то и слезами, мы с моей напарницей таскаем неимоверно тяжёлые ветви, проваливаясь по пояс в снег, а затем, стоя на коленях, дуем до одурения в чадящий, дымящий, но никак не желающий гореть костёр…

А бригадир покрикивает, торопит — скоро начнёт темнеть; короток зимний день в прикамской тайге, никому неохота сидеть на штрафном пайке.

Кончается тем, что вся бригада, чертыхаясь и обкладывая нас трёхэтажным матом, начинает помогать нам — все таскают ветви, и кострам, наконец, надоедает дымить, и дымовую завесу прорезает яркое лезвие огня. Костёр весело трещит, рассыпая фонтаны искр, ветви корёжатся и шипят — но теперь уже напрасно — огонь победил!..

Приходит десятник, отшлепывает своим молотком клеймо на срезе бревна, измеряет, записывает в свою книжечку.

Не обходится и без мелкой туфты. Слишком соблазнительно, если вчерашний лес лежит неподалеку, не воспользоваться случаем — отпилить тончайший кругляшок с клеймом, в каждой бригаде есть такие «спецы», и сдать брёвна ещё разок… Да и не грешно, право. За свои 800 граммов бригада довольно пролила пота. Государство и так не в убытке — ведь работаем только за паёк, а так — нам лишние 200 грамм!

Последняя работа — умело закопать костёр. Так закопать, чтобы завтра, если отправят на эту же делянку, можно было раскопав его, под снегом найти ещё тлеющие угольки, сохранившие жизнь до нового утра… Неопытный человек вряд ли сумеет так закопать, но опытные лесоповальщики могут…

Домой отправляемся в сумерки, вереницей друг за другом по тропам, которые похожи на траншеи. Но тут я чувствую, как ноги наливаются свинцом, спину между лопаток отчаянно ломит, и я пропускаю, свернув в снег, одного путника за другим, пока не остаюсь совсем последней, и едва волоча ноги, тащусь вслед за всеми.

Так долог, так бесконечно долог этот обратный путь, и какое счастье разглядеть среди тёмных силуэтов деревьев мигающий огонёк сторожевой плошки! Перед воротами лагеря постепенно собирается толпа, люди начинают мёрзнуть, прыгать с ноги на ногу, сырые бушлаты застывают колом. Но пускают в зону только тогда, когда всех пересчитают, и всё сойдётся…

Утром развод происходит быстрей — бригаду за бригадой выпускают за ворота, отмечая, сколько вышло человек.

…Подъём на «командировке» возвещает старая рельса,

подвешенная к чему-то посредине лагеря. Это бывает в пять часов, когда небо ещё полно звёзд. Но пока люди получат свою утреннюю кашу, пока в инструменталке добудут пилы и топоры — они берутся с боя, и лучшие достаются первым и сильнейшим, пока люди добредут до своих делянок, — как раз и забрезжит рассвет…

Если денёк погожий, по небу поплывут розовые облака, снег на полянах и откосах оврагов нежно порозовеет. Грудь начнёт жадно вдыхать ароматный хвойный воздух, и ты почувствуешь, что ещё способна радоваться жизни… Пока ещё живёшь!..

…К зиме 44-го года в лагпункт стали прибывать «западники» — болгары, чехи поляки — в основном, бывшие служащие, мелкие лавочники, немного из интеллигенции — учителя, юристы — в общем, люди, никогда топора в руках не державшие. Они, попав на лесоповал, целыми бригадами замерзали в лесу, не умея и не имея сил даже развести костёр, чтобы хоть не замерзнуть. Это называлось «саботажем» на языке лагерного начальства…

В лес ходили без конвоя — бежать было некуда — кругом на сотни вёрст тайга, а дорога на Соликамск бдительно охранялась. К вечеру стрелки выезжали на дровнях за «западниками», утром ушедшими на работу, и привозили в лагерь трупы «саботажников»… На поверке начальник лагеря всенародно предавал их анафеме — «фашистов», готовых лучше сдохнуть, чем честной работой искупить свои преступления…

Это было уже после моего отбытия с 42-й командировки, и узнала я об этом от знакомых лагерников, которых я встретила в Соликамске примерно через год после моего освобождения.

А пока я старалась как-то приспособиться к лесоповльным работам, чтобы хотя бы выжить.

…Скоро я убедилась, что на самом деле работа «подсобников» на лесоповале — самая тяжёлая и неблагодарная. Ни одна пара подсобников без помощи бригады не управлялась, даже если они не присаживались к костру ни разу за весь день. И все бригады ругали своих подсобников.

В конце концов, я перепробовала все лесоповальные «специальности». Обрубать ветви было не слишком тяжело, если они были не очень толстые, и если топоры были острые. Но это бывало далеко не всегда, и я опять не успевала за бригадой, и опять меня ругали на все лады. Потом я попробовала раскряжёвыватъ — то есть, распиливать стволы на нужные отрезки. Сначала как будто всё пошло на лад, но на второй же день я сломала лучковую пилу, едва выпросила у десятника заменить её мне другой, и к концу дня сломала и ту…

Если дерево ложилось, провисая между двух бугров, — пила неизменно зажималась и очень легко ломалась. Правда, потом мне показали, как надо подставлять колья под ствол, чтобы не ломать пилы… Но пока приходила «сноровка», дела шли плохо, и постоянно кому-нибудь из настоящих работяг приходилось мне помогать — ну, а кому это понравится — судите сами! Ведь и так они вкалывали вовсю, чтобы выработать свои несчастные 30–40 кубометров… Счастье ещё, что сосна шла «корабельная» — высоченные, прямые стволы — кубометра полтора, а то и все два древесины!

Какие пышные зелёные кроны были у них! Сердце сжималось, когда раскачиваемое упёртыми в ствол баграми, дерево начинало трещать всё громче и громче, как бы моля о пощаде, и наконец, с последним скрежетом и глухим уханьем — медленно валилось в снег, вздымая белый вихрь…

…Маленькая, я всегда была уверена, что дереву тоже больно, плакала над ёлкой, принесённой в квартиру… Теперь мне тоже казалось, что им больно… А может быть, это так и на самом деле?.. Кто может знать…

Когда я присмотрелась к лесоповальным операциям, я увидела, что больше всех отдыхают сами «повальщики» — те, которые спиливают деревья, кого особо почитали как «ведущих» в лесоповальном деле.

Они, вдвоём, неспеша подрубят дерева два-три, потом начинают их подпиливать плоской пилой за две ручки. Подпилив достаточно, зовут других, чтобы баграми расшатать и повалить дерево. Пока поваленные деревья разделывают — обрубают сучья, раскряжёвывают — повальщики переходят на другой конец делянки и там снова подрубают и подпиливают дерева два-три. И ещё пройдутся к костру, посидят и покурят, пока раздельщики все ещё возятся с первыми деревьями. И так весь день — с прохладцей, не спеша…

Я едва вымолила себе разрешение попробовать валить — на моё счастье захворала одна из напарниц-повальщиц.

И я не ошиблась. Действительно, это самая уважаемая, «престижная» работа лесоповальщика — оказалась наименее трудоёмкой, наиболее подходящей для слабых моих сил. Правда, в начале, когда подпиливаемое дерево начинало постанывать и покряхтывать — у меня душа уходила в пятки, и я умоляла напарницу: — Довольно, довольно!.. Но более опытная моя напарница понимала, что ещё мало, и так дерева не свалить.

Я видела однажды, как неопытные повальщики спилили ствол чуть не до самого заруба, и дерево вдруг стоймя соскочило со своего пня и комлем расплющило стопу одного из

повальщиков. Он побледнел, как мел, и даже не закричал — так сильна была боль. А дерево, покачавшись как маятник, под страшные крики: — Берегись!.. Берегись! — легло поперёк делянки…

Но у нас пока — тьфу, тьфу! — не сглазить бы, всё шло благополучно, и бригада была поражена: никчемная, ничего не умеющая делать интеллигенция оказалась «на высоте», и валила столько же, сколько и они — опытные настоящие работяги!..

Так я и проработала «повальщицей» почти до конца зимы 43-го года, когда, казалось бы, пустяковый случай определил новый поворот в моей лагерной судьбе.

Но прежде чем продолжать рассказ о моих новых «приключениях», хочу поделиться воспоминаниями ещё об одной обитательнице этого лагеря, с которой у меня сложились хорошие, тёплые отношения.

Речь идёт о моей соседке по нарам, молоденькой монашке Марусе. Вспоминаю — как трогательно она ухаживала за мной во время куриной слепоты, приносила мне мою миску с баландой и пайку хлеба, водила в баню, стирала бельё. Более кроткого и незлобивого существа я не встречала — маленькая, как серенькая мышка, всегда тихая, всегда приветливая, говорившая вполголоса. Когда в бараке вспыхивали ссоры, она готова была заплакать, затыкала уши ладонями, чтобы, не дай Бог, не услышать слова «чёрт» которого она боялась больше всего на свете. Она считала, что достаточно помянуть «ЕГО», как он уже тащит твою душу прямо в пекло, на вечные муки.

Кроме неё, в бараке было ещё несколько монахинь-богомолок, которые на следствии не называли своих фамилий, и по формулярам числились просто под номерами.

Лагеря они считали земными отделениями преисподней, созданием сатаны, и потому полагали за грех работать здесь, на сатану. В изолятор их не сажали, но жили они всегда на штрафном пайке — на двухстах граммах хлеба. И всё же, они особенно не голодали.

Они охотно брались за всякую работу для людей — только бы не для сатаны. Дневальной они мыли полы и приносили воду, работягам и «придуркам» стирали и гладили; мужчинам чинили брюки и бушлаты. Они никогда не спрашивали платы за свои услуги, но если им давали кусок хлеба или миску баланды, никогда не отказывались, смиренно благодарили и, перекрестясь, принимали подаяние…

Статья у них у всех была «пустяковая» — 58–10, но сроки почему-то у всех были — десять.

Я вспомнила о Марусе, потому что она была единственным

человеком на 42-ой командировке, которому действительно было жаль расставаться со мной. Впрочем, и мне тоже…

…Конец моему пребыванию на «42-й» пришёл, как я уже сказала, неожиданно и случайно. Чем-то я наколола большой палец правой руки, даже не заметила чем и как, но палец разболелся, раздуло всю руку. Боль была отчаянная. Хирурга у нас на лагпункте не было; наш лекпом попробовал покопаться в пальце скальпелем — стало ещё хуже, температура поднялась до 40… Лекпом испугался сепсиса и, во избежание ответственности, выписал направление в Центральную больницу Усольлага, до которой было километров 25. Транспорта, конечно, никакого не было. Кроме того, для моей отправки в больницу требовались ещё два условия: наряд из управления и конвоир.

Сначала не было ни того, ни другого… Потом пришёл наряд, но не было конвоира. А время шло, да шло…

Я не умерла от сепсиса — опухоль стала спадать, и боль немного отпустила. Температура тоже спала.

В общем, панариций стал понемножку проходить (окончательно палец зажил только через год и остался на всю жизнь исковерканным), — уже было ясно, что можно отлично обойтись и без Центральной больницы…

Но дело было сделано — наряд лежал в конторе, а недели через три появился и стрелок, чтобы везти меня, в Мошево, где находилась больница.

Кроме меня, туда же, в Центральную больницу, должен был быть отправлен, тоже по наряду, врач К. — опытный терапевт, обрусевший поляк, которого почему-то с пересылки из Соликамска тоже заслали к нам, на «42-ю». И хотя и наш лекпом, и врач К., и я сама — все мы сомневались, нужно ли мне идти в больницу, примут ли меня там с почти зажившим панарицием — сомнения наши оказались ни к чему. Имелся наряд, налицо был конвой — значит, рассуждать нечего. Мне было велено отправляться…

Мы с доктором К. сложили свои нехитрые пожитки, а у меня уже завелся какой-то деревянный чемоданчик к тому времени, и отправились в путь-дорогу. Стрелок — совсем ещё мальчишка, оказался сообразительным и добросердечным. Он раздобыл где-то саночки, положил на них наши чемоданы, и сам тащил их всю дорогу по мокрому, весеннему снегу — у меня рука была все-таки ещё на перевязи, а доктор годился стрелку, скорее всего, в дедушки, и очевидно стрелок это тоже учёл…

День был ясный, мороза уже не было, снег хлюпал под мокрыми валенками…

Мы позавтракали по дороге дружно, угостив парнишку нашей

солёной камбалой, выданной нам на дорогу, а он нас — бобами из консервной банки — своего дорожного пайка. Ведь на много километров кругом никого не было. Никто не мог увидеть!

…Расставаться с «42-й» было не жаль — особенно близких друзей там не оставалось — только мои милые соседки по нарам — Маруся-монашенка и Нина с глазами китайчонка… Маруся горько плакала, когда я уходила из барака.

С внучкой Семёнова-Тяньшаньского мы крепко расцеловались, и она пожелала нам на дорогу «ни пуха, ни пера»!

— К чёрту, к чёрту!

Я не могла знать, вернут ли меня на «42-ю», но знала, что в Мошеве, кроме больницы, был и обычный лагерь, куда, вероятнее всего, меня и водворят. Поэтому я прощалась со всеми так, как прощаются, уезжая навсегда…

Прощай, «42-я», прощай ещё одна страница моей лагерной жизни!..

Глава VI
Мошево

Посвящение в медсёстры

Когда мы к вечеру добрели до Центральной больницы, преодолев 25 километров таёжной, просёлочной дороги, рабочий день уже давно кончился. В тёмной конторе больницы сидел один дежурный за столиком, освещённым коптилкой, сделанной из картофелины с фитилём.

Посмотрев наши бумаги и выслушав мой рассказ о почти уже заживающем пальце, симпатичный дежурный — тоже «зэк», и славный человек — пофыркал, похмыкал носом, поерошил торчащие ёжиком волосы, и, наконец, принял решение:

— В общем-то, конечно, я должен был бы отправить вас в зону, — сказал он. (В отличие от больничной зоны, лагерная, «рабочая», называлась просто «зоной»). — Но знаете, я всё-таки положу вас в малую хирургию. Отдохнёте малость. Сразу же на осмотр не возьмут, всё равно назначат анализы — кровь, моча, то-другое — смотришь, и прокантуетесь денька три-четыре… А в зону всегда успеется…

Это был дежурный фельдшер. Я не помню его фамилию, но позже расскажу о нём немного. Всё получилось так, как он и предсказал.

При обходе на следующий день мне были назначены анализы, а в перевязочную меня вызвали только через три дня.

Но гораздо раньше, в первый же мой Мошевский день, ко мне прибежала Екатерина Михайловна Оболенская. Не помню, как она узнала, что я здесь — может быть, ей сказала Любочка Н. — очень доброе и хлопотливое существо, любившая всем помогать и «устраивать судьбу» совершенно бескорыстно. В то время она работала сестрой в Мошевской больнице в отделении гнойной хирургии.

Так или иначе, обе они с места в карьер начали меня «обрабатывать»: — В больнице острая нехватка медсестёр! Каждый мало-мальски грамотный человек может быть медсестрой. Ты останешься здесь и станешь медсестрой!

— Я — медсестрой??.. Чепуха! Абсурд. В медицине я ничего не понимаю. Никаких банок и даже горчичников ставить не умею. Моим ребятам всё это делает моя мама!.. В жизни я не держала шприца в руках… Не выношу вида человека, которого рвёт!.. И вообще, терпеть не могу медицину, и никогда ею заниматься не собиралась!!

Екатерина Михайловна — убеждала, Любочка Н. вышла из себя и назвала меня «просто дурой».

— Ах, на лесоповале тебе лучше?!.. Ах, жить надоело!.. А дети?.. Мать?.. Да ты просто **обязана** дожить!.. Просто дура, если упустишь реальный шанс!

В конце концов, я сдалась. Мне притащили два толстых-претолстых тома в чёрных обложках — учебник для медсестёр Ихтеймана — том первый, и том второй. С отвращением и ужасом я начала их листать…

Читать было велено быстро, ибо мои друзья, как и я, тоже думали, что после первой перевязки меня выпишут в зону, а достать меня оттуда будет значительно труднее. Они успели побывать у главного врача больницы, а главное — у его жены.

Это была дама-патронесса, нечто вроде отделения Общества Красного Креста при нашей больнице. Она благоволила к заключённым, охотно выслушивала различные просьбы, и действительно старалась помочь. К ней обращались с разными разностями: с просьбами о переходе в другое отделение, о разрешении свидания, наконец, даже с просьбой принести почитать что-нибудь. Официально никакой должности она не занимала, но все знали, что «вес» в больнице — имела.

Так вот, друзья побывали у Маргариты Львовны — так, кажется, её звали, и наговорили ей что прибыла такая-то, детская писательница!.. Культурнейший человек!! Практически знакома с медициной?!.. Одним словом, ради Бога, только чтобы её не отправили в «зону»!

Кончилось тем, что через неделю я была вызвана в кабинет

главврача, куда и отправилась через всю больничную зону в больничном халате без пояса, в тапочках, которые слетали с ноги при каждом шаге.

В кабинете было двое: за большим столом сидел низенький толстый и смешной человечек. — Начальник больницы Неймарк, — догадалась я. Смешной он был только по виду — как потом я узнала, он здорово, когда надо, на всех орал, стучал кулаком по столу и совершенно единолично мог «списать в зону» любого врача и любую медсестру. В общем, его боялись, хотя был он справедлив и спрашивал «по делу». А добросердечной женой его, здесь пользовались, как громоотводом.

В кресле у стола сидел сухопарый и очень высокий старик, который говорил так невнятно, словно со ртом набитым кашей, так что я ничего не понимала, о чем он вообще говорит… Как потом оказалось, это был старый хирург Андриевский — талантливый и опытный хирург — ленинградец, спасший немало жизней и заключённым, и вольным, приезжавшим к нему на операции даже из Москвы и Ленинграда. Он уже досиживал свой срок, но, как потом я слышала, умер, так и не успев досидеть.

Неймарк и Андриевский меня о чем-то спрашивали, но от волнения я ничего не понимала и вряд ли отвечала хоть что-нибудь мало-мальски вразумительное. Одно лишь помню, Андриевский спросил меня: — А если вы не поймёте, что вам сказал врач, что вы сделаете? Я поняла вопрос, очевидно потому, что это не был медицинский вопрос. И потому ответила вполне разумно: — Я спрошу у врача ещё раз.

У Андриевского по губам пробежало что-то вроде улыбки, а Неймарк откровенно крякнул. Этот мой ответ, очевидно, и решил дело. А может быть и просто острая нехватка медсестёр… Экзамен, к счастью, длился недолго, меня отпустили, и я, вся красная и негодующая, набросилась на Екатерину Михайловну и Любочку, подвергшим меня такому позорищу!

Однако, в зону меня всё-таки не выписали, а только перевели в терапевтическое отделение, где я ещё продолжала числиться «больной», но уже поддежуривала по ночам и училась кой-чему у палатных сестёр. К счастью, одна из них была Екатерина Михайловна — Катеринка, как вскоре стала она для меня… Так я прижилась в Мошеве.

Туберкулёзное отделение

«Пимперле, сделаем лицо!»

Д-р Грудзинский.

…Мои первые самостоятельные дежурства начались не в терапии, а в туберкулёзном отделении, куда меня назначили. И то, сначала это были только ночные дежурства. Днём ведь надо было делать обход с врачом, записывать назначения, выполнять процедуры — всевозможные внутривенные вливания, которых я, конечно, делать вовсе не умела. Надо было выписывать лекарства из аптеки и делать ещё множество дел, к которым я была совсем не готова.

Всему этому я постепенно научилась, но до обходов с доктором Грудзинским было ещё очень далеко.

Так мы и работали с Аглаей Михайловной, давнишней сестрой туботделения, она — днем, а я — ночью, пока ей не надоело такое положение вещей. Тогда мне волей-неволей пришлось взяться за круглосуточную смену, хотя и было страшно.

Постепенно я стала привыкать, и покатилась моя мошевская больничная жизнь — сутки через сутки, месяц за месяцем…

Но вот своей первой ночи в туберкулёзном, когда я осталась одна со своими семидесятью туберкулёзниками, мне не забыть никогда. Помню, как гулко, на весь корпус, колотилось моё сердце, когда я стояла посреди тёмного коридора с закрытыми дверьми, за которыми — за каждой(!) — кто-то кашлял, хрипел, стонал, звал сестру…

Я не знала, в какую палату идти, звали из каждой. Коптилка чадила и прыгала в моей дрожащей руке, язычок пламени колебался, какие-то фантастические тени двигались в дальних углах коридора… Как только я со своей коптилкой зашла в палату, со всех коек поднялись чёрные головы — как змеи. Боже помоги! — И отовсюду зашелестели хриплые голоса:

— Сестрица… Сестрица…

В палате никто не спал. Все просили кодеина, или укол. Но ни морфия, ни пантопона у меня не было, а кодеин было велено давать только по назначению. И он был уже роздан вечером. Я быстро раздала весь остальной, за что мне потом крепко досталось, но они всё равно кашляли, и кашляли, до рвоты, до изнеможения… И некуда было укрыться от этого душераздирающего кашля, и в дежурке он был слышен, хоть и немного глуше…

В довершение всего из четвёртой палаты прибежал санитар с известием, что один кончается… Я пошла. На койке лежал большой, мне показалось — огромный, человек, заросший чёрной щетиной, с провалившимися щеками, с тёмной дыркой вместо рта. Глаза были открыты, но заведены вверх, и белки зияли, как у слепого. Он не дышал. Я думала — уже умер.

Но вот, всё тело его вдруг содрогнулось, грудь даже привскочила и с шумом набрала в себя воздух, а потом с хрипом выпустила его, и человек опять затих… Потом я узнала, что это называется «Чайн-Стоксовское дыхание», и что это — агония. Я взялась проверять пульс, но пульса не нащупала.

Аглая Михайловна, передавая мне дежурство, меня напутствовала: — Кузьмин, вероятно, экзитирует сегодня: — это элегантное иностранное слово означало просто — «умрёт».

— На всякий случай, введите ему камфару, может до утра и дотянет…

Я не понимала, да и сейчас не понимаю, почему надо было вводить камфару, чтобы Кузьмин дотянул до утра? Для кого это было «надо»?.. Для Кузьмина, который мучился в агонии?.. Или для кого?

Но таков незыблемый врачебный закон: до последней минуты **бороться** за жизнь — не давать умереть… Это было пятьдесят лет тому назад, но и до сих пор вопрос о «разрешении умереть» — всё ещё стоит на повестке дня современной медицины…

Не морфий или пантопон — но камфара и кофеин. Даже если у человека от обоих легких не осталось ничего. Даже, если раком задушены все внутренности…

В панике я бросилась в дежурку, санитара послала наверх за Екатериной Михайловной. Слава Богу, она дежурила тут же, в терапии — два марша вверх по лестнице, а сама старалась набрать в шприц камфару, но она почему-то не набиралась…

Катерина прибежала сразу. Она очень ловко набрала в шприц камфару и сделала умирающему укол. С соседних коек — со всех сторон — смотрели странные расширенные глаза, в которых отражались язычки пламени моей коптилки.

У этих несчастных уже не было сил даже кашлять. Они лежали молча и неподвижно, только непрерывное клокотание в груди показывало, что они ещё живы, что они ещё не «экзитируют»…

Через несколько минут Кузьмин умер. Его накрыли с головой одеялом, и два санитара положили на носилки и вынесли из палаты. Мы вышли тоже. На прощанье Катерина сказала больным: — Ну что поделаешь?.. Спите спокойно. — И, показалось, больные вздохнули спокойней…

— Катеринка — спросила я в дежурке — а ведь, наверное, надо было послать за Грудзинским?

— Зачем? — грустно ответила она — ведь он и так знал, что Кузьмин умрет сегодня ночью, или завтра… И что же он может сделать, доктор Грудзинский?.. Она смотрела на меня с такой жалостью, как будто это я сама должна была умереть сегодня или завтра…

В больнице, хоть и «Центральной», не было фтизиатра. Как-то так случилось — были и терапевты, и хирурги, и инфекционисты, даже гинекологи, ибо к нам же привозили трудных рожениц, иногда в состоянии комы… Был великолепный офтальмолог и глазной хирург — перс, теперь сказали бы иранец, Алибей Асадулаевич Мурадханов, к которому приезжали делать операции высокопоставленные энкавэдисты с Лубянки.

А вот, фтизиатра — не было. И туберкулёзным отделением заведовал старый поляк — терапевт, доктор Грудзинский. Ему было, вероятно, не больше 60-и, но выглядел он глубоким стариком. Он был красив. С белоснежными густыми волосами, с бородкой клинышком, с удлинённым лицом, почти лишённым морщин, всегда грустным, но слегка надменным, он, казалось, сошёл с портрета какого-то средневекового испанского гранда. Только белого воротника с плюмажем не хватало! Его белоснежный, всегда подкрахмаленный халат, был свеж и безукоризнен.

Первое время я его ужасно боялась, боялась рот раскрыть, уверенная, что ляпну какую-нибудь глупость или задам дурацкий вопрос. Но, оказалось, что «испанского гранда» бояться совершенно нечего. «Высокомерность» его была не более, чем привычная игра, и что «испанский гранд», как и все остальные, также тоскует о своих взрослых дочерях и маленьких внуках, тем более, что боясь им «навредить», просил их писать редко и коротко, как и сам делал — и, пожалуйста, никаких посылок!

Он был из русских поляков, сидел давно, с начала, 30-х, и его семья жила где-то в средней России.

Ко мне он относился снисходительно и чуть насмешливо, как мне казалось — потому, что он знал, что никакая я не медсестра, и в медицине ничего не понимаю. Но в нашем ТБЦ отделении не было профессионалов, да и сам он не был фтизиатром, тем не менее, мы оба старались делать своё дело как могли хорошо…

Увы, нашим туберкулёзникам мы практически *ничем* помочь не могли. У нас ничего не было. Ни медикаментов, ни аппаратуры, ничего, кроме шприцов с затупившимися иглами. Был, правда, аппарат для пневмоторокса, но вряд ли и опытному фтизиатру пришлось бы пользоваться им.

Дело в том, что туберкулёзники попадали в Мошево, когда уже оба легких были изъедены кавернами — куда же «поддувать»?!..

У нас почти не было ни героина, ни кодеина, чтоб хоть на время избавить несчастных от непрерывного кашля, раздирающего остатки лёгких. Только «солюция» ипекакуаны, да раствор хлористого кальция — всё, что **имелось** в нашей аптечке. Морфий и пантопон были привилегией только одного хирургического отделения. Пенициллин и стрептомицин уже начали входить в медицину, но… конечно, не для лагерных больниц. И хорошо, что больные о них ещё и не знали.

Не было у нас и самого главного — калорийного питания, которое могло бы поддержать силы организма для борьбы с болезнью. Туберкулёзники получали тот же «общий» больничный стол, что и все, кроме больных в первые послеоперационные дни в хирургии. Больничное питание было до того скудно, порции такие микроскопические, что о калорийности смешно было даже говорить. Тем не менее её аккуратно, ежедневно подсчитывал — диетолог по совместительству — наш знаменитый офтальмолог, д-р Мурадханов, и таблицы с подсчитанными калориями ежедневно клались на стол главного врача — директора Центральной больницы — Неймарка — единственного вольнонаёмного врача и хозяина всей больницы.

Может быть, он и читал их — но что он мог сделать??.. Питание?.. Откуда же его было взять?.. Ведь это был **концлагерь** — да ещё в военные годы…

На грани голода жили все — и больные, и персонал. Единственное, что поддерживало жизнь наших туберкулёзников — это четырехсотграммовая больничная пайка. Пайка чёрного кислого хлеба. Сестра-хозяйка, раздававшая пищу, разрезала эту пайку на три куска, чтобы больные не съедали её сразу с утра. Если случались — не часто — какие-то добавочные порции, их отдавали в хирургию и терапию, где врачи ссорились между собой за «своих больных». и назначали их более «перспективным», которые могли ещё выздороветь.

На долю туберкулёзников не доставалось ничего.

Но все, кроме самих больных, умолявших о добавке, понимали, что это — справедливо, ибо для туберкулёзников добавка ничего не изменит — ведь **все** они, всё равно, были ***обречены…***

Конечно, попавшие в Мошево всё же были счастливцами — они лежали (и умирали) на железных койках, на чистых простынях; они лежали в палатах со свежим воздухом, так как форточки никогда не закрывались.

Пока они были ходячими, они пользовались уборной, а на «последние дни» — их переводили в небольшую, на 3–4 человека, палату — палату номер четыре, где было «спокойнее и условия гораздо лучше», как мы их уверяли — «сами убедитесь!» Вряд ли больные нам верили, но что же было делать?..

Но, д-р Грудзинский и в этих условиях пытался что-то «делать». Делал всё, что было в его силах, и больные чувствовали это и обожали его.

…Вспоминаю… Мы отправляемся на обход. Ежедневный утренний обход всех палат. Двери в палаты закрыты. Из-за них доносится то затихающий, то нарастающий почти непрерывный кашель… Длинный коридор…

— Ну-с, Пимперле! Почему-то он окрестил меня этим прозвищем; — что оно означало, вероятно, он и сам не знал, но — очевидно, что-то связанное с молодостью и неопытностью, ибо, хотя мне уже минуло 35, я была самой молодой из мошевских медсестёр.

— Ну-с, Пимперле — говорил доктор Грудзинский, останавливаясь перед дверью палаты, в которую нам следовало войти — «сделаем лицо»!

И лицо его принимало бодрое, энергичное выражение. Даже глаза начинали блестеть. Словно волной смывало усталость, старость, тоску…

— Пошли!

Он широким жестом распахивал дверь, галантно пропуская меня вперед. — Сестра, прошу!..

— Доброе утро, как дела? — весело приветствует своих больных доктор Грудзинский.

— Доброе утро, доктор! — несётся со всех сторон. Начинается обход.

— …Да… Кашель, конечно мучительно… Конечно. Но вы же ведь образованный человек?.. Вы же понимаете, что это — отделение мокроты, это необходимо, и это — единственное, что может спасти… Потерпите, дружок!

— …Ну, как дела, работяга?.. Вид-то у вас сегодня получше!.. Температура?.. Хм… (температурный лист висит в ногах, на спинке кровати). …Да, конечно, температурка держится!.. Но, поверьте, это вовсе не плохо. Значит, организм борется — борется, и это — главное!

Вот так и дальше. Каждому доброе, ободряющее слово, может быть, и не совсем правдивое — но ведь только это может **дать** своим больным в данной ситуации д-р Грудзинский.

И тут, в палате безнадёжно больных, обречённых людей, наступали удивительные минуты… Безобразные железные койки,

серые застиранные одежда, измождённые лица — всё уходит куда-то, исчезает из действительности, улетучивается, как печаль и тоска с лица доктора Грудзинского. Всё забывается; верится во всё, пусть самое невероятное, самое несбыточное… Редкие, удивительные минуты. Даже кашель внезапно утихает. Ему верят. На него надеются.

Такие минуты надежды, думаю, испытали многие из лагерников, и помнят о них до конца своей жизни, даже, если и прожили долго, если удалось **выжить** и выйти из лагеря…

Между приступами кашля кто-то умоляет о кодеине.

— Кодеин?.. Но ведь его нет в нашей аптеке. Надо подождать новую партию медикаментов… Нет, нет, я постараюсь достать, конечно, пропишу вам… На ночь получите укол, поспите, и кашель полегчает…

В дежурке доктор диктует мне «требование в аптеку» — всё ту же ипекакуану; тот же хлористый кальций — все больные знают, что из него образуются «капсулы» для туберкулёзных «палочек», и свято верят в это; камфару и кофеин; хлорамин… и подумав, доктор говорит: — Всё.

— Как всё?! — Взрываюсь я. — А пантопон? Вы же обещали Куликову!

— Пимперле — говорит доктор Грудзинский грустно, но твёрдо:

— Сделаете ему кубик aqua distillate (дистиллированная вода) — поверьте, действие будет то же самое…

Рот у меня открывается, и вид, должно быть, самый идиотский.

— Доктор — бормочу я — как же… я не понимаю…

— Не понимаете, потому что слишком юны… Ничего, потом поймёте. Ну, пока. Если что понадобится — пошлите за мной.

…На ночь я делаю Куликову инъекцию — кубик aqua distilate. Я шепчу ему прерывающимся голосом: — Ну вот, Володя… Теперь вы хорошо поспите… И Володя Куликов счастливо улыбается: — Спасибо сестра! — он спокойно засыпает и спит два-три часа. А то и больше. И безо всякого пантопона!..

…Всё это было много позже моего первого самостоятельного дежурства — когда я ко многому уже привыкла. К сожалению (или наоборот, к счастью?), человек ко всему привыкает…

Привыкла и я. Привыкла без ужаса прислушиваться к ночному кашлю. Поняла, что ни в одну палату без реальной необходимости заходить не надо, потому что так будет лучше, тише, спокойнее в палате, и кашля меньше. В четвёртой палате всегда сидит санитар, и он позовёт меня, когда надо.

Привыкла я делать камфару и кофеин умирающим, и

пользоваться кубиком aqua distilata, если не было ни морфия, ни пантопона… Привыкла писать густым раствором марганца на голени умершего номер его личного дела, перед тем как отправить его в морг. Научилась вводить глюкозу и магнезию, и в вены попадала даже лучше других. В общем, постепенно я становилась профессиональной медицинской сестрой, и доктор Грудзинский был весьма доволен и расхваливал меня «на свою голову», как он выразился, когда вдруг пришёл приказ перевести меня в хирургию, куда переходить я ни за что не хотела.

Я бегала к Маргарите Львовне умолять, чтобы меня оставили в милом, обжитом моём туберкулёзном!

Всё тут было мило: в терапии под боком дежурила Екатерина Михайловна, которую всегда можно было позвать на помощь, а в спокойные ночи, когда никто не умирал, она забегала ко мне просто поболтать, посидеть перед печуркой, которая топилась у меня в дежурке.

А иногда заходил в гости кто-нибудь из врачей — ведь они жили тут же, под боком — и в «свободное время» вовсе не были похожи на недосягаемые медицинские «божества», при которых медсёстры и рот боялись раскрыть… С Аглаей Михайловной мы тоже поладили отлично. В общем, мне нравилось здесь, и совсем не хотелось уходить в новую неизвестность…

…Как я умоляла Маргариту Львовну, чтобы меня оставили в туберкулёзном!.. Но почему-то на этот раз не сработало, и настал день, когда я должна была принять дежурство в хирургическом…

Хирургический корпус

«…Тоска мне выжгла очи…»

(Из старого цыганского романса.)

…«Мошево»… Шесть двухэтажных бараков, крепких, рубленых, с большими окнами, с красными железными крышами. Большая зелёная лужайка позади бараков. На лужайке почему-то не было ни деревьев, ни кустов, но трава была — хорошая и густая. Дальний угол лужайки был отделён от остальной части высоченными лопухами.

Лужайкой единолично владел баран Васька. Это был наш лабораторный баран. Для чего он был нужен в лаборатории, я не знаю, но целыми днями он слонялся по больничной зелёной лужайке, держа в страхе и смятении души свободных от дежурства сестёр, врачей и ходячих больных, осмелившихся

вторгнуться в его владение.

То ли от природы он был так бессовестно драчлив, то ли ненавидел всех двуногих существ, но только чуть завидев на лужайке движущуюся фигуру, Васька, свирепо изогнув шею и выставив вперед свои винтообразные рога, как выпущенная торпеда устремлялся к ней, несясь через всю лужайку.

Спасенье было одно — удирай во все лопатки, пока Васька не наподдал сзади своим мощным боевым оружием. Не бараном бы ему быть, а бизоном в каких-нибудь Пампасах!

…Мошево. Наши больничные бараки, или как их громко величали — «корпуса», были обнесены высокой кирпичной стеной, с широким кружевом колючей проволоки наверху, с вышками и прожекторами по углам — это была «больничная зона», но с одной стороны она граничила с зоной лагерной.

Там был обычный лагерь с лесоповалом и ещё какими-то «общими» работами, со столовой и клубом, и культурно-воспитательной частью — КВЧ — как по идее и полагается быть в каждом лагпункте, хотя и не везде было.

…Я уже пару месяцев работаю дежурной сестрой в хирургическом отделении Мошевской больницы. Дежурю сутки через сутки.

По вечерам в свободные дни, пока не захолодало, мы с Катериной старались незамеченными пробраться у самой стены в дальний угол лужайки, где за высоченными лопухами можно было укрыться от бешеного Васьки. Если это удавалось, нас ждал целый вечер блаженных часов, до самого отбоя.

Расстелив на траве одеяло, можно было валяться, читать, болтать о чём угодно, смотреть в розовое закатное небо… Если только природа и Васька были милостивы.

В эти дни мы отсыпались до вечера после круглосуточного дежурства, а когда вечер проходил, снова спали до утра перед следующим дежурством. На «жизнь» только и оставались, выпадающие через день, эти несколько вечерних часов на закате, окрашенных тихой задушевной беседой.

Впрочем, иногда у нас на полянке бывали и «гости», и тогда бывало достаточно и шуток, и смеха.

Однажды, ещё летом, мы с Катериной как-то пробрались на чердак её терапевтического корпуса, прекрасный светлый чердак, посыпанный жёлтым песочком. Он нас просто очаровал! Не долго думая, мы перетащили сюда свои матрасы из комнатушки, где жили медсёстры и единственная в нашей больнице докторша — очаровательная и добрая Ариадна Николаевна. Комнатушка медсестёр помещалась там же, в терапии, с дверью в коридор, но жили тесно, на «вагонках» — двухэтажных нарах, было жарко, а

главное — шумно. Сестёр было человек 30. Ссоры и скандалы бывали неизбежно, как и во всяком общежитии. Хотя мы и привыкли спать «мёртвым сном» после дежурства, но всё же…

Какая тишина тут, на чердаке!.. Как много воздуха!.. Мы облюбовали местечко у полукруглого слухового окна без стёкол; разложили свои матрасы, а простынями на верёвочках отгородились от всего остального чердака, и от всего мира… Получилась прелестная маленькая кабинка!

…Как хорошо было утром проснуться под доносящиеся издалека звуки мощной радиолы, которую КВЧ никогда не забывала включить в лагерной зоне для поднятия бодрости духа и хорошего настроения у «зэков» перед разводом на «общие работы». Пластинок, правда, было немного, всего несколько штук, а когда они все прокручивались, цикл начинался снова. Конечно, мы все их знали наизусть, но всё равно…

Помедлить несколько минут — хотя бы две! Всем телом ощутить блаженный покой и прохладу простыни, ловя глазами первый лучик солнца, робко, косячком протиснувшийся в наше слуховое оконце… Чудные мгновения…

«…А мы сидим с тобой, сидим, как птенчики» — наяривает радиола — «…А мы грызём с тобой, грызём леденчики» — звуки рассыпаются звоном колокольчиков под дугой, и — УХ! — музыкальный ухаб так и подбрасывает всплеск какой-то необъяснимой радости — ведь ты всё же живёшь — **живёшь** несмотря ни на что!..

Этих «птенчиков», кажется из «Холопки», мы с Катериной особенно полюбили и никогда не пропускали. Впрочем, Катерина очень любила ещё и другую пластинку — совсем грустную и более подходящую к нашему странному существованию. Это был старинный цыганский романс — «Чёрная шаль». И в нём были слова: «… В душе моей печаль, тоска мне выжгла очи…»

При всём относительном благополучии нашей нынешней лагерной жизни при больнице, тоска острием впивалась в самое сердце.

— …Тоска мне выжгла очи… Да, — тоска мне выжгла очи… — повторяла Катерина, закинув руки за голову, глядя в потолочные балки, где в лучах восходящего солнца золотились тоненькие паутинки…

Но вот, набор пластинок заканчивался и начинался по-новой. И снова, «…Звенят, звенят бубенчики…»

— Женька, вставать! — спохватывается Катерина и вскакивает с матраса. — Ну-ка, живо!

Надо бежать завтракать и принимать дежурство.

Утро, длившееся несколько прекрасных минут, кончено.

Открывается дверь в следующий день.

Но как они были чудесны, эти несколько минут!

Увы, это продолжалось недолго! Вслед за нами потянулись на чердак и другие компании, и вскоре весь чердак запестрел занавесочками, или ширмами из одеял, и наконец, нагрянули охранники и вытурили всех, а на дверях чердака повесили огромный замок. Но мы особенно уже и не жалели. Когда чердак стал общежитием, — он потерял своё очарование.

…Мы с Екатериной, как и большинство сестёр в Мошевской больнице, не были «профессиональными» медицинскими сёстрами, поэтому и в больных мы видели обыкновенных страждущих людей. Никогда мы не называли их: «больной», или по фамилии, но всегда по имени. Со многими, долго лежавшими, успевали познакомиться и даже подружиться.

Были мы достаточно добросовестны — старались сделать все назначения предельно внимательно, дабы не перепутать чего-нибудь, и конечно всё-таки иногда путали, и это было ужасно — потом расскажу и об этом! Врачи это понимали и, несмотря на наши оплошности, ценили нас, как медсестёр, но «дистанционный тон» на работе держали исправно, все как один.

Врач на работе — непререкаемый и для сестёр, и для больных авторитет, и потому он держится с сёстрами строго официально. Разве что ночью, в дежурке, совершив положенный обход, задержится дежурный врач, и зашуршит невзначай среди ночной тиши чуть слышный шепот — это болтают дежурный врач и дежурная сестра — о том, о сём — что слышно?.. Что пишут родные?.. И когда же, наконец, начнут отпускать пересидевших?!..

Зато в дни «недежурств», в наши милые вечерние часы на Васькиной полянке, а зимой где-нибудь в лаборатории, или вовсе в коридоре, у лестничной клетки — врачи превращались в просто добрых знакомых, перебрасывались пустяковыми шутками, необязательно слишком умными, рассказывали истории «из прошлой жизни», или взапуски играли в «литературные» игры, вроде тех, которыми интеллигентные «зэки» развлекаются на пересылках на долгих этапах.

Сначала мне трудно было привыкнуть к такому «двуличию» врачей, и их тон на работе меня коробил, или задевал, во всяком случае. Но потом я привыкла и поняла, что непререкаемый авторитет врача, его «божественность» — имеет свой смысл. Чем больше больной верит во врача, тем у него больше шансов выздороветь. Чем больше сестра боится врача, тем добросовестней и аккуратней будет работать, если не хватает у неё собственной добросовестности!..

Однако, единственной отраслью практической медицины, в

которую я поверила, и которая заслужила моё безоговорочное признание — стала хирургия. И работа в хирургическом отделении показалась мне даже интересной.

Но всё это пришло не сразу, много не сразу!..

…Мои первые неудачи и промахи в процессе овладения обязанностями палатной медсестры начались ещё до хирургического корпуса. Я уже работала в туберкулёзном, но иногда меня посылали поддежурить в какой-нибудь другой корпус.

Был у нас специальный корпус «доходяг». Таких же безнадёжных, как и наши туберкулёзники. Это был корпус дистрофиков — не помню, чтобы хоть кто-нибудь из них поправился и вышел из больницы. Я не работала в этом корпусе, но мне приходилось несколько раз заменять там сестру, и это было ужасно.

Болезнь, с которой лежали эти тощие, умирающие люди, носила звучное и даже красивое название — пеллагра. Её признаками считалось полное истощение — дистрофия, и тёмные твёрдые «кожаные» пятна на коленях, на локтях, на ягодицах.

Кроме звучного названия болезни, всё остальное было уродливо и отвратительно. Больных было слишком много даже для двух этажей отдельного корпуса, и это был единственный корпус, где в палатах была «вагонка» вместо кроватей, и те, кто был ещё в силах залезть, размещались на верхних нарах.

В палатах, больше похожих на тюремные камеры, не хватало воздуха. Открывать форточки не давали сами больные, те, кто лежал у окна. Вместе с тем, зловоние было нестерпимым. К дистрофии неизбежно присоединялись поносы, и в каждой палате стояло деревянное кресло с дырой в сидении, под которой стояло ведро. Санитары не успевали выносить вёдра и подкладывать судна тем, которые уже не в состоянии были добраться до кресла. Таков был дистрофический или «пеллагрозный» корпус.

К счастью, мне не пришлось в нём работать, но одно моё дежурство там ознаменовалась трагикомическим происшествием, запомнившимся мне на всю жизнь. Правда, сейчас, в свете прошедших десятилетий, оно вспоминается скорей в комических тонах.

Как я уже упомянула, в палатах этого корпуса была вагонка — сплошные двухэтажные нары. Я вхожу в палату измерять температуру. Хотя заранее известно, что больше 35-ти с десятыми ни у кого не бывает, но так уж положено: больные должны чувствовать себя больными и верить в магические таинства медицины, в том числе, и в таинство измерения температуры.

Термометры — штук пять-шесть, помещаются в поллитровой стеклянной баночке, где их хвостики обеззараживаются, купаясь в растворе хлорамина. Пока больные держат термометры, я ставлю баночку на краешек чьих-то нар, а сама болтаю с больными, рассказываю какие-то пустяки, как обычно стараюсь подбодрить и развеселить — всё-таки новая незнакомая сестра — для них тоже событие. Вся палата принимает участие в разговоре.

Один за другим забираю я градусники из подмышек больных и водворяю их в хлорамин. Вот и последний. Но тут больной на нарах делает какое-то случайное резкое движение, и… баночка с хлорамином и термометрами летит с высоты верхних нар — на пол!.. Термометры разлетаются по всей палате. Вдребезги! Все до одного!..

Вся палата замирает от ужаса, уставившись на мелкие осколки и весело прыгающие по всем полу серебряные шарики ртути. Из опрокинутой баночки медленно течёт хлораминовая лужица. Я чувствую, как немеют мои ноги…

Сейчас, конечно, смешно. Пять разбитых термометров — подумаешь, проблема! Но тогда это было больше, чем проблема. Это было бедствие! Их негде было купить… Их где-то должен будет достать сам Неймарк! Да и можно ли вообще их будет достать??.. А до Неймарка должна была узнать старшая сестра, потом дежурный врач, потом заведующий отделением, потом…

У каждого в жизни бывают мгновения, когда ему не фигурально, а совершенно реально — «не хочется жить»! Лучше исчезнуть мгновенно и навсегда. Ничего не видеть, ничего не знать… Это был один из таких моментов… Ох, этот ужас **непоправимого**!

В каждой работе, в каждой деятельности это может случиться. В медицине это особенно страшно. И всё же, мои непоправимо разбитые градусники — какими невинными «цветочками» они оказались! Позже мне пришлось отведать и «ягодок»!

…Совершенно не помню, как меня бранили, но что бранили, знаю наверное. Грозили списать в зону, что-то и как-то докладывали Неймарку… Всё это, конечно, было, но следа в памяти не оставило. Вероятно, благодаря вмешательству Маргариты Львовны, меня в зону всё-таки не списали.

«И на старуху бывает проруха»

Хирургический корпус был тоже двухэтажным, как и все остальные. Вверху помещалась «чистая хирургия», внизу — гнойная. Днём в каждом отделении дежурила своя сестра, а на

ночь оставалась одна общая, которая, надев специальный «гнойный» халат, должна была время от времени спускаться вниз и смотреть, всё ли в порядке у «гнойных».

Общая была и старшая сестра — Варвара Сергеевна — чрезвычайно важная величественная дама с прекрасными пышными бледно-золотистыми волосами, греческим профилем и двумя солидными подбородками. Её побаивались санитары и больные, медсёстры и даже врачи, хотя последние тщательно старались скрыть это. Она — одна единственная изо всех сестёр — имела собственную кабинку тут же, в хирургическом корпусе, помещавшуюся рядом с нашим автоклавом.

Ах, как не любили мы его загружать под неусыпным и строгим взором Варвары Сергеевны!

Возраста она была неопределённого. Но, при всей её солидности, с некоторой натяжкой его можно было отнести к «среднему». Престиж её был непререкаем. Возможно, этому способствовала и её фамилия — Ахматова. По её словам, она была какой-то дальней родственницей «той самой» Ахматовой.

Варвара Сергеевна сразу же невзлюбила меня, и доставалось мне от неё за любой промах, а их конечно, особенно в первое время, бывало у меня немало — что там разбитые градусники в пеллагрозном отделении! Были и распаянные шприцы, и поломанные иголки, и потерянные мандрены и, даже страшно сказать, разбит аппарат Боброва, за которым меня послали в другой корпус, да ещё и перед самой операцией. Понятно, что я торопилась и бежала… В общем, первое время жилось мне в хирургии несладко.

Конечно, хирургический корпус ни в какое сравнение с туберкулёзным идти не мог. Это было настоящее хирургическое отделение с отличной операционной и рентгеновским аппаратом. В палатах стояли хорошие никелированные кровати. Целое, не застиранное бельё, тёплые одеяла. И имелись раскладные кресла-коляски, на которых возили больных.

Здесь было даже электричество, которого не было больше нигде — даже в терапии! И всё сияло стерильной чистотой — под бдительным оком Варвары Сергеевны!.

Больные здесь не умирали — разве что в исключительных обстоятельствах, когда их доставляли слишком поздно, или лапоратомия — пробная операция — показывала, что настоящая операция — уже ни к чему. Больные поправлялись, после операции их подкармливали, насколько было возможно, и не спешили отправлять в зону. (Спасибо доктору Неймарку!)

Многих подкармливали и до операции; некоторых, несрочных, держали до операции по 2–3 недели, и даже по

месяцу.

В общем, хирургический был на особом положении, под особым вниманием энкавэдэвского начальства.

Сюда, в Центральную больницу Усольлага, привозили больных изо всех лагерных пунктов, со всех близких и дальних концов. Привозили «срочных» — с «острым животом», с прободением язвы, с заворотом кишок; немало было и лесоповальных травм — раздробленные руки и ноги; перебитые позвоночники — наиболее частая «лесная травма», с которой спасти человека было почти невозможно. Привозили и «плановых» — с аппендицитами, грыжами, кистами.

Бывали у нас и «вольные» пациенты — какое-нибудь лагерное начальство, или кто-либо из его семей, или стрелки из вольнонаёмной охраны.

Они помещались у нас в отдельных палатах, а после операции, как только становились на ноги, переводились в специальный корпус «вольнонаёмных» — был у нас и такой, но в нём не было операционной — оперировали у нас.

Главным хирургом был старый доктор Андриевский, тот самый, который «принимал» меня в медсёстры. В жизнь отделения он не вмешивался, по палатам не ходил, больных, если не было ничего «чрезвычайного», и его не вызывали, — не смотрел. Но все сложные операции делал сам, и как говорили врачи — делал блестяще.

Во время операции он был всегда спокоен, нетороплив, но одна из палатных сестёр бывала специально приставлена к нему, чтобы всё время мягкими тампонами вытирать капли пота, непрерывно струившиеся с его лба. Одно время эта обязанность лежала на мне, и я с ужасом ждала, что не успею подхватить ползущие капли, а они мгновенно покрывали весь лоб и ползли вниз все разом — и вот-вот попадут в глаза Андриевского, или — ещё хуже — прямо в разрезанный живот оперируемого!

Потом, слава Богу, с меня эту обязанность сняли, и я стала кое в чём помогать при операциях. Это было позже, когда Варвара Сергеевна притерпелась ко мне, и отношения у нас стали сносными.

А после одного, чуть было не кончившегося трагически, случая — стали и совсем нормальными. Позже я расскажу об этом.

Формально заведовал отделением молодой хирург, доктор Фром, привезённый сюда из «советской зоны» Польши перед самой войной. Он так и не привык к случившемуся и не понимал своего подневольного положения. Он всё ждал, что как только прогонят немцев, все «недоразумения» рассеются и он вернётся в

Варшаву, где его ждали незаконченные ещё до ареста дела, а главное, почти готовая докторская диссертация.

Говорил он по-русски сносно, но с сильным польским акцентом. Сестёр называл «се'стра», а Варвару Сергеевну величал «панни се'стра», и спорить с ней никогда не решался. Был он необыкновенно быстрым, подвижным, и впечатлительным.

Обычно он ассистировал Андриевскому, но несложные операции делал сам, такие, как грыжи, аппендициты, и тогда ему ассистировал доктор Томингас, ведавший нашими психиатрическими больными. (И такие у нас были!)

Вскоре после моего появления в хирургии решительный доктор Фром чуть было не оттяпал мне половину пальца, из-за которого я попала в Мошево. Панариций мой давно прошёл, но из ранки понемножку продолжала выделяться какая-то дрянь. Я носила резиновый напальчничек, и работать, он мне, в общем не мешал, хотя это и была правая рука.

— Он вам только мешайт, се'стра! — убеждал меня д-р Фром. Уберём вот так — будет чисто, красиво и аккуратно!

Но мне не казалось, что будет особенно красиво и аккуратно, и я заупрямилась: — Резать я не дам. Хотите — списывайте в зону!

Варвара Сергеевна при этом бросала на меня исподтишка ехидно-злорадные взгляды — авось да спишут!

Но в зону меня не списали, а палец мой, хоть и несколько поковерканный и похудевший от постоянного напальчничка с тугой резинкой, всё же остался при мне, что не только симпатичней култышки, но думаю, и удобнее. Болел он ещё с год, а потом сам собою, наконец, зажил окончательно.

…Господи, сколько грехов осталось за мной в хирургическом отделении! И главное — ведь всегда всё хотелось сделать как можно лучше, безукоризненно! Тем не менее, почти ни одного дежурства не проходило без какого-нибудь прискорбного происшествия: то падала на пол мандрена (проволочка для прочистки иглы) и исчезала, как по волшебству; то оказывалось, что в аптеке недополучены какие-то медикаменты; то не собрана назначенная на анализ моча; то больному, назначенному на рентген желудка — дан завтрак. И по поводу всего этого утром неизменно следовала строгая отповедь Варвары Сергеевны. Этим частенько заканчивалось моё круглосуточное дежурство.

Когда в первый раз я спохватилась, что маленький стерилизатор со шприцем кипит слишком долго, и открыв крышку, убедилась, что в нем нет ни капли воды, я в ужасе бросилась к умывальнику и подставила стерилизатор под струю воды!

Хуже придумать, конечно, было трудно! Шприц лопнул с громким треском… «Спасать» уже было нечего — на донышке стерилизатора отдельно валялся потемневший стеклянный цилиндрик, и отдельно металлические ободочки, и тускло поблескивала лужица олова (или чего-то другого)!.. Ужасные минуты…

Больше я уже не подставляла под холодную струю раскалённый шприц. Но всё это было ещё не самое худшее…

Однажды, во время операции, несложного аппендицита, мне велели качать «грушу» аппарата Боброва (прибор для внутривенного вливания). Больному почему-то надо было вводить физиологический раствор. Дело несложное, и мне не раз уже приходилось это делать. Игла была уже введена в предплечье больного, и моё дело было только качать грушу, ну и следить, конечно, чтобы в стеклянном контрольном шарике аппарата не появился пузырек воздуха.

Я качала добросовестно, равномерно, как меня учили. Сначала не было нужды следить за контрольным шариком — это нужно было в конце, когда раствора оставалось мало, и я с интересом следила за операцией. Груда розовых трепещущих кишок, вынутых из разрезанного живота, всегда поражала меня — казалось просто невероятным, что их все можно будет вложить обратно на место, что они не перепутаются и лягут в нужном порядке, не порвутся, и вообще, что они снова поместятся в живот — такая их была масса! (Но, представьте, помещались!).

…Я смотрела, как доктор копался в кишках больного, и вовсе забыла, что смотреть мне надо было не на кишки — а на контрольный шарик!.. А он уже давно был не то что с пузырьком воздуха, но вовсе пустой!.. Раствор кончился, а я, знай себе, качаю, да качаю! Накачиваю больного не физраствором, а просто воздухом!..

В первый момент мне стало дурно… Всё могло кончиться очень плохо, но к счастью обошлось.

Ах, теперь это кажется смешно, но тогда!.. Больной весь хрустел под руками, как будто у него вместо кожи была полиэтиленовая пленка — хрустящая пленка! Хрустели руки, хрустела грудь, хрустела спина!..

Он не умер, не заболел, и даже поправился очень скоро, но хрустел даже тогда, когда уже ходил по палате. Вся палата, включая самого больного, хохотала, но мне было не до смеха… Не знаю, насколько это было опасно, и сказали ли об этом Андриевскому, доложили ли Неймарку? Думаю, что нет, иначе быть бы мне «списанной» в зону.

Другой случай, после которого резко изменилось ко мне

отношение Варвары Сергеевны, был более серьёзным.

В одной из отдельных палат лежал у нас вольнонаёмный больной. Был он старик, хотя и не глубокий — отец кого-то из лагерной администрации. У него был рак желудка. Доставили его поздно и лапоратомия показала, что оперировать нет ни смысла, ни возможности. Он лежал после лапоратомии и считали, что может ещё протянуть месяц-другой. На днях его должны были перевести в «вольнонаёмный» корпус.

Старик был славный, приветливый, и мы его жалели и старались ему помочь чем могли.

На ночь старику назначили инъекции атропина. Атропин, как и все «venenum» (сильнодейсвующие), хранился в шкафике под замком, ключ от которого был у старшей сестры.

С вечера Варвара Сергеевна выдавала строго по назначению ампулы с морфием, пантопоном, атропином и прочими «сильнодействующими». Но иногда в аптеке этих препаратов в ампулах не было, и тогда наша аптека готовила их сама — стерилизовала пузырьки и отпускала в них в отделения по 10–20 граммов. Так было и в этот раз — раствор атропина был в пузырьке. Его мне оставила на ночь Варвара Сергеевна, строго велев не использовать больше одного кубика. Хотя я и сама к тому времени хорошо понимала, как осторожно надо обращаться с «venenum».

Часов в 10 вечера я закипятила шприц, набрала кубик атропина и сделала нашему старичку укол. — Ну, а теперь спать! Спокойной ночи, дедушка.

Не прошло и получаса, как меня позвал санитар: — Идите, сестра, скорее!

Бегу в палату, и сердце у меня падает: бедный старик стоит на полу на четвереньках, бормочет что-то невнятное, потом ползёт по кругу, и шея его как-то странно изгибается на сторону, как у пристяжной в тройке!

Мы с санитаром подхватываем его, втаскиваем его на кровать. — Дедушка, что с вами? — Он ничего не отвечает, его начинает рвать…

…Тут я бегу в дежурку, хватаю пузырек с атропином: — Боже мой! Что же я ввела ему?.. На этикетке стоит «Атропин 0,1 %».

Так и есть!..0,1 %!.. Но это же **глазной** атропин! Тот, что вводится под кожу — 0,01 % — в **десять** раз слабее. Это же получается всё равно, как если бы я закатила ему десять кубиков атропина!..

Сломя голову я понеслась вниз по лестнице в кабинку Варвары Сергеевны — слава Богу, что она здесь неподалёку!

Мы обложили старика грелками, раз за разом вводили

кофеин и камфару. Глаз с него не спускали ни на минуту.

…Старик пришел в сознание. Пульс постепенно вернулся в норму…

Звать дежурного врача или нет?.. Говорить, или нет?.. Конечно, я тоже была виновата: сестра **обязана** смотреть во всех случаях — **что** она набирает в шприц. Но Варвара Сергеевна??.. Ведь это она вынула из шкафчика с «venenum» атропин и оставила для подкожной инъекции. Наша безупречная, всезнающая безукоризненная хозяйка отделения — старшая сестра В. С. Ахматова…

Говорить дежурному врачу, или нет?.. Первый раз я видела её в смятении, с растерянно бегающими глазами, с красными пятнами на щеках, потерявшую всю важность, выправку и осанку.

Мы решили подождать ещё немного. Если обойдётся — не говорить. Ведь мы приняли все меры. Раз десять поднималась Варвара Сергеевна наверх, а я сидела у старика до утра. Дежурный врач на обходе зашёл к старику. Тот спокойно спал… Мы никому не сказали…

Привычное чувство голода…

Конечно, все мы, и больные, и медперсонал, жили голодновато. Это не был настоящий голод — но было постоянное недоедание, постоянное «чувство голода». До «куриной слепоты», как это было на лесоповале, было далеко. Этому способствовала, прежде всего, пятисотграммовая пайка хлеба.

Ах, эта пайка!.. В день дежурства мы брали её с собой в отделение, и прятали в дежурке, давая себе «зарок» — до обеда к ней не прикасаться. Утренний завтрак — жидкую кашицу — мы съедали без хлеба. Но часов в 11–12 до того нестерпимо начинало хотеться есть, что при всяком удобном случае, когда в дежурке никого не было, от заветной пайки отщипывался кусочек — малюсенький. Удержаться не было силы — отламывался уголок, потом другой, затем корочка…

Кончалось всегда одним и тем же — к обеду от пайки не оставалось ничего, или крошечный огрызок…

Обедали мы в столовой рядом с кухней. Разнообразием меню не отличалось: суп-баланда, тот же, что и у больных, и тот же черпак — ни ложкой больше. На второе у больных всё-таки бывали какие-то запеканки, какие-то пирожки, хоть и микроскопические! У нас — кусочек солёной горбуши, который можно было проглотить одним махом, не жуя. За ужином такая же размазня, как и на завтрак. Не жирно, но всё же — 500 граммов хлеба и регулярный приварок — жить можно. Особенно

при круглосуточных дежурствах.

В свободный, «недежурный» день — о, какой «мощный пищевой кулак», как выражалась Катерина, мы имели! Это устраивалось так: — сдав дежурство, мы съедали свою утреннюю кашу, а пайку хлеба прятали под подушку, и тут же заваливались спать. На дежурстве нам редко удавалось вздремнуть, только иногда — минут на пятнадцать — слишком много было больных, слишком много назначений, и в терапии, и в хирургии слишком мало термометров. Температуру приходилось начинать измерять часов с пяти утра — только-только успеешь управиться к передаче дежурства. Поэтому днём, после дежурства, мы спали как убитые, несмотря на шум вокруг нас, и вставали только к ужину. Но зато, к какому!!

За ужином мы имели баланду и рыбу от обеда — нам оставляли. Кашу — от ужина, и нетронутая пятисотграммовая пайка! Поистине — «пищевой кулак»!..

Вот почему послеужинные часы, особенно летом, на Васькиной полянке, если удавалось благополучно проскочить мимо этого бандита — были часами блаженства, полного отдыха и переваривания обильной пищи.

Иногда мы шли дальше: — оставляли себе **одну пайку** на двоих, а другую выменивали на котелок картошки у кухонных работников. Они тоже не были сыты, но котелок картошки всё же был в их возможностях. Был у меня такой солдатский котелок, в форме боба, с крышкой. За пайку мы получали полный котелок белой, душистой, горячей, рассыпчатой картошки! Мы потихонечку проносили это на своё заветное местечко за лопухами и… О, блаженство!.. До чего же она была вкусна, ароматна, как таяла во рту!..

Хотя в ней и не было никакого масла или жира — всё равно таяла.

Иногда мы фантазировали: «…А если бы ещё солёный огурчик!.. Да полить подсолнечным маслом!.. Или кусочек жирненькой селёдки!»… Но в общем — и так было хорошо!

Когда картошка кончалась — увы, так быстро — у нас с Катериной начинались неизбежные пререкания: каждый отодвигал от своей половины кусок картофелины и уверял, что это — не его. Последний кусочек много раз переходил из одной половины котелка в другую, пока, наконец, не бывало достигнуто какое-то соглашение…

В «чистой» хирургии было две палаты глазных больных д-ра Мурадханова. В этих палатах лежали больные с глаукомой, после удаления катаракты, или ещё каких-нибудь операций на глазах. Были и совсем слепые, или почти слепые, но их почему-то

не «актировали». То ли болезни считались излечимыми, то ли статьи не подходили…

Конечно, условия у них были много лучше, чем у туберкулёзников, и питание было получше, и всё же смотреть на эти головы с забинтованными глазами было просто невыносимо. Они почти всегда задавали один и тот же вопрос, когда слышали, что в палату входит сестра: — Сестрица, который час?.. Время для них остановилось, как у меня, когда я сидела на Лубянке… Лагерь и слепота — не слишком ли много, Господи?..

Своих больных д-р Мурадханов мог немного подкармливать — ведь по совместительству он был, как я уже говорила, диетврачом — бог и властитель кухни! Тот, на кого простиралось его благоволение, мог надеяться на какую-то, хоть маленькую поддержку, и прежде всего, её получали его больные.

У доктора была лагерная «жена» — наша сестра-хозяйка из хирургии, Сусанна — грузинка необычайной красоты. Связаны они были давно и прочно, и все об этом знали. Им покровительствовала Варвара Сергеевна, а начальство смотрело сквозь пальцы — офтальмолог Мурадханов, хирург-виртуоз, и в лагере продолжал оставаться «величиной».

Ну, а вне своей хирургии, это был просто «добрый человек», а при ближайшем знакомстве оказался и душевным, и симпатичным.

Будучи человеком восточным, Алибей Асадулаевич не упускал случая приволокнуться за любой молоденькой сестрой или симпатичной больной, где-нибудь в тёмном уголке прижать, ущипнуть за мягкое место. Сцены ревности, которые ему устраивала Сусанна его мало трогали — он просто не обращал на них внимания. Ей он оставался «верен» всегда.

Когда я появилась в хирургии, внимание его немедленно обратилось на меня. Но потом как-то всё обошлось, и мы просто подружились все втроём — я, Катерина и д-р Мурадханов.

Оказалось, что у него, кроме Мошевской, есть ещё далёкая домашняя жизнь. Вернее — была. Дома у него остался маленький сынишка, лет трёх, теперь уже восьми — мальчик Сеавуш. На фотографиях он выглядел этаким орлёнком, с живыми чёрными глазами, крутым лобиком, и гордо посаженной головой. Алибей Асадулаевич рассказывал, как он, неожиданно для самого себя, «увлёкся» своим сыном и только о нем и тоскует все эти годы, и только его видит во сне…

Вскоре мы узнали, что этот красивый, но не слишком эрудированный, и говорящий с сильным восточным акцентом человек — может быть добрым и деликатным товарищем.

В глазном кабинете был прибор — офтальмоскоп, служащий

для исследования глазного дна. По виду он был похож на, микроскоп, но когда его включали в электросеть, из его объектива выходил тонкий яркий лучик света — его-то и направляли в глаз, освещая глазное дно.

Глазной кабинет убирался только дежурной сестрой. Санитары туда не заходили, и ключ от него, кроме врачебного, конечно, был только у сестры. На уборку кабинета время урвать можно было обычно только ночью, после того, как переделаны все назначения, подклеены анализы в истории болезней, выписаны лекарства, успокоились послеоперационные больные, заснули те, кому операция предстоит завтра.

Тишина воцаряется в корпусе, выключаются лампочки в коридоре — самые приятные часы, если нет слишком тяжёлых больных, у которых надо сидеть, чтобы не прозевать момента, когда надо послать за дежурным врачом.

Если таких больных нет, можно забраться в кресло-коляску, что стоит у окна и подремать полчасика, если санитар надёжный и на него можно положится, что не заснёт, пока отдыхаешь ты. Потом и ему можно дать подремать чуток.

К сожалению, далеко не каждую ночь выпадал такой спокойный часок. Обычно плохо спят послеоперационные. То у них начинается рвота; то просто зовут — болит, не спится, хочется пить… То кто-нибудь рожает (у нас была и родильная палата!); то привезли больного — надо принимать, а то и срочно готовить к операции. Тогда начинается предоперационная суета, поднимается Варвара Сергеевна, вызывается операционная сестра, вызываются врачи, запускается автоклав и… пошло на весь остаток ночи…

Но в «тихий час» надо было не забыть убрать и глазной кабинет — убрать тщательно, чтобы всё блестело, чтобы каждый пузыречек был протёрт и поставлен на свое место, в свою «ячейку»; чтобы пипетки, пинцеты, бужи — всё было выкипячено, чтобы на докторском столе ни пылинки, ни соринки, и каждая бумажка на своём месте, а на кушетке чтобы была застлана свежая, без единого пятнышка, простыня, а на вешалке висел бы свежий докторский халат — вот как вышколил сестёр д-р Мурадханов!

Впрочем, впоследствии, всё это становится профессиональной привычкой и делается само-собой.

…Я открываю ключом глазной кабинет и привычно протягиваю руку к выключателю… Но рука застывает в воздухе. В дальнем углу, там, на тумбочке, застланной белой салфеткой, стоит офтальмоскоп и я вижу… или это мне мерещится?!.. Офтальмоскоп наклонен вниз почти вертикально, и из объектива

бьет пучок света, а под этим пучком — это я уже рассматриваю с замиранием сердца, всё ещё не веря, что это не мираж, не галлюцинация, — тарелка, а на ней **две** булочки и **два** куска картофельной запеканки!..

Я послала санитара с запиской в терапевтический корпус: «Катеринка, приходи немедленно — Бог есть!»

Впоследствии, мои записки были значительно короче, всего из нескольких букв: «К! Б Е!».

…Пир бывал, конечно, не каждое дежурство — либо не было подходящего провианта, или он должен был быть употреблён по другому назначению, но если офтальмоскоп «работал» — это было большим праздником для нас — под утро особенно хотелось есть, и Катерина отлично понимала содержание записки: «Катерина — Бог есть!»

Я тщательно запирала кабинет и с волнением ждала, пока освободится и прибежит Катерина… Как это было замечательно, как вовремя!

С доктором Мурадхановым ни разу не было сказано ни одного слова об этих дарах, о ночных пиршествах. Благодарили разве что взглядом. Но он всё хорошо понимал, знал, что я всегда зову Екатерину, и провизии всегда было припасено на двоих. Это было безмолвное понимание, нечто вроде телепатии…

Был у нас в больнице единственный «медбрат». Это был больной, стараниями Любочки Н. оставленный при больнице в качестве медбрата. В прежней жизни у него была неподходящая для лагерей профессия-то ли он был учителем, то ли адвокатом, не помню. В лагере ему не повезло, всё время он оказывался на общих работах и постепенно превращался в доходягу. Но наконец-то, повезло — попал в Центральную больницу, где и дошёл бы несомненно в нашем «пеллагрозном» корпусе, если бы Любочка Н. не «устроила» его медбратом.

В больнице, уже освоившись с новыми обязанностями, он всё же начал поправляться, но — увы — с психикой у него было явно неладно. Он добросовестно делал все назначения для больных, но каждую свободную минуту записывал в записную книжечку (и где он только раздобыл её?)… рецепты разных блюд, выспрашивая их у больных, у сестёр, у врачей и санитаров. Кулинарные рецепты!..

Говорить он мог только об одном: о необыкновенных кушаньях — о тушеной утке с яблоками; о пожарских котлетах под белым соусом, об антрекотах с анчоусами…

С термометрами в одной руке, с книжечкой в другой, высокий, худой, в туго подпоясанном сером больничном халате, с высоко поднятой головой, с горящими каким-то фанатическим блеском глазами, стремительно шагал он по больничным

коридорам, похожий на Дон-Кихота. Казалось, он спешил к некоей таинственной цели, одержимый видениями и миражами… Вероятно видениями редкостной и обильной еды, которую он обретёт там, «на воле»…

Бедный Никишка! — так мы его звали заглаза. Дожил ли он до освобождения? Стушил ли хоть одну утку?.. Вряд ли…

Я так много говорю о еде, потому что она, вернее, нехватка её, составляла существенную часть нашего бытия, и не думать о ней было невозможно…

Эта странная другая жизнь

Настроение лагерной интеллигенции во время жизни моей в Мошеве было совершенно не похоже на то, которое преобладало среди политических заключённых в начале моего лагерного пути — в Пиндушах и Медвежке.

Тогда люди, впервые прибывавшие в лагерь после Лубянки или Бутырок, были подавлены своей судьбой, своим несчастьем. Поэтому в лагерях все говорили исключительно о прошлом, о семье, или ещё чаще — о деле, аресте, допросах — всё это довлело, было главным. Ведь это были 36–37-е годы, и большинство интеллигенции были ещё «новенькими».

Именно в эти годы «благосклонное» внимание НКВД обратилось на рядовую интеллигенцию. До этого шли годы «раскулачивания»; до начала «вредительских» процессов интеллигенции в лагерях было сравнительно немного. Но с 35-го года интеллигенция пошла в лагеря сплошным потоком и быстро стала их постоянным и существенным контингентом.

Здесь, в Мошеве, хотя темы прошлого продолжали волновать и служить предметом задушевных разговоров, но они перестали быть — главными, основными, животрепещущими.

В Мошеве, в основном были люди давно притерпевшиеся к своей судьбе. Прошлое постепенно стадо для них как сон, как нереальность. У многих и семьи за это время распались — ведь столько лет прошло!..

А лагерь — стал жизнью. Странной, не слишком нормальной, но всё же… каждодневной жизнью.

Вот как у Солженицынского «Ивана Денисовича»: «Жизнь шла день за днём (страшно сказать — годы!), а он — Иван Денисович — бывал счастлив, если удавалось „закосить“ лишнюю миску баланды, а в работе, о которой и не слышал никогда раньше — находил удовлетворение и занятие весьма полезное и, хотя и не понимал этого вполне чётко, продолжал себя чувствовать человеком».

Вероятно, для лагерной интеллигенции, это было сложней, но в общем-то же самое. Мошевские обитатели притерпелись и к лагерному быту, и в работе находили смысл и удовлетворение. Конечно, Мошево было исключением, далеко не «рядовым» лагерем. Нам крупно повезло. И все это понимали. Притерпелись к почти постоянному чувству голода. Ведь время было военное — все недоедали. У многих родные — «вольные беженцы» были в эвакуации, неизвестно где, неизвестно как и чем питались…

Многие досиживали свои сроки, или пересиживали, так как из лагерей в связи с войной не выпускали. Но чем дальше продвигалась война, чем ясней становилось приближение победы (многое теперь передавалось уже по радио в рабочей зоне, и мы, конечно, слушали тоже), тем крепче верилось всем, что с окончанием войны, с победой придёт великая перемена, великая амнистия, которая освободит всех.

И то, что оставались без ответа наши бесчисленные заявления с просьбой послать на фронт, — объяснялось тем, что тогда «наверху» было не до нас, некогда разбираться, думать, решать… Но уж после победы наступит же время, когда, наконец, вспомнят о нас, тысячах ещё живых, ждущих и надеющихся…

Тогда мы не знали, что ошибаемся на целое десятилетие, и что только смерть «великого кормчего» изменит наши судьбы… Не думали, что впереди ещё Сибирь, Казахстан или Караганда, товарные эшелоны и пересыльные тюрьмы.

Вот почему жизнь в Мошеве была «настоящей», хоть и в кавычках. Наш больничный мирок был ограничен каменной стеной. Но это был мирок с его профессиональными интересами, с дружбой и ссорами, интригами и завистью, с любовью и ревностью; с книгами, которые иногда удавалось доставать и которые долго ходили по рукам и зачитывались до дыр; с редкими посещениями (строем и под конвоем!) лагерного клуба в рабочей зоне, до которой было всего-то полсотни шагов, от проходной одной зоны до проходной другой, где устраивался самодеятельный концерт, или крутилось кино.

…Я не скажу, чтобы моя медицинская работа в Мошеве меня особенно увлекла. Несмотря на то, что появился какой-то «профессионально — спортивный» интерес, как мы называли это с Катериной — ловко попасть в «трудную» вену, или удачно вывести мочу катетером, и т. п. — всё же огорчений всегда бывало больше, чем радостей, и никогда я к медицине не «пристрастилась», хотя работать мне в этой области пришлось многие годы и после Мошева. Нет, не пристрастилась. Но что повезло мне благодаря медицине, — это без всякого сомнения.

Тепло и радость в Мошеве принесла мне наша дружба с Екатериной Михайловной Оболенской. И даже странно, ведь она была намного старше меня, лет на пятнадцать, если не больше. 35 и 50 — это большая разница.

Её прошлая, долагерная жизнь была так далека от моей, что я могла её воспринимать только, как прочитанную книгу. Думаю, что и ей мой прошлый мир мог быть интересен только как что-то из незнакомой области, — но как-то, почему-то, мы очень крепко подружились, полюбили друг друга не метафорически, а **действительно** — на всю жизнь. И много лет спустя, после реабилитации и возвращения в Москву, я дежурила в последние дни у постели умирающей Екатерины Михайловны. У неё был инсульт…

Очевидно, дружба, как и любовь, не знает ответа: «за что?»… «Почему?».

…Я всегда чувствовала некоторое превосходство, скорее старшинство Екатерины Михайловны, всегда восхищалась ею. Но превосходство людей умных и тонких, чутких и любящих никогда не «давит», и в отношениях с ней, её старшинство никогда не было для меня ни обидным, ни досадным.

Была она, прежде всего, большая умница с ярким чувством юмора, с великолепной памятью. Не имея никакого специального образования, она знала и понимала больше, чем кто-либо с кем мне когда либо приходилось общаться. Она массу читала, хорошо знала историю и литературу.

До ареста она работала редактором в тогда ещё молодом «Детгизе». И наверное, была прекрасным чутким и тонким редактором, которых не так много на свете.

И видела она на своем веку многое… В скольких театрах бывала, скольких великих артистов слышала. Но самое замечательное было то, что, при всей этой насыщенной жизни, оставался у неё жадный интерес ко всему на свете — к большому и малому — к каждой интересной книге, к каждому новому кинофильму, к каждому новому человеку.

Когда бывало, приходило известие, что нас поведут в зону, в клуб на самодеятельный лагерный концерт — как она радовалась, торопилась, мчалась своей легкой походкой к проходной, чтобы не опоздать — ведь конвой ждать не станет!.. Ни мороз, ни дождь, ни грязь на дороге — ничто не могло её остановить. Ни тем более, добродушное подтрунивание над её «театральными вкусами».

Да, когда-то она слушала Собинова и Нежданову, Шаляпина и

Липковскую — ну, и что?..

В любом лагерном концерте она умела уловить блёстки подлинного искусства, ну а если уж не было и «блёсток», то — весело, но беззлобно, посмеяться над «потугами с негодными средствами»…

Помню как сейчас её легкую и стремительную походку! А ведь ей тогда было уже за пятьдесят… Длинный овал лица с правильными, но мягкими чертами, совсем молодое лицо без морщин, гладкие, зачесанные на пробор волосы ещё без сединки, чуть насмешливые серые глаза, милый грудной голос, любимые словечки, характерные жесты…

«— …Вот именно!» — часто говорила она и делала какой-то особенный, присущий только ей, утвердительный жест ладонью.

Екатерина Михайловна не имела никакой «статьи». Просто — член семьи изменника родины — «ЧСИР», и десять лет лагерей, которые она и отсидела «от доски до доски».

Сам «изменник» — академик и член правительства, Оболенский-Осинский, до 17-го года революционер — подпольщик, был расстрелян в 37-м. Заодно с ним и старший сын — первокурсник Военной академии.

Трое младших детей — два мальчика и девочка одиннадцати лет — были помещены в детдом, откуда они раз в месяц аккуратно писали, вероятно под диктовку воспитателей:

«— …Мы живем хорошо. Учимся отлично. У нас много друзей и товарищей…»

И действительно, детдом, в котором было много детей с похожими биографиями, был отличным, показательным детдомом, где детей обучали даже музыке. А так как эта необыкновенно дружная троица — мальчики были немного старше своей сестры — была и очень способна, и действительно училась отлично, то они, несомненно по заслугам, считались «украшением» детдома. В нём они и прожили до окончания школы.

Оба мальчика были приняты в университет, а девочка ещё кончала школу… Но тут началась война.

Студентов первых курсов мобилизовали. Младший — тайный любимец Екатерины Михайловны — был убит в первый же месяц войны. О втором — ничего не было известно.

Как Екатерина могла ещё жить после всего этого?.. Смеяться и спешить на лагерный концерт?..

Но ведь и она, как и все — сначала надеялась, что нет, неправда, вот-вот РАЗБЕРУТСЯ… Потом — «притерпелась», как и все… И пошли год за годом. Столько лет!.. И она, как и все, жила двойной жизнью — «настоящей» — в лагере, и прошлой — в

сердце… «…Тоска мне выжгла очи…» Нет, она никогда, ничего не забывала…

До ареста семья жила в Кремле, чуть ли не в одном коридоре со Сталиным. Имела правительственную дачу в Барвихе; библиотеку в несколько тысяч томов.

Два года всей семьей провели в Берлине, где Советским посольством руководил будущий «изменник». Много путешествовали по Европе.

К материальным благам Екатерина была практически равнодушна, и их потеря её не волновала.

…К тому времени, когда мы встретились и подружились с ней в Мошеве, младший мальчик был уже убит. О старшем ничего не было известно. Девочка, ставшая уже подростком, заканчивала школу.

Екатерина подолгу держала в руках маленькую, неважного качества, фотографию. С детского лица, из-под низко подрезанной чёлки строго и упрямо смотрели серьёзные, уже не детские глаза.

— Ах, эта девочка никогда не будет счастлива — говорила, вздыхая Катерина… Она почти угадала.

К освобождению не пригодны

…Раз в год в Мошево наезжала актировочная комиссия из солидных энкаведевских врачей в военных формах, со знаками отличия на погонах. Мы знали заранее, что это — пустая формальность. Актировать у нас следовало бы целиком два корпуса — туберкулёзный и дистрофический. Никто из них не мог вернуться в стан «работяг». Но не актировали никого.

И те, и другие для «освобождения» уже не годились. Они уже не в состоянии были добраться до дома самостоятельно, а приехать за ними тоже было некому. Да и время же было — военное. Об актировке 58-ой статьи вообще никто никогда не слышал.

Но всё равно — слухи об актировочной комиссии всегда проникали в больницу раньше самой комиссии, и все — и больные, и медперсонал — начинали волноваться… Парадокс!

Но всё же случай актировки — настоящего реального освобождения по болезни — однажды произошёл в бытность мою в Мошеве. И ещё фантастичней — с заключённым по 58-й статье, правда, с пустяковым 10-м пунктом и отсидевшем почти весь свой «законный» срок.

Этим заключённым оказался как раз тот самый симпатичный медфельдшер, который принимал меня в Мошеве и не отправил в

рабочую зону! Он был больным доктора Мурадханова и страдал отслоением сетчатки в обоих глазах.

Болезнь развивалась быстро. В те времена это считалось неизлечимой болезнью, по крайней мере у нас, в Сов. Союзе, и неизбежно приводило к полной слепоте. Ко времени приезда комиссии, Сашенька — так его звали — практически был уже почти слеп, и своих канцелярских обязанностей выполнять уже не мог.

С него взяли подписку, что за ним приедут, и сактировали.

Где-то в Казахстане у него была жена.

…Он бывал частым и желанным гостем у нас на Васькиной полянке. Милый, сердечный, с большим чувством юмора, он был отнюдь не стар, но и не юноша, конечно. Он был по профессии настоящим медфельдшером, а кроме того и большим любителем книг, массу читавшим и обладавшим недюжинной памятью. Мы с большим удовольствием слушали на лужайке за лопухами, как он пересказывал по памяти рассказы Лескова или Чехова.

Отличался он всегда и в наших нехитрых «литературных играх». Одна из них была — просто набирать слова на какую-нибудь букву, быстро, по кругу, без заминки. «Споткнувшиеся» выходил из игры. Сашенька нередко оказывался победителем.

И вот, за ним приехала жена. Сашенька уехал в Среднюю Азию. С дороги он прислал нам общее письмо.

«Друзья!» — писала жена под его диктовку, «Играйте на букву „С“»!

Сколько Славных Слов на букву «С»: — Свобода… Солнце!.. Скорый поезд!. Средняя Азия!.. Счастье!.

Это писал человек, который понимал и ЗНАЛ, что видеть всё это прекрасное — на букву «С» — остается ему, максимум, месяца два или три…

Невозможно было читать это письмо без слёз…

Так вот и текла наша жизнь. Свыклась и я — и с «двуличием» врачей, и с экзитирующими больными, и делала неизбежные кофеин и камфару парализованным инсультом больным. И инъекции «Aqua distilata» делала уже без трепета души.

Ко всему привыкает человек, везде и всюду обтачиваются острые грани и углы.

…Сдав дежурство и захлопнув за собой двери, можно было глубоко и свободно вздохнуть и стать другим человеком, другим существом на целые сутки, до следующего дежурства! Захлопнуть не только реальные деревянные двери дежурки, но и другие, невидимые, в мозгу…

Экзитирующие больные, инъекции, рвоты, клизмы — всё оставалось там, за плотно захлопнутыми дверьми — до

следующего дежурства.

Чтобы не сойти с ума

На «недежурствах» мы старались развлекаться… Как могли. Иначе, постоянно видя страдающих и умирающих людей, при отсутствии какой-либо отвлекающей деятельности трудно было не съехать в депрессию…

Однажды мы с Екатериной выдумали выпускать «медико-художественный», и конечно же сатирический, журнал. Для этой цели мы выпросили у Маргариты Львовны какой-то серой, оберточной бумаги, на которой всё-таки можно было писать.

Первый выпуск был посвящен глазным болезням, и обложка была украшена прелестной виньеткой вокруг двух зорко, и вроде даже ехидно, глядящих глаз. Посвящался выпуск доктору Мурадханову, и под заголовком «ГЛАЗА» был помещен эпиграф:

«…Шивандары, шивандары, фундуклей и дундуклей,
Чудный доктор, дивный доктор Мурадханов Алибей!»

(Почти по К. Чуковскому).

В выпуске было помещено всё, что могли вспомнить мошевские больные, сестры, врачи — из классической литературы, стихов, народных песен — всё, где упоминались глаза.

Открывал выпуск старинный, но не устаревающий романс:

«…Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные…»

Заканчивала выпуск не менее старая и мудрая пословица:

«Кто старое помянет — тому глаз вон!».

За «Глазами» последовал выпуск «Сердце», а за ним — «Желудок»:

«…Боюсь брусничная вода
Мне б не наделала б вреда!.».

Иллюстрировали журнал те, кто умел рисовать — всегда

такие находились.

Журнал всем доставлял большое удовольствие, и «выпуска» его ждали с нетерпением. Экземпляры ходили по всей больнице, замусоливались и зачитывались, но никогда не рвались, и не выбрасывались.

Странно, наверное, что мы играли, как дети… Но ведь в жизни всегда так: — уживается рядом страшное и смешное; чудовищное и трогательное… Даже на войне… И от этого никуда не уйдёшь — жизнь есть жизнь!..

…Однажды я восстановила по памяти Чеховское «Предложение», и мы с двумя врачами поставили его, устроив сцену в широком больничном коридоре. Нашей публикой был медперсонал и ходячие больные.

Успех был потрясающий, и мы несколько раз в течение зимы повторяли своё «Предложение».

А иногда устраивали концерты, читали стихи, а доктор Томингас играл на скрипке…

Он был эстонец, доктор Томингас, и плохо говорил по-русски. Но больные, в его маленьком психиатрическом отделении, которое он вёл, его очень любили. — Зачем слова, которых они всё равно не понимают? — говорил д-р Томингас, — Музыка их успокаивает лучше всяких слов. И это была правда.

Мы тоже очень любили слушать игру д-ра Томингаса, хотя он и не был доволен скрипкой, которую раздобыла ему Маргарита Львовна. Он так много играл наизусть, и с таким чувством…

Доктор Околов пытался нас просвещать, и организовывал какие-то «семинары» но, должно быть, это было не слишком интересно, так как память о них стёрлась. Помню только, что нам на пару с Екатериной было поручено сделать доклад о… холере! — Боже мой! — воскликнула Екатерина — только холеры нам в Мошеве и не хватало!

Но доктор Околов был дотошным человеком и полагал (вероятно, вполне основательно), что и средний медперсонал должен быть широко медицински просвещён.

Вообще, он был отличным врачом — микробиологом. Он заведовал нашей клинической лабораторией, для которой подобрал и обучил отличных лаборантов, и вообще, лаборатория была такой, какой не часто могла похвастаться хорошая районная поликлиника. И директор больницы, доктор Неймарк, умудрялся доставать необходимое оборудование и всё, что нужно для лаборатории. Он, не без основания, мог гордиться лабораторией и хвалиться ею перед центральным начальством. И конечно, доктором Околовым тоже!

Мы все тоже отдавали ему должное, однако из-за его

пунктуальности и дотошности, не было человека, который, хотя и добродушно, не подтрунивал бы над д-ром Околовым.

Как и все врачи, он бывал дежурным по больнице в свою очередь. Его дежурство — самое добросовестное изо всех — сулило досаду и раздражение не только нам, сёстрам, но и больным. — Ах, опять дежурит этот доктор Околов! — с досадой говорили они.

Во время дежурства д-р Околов никогда не спал, хотя в комнате дежурного врача стояла кровать, и, конечно, все другие врачи преспокойно спали после того, как был сделан ночной обход. Все были совершенно спокойны, что в случае надобности за ними тотчас пришлют.

Но д-р Околов не спал. Он методически, и не раз за ночь, обходил все отделения, все палаты, непременно щупал пульс у каждого больного, хотя ходил на цыпочках, затаив дыхание, надеясь не потревожить сон больного. А если уж больной не спал, то непременно шепотом справлялся, как тот себя чувствует?.. Кончалось тем, что после его обхода ходячие больные начинали ворча слоняться по коридору, тяжелые — кашлять, звать сестру, беспокойно вертеться и просить снотворного. Как бы ни уверяли Феликса Станиславовича, что в этой палате всё спокойно, и все хорошо спят, он всё равно должен был убедиться сам, и перебудить всех больных!

Ах, этот доктор Околов! Был он далеко уже не первой молодости, и все как-то думали, что кроме медицины, он ничем не интересуется. И вдруг, оказалось — интересуется!

Это он сыграл отца в «Предложении». Он рассказал мне по секрету, что пишет какие-то фантастические рассказы, и даже прочёл один мне, потому что знал, что я «причастна» к литературе. Рассказ был неудачный, и я его не запомнила. Но, оказалось, что и чувство юмора не чуждо этому серьёзному доктору.

У нас в больнице не было клея. И бумажки с фамилиями больных на приготовленные для отправки в лабораторию банки с мочой и прочим мы приклеивали мылом, которого тоже было мало. Бумажки слетали, получалась путаница и неприятности.

И вот, однажды, я нахожу на столике в дежурке — настоящий пузырёчек с клеем (не знаю уж, из чего изготовленным!). К пузырёчку прикреплена изящная сигнатурка — такая, какие бывали когда-то в аптеках во времена моего детства. Вместо рецепта на сигнатурке каллиграфическим почерком было выведено:

«Дежурной сестре:

Мы не будем так, как было,
Этикетки клеить мылом.
Горьких слез, прошу, не лей,
— Вот тебе отличный клей!

P. S. Смазывать экономно!»

Вот вам и доктор Околов! Все хохотали и уверяли, что он ко мне неравнодушен.

…Милый, милый доктор Околов! Вряд ли когда-нибудь вы прочтете эти строки — это почти невероятно. Ведь мне уже за 70, а вам-то?.. Но, если бы вдруг прочли… Разве вы не простите нас за наши глупые шутки и подтрунивание над вами?.. Ведь всё это было так давно… Так далеко, что уже и не смешно… (как сказал поэт). Ведь вы чувствовали, что мы относились к вам всегда очень хорошо, и всегда понимали, что вы — прекрасный врач, и все наши шутки были беззлобными и добродушными… Ведь невозможно же жить без улыбки… Даже в лагере, Даже в больнице.

Простите нас, доктор Околов, Феликс Станиславович!

Освобождение невсерьёз

…Прошел год сорок третий, когда кончался мой официальный «срок»; прошло лето сорок четвёртого.

Война уже шла за пределами страны. С запада наступали высадившееся в Нормандии союзники… Война, по-видимому, близилась к концу. У нас в больнице ходили слухи, что где-то уже начали выпускать тех, у кого уже давно закончились сроки.

И вот, два человека из наших пересидевших были вызваны и увезены в Соликамск. На освобождение, или на этап — никто не знал. Но все ждали — вот-вот начнут отпускать!

…Осенью, в сентябре и мне было велено собираться «с вещами». Куда?.. — Неизвестно.

Сборы и прощание с друзьями были недолгими — всё же это был лагерь — один из островов гигантского ГУЛАГа, и на прощания здесь время не отводят…

Меня посадили в грузовик, вместе с несколькими другими заключёнными из рабочей зоны и повезли в Соликамск.

Было немного грустно, немного нервозно…

Прощай, прощай, Мошево!..

Прощай, Катеринушка!..

Прощайте, милые друзья!..

…И вот я снова в Соликамской пересылке — той самой, из которой осенью 41-го года уходил пешком наш немногочисленный этап на лесоповальный лагпункт под названием «командировка 42».

Сижу я в пересылке и день, и два, и три, и ничего не известно зачем и почему? И куда меня денут дальше…

Лагерные «параши» бушуют в пересылке, как море в штормовую погоду: — Освобождают — не освобождают… — Отправляют в ссылку… — Готовят этап… (куда?)

Но я уже говорила, что пути НКВД неисповедимы, и разуму простых смертных недоступны. К этому надо добавить: фантазия их — беспредельна…

Наконец меня вызывают в контору — «с вещами!».

…Это оказалось ни этапом, ни ссылкой, ни освобождением — чем-то «вроде» и того, и другого, и третьего.

В конторе пересылки мне, вместо документа или хотя бы какой-то справки, как давали в начале войны освобождаемым уркаганам, вручили… бумажку с адресом места, куда я должна одна, **самостоятельно** отправиться! На бумажке стояло: Бондюжский район, Тимшер, Больница трудармейцев.

До Бондюга надо было ехать по Каме на маленьком пароходике вроде речного трамвайчика.

Не помню точно, сколько, но в конторе мне выдали несколько рублей, которых должно было хватить на проезд до места назначения.

Когда за мной прибыл конвоир, а может быть и просто служащий, так как он был без винтовки, чтобы выпроводить меня из тюрьмы, мне протянули ещё одну, сложенную вчетверо и защеплённую скрепкой бумажку. Я развернула её и в первый момент не поняла от кого была эта записка, но взглянув на подпись сразу вспомнила: ведь здесь в Соликамске живёт Миша Красный, тот самый инженер, с которым я сидела на Медвежьегорской пересылке почти семь лет назад, и за дружбу с которым мы получили по трое суток изолятора.

Он каким-то образом узнал, что я в пересылке, и оставил для меня в конторе записку с адресом своей работы — а работал он здесь, в Управлении Сольлага — был уже вольнонаёмным, «оставленным» работать в системе, каким-то инженером — специалистом по лесу. Он приписал, что если меня освободят, чтобы я обязательно разыскала его…

У меня было куда идти!..

…В первый раз за девять лет, если не считать прогулок по Медвежке, когда я была «крепостной актрисой» ГУЛАГовского театра, я вышла за ворота пересылки одна, без конвоя. Так

странно — сзади нет стрелка с винтовкой…

Итак, я без единого документа в кармане, и всё же на воле!.. НА ВОЛЕ!! Свободно иду куда хочу. Могу зайти в любой магазин… в столовую… Куда же?.. Ах, да! Конечно к Мише!

…Помню, это был чудесный, тёплый, солнечный, ещё совсем летний день. Солнце, тепло и голубое небо — вот что запомнилось от этого первого вольного дня!..

…Помню, как мы обедали с Мишей в ИТРовской столовке для вольнонаёмных, за отдельным столиком, ели какой-то суп, мясное рагу и компот на третье… Как я ночевала у него на раскладушке.

На следующий день — это было воскресенье, мы поехали с ним за город копать его картошку — тогда все получали маленькие участки и сажали картошку.

…Какое было синее небо над этим картофельным полем, и как пели какие-то птицы… (или это моё воображение? А может быть, это действительно дрозды уже готовились к осеннему отлёту?)…

Я лежала в траве на меже и смотрела в синее небо…

Хорошо быть свободной!..

Так окончилась моя девятилетняя эпопея жизни на островах ГУЛАГа — Главного Управления Лагерей НКВД (Ныне МВД).

Но… свобода, как оказалось, была отпущена мне ненадолго… И если время позволит, я расскажу о дальнейших перипетиях моей судьбы в следующей и последней последней книге трилогии.

Конец книги второй.

Книга третья
«На вечное поселение»

От издателя

В третью книгу трилогии входят воспоминания моей матери о жизни в изгнании, — в таёжном лагпункте Тимшер и в Боровске под Соликамском; о её вторичном аресте в 1949 году; о перевозке ссыльных тюремными этапами в Сибирь; о жизни в местах, куда она была отправлена на вечное поселение — в посёлке Ярцево (около тысячи километров вниз по Енисею от Красноярска); в городе Енисейске, где мама провела последние годы её ссылки; немного о годах жизни в Москве после реабилитации, а также о встрече с другом по лагерю, — ныне известным русским художником — египтологом М. М. Потаповым (только недавно, в 2009 году — в возрасте 103-х лет — ушедшем «в мир иной».), о его глубокой убеждённости в его прошлой жизни при дворе египетского фараона Эхнатона и о его удивительной судьбе в нынешней жизни.

Стивен Лесней (Селезнёв)

Фото Е. Н. Фёдоровой сделанное в 1944 году после освобождения из соликамской тюрьмы

Глава I
Лагпункт Тимшер

Благословенное одиночество

И одиночество нам снилось Как высшей меры благодать

(Из лагерной поэзии)

Итак, — я свободна! После девяти лет скитаний по тюрьмам и лагерям сталинского ГУЛАГа, — таково было возмездие за глупо произнесённую вслух крамольную фразу!

Свободна… В каком-то смысле, конечно. То есть, свободна добираться сама без этапа и конвоиров, но и без каких-либо подтверждающих моё освобождение документов, с мизерным количеством выданных в тюрьме денег на дорогу к предназначенному для меня месту жизни и работы, затерянному где-то в глуши таёжных лесов в полуторастах километрах вниз по Каме. Но сейчас меня не пугала и такая перспектива, так как любая жизнь без постоянного надзора и конвойных была, или может быть, казалась, лучше тюремной или лагерной.

Моё место назначения называлось «Тимшер» — небольшой трудармейский посёлок, расположенный на северо-восток от Соликамска, где находилась пересыльная тюрьма, из которой я была лишь накануне освобождена, если считать, что это определение соответствует моим обстоятельствам.

До районного центра Бондюг, находящегося на слиянии Камы с её притоком Тимшером, от которого и получил своё название тот посёлок, мне предстояло плыть на маленьком пароходике, а от Бондюга, скорее всего, пешком через тайгу километров тридцать или даже больше.

Почему-то путь по Каме до Бондюга почти не остался в памяти, его вытеснил другой путь — от Бондюга до Тимшера, который мне пришлось-таки пройти пешком — все тридцать с лишним километров. Но какой удивительно красивой дорогой! Нетронутой тайгой, лесами с великолепными корабельными соснами, с тихими лесными речушками, с деревянными гатями, проложенными по лесным болотам, с неумолкаемым щебетанием всевозможных птиц, а иногда и отдалёнными криками каких-то зверей… И в этом лесу, здесь и там пронизанном золотом осеннего солнца, зачарованном колдовской тишиной и напоённом ароматом смолы, — я была совершенно одна! ОДНА после стольких лет постоянного вынужденного сообщества со случайными людьми, лишённая желанного одиночества. Это было сказочно-прекрасно, прекраснее всего, что можно было ожидать увидеть в магическом кристалле — ВОЛЯ!

Не помню, чтобы кто-нибудь меня догнал или попался навстречу за всё время пути. А может быть, и забылось. Запомнилось только это чарующее одиночество, тишина, запахи. И ещё — поразившее меня количество грибов. Такого я не видела никогда раньше и никогда потом. Местами, там где под высокими

соснами не было никакого подлеска, лишь одна хвоя — плотная и скользкая как паркет, — вокруг каждой такой сосны стоял хоровод из огромных коричневых шляпок — боровиков. У некоторых от старости шляпки склонились на бок, у других даже вовсе свалились. Но вокруг старых грибов тоже хороводом пробивались из под плотной хвои маленькие крепенькие крутолобые молодые грибочки. Так и расталкивали своими светло-коричневыми головками хвойные иголки, часто приподнимая их на себе.

Грибы были видны прямо с дороги, и я не могла удержаться и начала собирать их. Сначала собирала в рюкзак, которым снабдил меня по освобождении один из моих друзей по лагерям Миша Красный, вышедший из заключения немного раньше и оставшийся работать в Соликамской пересылке вольнонаёмным инженером. Когда рюкзак наполнился, я сняла свою марлевую косынку, а потом уж не могла остановиться, и превратив в мешок свою единственную запасную чистую рубашку, наполнила грибами и её. Не помню, донесла ли я хоть что-нибудь из моих трофеев до Тимшера.

К вечеру вдруг небо нахмурилось, по дрогнувшему лесу прошелестел ветер, и откуда ни возьмись, полил ливень, промочивший меня насквозь. Впрочем, вскоре снова выглянуло солнце и ещё успело до вечера немного обсушить меня. А лесные запахи после дождя стали ещё чудеснее и острее, и дождевые капли на иглах сосен сверкали, как маленькие бриллианты…

Я, вынув шпильки, отжала свои мокрые, тогда ещё длинные, волосы и пошла дальше вдоль постепенно темнеющего леса к уже, должно быть, не такому далёкому посёлку Тимшеру.

Река Тимшер — это приток Камы в верхнем течении, расположенный среди уральской тайги. Там, где Тимшер рождается — в предгорьях Уральского хребта, — вероятно, это бурная стремительная речушка. Там, где я его знала — недалеко от впадения в Каму — это была уже спокойная, медленная и довольно широкая река. Достаточно глубокая, чтобы по ней могли плавать «завозни» — большие лодки, вроде маленьких барж, груженные провизией и людьми, приводимые в движение шестами, вёслами и верёвками с якорями. А однажды я видела, как в такой «завозне» везли даже трёх коров. Вверх по течению эти завозни, собранные в караваны, затаскивались маленькими катерками — буксировщиками; вниз же — либо сплавлялись по течению, либо ждали очередного каравана.

Пароходы по Тимшеру не ходили — да и ни к чему они были бы здесь. На многие и многие километры Тимшер протекал среди бескрайней непроходимой тайги, никем не населенной.

Единственным населением были зэ-ка — заключенные лагерных лесоповальных «пунктов» и стерегшая их охрана (по-существу, вовсе ненужная, так как бежать в тайгу было бы совершенно бессмысленно). Вот по этим-то таёжным «лагпунктам» и развозили на этих завознях продукты и редких пассажиров — новые партии «зе-ка», либо охранников с их семьями. Обратно завозни шли груженные древесиной с таёжных лагпунктов, которая затем на Каме перегружалась в настоящие баржи или суда — лесовозы.

Как оказалось, мой посёлок называвшийся по имени реки, был не посёлок, а тоже «лагерный пункт», хотя именовался он не «лагпунктом», а «Кустовой больницей для Трудармейцев». Больные в этой больнице не были заключенными.

Со временем я узнала что эти «трудармейцы», в основном, были немцы Поволжья, мобилизованные не на войну, поскольку ведь «немцы», (хотя их деды и прадеды родились в России), а на «трудовой фронт» для нужд войны. Эти «немцы», сорванные со своих добротных (не в пример другим колхозам) приволжских хозяйств были отправлены на лесоповал — в Уральскую тайгу, и вряд ли можно равнять пользу от заготовленной ими в тайге древесины с той реальной пользой, которую могли бы принести стране их хорошо налаженные колхозные хозяйства. Да что уж там говорить вообще о какой-то пользе!

Трудармейцы на лесоповале медленно, но верно погибали, превращаясь в доходяг, не способных держать топор в руках. Дикие условия жизни в насквозь промерзающих зимой бараках, негодная одежда, Бог знает, каких «сроков», еще более негодные инструменты — делали невозможным выработать «рабочую» норму на лесоповале, такую же, как и у «настоящих» зэ-ка. Это приводило к голодному пайку в 200 граммов хлеба, неминуемой дистрофии и пеллагре. В Тимшерской больнице из десяти обширных больничных бараков только один был бараком для «настоящих» больных с такими болезнями как плеврит, почки, печень, травмы и т. д. — и один для больных туберкулёзом. Все остальные — были последним прибежищем для дистрофиков и никто оттуда назад в тайгу, или еще куда-нибудь, не выходил. Впрочем, и у больных туберкулёзом выход был всё тот же и только единственный.

Тут же рядом с «зоной» на высоком берегу Тимшера, расположился «посёлок» вольных. Десятка полтора-два домиков — некоторые получше, но больше ветхих хибарок, вытянулись цепочкой вдоль берега. В домиках получше жило начальство из 3-го Отдела, которое осуществляло здесь государственную (и полную!) власть, и воинская охрана с

семьями. В других — немногочисленные вольнонаёмные рабочие и служащие, в том числе, и две медсестры — девочки, выпускницы из Соликамской школы медсестер, присланные по распределению. Тут же находились и все необходимые «учреждения» — ларёк, пекарня, контора с её бухгалтерией и отделом снабжения. До ближайшей деревни — сельсовета Бондюг, Чердынского района, было 37 километров проселочной песчаной дороги, с глубокими колеями, размытыми дождями, по которым никаким грузовикам не пройти. Сообщение осуществлялось лошадьми, или на «своих двоих». Если случалось отправить письмо, надо было ждать «оказию» или самому отмерить 37 км. до почты и обратно.

От Бондюга до Чердыни и дальше, до самого Соликамска, где проходила железная дорога, — тоже шоссе не было, и проселочные дороги были не намного лучше, чем наша Тимшерская. Однако, всё же грузовики там пробирались и подвозили в Бондюг продовольствие, медикаменты и прочие грузы. А в то время, когда Кама вставала на зиму, скованная льдом, то это и были единственные «пути сообщения».

Вся разница с «зе-ка» у наших трудармейцев была в том, что они были «расконвоированы» и на работу бригады выходили без конвоя, хотя перед выходом и по возвращении в зону их так же пересчитывали, как и самых обыкновенных «зе-ка». Но всё же заключенными они не считались, ибо **никаких** статей — ни уголовных, ни политических они не имели. Так что, вообще-то, было неясно — кто они — «Вольняшки» или заключенные? Однако скорей было похоже на заключенных. Вроде них оказалась и я со своим юридически оконченным сроком. Я тоже была расконвоирована, но никакой бумажки об освобождении не получила, никакого паспорта и никакой возможности уехать не только домой, но и вообще куда-нибудь.

Шёл 1944-й год, и хотя великий перелом в войне был давно позади, но 58-ю статью из лагерей не выпускали, даже если «срок» и был закончен. Как ни странно, нас, лагерников, это даже не слишком возмущало. Конец войны уже явно приближался. А с ним — и пора великих перемен, которых все так жаждали и ждали. Для нас — это будущая всеобщая амнистия — амнистия, какой свет не видал! Так что скоро мы всё-равно разъедемся по домам, вернемся к своим родным. Скоро, скоро, вот-вот!

Как всё сложилось потом, все вы, — мои читатели, наверное помните… А если молоды и не знаете — читайте дальше…

Тевий Израилевич

На берегу Тимшера, в самой крайней и невзрачной хибарке, которая имела всего-то одну комнатушку, поселили и меня. Поселили, по-видимому потому, что в «больничной зоне» никакого — ни женского, ни мужского барака для заключенных не было, а единственный «не больной» заключенный — главный (и он же единственный) врач больницы жил в «зоне», в маленькой каморке рядом с дежуркой (она же — перевязочная) главного корпуса больницы. Хотя срок его еще не кончился, но он также был расконвоирован и мог свободно выходить за «зону», когда это было ему нужно. Это был Тевий Израилевич Л. — известный Киевский кардиолог.

Ах, дорогой мой Тевий Израилевич!.. Ему я обязана стольким в жизни, да и просто самой жизнью тоже. Ведь только благодаря его энергичной настойчивости, почти требованию, я получила диплом медсестры, который мне так пригодился в последующие годы сибирской ссылки. Тевий Израилевич буквально «заставил» меня сдать экстерном за все курсы Соликамской школы медсестер. Благодаря ему я кое-что знаю и смыслю в медицине и в работе медсестры, которой впоследствии мне пришлось заниматься многие годы. Наконец, благодаря ему — в Тимшер приехала мама с моим младшим сыном Вячеславом!

…Тевий Израилевич, где-то он сейчас? Вряд ли среди живых — ведь он был намного старше меня. Но дожил ли хоть до реабилитации?.. Я знаю, что после освобождения (по окончанию срока) его не пустили в Киев, и он поселился в Фастове («101» км. от Киева!). Но когда в 49-м меня снова арестовали и отправили в ссылку (на вечные времена!), как, вероятно и его, переписка наша оборвалась и больше я о нем ничего не знаю.

Не обижайтесь на меня ради Бога, дорогой Тевий Израилевич, если мои Тимшерские воспоминания иной раз заставляют меня улыбнуться. Будьте уверены, что это ни мало не мешает моему глубокому уважению и преклонению перед вами — прекрасным, выдающимся врачом-кардиологом, и человеком, сделавшим мне столько добра…

Как сейчас помню: Тевий Израилевич… Маленький, полноватый, брюшко уже явно намечается; с короткими руками, которыми он в увлечении слишком, усиленно жестикулирует. Смешливый, любит и сам анекдот рассказать. Но всё это как-то «невзначай». Удивительно серьезное лицо, с выражением всегда несколько отсутствующим, даже тогда, когда ведет беседу на самую что ни на есть житейскую тему. Как будто одновременно — где-то «на заднем плане» — обдумывает сложную медицинскую ситуацию, требующую его вмешательства и решения…

Страстью Тевия Израилевича было — учить. Всё равно кого,

только учить. Когда-то он читал лекции в «Киевском медицинском институте повышения квалификации врачей». Теперь он читал лекции нам — трем медсестрам, из которых только я не была полуграмотной (да и то, не в отношении медицины!). Но читал он так же вдохновенно и блестяще, как, очевидно, делал это и в Киеве. Приводя разительные примеры, ссылаясь на литературу о которой мы, разумеется в жизни не слышали, чертя углем (за неимением грифеля) на деревянной доске, а то и прямо на чём попало, схему сосудов и сердечных клапанов, заставляя нас подолгу выслушивать и пальпировать больных. Диагност он был первоклассный, а кардиолог — прославленный на весь Киев.

Когда начиналась лекция в нашей маленькой дежурке, (она же перевязочная), жизнь в больнице замирала. Вышколенная обслуга из немцев-трудармейцев быстро усвоила: во время «урока» стучаться в дежурку бесполезно и запрещено раз и навсегда. Иначе можно заработать грубый окрик, а позже — разнос: — Сколько раз вам говорить?!

Мне кажется, что в случае чего либо непредвиденного, (например, раньше времени наступающего, летального исхода), — лекция всё же была бы прервана и Тевий Израилевич отреагировал бы на зов. Но проверить не пришлось ибо лекции наши происходили по утрам, после обхода, в те дни, когда Тевий Израилевич не был занят «интересным больным»; а больные в дистрофических корпусах, как правило, умирали ночью…

Тевий Израелевич был врачом по призванию. Медицину он любил страстно, и кроме неё, насколько я поняла, когда мы подружились и стали «своими», им владела еще только одна страсть — к красавице жене, певице Киевского оперного театра. Письма от неё, которые озаряли жизнь Тевия Израилевича в Тимшере, в мрачных стенах таёжной больницы, приходили, к сожалению, не слишком часто. Поэтому вовсе не удивительно, что моё появление оживило его и заставило потянуться к «живой душе». Остальные наши сестры были еще совсем девчонками, которым только и была охота танцевать «чижа» до утра (самый популярный таёжный танец!) с молодыми вохровцами в бараке, который назывался «клубом».

Таким образом я и оказалась такой единственно «живой душой», способной терпеливо выслушивать длинные (и, в какой-то мере, интересные даже для меня) медицинские истории, и еще более интересные истории из жизни самого Тевия Израилевича, начиная с воспоминаний о детстве.

К сожалению, и к огорчению Тевия Израилевича, медицина никогда не была моим «коньком». Куда больше меня трогали его

сердечные дела, его трудные и запутанные отношения с женой, его печальные предчувствия будущей одинокой старости. По-видимому, красивая певица, (действительно очень красивая, судя по карточкам), была не из тех, кто дожидается мужей по 10–15 лет…

Мы подружились. Однако, нельзя сказать, чтобы наши отношения были всегда ровными и дружескими. Фанатически любя медицину, и веруя в её великие возможности, Тевий Израилевич, как я уже сказала — прекрасный диагност и отличный врач и не только в своей узкой специальности кардиолога, но и в других её областях, к сожалению интересовался в основном медицинской наукой, больше чем объектом, к которому наука эта в данном случае прилагалась. Он готов был сидеть у тяжело больного (скажем, с инфарктом пли крупозным воспалением легких) ночь напролёт, ловя мельчайшие изменения в состоянии больного, готовый молниеносно вырвать его из когтей смерти в минуту острого кризиса; готов был исследовать и 10 раз выслушать больного ставя всегда безошибочный диагноз. И как же был он осторожен с диагнозом в туманных и неясных случаях! Так и вижу его размышляющим и бормочущим вполголоса, по привычке думать вслух: «Что редко — то редко… Бывает… Бывает… но редко…» И один за другим, он отбрасывает возможные диагнозы. Вот это «редко» и делало его врачом крайне вдумчивым, похожим на шахматиста, который хочет выиграть наверняка… И так вот пока больной остаётся неясен, или наоборот — ясность наступила и пришла пора бороться за жизнь этого больного — Тевий Израилевич был в одном-единственным «фокусе» — весь собранный, весь — внимание, ну, как стрелок на охоте! Тут уж он забывал и о красавице — жене, и о шумящей на сотню верст кругом тайге, не видел зябко помигивающего светильника, резервуар которого составляла половина выскобленной картофелины, а горючее — мазут, добытый у водителей катеров, так как керосин доставлялся обычно «с перебоями», а «движок» электрогенератора большей частью вообще не работал, так как чинить его было некому; забывал о колючей проволоке и вышках по углам «Кустовой больницы для трудармейцев»… О бараках, битком набитых доходягами, умиравшими от голода, которых уже никакая, даже самая гениальная медицина спасти не могла…

Но ВОТ, «битва за жизнь» выиграна. Больной медленно, но верно начинает поправляться. И Тевий Израилевич тут же теряет к нему всякий интерес. Конечно, при обходе он профессионально шутит, похлопывает больного по плечу, но на самом деле далек от него, за тысячи километров… Мимоходом ворчит на сестер и

санитаров, а в душе скучает от этого тяжелого хлама будничной больничной жизни с её антисанитарными условиями и голодом. Всё это его не интересует, это не его «амплуа». Когда приносят ему на подпись «меню» — нехитрое меню из грибного супа (грибов в тайге кругом масса, и мы сушим их для больницы на всю зиму) и овсяной каши, он не глядя ставит закорючку вместо подписи и оживляется только когда подается лист «дополнительных порций» — ведь больница же всё-таки! Надо же людей поддержать! И на 600700 больных отдел снабжения выписывает лишних 20 порций хлеба по 300 граммов и 20 лишних половников жиденькой овсяной каши. Тут начинаются мучения Тевия Израилевича и мои с ним ссоры. Кому дать эти лишние 300 граммов?

Доходягам — смысла нет. Всё равно их этим не спасешь. Конечно же их надо дать работягам (из заключенных), которые случайно попадают в нашу больницу, так как до других лагерных больниц — сотни километров. Тем, кто еще способен стать на ноги и тянуть лагерную лямку. Кто на медленном пути к выздоровлению. Так думаю я. Но у Тевия Израилевича новые интересные больные — те, кто с нераспознанным диагнозом, к кому-то приковано его внимание. Им готов он отдать по два дополнительных пайка. А к тем, кто уже ушел из под прожектора его внимания — к тем он совершенно равнодушен, он уже забыл о них. А ведь этих людей вот-вот выпишут и вернут на лесоповал, ведь они еще не доходяги! Они вернутся не окрепшими, едва на ногах стоящими, а норму-то с них спросят в первый же денек. А не выполнят — на 200 граммов посадят, и тогда путь только один — в дистрофики.

— Тевий Израилевич! Ну подумайте! Ну хоть несколько дней до выписки — подкормите их, дайте окрепнуть, Тевий Израилевич! (Это я, если в дежурке никого нет, конечно).

— Что вы от меня хотите? Я же не Господь-Бог! У меня в карманах нет пяти хлебов! И даже одного нет! — повышает голос Тевий Израилевич.

— Это бесчеловечно! — кричу я.

— Я — врач! Вы понимаете, я — врач! Я должен лечить! Кормить должны снабженцы!

— Ну только — Кузьмину! Он же еще крепкий человек! Он же может выдюжить — не делайте из него доходягу, не убивайте его!

— Так что?! По вашему я уже убийца, что ли?! Да?! Мы уже кричим во весь голос, не считаясь с тем, что за хилой дверью и тонкими перегородками нас слушают санитары и больные…

Потом мы дуемся друг на друга и не разговариваем часа два. Однако после обеда, Тевий Израилевич зовет меня из своей

крохотной комнатушки, зовет официально и сухо: — Сестра! Зайдите ко мне.

Я уже знаю что это значит. Там меня ожидает мисочка овсяной каши, тщательно накрытая бумажкой. Тевий Израилевич имеет несколько больший паёк, чем его больные — как-никак, главврач. И почти всегда он «подкармливает» кого-нибудь из нас — сестёр.

Мне всё еще хочется отказаться, но… в животе уже давно неистово урчит, и сосет под ложечкой. Снимая пробу в дни своих дежурств, я не позволяю в кухне наливать себе в миску, пробую с ложки, остальное выливаю в контрольную баночку и запираю на ключ в маленький шкафик.

— Спасибо! — сердито говорю я, и повернувшись спиной к сидящему на своей койке Тевию Израилевичу, быстро расправляюсь с кашей…

Вечером начинается другой конфликт. В туберкулёзном медленно умирают давясь кашлем (ни кодеина, ни героина у нас нет, да и вряд ли они уже помогут) те несчастные, у которых осталась половина, а то и четверть легкого — они обречены. Им помочь уже ничто не может, кроме чуда, которого я за свою больничную жизнь не видела. Им осталось жить несколько дней, ну, может быть, неделю. Им на ночь назначена инъекция: кофеин плюс камфора. Зачем?.. Зачем? Но я не врач. И при всех наших дружеских отношениях, я не решаюсь спросить у Тевия Израилевича — зачем им камфора и кофеин?.. Но я — ах, каждый раз одно и тоже! — я умоляю Тевия Израилевича разрешить сделать им по кубику морфия.

— Ну, прошу Вас! Тевий Израилевич! Ну разрешите хоть только Курцу и Брюннеру! И опять начинается дискуссия, переходящая в ссору.

— Какой смысл давать им морфий? — брызжит слюной Тевий Израилевич, — сегодня кубик, завтра — два, а затем? Или вы не знаете, что организм привыкает к наркотикам, привыкает, понимаете?! Или вы слышите это в первый раз?!

Ах, нет, увы — не в первый раз! Я знаю. Но ведь они не успеют привыкнуть, не успеют! Тевий Израилевич, не успеют! Иногда, очень редко, я всё же побеждаю, и ворча Тевий Израилевич отпирает шкафчик с «сильно-действующими». Я со шприцем иду в палату Курца, и по дороге вижу, с какой мольбой смотрит на меня содрагающийся в конвульсиях Брюннер! — Сестра… Сестра… — только и может он прохрипеть среди приступов кашля, разрывающего последние остатки его легких…

Ключа от «сильно действующих» у меня нет. Но иногда я иду на хитрость — по науке это называется «психотерапия». Я

набираю в шприц дистиллированную воду и делаю укол Брюннеру. И — представьте — помогает! Ненадолго, правда. Спасибо, — шепчут запекшиеся губы и больной затихает…

Образ Тевия Израилевича для меня навсегда неразрывно связан с этой таёжной больницей — «умираловкой», как метко назвал её один из безнадёжных доходяг, где я, не смотря ни на что, — была СЧАСТЛИВА! До головокружения, до слабости в коленях, до слёз…

Это здесь, впервые за долгие-долгие годы не было за моей спиной «попки», куда бы я ни пошла. Я могла пойти к тихой речке и опустить босые ноги в прохладную воду; я могла пойти в сосновый бор где солнце играло на моём лице и руках; я могла войти в СВОЮ хижину и закрыть за собою дверь в СВОЮ комнату!.. Всё это было так дивно, и так прекрасно, до одури, что даже дух захватывало!

К сожалению — ненадолго. И к свободе человек привыкает, как к героину или морфию — так же быстро. Привыкла и я, и чувство действительно «пленительного» счастья — постепенно померкло.

Я уже сказала, как многим я была обязана Тевию Израилевичу. И конечно же, — приездом мамы с тринадцатилетним Вечиком, которого я оставила совсем малышом… Я долго колебалась, прежде чем предложить им приехать ко мне. Но Тевий Израилевич, который знал обо всех обстоятельствах моей жизни и моей семьи, а также был, как я теперь вижу, и гораздо большим оптимистом, чем я, очень горячо поддержал мою идею. Он был совершенно уверен в близком конце войны и в том, что НЕМЕДЛЕННО после победы нас ждет великая амнистия. Вот-вот, не за горами уже! Киев с его институтами, переполненные аудитории и Опорный театр на Фундуклеевской, в котором… в котором…

И незачем старушке — это моей маме — терзаться и улаживать отношения между внуком и новой, мачехой и пора уже мне после стольких лет всяких лесоповалов и лагерей зажить нормальной «семейной» жизнью, пусть и в дебрях уральской тайги. Одним словом — пусть приезжают, и нечего гадать, и нечего ждать!

— Тевий Израилевич, но как же без картошки? — неуверенно возражала я. Я приехала в разгар лета, и сажать картошку, как делали все, кто жил за зоной, было уже поздно.

— Ну, как-нибудь, — довольно беззаботно и безрассудно отвечал Тевий Израилевич. — Грибы! Сушите грибы!!

И я сушила грибы, хотя, как оказалось впоследствии, пессимизм мой оказался пророческим. Несмотря на то, что

большая часть посылок из Киева, и не меньше половины докторского обеда неизменно перекочевывали в мою уютную хижину над рекой, в ту, первую зиму, без картошки нам втроём перебиться оказалось не не легко и я едва не отправила Вечика назад к отцу в Москву. Но это я забегаю немного вперёд.

А пока от уполномоченного «третьей части» было получено разрешение на приезд семьи и, благодаря Тевию Израилевичу комнатка моя обставилась еще парой списанных лазаретных коек, которые умело починил и подштопал доходяга-трудармеец Цицер — мой добрый помощник и хранитель нашего семейства до самого нашего отъезда. Мы, в свою очередь, не дали ему «дойти» до полного истощения, подкармливая чем Бог послал. Хотя уезжали мы уже после окончания войны я ничего не знаю о его судьбе. Трудармейцев не спешили распускать по домам даже осенью 45-го, но разговоры о скором закрытии Тимшерской больницы шли уже тогда. Опять-таки, благодаря Тевию Израилевичу, тем же Цицером и еще несколькими ходячими дистрофиками с которыми Т. И, делился своей пайкой, было, запасено топливо на зиму; кроме того, им же был обеспечен мой с мамой и сыном ПЕРЕЕЗД от Соликамска до Тимшерского «лагпункта», — ибо, чтобы преодолеть эту дорогу с семидесятилетней слабенькой старушкой, необходимо было иметь «талисман» — литровую бутыль 96 градусного спирта — ценность его в те времена превышала ценность всякой валюты.

Тимшер — Соликамск и обратно

…Итак, я уже знала из писем, что пропуск, за которым Вечка выстоял в очереди в районное отделение милиции много дней — получен, «вещи» собраны, и дело только за билетами.

С дороги они дадут мне телеграмму. И вот, с каждой почтой с каждой оказией я ждала телеграммы, а телеграммы всё не было и не было. И дело уже идет к осени, и темнеет всё раньше и раньше, и к утру лужицы покрываются тонким ледком.

И вдруг — наконец-то! — телеграмма! Да еще какая — Господи помилуй! Они ждут меня в Соликамске, на вокзале! Боже мой! Где же на вокзале? Почему же не дали телеграмму раньше, с дороги??.. Что же делать?!.. Я кидаюсь к Тевию Израилевичу. Лошадей у него, конечно, нет. Лошади есть у охраны и у уполномоченного 3-ей части… Но Тевий Израилевич — единственный врач в округе, его уважают, в нем нуждаются. Он может попросить лошадей до Бондюга — за медикаментами, например. Но уже вечереет, надвигаются сумерки. Кто же даст лошадей теперь, на ночь глядя? Какие медикаменты?!

— Надо подождать до завтра.

— Какое завтра?! Что Вы говорите? — Завтра! Из Бондюга только с утра бывают оказии до Чердыни. Завтра, утром, к рассвету, я должна быть в Бондюге!

Скрепя сердце, Тевий Израилевич отправляется к уполномоченному и скоро возвращается обратно. По одному виду его я понимаю — лошадей не дал. Он безнадежно машет рукой:

— Какие лошади!

— Я иду пешком!

— Вы что? Или вы с ума сошли? — кричит Тевий Израилевич. — Девчонка! (хотя мне уже почти сорок). — Да вас медведи к чертям задерут!

— К утру я буду в Бондюге!

Несколько минут мы ссоримся и кричим друг на друга. Но всё это — только проволочка времени. Наконец это доходит до Тевия Израилевича. И тут появляются высокие сапоги — наверное, будут мне впору, и та самая пресловутая бутылка — «талисман». Я надеваю свою старую лагерную телогрейку (ничего другого у меня нет), и туго повязываюсь платком крест-накрест, с узлом за спиной. В авоську Тевий Израилевич сует мне свою пайку и остатки печенья из посылки.

…Когда я вспоминаю этот ночной марш — тёмной осенней ночью, хоть глаза выколи, 37 километров глухим таёжным проселком, — прежде всего и сильнее всего меня охватывает удивление. В самом деле, почему меня не задрал «к чертям» медведь?.. Почему не забодал лось?.. Почему не растерзали еще какие-нибудь таёжные звери? Что она, необитаема что ли, эта тайга?.. Тайга на сотни километров кругом? И почему никакого страха, даже на донышке души, не ощущалось? И в мыслях было только одно — не опоздать бы к утренней оказии! Что утром я буду в Бондюге, у меня не было никаких сомнений.

Только однажды я вздрогнула, когда из-под самых моих ног, с шумом и клёкотом, вдруг вырвалась какая-то огромная птица, и как торпеда, понеслась куда-то вдоль дороги…

К ночи дорога совершенно потонула в темноте, и только ощущалась ногами идущими по песку, да несколько раз я лбом налетала на выставившуюся чересчур к краю дороги сосну.

Я побоялась надеть сапоги Тевия Израилевича, чтобы не стереть ног — и правильно, вероятно, сделала; но под моими старенькими, еще лагерными, «баретками» вскоре треснул тонкий ледок на луже и нога ушла по щиколотку в холодную воду. Но согрелась быстро — ведь я не шла, а почти что бежала. Заблудиться было негде — дорога была одна-единственная и не раз мною уже пройденная. И на всей дороге был тоже один-

единственный отворот влево, который вел к ближнему лагпункту с поэтическим названием — «Омут» (только и бросаться несчастным зэкам вниз головой в реку!).

Боялась я одного, — что в темноте не замечу развилки и попаду на этот отворот, поэтому я старательно держалась правой стороны — так по крайней мере мне казалось.

Держалась, держалась, а всё же…

Только когда здесь и там светлячками чиркнули впереди лагерные огоньки, я поняла, что всё-таки свернула на этот проклятый левый поворот!

Беда, конечно, не так уж велика — пробежала я по нему всего-то какую-нибудь пару километров, но от досады и обиды — чуть не заревела! Повернула назад, и теперь уж «проученная», осторожно и тихонько двигаясь, благополучно нашла развилку и помчалась прямой дорогой на Бондюг.

Ничего ни страшного, ни особенного не случилось на моём пути. Даже не припомню, присаживалась ли отдохнуть — наверно, присаживалась. Так или иначе — к утру я была в Бондюге, и вовремя! Какой-то грузовик уже дымил своими колонками — тогда машины ездили на «чурочках», которые горели в газогенераторах в виде двух цилиндров, стоящих по бокам, кабины, и шофер уже возился у машины. С ним я и уехала, да еще так удачно, не до Чердыни, а до самого Соликамска, В маленьком душном зальце Соликамского вокзала, битком набитым всяческим народом, в самом дальнем углу, на каком-то мешке, прислонившись спиной к стене, сидела старушка в темной кофте с растрепавшимися седыми волосами, выбившимися из-под гребенки. Рядом стоял рослый мальчишка в футболке, широко расставив крепкие мускулистые ноги в спортивных «бутсах». Это были моя мама и мой сын!

Я долго смотрела на них чувствуя как комок поднимается к горлу и боясь двинуться чтобы не разрыдаться преждевременно. Потом бросилась к ним через весь зал, натыкаясь по дороге на чемоданы мешки и скамейки.

Дорога назад в Тимшер прошла сравнительно легко и без каких-либо происшествий. Правда, катер до Бондюга, на который я очень рассчитывала, к сожалению почему-то не ходил, и поэтому нам сначала пришлось добраться на попутной «полуторке» до районного центра Чердыни, что на пол-пути к Бондюгу, где мы заночевали в местной больничке, в которой я уже останавливалась однажды. Поутру я вышла к почте, где обычно «ловили» попутные машины и вскоре договорилась с шофёром грузовика, направлявшегося в Бондюг, (показав ему «талисман» Тевия Израилевича), чтобы он заехал в больничку за

мамой и Вечкой. Так, на попутках мы и добрались до Бондюга. Оставалась самая трудная часть пути — 37 километров вверх по Тимшеру. Машины туда не ходили. Повозки с лошадьми — далеко не каждый день. Но нам и тут повезло. В Бондюге как раз формировался караван из нескольких «завозней», гружённых продовольствием на зиму, лесоповальным инвентарём и арестантской одеждой, предназначавшихся для лагерей, расположенных выше по течению Тимшера. «Завозни» вверх по течению будет тащить небольшой катер, а обратно они будут сплавляться по течению своим ходом, гружённые древесиной и управляемые людьми с шестами и вёслами. Пассажиров такие караваны обычно не берут, но «талисман» Т. И. и тут сработал безотказно. Нас разместили на одной из «завозней» вместе с солдатами охраны, и через двенадцать или немного больше часов плавания вдоль живописных берегов Тимшера мы наконец благополучно сошли на берег прямо у начала тропинки со ступеньками, которая вела вверх по откосу и выходила почти к моему жилью, и по которой мне, (а потом и Вечке) приходилось спускаться к Тимшеру за водой.

Мы как могли удобнее разместились в моей единственной небольшой комнатушке и зажили втроём «в тесноте, — но не в обиде».

Когда приехали мама с Вечиком, осень уже во всю вступала в свои права. Вскоре выпал первый снег. А ещё через две недели завыл морозный ветер, замели метели, и скоро наш домик и весь «лагпункт» погрузились в снег по самые окна.

Наступила ранняя зима. В морозные дни, когда дымки из труб поднимались вертикально вверх и постепенно таяли в небе, извечная тишина лежала над тайгой, дремлющей под снегом, а с наступлением сумерек одно за другим приветливо зажигались маленькие окошки домиков под снеговыми шапками — казалось, мир и покой должны были сходить на души людей в этом заколдованном снежном царстве…

Но не было мира и покоя под крышами лазаретных бараков. Сотни разных людей были собраны сюда с самыми разными судьбами. У кого-то позади остались университеты, работа на высоком уровне; у большинства — тяжелый деревенский труд; почти у всех где-то в другом мире семьи, у некоторых — в таких же затерянных лагерях. Объединяло их одно: почти все попали сюда с одной и той же болезнью — острой дистрофией на почве голода, и почти для ВСЕХ впереди была одинаковая дорога — на лагерное кладбище, (не обнесенное никакой оградой), где на ровном поле разбросаны были столбики с номерами на них. Под каждым таким столбиком находили последнее пристанище 15–20

человек.

Единственное лекарство, которое могло бы помочь больным лазарета — достаточное питание — было недоступно, и люди медленно гасли.

«Вольнонаемные» — как я, тоже жили впроголодь, но мы не были так истощены, как наши пациенты в бараках. Спасала картошка, которую выращивали все на делянках у домов и на отшибе, а также сушёные грибы, которых в тайге было изобилие, и которые мы сушили впрок на зиму. Поскольку мама с Вечиком приехали ко мне по разрешению лагерного начальства, то и им полагалась иждивенческая хлебная пайка в 300 г. в день. Кроме того, я приносила домой половину своего, а частенько и Тевия Израилевича больничного обеда.

В первый год нам пришлось покупать картошку у охранников по еле доступной нам цене, но на следующий год мы насадили прямо около домика небольшую делянку картошки, которой, увы, нам кое-как хватило только до нового года. Грибы, которых, казалось, мы насушили целую кучу, тоже как то быстро съелись, так что нас опять ожидали довольно голодные остаток зимы и весна. Не рассчитали. Придется опять докупать у охранников по их сволочным ценам…

Как проходила наша жизнь в Тимшере? В общем — довольно однообразно. С утра Вечка и зимой и летом спускался с ведёрком по ступенчатой дорожке к Тимшеру за водой. Летом и осенью купался. По его возвращении мы все вместе, (если я не была на дежурстве), завтракали, и я убегала в больницу на целый день Когда могла, забегала минут на пятнадцать в обед, прихватив чего-то съестного из своей порции.

Зимой после снегопадов и метелей день начинался с откапывания от снега всего вокруг — начиная с окон и кончая тропой, вернее траншеей, ведущей от нашей хижины к проложенной охранниками на дровнях с лошадьми колее от нашего посёлка к больнице. Долгими зимними вечерами, при свете чадящей «лампады», чтобы как-то развлечь маму и Вечку, я предавалась воспоминаниям вслух, или сочиняла на ходу какие-либо забавные истории.

Мама уже и тогда передвигалась с трудом и больше сидела на кровати, а летом, и в самодельном кресле Вечкиного изготовления, вынесенном для неё на крыльцо. Она почти всегда что-то читала; те несколько книг стихов, которые я умудрилась провезти с собой через все лагеря и пересылки, она, наверное, уже выучила наизусть.

В Тимшерской больнице имелась крошечная библиотека для больных — всего 3 или 4 полки со старыми зачитанными

книгами. Но к счастью, это были, хотя и весьма разрозненные, тома классиков русской литературы: Толстой, Тургенев, Достоевский, Куприн. Откуда они здесь взялись, никто не знал. Для нас это конечно был клад! Ведь на лагпунктах типа нашего, обычно, не было не только библиотек, но даже газет и журналов, так как один или два присылаемых экземпляра застревали у начальства или охраны. Радио у нас тоже не работало, хотя и было. Ведь для него нужна электроэнергия, а для этого, — чтобы работал движок генератора, который у нас постоянно был поломан, а чинить было некому.

Благодаря больничной библиотечке, Вечка приобщался к русской литературе не по школьным учебникам, а по шедеврам её классиков. Это привило ему вкус к хорошей литературе на всю его дальнейшую жизнь.

О конце войны мы узнали лишь на третий день, так как «движок» не работал и радио молчало, а телефонная линия была в ремонте.

Сначала был немалый ажиотаж и подъем настроения по этому поводу. Все с нетерпением ждали каких-то перемен.

…Но, дни шли за днями и ничего не происходило.

Постепенно жизнь опять вошла в свою обычную колею, и к началу лета уже было ясно, что никаких амнистий для «политических» не будет, и нам следует не трепыхаться и продолжать «жить как жили». Мы и продолжали.

Летом нашу не богатую событиями жизнь скрашивали походы в тайгу за грибами и хворостом. Сначала ходили вдвоём с Вечкой, но к осени он уже настолько освоился в тайге, что выходил туда утром самостоятельно и возвращался к обеду, полный впечатлений, волоча за собой здоровенные связки хвороста.

Конечно же, мы оба очень уставали от таких походов. Сказывалась недостаточность питания с полным отсутствием мясных продуктов. А к зиме у нас кончилась картошка, и почти подошли к концу насушенные грибы. Я понимала, что втроём нам будет очень трудно продержаться до лета.

Кроме того, меня всё время угнетала мысль о Вечкином образовании. Ведь живя здесь, он теряет время учёбы. Год уже потерян. В свои редкие выходные дни, а иногда и по вечерам, я старалась в силу своих возможностей заниматься с ним школьными «предметами», руководствуясь взятыми им с собой кое-какими учебниками, но понимала, что это не может заменить ему школу. Да и питания ему явно не хватало, — ведь он рос, и довольно быстро!

И вот, взвесив всё и обсудив все «за» и «против», мы вместе решили, что при сложившихся обстоятельствах Вече лучше

вернуться назад в Москву к отцу, окончить там хотя бы седьмой класс, а там увидим, как всё сложится.

К счастью, его пропуск был выдан в Москве на поездку туда и обратно без указания даты возвращения. Хоть с этим проблемы не будет! А в дороге, одному, без бабушки, налегке ему не будет слишком трудно. Ведь ему уже скоро 15, он сильный, уверенный в себе и не по годам смышлёный. Да и опыт у него уже есть — дорога сюда.

В общем, перед самым Новым годом — 1946 м, я отправила Вечку с оказией на дровнях с лошадьми по замерзшему Тимшеру в Бондюг, одев на него, чуть не силой, свою старую лагерную телогрейку и укутав двумя не менее старыми одеялами. Оттуда он должен был самостоятельно, с оказиями, добираться до Соликамска, и дальше поездами в Москву.

Мы остались с мамой вдвоём…

Недели через три, а может быть и больше, сейчас уже не помню, пришла телеграмма из Москвы: «Я приехал. Целую. Веч». А ещё через месяц мы получили письмо, которое он написал с дороги, будучи ещё в Соликамске. Там ему пришлось провести почти три дня, ночуя на вокзале, прежде чем он достал билет на поезд до Перми. За эти дни он один раз сумел побывать в городе, и он ему даже понравился — старинная архитектура, много красивых церквей.

После Вечкиного отъезда все мои заботы сосредоточились на маме. Бедная моя старенькая мама… Сколько жизненных невзгод и страданий довелось ей перенести за свои 70 лет!

Она никогда ни на что не жаловалась, принимала всё что ни случалось как должное и неминуемое. Всегда о ком-то заботилась, и старалась всё делать как надо, как полагается. Когда то она была энергичной и если надо, строгой, как полагается учительнице. Теперь она больше молчит, пока с ней не заговоришь, или она не вспомнит что-либо имеющее непосредственное отношение к нашей нынешней жизни, или не столкнётся с чем-то непонятным. Но из вопросов, которые она изредка задает, отрываясь от своих дум, я знаю что она постоянно думает обо мне, моих детях и других близких ей людях, переживает за нас, и наверное, даже молится, хотя никогда не была особенно религиозной.

Мама прожила нелёгкую, поломанную жизнь на стыке двух эпох, пережив Первую мировую, Гражданскую и Отечественную войны, гибель любимого мужа — моего отца, мой арест и отправку этапом в лагеря, голод, холод, и другие невзгоды, которым и теперь ещё не видно конца.

А ведь как хорошо всё складывалось вначале…

О том, что я собираюсь сейчас рассказать, я знаю из рассказов мамы и её сестёр — моих тётушек, а кое-что из моих детских воспоминаний.

Моя бедная старенькая мама

…Это было в губернском городе Смоленске в самом конце 19 века, лет за десять до моего рождения.

В старом большом доме на Спасской площади жили три барышни Юхневич. Посреди площади стояла довольно старая церковь св. Спаса. По одну сторону площади протянулось длинное двухэтажное строение, с розоватой, кое-где облупившейся штукатуркой — здание Смоленской духовной семинарии. Как раз напротив, по другую сторону площади, за невысоким деревянным забором, и стоял дом, где жили барышни Юхневич. Дом был приземистый, ширококрылый, но над крышей возвышался маленький мезонин. Дом был старый, потемневший от времени…

В переменки семинаристы степенно прогуливались вокруг церкви, косясь глазами на старый дом за забором, надеясь увидеть выход «в свет» барышень Юхневич. Втайне каждый из них ждал какого-нибудь сверхзамечательного случая, который послужил бы поводом, пусть хоть к самому скромному, знакомству. Конечно, речь шла о «младших барышнях», которых «перехватить» можно было только в отсутствие старшей. Но и «младшие» тоже спешили пройти площадь торопливым деловым шагом, со своими книжными сумочками, ручки в муфточках, глазки скромно потуплены.

Но скажу уж кстати, что младшая барышня, хорошенькая Юлинька Юхневич, в конце концов, всё же вышла замуж за одного из этих молчаливых обожателей-семинаристов, за наиболее долготерпеливого и упорного Сашеньку Соколова. Правда, к тому времени, когда она с ним обвенчалась, он уже не был семинаристом, а закончил юридический факультет университета. Ведь далеко не все семинаристы выбирали духовную карьеру. Принуждения в этом вопросе не было, а курс семинарии давал полное среднее образование и возможность держать экзамен в любое высшее учебное заведение.

Барышни Юхневич учились в Смоленской женской Мариинской гимназии, и только старшая — Марочка, её уже закончила.

После смерти родителей, ушедших почти сразу, один за другим, такой большой дом для трех девочек стал вовсе не нужен. Их два брата учились в кадетском корпусе и приезжали домой

только на каникулы. Но бросать старый дом они не хотели. Старшая барышня, которую давно уже почтительно величали Марией Феликсовной, стала теперь главой семьи. Это была моя будущая мама.

В Смоленске семья осела, когда дедушка мой — полковник русской армии дворянин Феликс Юхневич, (отличившийся когда-то при взятии Плевны), был уволен в запас. Бабушка и дедушка были похоронены в Смоленске задолго до моего рождения, хотя могила дедушки на католическом кладбище при костеле (он был польского происхождения) сохранилась до сих пор с её незатейливым гранитным памятником — под «крест из березы» и с каменным надгробием, где выбито имя дедушки и даты его рождения и смерти. Незадолго до моей эмиграции в Америку я видела эту могилку в последний раз…

Семья Юхневичей была не из богатых. Никакими поместьями, землями и прочей «недвижимостью» не владела. Жили на сравнительно небольшое военное жалование. Но концы с концами всегда сводили. Мальчики учились в корпусе на казённый счет. Девочки — в Смоленской женской гимназии, а языкам — французскому и немецкому, и музыке — бабушка обучила их сама, благо и тем, и другим владела с детства, так как была родом из Швейцарии.

После смерти отца достатки семьи значительно сократились — пенсия была очень небольшой. И старшая барышня, которая к тому времени уже закончила гимназию, а к счастью еще и восьмой класс, дававший диплом «домашней учительницы» и право преподавания в младших классах гимназии, — сразу же устроилась на работу в ту же Мариинскую гимназию, которую только что кончила с отличием. Это было, конечно, большим подспорьем для семьи, однако кухарку Анфису пришлось отпустить, а денщика забрали сразу после смерти отца.

Денщика, — дядю Андрияныча — в семье считали своим и девочки помнили его «с самого своего рождения». Теперь уже почти взрослые «барышни» горько плакали, расставаясь со своим «Дядькой»… Андрияныч и сам прослезился.

Оставалась одна молоденькая горничная Дуняша, которая ни за что от своих барышень уходить не хотела, хотя старшая (а теперь глава семейства — Марочка), считала, что они вполне могут обойтись со своим маленьким хозяйством и самостоятельно.

— Никуда я от вас, барышни, не пойду, вот и всё! — решительно заявила Дуняша. — Хоть вы мне и совсем не платите!

Как жила, так и жить буду. И обед вам не хуже Анфиски сготовлю! — Так вот и осталась, несмотря на мизерное

жалование, которое они могли ей предложить. Вот с неё-то, с Дуняши, и начинаются удивительные истории из жизни моего отца и всего нашего семейства.

«— Такая милая и веселая была эта деревенская девушка», рассказывала мама. «С толстей русой косой, с широким улыбчивым лицом, с серыми приветливыми глазами, — приятное русское лицо, ничем особенно не отличавшееся. Нос слегка курносый, с „пуговкой“ на конце, весь в рыженьких веснушках. Она пришла из деревни на заработки и сразу попала к нам. Городской жизни она совсем еще не знала. И вдруг оказалось, что наша Дуняша… — ясновидящая! Такого слова она, конечно, не знала, да вряд ли и слышала когда-нибудь, но вот что она нам рассказала:

— Не смейтесь, барышни… Только находит на меня чтой-то… Не так что б частенько, но бывает… И тогда я ровно как во сне вижу… А потом, что увижу, то и сбудется опосля… Верно, верно…»

Барышни Юхневич были в восторге, смеялись и приставали к Дуняше:

— Ну душенька, голубушка! Погадай нам! Ну, пожалуйста! Даже старшая присоединялась: — Ну, а мне, Дуняша?

Но Дуняша обижалась: — Никакая ни гадалка я… А вот найдет, тогда и сама скажу…

И вот, однажды, когда младшие барышни улеглись спать, а старшая еще собиралась почитать в постели, в дверь тихонько постучалась Дуняша: — Можно к вам, барышня?

— Входи, входи, Дуняша. Ты не заболела ли? — встревожилась моя будущая мама.

— Нет, — отвечала Дуняша, — нет… Только вот «нашло» на меня… Хотите, про вас скажу, вот всё как сейчас, ровно вижу…

Мама, стараясь не улыбаться, серьезно говорит: — Ну что ж, Дуняша, конечно, скажи. Да ты присядь.

Дуняша садится на краешек стула возле постели и говорит самым обычным своим деревенским говорком:

— Так вот, барышня, не долго-то вам в девках вековать… Небось, в весенний мясоед и свадьбу, даст Бог, сыграете.

— Да с кем же, Дуняша? — интересуется мама.

— Так, с человеком одним… Кто он, не знаю, только познакомитесь вы с ним по делу… А звать его будут Николай… Вдовые оне…

— Вдовец? — удивляется мама.

— А что, что и вдовый? — Дуняша вроде даже обижается за своего «протеже». — А человек хороший, это точно, — убежденно говорит она. — Образованный, из ваших (подразумевая, — из

господ, очевидно)… — И жить будете ладно… Свои дети пойдут. Тут вот, чегой-то не пойму: — то ли два, то ли трое? — Дуняша в раздумье покачивает головой. — Ну, я пойду, барышня, — вдруг, как со сна встрепенулась Дуняша, — спокойной вам ночи! — и исчезла за дверью. Мама даже спасибо сказать не успела. Была она озадачена — как-то слишком всё необыкновенно. Дуняша в роли «провидицы»!

…В Смоленске в те времена жила семья Троицких — большая и дружная семья с отцом Николаем Дмитриевичем. Матери, к сожалению, давно уже не было в живых. Но дети, теперь уже ставшие взрослыми, продолжали жить одной семьей, все вместе. Барышни Юхневич дружили с барышнями Троицкими, и часто бывали у них. Теперь шуткам и смеху конца не было.

— Ну, держитесь! — обещала старшая Юхневич, которую тут все еще звали «Марочкой». — Скоро вашей мачехой буду, уж я вам покажу! Спуску вам от меня не будет!

— Ох, Марочка, уморила! — хохотали девочки Троицкие. — Да где ж тебе с нами справиться?! С такой-то оравой!

— Николай Дмитриевич! — Смеялась Мара, — хоть бы вы за меня заступились! Ведь я же нареченная ваша, как-никак! Вы же — Николай! Да еще вдовец — «вдовый», как говорит Дуняша! Вы что же помалкиваете?!

Николай Дмитриевич смущенно улыбался. Не сходилось только одно: с Николаем Дмитриевичем не нужно было знакомиться. Семьи были дружны давным-давно, еще до смерти родителей барышень Юхневич.

— Ну, уж не придирайтесь! Не каждое слово в строку! — шумели младшие Юхневичи. — Быть вам нашим отчимом! Шутили-шутили, а время шло, и скоро приблизились святки — Рождество и Новый год. И, как обычно, смоленская интеллигенция задумала организовать вечер-концерт в пользу сирот-пансионерок епархиального училища. Начались хлопоты. Составлялась программа концерта. Марочку знали как хорошую пианистку. И тут кого-то осенило: — Знаете что? Нужно послать Мару Юхневич к новому присяжному поверенному — Фёдорову! Он, говорят, прекрасно играет на виолончели. — А доктор Малоховский — на скрипке, — добавил кто-то. Вот бы трио составить? А?..

Так Мара Юхневич была делегирована пригласить Николая Николаевича Фёдорова, недавно приехавшего в Смоленск, принять участие в новогоднем благотворительном концерте. Николай Николаевич согласился. Предсказания Дуняши явно начинали сбываться — «знакомство по делу» состоялось, да еще с Николаем! Ну и Дуняша!

Успех концерта был потрясающим. Виолончелист Фёдоров действительно оказался прекрасным музыкантом, а вскоре после концерта он зачастил к барышням Юхневич. И все три барышни были без ума от Николая Николаевича — присяжного поверенного Смоленского губсуда. Да и как было не влюбиться?! С мягкой кудреватой бородкой, черной, как смоль, с такими же черными блестящими и волнистыми волосами; смуглое лицо (или это летний загар так накрепко прильнул к нему?); с тонким прямым носом, с угольками немного прищуренных и всегда смеющихся глаз! Немножко грузен — по сравнению с мальчишками-семинаристами, но всё еще в полной спортивной форме, играет в теннис, и в горелки бегает так, что никто не догонит! Хотя, как оказалось, ему минуло 40. Подумать только — сорок лет! А сколько стихов знает, остроумных анекдотов, историй, и на каждый случай — цитата откуда-нибудь, или пародия, а то и собственного сочинения. И, кажется, всё на свете знает — о чём ни спроси! А музыкант какой! Виолончель под его смычком просто поет. А уж если еще Марочка на пианино аккомпанирует — ну, тогда слёзы сами просятся на глаза!..

Юлечка забросила всех своих поклонников-семинаристов и с раскрытым ртом ловила каждое слово Николая Николаевича. А он ухаживал с нескрываемым удовольствием за всеми тремя, привозил охапки цветов и коробки шоколадных конфет. Хотя Марочка одна и понимала к чему клонятся эти, уже чуть не ежедневные посещения, и весь этот цветочно — шоколадный «потоп». Она-то понимала, что решается её судьба, наперед предсказанная Дуняшей.

Марочка трепетала и ужасалась… Ведь у Николая Николаевича было двое детей — мальчик девяти и девочка одиннадцати лет. Жена умерла не так давно. Но… от судьбы не уйдешь.

Когда двое младших сестёр узнали, что Николай Николаевич сделал «предложение» и что Марочка выходит за него замуж — восторгам и радости не было конца! Их было даже гораздо больше, чем у самой Марочки — уже взрослой и понимающей, что значит стать матерью для двух достаточно больших детей, сравнительно недавно потерявшим свою родную мать… Сможет ли? Сумеет ли?

Тем более, что ДОЛГ, как понимала его моя будущая мама, обязывал её отдавать все силы своей души людям, которым ты себя посвятила, которым ты обещала… А судьба её сложилась так, что вся жизнь ее была посвящена воспитанию детей — сначала своих сестрёнок, потом — детей своего мужа, потом — своих собственных, а конец жизни пришелся уже на внуков. И

долг свой она видела в том, чтобы воспитать их «достойно».

Но вернемся к тому времени, когда жизнь Марочки Юхневич была вся еще впереди, и только начали сбываться пред — сказания Дуняши. Как она и предсказала, сразу после пасхи, когда начался «мясоед», сыграли скромную свадьбу.

И какая это была чудесная весна! Когда моя мама рассказывала о ней, много лет спустя, она молодела и хорошела, и глаза её светились радостью и счастьем. Сняли дачу — Большой дом, террасой, даже не обнесённый никаким забором, прямо в каком-то перелеске: — беги, куда хочешь, гуляй, собирай первые весенние цветы. Кругом рощицы, лужайки, чуть подальше настоящий бор.

В доме — полно молодежи. Самому младшему — девять; Самой старшей — двадцать шесть. Но когда приезжал Николай Николаевич, — казалось, что сама весна со сквозным ветром, щебетаньем птиц и цоканьем белок — врывалась в дом. Смех, шутки, разные игры, беготня в горелки и просто прогулки в лес — всё становилось вдвое веселей и замечательней. Юлечку невозможно было усадить за учебники, а экзамены вот-вот надвигаются! Ах, уж эти экзамены! Когда кругом так весело и хорошо, и погода такая чудесная!

«Родословная» моего отца оказалась не менее фантастической, чем предсказания Дуняши.

Когда мама узнала о том, что её будущий муж — и уже формальный жених — из цыган — с ней едва не случился удар. Мама и много лет спустя была уверена: только ответственность за младших сестер — Юлечку и Ниночку — помешала её сердцу остановиться навсегда.

— Вы шутите, Николай Николаевич, — едва могла пролепетать она.

— Да нет, дорогая моя Марочка!.. Уверяю вас, — настоящий цыган, чистокровный! — весело сообщал Николай Николаевич, ничуть не стесняясь своего необычного происхождения, видя в нем лишь обаятельную романтику, — помните, у Пушкина:

«Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют»…

Он не только не скрывал, а даже весьма гордился своей столь экзотической родословной.

Мама долго не могла поверить, что это не розыгрыш. В конце концов, все оказалось не так страшно, как… удивительно!

Подумать только! Отец моего отца-то есть самый прямой мой дедушка был таборным цыганом, — как раз из тех самых, что «в шатрах изодранных ночуют»!

Если в молодости он, — мой дед, может, и был конокрадом

(впрочем, история об этом умалчивает), то к зрелым годам стал знатоком лошадей, завсегдатаем московского ипподрома, своим там человеком, которого знали и с мнением которого считались. В зрелые годы, еще задолго до старости, дедушка уже имел где-то под Москвой небольшой конный завод. Всего с десяток лошадей, но отборных, — призёров дерби.

Ко времени появления на свет моего отца семья уже жила в Москве, в собственном, если и не слишком шикарном, то достаточно богатом большом доме на самой Тверской-Ямской, неподалеку от ресторана «Яр» (впоследствие, гостиница «Советская», а что там теперь, уже и не знаю).

Николенька Фёдоров сразу по рождении оказался центром семейной вселенной, кумиром, боготворимым родителями и многочисленными сестрами. Семья так долго ждала наследника, а год за годом упорно рождались девчонки. И, наконец, — наследник! К тому же, оказался он и последним ребёнком; вскоре после его рождения умерла мать. Но остались шестеро сестер, которые души в нем не чаяли, и любящий отец, к концу жизни охладевший даже к ипподрому, ибо появился новый идол, завладевший всей его душой. Сын обязательно должен стать образованным человеком, непременно «барином»!

Когда мальчик достаточно подрос, ему наняли учителя, который подготовил его в первый класс гимназии. Особого труда это не составило, так как мальчик был смышленым и память имел отличную. Выдержал экзамены блестяще и был принят в гимназию, хотя для «нацменьшинств» и существовала какая-то «процентная норма».

Что касается девочек, — то им никакого образования и не требовалось. Кое-как подписать свою фамилию — умели, и хватит, а того, что им действительно требовалось — черных кос чуть не до пола, искрометных, лукавых и весёлых глаз, молодости, грации, а главное — чудесных голосов, всем шестерым отпущено Господом Богом было в избытке! Голосов им никто не «ставил», но звучали они, как песни птиц. Чудные голоса с легким придыханием гортанных звуков в цыганском стиле. Романсам, цыганским песням и пляскам выучила мать — цыганка из табора. В последствии все шестеро пели в Соколовском хоре «У Яра» и были его лучшим украшением, как рассказывал Фёдоров-младший. (Подумать только, мои родные тетки — певицы в «Яре»… Фантастика!)

После окончания гимназии впервые произошла размолвка сына с отцом. Дело в том, что Коленька с детства был очень музыкален и постоянно забавлялся со своей детской скрипочкой, подаренной отцом. Когда же он подрос, скрипочку заменила

виолончель, и так как у «коннозаводчика» денег было достаточно, один из солидных преподавателей консерватории (фамилию его, к сожалению, забыла), приезжал к ним домой давать частные уроки Коле Фёдорову.

Педагог этот, позже профессор Московской консерватории, спустя много лет, перед смертью, завещал свою виолончель любимому ученику — Николаю Николаевичу Фёдорову. Отец мой никогда, до самой своей смерти, с этой виолончелью не расставался. После гибели отца в 1916-м году и до революции не рассталась и мама, хотя виолончель даже в те времена оценивали не менее, чем в десять тысяч рублей. (тех, золотых!)

Погибла виолончель, как и все другие вещи, после захвата власти большевиками. Перед самой революцией мама с нами, детьми — мной и братом уехала из Херсона, где мы жили после возвращения из папиной ссылки (я расскажу о ней немного позже) в Смоленск к сестрам, оставив (на время!) всё наше имущество в небольшой квартире, в которой мы жили после смерти отца. В Херсон мы больше уже не вернулись и вещей своих не увидели никогда.

…Но вернемся к тем временам, когда до всего этого было еще очень далеко.

Папин учитель музыки в Москве говорил: — Ты должен поступить в консерваторию. Ты выдержишь любой конкурс! Я ручаюсь.

Коля Фёдоров думал и мечтал о том же. Но иначе думал Фёдоров-старший, из таборных цыган превратившийся в богатого горожанина: — Музыкант!? Ну, какой бы он и ни был хороший, даже известный музыкант — разве ж это — «барин»?! На скрипке каждый цыганенок играет! Вон и наши девки в ресторане поют и пляшут, и хлопают им господа, аж столы переворачивают. Деньгами, золотом засыпают, а толку что? Как были девками-цыганками, так и остались! Нет! Сын мой должен кончить университет, а не какую-то музыкальную школу, как её там ни называй! Он должен стать адвокатом, на худой конец врачом. Всё же доктор — не музыкантишка какой-нибудь!

…К медицине у моего отца не было никакого влечения и он выбрал «адвоката». Порвать с отцом он не решился, да и жаль было старика.

Дочери выходили замуж и разлетались по свету. Конный завод был уже давно ликвидирован, и один остался свет у старика — сын. Такая вот история — фантастическая, но подлинная. Подлинность её удостоверялась и паспортом моего отца, где в строке «сословие» стояло — «Почётный гражданин», а в строке «национальность» — «цыган»

…Юридические науки не показались юному студенту слишком скучными. Однако же и музыку он не забросил. До самого отъезда из Москвы продолжал брать уроки у своего любимого учителя, а будучи уже служащим суда, большую часть своего свободного времени посвящал музыке, хотя не чужд был и другим увлечениям: читал по-гречески Гомера; интересовался астрономией и, после назначения присяжным поверенным в Смоленск, завел огромный телескоп, для которого в саду пришлось выстроить специальную «обсерваторию».

Он также участвовал в лодочных гонках, а когда появились первые мотоциклетки, немедленно приобрел таковую и гонял на ней, пока не разбил вдрызг, налетев на столб (чудом сам жив остался!). Было это уже не в Смоленске, а в Витебске, куда вскоре после женитьбы на моей матери перевели его по службе.

От рассказов мамы о Витебске у меня мало что осталось: большой дом, телескоп (тоже в большом саду), и большая собака — дог по имени «Лорд», которого запрягали в тележку и он важно возил моего старшего братишку — Николая Николаевича Фёдорова — третьего!

Старшие дети (от первой папиной жены) учились, в общем хорошо, но как-то неохотно. Мама много читала им вслух, занималась с ними французским и давала первые уроки музыки. В дом приглашались их друзья, устраивались детские вечера.

Немало бывало в доме и взрослых гостей: часто после вечернего чая и до позднего ужина в гостиной музицировали — собирались трио или квартеты; тогда же была приобретена маленькая фисгармония, и мама с увлечением «осваивала» её.

Папа любил повозиться с детьми, пошалить и пошуметь, но особого участия в их воспитании не принимал, справедливо считая, что Марочка со всем справится, и гораздо лучше него! Мама и справлялась…

Своих увлечений у отца было более, чем достаточно: кроме музыки, астрономии, греческого, мотоциклетки и шахмат, в течение двух, а то и больше лет, отец бредил фотографией, всаживал кучу денег в дорогие фотоаппараты, свободные дни проводил в охоте за натурой, а вечера в тёмной комнате — фотолаборатории.

Пожалуй, к чему он был более всего равнодушен — это к политике. Ни в какой политической партии он не состоял; газеты просматривал, а не прочитывал; самодержавие, само-собой, ругал и обвинял в глупости и тупости, шагая в ногу с настроениями интеллигенции той поры. В те времена не было слова «инакомыслящий». Но если бы оно было, — то всю интеллигенцию того времени, особенно же начала 1905-го года,

надо было бы причислить к «инакомыслящим».

В январе этого года в Витебске, при «вспышке волнений» на каком то заводе, было убито двое рабочих. Их похороны вылились в настоящую демонстрацию. Многие из городской интеллигенции примкнули к траурной процессии. Мой отец, в том числе. Возмездие последовало незамедлительно. Отец оказался в ссылке, в городе Вологде.

Ссылка эта была мало похожа на ту, в которую без малого через пятьдесят лет отправилась я, в низовья сибирской реки Енисей. Во-первых, отец не ехал никакими этапами. Ни в каких тюрьмах не сидел. Он ехал с семьей, со всеми своими детьми, с женой, и даже с прислугой, к которой домашние все привыкли и расставаться не хотели. А сама Пелагеюшка тоже охотно согласилась сопровождать господ на новое место жительства. В товарных вагонах везли мебель, разные вещи и музыкальные инструменты. Даже телескоп «ехал в ссылку», как шутили в семье. А во-вторых, отца не лишали званий и даже его должности: он переводился из Витебского губсуда в Вологодский губсуд. Но делал это не по собственному желанию, и согласия его никто не спрашивал.

Друзья из Витебска, провожая его в столь далёкий путь — ведь Вологда эта была «Вона где», где-то на крайнем Севере, и давно была известна, как место политических ссыльных, (хоть и была губернским городом!), подарили отцу на память золотой сувенир в виде книжечки, где на трёх золотых страничках стояли их имена и фамилии. А на обложке из белой эмали красовался символ справедливой Фемиды. (Как сейчас вижу эту книжечку, — я так любила играть ею, сидя у отца на коленях!). Впоследствии этот золотой сувенир сыграл важную роль в жизни моей мамы, но об этом после.

…Итак, они оказались в Вологде, опять в большой (как рассказывала мама) квартире, где все благополучно разместились, и где, в сентябре 1906-го года так же благополучно появилась на свет и я.

Срока ссылки отцу указано не было. Но уже в следующем году была объявлена амнистия, и он мог уехать из Вологды на все четыре стороны и поселиться где угодно, кроме «сорока больших городов». (Как возмущалась мама!).

Отцу хотелось на юг. И мы всей семьей двинулись в солнечный и жаркий город Херсон, — тоже губернский. Там отец опять стал работать в губсуде и там прошло моё детство до самой революции.

…В Вологде я больше не жила и видела её только раз в жизни, в 1964-м году, когда плыла на Грузовом судне из Измаила

на Дунае — в Архангельск. Мой старший сын, Станислав — (Стив), был капитаном на этом судне, а я была гостьей.

Наш путь проходил по Двине мимо Вологды. Мы пришвартовались к причалу, и пока судно заправлялось водой и продовольствием, мы с сыном успели обежать несколько улиц города. К сожалению, он и тогда был мало похож на город, тем более — на областной. Но это была моя родина…

В Херсоне наша семья прожила почти до самой революции, и там прошли мои самые лучшие детские годы. Но там же, в Херсоне, кончилась благополучная, налаженная, замужняя жизнь моей мамы. Мы потеряли самого дорогого нам человека, благодаря которому наша жизнь была обеспеченной и по настоящему счастливой…

Шёл 1916 год. Май месяц перевалил за середину. Для Херсона и Одессы это вовсе не весна — это уже начало жаркого южного степного лета. Трава в степи начала выгорать, ковыль потерял свой блеск, а воды в нашем маленьком Ингульце уже осталось чуть-чуть. Речку можно было перейти вброд, не замочив колен.

Но в этом году погода вела себя как-то странно: вдруг задувал северный холодный ветер, облака неслись низко над землей, становилось неуютно и скучно. В саду раскачивались ветви акаций, давно уже отцветших; чтобы выйти в сад, надо было надевать пальто, — ну а что за игры и беготня В пальто? Дома тоже было неуютно, и мы с братом Никой слонялись по комнатам, как неприкаянные. Мама была занята на кухне. Папа уже несколько дней был в отъезде по делам — в Одессе, и мы ожидали его приезда со дня на день. Ничего не хотелось делать.

В этот день, как мы узнали потом, на Черном море ходили большие волны с белыми гривами. Погода была штормовая — 9 баллов. Не 12, конечно, но и 9 — всё же хороший шторм.

Было 19 мая. Из Одессы в Херсон должны были выйти два небольших пассажирских парохода: «Потёмкин» и «Меркурий». На «Меркурии» было 75 человек пассажиров; вероятно, и на «Потёмкине» было столько же, или немного больше.

Как говорили и писали впоследствии в газетах, — порт не должен был выпускать эти пароходы в 9 баллов. Но порт выпустил. Одного за другим, — и с берега люди смотрели, как они уходят в открытое море — один за другим. Впереди шел «Потёмкин».

Это был 1916 год — третий год Первой мировой войны. И Черное море, — на всякий случай, — учитывая возможность немецкого нападения, было заминировано. Мины были установлены в известных местах, обозначенных на специальных

картах, и капитаны нашего флота уверенно вели свои суда, далеко обходя опасные места… Но случилось непредвиденное.

То ли из-за сильного шторма, то ли еще по какой-либо другой причине, — одна из мин сорвалась со своего якоря и теперь свободно плыла по воде, и волны «как мячом, играли ею» — так, по крайней мере, описывали это событие херсонские и одесские газеты, «Потёмкин» во-время заметил мину, и удачно сманеврировав, обошёл её. Почему он не подал сигнала «Меркурию», — осталось неясным. А, может, и подал, да было уже поздно.

«Меркурий» налетел на мину, взорвался и пошел ко дну. На все потребовалось лишь две минуты. «Потёмкин», естественно, должен был сразу остановиться и подобрать хотя бы тех, кто оказался в воде и ещё держался на поверхности! Но в шторм спускать шлюпки было рискованно. Как рассказывали очевидцы, на пароходе поднялась паника. Пассажиры потребовали, чтобы капитан вел пароход дальше, поскорей от этого ужасного места, как будто там в волнах плавали еще десятки мин, хотя их нигде не было видно!. И капитан «Потёмкина» подчинился толпе, а может и сам впал в панику, и повел пароход дальше.

Так, по крайней мере, писали в газетах, и так позже рассказывала мама. Из 75 пассажиров «Меркурия» удалось спастись только шестерым… И то, только потому, что взрыв произошёл в видимости берега и ветер в это время был с моря.

Среди спасшихся оказалась одна папина сослуживица, также возвращавшаяся из Одессы в Херсон. Она видела папу на пароходе и позже рассказала маме о его последних минутах.

Вот что она рассказала: «Я только что поднялась из салона, где было немного душно, на верхнюю палубу. Хотя сильно качало и было холодно, и ветрено, но всё же кое-кто из пассажиров на палубе был. Смельчаки, подойдя вплотную к фальш-борту, любовались огромными волнами с белыми гребнями наверху, навстречу которым бесстрашно бросался наш маленький „Меркурий“, зарывая нос и нижнюю палубу в фонтаны брызг и пены, вызывая полуиспуганный полуазартный визг женщин. Одесса еще смутно виднелась, вознесенная на высоком берегу, и кто-то еще рассматривал в бинокль силуэты города. Все крепко держались за свои шляпы, дабы шквал не сорвал их и не сбросил в морскую пучину.

Неожиданно я увидела Николая Николаевича, стоявшего у левого фальш-борта. Я подошла, и он, узнав меня, обратился ко мне с улыбкой: — И вы, Клавдия Григорьевна, оказывается, тоже среди отважных мореплавателей!..

Мы успели перекинуться только ещё несколькими

незначительными фразами о погоде, когда раздался страшный грохот, и палуба, накренившись, поползла из-под ног…

Очевидно мне стало дурно, так как я не могу вспомнить, что сразу было дальше… Очнулась — уже в ледяной воде, крепко вцепившись в спасательный круг, Бог знает как в моих руках оказавшийся… Ничего не помню. Как, откуда этот круг?.. И что вообще случилось?.. А волны прямо с головой накрывают! Ужас, ужас!

…Сейчас я думаю что это Николай Николаевич успел снять эти круги с фальшборта, у которого он стоял, и один из них дал мне. Думаю, — это ему я обязана своим спасением…

Сообразила одно — продеть голову и руки в круг — это и спасло меня… Вокруг в волнах я иногда видела ещё трёх-четырёх плывущих людей и какие-то обломки с потонувшего парохода. Неожиданно я увидела Николая Николаевича, плывущего в волнах совсем близко… Увидела чётко, ясно. Он плыл в этот момент в ложбине между волнами. И у него тоже был крут, — такой же, как у меня, красный спасательный круг!.. Я успела крикнуть ему: — Николай Николаевич! — И он в ответ махнул мне рукой… Но тут же огромная волна накрыла его… И больше я его не видела…»

Взрыв «Меркурия» видели даже из Одессы. Но спасательный катер долго не мог выйти из порта из-за большой волны. А когда он пришёл, то спасать было уже почти некого.

Кроме Клавдии Георгиевны и еще одной женщины со спасательным кругом, спаслись еще четыре торговки с ящиками капусты. Они ехали на палубе и лежали на своих ящиках. Ящики с кочанами были забраны деревянной решеткой и привязаны к ней. За решётку и уцепились женщины. Капуста, как известно, плавает. Когда женщины потеряли сознание, руки их застряли в решётках, а сами они лежали на ящиках — так их и подобрали…

В момент взрыва большинство пассажиров были в каютах: с палубы прогнал холод и сильная качка. Среди них было — 25 детей!.. Ученики херсонских гимназий, — их возили на экскурсию в Одессу. Все дети оставались в каютах. Двери на палубу водой заперло мгновенно. Никто не успел ни сообразить, ни выскочить…

Сначала мы, конечно, ничего об этом не знали. Мама не знала точно, когда отец должен вернуться. Погода опять потеплела, солнце засияло вовсю. Да еще такая радость — приехал на каникулы, как обычно, наш сводный брат Миша — теперь уже студент Петербургского университета! Мы обожали его и каждый приезд его — был праздником. Весельчак, выдумщик! Неутомимый рассказчик. Непобедимый игрок в

теннис и воланы!.. А змеи мастерил, — и вовсе потрясающие, и запускал их в само синее небо, и даже ещё выше, так что змей почти исчезал из виду.

Ах, Миша, Миша!.. Со времени революции он исчез навсегда. Политикой, вроде, как и отец, не увлекался. Но, очевидно, гражданская война, и другие события того времени увлекли его в свой жуткий водоворот. Был бы жив, неужели не отыскал бы нас?!

Но тогда, в 16-ом, он приехал, как обычно — веселый, живой, энергичный. Приехал и узнал, что папа в командировке, в Одессе. Он уже видел газеты и знал о гибели «Меркурия». Как бы мимоходом, он спросил у мамы — когда отец должен вернуться? И когда мама ответила — Да вот-вот, каждый день жду! — сердце у Миши впервые ёкнуло, — а вдруг?..

Все остальное происходило помимо нас. Выяснилось, что папа ехал именно на «Меркурии». Море стало выбрасывать тела погибших пассажиров — у Очакова и у берегов самой Одессы. Родные ездили искать своих погибших, опознавали больше по одежде, потому что лица были уже неузнаваемо раздуты, волос не было. Чтобы тела не разлагались, их не вынимали из воды, и привязывали к колышкам за ноги; так они и колыхались в воде, как жуткие бесформенные поплавки…

Мама с Мишей тоже поехали «опознавать» тело. Мы с братом Никой оставались дома с прислугой — тетей Пашей, которая жила у нас много лет. Вернулись они ни с чем. Были и в Очакове, и в Одессе, но не нашли. Среди поднятых с судна несчастных задохшихся в каютах — тоже не оказалось… Миша ходил хмурый, много курил. А мама в первый раз обняла нас обоих как-то разом, вместе и сказала каким-то жалким, совсем не маминым голосом: — Ах вы, бедные мои…

И вот, прошло уже больше двух недель после 19-го мая, как вдруг папино тело нашлось. Известие пришло из Херсонского губернского суда. Его опознали по золотой книжечке — сувениру, подаренной ему сослуживцами Витебского губсуда, когда они провожали отца в ссылку в далекую Вологду, в 1905-м году.

Для мамы это было большим моральным облегчением: хоть похоронить можно будет по-христиански…

Теперь мама с Мишей уехали хоронить отца. Но особенно «христианских» похорон не получилось. Тело отца выкинуло не под Очаковым, а напротив, — через пролив — у берега длинной и узкой Кинбурнской косы, которая тянется в море от самой Голой Пристани. Это узкая песчаная коса, скорей отмель, только чуть возвышающаяся над водой. Кроме камыша, ничего не росло на этой косе. И никакой дороги на ней тогда, по крайней мере, не было. Но на самом конце косы совсем узком и остром, было

строение — на вид нечто вроде большого сарая. Но, тогда, — это была казарма. Время было военное, и взвод солдат — человек 20, как показалось маме, стоял там, неизвестно для чего. Недалеко от казармы, привязанные к колышкам плавало несколько тел — погибших пассажиров «Меркурия».

Солдаты — молодые парнишки — отнеслись с сочувствием. Вызвались съездить с Мишей на моторке в Очаков за гробом. Но никакого гроба они не привезли — не оказалось гробов в Очакове, — все раскуплены. Привезли доски и принялись сколачивать гроб сами. Кроме того, оказалось, что никакой перевозке — без особого на то разрешения — тело не подлежит. Похоронить можно только тут же, на Кинбурнской Косе.

— …Боже мой? Как же так? Ни кладбища… ни церкви… ни священника??..

— Война, сударыня, война! Ничё не попишешь! Шут бы её побрал! — сочувствовали солдаты.

В конце концов, привезли какого-то старичка — попика с Голой Пристани. Могилу чуть ни у самой казармы вырыли, но и тут она сразу же стала наполняться водой — солёной черноморской водой…

Из остатков досок соорудили немудрёный крест, и на этом погребение было закончено. — Вот и собственный погост заимели, — горько шутили солдаты.

Мама надеялась через некоторое время вернуться с настоящим цинковым гробом и увезти в Херсон папино тело. Но, увы! До окончания войны ни о каком разрешении, ни о каких перевозках не могло быть и речи: — Вот кончится война, тогда и подавайте прошение…

А война, как известно, кончилась революцией… Уж какие тут разрешения!..

…В шестидесятых годах я побывала в Очакове и съездила на Кинбурнскую косу. В её начале я увидела какие-то постройки, какие-то дома. Но дальше — песок да камыш — очевидно так, как это было и тогда, — пятьдесят лет назад… И так до самого конца косы, до «стрелки», уходящей в воду.

Конечно, не только могилы отца, но и даже самых малейших следов казармы, когда-то тут стоявшей, я не нашла… Не осталось ничего… Песок да камыш…

К новым берегам

Но вернёмся к рассказу об ином времени, о последних месяцах нашей с мамой жизни в Тимшерской таёжной глухомани и переезде в Боровск — рабочий посёлок близ Соликамска.

К весне 47-го года стало ясно, что никакой амнистии не предвидится, и более того, слухи о грядущем закрытии Тимшерской больницы начали приобретать реальную основу. В мае начали отпускать трудармейцев. А в июне Тевий Израилевич, пригласив меня разделить с ним очередную трапезу у него в «дежурке», и печально улыбнувшись, спросил: — Что вы собираетесь делать дальше? Я молчала вопросительно глядя на него. — Я получил уведомление, пояснил мне он, о предстоящей в ближайшие месяцы передаче всех способных двигаться больных в ближайшие узловые больницы системы ГУЛАГа. Вы понимаете, что это означает для вас?

— А как же неходячие спросила я?..

— Они всё равно долго не протянут, ответил он печально. Вы же сами знаете. Отправка будет тянуться месяца два-три. Вряд-ли кто-либо из этих бедолаг будет жив к этому времени. Меня после этого, скорее всего, тоже отправят в какую-нибудь из этих больниц, ведь мой срок ещё не окончен, хотя пути НКВД — неисповедимы. Но вам, дорогая моя, самая пора подумать, куда податься с вашими документами. (К этому времени, наконец, пришла моя справка об освобождении, с указаниями где мне разрешается проживать).

— Попробуйте устроиться где-нибудь по близости, но в «цивилизованном» месте — в городе или в пригороде, — будет легче с переездом, и меньше шансов, что вами снова заинтересуются «органы». Я дам вам блестящую рекомендацию, — вы её несомненно заслужили. К сожалению, не в моих силах помочь вам чем-то более реальным.

— Спасибо на добром слове Тевий Израилевич, но я, право, не знаю ещё, что я решу делать, когда закроют больницу.

— Вам не следует ждать до закрытия больницы, — настаивал Т. И. — Надо начинать поиски работы уже сейчас. У меня в бумагах есть адрес больницы Бумажного комбината в посёлке Боровск, — это сосем близко от Соликамска, и я знаю что больница хорошая. Напишите туда, и приложите мою рекомендацию. Упомяните о работе в Мошевской больнице, о ней все вокруг знают.

После этого разговора я поняла, что мне действительно пора позаботиться о нашем существовании в ближайшем будущем.

Хотя мне очень хотелось рискнуть и вернуться куда-нибудь поближе к Москве и культуре, я понимала что это нереально хотя бы из-за отсутствия денег на переезд с мамой, а также за неимением приличной одежды для поисков работы. (Ведь известно же, что по одёжке встречают).

И я написала в Боровск, как посоветовал Тевий Израилевич.

В начале сентября пришло письмо из Боровского Бумкомбината с приглашением меня на работу медсестрой в их больницу и даже с обещанием выделить квартиру в ведомственных домах.

У нас с мамой появилось будущее!

Но с этой же оказией пришло и другое письмо, — от Вечика, в котором он писал, что больше не может оставаться в одной квартире с новой папиной семьёй, собирается бросить школу и завербоваться на какую-нибудь «комсомольскую» стройку.

Я поняла, что Вечку надо спасать! Я сразу же дала ему телеграмму:

> «Немедленно приезжай сюда тчк Денег на дорогу займи у тёти Тони Я позже верну тчк Мама».

Теперь, в свете первого письма всё стало не так уж бесперспективно для моего младшего сына. (Старший с зимы 44-го до весны 49-го служил в армии где-то на Дальнем востоке). В конце концов пусть Веча закончит школу не в Москве, а в Боровске — какое это имеет значение?

В общем, к концу сентября Вечка снова появился в Тимшере. Времени на раздумья у нас не оставалось, так как уже по ночам начинались заморозки, и если мы не отправимся в Бондюг с последними в этом году «завознями», то это намного осложнит и задержит наш переезд, не говоря о финансовой стороне дела, — ведь больше никаких денег в больнице я получать не буду.

Итак, в один день «оформив» моё увольнение из Тимшерской больницы (благо никто мне в этом препятствий не чинил) и тепло распрощавшись с Тевием Израилевичем, мы всей семьёй отбыли в Бондюг на последней «завозне» с древесиной, задержавшей из за нас весь караван почти на полчаса.

Не буду описывать нашу дорогу до Боровска, т. к. ничего неожиданного с нами по дороге не произошло. Упомяну только что мы взяли с собой только то, что могли одновременно нести в руках, но благодаря присутствию Вечика и нашим четырём, а не только двум моим) рукам, оказалось, что мы смогли взять с собой почти всё, что имело для нас какое-то значение.

Глава II
Боровск близ Соликамска

Живи, умей всё пережить:
Печаль и радость и тревогу.
Что делать? И о чём тужить?
День пережит — и слава богу!

Ф. И. Тютчев

Боровск того времени, о котором идет моё повествование, был довольно большим рабочим посёлком, возникшим в 30-е годы на месте старинных поселений и деревеньки Боровой на берегу Камы. Посёлок строился вместе с громадным Уральским Бумажным комбинатом — «ударной» стройкой того же времени. И располагался он в самом ближайшем соседстве со стариннейшим уральским городом — Соликамском, — когда-то центром всей солеваренной промышленности России.

Что сказать о Соликамске моего времени? Город был не очень большим, но попасть из одного его края в другой пешком занимало пропасть времени, а дойти до посёлка и того более. Многие улицы города шли по склонам довольно крутых холмов. Автобусов было мало и ходили они нерегулярно.

Ближе к центру город был более благоустроен, — асфальт, тротуары, несколькоэтажные дома, — и даже как-то по старинному «живописен». Старинная архитектура города, остатки которой сохранились до наших дней, — пленяет красотой, своеобразием и мастерством строителей. В основном, — это храмы, церкви, соборы, монастыри: с высокими звонницами, с затейливыми «навесными» крыльцами, со старинными орнаментами и росписью. К тому времени в Соликамске осталось одиннадцать храмов: — большая часть из них полуразрушена, ждёт давно обещанной реставрации. Одиннадцать церквей, — и ни одной действующей!

В наше время, конечно, никаких солеварен в Соликамске нет. Соляную промышленность давно заменила химическая, и население города, в основном, работает на калийных рудниках и перерабатывающих предприятиях.

Вероятно, теперь Боровск уже давно слился с Соликамском, став одним из его промышленных районов. Но мои воспоминания

о нем относятся к тому времени, когда он был «рабочим посёлком» и принадлежал Уральскому Бумкомбинату. В году, когда я туда попала, — в 1947-м, кроме двухэтажных деревянных домов, правда добротных, северных, — других зданий там было мало. Но школа — девятилетка была хорошая, — большое каменное добротное здание современной школы. И сама школа, как оказалось — тоже была хорошая. Больница с несколькими большими корпусами выглядела тоже весьма прилично. Был там и неплохой клуб, где дважды в неделю шло новое кино.

Население Боровска работало, в основном, на Бумкомбинате, но также ещё на небольшой судоверфи, и древообделочном заводе. Бумкомбинат быстро развивался и требовал всё новых и новых рабочих рук. И недостатка в них не было, так как в Соликамске, и особенно, в Боровске оседало бывшее лагерное население: — «58-я» статья, отсидевшая, наконец, свои сроки. А вернее — то, что осталось от статьи «58-й», т. е., — те, которым удалось «выжилить и выжить», как сказал один поэт.

Оседали там те, кому ехать было некуда — интеллигенция, которую в родные места — Москву, Ленинград, Киев и другие большие города не пускали (всем известный «101-ый» — километр!). Оседали работяги мужики — немцы Поволжья, бывшие «трудармейцы», которых с начала 47-го начали, наконец, отпускать из зон. Куда им было ехать? Целые деревни в Поволжье были брошены на произвол судьбы. Деревенские избы стояли с наглухо заколоченными окнами, или просто полуразрушенными. Родные были неизвестно где, если вообще где-то были… Денег на дальние переезды не было.

Другая причина оседания — это просто страх. Страх, к которому за истекшее десятилетие привыкли, притерпелись, как привыкают к постоянной боли при хронической болезни. Страх — как бы опять чего не случилось… Тут в глубинке будет безопаснее… Тут не на виду. Авось тут не тронут…

Ах, надежды, надежды!.. Человек не может без надежды!

Устраивались, кто как мог. Мне пока что везло. Медсестра с большим практическим стажем! Работавшая в «Мошево», — хорошо известной кустовой лагерной больнице, где работают лучшие врачи, хирурги, бывшие профессора мединститутов. Куда приезжает лечиться и ложиться на операции само лубянское начальство!..

Заполучить медсестру из такой больницы рад был каждый глав-врач. Когда я появилась в больнице, врачи отделений чуть не поссорились из-за меня. И комнатку (даже почти две!) и в не слишком населенной квартире мне Бумкомбинат сразу выделил. И школу Вечка сможет здесь окончить. Ведь все говорят — школа

здесь отличная!

К концу 47-го бывшая «58-я статья» заполонила почти весь, уже тогда довольно большой посёлок! Люди взялись за работу, засучив рукава, изо всех своих последних силёнок.

Работы, требующей квалификации, в Боровске было мало. И в начале бывшим зэ-ка приходилось браться за любую работу.

Основным работодателем был Бумкомбинат. Но работа там была — ох, не из легких. За время жизни в посёлке мне не раз приходилось бывать в цехах комбината по разным медицинским делам, не считая ознакомительной экскурсии в начале, и я видела все ступени превращения стволов деревьев в бумагу.

Начиналось это с могучих древесных стволов, сплошь заполнявших большую заводь Камы. Механические крючья впивались в них мертвой хваткой и втаскивали на ленту конвейера, откуда они начинали своё путешествие по цехам, чтобы превратиться в конце концов в бумагу или спирт-сырец — отвратительный, вонючий и крепкий напиток, который в этих краях заменял и коньяк, и вина, и шампанское, и был неизменным украшением любого праздничного стола.

Работа в цехах была тяжелой, — на износ. В одном из цехов, где размельченное в щепы дерево обрабатывалось какими-то горячими химикатами в огромных, в два этажа, цистернах, невозможно было дышать — так тяжел и удушлив был ядовитый воздух, так что пришлось надеть маску, выданную перед входом в цех. У рабочих в цеху тоже были маски, но у большинства они болтались на шее.

— «Как вы рискуете дышать без маски?» — спросила я пожилую женщину.

— «А вы попробуйте, повкалывать восемь часов в маске, тогда поймёте» — усмехнувшись, ответила она.

Для коренного населения жизнь в поселке и работа в цехах комбината хоть и была трудной и изнурительной, но всё же привычной и будничной. Для бывших заключенных это было и началом, и концом надежд. С одной стороны, после освобождения, после выхода из замкнутого мирка, обнесенного колючей проволокой, сама возможность идти, куда хочешь, не чувствуя за спиной штыка охранника, была на первых порах настоящим счастьем. Но позднее эйфория проходила и приходило сознание, что это — конец пути, что отсюда нет возврата в родные места, в города, с которыми была связана вся их жизнь до того, как по чьему-то произволу их из этой жизни вырвали и бросили в суровые и неприветливые северные края.

С продуктами, конечно, было не легко. По карточкам почти ничего не выдавали. Хлебная карточка, — «рабочая» у нас троих

была всего одна моя на 500 грамм. Иждивенцы получали только по 300. На рынке буханка черного хлеба стоила — 10 рублей… И всё же, как-то жить было можно.

Можно было устроиться на двух, а то и на трёх работах. Я работала старшей сестрой отделения, но подрабатывала ночными дежурствами… В отгульные дни — ходила по патронажу… Было немного голодно, но кое-как концы сводили.

Около «городского» посёлка Бумконбината был еще и барачный, — наскоро построенный и заселённый всё теми же бывшими «трудармейцами» вместе с приехавшими к ним их сыскавшимися жёнами. Появились и дети. Я и патронировала эти бараки. Но об этом лучше не вспоминать… Ребятишки умирали от дистрофии, от «живота», наевшись всякой дряни, зелени и кореньев. Взрослые не слишком разбирались в грибах, собирали всё подряд — и поганки, и сморчки, которые готовить, как надо, не умели. В результате — отравления… Забивали кишки себе и детям уворованным конским овсом. «Заворот кишок» был одной из самых частых операций в нашем хирургическом…

Все, кто мог, сажали картошку. Нам не повезло в первый год: получили участок на песчаном косогоре. И сколько мы с Вечкой не тяпали вокруг хилых росточков — всё равно песок засыпал их, и собрали мы меньше, чем посадили…

Многие стали заводить коз, как во времена военного коммунизма. Решили завести и мы.

Подходящую козу мы нашли лишь где-то в дальней деревне, километрах в 20, и потом тащили её домой на веревке, перевозили в лодке через разлившуюся безбрежную Каму, и наконец, водворили в сараюшке на заднем дворе нашего дома. С тех пор Вечка каждое утро выпивал по кружке парного козьего молока — а это было так необходимо — ведь он рос и рос, прямо на на глазах! При почти полном отсутствии мясной пищи это молоко явилось для него источником недостающих калорий и витаминов.

В общем, как-то мы жили. Более того, жили неплохо по сравнению со многими другими, и даже позволяли себе кое-какие доступные нам радости! Ходили в клуб — в кино. На Рождество делали ёлку, даже свечки где-то доставали! И в гости друг к другу ходили. А летом я на целый месяц смогла отправить Вечку в какой-то спортивный лагерь… И как бы набравшись сил, последней зимой он очень хорошо учился — не медаль ли светит по окончании?!

Вот так мы и жили, пока осенью 48-го не поползли слухи о том, что «58-ю» снова будут забирать и отправлять этапами в Сибирь не то в лагеря не то на вечное поселение. Но пока это

были только слухи, и жизнь продолжалась своим чередом.

Китти и Рудик

Однажды в Нашу дверь кто-то постучался. Мама была одна, но тогда она ещё, хотя и плохо, но всё же ходила. У порога стояла девушка — так показалось маме. Высокая, тоненькая. С бледным растерянным лицом… В руках она держала ребёнка, укутанного в большой серый платок.

— Будьте так добры, выслушайте меня, — начала она скороговоркой, боясь, что мама перебьет её, или захлопнет дверь.

— Ich bitte Sie!.. то-есть… — Я прошу вас! Я расскажу вам всё по порядку!..

— Да, входите же, ведь холодно, — сказала удивленная мама, всё ещё не понимая в чём дело.

— О, спасибо, спасибо. danke — бормотала девушка, несмело входя в комнату. — Sein Sie so gut.

Как выяснилось позже, Китти Шульц свободно говорила по-русски. Просто от волнения с её языка срывались немецкие слова. Дело же оказалось вот в чем: Китти Шульц освободилась не так давно. Рудик родился уже здесь, в Боровске. И освобождения отца его Китти ждала со дня на день. А его всё не было и не было… А пособие на ребёнка такое маленькое… Она, — Китти — могла бы работать… Что-нибудь, самую черную работу на Бумкомбинате… Но Рудика оставить не с кем. В ясли не берут — мест, говорят, нет; да еще она, — Китти, и без работы к тому же. — Ach meine teuer Frau!..

— Ведь вы — мама медсестры, которая часто дежурит в детском отделении? Мне посоветовали. Может быть, вы бы могли?.. Пожалуйста! Ich bitte Sie!.. Совсем не на долго… Я бы приносила его утром… И бутылочки на весь день. Ведь молока у меня нет, я получаю смеси в молочной кухне… А Рудик, он такой спокойный, он совсем не плачет — вы увидите!

Мама была потрясена. А Китти продолжала:

— Как только начну работать, я непременно заплачу. Немного, наверно, но всё-таки… Пожалуйста, хоть ненадолго!

— Да что вы, какая там плата… — бормотала мама. — ну кладите же его сюда, на кровать…

— Так вы согласны?! O mein Gott! O mein Gott!.. Danke shon! Рудика развернули. Боже, какое длинненькое и худенькое тельце!.. Прямо прозрачное, с синими просвечивающими жилочками… А глазки смотрят такие серьезные как будто что-то понимает…

— Как его зовут? Рудик, вы сказали? — Да, meine frau, Рудик,

Рудольф, радость моя, маленький мой! — целовала она маленькие пятки и ручонки, и Рудик не сопротивлялся, даже не морщился, от этих бурных проявлений чувств, но никогда и не улыбался.

Вот таким образом в нашу семью вошло ещё одно существо — малюсенький тихий ребёночек — сынишка Китти Шульц. Я беспокоилась — ведь Вечка целый день в школе, я — на работе, соседей, и тех дома нет. А мама — семидесятитрёхлетняя старушка, сама едва ходит…

Но оказалось, что Рудик и действительно никаких забот не требовал. Он никогда не плакал, почти беспрерывно спал, и покорно высасывал положенное количество своих бутылочек. Мама скоро привязалась к малышу. Она уверяла, что это чудесный ребёнок, и конечно, он уже начал прибавлять в весе, добавляла мама уверенно.

Китти сияла и на перебой целовала то мою маму, то Рудика, который даже начал морщиться и попискивать под бурными Киттиными ласками. Казалось, Рудик и правда поправлялся!

И все мне казалось так хорошо и радостно. После лагеря — свобода! Какая-никакая, — а все-таки свобода. Иди куда хочешь — нет за тобой попки с ружьём (даже странно как-то!) Ешь, что хочешь. Хоть картошку пустую, да свою. Сама, начистила, сама сварила, сама и съела! И комната своя, не барак, а комната! И у меня есть мама, своя, родная. А у Китти ребёночек — Рудик, тоже свой родной. А скоро к нему и папа приедет — вся семья будет вместе! Так всё хорошо складывалось!

Но почему-то беды обрушиваются вдруг, — то на одного, то на другого… Без причины, просто так.

Ни с того, ни с сего, заболела Китти. Рак… да ещё рак гортани! В ту пору — неоперабельный, да и состояние её после голода, лагерей…

Сгорела Китти в каких-нибудь два — три месяца. Когда её положили В больницу, Рудика взяли в детское отделение, где я дежурила по ночам, Китти умоляла положить ребёнка с ней. Клялась, что он никогда не плачет, никого беспокоить не будет. Но, конечно, это было невозможно. Одного — единственного, чего удалось добиться — это разрешения приносить к ней Рудика на несколько минут.

Надо было видеть эти свидания! Китти, вся просветлённая, дрожащими от волнения руками раскутывала одеяльце, внимательно осматривала всё тельце малыша, — не подопрел ли где? Потом принималась целовать тощие ножки, приговаривая: — Радость ты моя, ненаглядная! Mein einzig gluck…

Рудик точно знал, что без Китти ему нечего делать на свете.

Он также покорно высасывал свои бутылочки, но почему-то вовсе не прибавлял в весе. Наоборот, — терял его. К концу следующего месяца он был уже настоящим дистрофиком, — кожа да кости. Начался дистрофический понос. Ни витамины, ни соки — не помогали.

Не знаю, сознавала ли Китти своё положение. Изредка она спрашивала: — Когда же мне сделают операцию?.. Ведь мне уже трудно дышать, меня душит…

Её уверяли, что надо ещё подождать, что опухоль для операции еще «не созрела». Верила ли она тому, что ей говорили? Кажется, верила… До самой смерти…

Рудик умер на два дня раньше. Тихонько заснул в своей кроватке, так и не издав ни единой жалобы. Бедной Китти сказали, что сегодня Рудика не принесут, потому что будет обход главного врача… Китти ничего не сказала. Сознание ее уже почти покинуло. Она слабо улыбалась глядя в пространство и лепетала чуть слышно: — Mein gluck!.. Mein Voglein…

До последней минуты мы были с ней, — я и её старая лагерная подруга Гизэль Осиповна.

Гизэль Осиповна

С Гизэль Осиповной я встречалась еще в лагерях. Но тогда мы с ней вместе пробыли очень недолго, — всего две-три недели перед самой войной. А потом нас разбросало по разным этапам и я, до встречи В Боровске, ничего о ней не знала. «Историю» её тоже знала очень мало, — в общих чертах. Была она из немецких коммунистов; нелегально перешла границу Советского Союза ещё в 20-х годах. Сидела, конечно, за «шпионаж».

Теперь, после смерти Китти, у постели которой мы встретились вновь, Гизэль Осиповна стала ежевечерней нашей гостьей, почти членом семьи, и я узнала её историю более подробно.

Гизэль Осиповна родилась в предместье Берлина. Семья была большая и бедная. Отец — сапожник — бился изо всех сил, чтобы поставить детей на ноги, дать им какое-то образование. Гизэль повезло, — она была младшей. Старшие подросли и могли помогать семье. Гизэль поступила в гимназию (или лицей? — не помню). Способности были блестящие и семья гордилась ею.

Но Гизэль вдруг увлеклась политикой. Отец особого восторга, не выказал: — «Ах, Гизэль, — говорил он, — не женское это дело — политика. Ты скоро школу кончишь, дальше учиться пойдешь, мы все тебя поддержим. Из тебя первоклассный врач выйдет! Далась тебе эта политика?!».

Всё напрасно. И уговоры, и запреты. Вихрем завертела подпольная жизнь. Сходки, встречи, кружки, листовки, брошюры, и даже нелегальная переброска оружия… Старшие братья потянулись за младшей сестрой. Вскоре их имена стали появляться в печати. Жить дома для Гизэли стало опасно. И немецкие коммунисты помогли ей нелегально перейти границу в Советский, Союз. Для неё — безопасность. Для Немецкой компартии — какая пропаганда! Живой свидетель, нет, — живой борец за коммунизм. Вот он, смотрите! Мы идем «одним путём», мы с вами. «Пролетарии всех стран — соединяйтесь»!

…Когда Гизэль увидела первого советского пограничника в остроконечном шлеме с пятиконечной звездой на нем, она кинулась к нему, несмотря на окрик — «Стой!»… Она целовала морду лошади, — СОВЕТСКОЙ лошади! И готова, была целовать сапоги СОВЕТСКОГО пограничника…

— О, то было давно… — говорила Гизэль Осиповна. Так давно, что не верится, и было ли?.. Не приснилось ли?..

Потом — годы партийной работы в Москве! Не в подполье, в пропагандистском аппарате ВКП(б). Освоен русский язык. Но работа начинает тяготить. Хотя есть всё: Жизнь в столице. Скромная двухкомнатная квартирка в новом доме. И муж — такой любящий, такой преданный. Тоже, конечно, партиец, тоже из немцев. Уже и сынишка подрастает, осенью в школу пойдет. Способный, смекалистый, весёлый…

Но вот пришёл год 37-ой. Забирают мужа. Арестовывают её — Гизэль!.. — Что за чушь? Что за дичь?.. Все оказываются «предателями»… Муж — «шпион»!.. — Господи, голова кругом идет! Бывают странные сны, но не такие же?.. — А Владик? — что же будет с Владиком? У мужа родных нет, у неё — в Берлине — легко сказать!

На допросе сказали:

— Ничего, Гизэль Осиповна! Всё будет в порядке. Правительство позаботится. Вырастит ваш сын в детдоме, как и тысячи других. Образование получит. Ещё и настоящим коммунистом станет, не таким «фальшивым», как вы, — его подлые родители!..

— Да мы не… — Что? Молчать! В камеру, в подвал её!..

И это было… Это не сон…

И вправду, позаботилось. Отца расстреляли. Мать на десять лет в лагеря упекли. Вовремя спохватились!

История Гизэли Осиповны не была уникальной. Подобных историй за десять своих лагерных лет довелось мне выслушать множество… От коммунистов Германии, Румынии, Венгрии, Польши. Историй, похожих до невероятности. Менялись только

годы и страны.

В лагерях её иллюзии и идеалы, как и у других таких иностранцев — энтузиастов, быстро и без остатка развеялись.

Ребёнок её, как было обещано, вырос в «здоровой атмосфере», — в идейно выдержанной, партийной атмосфере, с соответствующими понятиями о чести, преданности родине, родной партии и лично товарищу Сталину.

Гизэли Осиповне повезло — не попала, она ни на Колыму, ни в Ухтпечлаг, а попала В «благополучный» Белбалтлаг. И на общих работах почти не была. Бухгалтеры, а тем более хорошие, в спросе везде, в каждой конторе, на каждом заводе, но и на каждом лагпункте.

И Гизэль Осиповна «кантовалась» относительно «удачно» в бухгалтерии лагеря, получая свою «увеличенную» четырехсотграммовую пайку. Из неё, половину можно было продать. Гизэли хватало. Можно было еще и подработать у жён лагерного начальства — уборкой, стиркой, шитьем. Ведь вечера после работы до отбоя были свободны. И она старалась подработать, прикопить лишнюю копейку на посылочку для Владика. Хоть плитку соевого шоколада, хоть мешочек сушек с маком — что в ларьке найдётся, да ещё то, чем жена начальника угостит за старательную уборку…

От мальчика приходили письма, — всегда краткие, вежливые. Благодарил за посылочки, но всегда добавлял, что кормят здесь хорошо, что он сыт и всем доволен, и в школе учится хорошо…

Эти письма оставляли у неё впечатление, что написаны по шаблону или под диктовку…

Отсидев свои десять лет, Гизэль Осиповна освободилась в 1947-ом и осела в Боровске, как многие бывшие зэ-ка, как и я. Ехать было некуда. Работа нашлась быстро, — бухгалтеры и на Бумкомбинате были очень нужны. И комнатёнку, хоть и маленькую, дали.

— Живу вот, ничего.

— Ну, а Владик где?

— Ах, Женечка, — вздыхает Гизэль Осиповна. — Вы не понимаете… Вы совсем другое дело. Ваш Вечка, в Москве имеет отца — инвалида отечественной войны… Его и брата вырастила бабушка; о матери в анкетах можно и не упоминать вовсе. Поэтому вам и взять их можно было — и маму и сына… А я?.. Как я могу его сдёрнуть с пути уже намеченного для него, принятого им… Ведь мне и из дирекции детдома написали — учится Владик хорошо, может и на медаль… Нет, нет, что вы? Какое я имею право?..

…Теперь Гизэль Осиповна нетерпеливо ждала весны — 49-го

года Владик кончит школу и, как она всей душой ждала, перед поступлением в ВУЗ приедет, наконец-то к ней на непродолжительное свидание.

— Боже мой, взрослый сын! Какой он?.. По карточке очень похож на отца — такого, каким помнился он ей в её далёких грёзах о молодости…

И какой же это будет для неё праздник! Вы, Женечка, с мамой и Вечиком — будете нашими самыми дорогими гостями, и мы будем пить настоящее шампанское за Владика! Да, да, — шампанское!!.. (пока же, каждая копейка, сэкономленная на всех нуждах её жизни, откладывалась для этого небывало, «неземного» события!).

Таковы были мечты… Но не такова — судьба.

Где-то «наверху» было принято какое-то решение, и бывших зэ-ка начали снова арестовывать и отправлять сначала в Соликамскую тюрьму, а оттуда без суда и следствия, этапами куда-то дальше… Производились эти акции по решению всё того же «Особого совещания»; на основании чего — никому неизвестно.

Брать в Боровске начали с конца 48-го. «Пик» пришелся на начало 49-го. Брали прямо поулично — сегодня с одной, завтра со следующей. Брали подряд всех, потому что среди «осевших» у всех статьи были «выше», чем «58–10». Обходились, в основном, без «воронков». Подъезжали просто в легковых машинах, или в открытых «пикапчиках». Три-четыре человека. Двоё или троё в штатском и один в милицейской форме… Иногда приезжали — утром, иногда — вечером или ночью, но так — чтобы застать дома.

Вскоре поползли слухи, хотя верить им поначалу боялись: не лагерь, — ссылка. На вольное бессрочное поселение — в Сибирь или Караганду — но хотя бы не в лагерь всё же!

Мы с Вечкой спешили напилить дров из привезенных с судоверфи горбылей. Еще стояли морозы, и до тепла было далеко. Нужно было успеть пока меня не взяли…

Строили планы: — Как только кончишь школу и получишь известие, где я, — а может и письмо от меня, — тут же продай всё что можно: — козу, одеяла, подушки, посуду… Если папа сможет, тоже поможет с деньгами. — Привезешь бабушку ко мне. Обязательно, Веченька, непременно! А потом уедешь к папе в Москву. Может, ещё и в университет попадешь… Вот медали, верно, из за меня не дадут…

К счастью, я ошибалась, медаль всё-таки дали.! И бабушку ко мне в Сибирь привез… В общем, для нас всё сложилось относительно благополучно.

Совсем по другому сложилась судьба несчастной Гизэль Осиповны. Она сама решила её по-другому. Не подчинилась «ИХ» произволу.

Когда мы заговорили о грядущем аресте, она сказала:

— Ещё раз репрессированная мать?.. Ссыльная… Зачем ему **такая** мать?.. Что же он в анкетах писать-то будет?..

— Ах, как завидую я Китти и Рудику!..

И когда она сказала это, я поняла что решение было уже принято.

…Тело Гизэли Осиповны обнаружили сразу. Была еще ранняя весна, и Кама еще не вскрылась. Но у берегов уже образовались широкие заводи. Тут она и лежала, на песчаной отмели и светлая весенняя вода тихо скользила над ней, словно покачивала ласково. И солнечные блики пробегали по песку и по её лицу, которое казалось еще живым… Тело не унесло, потому что Гизэль Осиповна все карманы своего черного пальто — единственной «нелагерной» одёжки, которую она разрешила себе завести, — были набиты камнями, даже в валенки насовала, сколько влезло… Ведь всё она делала добротно и с толком. Так вот и лежала, в черной шапочке, связанной для неё моей мамой…

Сколько тоски и холодного отчаяния было, наверно, у неё на сердце, когда она шла ночью к реке сквозь метель, с карманами, нагруженными камнями, и сколько силы духа нужно было иметь, чтобы шагнуть в черную, ледяную воду полыньи!..

Меня тогда еще не взяли, я еще оставалась на воле и видела её своими глазами. — Ах, Гизэль Осиповна, Гизэль Осиповна! Что же вы вы наделали!.. А может, и права была?..

Новый арест

Вторично арестовали меня в конце марта 1949-го года. Вот как это было.

Вечка сидел за домашним заданием; я собиралась почитать маме на ночь. Мы услышали шум подъезжавшей машины; выглянув в окно, я увидела «воронок», подъехавший к нашему дому. Сердце у меня упало. «Может быть, не к нам?» — с последней надеждой подумала я, но через минуту в двери постучали, и в квартиру вошло несколько человек — двое в милицейской форме, остальные в штатском. Один из них предъявил мне ордер на арест. Мама сидела в своем кресле, с которого она почти уже не вставала, вся съежившись, с глазами, полными слёз. Начался обыск. Производился он не слишком усердно; видно было, что чекисты не рассчитывают найти что-то крамольное, а просто выполняют формальность. Они не были

грубы; для нас — это было крушение семьи, для них — рутинная работа. Мне кажется, они вполне понимали, что я не преступница, а просто человек, попавший в колеса беспощадной машины, и делали порученное им дело без злобы, но и без сочувствия, как нечто обычное и неизбежное.

Мне позволили сложить немного вещей в чемоданчик, и вот, бросив последний отчаянный, прощальный взгляд на маму и Вечку, я не глядя нырнула в открытую дверь машины, которая понесла меня в уже знакомую Соликамскую пересылку.

Моя вольная жизнь снова пришла к концу.

Мама и Вечка прожили в Боровске без меня ещё 4 долгих месяца, и это время очень подробно и красочно описывает Вечка в длинном письме из Москвы, полученном месяца через полтора после приезда мамы, продемонстрировав при этом, неожиданно проявившиеся у него, литературные способности.

Привожу это письмо целиком почти без исправлений:

> «Дорогая мамочка, сразу после того, как тебя увезли, мы были в ужасном шоке. Ведь всё думалось авось пронесёт, не могут же весь Боровск забрать! Не пронесло.
>
> Мы остались в сразу опустевшей комнате вдвоем с бабушкой, которая беззвучно плакала. Когда первый приступ горя прошёл, мы стали думать о будущем. До выпускных экзаменов и окончания школы мне оставалось несколько месяцев, но жить эти несколько месяцев нам было не на что; мы и с твоей зарплатой едва сводили концы с концами, и денег у нас осталось на полмесяца не более. Выход оставался один — бросать школу и идти работать, но уж очень было обидно это делать перед самым окончанием. Мы долго ломали головы, но так ничего и не придумали.
>
> В школе ко мне отнеслись с сочувствием — и товарищи, и учителя. Хотя вслух это сочувствие никто не выражал, — ты же понимаешь, это было небезопасно, — но я его видел во взглядах, в отношении ко мне, в том, что учителя, вызывая меня к доске, ставили мне завышенные отметки.
>
> Но деньги, оставшиеся у нас, быстро подходили к концу, и надо было на что-то решаться. В конце концов, я пошёл на Бумажный комбинат, и попросил дать мне работу в какую-нибудь позднюю смену, так, чтобы я мог продолжать ходить в школу.
>
> Мне дали работу в мастерской по выделке кирпичей. Кирпичи эти были какие-то особые, и в печи их

обрабатывали горячим паром. Мои обязанности состояли в том, чтобы после конца обжига перевезти кирпичи из печи в сушилку и разместить их на деревянных стеллажах.

Начинал я в семь вечера, и заканчивал часам к двенадцати. Воздух в мастерской был тяжелый, удушливый, пропитанный испарениями от влажных кирпичей. В первые дни у меня не сходили кровавые мозоли от рукояток тачки; потом я начал забинтовывать руки, и дело пошло лучше. В начале смены я накладывал кирпичи в тачку до верху; потом силы мои таяли, я мог брать всё меньше и меньше кирпичей за один раз, и разгрузка шла всё медленней.

Под конец смены я почти валился с ног от усталости; по приходе домой, у меня иногда не было даже сил раздеться, и я бросался на постель, и тут же засыпал мертвым сном.

Я начал пропускать занятия, хуже готовил домашние задания, и только благодаря сочувствию учителей, оценки у меня всё еще оставались хорошими. До этого, ты помнишь, я учился почти на одни пятерки.

Однажды меня вызвала в кабинет Ольга Ивановна, — наш директор. Когда я вошел, она сидела за столом, как всегда немного чопорная, подтянутая; на отвороте её пиджака поблескивала медаль за участие в Отечественной войне.

— Садись, — коротко сказала она. — Я знаю о твоей беде. Но ты должен помнить одно: — сейчас для тебя самое главное — закончить школу, и закончить хорошо. Ты можешь закончить её с медалью, — это тебе в жизни поможет. — Вот, возьми это, — и она протянула мне конверт. — А работу оставь — учеба для тебя сейчас самое важное. — Всё. Иди.

Когда я вышел из кабинета и открыл конверт, там оказалась довольно крупная сумма денег, на которую мы могли дотянуть до моего окончания школы.

В тот же день я ушел со своей работы. Формально меня могли и не отпустить, — в то время никто не мог уйти с работы „по собственному желанию“, но Ольга Ивановна позвонила начальнику цеха, и меня уволили безо всяких проволочек.

Я опять взялся за учебу. А через пару месяцев мы получили твоё письмо из далекого северного „Ярцева“ в Сибири, на Енисее, где тебе предназначено жить, где ты

пишешь что нашла работу в местной больнице, и даже уже сняла отдельный „дом“ — т. е. „крохотную бревенчатую баньку над живописным обрывом к реке“, как ты пишешь.

Это известие было для нас большой радостью, взбодрило нас и дало бабушке сил на сборы и предстоящий переезд.

Школу я закончил хорошо, с медалью, как и предрекала Ольга Ивановна, — это была первая медаль за историю нашей школы.

После этого мы распродали наш скудный скарб, — в Боровске покупатели нашлись для всего, даже для колченогих стульев и залатанных простынь. Вырученных денег нам хватило на два билета до Красноярска. Там, на последние деньги я посадил бедную измученную бабушку на пароход, идущий вниз по Енисею и берущий пассажиров до Ярцева. В очереди на посадку я упросил какую-то пожилую женщину присматривать за бабушкой в пути и помочь, если понадобится при высадке в Ярцево.

Так бабушка и отправилась одна в плавание по Енисею… В который уже раз ей, бедной приходилось менять привычный уклад жизни и отправляться к новым берегам!

Из Красноярска я должен был ехать в Москву. Папа в это время находился в больнице, в тяжёлом состоянии. Денег на билет у меня не было. Но тут мне неожиданно повезло. У меня была единственная 50-рублевая облигация — (из твоих облигаций, на которые ты, как и все, была обязана подписываться во время войны и даже сейчас.) Проходя мимо сберкассы, я остановился, и на всякий случай, решил проверить номера выигрышей за истекший год, и вдруг — о чудо! — оказалось, что эта облигация выиграла 500 рублей старыми деньгами, — 50 по новому курсу. Этого мне хватило на билет до Москвы, и даже на еду кое-что осталось.

Вот так я и оказался в Москве, на Скаковой 2. Что делать дальше, ещё не решил…»

На этом кончалось письмо Вечки, а я возвращаюсь к своим воспоминаниям ранней весны 1949-го года.

Глава III
Этап в Сибирь

Чёрный ельник, белый дым.
Наша русская тревога И звенит, звенит дорога Над безмолвием седым.

А. Жигулин.

Итак, я опять сижу в знакомой Соликамской пересылке. На допрос вызвали всего один раз. Да и вопросы были совершенно бессмысленными — по старым делам 30-х годов, — делам давным-давно решенным, о «преступлениях», которые юридически «правильно» были «доказаны» и «преступники» «справедливо наказаны». Только папки этих дел на полках архивов остались, с грифами «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»; ан вот и пригодились!

Многие из арестованных ничего не подписывали, и я, в том числе. Но подписей и не добивались, не кричали, не били, не ругались. Просто через несколько дней вызывали, чтобы объявить им постановление «Особого совещания»: «Ссылка, на вольное поселение»… Без указания срока и места…

Вскоре нас переправили в Пермскую пересылку, где со всего Урала собирали отсидевшую «58-ю» на этапы в Сибирь.

Итак, мы ехали в Сибирь на вечное поселение. В ссылку без указания срока. Мы — это «урожай» 37-го года. Те, кому повезло выжить, отсидеть свою десятку и освободиться в 47-м. И даже ещё немножко пожить «на воле»…

До этапа в переполненной камере Пермской тюрьмы сидели ещё долго, видно, транспорта не хватало. В этап отправлялись молча и угрюмо. Ехали в битком набитых «столыпинских» купе. От тюрьмы до тюрьмы. Иногда зигзагами… Омск… Челябинск… Свердловск… Новосибирск… В каждом городе нас высаживали, и в городской тюрьме мы ждали следующей отправки. Ждали в камерах, переполненных до невероятия, с трехъярусными нарами; не хватало воздуха, не было воды, а гигантская «параша» распространяла ужасное зловоние; её выносили только раз — вечером. В некоторых тюрьмах для нас не только не было бани, но и умыться было нечем — мы сидели на каком-то этаже, куда «вода не доставала». Мы ждали следующей отправки неделю, а то и дольше… Почему нас везли таким диким способом, вряд ли бы сумели объяснить даже братья Стругацкие.

«Однако», как любят выражаться сибиряки, в конце концов мы доехали до своей последней пересылки — Красноярской.

Паненка еще пересечет океан…

Один за другим вылезаем мы из столыпинского вагона, счастливые уже тем, что можно размять ноги и спину после долгого лежания на полках. Широкие полки сплошными потолками в два яруса перегораживают «купэ», поэтому сидеть невозможно, только лежать.

Конвоиры, кутаясь в свои плащи и с сердцем матюкая пронзительный шквалистый ветер, каждого проверяют по формуляру, долго роясь в кипе, отыскивая нужную фамилию. Но вот, наконец, мы на земле, не на перроне — наш вагон отогнали куда-то за город среди путаницы рельсов и стрелок.

Команда: — По четыре разберись!

Мы охотно разбираемся по четыре, прихватив нехитрое свое имущество: у кого мешок — «сидор», у кого деревянный чемоданишко.

— Шаг вправо, шаг влево — стрелять без предупреждения! Никого не волнует эта привычная команда. Наслушались! Наконец, двинулись. И тут же, словно мало нам было двухмесячного этапа с переполненными пересылками, — так сама природа еще ехидно издевается над нами. Новый шквал ветра приносит косой, чуть не горизонтальный ливень. Ветер и ледяные струи больно секут лицо, идти против ветра просто невозможно. За одну минуту мы промокаем до нитки, шлепаем по рекам, забурлившим между рельсами.

— Прибавь шагу, мать твою растудыть!..

Кто-то падает, поскользнувшись, кто-то кричит: — Да стойте же, стойте!.. Но толпа наша, уже не по четыре, а как придется, изо всех сил преодолевая ветер и ливень, все движется и движется — наперекор стихии! — Медленно, но ДВИЖЕТСЯ… И вот мы под стенами Красноярской тюрьмы. Промокшие, голодные как волки — этапная «пайка» задержана еще вчера, до прибытия в тюрьму, а время уже около одиннадцати утра…

— Ничего! И не такое бывало! Сейчас нас «запустят» и, как всегда, в баню, и одежда просушится в вошебойке. Ах, как славно будет согреться в горячей баньке! И к обеду, небось, успеем, и пайку за сегодняшний день получим — то-то отменный будет обед — с горячей баландой, с четырехсотграммовой пайкой, не съеденной с утра! И это будет, ох, как здорово!..

Так мечтаем мы, прыгая и размахивая руками, чтобы хоть чуточку согреться. На наше счастье дождь кончился, и даже холодное майское солнце прорывается где-то сквозь быстро бегущие облака. Только не греет, и ветер, как черт, рвет наши телогрейки!.. Уж скорей бы, скорей распахнулись ворота!

Но, — увы! Как часто надежды, даже самые маленькие и жалкие, и те обманывают зэков! Мы стоим и час, и два, и чуть

просыхающую одежду успел окропить новый порыв дождя, сменившийся снежным бураном, и снежная крупа уже успела растаять — а мы все стоим. Ворота тюрьмы все так же угрюмы и непроницаемы, и только наши конвоиры поочередно греются в проходной.

Мы уже с мольбой и отчаянием смотрим на эти тяжелые, бесстрастные, железом окованные ворота: — Сезам, Сезам, откройся! Нет, не отворяется, наш Сезам, и мы стоим…

Наиболее энергичные, крепкие и жизнеспособные еще, стараются шутить, подбодрить товарищей. Кто-то что-то рассказывает, образуются группки из знакомых по пересылкам, знакомятся вновь. Мы стоим вперемешку, мужчины, женщины просто толпой, и конвой наш давно уже не заботится о том, чтобы мы «разобрались по четыре». Им самим, наверное, тошно, и жрать хочется не меньше нашего.

А тюрьма заупрямилась — не принимает, да и все! А почему? Да кто его знает, почему!

…И вот тут происходит то, что трудно объяснить случайным совпадением.

— Товарыщи граждани, кто хцет… хочет… Я бенде… я можу гадать по ренчке… По руке видеть..

Худой, заросший, в оборванном бушлате, в громадных бутсах, облепленных комьями грязи, он говорит на ломанном русском языке (как выяснилось позже, это поляк, пригнанный из освобожденной Варшавы, — по мнению освободителей, — подозрительный, «социально опасный элемент»!).

Кто-то протягивает руку: — А ну, браток, — глянь, скоро ли нас запустят в эту проклятую тюрягу и дадут пожрать?!

Кругом смеются, а поляк укоризненно качает головой:

— Нет, нет… Смех — то не надо… Я — хиромант, это моя профессия…

Хорошенькая и кокетливая армяночка, Сонечка Аванесова тотчас протягивает руку, сверкнув своими бархатными глазками:

— Ах, если вы настоящий хиромант?.. Пожалуйста, прошу вас!

Хиромант долго всматривается в ее удлиненную изящную, хотя и загрубевшую от работы ладонь. Что-то вполголоса начинает говорить. Мы, заинтригованные, любопытным кольцом плотно окружаем их двоих. — Но улавливаем, к нашей досаде, только отдельные слова, да еще искаженные произношением. Зато щеки Сонечки вспыхивают и алеют, как маков цвет: — Да, да… Так!.. — кивает она. Очевидно, речь идет о прошлом, и хиромант «попадает в точку».

— Ну, а потом?.. Что будет потом?.. — волнуется и трепещет

Сонечка.

— Потом… Потом… Пшистко бонде бардзо… лепо… хорошо… очен хорошо!

Ну, хто еще желае?.. Хиромант обводит нас взглядом и почему-то останавливает свой взгляд на мне. — Дай мнэ твой ренчка — говорит он, и я, как в гипнозе, покорно подставляю свою ладонь.

— Погромче говори! — Просят те, что оказались за кругом, и сжимают нас ещё теснее.

Хиромант всматривается в мою ладонь и тоже обещает мне что всё будет «бардзо лепо», потом показывает мне на какую-то линию на моей ладони и говорит громко и убеждённо, глядя мне прямо в глаза: — Паненка еще пересече океан…

Кольцо любопытных покатывается с хохоту: — вот это — да!! Ай, да хиромант!

— А я?!..

— А я?!!

— А я не пересеку? — со всех сторон к хироманту тянутся ладони. Он укоризненно качает головой! — Я не есть шарлатан. Я — хиромант… Это большая наука…

В это время как раз раздаётся команда:

— А ну, по четыре разберись!

Испуганный хиромант бросается искать свой «сидор», оставленный где-то в конце колонны. Мы, обрадованные, спешим разобраться по четыре — ну вот сейчас они гостеприимно распахнутся, двери обетованного нашего Сезама!

Но нет. Тревога оказывается ложной. Просто конвой решил навести «порядок». Двери не отворяются…

…Так под стенами тюрьмы простояли мы до вечера, то подсыхая, то снова намокая под дождем; то присаживаясь на мокрую землю, то прыгая с ноги на ногу чтобы согреться.

Хиромант больше к нам не подходил — верно обиделся (и поделом нам!). Но скажите, как было не засмеяться там, у стен сибирской тюрьмы, людям, следующим В БЕССРОЧНУЮ ПОЖИЗНЕННУЮ ссылку — Паненка еще пересечет океан!

Не поверила такому предсказанию и сама «паненка»… И было это в том далеком 1949-м, когда еще «железный занавес» не приоткрыл ни одного своего краешка… «Паненка пересечет океан!.».

Не знаю, увидел ли он на моей руке этот таинственный, одному ему понятный знак?..

Но я пишу эти строки в своей Бостонской квартире в штате Массачусетс.

Красноярская пересылка

…К вечеру нас все же в тюрьму впустили и, конечно, в баню. Только она была уже холодная к нашему огорчению, и вода чуть тепленькая. Ужина и пайки нам так и не дали. Как объяснил нам корпусной, мы еще не значились в списочном составе тюрьмы, и паек на нас выписан не был. Но это нас уже особенно и не огорчило — есть как-то перехотелось, и мы жаждали одного — растянуться на сухих досках, пусть без подушки и матраса — в пересылках не положено, — только растянуться на подсушенной в вошебойке одежде и заснуть благодатным мертвым сном без сновидений.

Здесь — в Красноярской пересылке — нам предстояло ждать, пока вскроется Енисей, пойдут пароходы, и нас отправят куда-то далеко на север, осваивать сибирскую тайгу.

…Благословенная Красноярская пересылка! Не идущая ни в какое сравнение ни с одной другой. В ней мы здорово отдохнули и пришли в себя. Мы провели там почти два месяца…

Что и говорить, жилось нам там относительно неплохо. Во-первых, мы не голодали. Мы получали свою «этапную» полновесную четырехсотграммовую пайку. Это достаточный фундамент для существования, особенно, когда можно ничего не делать и день-деньской валяться на нарах. В Красноярской пересылке это не возбранялось. Если же нас и выводили на работу — это было просто приятным развлечением. Нас вели в овощехранилище, где предстояло делать несложную и давно знакомую работу — выбирать гниющую картошку, которую отправят на кухню для лагерников. Хорошую надо оставлять на месте до тех времен, когда она, в свою очередь, не начнет гнить, и когда её снова начнут перебирать. Таков цикл хранения картошки во всех лагерных овощехранилищах, где только мне ни пришлось побывать. Конечно, часть хорошей картошки идет на кухню начальства и ВОХРовцев, но не всю же они её поедают? Но на долю «зе-ка» всегда остается только гнилье.

Переборка картошки — «блатная работёнка», и попасть на неё далеко не всегда можно. Работа неутомительная, всегда можно пристроиться своей компанией, поболтать, помечтать. Это не пни корчевать. Хоть и сыровато, и гнилью тянет, но ведь ко всему можно притерпеться и не обращать внимания. В Красноярской же пересылке это был просто «рай». Если «ВОХРовцы» попадались симпатичные, еще не окончательно озверевшие на своей идиотской работе и понимающие, что с берегов Енисея не побежишь, так что особо охранять нечего, они разрешали развести небольшой костёрик у входа в

овощехранилище и напечь картошки на всю компанию, включая и их самих. В общем — «житуха!», как выражались урки.

Не плохо было и в камере. Огромная камера, с широкими сплошными нарами, но всего в один невысокий этаж, почти пуста. Уркачек немного, и всех их быстро забирают, рассовывая по Красноярским лагпунктам. Они же не ссыльные, а просто этапники, «зе-ка». И держатся они отдельной кучкой, к нам, — «фашистам» не лезут. Взять у нас нечего. Если они идут на картошку, то вовсе не для того, чтобы её перебирать. Полеживают себе на крыше овощехранилища, нежась на весеннем солнышке, изредка лениво перебрасываясь похабными шутками с конвоирами. Те с крыши их не гонят — никаких «норм» с пересыльных не спрашивают. Это мы по, привычке и по глупости, ковыряемся понемножку в затхлом овощехранилище… Они и костёрчик себе отдельный сооружают. И в камере лежат на отшибе, но ведут себя относительно прилично.

В камере тихо и просторно — такая благодать! Окна большие, и никаких щитов; солнце так и хлещет в камеру, только пока — увы, еще не греет. В камере прохладно, это единственное неудобство. Ночью мы, три подруги — я, Бетти Глен и Маруся Ненайшвили — тесно жмемся друг к другу, натягивая на себя ледащие стиранные-перестиранные одеялишки. Зато воздуха, чистого воздуха — сколько хочешь, дыши — не надышишься!..

А сколько рассказов!.. Чего только не нашептано в уши этими, долгими красноярскими ночами…

Маруся Ненайшвили!.. До чего же хороша! Красавица грузинская. Глаза — газельи. Профиль — точеный. Кожа — бело-матовая, замшевая… И ни одной морщиночки — всё еще пронзительно молода, хотя ей, как и мне уже за сорок, и десятки этапов за спиной… Красавица. Кто она?.. Княжна грузинская?.. Нет, оказалось совсем наоборот, она — из семьи потомственных грузинских революционеров…

Шшшш… Тише!.. сподвижники самого «Кобы»!

…Одно из детских воспоминаний Маруси Ненайшвили: Семья убегает от белых в каком-то правительственном поезде, но всё же только в товарном вагоне, в теплушке. Маруся, уже большая девочка, раскапризничалась:

«— Мне не мягко, — хныкала она, — мне не мягко!»

И мать, выведенная из терпения, вся охваченная страхом — что будет дальше? — первый раз в жизни отшлёпала строптивую дочку прямо по «мягким частям», хотя дочка давно переросла возраст, когда детей шлёпают.

«— Ах, тебе не мягко!! — приговаривала мать. — Не мягко!.. Не мягко!»… — Так и осталось в семье предание об этом

Марусином «не мягко!» в теплушке поезда, обстреливаемого белогвардейцами… «Не мягко?!»

Сейчас, на наших нарах, тоже не было особенно «мягко», но мы привыкли и не жаловались.

…Грузинская красавица — Маруся Ненайшвили — околдовала тогда еще совсем молоденького секретаря ЦК комсомола — Сашу Косарева — и вскоре стала его женой.

Боже, какие балы задавались в Кремле!.. Какие костюмы!!.. И сам Сталин усмехался в усы, любуясь Марусей Косаревой… И все умирали от зависти!

— Деньги?.. Нет, мы не знали, что такое деньги. Вряд ли я когда-нибудь даже держала их в руках… В магазины, даже свои распределители, никогда не ходила. Не знаю, может быть, мама и ходила, но я не ходила… Портнихи приезжали на дом. Ну, а всё остальное покупалось там, — в командировках… В Париже… В Вене…

— Нет, денег и там не платили, всё записывалось на какие-то счета… Да об этом и не думал никто из нашего круга…

Ну, а потом пошло всё своей, давно уже ставшей известной дорогой. Приближался «тридцать седьмой»…

Первой ласточкой стало какое-то торжество в Кремле. То ли чьё-то тезоименитство — уж не «САМОГО» ли, даже?.. За ужином я сидела рядом с Сашей. Он, как и все, пошел чокаться с «НИМ». Такова была традиция. Подходить, чокаться и получать поцелуй… Саша пришел на своё место с лицом совершенно серым… За весь вечер я не могла добиться от него ни одного слова. Только поздно ночью, в спальне я узнала, что «ОН» сказал на ухо Саше вместо поцелуя: «Изменишь, — убью!.». И Саша понял, что он — уже убит…

Марусе повезло. Её вместе с братом и другими родственниками «изменника Родины» закатали в Норильск, который тогда только-только начал отстраиваться. Её брат, к счастью, был инженер-строитель, и мало-помалу семья устроилась неплохо. Жили в одном из управленческих домов, в «управленческой зоне». Питались в ИТРовской столовой вместе с вольными начальниками; обеды были вполне приличные — рыбы, мяса было вволю. Никаких «паек» не выдавали — хлеб черный и белый горками лежал на подносах. Самолеты летали исправно и доставляли апельсины и бананы на третье… По вечерам ходили в клуб, выстроенный «в ударном порядке» чуть ли не раньше домов для вольнонаемных служащих, начальников из НКВД и специалистов, необходимых для строительства. В эту «управленческую зону» по блату, и по необходимости попадали и специалисты — «зе-ка».

Клуб по габаритам не уступал хорошему провинциальному театру, а по оборудованию, отделке и убранству — намного превосходил. Там не только «крутили» кино, но шли там и спектакли, поставленные профессиональными режиссерами с профессиональными актёрами, — вольнонаемными и заключенными вперемешку. Там же, иногда, задавались и балы по соответствующему случаю…

«— Конечно, добираться до клуба было нелегко. Такие бураны, — вообразить невозможно! Тьма-тьмущая, ветер с ног валит. Изо всех сил надо держаться за протянутый вдоль дороги канат. Упустишь — беда!..

— Зато… Ах, девочки, зато — какие люди! — рассказывала Маруся. — Образованные, культурные, интеллигентные!.. Строители, инженеры, геологи, художники, музыканты…

— Романы? — Ну что за вопрос! Конечно же и романы, хотя женщин было очень мало (сколько трагических историй!)… „Жемчужиной Кавказа“ меня прозвали… Ведь я была тогда в расцвете молодости!»

— Не скромничай, ты и сейчас в форме, — вставляла Бетти, и это было правдой.

«…Строительные работы велись зимой под яркими лучами прожекторов, и снег вокруг искрился бриллиантами… И это было очень красиво». Впрочем стройку Маруся видела только издали, а в рабочей зоне и вообще никогда не бывала. Там, где в наскоро сколоченных бараках, а бывало и в землянках, заваленных снегом, если бараки не вмещали пришедший разом большой этап, размещались на первое время работяги. Об этом Маруся только слышала, и то немного.

О «производственных» делах брат рассказывал мало и неохотно. Да и Маруся не слишком интересовалась. Была она способной, — быстро освоила пишущую машинку и работала секретаршей в каком-то отделе; работой перегружена не была, и теперь гораздо больше вспоминала о своих романах, чем о работе…

Время летело и летело, в общем довольно незаметно. Норильск рос и хорошел, и первые никелевые рудники вокруг него начали вступать в строй. Норильск становился «звездой ГУЛАГа», хотя в прессе продолжал скромно именоваться «Комсомольско-молодёжной стройкой». Норильск показывали иностранцам — город, конечно, а не «рабочие зоны».

…Когда, отсидевшие свою «десятку», ветераны «тридцать седьмого» в 47-м году начали освобождаться, брат уговаривал Марусю не покидать Норильск. Освободившись в должности главного архитектора — строителя города, он имел не только

квартиру — люкс и всё прочее, но и любого родственника мог устроить на любое место. Снабжение было отличное. Почти вся интеллигенция оставалась.

— Нет, нет и нет!.. Замолчи!.. Всем сердцем, всей душой — только в Грузию… В ГРУЗИЮ!.. И мать завещала — или ты забыл??!

…Теперь, в 49-м Маруся возвращалась… в Красноярск?? А вдруг?..

— Господи… сделай, чтобы это был Норильск! Смилуйся, Господи!

И Господь смилостивился. Однажды дверь в камеру отворилась и вошел начальник пересылки: — В Норильск отправляется самолет. Троих желающих могу отправить.

— Боже мой, Норильск! Тотчас же к Марусе присоединилась Бетти Глен, и подбежали три-четыре женщины не из нашей компании: «И я!» «И я!»

До чего же мне хотелось с ними!.. Смертельно!.. Как я не крикнула «И я!» — Всё во мне остановилось, застыло… Но всё-таки я не крикнула. Я не могла. Ведь маму в Норильск не привезешь! Оставить же — негде и не с кем. С неё и так уже довольно мук! Слава Богу, я промолчала.

…Несколько слов о Бетти Глен. В Москве она была… директором парка им. Горького. Вхожая в Кремль. Резковатая, энергичная, «здравомыслящая».

«САМ» бывал на закрытых «вечеринках» в спецзалах парка. Чего только специально для «НЕГО» не устраивали! Какие вакханалии…

Теперь Бетти поражало другое, чего она объяснить не могла даже самой себе: — откуда рядом с преклонением, ЛЮБОВЬЮ (беспредельной!) — этот УЖАС??

Однажды, рассказала Бетти: — Была спец-вечеринка, ждали «ЕГО». Бетти сидела за столиком, лицом к двери. Она увидела входящего Сталина. Её собеседник сидел спиной к двери!.. Но по застрявшему в горле Бетти слову, по лицу её, он понял: — «Входит»… «Вошел!»… Лицо его побелело, и вилка со звоном упала на тарелку… В зале мгновенно наступила мертвая тишина…

— Что же это?.. Колдовство? Наваждение? — А ведь мы готовы были жизнь за него отдать!..

На север по Енисею

…Итак они — Бетти и Маруся — улетели в Норильск. В камере стало пусто и неуютно… Каждый день мы спрашивали

конвоиров: — Ну, как Енисей? Не тронулся?

И наконец, он тронулся.

А ещё через неделю нас вывели на тюремный двор и построили «по-четыре». Впрочем, «нас» — женщин оказалось всего три, — остальные — мужчины.

Откуда-то принесли наши мешки и тощие сундучки. Тут же начался «шмон», — как будто мы могли что-то запрятать в мешки, находившиеся в каких-то кладовках или каптёрках!

Потом, правда «слегка», для проформы, обыскали нас самих, и конечно, отобрали тюремные миски и ложки, которые мы прихватили из камеры, хотя и сами понимали, что в этом этапе они нам вряд ли понадобятся.

Несколько раз нас пересчитали — по головам, по формулярам, и, наконец, повели на пароход. Этап наш был совсем маленький — всего сорок человек.

Итак, мы плывём по Енисею на север…

Мы миновали Казачинские пороги, где вода бешенными бурунами неслась мимо камней и рассылалась фонтанами брызг, наскочив на скалу, а пароходик наш тянули канатами. Проплыли Енисейск. Миновали Маклаково с его грандиозной лесобиржей. А мы плывем, да плывем. Мы держимся у левого высокого обрывистого берега. Правый, вдали, за серебристой гладью реки, отступает всё дальше и дальше, чуть намечаясь еще только начинающей зеленеть тайгой. Енисей разливается всё шире и шире…

Слава Богу, солнышко пригревает, и с палубы не гонят. До чего же приятно!

Куда нас везут, и где мы пристанем? Возможно, наши «конвоиры» — молодые парнишки — и сами не знают. Обходятся они с нами дружелюбно, но на вопрос — «куда?» — только пожимают плечами. Не их это дело, а начальства… Но, наконец, на утро третьего, такого же солнечного дня, мы пристали к высокому обрывистому берегу. Здесь, внизу под обрывом была устроена маленькая пристань. Вверху, вдоль обрыва, по самой кромке его тянулась деревня. Избы стояли впритык одна к другой, с высокими, но довольно пологими крышами. Бревенчатые стены тепло озолотились поднимающимся из-за тайги солнцем.

Но вот странность, — ни одного окна в этих стенах не было видно. Мы недоумевали. Но потом всё разъяснилось. На Енисей выходили только задние стены каждого крестьянского двора, крытого под одну крышу с избой-жильём. Фасад же изб с окнами в резных наличниках, с высокими «навесными» крыльцами, выходил в противоположную сторону — на широкую деревенскую

улицу.

Нас высадили из пароходика, построили, как обычно, «по четыре», и под конвоем повели по этой улице, не совсем просохшей еще от весенней распутицы. Нас привели во двор местной милиции. И тут наши конвоиры с нами распростились: — Обождите тут, — сказали они и пошли в милицию сдать наши формуляры.

Во дворе были сложены какие-то брёвна и доски, на них мы и расположились. В помещение вызывали по одному.

Какой-то милицейский «чин» выдавал бумажку размером в четвертинку машинописного листа, расчерченную на четыре клетки, и объяснял: — Каждые две недели должны являться на регистрацию, — и в первой клетке бумажки ставил большую жирную печать. — Понятно? Больше, чем на 3 километра, от деревни не удаляться, понятно?

— А деньги? — спрашивали мы.

— Какие деньги?

— Ну, на жизнь?

— Насчет денег никаких распоряжений не имею.

— А у меня свои, заработанные в тюрьме, есть, на счету?

— Те ещё не пришли. Придут — получите. (Я свою десятку получила через полгода!)

— А где же жить?

— Это не в нашей компетенции. Сельсовет позаботиться.

— Но сейчас, — куда же нам идти??

— Это дело не наше. Можете посидеть во дворе, мы не гоним.

Озадаченные и голодные (дорожные пайки были давно съедены) мы сидим на бревнышках. К счастью, небо не хмурилось, и солнце, поднимаясь повыше, начало пригревать.

Напрасно мы старались гадать, — что же дальше?..

Еще начиная с Пермской тюрьмы, мы наслушались всяческих «прогнозов» о ссылке, трудоустройстве и ссыльной жизни:

— На первое время дают ссуду — горячо уверяли одни, — до тысячи рублей, да, да!

— А квартиры приехавшим — в первую очередь! — Подхватывали другие. Но вот, пока что, на это было не похоже.

К счастью, «дальше» не заставило себя долго ждать. Во дворе милиции открылся… «невольничий рынок».

— Здорово ребята! Сапожники есть? — Спросил первый «покупатель».

— Есть, есть! — тут же откликнулись двое.

— Ну, айда-те со мной! — и он увел двух счастливчиков.

Вторым забрали портного, Аркадия Аркадиевича Кравцова.

Чудный был человек, — еще в дороге мы сдружились. Он

первый вернулся на наш «невольничий рынок» и притащил буханку черного хлеба!

Третья была я: — Есть ли кто-нибудь из медработников?

— Вот я, медсестра!.. Врачей не оказалось ни одного, но и медсестру (настоящую, с дипломом!) тоже забрали с радостью.

Сейчас же в бухгалтерии больницы мне выписали аванс и я тут же побежала в Сельпо за хлебом. Прихватила и махорки — мужчины наши мучились без курева.

«Купили» ещё двух бухгалтеров и одного «канцеляриста» на почту. На этом торги кончились. Больше «специалистов» не требовалось. Потом пришел председатель колхоза и сказал, что всех остальных забирает в колхоз. Так в «колхозниках» оказались два юриста, два педагога и поляк — журналист.

Завтра им выделят хату на первое время, а сегодня — переночуете в школе. Занятия к тому времени кончились и школа была свободна…

Так и началась наша ссыльная жизнь на берегу Енисея в деревне Ярцево, неподалёку от Туруханска, где когда-то ссыльный Иосиф Джугашвилли, он же — «Коба» обдумывал свои зловещие планы отмщения неблагодарной России.

Глава IV
На берегах Енисея

Сгорели в памяти дотла Костры
сибирской лесосеки.
Но в тайниках её навеки
Осталась тёплая зола.
А. Жигулин

Ярцево

На этапе мы ждали, что нас привезут в какую-то глухомань, необжитую, или заброшенную деревню в тайге… Но оказалось совсем не так. Деревня, избы которой вытянулись длинной цепочкой над самым обрывом высокого левого берега Енисея, была большая, благоустроенная и зажиточная. Как оказалось, это был даже «райцентр». С колхозом, конечно.

В деревне была и школа, и больница, (правда маленькая, но всё же настоящая больница), почта и «Сельпо» — лавочка, где всегда был хлеб, махорка, а иногда и чай, и сахар, и даже «подушечки» — ребячье угощение. Были даже пошивочная и сапожная мастерские, правда, «при колхозе».

Все колхозники имели свои собственные избы — большие и ладные пятистенки с двором, крытым под одну кровлю, где размещались и хлев со своей буренкой (а то и двумя), свинарник, курятник, овечий закут, сарай для всяких хозяйственных нужд и инвентаря, с обширным сеновалом на чердаке. Таким обширным дворам не страшны ни пурга, ни бураны, ни пятидесятиградусные морозы.

На колхоз селяне смотрели, как на неизбежное зло: — То ли господское имение, то ли государственное, на котором — хочешь — не — хочешь — надо отработать. То ли за гроши, то ли за трудодни… Но, что поделаешь? — Таков уж крестьянский удел в России.

Но, так как здешний колхоз их особо не притеснял, «своего» хозяйства не трогал и не отбирал, то мужики с колхозом ладили, свои трудодни отрабатывали, и даже кое-что на них получали. Колхоз не был богатым, но справлялся.

Это был небольшой молокообрабатывающий колхоз; он имел свою ферму с сыроварней, которую колхозники почитали «заводом».

А кругом были луга, которые только коси да коси, не ленись, — хватит сенушка и для колхоза, и для своих бурёнок; а

рядом — река, богатая рыбой, одни сомы килограммов на десять — чего стоят! Знай, добывай, вари, соли… На лугах и в тайге ягод — черники, морошки, малины — полно! Жить можно.

И колхозники жили, по советским масштабам, — совсем неплохо. Даже слишком зажиточно, и по понятию столичных руководителей, вероятно, их давно бы следовало раскулачить опять. К счастью, столицы были далеко, а местное руководство (областное в Енисейске) смотрело сквозь пальцы, лишь бы колхоз сдавал «положенное». Тем более, что и эти руководители не слишком часто наезжали в район за 500 с лишним километров от Енисейска.

Да было и еще одно обстоятельство, наводившее некий «туман»… Дело в том, что все эти колхозные мужики УЖЕ однажды были раскулачены. Правда, давненько — лет двадцать назад. Но подлежат ли они раскулачиванию ВТОРОЙ раз?.. Да вроде бы уже и не раскулачивают колхозников-то?

Все эти свои пятистенные избы сложили они своими руками, «своё хозяйство» нажили своим горбом, без помощи наёмных батраков или эксплуатации бедняков (впрочем, как и тогда, когда их раскулачивали в первый раз — в 1930-м).

Тогда и привезли их сюда, на Енисей, где в то время, кроме малюсенькой деревушки с развалившимися избами, — пустующей, (люди повымерли или разбежались) — ничего не было. Привезли полуголых и босых, оголодавших в изнурительных этапах, обобранных до нитки мужиков из далёкой России. И бросили на произвол судьбы…

…Теперешняя большая деревня (Райцентр!), так же, как и колхоз при ней, называется «Ярцево». Если кто из читателей помнит, недалеко от Смоленска по дороге в Москву есть станция и городок с ткацко-прядильными фабриками, с сёлами и деревнями вокруг. Станция и городок этот назывались — Ярцево. Как видно, какой-то из этапов почти двадцатилетней давности и был как раз — ярцевским.

Конечно, не все, — ох, как далеко не все, доехали до берегов Енисея… Но те, кто выжил и доехал… Господи, к чему легенда о птице фениксе?! Разве народ, да каждый человек — не тот же «феникс»! Оставьте его чуть живого, чуть мяса на костях, чуть воздуха для дыхания — и он вздохнет, встрепенется, пробьется, как травинка сквозь асфальт, — и начнет жить.

Ведь не прошло и полных двадцати лет! А вот они — новые «кулаки» — живут, трудятся, ребят плодят, радуются… Хотя и щемят сердце воспоминания о своей родной деревне, оставленной где-то за тридевять земель, в какой-то Смоленской области. Да и где она, такая?!..

Но это у стариков, а молодые родину помнят уже смутно, а о недоехавших в этапах — только рассказы слышали… Нет, здесь, в Ярцеве, жить можно, не ленись только. Мужики и не ленились!

Ну, а мы — «новые ссыльные», хоть и не раскулаченные, — отбирать у нас всё равно было нечего — мы тоже лениться не собирались.

…Не всем повезло так, как мне. Как я уже упоминала, из нашего этапа в 40 человек с подходящими специальностями оказалось только шесть человек. Остальным пришлось приспосабливаться к колхозному труду. Но для людей прошедших лагеря это не было таким уж страшным, и в конце концов все как-то приспособились.

Приспособился и старичок-юрист Павел Васильевич, один из попавших в «колхозники». Правда, не сразу. Сначала его посылали в луга за какими-то жердями; хотя он отродясь лошадьми не правил. Но лошадки были смирные, умные, и сами шли нужной дорогой туда, где уже побывали не раз. Павлу Васильевичу оставалось спокойно сидеть на узких «дрогах» и придерживать руками свободно свисающие вожжи, чтобы они не ускользнули под ноги лошадям. Что он успешно и выполнял.

…До чего же симпатичным и жизнерадостным был этот Павел Васильевич, с которым я очень подружилась впоследствии, и на многие годы! Но в начале наше знакомство ознаменовалось происшествием трагикомическим, которое кончилось, к счастью, вполне благополучно, благодаря чему перешло в разряд, так сказать, чисто «комических».

Дело было так: Каждую минуту своего свободного времени, особенно до приезда мамы, я стремилась проводить в лугах, где теперь так дивно пахло травой и прошлогодним сеном, которое осталось кое-где в копешках — «лишнее», где широкая гладь Енисея переливалась бликами на солнце и большие рыбы изредка выпрыгивали из воды и тут же шлёпались обратно, поднимая целый Фонтан брызг.

В траве золотились лютики, клонились на ветру колокольчики и качались огромные ромашки. Всё здесь спешило расти и цвести скорей и пышней, словно знало, как оно коротко, северное таёжное лето…

Дорогу в луга пересекала маленькая речушка, скорей, ручеек, текущий в неглубоком овражке. Через него был перекинут бревенчатый мостик. К нему и спускались дроги с Павлом Васильевичем в качестве кучера.

— Павел Васильевич, — крикнула я, — подвезите меня!

Но в это время дроги скрылись за склоном овражка, а там, где должен был быть мостик, вдруг явственно взметнулись

вверх… ноги Павла Васильевича!

— Боже мой, что с вами! — закричала я и бросилась бежать к мостику.

Удивленные лошадки смирно стояли на мостике, косясь на дроги. Два колеса с одной стороны — переднее и заднее — соскочили с моста, но дроги всё-таки не перевернулись, а только сильно накренились, но бедный Павел Васильевич скатапультировался со своего кучерского места прямо в воду и теперь беспомощно барахтался, стараясь выкарабкаться из ручейка.

— Господи, вы не ушиблись?!

— Нет, нет, нисколечко! — уверял Павел Васильевич, — просто небольшое приключение! — и он так весело, по-детски рассмеялся…

Впоследствии, председатель колхоза, вообще то мужик неплохой и хозяйственный, смилостивился и перевел Павла Васильевича в контору колхоза, где он стал учетчиком и счетоводом той самой сыроварни, которую колхозники гордо именовали «заводом».

А позже, следующей весной, когда коровы начали телиться, у него появилось новое увлекательное занятие, в котором вся наша компания приняла самое горячее участие, дружно помогая Павлу Васильевичу.

Новорожденных бычков и тёлочек нужно было «окрестить», то-биш, придумать им имена. И каждый год, чтобы потом не было путаницы, имена новорожденных должны были начинаться с одной и той же буквы.

В тот год это была буква «Г».

— Гомер! — предлагал кто-то.

— Гораций! — тут же продолжал другой.

— Гвидон!.. Гвидон! — перебивал третий.

— Гитлер, Гитлер! — кричал четвёртый.

— Еще чего! Чтобы вырос бешеный бык!

— Погодите, погодите, — тщетно старался унять страсти Павел Васильевич, — бычков довольно, теперь — дамы!

— Ах, дамы — ну, тогда…

Но «дамы» как на ум то не шли…

— Подождите, подождите — Гензель!

— Да ведь это же мальчик! — Ну, и что? Ведь была же и Гретель!

— Гретель годится!

— А леди годива?!

— Ну и загнул! А почему не Гуля? Гуленька — чего лучше?

Так развлекались мы, как малые ребята, и, право, — это шло

нам на пользу.

«Мы» — это наша маленькая компания — 6–7 человек, которые сдружились, и которые стали моими постоянными помощниками, без которых мне было бы трудновато. Компания образовалась вокруг меня, мамы, и моего жилища — «Виллы Парадайз», как его окрестили мои друзья, — крохотной баньки на берегу Енисея, где мы собирались вокруг узкого деревянного стола, с казаном (так называли мы большую кастрюлю без ручки) посредине, в котором булькала только что снятая с плитки гороховая или пшённая каша.

Дело в том, что только я одна изо всех «новых ссыльных» имела собственный особняк и собственную маму с котом и с собачкой, впридачу! Но, конечно, всё это было не «вдруг», а образовалось постепенно. Это опять я забежала далеко вперед. Трудно сдержаться, когда нахлынут воспоминания.

Но вернемся к началу нашей ярцевской жизни.

С больницей у меня сразу всё пошло гладко и хорошо, за исключением одной небольшой неприятности, о которой не стоило бы и упоминать, но это было характерно для тех лет…

Больничка была небольшая, хотя оказалось, что она «районная», и крестьяне из «соседних» (километров за 20–30!) сёл приезжали лечиться к нам. В больнице работало трое врачей. Один из них был весьма пожилой хирург. Это был старый меньшевик, который начиная с 20-х годов годов отбывал одну за другой ссылки; — одна другой дольше, и дальше от центральной России. После последней, осел здесь, в Ярцеве; остался добровольно доживать тут свой век. Один он встретил меня неприветливо и недоверчиво. Он не поверил, что я не принадлежу ни к какой партии, и не знаю, почему и за что выслана, да еще «на вечные времена»… Решил, что я попросту скрываю, так же, как и другие «новые ссыльные», с которыми он не хотел иметь ничего общего. На работе был со мной вежлив, но холоден. Хотя вскоре и убедился, что я настоящая и опытная медсестра, но старался обходиться без моей помощи, что меня конечно огорчало.

Зато два другие врача — это была молодая пара, только что окончивших Красноярский Мединститут студентов. С ними сразу сложились не только хорошие, но и весьма дружеские отношения. Оба были терапевтами и были присланы в Ярцево по «распределению» — отрабатывать трехлетний стаж на периферии.

Особенно сблизило нас то обстоятельство, что у них только что родилась дочурка и молодая мама была в отчаянии, не имея ни опыта, ни детского врача под рукой, ни бабушки, которая могла бы помочь и научить. И тут мне так пригодился мой опыт

работы в «детской» палате Боровской больницы.

В общем, и тут мне повезло, — везучая! Я помогала растить и выхаживать маленькую Олечку (к сожалению, довольно слабенькую и хилую девочку), а в больнице получила «в полное владение» детскую палату, где, слава Богу, дела шли вполне благополучно.

Но не больница была центром моей жизни в Ярцеве, и не о ней я хочу рассказать. И воспоминания о больнице гораздо туманнее и бледнее, чем о моей, и моих новых друзей «частной» жизни.

Итак, с больницей с самого начала всё обстояло хорошо, и моя первая проблема была — жильё. Крестьяне (у которых я даже за «докторшу» сходила!) относились ко мне очень дружелюбно, и снять «угол» можно было едва ли ни в каждой избе. Но только — «угол». Даже самые большие пятистенки не имели больше двух помещений, — большущей кухни с огромной русской печью, и одной комнаты, где размещалась вся семья, обычно многолюдная и многодетная. Я и сняла угол, — что же было еще делать?

Мой угол в достаточно большой комнате отгородили красивыми полосатыми занавесками, сенник набили самым отборным и душистым сеном, и у кровати, полученной «на подержание» из больницы поставили заново сколоченный столик, чудесно пахнувший сосной… Но, в избе было душно и жарко. Окон не открывали. Ребятишки возились на полу, прыгали и скакали вместе с маленькими «собственными» ягнятами, орали, кричали ссорились и ревели попеременно; лезли за мою занавеску, не признавая абсолютно никакой «частной территории»!

Мухи жужжали густо, как пчелы; тараканы деловито ползали по углам, точно так же, как и в деревушке под Смоленском, где прошло моё отрочество в голодные годы «военного коммунизма». (Мы вынуждены были уехать в деревню, чтоб не умереть с голоду в Смоленске). Клопы атаковали меня особо свирепо, — как «новичка», очевидно.

Тем не менее, всё же это не был лагерный барак с его вонью, матом, сплошными нарами, где спали «впритык», а зимой замерзали от холода. И я вполне могла бы приспособиться к своему избяному углу. К тому же, ведь я почти и дома не бывала — дежурила в больнице в очередь и не в очередь, ходила «по патронажу».

Но, ко мне должна была приехать мама. Что же будет, когда приедет мама??.. Сердце у меня падало от одной мысли об этом… Но и тут мне снова повезло!

У моих хозяев была чудесная большая баня, которая топилась

каждую субботу. И хотя топилась она «по-чёрному», но тепло в ней сохранялось до самого воскресенья! И после того, как всё семейство отпарится и отхлещется вениками в горячих облаках пара, нам, отворив дверь в предбанник, — так чудесно было мыться, обливаясь из громадных бадеек не очень горячей водицей (её всегда оставалось достаточно).

В больнице у нас была настоящая «ванная» и даже с душем, в бак которого наливалась теплая вода, но «свою» баню я старалась не пропускать никогда, и использовать при малейшей возможности. Наслаждение, получаемое от неё, ярко помнится до сих пор. Помнила его и моя мама до самой своей смерти, когда, уже после моей реабилитации, мы снова жили в Москве…

Вилла Парадайз

Итак, у моих хозяев была новая, недавно построенная баня, которой гордилась вся семья, Но до этого у них была другая — маленькая и теперь заброшенная рубленная банька. Стояла она на самой кромке высокого берега над Енисеем, — вдали от двора и всей «усадьбы» моих хозяев. Я набрела на неё случайно, любуясь енисейскими далями с высокого берега, где среди травы чуть намечалось что-то вроде тропки.

— Вот тут бы поселиться! — размечталась я… И, представьте, — мечты мои сбылись! За какую-то ничтожную сумму хозяева сдали мне эту баньку.

Сначала все «наши» пришли в ужас: — да вы, что? С ума сошли?!.. На таком отлёте, одной!

Но хозяева считали, что ничего страшного нет: зверьё из-за Енисея не ходит; с другой стороны — деревня; ну а что до «недобрых людей», — таковых, слава Богу, в их краях не водится, и слыхом не слышно. В общем, я решилась, и работа закипела. Мы с моими друзьями-соэтапниками принялись спешно оборудовать баньку под жильё.

Прежде всего, её вычистили и побелили. Была она крохотная — малюсенький предбанник, в котором едва умещалась кадка для воды, и сама баня с маленькой печуркой, крошечными окошками с малопрозрачными, неотмываемыми стёклами.

Один из моих приятелей, в прошлом — педагог, очень ловко разобрал и вновь сложил печурку, а жестяную трубу вывел в окно, залепив щели вокруг неё глиной.

Притащили откуда-то лист толстого железа и получилась отличная плита. Правда, потом оказалось, что тепло держится в баньке только пока печурка топится, а к утру зимой всё окошко

покрывал толстый слой льда. Но в постель холод всё же не забирался, а с утра первым делом подтапливалось наша печурка.

Вдоль двух «длинных» стен поместились две койки — моя и мамина — отпущенные мне из негодных больничных, которые мои друзья привели в полный порядок. Между койками втиснулся длинный стол, установленный на козлах, а гостям уж приходилось размещаться вдоль него на наших кроватях.

Не гигиенично, конечно, но — что делать! Так что, к приезду мамы, я обладала великолепной собственной виллой, которую тут же окрестили «Виллой Парадайз»! Виллой без клопов и тараканов, в тишине, с чудесным душистым воздухом, и с чудесным видом прямо с крыльца на Енисей и чуть зеленеющую тайгу на том берегу. Недалеко от «виллы» был построен туалет, как полагается, дощатый, с дверью и крючочком.

Друзья: двуногие и четвероногие

К приезду мамы в моей хибарке появились новые обитатели — Котишка Рыжик и пёсик Жучок, — оба ещё в раннем подростковом возрасте. В дальнейшем они очень скрасили мамино одинокое бытиё, так как друзья мои, работавшие днём, могли навещать её только вечером, а я и того реже бывала дома.

Рыжик был несомненно настоящим сибирским котом поскольку он родился в Сибири — на берегах Енисея. Но с виду он на сибирского кота, в нашем понимании, никак не походил.

Это был совершенно обыкновенный, довольно тощенький рыженький котёнок с гладкой короткой шерстью, которой никогда не суждено было превратиться в длинную и пушистую. В общем это был довольно-таки неказистый котёнок, зато весёлый и ласковый. Впоследствии он сразу завоевал мамино сердце и легко подружился с Жучком — вторым четвероногим членом нашей маленькой семьи.

Но вот приплыл очередной пароход из Красноярска и на нём приехала моя старенькая, измученная дорогой и переживаниями мама!..

После первых дней ажиотажа и обмена впечатлениями и рассказами о последних месяцах, вынужденно проведённых нами врозь, жизнь как-то сразу вошла в ту особую и приятную колею, когда каждодневная забота о дорогом тебе и нуждающемся в твоей помощи человеке становится главным в твоей жизни.

Для меня это выражалось в том, чтобы у мамы всегда была заготовленная пища, которую не надо было приготовлять в моё отсутствие, а можно было есть сразу. Чтоб ей было не слишком жарко и не слишком холодно. Но главное, — стараться, насколько

возможно, не оставлять её надолго одну, а когда приходится, то чем-то скрашивать её одиночество. В этом мне очень помогали мои новые друзья, в том числе и четвероногие.

Чтением мама была обеспечена благодаря нашей дружбе с молодыми врачами, снабжавшими нас книгами, которые им присылали, а также журналами и газетами (правда, не первой свежести).

Лето пролетело стрелой. Изредка нам удавалось всей компанией (кроме мамы, конечно, она ведь едва ходила) — побывать в лугах. На наших делянках, которые нам выделил колхоз, мы посадили картошку и старательно окучивали её всё лето. А осенью, когда картошку выкапывали, стаи гусей и журавлей неслись над нашими головами высоко в небе и жалобно курлыкали, словно прощаясь с нами… И сердце горько щемило.

Вот, летят себе свободные, куда влечет их инстинкт, а может быть, и смутные воспоминания? А мы? Почему мы должны оставаться здесь?..

Но и зима оказалась не так плоха. Если бы не дикие ветрища с пургой и морозами, когда и до больницы добраться бывало нелегко, то в общем, — ничего. Жить можно.

В нашей хижине всегда у печурки были сложены напиленные дровишки; в кадку налита вода. Хотя к утру она и затягивалась ледяной корочкой, пробить ее было не трудно. На печурке стоял пузатый чайник, а в больших казанах варилась каша или горох; горох и пшено почти всегда бывали в «Сельпо». Ну и, конечно, своя картошка здорово выручала!

Варилось всё в больших казанах (так мы называли эти кастрюли без ручек) потому что вечерами на наш «огонёк» обычно собиралась вся компания, а когда я дежурила в больнице, они засиживались у мамы допоздна.

Мама всё ещё была немного «ходячей» и подбросить поленце в печурку могла. Впрочем, от ночных дежурств меня очень часто освобождали, если только не было тяжелого больного в моей палате. Обходились санитарками. Да и врачи жили тут же, в больнице. Как я уже говорила — Бог миловал, и за этот год ни одного «летального исхода», (как «учёно» говорится на медицинском жаргоне) ни среди ребятишек, ни среди взрослых не случилось. Поэтому большей частью я ночевала дома и вечер проводила в нашей дружной компании.

Так сложилось, что в этой компании оказались все четыре юриста из нашего этапа! Был педагог — немец с Поволжья, который ужасно огорчался своим именем — «Адольф»! — надо же было родителям наградить его таким зловещим именем!

«— Ну что вы, Адольф Евгеньевич! Откуда ж им было знать?!»

Был один поляк со светскими манерами; входя в дверь, окутанный густым облаком пара, который встречал каждого входящего, он грациозно прикладывал руку к сердцу и восклицал: — «Целую пани ренчки!» — тонкий и элегантный даже в своём старом, еще лагерном бушлате, пан Кульчицкий!

Ели горох из жестяных мисок. Похваливали. Пили горячий кипяток (а иногда и чай!) из кружек, и не как-нибудь, а с сахаром, а иногда и с «подушечками», когда они бывали в Сельпо. Наши «колхозники» приносили своё молоко, которое им выдавали в колхозе, по поллитра в день.

Говорили о том, о сём… Вспоминали далекое детство. Рассказывали разные истории, или что-либо прочтенное в книгах. Ленинградка Рита, — бывшая преподавательница литературы много помнила наизусть, не только стихов, но и прозы. К сожалению, она бывала у нас редко, вскоре у неё завелся «друг сердца», и она от нашей компании отделилась.

О лагерях, втором аресте и этапе — говорили мало. Как ни странно, все еще на что-то надеялись. На что надеялись??

Ну, просто не укладывалось в голове, чтобы ссылка и вправду могла быть ВЕЧНОЙ. Нет, что-то должно произойти!

Конечно же, никто не ожидал именно того, что произошло спустя три с четвертью года. Мысль о смерти Сталина никому в голову не приходила. Да и в самом деле, до этого события было еще далеко. Ничто его не предвещало. Ведь мы встречали только 1950-й год.

Надежды наши ни на чем не были основаны, кроме неистребимой жажды человека — надеяться и верить. Жажды жить — а значит — приспосабливаться.

Мы все были очень далеки от политики, среди нас не было ни одного члена какой-либо партии (и коммунистической, в том числе!), так что «политических прогнозов» мы никаких не строили, и о том, что делается «в России» могли судить только по газетам, с большим опозданием, попадавшим к нам. Но всё-таки жили и надеялись…

Я думаю, что еще в нашей жизни очень важны были необходимость или просто желание о ком-то и о чём-то заботиться.

Например, мне — о маме. Друзьям — о моём с мамой быте. Маме — чтобы не потухла печурка и к вечеру поспел горох. Желание заботиться — огромный стимул для человека. И ссылку всё же невозможно было сравнить с лагерем, где никаких забот не могло быть — одно терпение и бесконечное ожидание…

Один из наших юристов, наиболее молодой и энергичный, имевший жену «на воле» и даже летом пока ходили пароходы

получавший посылки от неё, — начал строить планы.

Наша деревня, хотя и находилась недалеко от Верхней Тунгуски и Туруханска, но числилась еще в пределах Енисейской области, а не Туруханской. И это давало какие-то надежды.

— Давайте подавать заявления… Быть может, в Енисейске нужны люди со специальным образованием? Ведь Енисейск — город большой, бывший губернский! А тут — какая же мы польза для колхоза?!..

Сначала никто не верил и никаких заявлений не писали. И вдруг:

— Вы слышали? Слышали??

— Александра Петровича вызывали в милицию: — пришла бумага!

— Какая бумага, что вы говорите?

— Разрешение, разрешение пришло!

Оказывается — верно, пришло! Как бомба разорвалась! — В Енисейск! Город с разными учреждениями, магазинами, кино, библиотекой!..

— Конечно же, всем специалистам разрешат! Я же говорил!

Александр Петрович не стал дожидаться весны и пароходов.

Из Енисейска в Ярцево и обратно летали маленькие самолётики — открытые, с пилотом и двумя пассажирами, если таковые находились. Перевозили почту или какие-нибудь «бумаги». С таким самолетиком и улетел Александр Петрович.

Письма от него ждали, как манны небесной!

И письмо пришло.

— Ну, вот! Александр Петрович устроился юрисконсультом в «Енисейторг» И комнату снял без труда, и скоро к нему жена приезжает.

Тут уж все стали писать заявления, а наши юристы начали настойчиво подбивать меня: — Уезжайте!.. Без всякого сомнения! Вы должны ехать ради вашей мамы!

— Ведь мы все постепенно уедем — вы же погибните здесь без нас. Замерзнете к чертям в этом вашем «Парадайзе»!

Я и сама боялась за маму. В конце концов, тоже написала заявление, ссылаясь на возраст и болезни мамы, и надежду, что пригожусь в больнице — как опытная «настоящая» медсестра. Заявление было отправлено.

Не знаю, что сработало из моих доводов, но вскоре разрешение было получено. Мы стали ждать весны.

И снова к новым берегам

…Однажды ночью я услышала далёкий гул, а затем

грохочущие удары, как будто пальбу из орудий — то там, то здесь, всё ближе и ближе.

— Что это? — спросила мама, тоже проснувшись.

— Не бойся, это просто лед тронулся, — догадалась я.

— А с нами ничего не случится?

— Нет, конечно. Ведь мы высоко наверху, а Енисей далеко внизу. Не беспокойся, спи.

Но мне и самой не спалось, «орудийная канонада» подвигалась всё ближе и ближе… Под утро я задремала, и вышла на крыльцо, когда стало уже совсем светло.

…Боже, что за картина! Енисей был совсем уже не внизу. Всё его русло из огромных вздыбленных льдин, наклонившихся и поставленных как попало на ребро, поднялось выше, чем до половины нашего обрыва, и всё целиком медленно двигалось вниз по течению. Льдины налезали одна на другую, и вдруг рушились со страшным грохотом. Взошедшее солнце заиграло яркими радугами в столпотворении льдин, зажгло искры в остриях граней. Было красиво — и страшно! На берегу, у обрыва, кучками стоял народ — жители Ярцева.

Я подошла к нашим хозяевам: — Как вы думаете, не опасно?

— Да не должно бы, — отвечал наш бородатый хозяин. — А то, давай и впрямь, веди мать в избу — береженого и Бог бережет!

Я побежала одевать маму. Но и в самом деле — ничего не случилось, хотя льдины поднялись чуть ни до самого края обрыва. Еще бы чуть-чуть, и несдобровать бы нашей баньке!

Но потом, днем уже, где-то как будто что-то «прорвало», — лёд разом осел и с грохотом двинулся вниз по течению.

…Мы ждали первого парохода, и наше нехитрое имущество было уже рассовано по узлам и двум ивовым корзинам, которые Павел Васильевич подарил нам — кто-то специально сплел их для нас. До чего же быстро обрастаешь барахлом! Всего-то какой-нибудь год с небольшим, а уже… Но и бросить жалко — ведь всё нужное, а кто его знает, как там еще будет, в Енисейске-то?

Проблема была с Рыжиком и Жучком. Мама упрашивала взять их с собой! Ну, хоть Рыжика!.. Мне и самой было ужасно жаль оставлять этого умного и преданного котишку. Когда я, случалось, сама шла на Енисей за водой с коромыслом и двумя ведрами, — даже зимой, в мороз, Рыжик всегда меня сопровождал, спускаясь по крутой извилистой тропке до самой проруби, зябко тряся всеми своими лапками.

— Брысь, Рыжик! Уходи домой, Рыжик — но он не уходил. Ждал, пока я коромыслом не пробью ледяную корку, не зачерпну воды и, взгромоздив коромысло на плечи, не двинусь в обратный путь! Хорошо, что эта процедура была мне знакома с детства —

ведь я выросла в деревне! Только тогда Рыжик, уже не задерживаясь больше, стремительными прыжками несся впереди меня, но и то, время от времени оглядывался — иду ли я? «Не сковырнулась ли со своими ведрами под обрыв?.».

Увы, взять его, конечно, было невозможно. Ведь совершенно неизвестно, как всё устроится в Енисейске. Как с квартирой? Захочет ли хозяйка жильцов с котом?!

Мы подыскали Рыжику хороших любящих хозяев, которые никуда не собирались уезжать и отдали его с рук на руки.

И вот, хотите верьте, хотите нет. Когда мы уже устроились в Енисейске — первое письмо, которое мы получили было от хозяев Рыжика:

«Рыжик ничего не ест… Если выпустим на улицу, убегает в вашу баньку, — уж сколько раз приносили его оттуда…

А потом Рыжик отощал, не вылезал из-под кровати, на ласку никак не реагировал, а в один непогожий день вовсе исчез из дома. Как мы его ни искали, так и не нашли. И в вашей хатке — тоже не было».

Уж не отправился ли он искать нас в Енисейск?.. А, говорят, кошки не привязываются к людям. Вот вам и Рыжик!..

Мама конечно плакала, перечитывая письмо. Да и мне было горько и совестно перед Рыжиком.

С Жучком нашим тоже было не лучше. Еще собираясь, мы отдали его одному колхознику, который очень его просил.

Конечно, на другой же день Жучок прибежал назад, весёлый и счастливый. И сколько раз за ним не приходил его новый хозяин, Жучок встречал его дружелюбно, как старого знакомого, крутил хвостиком, брал угощение, и без сопротивления шел за ним с веревочкой на шее, но назавтра снова прибегал домой!

Посадить на цепь? На это мы не соглашались и взяли слово с новых хозяев, что на цепь его не посадят «Вот те крест!» Оставалось надеяться, что Жучок после нашего отъезда, убедившись, что домик пуст, — останется жить на новом месте.

Как знать… Как знать…

Мы ждали первого парохода, и наконец, он пришел. На пристани нас провожало много народу. Все наши друзья и знакомые; санитарки и сестра из больницы; «главврач» с женой, которая прослезилась, обнимая меня: «Ах, напрасно вы уезжаете!.. Как жаль, как жаль…»

Да и нам было грустно уезжать, оставлять место, которое приютило нас на первых порах нашей «бессрочной ссылки». И потом мы всегда вспоминали с теплотой этот наш первый «Сибирский» год.

…С нами уезжал один из юристов, обещал помочь в дороге и

позаботиться о нас. Позже приехали в Енисейск и остальные. Но — увы! — повезло только первому — Александру Петровичу, который устроился юрисконсультом в «Енисейторге». Больше юристов никуда не требовалось.

Один из юристов устроился ночным сторожем на какой-то склад; другой набивал опилками тряпочных кукол в пошивочной мастерской.

Павел Васильевич никуда не устроился, но, к счастью, наладилась связь с семьей (родные долго не знали, где он) и он стал регулярно получать посылки от своих, давно уже взрослых, детей.

Енисейск

Видимо моя полоса везения начавшаяся с приезда в Ярцево, всё ещё не кончилась. Мне опять повезло больше всех. Меня сразу же взяли в больницу — большую старую больницу — бывшую губернскую, а теперь — областную. Хорошую больницу с хорошими врачами (почти исключительно ссыльными).

Не меньше повезло нам и с квартирой. Кто-то из больницы познакомил меня с очень симпатичной пожилой парой, владеющей большим каменным домом в полтора этажа неподалёку от больницы. Узнав что я ссыльная, и мы с мамой ещё не имеем места где приткнуться, они тут же предложили нам остановиться у них, на что я с благодарностью согласилась.

А потом наши милые хозяева — сибиряки — (настоящие, а не ссыльные!) Пётр Петрович и Александра Васильевна Щегловы сдали нам за символическую плату полуподвальный этаж своего добротного каменного дома, и за все годы, что мы прожили у них, ни разу не повысили квартирной платы, хотя ссыльные в Енисейск прибывали и прибывали, всё больше с каждым годом. Цены на квартиры страшно выросли, и работу найти было всё трудней и трудней. Наши же хозяева отказывались повысить квартирную плату, даже когда я сама им это предлагала. И к маме моей относились удивительно сердечно как к родной, и очень помогали нам по хозяйству. Скоро мы с ними очень подружились. Дружба эта длилась до самой смерти стариков, а дальше перешла на детей и их внучку.

Как я знаю, в конце 50-х старики продали дом в Енисейске и уехали в Ялту, где обосновалась их старшая дочь Вероника служившая в армии и прошедшая всю войну до Берлина.

К тому времени когда приехали старики она уже была неплохо устроена, будучи главным бухгалтером какого-то важного санатория. Постепенно вокруг неё в Ялте осела почти вся

семья.

Дочь Вероники Элла — внучка наших милых хозяев впоследствии стала известной Ялтинской художницей.

Теперь старики-хозяева давно умерли, а с их детьми — тогда молодыми, а теперь уже тоже весьма престарелыми, я переписываюсь до сих пор. А мой старший сын Станислав — капитан Черноморского Пароходства плававший в те годы на Крымско-Кавказской линии (за отсутствием загранвизы!), часто бывая в Ялте часто навещал их семью и дружит с ними до сих пор.

Но возвращаюсь к Енисейску.

Больница в Енисейске помещалась в большом добротном здании о двух этажах. До революции здание принадлежало богатым сибирским промышленникам, построено было «на века», с метровыми стенами против лютых сибирских морозов, с тройными оконными рамами. Позже к дому были пристроены еще два корпуса — туберкулезный и инфекционный.

Больница была большая, районная. Она не была оборудована по последнему слову техники, — зато была хорошо укомплектована крупными специалистами — врачами и опытным средним медперсоналом. В основном, это были ссыльные, за исключением двух-трех вольнонаемных женщин врачей, которые приехали к своим ссыльным мужьям. Ссылка была бессрочной, и никто вернуться домой не надеялся.

В больнице не было главврача. Из Красноярска всё обещали прислать вольнонаемного главного врача, а пока что его обязанности временно исполнял (ВРИО) — пожилой ссыльный доктор Бендик, — опытный врач и блестящий хирург.

Оперироваться к нему приезжало начальство из Краевого отдела здравоохранения и работники Красноярского НКВД.

Доктор Бендик отчаянно уставал и постоянно не высыпался. Кроме «плановых» операционных дней, редкий день или — ночь обходились без срочной операции. Хирургическое отделение в нашей больнице было одно на весь огромный таёжный район.

Прикорнувши на пару часов в дежурке, одетый, небритый, с мешками под глазами, утром доктор Бендик неукоснительно проводил «пятиминутку», выслушивал отчет дежурного врача, шел на консультацию в любое отделение, вникал в любой вопрос — будь то чисто врачебный или хозяйственный, — и отправляясь наконец домой, приказывал его немедленно будить, «если что». Мы старались его щадить, но «если что» случались слишком часто, и телефонный звонок поднимал доктора Бендика с постели, едва он успевал погрузиться в сладкий блаженный сон.

Но, наконец, главврач, назначенный Красноярским Отделом

Здравоохранения, прибыл! Наше удивление было велико: — Это была молоденькая — ну, ей Богу, даже не девушка — просто девчурка, отнюдь не спортивного типа, — скорей похожая на японскую статуэтку. Выдающиеся скулы, чуть с раскосинкой глаза, аккуратно нарисованный ротик и великолепные жемчужные зубки — не хватало только кимоно с красивым бантом сзади и вычурной прически с бамбуковыми шпильками.

Впрочем, была и прическа. Клавдия Васильевна, — так звали нового главврача, не стриглась, хотя в те годы вся молодежь ходила уже стриженой. Прическа её была гладкой, с волосами низко спущенными на уши, и с тяжелым узлом на затылке. Это ей тоже очень шло.

Мы думали, что она имеет каких-то монгольских предков, но вскоре выяснилось, что родители ее — коренные сибиряки, — колхозники Красноярского края, и ничего экзотического в её истории нет. Кончив школу, она поступила в зубоврачебный техникум, но, едва начав работать зубным врачом, в выбранной профессии разочаровалась. Так как всегда она отличалась примерным поведением, училась неплохо, была активной комсомолкой и имела истинно пролетарское происхождение, она легко получила направление на переподготовку, закончив которую получила специальность врача — терапевта. И тут — к ужасу своему! — была назначена главным врачом в Енисейскую районную больницу.

— Иосиф Моисеевич, — я же ничего не знаю! — умоляла она, доктора Бендика не оставлять обязанности «ВРИО». Это было не в его власти, но, в общем, практически все осталось так, как было. Наша Клавочка, как мы ее между собой называли, ни во что не вмешивалась, ни одного сколько-нибудь серьезного решения без доктора Бендика не принимала, со всеми была внимательна и со всеми участлива. Очень скоро не только больные, но и весь медицинский персонал, ее полюбил.

Она старалась стать хорошим врачом, читала медицинские книги, которые ей давал доктор Бендик и другие врачи, выписывала медицинские журналы. За каждого «своего больного» переживала всей душой.

Но вдруг, произошло новое событие. Крайздрав, очевидно, все-таки беспокоило, что такую большую больницу возглавляет молоденькая комсомолочка, а не член партии. А учитывая, что медперсонал укомплектован бывшими «контриками», за которыми нужен глаз да глаз, нам прислали еще одного Главврача — теперь уже настоящего партийца.

Клавочка была счастлива. Она осталась заведовать терапевтическим отделением; с нее этого было достаточно, и она

с искренней радостью свалила бремя заведывания больницей на плечи нового врача. А кроме того… Кроме того Андрей Андреевич был неотразим и обаятелен неимоверно. Он безусловно, был «первым кавалером» маленького сонного городка Енисейска. Высокий, стройный, со стремительной, небрежной (я бы сказала — «расхлябанной», но такой термин пришел чуть позже, когда мы узнали его ближе) походкой. С пышной, в меру вьющейся каштановой шевелюрой, с шелковистой, нет, просто шелковой бородкой, тоже слегка вьющейся, которую он любил как-то особенно ласково поглаживать узкой холеной рукой. С глазами, посаженными глубоко и смотрящими как-то загадочно, — не на вас, а сквозь вас. С голосом — низким баритоном, отдававшим чем-то интимным, значительным и глубоким…

Андрей Андреевич не признавался доктору Бендику, что он «ничего не знает» и не умолял его продолжать быть «ВРИО», но… практически все осталось опять по-старому. На «пятиминутках», если он на них присутствовал, Андрей Андреевич загадочно молчал, а если «что-то» требовалось, обращался к д-ру Бендику своим интимным баритоном: «Вы посмотрите, доктор?» Но большей частью он на «пятиминутках» не присутствовал нимало этим не смущаясь и никаких объявлений не давая. Прождав для приличия минут 5–10, д-р Бендик начинал, «пятиминутку»…

Дело же объяснялось, куда как просто: Андрей Андреевич на первых порах поселился в больнице, на втором этаже где при хирургическом отделении была небольшая свободная комнатка. В первый же вечер (вернее ночь) после его приезда санитарка из хирургии наткнулась на вдребезги пьяного Андрея Андреевича, громко храпящего на площадке лестницы.

Вдвоём с дежурной сестрой кое-как втащили они его по лестнице и водворили на диван в отведённой ему комнате.

Утром об этом событии шепотом передавалось по всей больнице. Однако, вскоре это стало столь привычным, что заговорили об этом в полный голос, сокрушённо покачивая головами: «Такой молодой, такой красивый!»

Больше всех переживала за него Клавочка: — Его надо лечить! — с волнением восклицала она. Вскоре узналось, (от Клавочки же, конечно) что Андрей Андреевич, будучи на фронте, был сильно контужен, а когда контузия благополучно прошла — начал пить, — и это никак не проходит!

Но неожиданно наметилась перемена — сначала едва заметная, потом — явственная. Андрей Андреевич своими отсутствующими глазами все-таки заметил и разглядел Клавочку.

Роман начал зреть, и это было самым действенным лечением

— Андрей Андреевич теперь пил значительно меньше.

Дальше события разворачивались во все более ускоряющемся темпе, стремительно неслись под гору к своему трагическому концу.

Роман Клавочки с Андреем Андреевичем не был безоблачным. Иной раз Андрей Андреевич скрывался. Вместо того, чтобы пойти *с* Клавочкой в кино или побродить в городском скверике над просторами Енисея, он напивался пьяным, а грустная одинокая Клавочка ходила с заплаканными глазами.

Но вероятно, еще большие страдания доставляло Клавочке другое. В больнице неожиданно появилась еще одна вольнонаемная женщина. Это была направленная на практику молодая врач-педиатр.

Трудно представить себе большую противоположность нашей Клавочке… Анна Семеновна была вполне ультрасовременная эмансипированная «дама», с хриплым, словно пропитым голосом, с нечесанной копной крашенных волос, с грубым прыщеватым лицом и залихватскими манерами.

Даже в палату она входила с папиросой в зубах и, не найдя, куда её сунуть, бросала на пол и придавливала каблуком. Дети в палате пугались ее хриплого голоса и громкого смеха и не давались выслушиваться. Анна Семеновна сердилась и делала резкие замечания медсестрам и матерям.

Садясь, она закидывала ногу на ногу, и ее мини-юбка обнажала жирную, в пупырышках ляжку.

Дни Клавочки шли вперемежку — то ясные и сияющие, сулящие счастье, то грустные, полные тоски, неуверенности и одиночества.

Но вот, разнеслась «последняя новость»: Андрей Андреевич женится! Все вздохнули с облегчением, так как все сочувствовали Клавочке. Наконец-то роман подошел к своему благополучному завершению! Клавочка сияла, а Анна Семеновна снисходительно-покровительственно похлопывала ее по спине: — Заарканила, Клавка, дока? Молодчага! — одобряла она на свойственном ей жаргоне.

Теперь всё дело было за квартирой. Клавочка снимала маленькую комнатку, — не в ней же селиться молодожёнам? И тут Андрей Андреевич проявил неслыханный размах, вкус и щедрость. Он снял трехкомнатный особнячок, с палисадничком, где они будут жить одни, без хозяев — сами себе хозяева!

Они спешно принялись обставлять свою будущую квартиру мебелью, частью взятой (временно!) из больницы, частью купленной Клавой в Енисейторге — единственном большом универмаге города.

До больницы было далековато — пять длинных кварталов, но они эту проблему благополучно разрешили — в том же универмаге приобрели два велосипеда — один мужской, другой дамский, чтобы ездить на них на работу...

На велосипедах они представляли отличную пару — оба молодые, красивые, оживленные. Смотреть на них — было одно удовольствие.

И вот, настал день свадьбы, когда они торжественно расписались в ЗАГСе, и в больнице их все поздравляли. Вечером же, в новой квартире молодых была вечерника с вином, песнями и танцами под радиолу. Гостей было немного, — в основном, собутыльники Андрея Андреевича, а из женщин едва ли не одна Анна Семеновна. Из остальных удостоился приглашения только доктор Бендик, но он вскоре был вызван в больницу по какому-то хирургическому случаю.

Пели и пили долго, а когда под утро гости стали расходиться, Андрей Андреевич решительно заявил, что именно он должен проводить Анну Семновну домой — он сам, и никаких возражений!

Клавочка осталась ждать мужа дома. Она ждала его час и два и три… Ждала его на рассвете, когда небо окрасилось изумительно чистыми и яркими северными красками. Ждала и когда солнце показалось из-за зелёных кедровых крон окаймлявшей Енисейск тайги и тронуло своими лучами пыльные провинциальные улочки города. И тут она не выдержала: вытащила коробочку с кокаином, (наследство ее недолгой зубоврачебной практики), поспешно, кое-как разодрала десять или двенадцать пакетиков с порошком и, ссыпав в стаканчик с водой, выпила до дна, не отрываясь…

Вероятно она опомнилась в ту же минуту. По крайней мере, на всем пути от дома до больницы были слышны её пронзительные крики: «Спасите меня, спасите!»

Клавочка бежала посреди улицы. Ее волосы, не уложенные в прическу, неслись за ней темной волной; голубой халатик распахнулся и колыхался за её спиной, как два крыла большой бабочки. В ужасе она забыла про велосипед — быть может, он её еще и спас бы… Глаза ее были широко раскрыты и полны ужаса! Такой она и упала, не добежав одного квартала до больницы. Начались конвульсии и она потеряла сознание.

Клавочку быстро доставили в больницу, где д-р Бендик с доктором Кочаном возились четыре часа, делая все возможное чтобы оживить ее. Увы, это им не удалось. В больницу собрались все врачи, кроме Андрея Андреевича, которого нигде не могли найти… Все были потрясены!

Хоронили Клавдию Васильевну через несколько дней.

Она, лежала в нашем больничном морге, в гробу из кедровых досок, одетая в черный английский костюмчик, в котором часто приходила в больницу. Спокойное лицо с закрытыми глазами казалось живым, потому что губную помаду с губ не стерли. Старушка — её мать, в черном платке, по-мужичьи повязанном вокруг шеи, тихонько причитала. Она приехала хоронить дочь. Из женщин многие плакали…

Андрей Андреевич стоял, как истукан со своим отсутствующим взглядом, а рядом Анна Семеновна, твердо и прямо, словно бросая вызов: «Мы, что ли, в этом виноваты?». Глаза ее были сухи и гневны. Всем видом своим она показывала, что осуждает это глупое самоубийство, к тому же ещё — комсомолки!

Через неделю в больницу понаехало начальство из Крайздрава и из НКВД, конечно. Мы были созваны на срочное чрезвычайное собрание. Оно происходило в единственном нашем просторном помещении, — в подвале рядом с моргом. Поперек комнаты были поставлены деревянные скамьи без спинок, а перед ними, сооружён помост со столом и стульями для «президиума».

Президиум на этот раз не избирался, а всё началось просто с выступления представителя Крайздрава. Начав довольно спокойно, в процессе речи он распалялся все больше и больше. Особенно он напирал на слово «беспрецедентный», — очевидно оно казалось ему особенно устрашающим…

«…Это беспрецедентный случай… Чтобы молодой, талантливый, многообещающий врач — наложил на себя руки! Это — беспрецедентно! Врач, поставленный во главе большой районной больницы!.. К сожалению, мы не учли — какой больницы? Больницы, коллектив которой на восемьдесят процентов состоит из ссыльных!.. В этом наша ошибка, и мы горько раскаиваемся! Врач, — молодая женщина полная надежд и энтузиазма, жаждавшая отдать все свои силы и знания на службу нашему народу — оказалась в стае волков! Её бойкотировали, ее травили, ей вредили справа и слева… Она не выдержала — ведь она была так молода и так неопытна! Она не знала, с кем имела дело! Ее довели, — беспрецедентно! — до самоубийства!!!»

Мы слушали разинув рты, и глаза у нас, должно быть, повылезали из орбит. Мы! Это мы довели Клавдию Васильевну до самоубийства! Мы ее бойкотировали и третировали! Мы?..

Нашу Клавочку, которой все симпатизировали, которая никому не мешала! С которой ни у кого не было ни одного конфликта за всё время её работы в больнице!.. Что он несет? Что он городит, этот Крайздравник??

Невольно все взгляды обратились к Андрею Андреевичу. Он сидел в первом ряду, почти прямо против трибуны, за кинув ногу на ногу, в позе меланхолической и томной, поглаживая свою шелковистую бородку.

Вот сейчас он встанет, остановит оратора и скажет, что всё это недоразумение, что товарищи из Крайздрава недостаточно информированы, что никто не «третировал» Клавдию Васильевну и все, что произошло — несчастный случай, — плод его, Андрея Андреевича, легкомысленного поведения, в котором он, конечно, раскаивается, так как не хотел и не думал причинить Клавдии Васильевне вреда, а уж тем более — её смерти… Все ждали, затаив дыхание.

Но он не встал, не остановил оратора. Он сидел, всё так же осторожно поглаживая бородку. Он не шевельнулся и тогда, когда «товарища» из Крайздрава сменил «товарищ» из НКВД.

Тот слово в слово повторил речь первого, несколько расширив рамки информации. Оказалось, что мы — «проклятые» контрики, которых не перевоспитал ни лагерь, ни ссылка, которые прячут свое истинное лицо под личиной лояльности и «хорошей работы». Мы исподволь разваливаем работу и не останавливаемся ни перед чем, даже перед прямым убийством!.. Кто же, как не мы довели эту молодую цветущую женщину, — талантливого врача! До самоубийства? Кто посмеет сказать, что это не так?

Мы все знали, что это не так. Но сказать об этом осмелился только один. Это был доктор Бендик. Он встал и, характерным жестом сдернув очки, словно они ему мешали, принялся тщательно протирать их носовым платком.

— Я думаю… Я полагаю, что тут имеет место недоразумение, — медленно начал он. — Мы все очень любили и уважали Клавдию Васильевну. Работать с ней было легко и приятно… Корень случившегося, я полагаю, надо искать совсем в другом — в неудачно сложившейся личной жизни Клавдии Васильевны…

— А вы не полагаете, Бендик, — прервал его энкавэдист, опустив даже привычное «доктор», что особенно полоснуло по ушам, (вот тебе и ссылка, «не лагерь»!) вы не полагаете, что мы располагаем большим материалом, что мы располагаем **исчерпывающим!** материалом?.. Вы не полагаете, что Клавдия Васильевна не нуждается в ваших адвокатских услугах? Я советовал бы вам придержать язык за зубами!

Разумеется, это был дельный совет. А покойная Клавдия Васильевна, уже не нуждалась ни в чьих услугах. Мы со страхом смотрели на д-ра Бендика — дошло ли до него это?

Постояв минуту — ужасная, жуткая пауза, — он сел, не сказав больше ни единого слова. Мы вздохнули с облегчением.

«Собрание» закончилось «наказом» не забывать этого «беспрецедентного» дела и держать свои мнения при себе.

Из наших врачей пострадало двое: доктор Качан, бывший дежурным в тот несчастный день и дольше всех возившийся с Клавочкой, — сделавший все, что возможно было сделать в наших условиях, чтобы реанимировать её, и доктор Грузиевский — старичок фтизиатр, (единственный на всю больницу), — заведующий туберкулёзным отделением, сладко отсыпавшийся дома после ночного дежурства и узнавший о происшедшем последним.

Обоих «изъяли» из больницы и перевели в низовья Енисея, в крохотные деревушки, где и больниц-то никаких не было. К счастью, к д-ру Грузиевскому приехала жена — такая же старушка, — и он благополучно скончался у нее на руках тем же летом. Было хотя бы кому похоронить.

Доктора Бендика не тронули, (вероятно не велели наверху) — дескать может понадобиться еще. О судьбе д-ра Качана я ничего не слышала… Андрей Андреевич продолжал возглавлять больницу до самого нашего отъезда из Енисейска в конце 1953 года.

В Енисейске была у меня и работа, и квартира, и мама, и старые ярцевские и новые енисейские друзья. И там, в Енисейске, прошли три последние года моей «бессрочной» ссылки, которые я считаю самыми благополучными и лёгкими. И новую собачку для мамы завели, хотя о Рыжике и Жучке она очень жалела и вспоминала их всегда.

Но и с этой собачкой маме, к сожалению, пришлось распроститься так как вскоре после смерти Сталина, нам, — ссыльным выдали наконец настоящие паспорта, хотя и с ограничением в приближении к большим городам и многим районам в 101 километр. Но это нас не пугало. Мы решили возвращаться в центральную Россию поближе, насколько удастся, к Москве, к культуре и, конечно, к моим детям. Даже место наметили на карте — Рязанская область. А там на месте найдём через Облздрав какую-нибудь деревеньку с больничкой и будем дожидаться амнистии, которая теперь уже точно не за горами.

Мужа моего — Макаши, к тому времени, уже давно не было в живых. Он умер вскоре после приезда младшего сына Вячеслава в Москву, весной 1949-года от разрыва аневризма аорты, развившегося у него вследствие фронтовой контузии. Так, по крайней мере, говорили врачи. Умер он прямо на операционном столе, будучи уверен что всё кончится благополучно, полный

надежд и планов на будущее… Увы! Не суждено было…

С первыми признаками осени я ушла из больницы, тепло распрощавшись со всеми сёстрами и врачами. Снова распродав всё что удалось, из нашего нехитрого имущества, мы со слезами простились с нашими милыми хозяевами — стариками Щегловыми, которым оставили мамину собачку, погрузились на пароход идущий до Красноярска, и отбыли в полную неизвестность, но полные радужных надежд на будущее…

Глава V
Мой старый одинокий друг

…Прекрасной бабочкой была
моя мечта.
Но я до крылышек её
дотронулся неосторожно,
И дивной бабочки исчезла
красота.
И возвратить её — уж
невозможно…

Т. Щепкина — Куперник
МОСКВА, ГОД 1965

Итак, с моего ареста в 1935-м прожито уже тридцать лет. Карелия… Урал… Сибирь… Верховья Камы и низовья Енисея… разлапистый кедрач и непроходимые болота… Пешие переходы с конвоем и дозорными псами. Этапы на колесах и этапы на баржах по воде… Годы жизни в сибирской ссылке, три года в рязанских деревнях за 101-м километром…

Полно, да было ли всё это?.. Или это только старый, всеми забытый фильм, не обо мне снятый?..

Уже почти десять лет, как я реабилитирована. Как и все, дожившие до «волюнтаристского акта» незадачливого Никиты — «кукурузника». Теперь мало кто помнит этот «акт» — больше помнят, как он в Нью-Йорке в ООН «туфлей по кафедре стучал». И из миллионов людей, которых он своим «актом» от голодной смерти спас, в живых теперь уж осталось немного. Они-то помнят!..

Круг моей тюремно-лагерной эпопеи замкнулся.

Я вернулась в Москву («по месту жительства»), даже комнату дали на Кутузовском, правда в трёхкомнатной квартире с двумя соседями, и теперь, в шестидесятых, живу обычной «нормальной»

жизнью. Конечно, советской, поскольку пока живу в Советском Союзе. Пишу детские книжки. Ничего, понемногу печатают. Занимаюсь журналистикой. Тоже ничего, много разъезжаю. Всё нормально и… буднично. А когда-то, так мечталось об этом!.. И прошлое теперь вспоминается, как страшные нереальные сны…

Мама дожила со мной почти до 84 лет, и однажды тихо уснула навсегда сидя на своем любимом кресле…

Сыновья мои давно выросли, и живут своей жизнью, хотя и наведываются ко мне довольно часто. Оба они к этому времени давно разочаровались в советской действительности, ещё после того, как одного из них, в 50-х, выставили из Физико-технического института, докопавшись до моей «зачумлённой» биографии, а затем закрыли ему загранвизу вскоре после окончания им Одесской Высшей Мореходки, а другому не дали поступить ни в аспирантуру, ни на работу в академический институт, после очень успешного окончания Физфака МГУ, всё по той же «серьёзной» причине. В связи с этим он вынужден был перебиваться случайной работой, от переводов технических текстов и научных статей с английского — до работы строительным рабочим в бригадах «шабашников».

Оба они не желали мириться с такими жизненными перспективами и понимали что с их специальностями других может и не быть. Они уже в то время мечтали выбраться за рубеж и начать жизнь сначала. Особенно стремился к этому младший — Вячеслав. Он даже говорил брату по секрету от меня, что больше не хочет так прозябать, и если не удастся вырваться из ненавистного «режима» в течении ближайших двух — трёх лет, то он, скорее всего, покончит с собой…

У меня, в своё время, выдержки было больше…

В конечном итоге, — нам всем троим удалось уехать в Америку. Но произошло это не через три, а через девять лет.

Если успею, расскажу и об этом в отдельной книжке.

А пока хочу рассказать об одном интересном знакомстве, начавшемся ещё в лагерях — в 1935-ом, перешедшем в дружбу, после моего возвращения в Москву и продолжающемся до сих пор, хотя к сожалению, только в письмах.

Итак, Москва, 1965 год.

Сижу однажды перед телевизором, — в своей комнате на Кутузовском. На экране что-то рассказывает Георгий Гулия, — один из постоянных авторов «Литературной газеты» и член её редколлегии.

«Железный занавес» в те годы начинает чуть колебаться. «Избранные» и «надёжные» изредка могут получить и

загранкомандировку. Вот и Гулия только что вернулся из Египта. Он вещает с экрана о том, что будет писать книгу о Древнем Египте. Из эпохи фараона Эхнатона (18-я династия).

Гулия показывает фотографии: вот он сам на развалинах Ахетатона, города, воздвигнутого фараоном-реформатором — Эхнатоном.

Правда, самих развалин не видно. Стоит Гулия на каком-то совершенно пустынном и голом месте.

— Это то место, — поясняет он, — где Эхнатон, покинув старую столицу Египта — «Стовратные Фивы», основал свою, гордо назвав её «Городом солнца»…

А вот и сам фараон! — Портрет во весь экран величиной возникает на экране. Какое прекрасное и вдохновенное лицо… Почем уже я вздрагиваю, почему?.. Или?..

— А это — его жена, красавица Нефертити — продолжает Гулия, — несомненно, всем вам знакомая! — Теперь поверхность экрана занимает головка действительно «всем знакомой» Нефертити. Но какая очаровательная, реальная, прямо живая, из плоти и крови — хотя несомненно «египетская»… У меня захватывает дух… А Гулия продолжает свой репортаж: — Это работы художника Михаила Михайловича Потапова, который живет в Закарпатье, в городе Хусте.

Ну конечно же я узнала! Боже мой!.. Лагпункт Пиндуши. Египетские головки на обрывках картона… Галчиха… Ну конечно же — Мишенька Потапов!

Я хватаю лист бумаги, пишу не видя строчек, как слепая. На конверте я пишу:

«Закарпатье, Город Хуст. Художнику М. М. Потапову».

Вероятно, городок небольшой, и не так уж много в нем художников. А верней всего — только один. И я тут же бегу отправлять письмо.

Грёзы о Египте

…Он тогда, как и я, работал в КБ Пиндушской Судоверфи. Никаких «общих работ» не знал, и, к большому его счастью, так и не узнал за весь свой «срок». В КБ он работал в отделе внутреннего оформления судов. Его эскизы всем нравились, его хвалили, но похвалы эти мало трогали Мишеньку. Они как бы плыли стороной, как и вся жизнь вокруг него. Если к нему обращались, он отвечал вежливо и даже охотно, но сам ни с кем никогда не заговаривал даже во время «перекуров» (сам он не курил ни тогда, ни в молодости, ни потом). Он не искал ничьего общества, но о себе рассказывал свободно и легко. И историю его

жизни вскоре узнали многие.

Это началось давно, очень давно, — когда Мишенька был ещё ребёнком. Вот что он рассказал мне о своей первой встрече с Древним Египтом, когда ему, девятилетнему мальчику, ученику первого класса мужской гимназии, впервые попал в руки учебник по истории Древнего Востока: «…Увидев иллюстрации по Древнему Египту, я был потрясен, всецело захвачен ими: Великий Сфинкс, пирамиды Гизеха, пилоны древнеегипетского храма, мумия в саркофаге, Богиня Баст с головою кошки — всё это показалось мне близким и родным мне; когда-то и где-то виденным мною, но не на картинках, а в жизни. Когда же?.. И где?.. Я испугался — не схожу ли я с ума?»..

Перепугалась и мать мальчика, — *никогда никаких книг о Египте до этого он не читал, и никто ему о нём ничего не рассказывал…*

Свой арест и лагерь Мишенька считал, как и все ключевые события жизни, — судьбой, «кармой». И он давно понял что сопротивление бесполезно и бессмысленно. Понял не на Лубянке, и не в лагере, а гораздо раньше ещё тогда, когда подростком бродил в окрестностях Севастополя и по развалинам, любимого Херсонеса. Когда впервые познакомился с учением теософов, и понял ПРИЧИНУ своей страстной любви к Древнему Египту…

Мишенька удивлялся, когда его расспрашивали о его «деле», о допросах. Ему казалось это совсем не важным, его не волновало, за что его взяли, почему?.. Лубянка, лагерь — это всего лишь звенья в ожерелье судьбы.

Арест и лагерь он остро переживал только в двух аспектах: у него отняли двух единственно близких и дорогих ему людей — обожаемую им мать, и… невесту (быть может, еще более обожаемую?). Они остались «там». Он переживал их потерю, как окончательную, на всю жизнь. Что касается невесты — его предчувствие не обмануло. С матерью ему еще довелось встретиться и ещё пожить вместе какое-то время.

Всякое воспоминание о них вызывало горькие слёзы, а не вспоминать он не мог.

Второй аспект — тоже не менее горестный. Это крушение навсегда, как он тогда считал, мечты, лелеемой всю жизнь, — увидеть свою Прародину, любимый свой Египет. Если до лагеря из робких его попыток ничего не получилось, то о чем же говорить теперь?!..

Мишенька Потапов был глубоко убежден, что в своей прежней, давно прошедшей жизни, тысячелетия назад, душа его жила, воплощенная в египтянине эпохи фараона Эхнатона, египтянине, близком ко двору Эхнатона, так же обожавшем этого

фараона-реформатора, как и теперь, спустя тысячелетия, обожает его в теперешнем своем воплощении Мишенька Потапов. Он считал Эхнатона не только «реформатором», борцом с языческими жрецами, но и мессией, провозгласившим веру в Единого Бога, — предшественником Христа, первым основоположником монотеистической религии, проповедующей любовь ко всему живому и к Создателю самой жизни.

Мишенька помнил свою прародину неясно и расплывчато, но ЗНАЛ, — что это — именно ОНА. Помнил так, как мы помним родной город, дом в котором выросли, дни своего детства — счастливые или печальные — и лелеем эти воспоминания в душе до самой глубокой старости, до самой смерти…

Когда Мишенька говорил о возлюбленной своей прародине, он становился живым человеком. Щеки его розовели, глаза начинали блестеть. Скорбное выражение исчезало с его лица. В остальное время он был похож на человека, действующего автоматически, в состоянии летаргического сна, хотя все действия его были разумны и логичны.

Историю «перевоплощения» Мишеньки знали не только его ближайшие друзья, но — в общих чертах — и всё население лагпункта, не только интеллигенция, но и рабочие, и даже урки. И — удивительно! — все относились к нему с большой симпатией (даже, воспитанные коммунистической системой, безбожники!). «Наш египтянин» — никогда не звучало насмешкой, или «прозвищем» — ну, может быть, как фамилия.

«— Вы не видали Мишеньку-египтянина? Куда же он подевался?»

Единственным утешением Мишеньки Потапова оставалась возможность и тут, в Пиндушах, рисовать. Товарищи по КБ усердно собирали для него кусочки картона; через расконвоированных бытовиков доставали кисточки и краски.

Когда Мишенька, отыскав укромное местечко за бараком, или уединенную полянку на островке, присев на пенек или просто на зеленую кочку, начинал рисовать, он совершенно отключался от окружающего мира; он словно переносился в ту далёкую давно прожитую жизнь; он видел её, — эти дикие равнины, выжженную солнцем землю, каменные сооружения, которые он сразу «узнавал»… Удивительные города, роскошные дворцы и храмы, людей в небывалых стильных одеждах… Он ВИДЕЛ, — и рисовал то, что ВИДЕЛ.

Вот почему пейзажи и пирамиды древнего Египта на его рисунках утрачивали стиль «интерпретации» или «воскрешения», но воспринимались, как реальные, земные пейзажи. Те, кто видел эти картины, чувствовали себя современниками; — видели их,

как видели их современники, как видел их Миша Потапов. Это чувство необыкновенной реальности его живописи, в будущем, не раз отмечали крупные специалисты, видевшие работы Потапова, но об этом я расскажу потом.

Лица со странными, «не нашими'» чертами, оживали под его кистью, словно бы он рисовал их с натуры. На самом же деле, он, обладая феноменальной памятью, использовал своё внутреннее зрение и воспоминания о древних — дошедших до нас остатках скульптур, о посмертных масках, о росписях фризов и фресок — о том, что сейчас хранится в богатейших коллекциях музеев мира. Он помнил фотографии из музейных каталогов, помнил уникальные фотографии, воспроизведенные в трудах крупных ученых-египтологов. Беря их за основу он оживлял их силой своего таланта и помещал в перспективу природы и культуры того древнего Египта, память о котором жила в его душе.

Уже тогда, к 30 своим годам Миша Потапов и сам был серьезным, знающим египтологом, имевшим обширную переписку с египтологами-профессионалами. К тому времени уже был заложен и фундамент его собственной египтологической библиотеки, в которой имелись фолианты с дарственными надписями авторов. Всё это было конфисковано при обыске; так и сгинуло в подвалах НКВД. Но многое осталось в его памяти.

Рисунки его имели большое сходство со всем этим историческим материалом, и в то же время, повторяю, — были настолько живы, естественны и натуральны, что невольно казалось, — вот сейчас шевельнется эта головка и живые глаза встретятся с твоими…

Несмотря на «укромность местечек», Мишеньку всегда находили, и постепенно вокруг него образовывалось кольцо «зрителей». Правда, они мало мешали художнику поскольку затаив дыхание следили за его работой. Да и Мишенька вряд ли замечал их… И я, уже зная его «историю» так же замирала в кругу восхищённых зрителей, боясь хоть единым словом нарушить магию творчества.

Вот из под кисти художника появляются нежные очертания женского тела, чуть прикрытые струями прозрачной материи; тонкий профиль горделиво откинутой головки, — такой нездешней, и такой «живой»!..

Конечно, любимейшие портреты Мишеньки — это божественный Эхнатон и жена его — красавица Нефертити. И рисует он их чаще всего другого. Множество фотографий с разных древних оригиналов видел он в музеях, много фотографий хранил дома — ничего этого у него сейчас нет. Но память его не подводит. Он ВИДИТ все эти фотографии, так же, как ВИДИТ

их, — своих бывших современников — в их жизненном воплощении… И «зрители» безошибочно узнают в далеко еще не законченном наброске: «Нефертити» — чуть слышно шелестит в воздухе…

Вот так впервые встретилась я с творчеством Михаила Михайловича Потапова.

Почти у всех его товарищей по работе и бараку были бережно хранимые кусочки картона с египетскими головками, или пирамидами. Да и не только у них. Мишенька увлечённо рисует, но так же охотно дарит «на память» свои рисунки, кто бы ни попросил.

Разные люди населяют лагерь. Многие никогда и не слышали ни о каких Эхнатонах с Нефертити, да и вообще о Древнем Египте. (А картинки нравятся всем!). Интеллигенция в КБ, конечно, знает. Есть люди склонные верить в «доисторическую» память Миши Потапова. Большинство же относится скептически, считая, что всё это плод необычной фантазии художника. Но никто над ним не смеется — он пользуется всеобщей симпатией, всеобщим сочувствием. И если Мишенька бредет на остров без обычного ящичка с красками, никто не следует за ним — пусть погрустит и поплачет в одиночестве…

…В Пиндушах, как и во всех лагпунктах был клуб. Как бы ни был плох и захудал самый бедный лесоповальный лагпункт, пусть даже населенный одними «доходягами», уже не способными выработать пайку себе на жизнь, но и в нем обязательно имелся КВЧ (Культурно Воспитательная Часть) и, — хоть крохотный клуб. А как же иначе?.. Или вы забыли, что лагеря — это вовсе не наказание преступника, а его «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»! (Если забыли — прочтите книгу «Беломорканал» под редакцией М. Горького, изд. 1933 г.). А чем же и перевоспитывать, как не приобщением к культуре? Так как же без КВЧ и клуба? За «клубную работу» и начальник лагеря и КВЧ получали премии. Вот почему начальство лагпункта не мешало лагерной интеллигенции «заниматься» клубом, несмотря на любые страшные антисоветские статьи в формулярах, — цена которым была хорошо известна всем НКВДэшникам!

На первый взгляд — парадоксально. Уродливо, извращенное издевательство! Люди с голоду умирают, им бы лишние 200 гр. хлеба, необходимые чтобы выжить, а им — концертик, — песенки под гитару, лихая чечёточка!.. Но это только на первый взгляд.

На самом деле клуб, конечно, никого не «перевоспитывал», но всё же вносил в жизнь лагеря хоть крошечную струйку нормальной жизни, чуточку воздуха, напоминал, что ты, — несмотря ни на что, — еще человек. И это не только для

интеллигенции, которая «занималась» клубом, но и для всех зрителей; как для самых безнадежных доходяг, так и для самых отпетых уркаганов, так как какие-то искры человечности сохранялись и у них, хотя «законы» их жизни — были зверски и бесчеловечны…

Итак, в Пиндушах был клуб. Так как лагерь был богатый, это был отдельный большой барак, в котором имелся зрительный зал и весьма приличная сцена. «Клубных волонтёров» и любителей всякого рода сценического искусства было так же достаточно, — благодаря наличию КБ. Ведь инженерно-технический персонал составлял едва ли не треть населения лагпункта.

Воспоминания о Пиндушском клубе и его деятельности тоже связано у меня с Мишенькой Потаповым, каким помню Его в те фантастически далекие времена, когда я встретилась с ним впервые.

В Пиндушеском клубе постоянно устраивались концерты; — среди заключённых нашлись неплохие солисты. Игра одного из талантливых зэков на баяне восполняла отсутствие рояля; были также и гитара, и скрипка, И даже ставились маленькие пьески, типа чеховского «Предложения», если удавалось достать текст, а то и вспомнить по памяти. Зрительный зал, оснащенный деревянными скамьями, был всегда полон, а зрители весьма отзывчивы, включая урок и «отпетых» малолеток, которых всей «колонной» приводили в клуб.

Когда я появилась в Пиндушах, конечно, я примкнула к волонтёрам клуба, тем более, — что к любительской сцене я была причастна ещё до всяких лагерей…

И вот, нам пришла безумная идея — поставить — ни много, ни мало! — «Без вины виноватые»! Островского. Как потом оказалось, идея вовсе не была безумной, и «Без вины виноватые» были поставлены, да еще, с каким успехом! И были повторены ещё три или четыре раза! Я уже упоминала об этой постановке во второй книге моих воспоминаний.

Для ролей, как всегда, не хватало женщин. Кручинину должна была играть я, но Коринкину; как мы ни уговаривали попробовать Раечку Тэн, — она стеснялась и ни за что не соглашалась. Пришлось на роль Коринкиной пригласить нашу дневальную, — бывшую баронессу (настоящую!) довольно-таки преклонного возраста, слегка волочившую одну ногу, но с великолепным «прононсом» и аристократическим «ястребиным профилем». Сыграла Коринкину она весьма неплохо, хотя волновалась ужасно: — Ну как я выгляжу?.. — спрашивала она всех, накладывая грим на свои морщины. — Не стара?.. Правда?!

Мужские роли разошлись отлично — нашелся и Дудукин, и

Шмага, а молоденький Коля Ф. (сидевший за гомосексуализм, который в Союзе карался уголовно; — как сейчас, не знаю), оказался очень чутким и трогательным Незнамовым… Не хватало — увы! — Галчихи. Никто не хотел играть Галчиху, да и женщин-то в Пиндушах было — раз, два — и обчёлся. Вопрос о Галчихе оставался открытым. А репетиции уже шли!

Мы не раз звали Мишеньку Потапова прийти к нам в клуб, надеясь отвлечь его от грустных мыслей. Он улыбался, благодарил, но не шёл… Поэтому я очень обрадовалась, когда на одной из репетиций увидела его одинокую фигурку в пустом зрительном зале. И вдруг эта, фигурка, поднялась и спросила тихим и неуверенным голосом: — Может быть, я сумел бы сыграть Галчиху? Может быть, попробовать?

Сначала мы были озадачены. Но… миловидное, похожее на девичье лицо. Высокий, с небольшой хрипотцой голос… А когда под подбородком завязали старушечий платок, из под которого выбивались седые лохмы самодельного парика — все так и ахнули. Грим, который сам себе наложил Мишенька превратил его лицо в старческое… Сыграл он Галчиху, надо сказать, превосходно!

«…Да? Да… Как же. Помню… Гришенька, маленький такой…»

Сцена Кручининой с Галчихой неизменно вызывала бурные аплодисменты, а немногие женщины-зрительницы и малолетки из «колонны» плакали навзрыд. Слезы застилали и мои глаза, что было, конечно, совершенно не по — театральному… Но надо учитывать еще и то, насколько эта чудесная пьеса была близка нашим сердцам в тогдашней нашей ситуации.

На этом кончаются мои лагерные воспоминания о тех давних встречах с удивительным художником — египтологом М. М. Потаповым.

Я не ошиблась. Ответ из Хуста пришел быстро. Взволнованный, как и я, далёкими воспоминаниями Мишенька Потапов (да нет, какой уж теперь «Мишенька» — под шестьдесят, или ЗА шестьдесят — вероятно!), т. е. Михаил Михайлович Потапов приглашает приехать повидаться. Соблазняет красотами Карпат: «…Вы не представляете, до чего здесь красиво! Широкая Тисса, от города отделенная цветущим сейчас душистым лугом. Травы — по пояс! Кусты шиповника, как розовые облака! А на другом берегу — крутые скалы и высокие темные карпатские ели над ними И всё это отражается в воде. Тут, в широкой долине, Тисса течет спокойно…

Приезжайте, скорей приезжайте!»

Хуст

Тогда, несмотря на свои — вот-вот 60! — я была еще легка на подъём; колесила по Подмосковью на своем стареньком велосипедике.

Через месяц, прихватив и велосипедик (в багаже, конечно!) я была в Хусте.

Сразу влюбилась. Небольшой, чешский (когда-то) городок, чистенький, весёлый, белый с красными высокими и стройными черепичными крышами, весь в тополях и платанах. И такой колоритный, особенно в базарный день, когда улицы сплошь запружены велосипедами — ведь другого пассажирского транспорта тут нет, (я не напрасно прихватила свой) — а на велосипедах восседают степенные гуцулки в широчайших юбках, скрывающих колеса велосипеда, в пестрых платках, накинутых на плечи и в белых «хусточках» на голове. Весь велосипед обвешан бидонами и корзинками с творогом или фруктами! Каким образом велосипед под всем этим грузом не падает, а бодро катится в реке других — кажется просто чудом. И я тоже качусь в этом потоке и не падаю, правда, бидонами не обвешана!

Итак, я в гостях у М. М. Потапова, в его «скворечнике», как он называет своё жилище, но мне хочется назвать его «голубятней». Оно построено его собственными руками прямо на крыше небольшого старенького дома на окраине Хуста. Это дом племянников М. М., сыновей единственного оставшегося в живых его брата.

В «голубятню» ведет обыкновенная приставная железная лестница, с которой Михаил Михайлович уже дважды слетел, в подтверждение чего он показывает белый шрам на лбу и искривленную переломом переносицу. — Но, слава Богу, пока жив!

«Голубятня» — небольшая комната, около 25 кв. м низкая, но с большим широким окном. Её обстановка — стол, стул, узкая железная кровать, маленький органчик (педальная фисгармония) и большой мольберт. Книги, много книг по Египту, вновь собранных годами, сложены аккуратными стопками занимают угол, безо всяких шкафов. В другом углу — небольшая кирпичная печурка, видимо тоже собственного производства. Вот и всё.

Стены же «голубятни» сплошь завешаны большими картинами, писаными маслом. Это — галерея портретов всей семьи фараона Эхнатона — его самого и Нефертити, их дочерей и мужей этих дочерей; матери и отца Эхнатона. Некоторые портреты повторяются, поскольку Михаил Михайлович использует различные исторические источники. Это любимые

картины М. М. и всю галерею он называет «Эхнатонианой». Работа над ней постоянно продолжается. Есть среди картин и темпера, и акварель.

Сейчас, когда широко открыта дверь, а в распахнутое окно вливается аромат прибрежных Тисских лугов — это прекрасно. Но… представьте себе всё это зимой. Ведь М. М. живет здесь — это не мастерская, это его жильё. Печурку надо топить непрерывно, никакого тепла тщедушные стены «голубятни» сохранить не в состоянии. Печурка топится дровами и углем, постоянно чадит и дымит. И картины покрываются копотью. Это приводит Михаила Михайловича в отчаяние. — Они же погибают! — в отчаянии восклицает он. — Это моё несчастье!

…Трудно поверить, что вся эта красота и богатство красок созданы здесь, в маленькой чердачной комнатушке. Здесь была создана не только его любимая «Эхнатониана» — сплав воспоминаний о прародине (или о странной детской фантазии художника?) и серьезных знаний египтолога. Здесь же было написано немало икон и образов. Большие иконы, написанные по заказу, украшают Мукачевский собор; другие — пределы и иконостас Одесского Кафедрального собора; некоторые еще ждут отправки, и я вижу их на стенах «голубятни».

На небольшой полке стоят маленькие образа и иконки, которые М. М. пишет за очень низкую плату, а то и вовсе бесплатно, всем, кто ни попросит. Иконопись — для него средство к существованию, и в Хусте Михаил Михайлович более популярен, как иконописец.

Однако, существует и немало серьезных людей, которые интересуются его «египетской» живописью, и ценят её очень высоко. Есть и молодежь, восхищающаяся его уникальным творчеством, готовая помочь ему во всяких житейских делах и послушать рассказы М. М. Пока я была в Хусте, я встречалась со многими из них.

Но Михаил Михайлович, как и тогда в Пиндушах, несмотря ни на что, чувствовал себя одиноким, никому не нужным, а «Эхнатониане» и вовсе грозила гибель… Обширная переписка с египтологами, присылающими книги и статьи, всё это мало утешало его. Болезненно переживал неудачи с устройством картин на какие либо значительные выставки. Вот таким застала я его в Хусте, в середине 60-х годов.

А вот что рассказал мне Михаил Михайлович когда в чудные летние дни бродили мы с ним по отрогам карпатских предгорий, неподалёку от Хуста, или сидели на берегу Тиссы и любовались её течением в серебряных искрах:

Он освободился из лагеря буквально накануне начала войны

и почти тут же оказался в оккупированном немцами Крыму, где он жил до ареста и где оставались все близкие ему люди.

Последующие события были какой-то жуткой фантасмагорией. Тщетно разыскивал он в Крыму свою мать и невесту. Гораздо позже, уже после окончания войны, он узнал, что невеста его была эвакуирована в Ташкент, где вышла замуж за польского офицера и уехала с ним в Польшу.

— Если женщина, которую я обожал, которой верил как самому себе — могла изменить мне и бросить меня, то что же думать о других?!..

Михаил Михайлович поклялся никогда не связывать свою жизнь ни с какой другой женщиной, и клятву эту сдержал.

Два года он разыскивал мать и всё же нашел её, в ужасном состоянии, на краю гибели, нищей, в грязи, умирающей от голода, но всё же — слава тебе Господи! — нашёл!.. Не буду останавливаться на перипетиях дальнейшей жизни М. М. в Крыму. Это было трагические и самое смутное для него время. Это была борьба за то, чтобы «выжить» и спасти мать. Для него, — такого неумелого во всем, кроме живописи, застенчивого и «не от мира сего» — по силам ли было это ему?.. Но о какой живописи можно было думать тогда?

Рассказы Михаил Михайловича были сумбурны, сбивчивы, полны всяких мистических подробностей и нюансов, и я, должно быть, не всё понимала в них.

К этому времени относится принятие М. М. сана диакона, без чего он вряд ли смог бы продержаться в эти годы в Крыму. Этот сан он носит и до сих пор. Однако, священником ему стать не привелось. Он вскоре рассорился на почве своих теософских взглядов с Евпаторийским архиепископом, при котором служил, тот пожаловался в патриархию, и М. М. едва не лишили сана диакона. Потом все же «помиловали», сан оставили, но служить почти не давали, а рукоположение в священники было окончательно закрыто.

Несмотря на свои теософские взгляды и веру в переселение душ, Михаил Михайлович оставался и глубоко верующим христианином. Как то у него эти взгляды связывались с христианством, и он даже в Евангелии и Библии находил тексты, подтверждающие, что христианские пророки и евангелисты, их также не отвергали.

Итак, кое-как всё же удавалось ему поддерживать жизнь матери и свою.

Но, вот, каким-то чудом (с М. М. много чудесного и непонятного свершалось в жизни) до него долетела весть о том, что Старший его брат, Владимир, ушедший из Крыма ещё с

Врангелем за кордон, — жив, и живет в Закарпатье, которое в то время давно уже было советской Западной Украиной.

И Михаил Михайлович с матерью тут же двинулись в путь. По дороге мать сильно заболела и, не доехав до села, где жил брат пришлось сделать остановку. Неподалеку от Хуста был тогда женский монастырь и там Михаил Михайлович, у которого не было буквально никаких денег, попросил приютить больную мать. В благодарность он написал икону для монастырского храма. Икона так всем понравилась, что когда благодарные монахини выходили его мать, они предложили им еще и еще отдохнуть в их монастыре. Хотя монастырь был женский, но Михаил Михайлович с матерью прожили в нем почти два года, до самой смерти матери, которую он горько оплакивая, там же, при монастыре и похоронил. О её смерти и отъезде М. М., в свою очередь, очень горевали монахини. (Впоследствии монастырь был закрыт, монахини разогнаны и ушли странницами по советской земле).. Могилка матери существует и до сих пор, и М. М. навещает её и сажает незабудки — любимые её цветы…

Вот так Михаил Михайлович оказался в Хусте, в доме своих племянников, в то время еще молодых парней. Однако контакта с ними у М. М. не получилось, были они людьми, получившими лишь начальное образование, искусством не интересовались и ничего в нем не смыслили. Дядюшку, с его странными «египетскими» картинами считали просто чудаком, не от мира сего.

С братом, из за которого Михаил Михайлович отправился в Закарпатье, тоже близкого общения не получилось. Это был самый старший его брат, бывший офицер Белой армии, с Врангелем ушедший из Крыма в Турцию. Со временем он перебрался в Чехословакию и поселился в Закарпатье.

Что он стал священником, ничего удивительного нет. Вся семья Потаповых была глубоко религиозна, и дети росли верующими. В Советском Союзе он оказался, когда Закарпатье стало Советской Западной Украиной. Жил о. Владимир в небольшом селе Дубны, километрах в 30–40 от Хуста, служил в маленькой сельской церкви.

Виделись братья не часто, хотя это был любимый брат М. М. с самого его детства. Михаил Михайлович говорил о нем, как о человеке необычайно мягкого характера, чувствительном, глубоко любящем природу, живущем в мире музыки и поэзии, и тоже пишущем стихи. М. М. знал много их наизусть, помнил и часто присылал мне в письмах. Это были хорошие лирические стихи, похожие на лирику Тютчева.

Служба в армии никогда не была по душе Владимиру

Михайловичу, но так уж сложилась его судьба. Он считал себя обязанным защищать Родину сначала от немцев, потом от большевиков и оставаться ей верным.

Поездка в Дубны

Мне было жаль, что я так мало знаю об этом человеке. Но однажды мне всё же пришлось с ним повстречаться. Незабываемое воспоминание осталось у меня от этой встречи… Вот как это было: С согласия М. М., и несмотря на его предупреждения что это далеко, и будет для меня тяжело, я всё же решила съездить на велосипеде в село, где живёт и служит его брат — отец Владимир.

…Был чудный летний день, тёплый, но не жаркий, солнечный, пронизанный жужжанием шмелей и стрёкотом кузнечиков. Я лежу в траве, и крупные ромашки, и розовые шарики клевера склоняются прямо над моим лицом. Велосипед лежит рядом. Мы с ним отдыхаем. Надо мной небо, синее-синее, ну прямо, как на Алтае. Ни одного облачка. И где-то там, невидимый в синеве, жаворонок распевает себе вовсю! Так и звенит колокольчиком.

Я на пути в сельцо Дубны, в гости к отцу Владимиру. Половину, вероятно уже проехала. Съела свой завтрак — булку с куском сыра, запила молоком, и вот лежу — наслаждаюсь…

Вся дорога до Дубны идет по берегу Тиссы, по хорошему шоссе с широкими обочинами для велосипедистов, — чешское наследство. На шоссе почти никакого движения и, конечно, ни одной машины. Изредка встретится таратайка, запряженная парой лошадей, или одинокий, как и я, велосипедист…

Вечером я сижу в маленькой комнате церковного домика у отца Владимира. Жена его, совсем старушка уже, простая гуцулка из местных жителей, сидит на низком диванчике, молитвенно сложив руки под подбородком на груди. Глаза полузакрыты, не шелохнется… То ли дремлет, то ли слушает…

Я тоже не шелохнусь. Слушаю. Проигрыватель чудесный, чехословацкий ещё, но со стереозвуком. И льются, и льются звуки… Какие звуки! Отец Владимир обожает Шаляпина.

Много раз слышал он его во Франции, в Италии, Живого, прекрасного, полного сил и артистического обаяния. А голос… ну что говорить? Слушать надо… И мы слушаем, слушаем чуть не до утра.

Две больших еловых полки заставлены пластинками с записями Шаляпина. Всё это собрал Владимир Михайлович, еще живя в Чехословакии, еще задолго до того, как принял сан…

Какое счастье, что успел это сделать… А кроме этого, — остались воспоминания, и отнять их никто не может… И это услада и радость его жизни.

Я осторожно спросила Отца Владимира, как он относится к египетской ностальгии Михаила Михайловича?

— Не одобряю, — ласково улыбнувшись ответил он. Не одобряю, но и не осуждаю… Ведь он, Мишенька, всегда был странным ребенком, но все мы любили его. Ребенком он и до сих пор остался, до старости… Дети же — безгрешны…

…Без малого лет пятнадцать, после моего визита в Хуст, Михаил Михайлович Потапов прожил еще в своей «голубятне».

Я с сыновьями к тому времени уже давно уехала в Америку, и уже года четыре как жила в своей нынешней бостонской квартире. С Михаилом Михайловичем у меня все эти годы продолжалась довольно регулярная переписка, хотя письма в Америку доходили не всегда, и шли по полтора — два месяца.

Из этих писем я и знаю обо всех перипетиях жизни М. М. произошедших со времён моего визита в Хуст по сию пору, то есть конец 94-го года.

Лишь дважды за все пятнадцать лет, которые он оставался в Хусте, довелось ему пожить по-человечески.

Первый раз, когда Мукачевский архиерей пригласил его расписать новую церковь в его, архиерейском подворье, и М. М. прожил в архиерейских «покоях» больше года. Имел собственную комнату, жил на всём готовом, — с давно забытыми «удобствами». На стенах была развешана любимая его «Эхнатониана», а в шкафу и на столах разместились египтологические книги, которые приехали вместе с ним. К тому же он Получал еще и «зарплату» по 100 рублей в месяц, что по тем временам было довольно таки солидной суммой. У меня хранятся фотографии фрагментов росписи этой церкви. Роспись, так же, как и иконы, мне кажется не очень «церковной», — непривычно красивой. Однако, М. М. писал мне, что какая-то приезжавшая группа иностранных ученых и художников, которой, как достопримечательность Мукачева, была показана эта церковь, пришла в восхищение и назвала роспись Михаила Михайловича «уникальной».

В другой раз он был приглашен в Одессу для росписи главного монастырского храма (Маячный пер. 5), на территории которого находилась летняя дача Одесского митрополита.

В Одессе М. М. пробыл довольно долгое время, но едва ли не большую часть его провел в больнице. Заболели глаза. Он лежал в клинике Филатова, и сам Филатов (тогда он был еще жив) лечил Михаила Михайловича, с которым очень подружился. Но —

увы — восстановить зрение в правом глазу не удалось даже профессору Филатову. Оно было потеряно почти полностью и с тех пор М. М. практически продолжает работать с одним левым глазом… Несмотря на это, роспись монастырского храма была им закончена и получила очень высокую оценку.

Храм был расписан строго в византийском стиле. Одна из стен была посвящена изображению святых, особо почитаемых христианской православной церковью.

Этот монастырь, когда Михаил Михайлович еще заканчивал роспись, посетил патриарх Александрийский и всего Египта, — Николай VI. Он был потрясен работой М. М. и сказал, что никогда ничего более прекрасного и вдохновенного в церковной живописи не видел. Как знак высочайшей оценки Его Блаженство (патриарший статус, принятый в Египте) наградил Михаила Михайловича орденом Св. Марка (покровителя искусств), и сам, своей рукой прикрепил его к скромной рясе в которой работал М. М… А тот, дрожа и чуть не падая от волнения, безмолвно молил: — Ах пригласите, пригласите же меня в Египет… Хоть на один день! Но вслух выговорить этих слов не посмел. Его блаженство отбыл со своею свитой в Александрию, а приглашения М. М. прислать не догадался…

…В 1979 году Михаил Михайлович возвращается в Хуст, в свою «голубятню» — немощный, полуслепой, семидесятипятилетний старик, — он снова таскает воду и дрова по своей железной лестнице, — и снова продолжает работать с поистине фантастической энергией, неизвестно откуда берущейся!

Письма от него в Америку приходят теперь довольно редко. Вот, что он пишет мне в это время: «Пишу портреты выдающихся деятелей древнего Египта. Пишу с увлечением, и радуюсь, что они выходят удачно, интересно. Имхотеп и Хемуин написаны мною на фоне воздвигнутых этими архитекторами пирамид для фараонов Джосера и Хеопса, освободившего Египет от двухсотлетненго ига гиксосов, азиатских кочевников-завоевателей.

Из всех портретов этой серии готовы только пять… Работаю не только над египетскими портретами, но спешу закончить и два главных образа для иконостаса хустского собора — Спасителя и Богоматери. Пишу их по фотографиям с образов, писанных мною много лет тому назад для иконостаса Одесского кафедрального собора. Это лучшие из моих икон…»

В другом письме: «Удивляюсь: как это я ухитряюсь при такой массе живописных работ, еще и читать, да еще с одним моим левым глазом! Правда, ежедневно капаю в глаза какие-то

заграничные капли, присланные мне добрыми знакомыми.

Прочел биографии В. Васнецова, Сурикова, Леонардо да Винчи, Микеланджело, автобиографию Бенвенуто Челлини. Чрезвычайно интересно!»

Судьба Эхнатонианы

Поистине судьбоносным годом для Михаила Михайловича явился год 1981-й, Примерно за год до этого Хуст посетила директриса Судакского городского музея. Не знаю, как она узнала о существовании М. М., но приехала специально увидеть его и его работы. Творчество М. М. её поразило, особенно же «Эхнатониана» привела в восторг.

У этой «Крымской дамы», как в письмах её называет М. М. была близкая подруга, в то время бывшая директрисой художественно-краеведческого музея в уральском городе Соликамске, где я когда-то жила между двумя ссылками. Вот её-то и уговорила, — «сосватала», как выражается М. М. купить для музея всю целиком его «Эхнатониану».

После долгой переписки, длившейся больше года, — в 1981-м году «Эхнатониана», — все 15 картин была куплена музеем за 5 тысяч рублей, и М. М. с помощью своего старинного друга отвез её в Соликамск, где она произвела настоящий фурор: Экспозиция выставки привлекла не только интеллигенцию Соликамска и соседнего Боровска, но и посетителей из Перми. Приезжали целые экскурсии пермских студентов и учеников-старшеклассников.

Кончилось всё это тем, что Михаил Михайлович получил предложение от директрисы — занять место постоянного сотрудника музея, ставка на которое пустовала, а председатель горисполкома торжественно пообещал предоставить ему квартиру в одном из новых районов города. (Жилищное строительство в Соликамске в то время бурно развивалось). — Квартиру в новом доме, со всеми удобствами. М. М. поблагодарил и ответил, что подумает.

Думал и колебался Михаил Михайлович без малого 3 года… Из его писем этого периода:

> «С одной стороны, — если и эту зиму придется мучиться с ношением по обледенелой и заснеженной лестнице, воды из колодца, дров и угля…
>
> С другой стороны: — Ничего хорошего в Соликамске меня не ждёт, — нет ничего и никого; единственно — обещанная мне двухкомнатная квартира с удобствами…

Из-за этого „Соликамского рая“, теряю я и друзей, и родственников, и добрых знакомых, и дорогую мне могилку».

(М. М. забыл, как он жаловался на полное одиночество в Хусте, как искренне считал себя там «заживо погребенным», и как мало, верней, вовсе, не общался с родными, — ни с братом ни с племянниками!).

Опять из писем:

«С одной стороны: — В зимнее время работать в моей комнате невозможно, остается лето, которое здесь так коротко… Зимой я превращаюсь в истопника, у меня вечно грязные руки, и грязь под ногтями… Мои работы, висящие на стенах, гибнут от копоти и дыма…

С другой стороны: — Что за климат ждет меня там? Суровые зимы. Отсутствие овощей и фруктов… А вдруг, почему либо я лишусь этой квартиры?!»

Михаил Михайлович давно стоит на очереди в жилотделе Хустского Горкомхоза. Но очередь и в этом милом городке, как и везде — не двигается. Что же делать?

Наконец, — уже в 1983-м году! М. М. решается съездить в Соликамск с одним из своих знакомых, который обещает сопровождать его посмотреть предназначенную ему квартиру.

Оказалось, что квартира все еще ждет его. Квартира из двух больших комнат, с кухней, кладовкой, ванной и «удобствами». В кухне — газ и горячая вода. Спутник М. М. пришел в восторг — «квартира просто великолепна!» И Михаил Михайлович наконец соглашается, — квартира ему подходит. В Горисполкоме он подтверждает свое решение — переехать.

Соликамск и его окрестности производят приятное впечатление, и погода во время их путешествия тоже не подвела.

Вот что пишет он в очередном письме по возвращении из Соликамска в Хуст:

«В городе масса деревьев и зелени… На обратном пути мы плыли по Каме до Перми, и я был очарован ширью Камы; её величием и красотой её берегов — я всё время стоял на палубе, любовался и не мог надышаться дивным, целебным речным воздухом…»

Но хотя решение было принято и М. М. дал определенно свое согласие на переезд, сборы затянулись еще больше, чем на полгода.

За три года его сомнений и колебаний многое в Соликамске, верней в Соликамском музее, изменилось и, надо сказать, вовсе не в пользу М. М. Прежде всего — уехала из Соликамска директриса музея, при которой была куплена «Эхнатониана». Новая, пришедшая ей на смену, директриса была отнюдь не расположена к М. М. и никакого дружелюбия к нему не проявила. Она привезла своего «сотрудника музея» на единственную свободную вакансию и уведомила М. М., что место штатного Сотрудника в музее для него потеряно, так как он слишком долго раздумывал, а «Эхнатониану» благополучно отправила в запасник, решив, что для неё время истекло, хотя в договоре о покупке было сказано: «для постоянной экспозиции в залах музея». На слабые попытки М. М. протестовать, она отвечала, что теперь она хозяйка музея, и ни в каких его работах не нуждается.

Вся дальнейшая эпопея получения квартиры в Соликамске происходит совершенно помимо музея.

Снова из писем М. М.:

> «…Никто здесь не одобряет мое решение переехать в Соликамск и все спрашивают: на что же я надеюсь существовать там, если работы в музее мне больше не предлагают?
>
> Отвечаю: на пенсию в 45 руб. (которую М. М. получает, как бывший диакон), и на денежные свои сбережения. Денег со сберкнижки, полученных за „Эхнатониану“, я еще не трогал…»

Всё-таки в Соликамск

Я была единственной из его друзей, кто всеми силами уговаривала его решиться на этот шаг и настаивала на переезде, тем более, что Соликамск был мне хорошо знаком.

Старинный Соликамск, с его прекрасными, хотя и бездействующими, церквями и крутыми улицами мне очень нравился. Хороши были и окрестности. И климат, который так пугал М. М. тоже был вовсе не плох — солнечное лето и не слишком суровая, но обычно очень снежная, зима.

В конце концов, Михаил Михайлович всё же решился, и сын одного из его племянников, взял отпуск, чтобы помочь М. М. переехать и перевезти то, что он хотел взять с собой.

Начались сборы, которые тоже привели его в ужас: «…Если бы вы заглянули сейчас в мою комнату, то ужаснулись бы: — черные растрескавшиеся стены, черный потолок, разваливающаяся печка… А мои бедные картины! Их покрывает

такой слой копоти, что никакая отмывка не помогает. Они все требуют реставрации!» — пишет он ещё из Хуста.

Но в этом же письме: «…Всё-таки, как грустно, что приходится уезжать отсюда. Не легко менять местожительство в моем возрасте. Но раздумывать теперь уже не приходится — Рубикон перейден!»

Да, Рубикон был перейден. Однако, если бы не председатель Соликамского Горисполкома, так и не состоялся бы этот переезд и всё дальнейшее, что случилось потом… Не странно ли? Человек, ничем с искусством не связанный, человек, хоть и не из особенно «высокой», но всё же «номенклатуры», оказался в буквальном смысле вершителем судьбы художника Михаила Михайловича Потапова.

Не знаю, что руководило этим человеком? То ли, действительно, «Эхнатониана» произвела на него такое исключительное впечатление? То ли ажиотаж по поводу выставки подал ему уникальную идею? То ли «наитие свыше» подсказало, что Соликамск может «войти в историю» благодаря своему жителю — М. М. Потапову?..

Так или иначе, что бы ни руководило действиями Председателя Соликамского Горисполкома, действия его были необычны и удивительны. Не один раз **за три года** колебаний Михаила Михайловича, он терпеливо переносил «выделенную» ему квартиру из одного строящегося дома в другой; не раз передвигал сроки, неизменно повторяя приглашение переехать в Соликамск. Он неизменно соглашался подождать, «пока здоровье М. М. позволит осуществить этот переезд», или «пока М. М. закончит свои необходимые дела»…

Кто или что руководило этим человеком?..

Карма

Жизнь М. М. Потапова полна неожиданных, непредвиденных и крутых поворотов, ничуть не зависящих от его собственной воли.

Варшаву, — где он родился и где прошло его счастливое раннее детство — сменяет небольшой тихий уездный городок на Украине, Черкассы, родина его матери. Туда возвращается она с младшим сыном после смерти мужа.

В Севастополь Миша с матерью попадают по настоянию одного из его братьев буквально накануне революции 1917 г. Севастополь становится его любимейшим городом, любовь к которому — на всю жизнь, уступает только лишь любви к Древнему Египту.

В Севастополе проходит его отрочество и начало юности; здесь он берёт свои первые уроки живописи, хотя и без них, уже давно делает выразительные наброски египетских головок и пирамид. Здесь начались его первые серьезные занятия египтологией; увлечение литературой, — не только художественной, но и исторической, и философской. Литература поглощается в неимоверных количествах. Завязываются связи с интеллектуальными людьми, не только с севастопольцами, но и вне Севастополя; письменные связи налаживаются с крупными учеными-египтологами, в том числе и с американским египтологом, автором крупнейшего труда об истории Египта, — Джорджем Брэдстедом.

И наконец, Египетский отдела ленинградского Эрмитажа куда он попал по приглашению, с подачи друзей, для реставрации фрагментов настоящих египетских фресок, и где возникла реальная надежда вскоре увидеть и сам Египет, — попасть в одну из экскурсионно-научных групп тогда ещё изредка выезжавших за рубеж.

Вместо этого неожиданный арест и Пиндуши, о которых вы уже знаете… Потом война и ужасные годы в оккупированном Крыму… Потом женский монастырь вблизи Хуста; затем долгая нелёгая жизнь в хустской «голубятне», и вот теперь — переезд в Соликамск!

И все эти события происходили без малейшей инициативы со стороны самого Миши, а позже Михаила Михайловича!

На первых порах Соликамск преподносит М. М. немало неожиданных подарков. Поражает великолепная квартира с двумя большими, — каждая много больше хустской «Голубятни», комнатами и большим балконом. С газовой плитой и горячей водой в кухне, с ванной (!) и прочими «удобствами».

Всё это подробно описывает М. М. в своих первых письмах из Соликамска. Описывает со множеством восклицательных знаков… «Наслаждаюсь ванной, купаюсь чуть ли не каждый день. После убогой хустской комнатки такая квартира — просто дворец, — рай!»

С энтузиазмом занимается он покупкой мебели и «всего необходимого для жизни в такой квартире». Покупает всё, что ему по вкусу — старинное или оригинальное. Ведь деньги, полученные за «Эхнатониану» еще в 1981-м году не тронуты, лежат в сберкассе, и на устройство квартиры М. М. их не жалеет.

Находятся и новые друзья, помогающие делать покупки и устраиваться в квартире. Покупку вещей и устройство в новой квартире — всё это описывает М. М. с неподдельным восторгом, и радуется всему, как ребёнок. Мало того, он тут же Начинает

роспись ванной комнаты в египетском стиле и превращает ее, поистине, в музейный экспонат: «Я начал её расписывать в древне — египетском стиле, с папирусовыми зарослями и болотными птицами на боковых стенах, с прудами с голубыми и розовыми лотосами на средней стене. А над прудом и лотосами — летящие дикие утки…

Всё это взято мною с древнеегипетских фресок. Получается красиво, — настоящий Древний Египет! Думаю такой ванной комнаты нет больше нигде во всем мире!»

Собирается расписать и кухню. Но одновременно уже начато несколько работ над «галереей деятелей Древнего Египта» и над серией египетских пейзажей, не говоря о том, что массу времени занимает довольно скучная и кропотливая работа над реставрацией картин, привезенных из Хуста, сильно поврежденных копотью и дымом…

Работоспособность этого человека — просто феноменальна!

Соликамск, на который в первый свой приезд, в 1981-м году, Михаил Михайлович не успел обратить особого внимания, так как был занят в музее экспозицией «Эхнатонианы», тоже радует неожиданностями. Оказывается, гористые улицы со ступенями, а то и целыми лестницами, напоминают любимый Севастополь. Масса деревьев, зелени и цветов — «так что порой кажется, что ты в Крыму!» Прекрасны и старинные церкви, хотя и не работающие, но внешне реставрируемые понемногу; на куполах сияют золотом кресты… И климат, не только что не плох, а вроде бы получше хустского. Пышная весна сменяется солнечным летом и М. М. пишет, что он впервые чувствует себя так хорошо; обходится без обычных простуд. И на рынке — представьте себе! — есть и овощи, и фрукты, даже… бананы, которых изумленный М. М. накупает — аж 5 килограммов! (вероятно забыв, что они быстро портятся).

Контакты с музеем, несмотря на «враждебную» директрису, тоже, вроде бы, налаживаются. «Эхнатониана», вытащенная из запасника, куда было её запрятала «вредная директриса» снова экспонируется в залах музея и по прежнему пользуется успехом; приезжают её увидеть даже экскурсии из других городов.

Хотя формально Михаил Михайлович с музеем никак не связан, (он не работник музея, и никакой «зарплаты» не получает), его постоянно приглашают встретить экскурсию, что М. М. делает весьма охотно. Рассказывает не только об экспонатах и о себе, но и читает лекции об истории древнего Египта. Вскоре и его квартира становится посещаема, как «филиал музея». Михаил Михайлович «гостей» принимает приветливо, всё показывает, отвечает на все вопросы, и гости

уходят его восторженными почитателями! И с многими завязывается переписка. Но противоречива натура М. М.

Эйфория, охватившая его в первое время по приезде в Соликамск продержалась не слишком долго. Постепенно и неуклонно она угасает. Перестает радовать «великолепная» квартира. Кухня так и остается нерасписанной. Новые друзья кажутся «недостаточно искренними…» Письма от старых друзей приходят редко, а из Хуста и вовсе никто не пишет…

Возрастающая популярность и внимание к его творчеству не радует, или верней, он вовсе её не замечает. И сам Соликамск теперь уже представляется чуть ли не ссылкой, куда забросила его злая судьба «…заснеженный глухой городишко, где-то на севере страны, где он чувствует себя одиноким и никому не нужным!».. (подобно тому, как это было и в Пиндушах и в Хусте). И по-прежнему «единственной радостью остаются воспоминания о далёком детстве и юности в Севастополе, и… грёзы об обожаемой Прародине».

…Месяцы складываются в годы. Течение времени неотвратимо, и неуклонно подтачивает старческий организм. Болезни одолевают. Учащаются сердечные спазмы; постоянные простуды («вот и тут, как и в Хусте!») сопровождаются кашлем, насморком и головными болями. Самое страшное — ухудшается зрение в единственном зрячем глазу. Не раз уже приходилось ложиться в больницу, или вызывать скорую…

И, — НЕСМОТРЯ на всё, ВОПРЕКИ всему! — его творческая энергия, не только не падает, но всё возрастает! Жажда творить не покидает, а боязнь «не успеть» подхлестывает уходящие силы.

Вот что пишет М. М. в письмах, в середине 1980-х годов:

> «…Портретная галерея близится к завершению; серия египетских пейзажей — закончена. Начаты копии с так называемых, фаюмских портретов, найденных на мумиях… Как видите, Евгения Николаевна, все эти новые работы представляют собой единое целое, и я не могу оставить их незаконченными…»

Из другого письма:

> «…Вы удивляетесь моей энергии, дорогая Е. Н.? Увы, нет уже у меня никакой энергии. Я с трудом встаю с постели, изможденный полуслепой старик. Но я **должен** встать, и должен заставить себя взяться за кисти…»

И он берется за кисти; живописные работы не прерываются ни на один день, кроме тех, когда он лежит в больнице. Не

прерываются и встречи экскурсантов в музее. А экскурсий становится всё больше…

Посещение «гостей» дома, тоже отнимает не мало времени. Он отвечает на многочисленные письма. Пишет и мне — длинные, и всегда интересные. И еще успевает читать! Он получает журналы: «Наука и знание», «Азия и Африка сегодня», начал получать новый журнал «Наследие» — «в нём печатают интересные воспоминания и размышления», — пишет мне М. М.

Он читает и перечитывает художественную литературу — особенно Толстого. Любит читать биографии великих людей.

«Письма художника Нестерова» привели его в восторг. В своих письмах он любит делиться своими впечатлениями от прочитанного. Массу помнит наизусть. Цитирует по памяти Пушкина и Лермонтова. Обожает А. К. Толстого и М. Волошина… И всё это на своём девятом десятке лет! Со своим единственным зрячим больным глазом?!

Откуда же берется время?.. Как будто минута для него — час. А час — неделя! Не чудо ли это?..

Однако, письма его, несмотря на всю эту кипучую деятельность, продолжают быть горькими, с жалобами на полное одиночество.

> «…Я смотрю на всё меня окружающее, как чуждый мне непонятный сон. Душой я весь там, в моём милом Древнем Египте. Я не перестаю скорбеть о том, что не сбылась моя мечта — навсегда уехать в Египет… Пусть Бог простит мою покойную мать за то, что она не послушалась знакомых теософов и моего брата-офицера, уходившего из Севастополя с „белыми“ в 1921 году и не увезла меня тогда за границу! Этим она обрекла меня на жалкое прозябание в стране, чуждой мне по духу, в стране атеизма, в которой я чувствую себя заживо погребенным, никому не нужным».

Подпись — «Ваш старый одинокий друг» — так теперь он всегда подписывает свои письма.

Нелегко быть известным

Особенно напряженной становится жизнь Михаила Михайловича в 1990-м и 1991-м годах. Ко всей его кипучей художественной деятельности прибавляется участие в съемках фильмов, одновременно задуманных двумя киностудиями — Пермской и Свердловской, — фильмах о творчестве художника —

М. М. Потапова!

Съемки начинаются почти одновременно.

Сначала М. М. этим обрадован, но вскоре начинает горько раскаиваться в том, что дал согласие на участие в съемках. Он расплачивается не только временем, но и нервами. То в съемке что-то не ладится и постоянно требуются повторения; то переделывается сценарий; то в киностудии возникают какие-то проблемы и режиссер сообщает М. М., что фильм могут «зарезать», и вся проделанная работа пойдет насмарку…

М. М. готов отказаться, но в душе теплится надежда… а вдруг?.. Режиссер обольщает несбыточным: вдруг фильм окажется уникальным, рамки его расширятся и будут запланированы натурные съемки в Египте, и тогда командировка, в которую несомненно будет включен и М. М. Он не верит в реальность режиссерских обещаний, но… А вдруг?..

Пока же еще, нежданно-негаданно подвалила другая большая и спешная работа. В Соликамске, наконец, на шестом году перестройки, получено разрешение на открытие одной из тринадцати старинных церквей, и верующие с энтузиазмом принялись за внутренний ремонт.

Михаила Михайловича просят оформить иконостас: шесть больших образов, и шесть маленьких для царских врат.

Из ответов М. М. на мои вопросы:

«…Нет, что Вы! Пишу *я*, разумеется у себя в мастерской, — т. е. дома. Доски для образов привозят мне на квартиру, большие доски, в полтора метра высотой. Богослужения хотят начать на Пасху, а Пасха нынче ранняя, надо спешить, готовы же только два образа — Богоматери и Христа» — пишет — М. М.

Между тем подходит к финишу и работа на киностудиях. Первым выпускается на экран пермский фильм. Он нравится М. М., — заснято и показано много его работ. Но фильм небольшой, «научно-популярный». Дальше Пермской области он не пошел.

Зато со свердловским дело обстоит иначе, это не «научно-популярный», а «документальный» фильм. Времени на него отпущено вдвое больше. Еще до выпуска на экран о нем заговорили, как о будущей сенсации, и имя режиссера В. Тарика уже упоминалось в газетах. Фильм показали по центральному телевидению. А в свердловском Доме Кино была организована выставка работ Михаила Михайловича Потапова, для чего Соликамский музей любезно одолжил «Эхнатониану», а из квартиры М. М. были привезены все его последующие работы. Михаил Михайлович был приглашен на открытие выставки, но, увы, — в это время он лежит в Соликамской больнице.

Воспаление тройничного нерва, что вызывало перекос рта, и серьезное осложнение с глазами. Под угрозой зрячий левый глаз!

Однако, как и всегда, события в жизни М. М. идут сами собой, безо всякого его участия и инициативы, неведомо кем управляемые. Карма?..

Фильм, названный «Египтянин», был просмотрен сотрудниками Египетского посольства в Москве. Он произвел на зрителей такое впечатление, что, в итоге, советник по делам культуры, доктор наук, профессор Хосни Ибрагим Юсеф командируется в Свердловск, дабы ознакомиться с подлинными работами художника и, как он предполагает, повстречаться с самим художником.

Событие редкостное, и свердловские деятели культуры ни за что не хотят его упустить. «Синхронизируется» работа двух больниц — Соликамской и Свердловской. Несмотря на неважное состояние больного, его перевозят из одной больницы в другую, областную Свердловскую. М. М. польщен, хотя встречи этой боится: не увидит ли он в лице этого египетского профессора «ненавистного ему араба — покорителя Египта?»

> «…Но представьте себе, как я обрадовался, увидев чистокровнейшего „древнего“ египтянина, со всеми, милыми мне, чертами древнеегипетского лица! Боже мой, каким образом мог так сохраниться, этот древнеегипетский облик?! Это прямо какое-то чудо!!! Я был растроган до слёз… К тому же еще оказалось, что египтянин свободно говорит по — русски без всякой переводчицы».

Событие это настолько взбодрило силы М. М., что привезенный из больницы в Дом Кино, он был в состоянии обойти всю выставку с почетным гостем, давая ему свои пояснения. С волнением он спросил профессора: «Верно ли переданы в его пейзажах египетское краски?»

Тот ответил: «Верно до удивления. Невозможно поверить, что это писано не с натуры».

Для М. М. это была высочайшая награда.

За чаепитием (по выражению М. М.), после осмотра выставки профессор Юсеф передал ему от лица посла официальное приглашение на кинофестиваль в Каире, намечавшийся на ноябрь — декабрь этого года. Михаил Михайлович поблагодарил и сказал в ответ, что всю галерею портретов выдающихся деятелей Древнего Египта он хотел бы принести в дар современному Египту, а именно — Каирскому Музею. Профессор поблагодарил М. М. от имени Египетского народа, и пообещал

осенью, когда он тоже будет в Каире, провезти М. М. по всему Египту, показать Асуан и развалины Ахетатона. На прощанье он произнёс: «До встречи в Египте!.».

На следующий день статья с таким заголовком появилась в свердловской областной газете!

М. М. лежит в отдельной палате свердловской больницы. Добровольная «секретарша» пишет письма под его диктовку. С глазом, хотя и получше, но писать сам он еще не может. В конце письма мне она приписывает от себя:

«Палата Михаила Михайловича. — напоминает ботанический сад, — так много цветов принесли ему друзья и знакомые — нарциссы, пионы, розы… А сколько цветов он получил на встрече в Доме Кино!».

Но М. М. мало занимают цветы в палате. Встреча с «представителями интеллигенции» — кажется формальной и официальной… В успех выставки тоже как-то не очень верится; представлять её самому не позволяет болезнь.

Не нравится ему и самый фильм. И в этом, к сожалению, как мне кажется, он действительно прав. Я фильма не видела, но запись звука, сделанная с экрана, у меня есть. Мне она тоже не нравится. Михаил Михайлович жалуется, что работ его показано мало. Церковная роспись одесского храма не получилась по каким-то техническим причинам и выпала из фильма, а её он считает лучшей своей работой в стенописи… «Меня они представили каким-то старым чудаком, — обидно». И действительно обидно, — по тексту, записанному с экрана, похоже, что это близко к истине. Мои друзья, видевшие фильм, тоже не в восторге.

Единственное, что искупает всю эту нервотрепку с поездкой в Свердловск — «единственный светлый луч — такой необыкновенный, не только светлый, но яркий, как вспышка — эта встреча с подлинным египтянином…» (Это из письма М. М.) И долго, уж после возвращения его в Соликамск, письма М. М. полны переживаниями этой встречи. О поездке в Египет он предпочитает молчать. То ли не верит, то ли боится спугнуть, «сглазить» такую невероятную удачу…

По полученной «на память» фотографии он пишет портрет Профессора Юсефа… Других работ тоже хоть отбавляй — спешно нужно закончить четыре больших портрета из «галереи», обещанной в дар Египту и уже отправленной прямо из Свердловска, с выставки, в Египетское посольство.

Одновременно работает М. М. и над окончанием больших образов для церкви, которых к Пасхе закончить не удалось.

Подлеченный, но не вылеченный глаз всё еще болит и

слезиться, но о больнице он и слышать не хочет — некогда. Между тем, и свердловский офтальмолог подтвердил диагноз — начавшееся помутнение хрусталика левого, — зрячего глаза. Каждое письмо М. М. я вскрываю со страхом. Господи, неужели его ждет судьба Гогена?!..

Свидание с Египтом

Время меж тем идет и идет. Никаких вестей из посольства, и всё «происшедшее» превращается в «прошлое». Только привет от профессора Юсефа, переданный после получения последних четырех портретов «галереи» — вновь окрыляет мечту и разжигают совсем было погасшую надежду.

Но вот, в один прекрасный день, который всё же наступает, из Египетского посольства приходит пакет с официальным приглашением (об этом я узнаю из коротенькой приписки к последнему письму) на Каирский кинофестиваль, который открывается 3-го декабря сего (т. е.1990-го) года!

Официальная бумага, со всеми нужными печатями и подписями, а при ней еще и письмо, разъясняющее, что все расходы по посещению кинофестиваля оплачиваются соответствующими Египетскими организациями. Кроме того, М. М., в связи с состоянием его здоровья, может иметь «сопровождающую медсестру», которой поездка также будет оплачена, и что им обоим следует прислать необходимые документы (анкеты для получения виз и пр.) в Египетское посольство не позже 15-го ноября…

Я читаю и перечитываю, не верю глазам своим — дух захватывает!..

Я хватаю бумагу, пишу краткое, сумбурное и восторженное письмо. — Наконец-то! Я поздравляю М. М. с невероятным исполнением мечты ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ!!..

Но что же я получаю в ответ?.. Раздраженное письмо, полное горьких, несправедливых упрёков, как будто всё, что я написала — это «выдумка»:

«…Вы забыли, в каком государстве я живу!! Советую Вам вспомнить об этом, дорогая Евгения Николаевна… — Разве я получил „разрешение“ на поездку?»

В этом письме он вспоминает о своем друге, покойном художнике В. А. Ватагине. Тому так же очень хотелось побывать в Египте. По случаю 80-летия художника был организован банкет, где Ватагин высказал своё желание.

Однако, министр культуры, присутствующий на банкете тут же заявил, что не позволит рисковать здоровьем почтенного

юбиляра. Этого было довольно, чтобы В. А. Ватагину так и не пришлось побывать в Египте.

«А мне-то уже 86, дорогая моя соотечественница, забывшая, что такое Советский Союз!!» Вот так. Конечно, времена другие, идёт перестройка но, может быть, он и прав?

Упрекает меня и в том, что я забываю о его здоровье: «…Я работаю из последних сил. Боюсь не успеть. О какой поездке тут можно говорить?!»… Ну и ну!

Но события продолжают идти своим чередом. Находится «сопровождающая» медсестра — давняя знакомая М. М. тоже влюбленная в Древний Египет, правда, никогда там не жившая, но зато успевшая уже раз побывать в Египте современном.

Возможность побывать там второй раз (да еще даром!) приводит её в восторг. Женщина решительная и энергичная, все хлопоты она берет на себя. Достает формы для анкет (для чего приходится ехать в Пермь!), собирает прочие нужные документы, чуть не насильно заставляет М. М. сфотографироваться к поставить свою подпись в анкете. (Это единственное «активное» участие М. М. во всех событиях!)

И когда, наконец, всё уже готово и документы пора отсылать в посольство, всплывает новое осложнение; и тоненький волосок, на котором держится «мечта всей жизни» готов вот-вот оборваться.

А время не стоит на месте. Выставка в свердловском Доме Кино проходила в мае. Теперь уж ноябрь на носу.

Непредсказуемые события разворачиваются в мире. Уже оккупирован Кувейт. Персидский залив подобен пороховой бочке. На Ближнем Востоке вот-вот готова разразиться война.

Морские пути заблокированы, и никакие пассажирские лайнеры из Одессы в Египет теперь не ходят. Выясняется, что единственное сообщение с Каиром — лайнеры воздушные.

Михаил Михайлович поражен в самое сердце. Конечно он предполагал поездку только морем, которое он любит, которого не боится. Он никогда не летал на самолете, а курирующий его уже несколько лет Соликамский врач — категорически против полёта.

Письма М. М. становятся просто отчаянными. «Что делать? Что делать?..»

Я уже упоминала о противоречивой натуре Михаила Михайловича: Широко образованный человек, ученый-египтолог; глубоко верующий христианин и философ; поклонник Толстого и теософ вместе с тем, (он и у Толстого отыскивает теософские воззрения), — в то же время он раб самых вздорных суеверий, вплоть до черной кошки на дороге, или встречи со священником;

верит он во всевозможные предзнаменования, предсказаниям цыганки, гаданию на картах, (которые и сам умеет раскладывать); верит в дурные сны и дурные предчувствия (Не раз предсказанное ему совершалось!).

Письма его полны смятения и страха: «Всё говорит против. Не только врач, но и сны… И предчувствия… И карты…»

Вместе с тем он твёрдо уверен, — **знает** что сопротивляться судьбе — бесполезно. Карма!..

Несмотря на всю энергию, проявленную медсестрой, он не решается отослать документы в посольство. Вместо этого, он туда пишет — нельзя ли перенести его посещение на лето?.. Ссылается на состояние здоровья. Звонит в посольство и умоляет профессора Юсефа помочь ему… Увы, проф. Юсеф с первого января уходит из посольства. Он отвечает что-то невнятное и неопределённое…

М. М. звонит еще раз, и, к счастью попадает на сотрудницу, которая говорит по-русски. Она начинает убеждать его, что напрасно он тревожится, — на современных лайнерах перевозят даже очень тяжело больных; никакой опасности нет. Что выдумывает Соликамский врач?! Откладывая, — уверяет она — вы теряете единственный шанс, это всё равно, что отказаться от выигрыша в миллион рублей! То же твердит ему и медсестра в Соликамске.

«…Так, под влиянием этих двух женщин, я делаю то, чего делать боюсь и уже не хочу».

Третья женщина, которая умоляет его одуматься — это я. «Михаил Михайлович, такое немыслимое везение!

Бросьте раздумывать, летите. — Вот-вот вспыхнет война в Персидском заливе, и все шансы будут потеряны!» Я пишу ему отчаянные письма, не соображая, что всё равно они придут, когда будет уже поздно…

Последнее его письмо, написанное за неделю до открытия фестиваля звучит категорично: «Сердце моё протестует против этой поездки. Всё складывается не так, как мне хотелось бы… Ехать решительно не могу»…

Напрасные мучения переживает бедный Михаил Михайлович. Судьба, и на этот раз (в лице двух женщин, очевидно), оказывается сильнее!

Двенадцатого декабря я получаю… аэрограмму из Каира! Несколько слов приветствия. Несколько слов о том, где пришлось побывать и обещание написать обо всём подробно, когда он вернется домой. (если вернется благополучно!).

Михаил Михайлович благополучно вернулся в Соликамск. Это было в декабре прошлого, т. е. 1990-го года. Обещанное

письмо с описанием поездки в Египет было написано и отправлено, но мною и до сих пор не получено, так как почтовое ведомство Советского Союза переживает очередной кризис и письма оттуда идут 3–4 месяца, или не приходят вовсе.

Но недавно прорвалось письмо «с оказией». Маленькое, всего в одну страничку.

Предчувствия не обманули М. М. — Поездка его, как он считает, оказалась «неудачной». Всё было не так. Египтяне говорили по арабски, или на других иностранных языках. Без знания языков ехать в Египет — ни к чему. Переводчик Михаил Михайловича не устраивал… Пирамиды видел, но не те, которые хотел. Профессор Юсеф обманул, и на Асуан его не возил. На развалинах Ахетатона был, но никаких развалин не видел — один песок… Фаюмские портреты были плохо освещены, так что практически тоже их не видел.

О прочих подробностях М. М. не пишет, в надежде что когда-нибудь я всё же получу то, длинное и подробное письмо, которое он послал четыре месяца назад. Вот и всё.

Может быть, было бы лучше, если бы М. М. послушался плохих снов и предсказаний карт?

Что будет дальше? Чем, какой мечтой будет жить мой старый одинокий друг?..

«…Прекрасной лилией была моя мечта.
Мои уста приникли к ней неосторожно,
И белой лилии исчезла чистота.
И возвратить её — уж невозможно…»

Т. Щепкина-Куперник.

Эпилог

Всё что я рассказала о жизни Михаила Михайловича Потапова я знаю от него самого и из его многочисленных писем которые, по моей горячей просьбе, он начал писать в первые годы жизни в Соликамске и по листочку пересылать мне. В этих письмах он довольно подробно и интересно описывает детство в Черкассах, отрочество и юность в Севастополе. К сожалению, они оканчиваются всего лишь 1925-м годом.

Далее у него на воспоминания время хватать не стало. (даже у него!)

Но и то, что рассказано мною о М. М. Потапове — не близко ли к ИСТИННОМУ ЧУДУ?

Конец третьей книги и трилогии.
Евгения Фёдорова (Селезнёва)
Москва — Бостон
1956–1994

Послесловие издателя к главе «Мой старый одинокий друг»

Художник — египтолог Михаил Михайлович Потапов дожил в своей соликамской квартире до 103-х лет. Больше в Египте ему побывать не пришлось, но дружеская переписка с моей матерью — автором этой книги — Евгенией Николаевной Фёдоровой (Селезнёвой) продолжалась до самой её смерти осенью 1995 г. Обещанное письмо Михаила Михайловича с подробностями о его поездке в Египет всё же пришло с опозданием почти в четыре месяца. Но и оно оказалось почти полностью лишённым эмоций и впечатлений от посещения им своей прародины — исполнения мечты всей его жизни. В письме явственно чувствовалось разочарование в поездке. Было ли это вызвано второстепенными обстоятельствами поездки, — сказать трудно, но маме казалось что разочарование кроется в несоответствии увиденного с ожидаемым. В дальнейшей переписке М. М. сам не возвращался к теме поездки, хотя на вопросы отвечал исчерпывающе, но тоже без эмоций.

Что произошло с его художественным наследием после его смерти мне не известно. От матери у меня сохранились кое-какие фотографии работ М. М. а также портрет фараона Аменхотепа, предназначавшийся в дар Бруклинскому музею. Но после полученного от музея отказа, (за неимением места для экспозиции) Михаил Михайлович подарил этот портрет моей матери.

Стивен Лесней (Селезнёв).

Евгения Фёдорова
1974 год
Снимок сделан за полгода до отъезда в Америку